

ТАЙНЫ

Век XVII—XVIII

А. Лавинцев
ЦАРИЦА-ПОЛЯЧКА
ОБЕРЕГАТЕЛЬ
ТРОН И ЛЮБОВЬ
НА ЗАКАТЕ ЛЮБВИ



ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах

И ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XVII—XVIII

А. Лавинцев

ЦАРИЦА-ПОЛЯЧКА ОБЕРЕГАТЕЛЬ ТРОН И ЛЮБОВЬ НА ЗАКАТЕ ЛЮБВИ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1997

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 1
Л13

Художник
Р. АЮПОВА

Лавинцев А. И.
Л13 Царица-полячка; Оберегатель; Трон и любовь; На закате любви. — М.: ТЕРРА, 1997. — 496 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах).
ISBN 5-300-01464-8

В сборник исторических романов А. И. Лавинцева вошли произведения, рассказывающие о тайнах личной жизни представителей царствующего дома Романовых: царя Федора Алексеевича («Царица-полячка»), царевны Софьи Алексеевны («Оберегатель») и императора Петра I («Трон и любовь», «На закате любви»).

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 1

ISBN 5-300-01464-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1997

ЦАРИЦА-ПОЛЯЧКА

I

ГАННОЧКА ГРУШЕЦКАЯ

Ранней неприветливой весной 1675 года по сквернейшему проселку от границы к пауку-Москве двигался боярский поезд.

Видно было, что пробиравшийся из пограничной глуши боярин был не из важных, так, захудалый какой-то, а если и не захудалый, то настолько обседевший в злосчастной и Богом, и людьми забытой мурье, что позабыл там, в своей берлоге, как живут люди на свете. Там-то, у себя, он, каков с вида ни был, — всем и хорошим, и важным казался, хотя бы потому, что видней его во всей захолустной округе никого не было; но то, что было хорошо для мурьи, для подмосковских мест, всякие виды выдавших, казалось жалким, убогим и смеха достойным.

Боярская колымага была бедная, подправленная, вершники и вся прочая поездная челядь рваные, чуть ли не в лохмотьях, лошаденки тощие, чахлые, будто овса никогда не видали. Поглядеть со стороны — просто срам один.

Однако боярская челядь как будто и не сознавала этого своего убожества. Вершники держались с наглой, вызывающей гордостью и на редких встречах проезжих так орали, требуя очистить дорогу, что у тех лошади шарахались с перепугу, а их седоки, с удивлением взглядывая на убогий поезд, только уже на большом расстоянии догадывались пустить вдогонку ему свое нелестное замечание.

Но всякое недовольство стихало, когда из возка выглядывала на встречного проезжего головка молоденькой красавицы-девушки.

Этот неважный поезд принадлежал московскому дворянину Семену Федоровичу Грушецкому, внуку польского выходца, застрявшего в Москве во время лихолетья. Его отец еще молодым человеком за какую-то дворцовую провинность был отослан Тишайшим на вотчину, то есть попал в опалу. Там, в глуши, он и скоротал свой век, и, умирая, завещал своему единственному сыну, тоже успевшему состариться в отцовской опале, во что бы то ни стало восстановить блеск рода Грушецких, еще недавно, при первых Романовых, славного и знаменитого. Но какие хлопоты ни предпринимал Семен Федорович, — все было напрасно. Вокруг Тишайшего во все время его царствования так и кипели дворцовые интриги. Даже самому государю от них несладко жилось. Бояре так и грызлись, стараясь проглотить живьем один другого, и на Москве никому не

было дела до сына давно позабытого чужака. Долгие годы опалы уничтожили всякую память о нем у гордых ближних бояр, а о сыне опального старика, понятно, и вовсе некому было думать.

Но в конце концов Семен Федорович, должно быть, надоел своими бесчисленными челобитными о службе царской, которые он с упорством отчаяния слал на Москву с каждой оказией. Вернее всего, только ради того чтобы как-нибудь отвязаться от надоедливого челобитчика, ему дали в управление крохотное Чернавское воеводство. Впрочем, в том положении, в каком был Семен Федорович после смерти своего опального родителя, и это было хорошо.

Чернавск был хотя и захудалым городишком, но все-таки он был ближе к Москве, чем медвежий угол на границе Литвы, где была жалованная вотчина Грушецких, и Семен Федорович, недолго сбираясь, тронулся на свое воеводство, полный самых радужных надежд на будущее.

Он так спешил, что отправился один, даже свою единственную дочь, красавицу Ганночку, бросил на попечение мамушек да нянюшек — Грушецкий был вдов, — и только спустя порядочное время прислал приказ и дочери, нимало не медля, ехать к нему на житье в Чернавск.

Теперь дочь ехала к отцу, и именно на Ганю-красавицу заглядывались случайные встречные, если им удавалось подловить то мгновение, когда молодая девушка выглядывала из возка, чтобы подышать сырым, но чистым весенним воздухом.

И в самом деле хороша была собою Ганночка Грушецкая!

Предки-поляки передали ей типическую польскую красоту, растворившуюся в русской крови и слившуюся с русской красотой. Тонкие, словно точеные черты лица, русский здоровый румянец полымем во всю щеку, голубые с легкой поволокой глаза, нежно-золотистые волосы, непокорно выбивавшиеся кудряшками на высокий лоб, — все это было стройно-гармонично и притягивало жадный мужской взгляд, надолго оставляя по себе прочно вливавшееся в память впечатление.

Предки-поляки дали девушке и еще кое-что.

Грушецкие были герба Любеча, но вышли на Русь не так уже давно, чтобы польский дух, польский склад окончательно вытравился в них. Даже Семен Федорович, бывший по внешности уже настоящим русским, нет-нет да и проявлял кое в чем себя поляком. Единственную любимую дочь он воспитал далеко не затворницею. Да, впрочем, в той глуши, где ему пришлось прожить долгие годы, собственно говоря, и затворяться было не от кого.

Грушецкие у себя в поместье жили, как в монастыре, часто по несколько месяцев подряд не видя никого постороннего. Может быть, изнывая от тоски, Семен Федорович и задумал воспитывать дочь совсем не так, как обыкновенно воспитывались на Руси девушки того времени.

Он выписал для дочери из Варшавы через знакомых старуху-польку, вдову когда-то богатого шляхтича, и поручил ей воспита-

ние Ганны. Конечно, старая полячка повела дело по-своему и воспитывала Ганночку на родной ей лад. Семен Грушецкий тут не жалел денег. В его берлоге появились не только разные книги, но даже довольно сносные клавишины, и отец очень любил, когда дочь начинала играть на них в длинные, скучные осенние и зимние вечера.

Войдя в девический возраст Ганна, благодаря воспитанию на иноземный лад, была сравнительно развитой девушкой. Она умела читать и писать, бегло говорила по-польски, разбиралась в латинских книгах, имела довольно ясное понятие о жизни на Западе и даже понимала, если при ней говорили по-французски.

Впрочем, западные обычаи, вплоть до воспитания детей на новый чужеземный лад, уже успели проникнуть тогда на старую Русь. Отнюдь не было той дичи среди русских людей, какую стараются изобразить некоторые исторические писатели, откуда-то взявшие, что допетровская старая Русь была страной каких-то дикарей. Нет, этого не было. У русских была своя самобытная культура, развивавшаяся совсем правильно.

Сразу после падения татарщины началось быстрое сближение России с Западом. Начиная с царя-собирателя, везде по Европе разъезжали русские посольства. Иностранцы тоже свободно проникали на Русь, но вследствие некоторой отгороженности от начинавшего и тогда уже гнить Запада, русские люди могли брать оттуда только то, что считали хорошим, и всякая скверна огромной волной влилась в нашу многострадальную родину только после петровской ломки русского быта.

Отнюдь не была дикаркой-затворницей и Ганна Грушецкая.

Долгий, утомительный путь нисколько не нарушил ее хорошего, ровного настроения. Она, как птичка, вырвавшаяся из клетки, радовалась всему, что видела. Темные дубравы, сквозь которые им приходилось то и дело проезжать, не пугали ее, русский простор приводил ее в восторженное настроение. Однако к концу пути Ганна начала скучать.

Во все время путешествия не было никаких приключений, и Ганночка уже не с прежним интересом стала относиться к нему. Она ехала в просторном, тепло обложенном войлоками возке со старухой-мамкой, и это усугубляло ее скуку. Ее воспитательница-полячка побоялась отправиться в глубь пугавшей ее Московии, а старая мамка была такая бестолковая, что и говорить с ней было не о чем.

— Да посиди ты покойно, Агашенька! — досадливо говорила старушка, которую беспокоило, что девушка постоянно выглядывала из возка. — Ну чего ты там егозишь? Или пустырей не видала? Пожалей мои косточки старые...

— Скучно мне, мамушка, — жаловалась Ганночка.

— Скучно, так уснуть попробуй! Сон-то от скуки куда как полезен!.. А не то, ежели хочешь, я сказку тебе расскажу. Хочешь?

— Расскажи, мамушка.

И старуха принималась рассказывать, даже и не замечая, что сказка вовсе не интересует ее питомицу. Все сказки своей мамушки переслушала Ганночка, все начала и концы были известны ей, и если в них было что либо хорошее для молодой девушки, так только то, что эти сказки скоро сон нагоняли...

И засыпала под мирный старушечий голос молодая красавица. Начинали ей сниться всяческие сны. А известно, что в раннюю весну жизни снится всякой молоденькой девушке. Сны тогда ярко-золотые: снятся юные красавцы, шепчущие дивные слова вечной любви! Редко когда такие грезы становятся явью, но — что же? — хорошо быть счастливым, хотя бы только и во сне...

II

ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Ганночка, убаюканная тихим говором старухи-мамки, сладко дремала, как вдруг неприятный, резкий толчок заставил ее открыть глаза.

Возок сперва словно нырнул куда-то, потом сразу накренился на бок и сразу замер на месте, как будто вкопанный. Девушка слышала кругом сердитые голоса, громкие крики, даже брань. Ржали лошади, сустились люди, и невольный страх охватил душу Ганночки.

Старуха-мамка, тоже дремавшая, мгновенно проснулась.

— Что такое приключилось-то? — далеко высунувшись из бокового отверстия возка, закричала она. — Чего стали-то?.. Волк или заяц дорогу перебежал?

— Полозье, бабушка, сломалось, — подошел к ней один из челядинцев, — вот что.

— Пришла беда неожиданно-негаданно, — подтвердил слова первого другой. — И с чего бы, кажись, ломаться ему?..

— Так чего вы спите-то, окаянные? — залилась старуха. — Не зимовать же здесь на поле... Вербками, что ли, подвязали бы...

— Да, говори еще! Подвяжешь полозье вербками, — раздалась протесты.

— Так как же быть, голубчики? — смирилась мамка, чувствовавшая, что Ганночка дергает ее сзади за полы кацавейки. — Вы надумали бы там что-нибудь такое...

— А только то и надумать можно, — подошел старший из челядинцев, — чтобы кому-нибудь из нас на деревню скакать и кузнеца приволочь, ежели запасного полозья не раздобудем!

— А мы-то как? Здесь сидеть должны?

— Придется, ничего не поделаешь!..

— Ай, мамушка! — тихо вскрикнула слышавшая весь этот разговор Ганночка. — Да неужели же среди лесу останемся?.. Страшно-то как!

— Не бойся, глупенькая, не бойся! — поспешила успокоить свою питомицу старушка, хотя и сама-то не на шутку струхнула. —

Ежели и придется, так не одни будем... Вон сколько народа... Да и страшного ничего нет! Столько времени ехали, все Бог миловал, и теперь все ладно обойдется. Не пешком же тебе идти, да и то неведомо куда... А что, Гаврилка, — опять высунулась старуха из окна, — может, какая ни на есть деревня близко?

— А кто ее знает, — лениво ответил холоп, — нам эта сторона совсем не ведома... Мы здесь чуждадельные...

Он медленно побрел от возка к кучке товарищей, совещавшихся на дороге впереди поезда.

— Нет, видно, ничего тут иного не придумаешь, как поехать вперед да поискать, нет ли жилья какого...

— Видно, что так, — согласились некоторые с этим мнением, — лошади поотдохнут; экую ведь путину без подставы с утра сломали...

— А есть ли какое жилье впереди-то поблизости? — любопытствовал один из кучеров. — Может, тот, кто поедет, даром проплутает только...

— Так не назад же ехать! — раздались возражения. — Вперед хоть что-нибудь, хоть избенка какая ни на есть попадется, а назад чего искать? Последнее жилье в полдень видели; почитай, верст двадцать назад переть придется, да потом опять сюда столько же...

— Вестимо вперед, — поддержал мнение большинства старший из холопов-вершников, на котором лежала вся ответственность перед Семеном Федоровичем Грушецким за благополучие в пути. — Да постой, ребята, — воскликнул он, — вон чего-то Федюшка бежит... колпаком машет и орет что-то... беги, милый, беги сюда скорей!

По дороге, плохо наезженной и ухабистой, бежал подросток, действительно спешивший к старшим с какими-то вестями.

— Эй, дяденька, — кричал он, — тут и опушка близко, а дальше поле идет, да такое, что глазом не окинешь...

— Ну, вона чем утешил! — недовольно проворчал старик. — С такими вестями и бежать сломя голову не стоило!

— Да погоди, дяденька, не все еще сказал, — прервал его Федор. — На опушке-то избобка стоит, а в избобке кто-то живет, дым курится...

— А-а, вот это — дело! — заволновались челядинцы. — Молодец, Федюшка! Боярышню нашу, раскрасавицу писаную, к теплу пристроить можно... Все не под небесами ждать ей придется.

Ганночку все близкие к ней и ее отцу — вся челядь, вся дворня — любили. Ко всем была ласкова молодая девушка, для всех находилось у нее доброе слово, и ради этого все были готовы пойти за свою любимицу не только в огонь, но и в самое пекло.

Поэтому и теперь известие, принесенное Федюшкой, обрадовало всех этих людей, сильно встревоженных тем, что любимицу-боярышню на время поисков подмоги пришлось бы оставить в возке не известно на сколько времени.

— И хвалить, дяденька, не нужно, — рассыпался Федюшка, — что приметил, то и говорю...

— За то хвалят, что догадлив ты, парень, вот что! — высказал новую похвалу старик. — Мы вот тут на одном месте топчемся, а ты, недолго думая, слетал, осмотрел все и нас на новые мысли наводишь.

— Да ты, что там, Серега, балясы точишь? — раздался со стороны возка сердитый оклик старухи-мамки. — Ты бы лучше дело делал, а наговориться и после успеешь... Ежели есть поблизости какое ни на есть жилье, так Ганночка да я и пешком туда доберемся...

Мамка и Ганночка, заслышавшие радостные крики, сами выбрались из возка и теперь подходили к кучке холопов. Те почтительно расступились перед дочерью своего господина.

— Ты, матушка, — заговорил старик Сергей, обращаясь к девушке, — повременила бы малость; спервоначалу посмотреть нужно, кто в изобке той живет.

— Кто? Уж, верно, крещеные, — зататорила старуха, — в этой стороне о нехристях и не слышно... И не изволь, Серега, препираться! Проводи-ка нас с Ганночкой вперед, все сразу и посмотрим, как и что! Идем, что ли, голубка моя сизокрылая? — обратилась она к девушке, теперь уже не чувствовавшей страха, а даже радовавшейся этому небольшому дорожному приключению, доставившему ей возможность поразмять ноги прогулкой по лесу. — Идем, милая, скорей! — добавила мамка и первая побежала вперед.

Холопам оставалось только повиноваться, и все вершники, ведя на поводу коней, последовали за боярышней.

Идти им пришлось недалеко, немного более полуверсты, и, пройдя эту недолгую дорогу, путники очутились перед небольшой, но весьма ладной на вид избушкой, стоявшей действительно на краю огромного, только что пройденного поездом леса, перед необозримым пустынным полем.

Едва они подошли к низенькому крылечку, как двери сеней растворились и на крыльце появилась высокая, далеко еще не старая женщина, удивленно смотревшая на подходивших.

Одета она была в крестьянский тулуп, а ее голову покрывал редкий тогда в России шалевый турецкий платок, из-под которого выбивались пряди непокорных черных волос.

III

ТАИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ

Женщина ни слова не произнесла даже тогда, когда подходившие путники были совсем близко от нее, и лишь с любопытством смотрела на них, в особенности на закутанных с ног до головы женщин.

Ганночка тоже глядела на незнакомку из-под платка, глядела с восхищением, — такую красавицу показалась она ей. Но глаза этой молчаливой женщины были особенные. Их взгляд, казалось, обладал каким-то невидимым острием и так и впивался в того, на кого был устремлен. По крайней мере молодая девушка почувство-

вала себя как-то неловко, когда женщина на крыльце вдруг уставилась на нее. Ее взгляд словно жег Грушецкую, и она, не в силах вынести его, невольно потупилась и в то же мгновение услышала, что глядевшая с крыльца женщина засмеялась.

Должно быть, и старуха-мамка тоже почувствовала некоторую неловкость. Она громко запыхтела, закряхтела и воскликнула.

— Тыфу, тыфу, тыфу, чур меня, чур! Что за ведьма явилась? Сгинь, сгинь, рассыпья, ежели ты не от мира сего.

Но это не подействовало. Женщина на крыльце продолжала смотреть своими огромными лучистыми глазами на путников, как будто дожидалась, чтобы кто-нибудь из них заговорил с нею.

Однако, когда старый Серега, почтительно сбросив с головы колпак, начал спрашивать, нельзя ли побыть в доме боярышне с мамкою, а на задворках приткнуться их обозу, пока не будет починено сломавшееся полозье, незнакомка, внимательно выслушав его, вдруг громко-громко расхохоталась и кинулась назад к крылечным дверям.

Это было так неожиданно, что путники даже и не заметили, как она исчезла, и только расслышали громкое хлопанье двери.

— Наваждение дьявольское! — так и взбеленилась старушка-мамка. — И впрямь ведьма! Или просто ума рехнулась?..

— Постой, мамушка, — серьезно и даже несколько строго оставил ее Сергей, — может, она кого другого вышлет к нам. Чего ерепениться раньше времени? Ведь худа она нам никакого не сделала, а ежели хохочет, так пусть себе на здоровье, должно, что глупенькая.

— Уж глупенькая там или умненькая, — не унималась старушка, — а нежеже боярышне здесь оставаться... Может, тут воровской притон...

— Гоже или нежеже, — опять серьезно сказал старик, — а придется остаться, ежели идти больше некуда. А насчет воров тоже бояться нечего: нас немало, да и не с голыми руками мы... А-а, вот еще кого-то Бог дает.

Дверь на крыльце опять распахнулась, и путники увидали на нем безобразную старуху, выпорхнувшую перед ними так же неожиданно, как неожиданно скрылась молодая женщина.

Эта старуха была действительно безобразна. Ее лицо было темно, почти черно; длинный нос, слегка загнувшийся крючком, придавал ей вид хищной птицы. На ней был ярко-красный, совсем не по-русски, концами назад, повязанный платок, а на плечах накинута суконная, с громадными медными пуговицами безрукавка, тоже невиданного в то время на Руси покроя.

— Ведьма, совсем ведьма, — закричала неугомонная мамушка и начала торопливо креститься. — Идем, Агашенька, назад, не место нам тут!

— Молчи, Божья старушка! — уже сердито крикнул Серега и, смело поднявшись на крыльцо, вступил в объяснение.

Ганночка тоже испугалась, когда увидела эту безобразную женщину, но ее испуг быстро сменился любопытством; притом же и

подвечерний холодок давал себя знать, и девушке хотелось забраться в тепло, сбросить тяжелые меховые одежды, растянуться на лежанке и отдаться сладкой неге и дремоте. По лицу Сергея она видела, что переговоры идут вполне удовлетворительно, и радостно заметила, что старый, преданный челядинец наконец махнул им колпаком, приглашая этим подняться на крыльцо.

— Ну идем, что ли, Агашенька, — недовольно проворчала мамка. — Делать нечего — и впрямь, куда деваться, ежели другого приюта нет. Только ежели что, так Серега и будет в ответе, а не я...

Старушка, тоже прозябая и в душе очень довольная, что есть возможность побыть в тепле, смело взошла первою на крыльцо. Ганночка последовала за нею; позади них пошли сопровождавшие их вершники, любопытство которых тоже было пробуждено этим таинственным жилищем и этими таинственными женщинами.

— Не бойся, мамушка, ничего, — шепнул старушке Серега, когда та была на крыльце, — живет тут туркиня одна, полонянка — это молодая-то, а старуха при ней — вот как ты при боярышне. Они одни и живут и добрым гостям обрадовались...

— Ну-ну! — проворчала старуха. — Уж и как бы они не обрадовались? Ведь, чай, не простые смерды к ним припожаловали, а воеводская дочь.

Путники стояли уже в обширных сенях таинственного дома. Было темно, но уже чувствовалась живительная теплота. Но вот наконец распахнулась какая-то невидимая среди тьмы дверь, и сразу просветлело. На пороге стояла прежняя старуха и жестами звала гостей идти за нею. Окончательно набравшаяся храбрости мамушка, ухватив Ганночку за руку, двинулась вперед, все-таки крикнув: — Серега, не отставай!

Перешагнув порог, все трое очутились в просторной горнице с большими, опять-таки необычными для русских жилищ того времени окнами. Стены горницы были увешены роскошными персидскими коврами, а ее меблировка тоже была необычная для русских: преобладали низенькие мягкие тахты и только в одном углу стояли русские широкие скамьи да большой стол, покрытый золототканой скатертью.

За столом, когда в комнату вошла Ганночка с мамкой, сидел молодой человек в русском кафтане, богатом, нарядном и свидетельствовавшем, что этот человек был не какой-нибудь простец. Ганночка, входя, уже бросила мимолетный взгляд на него, и этот молодец за столом показался ей прямо-таки красавцем. Да и в самом деле он был очень красив, но общее выражение его лица было какое-то мрачное, — не злобное, а именно мрачное, суровое, и это портило впечатление, производимое и его правильными, словно точеными чертами лица, и глубокими черными, то и дело поблескивавшими глазами. Когда Ганночка взглянула на него еще раз попристальнее, то он уже не понравился ей, и какой-то смутный страх, как предвестник будущих невзгод, вдруг проник в ее душу.

Молодой человек с любопытством смотрел на вошедших.

Так прошло несколько мгновений. Наконец хозяин словно спохватился, что не приветствовал гостей, и, приподнявшись на скамье, несколько сильным голосом, сопровождая свои слова легким наклоном головы, сказал:

— Добро пожаловать! Чьи вы будете, не знаю того, но везде у нас на Руси гость в дому — дар Божий. Разоблачайтесь, да обогрейтесь с холода-то!..

Мамка словно ждала этого обращения.

— Спасибо на ласковом слове, добрый молодец, — затараторила она. — Чей ты, того и я не знаю, хотя по кафтану вижу, что не простого ты рода. А мы все будем вот ейного, — указала она на Ганночку, — батюшки: государева чернавского воеводы Симеона Федоровича. Чай, слышал про него?

Глаза молодого человека так и сверкнули недобрым огнем, когда он услышал слова мамки.

— Это Грушецкого, что ли, по прозвищу? — глухо и с оттенком злобы в голосе вымолвил он. — Как же не знать? Знаю! Новый он у нас человек, а знакомы мы... Все друг друга ищем, да найти никак не можем! — и вдруг, как бы спохватившись, что сказал лишнее, он сразу замолк.

— Ежели знакомцы вы с Симеоном Федоровичем, — воспользовалась этим перерывом старушка, — так еще того лучше! Уж будь покоен: Симеон-то Федорович за твою услугу в долгу перед тобой не останется и сторицей отблагодарит.

Молодой незнакомец при этих словах старушки заметно усмехнулся.

Та увидела эту усмешку и рассердилась:

— Негоже смеяться-то, господин, — заговорила она, — ежели люди в беде и помощи просят!.. Сам же ты сказать изволил, что гость в дому — дар Божий, а и сам ты слышал, что не простые мы люди; так по чести ты и гостей таких принимать должен... Не хочешь — твоя воля, уйдем...

— Нет, бабушка, нет! — спохватился молодой хозяин. — Оставайтесь, сколько вам надобно. Тут у меня бабы есть, так они вам помогут — напоят, накормят, а захотите — так и спать на вытопленную лежанку положат. Не русского они у меня теста, а добрые... Из персидской земли вывезены, по-нашему, почитай, и не говорят, ну, да это ничего — уж вы-то промеж себя столкуетесь. А я сейчас выйду, посмотрю, нельзя ли чем-либо вашему горю пособить... Это вашего дома холоп, что ли? Ну, выйдем, старый, как тебя там! — обратился он к Сергею и, сейчас же, захлопав в ладоши, громко выкрикнул: — Зюлейка! Ася!

На этот зов из соседнего покоя выбежали и старуха, и молодая женщина, первые встретившие неожиданных гостей на крыльце. Ган-

ночка заметила, с каким любопытством оглядела ее с ног до головы молодая, и ей показалось теперь, что во взгляде этих больших черных глаз светились не то испуг, не то жалость.

Старуха не обращала никакого внимания на пришельцев; она даже не кинула на них взгляда, а подобострастно, совсем по-собачьи, смотрела на своего господина, выжидая его приказаний.

Тот заговорил с нею повелительно на каком-то непонятном языке.

— Ну, боярышня, — ласково, заметно стараясь смягчить свой грубый, сиплый голос, обратился он затем к Ганночке: — прости ежели не понравилось тебе что... Уйду я от вас, отдыхайте, а как вернусь — обо всем переговорим толком. Симеон-то Федорович во всей округе дочкой своей хвастается! Умница-разумница, баит, другой такой и не найти... Рад, что судьба нас с тобою свела. Может, и к добру, а может быть... — он оборвался и через мгновение глухо dokonчил: — может быть, для кого-нибудь и к худу.

Ганночка вся так и вздрогнула, услышав эти слова.

Она была бойкая, развитая не по своему времени девушка и хотела было сама заговорить, нисколько не смущаясь тем, что впервые видит этого молодого красавца, но не успела. Хозяин отвесил ей почтительно-низкий, поясной поклон и большими шагами пошел к дверям, не обратив внимания на няньку.

— Ну, идем, что ли! — крикнул он на ходу Сергею.

Женщины остались одни.

Как только затворилась дверь, молодая кинулась к Ганночке и, что-то лепеча на непонятном для девушки языке, быстро начала распутывать ее. Когда платок был скинут, молодая персиянка, увидав лицо Ганночки, даже вскрикнула от восторга и с пылкостью южанки осыпала девушку бесчисленными поцелуями. В ее лепете слышались уже и русские слова, которые она произносила, умирительно коверкая их. Но уже и это было хорошо. Кое-как Ганночка могла понять, что хотела выразить ей это дитя далекого Ирана, так пылко целовавшее ее и не скрывавшее перед ней своего восторга.

— О хороша, хороша! — воскликнула персиянка. — Я тебя полюбила, я буду твоей сестрой и стану защищать тебя. Хочешь ты быть моей сестрой?

— Хочу! — ответила Ганночка, сразу же покоренная этою ласкою.

— И будешь, и будешь! — захлопала в ладоши персиянка. — Я — Зюлейка, да, я Зюлейка, — ударяя себя в грудь, прибавила она, — а ты? Как зовут тебя?

— Ганна...

— Ганна! — протянула Зюлейка и несколько раз подряд повторила: — Ганна, Ганна! Какое имя!.. У нас так не называют девушек. Но вы — другой народ, совсем другой... Так Ганна! Теперь я буду помнить, как тебя зовут. Ты не бойся, я всегда буду около тебя... О-о, как я ненавижу его! — вдруг с пылкой злобностью воскликнула Зюлейка и даже сжала кулачки.

— Кого? — встревоженно спросила Ганночка, которой были совершенно чужды такие быстрые смены душевных настроений, — кого ты ненавидишь?

— Его, который ушел... князя...

— Князя? — вмешалась в разговор мамка. — Да нешто это — князь?

— Да, да! — закивала головой Зюлейка, — большой князь... могучий... все может, все!.. Он много зла творит, ой много, и никого не боится...

— Ой святители! — взвизгнула мамка, услышавши эти слова. — Да куда же занесло-то нас?.. Уж не к злодеям ли окаянным попали?

Старушка уже успела с помощью безобразной персиянки снять верхние одежды. Тепло сразу растомило ее, и она с ужасом думала, что вот-вот придется одеваться снова и снова идти на холод.

— Оставь, мамушка, — перебила ее причитания Ганночка, и в ее голосе на этот раз даже послышалась строгость. — Слышала ты, чай, что вот Зюлейка говорит: князь — этот добрый молодец, не простец, не смерд, а государев слуга. Так злого на нас он не умыслит. Притом же он знает и про батюшку... Будь, родная, покойна! Побудем здесь, пока полозье поправят, а там и опять с Богом в путь-дорогу.

Зюлейка, слушая эти полные бодрости слова, радостно кивала головой и хлопала в ладоши.

V

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ОБИДА

Старый Серега покорно следовал за молодым красавцем-князем, хотя его сердце было далеко не спокойно. Старик нюхом чувствовал опасность: хотя вокруг него не было заметно ничего угрожающего, но ему сильно не нравился этот заносчиво-дерзкий, надменный молодец, смотревший на все вызывающе, нагло, так нагло, как будто на него во всем московском государстве и управы не было.

Еще более смутился старик, когда приметил, что хозяин ведет его не в сенцы, откуда были двери на крыльцо, а куда-то в глубь таинственного жилья.

— Позволь, батюшка, слово спросить, — наконец не выдержал Сергей. — Куда же ты меня теперь ведешь? Ведь наши возки там у ворот приткнулись, и мне у моих людей место...

Князь глухо засмеялся, а затем грубо сказал:

— Поспеешь еще к своим, старый сын, допреж этого должен ты мне ответ держать.

— Уж на чем — и не знаю, — недоуменно развел руками Сергей, — кажись, ни в чем перед твоею милостью не провинился.

— Иди, иди! — крикнул в ответ князь и, сам распахнув двери, слегка толкнул в них Сергея.

Они очутились в просторной горнице, светлой днем, а теперь поверженной в сумеречные тени. Ее стены были увешены тяжелыми медвежьими шкурами, среди которых эффектно выделялись громадные кабаньи головы с оскаленными клыками. Под ними были навешены рушницы, самопалы, мечи и кинжалы в ножнах с роскошной оправой. Широкие лавки вдоль стен также были покрыты звериными шкурами; в углах стояли светцы, а на столах — жбаны, кубки и чаши, форма которых была заимствована из Немецкой слободы и сделана по-новому — в виде длинных, высоких, на тоненькой ножке стаканов.

— Ну, стань, старый хрыч, вот здесь, — указал хозяин Сергею место против стола, за который он уселся сам, сейчас же небрежно развалившись на широкой лавке. — Отвечай, как попу на духу, и не моги соврать... Солжешь, худо будет.

Произнося эту угрозу, князь так сверкнул глазами, что по спине бедного Сергея мурашки забегали.

— Воля твоя, батюшка, — с заметной дрожью в голосе проговорил он, — а ежели я ничего дурного не сделал, не тать я ночной, не вор государев разбойный, так и таить мне нечего... Ехали мы к господину нашему Симеону Федоровичу в Чернавск, никого по пути не обижая.

— Довольно! — перебил его хозяин. — Ты давно у Сеньки-во-ра Грушецкого в холопах?..

Старик востепенулся. Новая грубость этого приютившего их человека обидела его до глубины души.

— Кто ты, батюшка, будешь, то мне не ведомо, — с достоинством ответил он, — а господин мой Симеон Федорович своему царю-государю не вор, а от его царского величества службою пожалован. Ты же вот в лесной трущобе живешь и — кто тебя знает — может, у лесных душегубов атаманствуешь. Мало ли кто теперь лихими делами промышляет!

Старый холоп проговорил все это медленно, твердо, не спуская взора с обидчика.

— А ежели про меня тебе узнать желательно, — продолжал он, — так я тебе скажу, что я батюшке господина моего теперешнего с малолетства служил, ребеночком махоньким, несмышленочком его помню, и на смертном ложе обряжал его и в гроб клал, и в могилу опускал, а теперь верую и правдою не за страх, а за совесть, его сыну служу и чести его в обиду не дам.

— Замолчи! — громко и грозно вскрикнул молодой князь. — Не для того я тебя призвал, чтобы твои песни слушать. Ежели ты вору Федьке Грушецкому служил, так и на Москве с ним был до того, пока его царь-государь от себя на вотчину отослал?

— Был.

— Неотлучно?

— Может, и отлучался, того не припомню...

— А князя Агадар-Ковранского помнишь? — яростно закричал молодой человек и так стукнул кулаком по столу, что стоявшая на

нем посуда ходнем заходила. — Помнишь, как он царем вору Федьке головою был выдан? Помнишь, а?

Голос молодого человека переходил в бешеный крик. Его лицо покраснело, и на лбу показались капли холодного пота, белки глаз налились кровью, он весь так и трясся от охватившей его ярости.

Очевидно, это была чрезвычайно пылкая, страстная, быстро подчинявшаяся впечатлениям натура, которая во всем предпочитала крайности и не признавала уравнивающей их золотой середины.

В свою очередь припомнил и Серега то, о чем говорил молодой князь.

Это было уже давно; десятки лет уже прошли, а старик при первом же воспоминании увидел перед своими глазами, как живого, высокого, с нерусским лицом старика в пышных боярских одеждах, приведенного по царскому велению на их двор «для бесчестья». Гордый, надменный стоял он, этот старик, потомок древнего рода прикаспийских властителей, у крыльца своего врага и молча, без слов выслушивал сыпавшийся на него град ядовитых насмешек, в которых поссорившийся с ним Федор Грушецкий отводил свою душу за нанесенную ему обиду. Смутно припомнил теперь Серега, что старики поссорились «из-за мест» у царского стола. Сел Агадар-Ковранский выше Грушецкого и места своего ни за что не хотел уступить сопернику, а тот шум поднял и о бесчестье кричал. Агадар-Ковранский в долгу не остался и всяким воровством Грушецкого корить начал, каждое дарение припомнил, которое получил Федор Грушецкий, когда на воеводстве был. Такой тогда шум в столовом покое спорщики подняли, что повелел им великий государь обоим вон выйти. Но они и тут не унялись: на крыльце потасовку завели, Агадар-Ковранский Грушецкого за бороду таскал, всю так и вырвал бы, если бы их боярские дети да дворцовые дворяне не развели. А потом царь великий сам разобрал все это дело, и вышло, что не Агадар-Ковранский, а Грушецкий прав. И выдан тогда был обидчик головою обиженному.

Видел Серега гордого князя теперь, как живого. Стоит он у крыльца, не шелохнется, только так огнями глаза и взблескивают да рука сама к поясу по привычке тянется. Хорошо, что нож у него отобрали, а то затуманила бы пылкая южная кровь голову и кончилось бы «бесчестье» смертоубийством.

Только кто же этот молодец? С лица как будто похож на Агадар-Ковранского: те же сверкающие из-под тонких, точно вычерченных бровей очи, та же осанка — гордая, властная, та же пылкость без удержу; да и с голоса он похож: говорит глухо, как будто слова откуда-то изнутри вылетают.

— Ну что, — услышал Серега новый вопрос, — припомнил ли?

— Прости, батюшка, — тихо ответил старик, — господа спорят, так не нам, холопам, разбирать, кто из них прав, кто нет... Не наше это дело холопское! Да и ты такой, не ведаю. С чего ты старую свару поднимать вздумал?

— А с того, — так и загремел молодой князь, — что тот Агадар-Ковранский мой дед был, и его позор мне до сих пор душу жжет; как вспомню, так все равно что полымем охватит. И вот теперь сама судьба привела меня старый долг сторицей заплатить. Неспроста, видно, внучка Федьки в мои хоромы залетела: судьба нанесла ее ко мне. Ха-ха-ха! Умница, разумница, золото, а не девка... Вот посмотрю я, как она у меня запляшет... Вдоволь натешусь, а там будь, что будет... Эй, кто там! — и молодой человек громко захлопал в ладоши.

VI

ОТ ГНЕВА К ГНЕВУ

Старый Серега был далеко не труслив и видал на своем веку всякие виды, но так и вздрогнул, услышав это призывное хлопанье в ладоши. Он теперь уже не предчувствовал, а видел беду, и страшился — правда, не за себя, а за свою ненаглядную боярышню, доверенную его попечениям.

— Батюшка князь! — сдавленным голосом выкрикнул он. — Что ты задумал?

— А вот сам, коли поживешь, увидишь! — загадочно усмехнулся Агадар-Ковранский.

— Смотри, Господь тебя накажет! — снова крикнул окончательно терявший голову старый холоп. — Он-то все видит...

— Накажет? За что? — опять зло и загадочно усмехнулся молодой человек.

— Ежели ты что-либо злое против боярышни Агафьи Семеновны задумал... Гостья она твоя, твоей чести княжеской доверилась... И думать не могли мы, что к разбойнику-атаману попали.

— Молчи! — весь багровея, выкрикнул Агадар-Ковранский. — Молчи, или я тебе сейчас глотку заткну!

Он злобно сверкнул глазами и схватился за рукоять заткнутого за пояс ножа; но в это мгновение в покое, из-за дверей, завешенных тяжелой медвежьей шкурой, бесшумно появились двое людей с нерусскими лицами, скулы и узкие, словно прорезанные щели, глаза выдавали их восточное происхождение.

Оба были высоки ростом, широки в плечах и, очевидно, обладали громадною физическою силою. Они смотрели на князя таким же подобострастно-собачьим взглядом, каким смотрела на него и старуха Ася, приставленная к красавице Зюлейке. Ясно было, что достаточно взгляда повелителя, чтобы эти преданные рабы без рассуждений исполнили всякое, даже самое ужасное дело.

— Болтает холопий язык без разума, — проговорил князь, видимо, сдержав страшным усилием воли свой гнев, — все вы, псы потрясучие, на один лад... Гассан, Мегмет! — обратился он к своим приспешникам. — Возьмите этого сыча, угостите его вместе с другими холопами на славу... так угостите, чтобы долго, всю жизнь помнил наше гостеприимство!

Дольше он не мог сдерживать kloкотавшие в нем ярость и гнев и разразился неестественным, скорее всего, истерическим смехом, быстро перешедшим в неистовый хохот.

— Ну, пойдем, душа моя, — проговорил Гассан, кладя руку на плечо Сергея, — ты иди, иди себе, не бойся ничего: наш господин куда какой добрый... Он тебя угостить велел... Иди же, а то другие-то твои, куда пить лихи, выпьют все, съедят все и тебе, душа моя, ничего не останется...

— Иди, иди, — слегка подтолкнул старика и Мегмет, — а то господин осерчает, тогда худо будет.

Сергей понимал, что сопротивление с его стороны было бы бесполезно.

— Князь! — торжественно проговорил он. — Помни: Господь не попускает злу и наказывает обидчика...

— Иди прочь! С глаз долой! — закричал и затопал ногами Агадар-Ковранский. — Вы что, — сжал он кулаки на своих слуг, — чего еще язык чесать даете!

В одно мгновение Сергей, словно вихрем выброшенный, очутился за дверью в другом покое.

— Ну, какой ты, душа моя! — укоризненно покачивая головой, проговорил Мегмет. — Ну зачем тебе господина нашего гневить?.. Ведь никто с тебя шкуры еще не спускает...

— В вашей я воле, — тихо и печально проговорил старик, — делайте, что хотите, ежели креста на вас нет...

Гассан и Мегмет, перемигнувшись между собою, громко захохотали.

— Смейтесь, смейтесь! — воскликнул Сергей, которого морозом по коже подрало от этого хохота. — На том свете за все про все рассчитаетесь...

Его возбуждение пропало, отчаяние уже овладело им. Старик не видел выхода из создавшегося ужасного положения и машинально передвигал ноги, следуя за своими проводниками, все время пересмеивавшимися и весело болтавшими на непонятном ему наречии.

Но каково же было его изумление — он даже рот с диву разинул и глаза выпучил, — когда после нескольких переходов открылась дверь в длинный просторный покой, очевидно, бывший «людскою» в этом странном доме, и там он за столами, уставленными всякими яствами — окороками, пирогами, мисками с варевом и жбанами с питьями, — увидел кучеров своего поезда, двух горничных девок боярышни и мальчугана Федьку, нашедшего это таинственное жилье. С ними были еще незнакомые Сергею люди, очевидно, слуги князя Агадар-Ковранского. Все они весело и беззаботно угощались, на их лицах не было заметно никаких признаков страха. Из челядинцев Грушецкого не хватало только троих вершников. Сергей сразу приметил это, но его удивление было так велико, так сильно, что он на первых порах и слова выговорить не мог.

Между тем челядинцы Грушецкого заметили своего набольшого.

— Эй, дядя Сергей, Серега, кум Сергей, — закричали все они разом, — вот и ты, живые мощи, явился... Куда запропал?.. Ишь, как князьенка здешний — дай ему Бог всякого здоровья! — угощает...

— Садись, душа моя, садись скорее за стол! — слегка и даже дружелюбно подтолкнул в бок старика Гассан, — будь гостем!..

Сергей все еще нерешительно приблизился к столу. Сидевшие на скамьях пораздвинулись, очищая ему место.

«Уж не во сне ли я все это вижу? — подумал старик, опускаясь на скамью. — Может, и в самом деле я понапрасну князя изобидел, может, никакой беде и не бывать?.. А ежели так, то с чего же он, как ерш, ерепенился?»

Однако сердце старого холопа ныло, предчувствия не оставляли его, но он понимал, что в такой обстановке невозможно было выражать подозрения.

А между тем мрачные предчувствия отнюдь не обманывали старого холопа.

Князь Василий Лукич, оставшись один в своем покое, забегал по нему, как бегает разъяренный зверь по своей клетке. В его душе так и редела буря, думы и мысли в его распаленном мозгу словно вихрем крутило и рвало. Горячая южная кровь так и бурлила, кидаясь в голову, туманя ее до того, что князь видел ясно созданные воображением образы.

Дедовское оскорбление, так и оставшееся в наследство внуку неотмщенным, всегда сушило князя Агадара, всегда давило страшной тяжестью его гордую душу, и теперь сама судьба как бы посылала ему полную возможность отмстить так, как могло подсказать только болезненное, распаленное воображение.

Пылкий князь уже теперь начинал чувствовать сладость мести. Ему до жуткости сладко было представлять себе, как он будет утолять свою ярость. Он не торопился, а как тигр, уже захвативший жертву, отдалял решительный миг, наслаждаясь пока тем, что создавал его мозг. По временам из груди князя вырывался дикий хохот, мрачный и грозный. Только почувствовав усталость, он грузно опустился на скамью и, громко свистнув, захлопал в ладоши. На этот зов сейчас же явилась старая безобразная Ася. Грозно нахмутив брови, заговорил с ней князь Василий на понятном только им одним восточном наречии. Старуха слушала его, то и дело кланяясь.

— А теперь проводи меня к Зюлейкину покою, — уже по-русски крикнул Агадар, покончив с приказаниями, — я хочу видеть ее... да, видеть, но так, чтобы она меня не приметила...

Ася снова в знак повиновения склонила голову, приложив ко лбу руку. Потом она тихо, по-кошачьи, шмыгнула вперед. Князь последовал за нею.

Покои Зюлейки были отделены от комнаты князя длинным переходом, в конце которого была также завешенная звериной шкурой дверь.

Слегка приподняв эту своеобразную портьеру, Василий Лукич заглянул внутрь покоя. Ганночка сидела на скамье у окна рядом с

нежно обнявшей ее Зюлейкой. В глубине покоя у лежанки дремала, облокотившись на нее, мамка.

— Как хороша! Ангел небесный! — невольно вырвался у князя Василия восторженный лепет. — Как хороша! — Но на его губах так и зазмеилась нехорошая, злобная улыбка. — Пусть, пусть! Слаще будет моя месть... Да, судьба отдает мне эту красавицу...

VII ЛЕСНОЕ ЛОГОВО

Должно быть, Ганночка почувствовала на себе чужой горящий взор. Она забеспокоилась, зашевелилась и даже привстала со своего места. Князь Василий сейчас же отпрянул прочь и, схватив Асю за руку, потащил ее за собою назад...

— Смотри, ведьма, — прерывисто крикнул он, — чтобы все было исполнено, как я приказал... Весь твой поганный дух вышибу, ежели sluкавишь, а теперь убирайся, вернись ночью!.. Чтобы у тебя все было готово... Вон!

Ася бесшумно, как тень, скрылась.

— Эй, Гассан, — закричал и захлопал в ладоши Агадар, — коня!

— Прикажешь мне быть с тобой, господин, — спросил появившийся на зов, словно из-под земли, Гассан.

— К дьяволу на рога! — закричал на него Агадар. — Один на усадьбу еду!.. У вас здесь свое дело... Что наезжие холопы?

— Угощаются по-твоему велению, господин, — было ответом, — все исполнено, как ты приказал...

— То-то! Чтобы к ночи все они замертво перепоены были... Сонного порошка в брагу подсыпь, но чтобы все они пластом лежали, когда я вернусь... Запорю, жилы вытяну, ежели что не так будет...

— Будь спокоен, господин! — ответил Гассан. — Верою и правдою мы тебе всегда служили, и теперь послужим. Не наше дело раздумывать, что зачем; что ты приказываешь, должно нам исполнять, не прекословя.

По виду Гассан был совершенно спокоен, но его узкие глаза так и бегали из стороны в сторону. Видно было, что его душа далеко не была так спокойна, как лицо.

— Все, господин, будет исполнено, все! — повторил он еще раз, — за это я отвечаю тебе!..

Эти слова были сказаны уже вдогонку Агадар-Ковранскому, быстро вышедшему из покоя. Гассан так ловко шмыгнул, что очутился впереди своего повелителя, и, когда князь вышел на крыльцо, здесь уже ожидал его великолепный горячий конь, которого еле-еле могли сдержать под уздцы двое дюжих конюхов монгольского типа.

Князь легко и лихо вскочил на седло. По всему было видно, что он — превосходный наездник. Очутившись в седле, князь огрел коня плетью по крутым бедрам. Тот, храпя и дико озираясь налитыми

кровью глазами, взвился было на дыбы, стараясь сбросить с себя всадника, но напрасно: князь Василий словно прирос к седлу, и град ударов нагайкой заставил смириться могучее животное перед человеком. Конь опустил передние ноги и рванулся вперед. Как раз в это мгновение князь дико гикнул, взвизгнул, и испуганный конь вихрем помчался вперед, роняя на белый снег клубья багрово-кровавой пены.

Все это заняло минуты полторы, не более. Трудно было заметить, как скрылся князь за поворотом дороги, — так быстро унес его конь. Конюхи и Гассан стояли на крыльце, как очарованные.

— Лихо, шайтан его пополам разорви! — пробормотал один из них, приходя наконец в себя.

— И вот постоянно он так-то, — ответил другой, — столько в нем силы да удали молодецкой, что и размыкать где, их не знает...

Гассан, слыша эти слова, вздохнул полной грудью и тихо, с явным сожалением в тоне голоса, произнес:

— В степи бы родимые вернуться ему! Там простор по нему, а здесь, в Москве, он — что орел в клетке. А кровь дедовская так вот и играет... Эй, да что... Воля Аллаха такова и против нее не пойдешь... Идем, что ли, к гостям-то?.. Поди, заскучали без нас!

Он повернулся и побрел в дом.

У дверей в сени Гассан остановился и как-то нехотя сказал:

— Не по сердцу мне затея господина нашего!

— А что? — недоумевая, спросил следовавший по пятам за ним конюх, — будто зло какое затеает: ишь, угощать велел...

— Ну-у! — Гассан раздумчиво покачал головой, махнул рукой и перешагнул порог.

А в это время князь Василий мчался по наезженной дороге. После нескольких минут бешеной скачки он свернул в сторону и, сдержав коня, заставил его войти в кустарник, окаймлявший дорогу. За кустарником вилась чуть заметная тропинка, и по ней-то Агадар-Ковранский и направил коня.

Мглистые весенние сумерки уже переходили в ночь. Однако было достаточно светло, когда после довольно далекого пути князь добрался через лес до обширной поляны, со всех сторон окруженной вековыми соснами. Посредине этой поляны стояли богатые — похожие, впрочем, на крепость хоромы, около которых раскинулись разные службы. Это было поместье Василия Лукича.

Каждый устраивается по своему вкусу, и дикость места, должно быть, в совершенстве соответствовала дикой натуре Агадар-Ковранских, этих недавних выходцев из прикаспийских степей. Они как будто хоронились от людей в этой лесной глуши, и все, по крайней мере и князь Василий, и его отец, и дед, жили двойственной жизнью. На Москве, близ царя, они были совсем другими людьми. Там они сдерживали свои порывы и казались не хуже остальных царедворцев, но, попадая из Москвы в свое поместье, сразу же обращались в дикарей; все наносное спало с них, души как будто освобождались от всех внешних покровов, от всего, что сдерживает порывы, и в своем поместье князья Агадар-Ковранские были тиграми в логовищах.

Князь Василий Лукич был последним представителем своего рода. Он был единственным сыном своего отца, уже давно умершего. Матери князь Василий даже не помнил — она умерла, когда он был еще ребенком. Единственной родной душой у него была старуха-тетка по-матери, которую он обожал со всею пылкостью своей страстной натуры. Марья Ильинишна, так звали тетку князя Василия, вдова незнатного дворянина, воспитала его, сироту. Она заменила ему мать, но не могла справиться с дикостью и пылкостью племянника в детстве, а потом, когда он вошел в зрелые годы, справляться с ним было уже поздно. Все-таки Марья Ильинишна была во всем мире единственным существом, которое имело хотя какое-нибудь влияние на буйного, своевольного удальца. Старушка была уже дряхла и от лет слаба телом, но ее разум был светел и душа чиста от всякого зла и житейской скверны. Она безвыездно жила в лесном поместье племянника и благодаря этому всем, кто был около нее, жилось довольно сносно.

К ней-то и помчался из своего дома на опушке леса князь Василий, чтобы поделиться с нею тою радостью, какую доставила его душе мысль об отпущении за дедовскую обиду.

Неукротимый нрав молодого князя был хорошо известен всей его дворне и челяди. Известна была его жестокость в расправах, и это заставляло всех постоянно быть начеку. Едва только конь вынес Василия Лукича на поляну, как в хоромаш уже заметили его, и навстречу кинулись десятки людей. Одни спешили принять коня, другие просто суетились вокруг, третьи рвались, чтобы приложиться к княжеской ручке.

— Государыня-тетушка не легла еще опочивать? — не глядя ни на кого, громко спросил князь, быстро взбегая на крыльцо, и, когда услышал, что Марья Ильинишна только что еще повечерять изволила, отдал новое приказание: — Пусть к ней кто-нибудь бежит и доложит, что, дескать, опять Василий прибыл и позволения просит к ней пойти... — Он остался на крыльце, глядя, как усердные конюхи вываживали перед ним коня. — Чтобы через час он у меня в порядке был! — крикнул князь. — Я назад поеду.

В это время бегом возвратившийся холоп доложил ему, что государыня-тетушка Марья Ильинишна рада видеть своего племянника и ожидает его.

VIII

РАЗБУШЕВАВШАЯСЯ БУРЯ

Несколько робея, вошел неукротимый Агадар-Ковранский в покой своей престарелой тетки.

Перед ним, пока он шел по дому, везде распахивались двери, многочисленная челядь и приживальцы — последних у щедрых князей Агадар-Ковранских всегда было множество — отвешивали ему низкие, подобострастные поклоны. Князь Василий не замечал этого.

У дверей тетушкина покоя сидел низенький дряхлый, седой, как лунь, со сморщенным в кулачок, похожим на печеное яблоко лицом, старикашка, единственный собственный холоп Марьи Ильинишны. Его звали Дротом; хотя крестовое имя у него было совсем другое, но вряд ли он и сам его помнил и откликался только на свою привычную кличку. В качестве не принадлежащего ни к дворне, ни к челяди князей человека, он держал себя самостоятельно и, бывало, не спускал даже князю Василию, и не только перечил ему, но иногда и дерзил, что, впрочем, всегда благополучно сходило ему: так сумело поставить себя в этом логове «диких князей» это беспомощное, бесправное, дряхлое и хилое существо.

И теперь Дрот, хотя и видел подходящего князя, сделал вид, что даже не замечает его. Он не встал с низенькой скамеечки, на которой сидел у дверей, даже головы не поднял, а остался сидеть, как сидел, и вдобавок ко всему замурлыкал себе что-то под нос.

Князь Василий, подойдя почти к порогу, остановился, нерешительно поглядел на Дрота и несколько заискивающим тоном вполголоса выговорил:

— Ну, здравствуй, что ли, старый пес!

Только услышав эти слова, Дрот поднял голову и прошамкал:

— А, это — ты, забубенная твоя голова? Каким ветром занесло? Небось носился все эти дни ветром, ветер погоняя, или у своей персидской прелестницы торчал, на некрещеную красу глаза пяля?

Князь Василий промолчал. На него, обыкновенно вспыльчивого, эти грубые слова как будто не произвели впечатления.

— Тетушка-то не легла в постель? — спросил он. — Молитвы на сон грядущий не прочитала?

— Тебя ждет, — опять шамкнул старик, — ты, смотри, не гниви тетушку... Ишь, к погоде, надо полагать, что-то занедужилась она.

— Что с ней? — тревожно спросил князь, чувствуя, что его мгновенно охватила боязнь потерять единственное дорогое для него существо. — Дюже немощна?

— Говорю, погоду чувствует, может статься, оттепель начнется, так и нуют старые кости... Да ты иди, иди, чего растабариваешь попусту? Ведь, поди, ждет она тебя...

— Ну, ин быть так, — даже вздохнул князь Василий, — пойду! — И с этими словами он робко, осторожно отворил дверь в тетушкин покой и перешагнул через порог.

Прямо на него так и пахнуло теплом, лампадной гарью и запахом различных травяных настоек. В покое была полутьма; единственным освещением здесь были огоньки многочисленных лампадок у образов, еще не завешенных на ночь убрусами. Неподалеку от переднего угла в глубоком кресле с высокой резной спинкой сидела сама тетушка Марья Ильинишна. В сумраке почти не видно было ее, к тому же она совсем глубоко ушла в кресло, что при ее малом росте и совершенно тщедушной фигурке делало ее совсем не заметной. Но князю Василию незачем было разглядывать ее. Дорогое,

сморщенное старушечье лицо всегда было перед его глазами, и теперь он, едва перешагнув порог, радостно крикнул и с распростертыми объятиями кинулся к креслу.

— Тетушка милая, матушка богоданная, — лепетал он, опускаясь на колена и покрывая поцелуями маленькие морщинистые, сухие руки тетки, — прости ты меня, путанника, за то, что я давно у тебя не бывал...

— То-то, — проговорила с лаской в голосе старушка, — забывать ты меня начал, Васенька! Видно, молодое-то к старому не может липнуть...

— Ой тетенька, родимая, — совсем по-детски говорил князь Василий, — да и как же я могу забыть тебя? Ведь один я одише-шенек на белом свете и одна ты у меня кровиночка родимая. Те, что на Москве у нас есть, — только по имени родные, а истинная-то родная у меня только ты одна...

Он продолжал целовать руки Марьи Ильинишны и теперь — обычно неукротимый сорванец, не знавший удержа в своих порывах, — был совсем другим человеком. И в голосе, и в движениях у него было что-то детское, искренне покорное, отражающее неподдельную любовь, душевную ласку.

Старушку тронуло это обращение племянника. Она ласково положила на его голову руку и сказала:

— Ну, так быть по-твоему: прощаю тебе, ежели ты в чем-либо провинился... Господь да пребудет с тобою вовеки, как мое благословение пребывает с тобою... Говори теперь, что приключилось, зачем в такую позднюю пору летел?

Услышав этот вопрос, князь Василий вскочил с колен и выпрямился во весь свой рост. Он как бы весь преобразился. На его лице уже не видно было недавнего детски-доброе выражения, оно стало прежним, мрачно-хищным выражение; его глаза сверкали, он дышал так тяжело, что грудь высоко вздымалась.

Старуха зорко следила за своим племянником.

— Ох Василий, — промолвила она, — не люблю я тебя таким-то!

— Не любишь? — воскликнул тот со страстной пылкостью. — Не любишь, когда я счастлив? Ха-ха-ха! Такое, тетушка, дело мне судьба послала, что, как сделаю его, хоть и умереть не жалко...

— Что? Какое такое дело? Что у тебя, Василий, случилось? — заволновалась Марья Ильинишна.

— Доброе дело, тетушка. Такая птичка в мою берлогу залетела, что не знаю, какого бога и благодарить за это! — и он, прерываясь и путаясь в словах и выражениях, рассказал о появлении в его доме боярышни Грушецкой.

Марья Ильинишна слушала его с большим вниманием.

— Ну что же, — тихо сказала она, когда князь Василий кончил свой рассказ, — чем худо-то? Гость в дому — дар Божий.

Агадар-Ковранский злобно расхохотался.

— Слышал я это! — проговорил он сквозь смех.

— И хорошо ежели слышал, — прервала его старуха, — ежели так, то чего же гогочешь, как жеребец невыезженный? Поди, боярышня-то и годами молода, и собой куда как пригожа?

— Ой тетушка, как пригожа! — пылко воскликнул князь Василий. — Что ангел небесный!

— Уж и ангел! — усмехнулась старушка. — Вот все-то у вас так! Чуть пригожую девку где увидите, сейчас же и ангел... Видно, защемило сердце-то?

Князь Василий усмехнулся, усмехнулся зло, нехорошо; его красивое лицо так и исказила эта дьявольская усмешка.

— А ты помнишь, тетушка, кто такие Грушецкие? А? Не помнишь? Так я тебе скажу, что мой дедушка, царство ему небесное, вора-деда этой самой Агашеньки Грушецкой за бороду таскал...

— Ну так что же из того? — спросила Марья Ильинишна, и в ее голосе послышалась тревога.

— А то, что потом мой дед вору-Грушецкому царем головой был выдан, и тот его срамил и позорил, как хотел...

— Давно то было, Васенька, — печально проговорила старушка, — больно давно!

— Верно, тетушка, давно! Старики-то в земле, поди, сгнили, а вот в моем сердце дедовская обида жива. Мутит она меня, жить мне мешает... Как бываю я на Москве да войду во дворец, так и кажется мне, что все-то там старики на меня с укором смотрят, а молодые прямо так и смеются: ведь дедовская обида неотплаченной осталась, честь не восстановлена, память деда от позора не очищена... Как прослышал я, что Сенька Грушецкий в Чернавске, так с тех пор и покоя мне совсем не стало. Дал я зарок великий при первом же случае с злым ворогом рассчитаться, и вот судьба так-таки прямо на меня его дочку нанесла. Раньше, чем я думал, рок мне счастье послал... У-ух! — дико взвизгнул князь Василий. — Уж я не я буду, ежели теперь своего сердца не утолю... С тем и пришел я к тебе, тетушка родимая, чтобы счастьем своим поделиться. Что скажете мне, мама богоданная?

Ответ последовал не сразу.

Князь Василий стоял перед теткой, мечая на нее огненные взгляды. Он тяжело дышал, страсти так и кипели в его неукротимом сердце.

— Что я тебе скажу, Васенька? — тихо заговорила, наконец, Марья Ильинишна. — А то я скажу, что вижу я, будто негодное ты задумал. Оставь старые обиды! Ссорились старики, меж них потасовка вышла, они в грехе, они и в ответе; что меж них было, то прошло и быльем поросло; отец твой об этом былье не вспоминал, с чего же ты-то старые дела поднимать из могилы вздумал? Оставь, укротись! В чем повинна перед тобой, а тем паче перед твоим дедом Грушецкая? Ты это мне скажи!

— Ни в чем! — глухо ответил князь Василий.

— Ну вот видишь, а ты ей зло — какое, не ведаю, а догадываться догадываюсь, — причинить желаешь! Подумай сам, что ты замыслил! Деда дрались, а внуки рассчитывайся...

— Пусть, пусть! — закричал князь Василий. — Что мне она? Мало ли таких-то у меня перебивало? Одной больше, одной меньше, — счета не испортишь... А через нее я Сеньку Грушецкого помучиться да пострадать заставлю, его седую голову навеки позором покрою... Любо мне будет, когда он ужом от муки душевной извиваться будет, узнав, что его дочка единственная к нему покрыткой вернулась... Хороша она, тетушка! Как ангел, говорю, хороша, и Сенька-то поди гадает, что она царицей стать может: ведь царевичу Федору Алексеевичу жениться время пришло, а царь Алексей Михайлович недужится и на ладан дышит; невест собирать будут со всей земли и Агашку Грушецкую на смотр возьмут. То-то позора будет, когда дознаются, что Агашка — покрытка!.. Грязной метлой погонят тогда всех Грушецких с царского двора, и любо будет это моему сердцу: вот когда долг платежом станет красен... Не отговаривай, тетушка, не слушаюсь...

Он оборвался. Старушка вдруг, повинувшись порыву, поднялась с кресла.

— Не смеешь ты худо сделать боярышне Грушецкой, — заговорила она задыхающимся голосом, — твоей чести княжеской доверилась она, войдя в дом твой...

— Судьба ее нанесла! — прервал тетку Василий.

— Молчи, — собрав весь свой голос, выкрикнула та, — молчи и слушай! Вот тебе мой сказ: ежели ты только посягнешь на боярышню, то и не подходи ко мне... прокляну тебя тогда, окаянного, а сама на старости лет возьму Дрота и уйду, куда глаза глядят, из твоего дома... Пусть я замерзну, пусть меня звери лесные разорвут; это тоже твое дело будет. Я ни малой минуточки не останусь... Прокляну, анафемой будуешь!

— Пусть, пусть! — хватаясь руками за голову, не своим голосом закричал князь Василий, — не могу я жить, пока дедовская обида не отомщена... Как знаешь, делай, государыня-тетушка, убей меня завтра, а эта ночь моя... Завтра я, может быть, сам с собой покончу, ну а теперь... Прощай, прощай!.. Подойти бы к тебе по-прежнему хотел, да не могу: злой дух во мне, он меня не пускает... Родная, прощай!

Князь горько и бурно зарыдал и выбежал из покоя, оттолкнув подвернувшегося ему под ноги Дрота, так что тот далеко отлетел в угол.

Марья Ильинишна бросилась к окну. Внизу у крыльца она увидела при свете смоляных факелов, как князь Василий, выбежав, словно безумный, из хором, вскочил на коня, дико взвизгнул и, нахлестывая своего скакуна нагайкой, исчез, словно злой призрак, в чаще леса.

— Бедная, злосчастная! — едва проговорила старушка и, не будучи в силах справиться с волнением при одной только мысли о том, какая участь ожидает несчастную Ганночку Грушецкую, опустилась без чувств на пол у окна.

IX ТЕМНЫЙ УМЫСЕЛ

Когда Агадар-Ковранский так бешено умчался из своего лесного домика, там все вдруг повеселели. Люди переменялись, разговоры пошли громче, в людской даже кто-то песню затянул... Еще немного — и там, как говорится, «дым коромыслом пошел».

Старый холоп Серега выпил порядочно, но его голова все еще была свежа. Крепок был старик на питье! Старые литовские меда приучили его голову не поддаваться хмелю, да и душа у него в эти часы была все еще настолько неспокойна, что нервное волнение превозмогало опьянение. Серега, как на каменку, лил внутрь себя все, что ему предлагали Гассан и Мегмет, но оставался трезвым.

«И с чего это мне все не по себе? — думалось ему. — Кажись, все благополучно: ишь, какое угощение, словно всамделишные гости, а сердце-то так вот тук да тук!»

И чем дальше шло время, тем все более росла тревога старого холопа. Он ясно видел, что угощают их неспроста...

— Пей, душа моя, пей, — то и дело подливал ему в ковш крепкой хмельной браги Гассан, — спать крепче будешь... Ай-ай, какие тебе сны приснятся!.. Молодым себя во сне увидишь, гурий увидишь, целовать их будешь! — и Гассан, лукаво смеясь, дружески толкал старика под бок.

— Да не охота что-то, — отнекивался тот, — довольно уже, премногим благодарны!

— Чего неохота, чего довольно? Пей! Вот как твои-то молодцы стараются...

Действительно спутников Сереги не мучили никакие предчувствия. Они обрадовались возможности выпить и беззаботно пили без всякой думы о будущем. На них хмель действовал. Обе горничные девки крепко спали и так храпели, что их храп был слышен даже среди шумного разговора нетрезвых мужчин. Да и эти-то были совсем близки к тому, чтобы свалиться под стол.

«А что как нас всех спаивают? — промелькнула мысль у старого холопа. — Ведь похоже на то! Вон и Федюшка совсем посоловел... Ой западня, чувствует это мое сердце! Что делать? Как быть? Ведь беда-то не нам, а боярышне нашей грозит... Ее спасти нужно, но только как?»

Мозг старика, раздраженный и выпитым хмельным, и не отступавшим от него волнением, быстро-быстро заработал. Как-то так случилось, что ни Серега, ни его спутники ни одним словом не обмолвились о вершниках, которых недоставало среди них. Увлечшись изобильным угощением, они просто-напросто позабыли о товарищах, и только теперь Серега вспомнил об отсутствующих.

«Это хорошо, совсем хорошо! — решил он. — Мы-то здесь в западне, а они на свободе остались... Только как мне восточку подать, чтобы стереглись да не попадались?»

И вдруг новая мысль прорезала и осветила в голове старого холопа весь хаос мыслей. Он даже весело улыбнулся, когда его мозг начал работать в том направлении, которое указала внезапно сверкнувшая мысль.

«Была не была, а попробую!» — решил он и, весело подмигнув своему соседу Гассану, задорно выкрикнул: — А и в самом деле, чего кочевряжиться? Все равно раньше утра не выехать, а коли добрый хозяин угощает, грех отказываться... Давай, что ли, татарская твоя образина, выпьем!

— Вот и хорошо, душа моя! — словно обрадовался Гассан. — Пить, так пить... Нам вон Коран запрещает, а и то, когда никто не видит, отчего с хорошим человеком не выпить...

— Верно! — ответил холоп. — Во спасение души всегда выпить можно... Наливай, что ли!..

Спустя совсем мало времени, он уже говорил заплетающимся языком всякие несуразности, то и дело вскидывал на стол локти и примачивался головою на протянутых руках, как бы одолеваемый дремотой, закрывал глаза, зевал и наконец вдруг замер без движения. Видя все это, Гассан и Мегмет переглядывались между собой и загадочно улыбались.

— Выпьем, что ли, еще душа моя? — сказал первый и толкнул Сергея.

Тот промывчал в ответ что-то несуразное, бессмысленное.

— Готов, — тихо произнес Мегмет. — Ты, Гассан, сильнее его потряси да потолкай.

— Чего еще? Разве не видишь? — отозвался тот, но все-таки последовал совету и сильно затряс Сергея за плечо.

— П-шоль! — отмахнулся тот и вдруг скатился с лавки на пол. Гассан и Мегмет переглянулись.

— Связать его, что ли? — спросил первый.

— Чего там! — отозвался второй. — До утра проспит... И сонного зелья не понадобилось... Вон и те уже готовы!

Действительно, все люди Грушецкого, кто где сидел, там и заснули...

— До утра проспят, не просыпаясь, — проворчал Гассан, — а там вернется господин, скажет, что делать... Теперь пойти к Асе, сказать ей, что и как...

В своеобразном «гареме» князя Василия немедленно после его отъезда начался горячий спор. Как только вернулась от своего господина старая Ася, к ней сейчас же кинулась красавица Зюлейка.

— Что, что он? — так и застрекотала она, обнимая старуху и по-детски, нежно ласкаясь к ней. — Сказал что-нибудь?

Ася, сумрачно глядя в сторону, утвердительно кивнула головой.

— Что, что он приказал? — впилась в лицо старухи своими огненными взорами красавица-персиянка. — Ну, скажи, Ася, не томи меня!..

Ася молчала.

— А, не хочешь говорить! — пылко вскрикнула Зюлейка. — Ты, стало быть, не любишь меня? Разлюбила? Уж, верно, об этой русской он тебе приказ отдал? Скажи, о ней?

— Да!

— Ну, я так и знала это. Сердце мое бедное чуяло беду! О горе мне, горе! В чужой, дикой стране, пленница я горемычная... одна, никого у меня нет, все недруги только кругом...

Зюлейка, как сумасшедшая, заметалась по горнице. Она разорвала у себя на груди одежду, царапала ногтями обнажившееся тело, дико визжала, а потом стала прямо-таки выть.

— Перестань! — попробовала уломать ее Ася.

— Не перестану! — упрямо ответила персиянка. — Скажи, что он тебе приказал?..

— Да пойми ты, дитя неразумное, что не могу я: ведь господин приказал ни одним словом не обмолвиться... Убьет он меня...

— А ежели ты мне не скажешь, так я убью себя. Ну Ася, ну милая, пожалей ты меня! Отца у меня убили, мать сама зарезалась, сестер в Турцию увели, одна ты у меня... И ты-то меня пожалеть не хочешь?

Она плакала так искренне, ласкалась так нежно, что Ася стала заметно сдаваться.

— Ну что тебе эта русская девчонка? — спросила она. — И чего ты за нее так беспокоишься, голову теряешь, беснуешься... Жалко, что ли, тебе! Пусть господин позабавится, если ему охота на то пришла.

— Позабавится! — воскликнула Зюлейка. — А я-то?

— Ты что же? Ты останешься, как была...

— Кто знает! Хорошо эта русская девушка, таких я еще и не видывала... Как я могу ей господина отдать? Он теперь думает, что только позабавиться хочет, а потом ее из сердца легко не выбросит... Полюбит он ее, а на меня и глядеть не станет. Вот чего я боюсь. Ну, скажи, Ася, скажи! Ты добрая, ты хорошая... я знаю, что ты меня любишь! Прости ты меня, если я тебя обидела. Не сердись, скажи мне на ушко, что господин тебе приказал!

Говоря так, Зюлейка все с большей и большей нежностью ласкалась к безобразной старухе. Она крепко обнимала ее, осыпала градом поцелуев, называла разными нежными именами. Ася мякла все более и более.

— Вот пристала-то! — притворяясь сердитою, заворчала она. — Скажи да скажи, что господин приказал! А то он приказал, чтобы и старуху, и молодую опоить сонным зельем, а потом, как девчонка заснет непробудным сном, впустить его к ней... Тебя приказал на эту ночь куда-нибудь подальше убрать...

— И как же, Ася, ты осмелишься пойти на это? — спросила Зюлейка, вся дрожа от волнения.

— А разве я могу послушаться? Я — раба и должна повиноваться своему господину.

— Да, это так, — согласилась персиянка. — Но ты вспомни, что, прежде чем быть рабой, ты служила огню, была жрицей в храме огня и тебе ведомы были многие тайны, другим недоступные...

— Да, это так! — вздохнула Ася.

— А теперь ты осмеливаешься начать дело, не зная, угодно ли оно Всемогущему Существу? Ты хочешь, чтобы гнев его обратился на твою голову? Берегись! Всемогущее Существо жестоко покарает тебя... Ты что? Ты стара, но у тебя в твоей стране остались сыновья, дочери. Они будут страдать из-за твоей покорности...

Эти слова произвели на Асю впечатление. Она дрожала всем телом; видно было, что испуг овладел ею.

— Что же мне делать? — простонала она. — Что делать?

— Ты не знаешь? — уже торжественно спросила Зюлейка.

— Ох когда бы я знала! — захныкала старуха. — Научи меня, скажи, разум мой помутился...

— Вызови духа огня, спроси его! Пусть он покажет тебе судьбу этой русской, и поступи так, как желает божество. Или твои чары уже перестали действовать?

— Нет, нет! Дух огня благосклонен ко мне, но, чтобы узнать, что нам нужно, необходимо присутствие этой русской девчонки.

— Только-то? — воскликнула Зюлейка. — Ну, я помогу тебе, моя бедная добрая Ася: я приведу ее к тебе, а ты вызови духа огня, и пусть он поведает тебе свою волю.

Х

СРЕДИ ЖЕНЩИН

Оставшись одна, старая Ася сперва заулыбалась отвратительной улыбкой, а потом беззвучно засмеялась. От этого она стала еще омерзительнее, еще безобразнее. Ее нос загнулся книзу еще более, беззубый рот зиял, как расщелина, а глаза заблестели, как блещут глаза волка, почуявшего близкую добычу.

— Ой, молодость, молодость, — закивала она в такт шепоту своей безобразной головой, — самонадеянная, бесшабашная молодость! Бедная Зюлейка! Она и впрямь думает, что она и умнее, и хитрее меня... Она теперь уверена, что старая Ася пошла на ее удочку, а между тем она сама же попалась в расставленные мною тенета! Да, да! Господин приказал мне сделать так, чтобы эта русская девчонка полюбила его, полюбила без ума, без памяти наяву, когда проснется завтра. Я должна сделать заклинания над ней и непременно не над сонной, а над бодрствующей, и непременно нужно сделать так, чтобы она сама, по доброй своей воле, пришла к моему огню. Она боится старой Аси, а теперь Зюлейка сама приведет ее ко мне...

Наступило молчание. Старуха прислушалась. Кругом царила глубокая тишина.

— Русскую страшит моя старость, — забормотала опять Ася, — и не может она понять, что Ася когда-то была молода и прекрасна,

как она, что Асю любили удалыцы, прославившие Иран своей храбростью, что певцы слагали ей свои чудные песни... Да, было время! И Испогань, и Тавриз говорили с восторгом об Асе, прекрасной жрице огня. Все прошло! Все унесло злое время... Теперь Ася безобразна, теперь она ненавидит молодость и красоту. Она мстит им за то, что они ушли от нее. Да, да! Пусть страдает эта русская девчонка! Я отдам ее господину, он сделает ее несчастной, а проснется она еще больше несчастной: она будет томиться любовью к господину, а он, сорвав цветок наслаждения, будет смеяться над ее любовью...

Она остановилась и прислушалась. В соседних покоях было тихо. Старуха забеспокоилась и заворчала:

— Что же не идет Зюлейка? Где русская девчонка? Гей, мои духи огня, соберитесь на зов вашей повелительницы, послужите мне, как служили прежде!.. Зову вас, собирайтесь со всех сторон света, есть дело! Собирайтесь, приказываю вам, молю вас!

Выкрикивая все это, старуха кривлялась, корчилась, извивалась, ее всю так и дергало: очевидно, Ася приходила в экстаз и уже теперь, когда у нее под руками ничего не было, она способна была произвести потрясающее впечатление на нервного или суеверного человека.

Послышались шелест тяжелых материй и легкие шаги.

Дверь распахнулась, и в покой вошли, почти впрорхнули Зюлейка и Ганночка. Молодая персиянка зорко поглядела на старуху. По всей вероятности, она уже не раз видела Асю в таком состоянии. Ее глаза заискрились, она не удержалась и громко захлопала в ладоши.

— Так, так! — даже слегка припрыгнула впечатлительная Зюлейка и шепнула Ганночке: — Ты — счастливица, сестричка: Асю посетили ее духи огня, и теперь она скажет тебе всю правду... Только не нужно бояться, они не сделают зла.

Ганночка смотрела на безобразно кривляющуюся и дергавшуюся старуху с отвращением и испугом; вообще она начинала чувствовать, что вокруг нее творится что-то особенное.

Правда, Зюлейка была с нею бурно-ласкова, но Ганночка совсем не привыкла к таким ласкам, и они не на шутку пугали ее. Она очень удивилась тому, что ее мамушка вдруг размаялась в тепле, не могла преодолеть дремоту и заснула столь крепко, что как ни тормозила ее боярышня, а разбудить не разбудила. Старушка что-то мычала во сне, но глаз не открывала, и лежала пласт-пластом. Ганночке это сперва показалось очень смешным — старушка уморительно морщилась, пыталась разомкнуть глаза; но потом девушке стало и скучно, и грустно. Зюлейка, уговаривавшая Асю, долго не приходила, и Ганночка от души обрадовалась, когда наконец увидела ее. Все-таки это была женщина, молодая, красивая, и притом же она казалась Ганночке и доброй, и полюбившей ее.

Зюлейке было легко уговорить скучавшую гостью пойти узнать свое будущее: ведь девушки так любят всякие гадания, кто из них не поддается соблазну заглянуть в неведомую даль грядущего и видеть, что их там ожидает?

— Да, может быть, страшно будет? — боязливо спросила Ганночка.

— Нет, нет, — поспешила успокоить ее Зюлейка, — зачем страшно! Ася — ворожея умелая... Она все тебе покажет... Суженого увидишь... А я буду с тобой рядом, никуда не убегу. Я буду тебя за руку держать, и ты меня держи... Вот и не будет страшно... Ганночка все еще колебалась.

— Идем, идем скорее, — заторопила ее молоденькая персиянка, — а то еще твоя старуха проснется, она тебя не отпустит... Пойдем скорее, пока она спит!

Молодая девушка боязливо поглядывала на спящую мамку и не решалась последовать за своей пылкой подругой.

Та заметила эту нерешительность.

— Ай-ай, какая же ты! — заговорила она. — Ну, не хочешь, как хочешь, не пойдем!.. А как Ася гадает-то хорошо! Еще у нас в Испагани все, кто хотел свою судьбу узнать, к ней шли. И всем она правду говорила... ай, как верно говорила! Расскажет, как на ладони выложит! Так-то верно, так-то верно!

Голос Зюлейки звучал так вкрадчиво, ее убеждения были так соблазнительны, что Ганночка в конце концов поддалась искушению.

— Ну пойдем, милая, что ли, — сказала она и даже вздохнула при этом. — Только чур, уговор: ежели очень страшно будет, так я убегу...

Зюлейка с радости осыпала свою молодую гостью градом поцелуев.

— О ты увидишь, что все хорошо будет! — воскликнула она. — Я за тебя рада, ты увидишь все, что тебя ждет в грядущем. Скорее, скорее пойдем!

Что заставляло Зюлейку так радоваться? Пылкая персиянка была искренна в проявлениях своих чувств. Она не считала русскую гостью соперницей себе, не считала, быть может, потому, что не любила князя Василия и даже ненавидела его со всею пылкостью своего горячего, порывистого сердца. Поддаваясь именно порыву, она решила во что бы то ни стало спасти Ганночку, вырвать ее из нечистых объятий Агадар-Ковранского, хотя бы только для того, чтобы досадить ему.

Чем была ей в самом деле эта молоденькая гостья? Так, красивой звездочкой, мелькнувшей в крошечном мраке ее неволи. Но Зюлейка не думала об этом; для нее было главным во что бы то ни стало разбить все замыслы ненавистного ей человека и ради этого она сама пошла бы на все! Она была уверена в своей власти над старой Асей, единственным живым существом, с которым она могла вспоминать свою далекую знойную родину, но вместе с тем знала, что Ася считала себя рабою, и потому воля ее господина была для нее священна. Но для Аси было нечто высшее, чем дикая воля князя Агадар-Ковранского: Ася была огнепоклонницей и веровала, что священный дух огня правит миром и судьбою всех живущих. На родине она была служительницей огня, но и в неволе ее благо-

говение перед ним нисколько не ослабло, а напротив того, еще усилилось, потому что старуха, потерявшая в жизни все, только и жила надеждой, что священный огонь возвратит ей потерянную свободу, и все, чего лишила ее тяжкая неволя.

Чуть не бегом, увлекая за собою Ганночку, она понеслась в тот покой, где их ожидала старуха.

— Вот и мы, вот и мы пришли! — закричала она, прыгая и хлопая в ладоши. — Ты должна погадать ей, Ася!

Старуха зорко поглядела на молодую гостью и кивнула головой в ее сторону:

— А не испугается девчонка, когда явится дух огня? Страшен его лик, голос его — что гром, пламя его сжигает тех, кто выйдет из зачарованного круга... Смотри, — обратилась она к боярышне Грушецкой, — будь тверда, если желаешь узнать, что ждет тебя... Ты можешь увидеть ужасное, так собери все свои силы и ни шага вперед, ни шага назад! Можешь ты это?

Ганночка чувствовала, как замирает в ее груди сердце, но отступать ей не хотелось. Разожженное любопытство победило даже робость.

— Могу! — чуть слышно пролепетала она.

— Так ты твердо решилась?

— Да!

— Тогда пойдем!

Старуха с такой живостью вскочила со скамьи, словно к ней вернулись вновь и молодость, и силы.

— Пойдем, пойдем же скорей! — повторила она. — Наступает ночь, кто знает, что случится до утра!

Зловеще прозвучали эти ее слова. Ганночка так и задрожала, услышав их. Она уже хотела отказаться от гадания, убежать назад к своей старой мамушке, но Ася с легкостью и живостью молодой девушки пошла из покоя. Зюлейка потянула свою гостью за собой, и Ганночка чувствовала, что у нее не хватает сил для сопротивления...

Вся бледная, с туманом в глазах, следовала она за молодой персиянкой, шептавшей ей на ходу:

— Не бойся, не бойся! Я с тобою... Потом сама меня благодарить будешь... Да и как поблагодаришь-то!

Они шли темным, все понижавшимся переходом, заканчивавшимся крутою лестницею. Было темно, хоть глаз выколи. В лицо Ганночки пахло удушливой сыростью. Она поняла, что лестница вела в какой-то подземный погреб; ей хотелось убежать, но для нее уже не было возврата: вряд ли она нашла бы назад дорогу среди тьмы крошечной. Оставалось только одно: послушно следовать всюду за Зюлейкой...

— Стойте здесь, — раздался в темноте голос Аси, — не двигайтесь ни шагу, пока я не позову вас!

Последние слова прозвучали откуда-то издалека, снизу.

Ганночка чувствовала, что ее голова кружится, в глазах ходили огненные блески, сердце так и колотилось в груди.

XI

ЛУЧ НАДЕЖДЫ

Старый Сергей был хитер и находчив. Он сообразил, что в том положении, в каком очутились они, силою им ничего не решить. Оставалась только хитрость. Недаром старик вырос среди литовских трущоб и с первых дней детства бродил по дубравам, охотясь, слабый и беспомощный, на их обитателей. Закон приспособления сказался в нем, необходимость выучила его всяким хитростям, развила наблюдательность, приучила ни в каких обстоятельствах не терять присутствия духа. Все это он сохранил и до старости, и теперь эти качества пригодились ему.

Немного поприглядевшись, он смекнул, что его подпаивают не просто так, ради гостеприимства, а с какой-то особою, пока ему неведомою целью. Поэтому он решил, что раз это так, то нужно пойти врагам навстречу. Ему ли, старому холопу, не суметь притвориться! Ведь всю жизнь он только то и делал, что притворялся, не один раз господина обманывал и от батогов ускользал, так чего же тут маху давать?

Посидев немного за столом и выпив для вида еще хмельной браги, Сергей, как уже известно читателям, свалился под стол и громко-громко захрапел. Однако это было ловким притворством: старик был свеж и его соображение работало с такою быстротою, как никогда.

Простодушные Гассан и Мегмет поддались на удочку. Они были убеждены, что Серега допился до бесчувствия, а он из-под стола слышал, что они говорили, и, чуть приоткрыв глаза, наблюдал за выражением их лиц.

Он быстро сообразил, что дело хуже, чем он мог предполагать: его ненаглядной боярышне Агафье Семеновне грозила беда.

«Как тут быть, как быть?» — вертелась в его мозгу назойливая мысль, но на нее не было ответа.

Серега совсем терялся в догадках: ведь он даже не знал, где его боярышня, как добраться до нее.

Он лежал под столом и страшно мучился, еще никогда не чувствуя себя настолько беспомощным, как теперь.

— А что, — произнес над ним Гассан, — пожалуй, нужно их рядом всех сложить, бок о бок...

— Верно! — согласился Мегмет. — Все они тогда и на виду, и на счету будут.

— Тогда постелим шкуры на пол, да и свалим всех этих пьяниц, — решил Гассан. — Пусть спят, сколько хотят!

Он крикнул что-то на восточном наречии другим слугам; те дружно засмеялись и принялись готовить постель перепившимся наездникам. Потом они довольно-таки бесцеремонно принялись стаскивать их к разостланным шкурам и швыряли их положительно, как поленья дров. Пьяные до бесчувствия люди мычали, бранились, даже отмахивались, но глаз не размыкали и затихали тотчас же, как только попадали на мягкое, пушистое и теплое ложе.

— Этого поосторожнее, — сказал Мегмет, как только очередь дошла до Сереги, — он словно бы и пил меньше всех, вдруг еще проснется, после опять уложить будет трудно.

Они оба бережно подняли Сергея; тот, продолжая притворяться пьяным, заметался, забрыкался, замычал что-то непонятное, но глаз не открыл. Гассан и Мегмет громко смеялись. Теперь они окончательно убедились, что и старый холоп спит так же крепко, как и все остальные.

Побыв еще немного в людском покое, все люди Агадар-Ковранского ушли, вполне уверенные, что наезжие холопы еще долго проспят мертвым сном. И, действительно, в покое раздавались громкое храпенье и сопенье на все лады. Серега лежал, не двигаясь; мысли вихрем проносились в его мозгу, но он решительно не мог ничего придумать. Все, что приходило ему в голову, казалось совершенно не годным, не исполнимым, и бедный старик готов был расплакаться от сознания своего полного бессилия.

Вдруг около него что-то зашевелилось и чья-то рука легко и осторожно дернула его за ногу.

— Дядя Сергей, а дядя Сергей! — услышал он тихий шепот.

Сергей сейчас же по голосу узнал спрашивающего и также чуть слышным шепотом спросил:

— Это ты, Федюнька?

— Я, дяденька, я самый...

— Чего тебе? Я-то думал, что и ты, как остальные, напился...

— Как можно, дяденька! Нешто ты не знаешь, что я хмельного отродясь в рот не брал?..

— То-то и оно... Уж и удивился же я, увидав, что и ты валяешься...

— А я притворялся. Я ведь по-ихнему-то понимаю. Помнишь, у нас полоняник-наймыченоч жил, так я от него по ихнему малость насобачился... Калмыки они из-под Астрахани. Слышь, дядя, плохо наше дело. Неспроста они угощали нас-то: им их князь приказал. Плохо, говорю я, дело: боярышню нашу вызволять надобно. Нас-то тут вином накачивали, а мамку та старая ведьма сонным зельем опоила... Вишь ты, князь здешний до нашей боярышни добирается.

— Что же нам делать, Федюшка? — чуть не в полный голос воскликнул Сергей, приподнимаясь на своем ложе. — Скажи хоть ты... Господь иногда младенцев умудряет...

Федюшка тихо засмеялся и сказал:

— Я-то, дядя Сергей, не младенец, а что делать, знаю...

— Что, милый? — заволновался старик. — Говори скорее! Ве-ришь ли, все мое сердечушко изныло. Ну, говори скорее, что де-лать?

— Что? Да боярышню прежде всего вызволять...

— Тыфу, дурень, — рассердился Сергей, — это я и без тебя знаю... Ты мне скажи, как...

— И это скажу... Добраться до нее нужно... Я-то дорогу приме-тил... Ежели хочешь, поползем — я впереди, ты за мной... Только

так ползти нужно, как змеи ползают, чтобы даже здешняя мышь не почуяла, что мы близко... Вот как! Сможешь?

— Ой могу! Да чтобы я чего не смог для боярышни ненаглядной?.. Вали, Федя, а я не отстану.

— Тш-ш! — шепнул Федька, — слышь, идут сюда калмыцкие нехристи! — и он проворно юркнул в сторону на свое место.

Федька не ошибался. Дверь хлопнула, и в покой вошли Гассан и Мегмет с коптившими, тускло горевшими свечами.

Было уже совсем темно. Гассан и Мегмет, доверенные люди князя Василия, угощая гостей, и сами выпили, вопреки закону Магомета, а потому их лица были красны, и они даже слегка пошатывались.

— Спят! — проговорил первый, направляя тусклый свет на наездных холопов.

— Без просыпа, — ответил Мегмет. — Все ли?

— Все! — пересчитал спавших Гассан. — Поди, и нам теперь можно вздремнуть до князя... Стеречь их нечего...

— Стоит ли? Пожалуй, господин-то теперь скоро примчится...

— Услышим! Со двора тревогу подадут, а мне спать куда как охота... Ты как там хочешь, а я прилягу...

Он подошел к столу и одним духом осушил большой ковш браги, а потом растянулся на лавке и громко зевнул.

Пример Гассана соблазнил и Мегмета. Он тоже принялся за брагу и осушил целых два ковша ее; после этого он повертелся, походил по покою, подошел к спавшим гостям, заглянул в окно, где ни зги не было видно, и тоже растянулся на другой лавке. Скоро их храпенье слилось с храпеньем пьяных холопов.

XII

ТРУДНОЕ ДЕЛО

Видевший все это Сергей потерял всякую надежду на успех предприятия. Он лежал, не шевелясь, с лицом, уткнутым в мех шкуры, и слезы так и подступали к его горлу: его душило отчаяние, все было потеряно, на спасение боярышни идти было невозможно...

Вдруг Сергею показалось, что тускло мерцавший свет слегка заколебался. Он приподнял голову и увидел, что у стола мелькала какая-то фигура, старавшаяся задуть огонь.

«Федюнька, — решил Сергей, — старается, молодец!.. Да сгубит всех он нас», — промелькнула тревожная мысль.

Как раз в это время огонь погас, и покой весь погрузился в кромешную тьму.

Сергея от страха дышать даже перестал. Он был уверен, что калмыки сейчас же проснутся и поднимут тревогу, но по-прежнему в людском покое слышалось только храпенье на все лады. Очевидно, Гассан и Мегмет спали так крепко, что их не разбудило даже внезапное наступление темноты.

«Ай да молодец, Федюнька!» — подумал Сергей с восхищением в душе и опять почувствовал, что его кто-то тормозит за ногу.

— Это ты, Федюнька? — спросил шепотом старый холоп.

— Я, я, дядя Серега, тише ты! Вот тебе мой ременный пояс, возьми его в зубы и ползи за мной, только помни — как змея... Я дорогу к дверям знаю...

Через мгновение оба они уже ползли по полу. Сергей, крепко державший в зубах пояс Федьки, молился всем святым и в то же время восторгался подростком.

«Истинно, Господь послал нам такого паренька!» — думал он.

Федюнька и в самом деле знал, куда ползти. Он осторожно, не произведя ни малейшего шума, открыл дверь и выполз за порог. Сергей последовал за ним. Он не видал, но почувствовал, как затворилась за ними по-прежнему бесшумно дверь, и Федя быстро вскочил на ноги.

— Вставай и ты, дядя Сергей, — уже не так тихо произнес он. — Да не бойся, будь посмелее, а то у нас ничего не выйдет.

— А куда идти-то? — спросил, ничего не видя перед собой, Сергей. — Куда, милый?

— Иди за мной! Вынь пояс-то из зубов, в руке держи, да не выпускай!.. Ну, пошевеливайся! Времени у нас мало... Трогайся!

Старик беспрекословно повиновался своему юному товарищу. Он даже и не подозревал, чтобы Федюнька, бывший среди дворни Грушецкого на простых побегушках, мог оказаться таким смелым малым. Да и положение было таково, что волей-неволей нужно было подчиниться ему. Сергей послушно шел за Федюнькой. Так они, крадучись вдоль стены, добрались до конца перехода и уперлись в какую-то дверь.

— Стой, дядя, — шепнул Сергею подросток, — обожди малость, я взгляну, что там такое...

Не выпуская ремня, который был путеводной нитью для Сергея, Федя тихонько приоткрыл дверь. За нею было так же темно, как и в переходе.

— Шагай, дядя Сергей, смело! — проговорил было Федор, но вдруг стремительно метнулся назад, шепча: — Идут, со светом идут!

Они притаились около двери; Сергей горячо молился, чтобы и на этот раз пронесло беду; Федор весь так и согнулся, нащупывая на всякий случай за голенищем рукоять ножа.

— Чу, — прошептал он, выпрямляясь, — да там никак беда!

На самом деле до них доносились женские голоса.

Это Зюлейка и Ганночка спешили к старой Асе.

Боярышня Грушецкая даже и не подозревала, что так близко от нее находятся беззаветно преданные ей люди; те в свою очередь и на мгновение не подумали, что их любимица-боярышня находится так близко от них.

Ганночка вся была охвачена суеверным страхом, когда осталась одна перед входом в тот погреб, куда, по словам Зюлейки, удалась Ася, чтобы произвести свои чародейские заклинания. Как ей

хотелось возвратиться обратно, как замирало ее бедное сердечко при одной только мысли, что ее ожидает впереди что-то неведомо страшное! Она, дрожа всем своим юным телом, ожидала призывного оклика, но его не было долго, очень долго. Девушка слышала, как где-то капала и, падая, булькала вода; то и дело из каких-то невидимых отдушин налетал ветер, слышалось его тихое, заунывное посвистывание. Суеверный ужас в душе молодой девушки все разрастался. Наконец среди безмолвия раздался хриплый, визгливый крик старухи. Это Ася звала к себе Ганночку.

XIII В ТУМАНЕ ГРЯДУЩЕГО

Не помня себя от страха, Ганночка двинулась вперед на призывный оклик.

— Идем, идем! — как во сне, услышала она голос Зюлейки, откликнувшейся на крик старухи. — Все ли у тебя готово, Ася?

Ганночке показалось, что этот голос звучал где-то совсем далеко от нее. В то же время ей казалось, будто не сама она идет, а ее несет вперед, то и дело колыша, какая-то неведомая волна.

Но вот перед ее глазами блеснул яркий синеватый огонек. Они были в подвале, и Ганночка увидела перед собой небольшой горевший, но не дымивший костер и около него женщину.

Она ни за что не признала бы в этой женщине у костра старой безобразной Аси, той самой Аси, которая возбуждала в ней и страх, и отвращение.

У костра стояла, гордо выпрямившись, не молодая, но и вовсе не старая и отнюдь не безобразная женщина. На ней был странный, никогда не виданный на Руси балахон, красивый, с позументами, нашитыми так, что издали они казались огненными языками. На голове женщины был высокий остроконечный, украшенный такими же позументами-«языками», колпак, сдвинутый на затылок и открывавший лицо.

От отблеска синего огня в костре, это лицо казалось лицом не живого человека, а мертвеца, — так оно было иссиня-бледно. Однако, взглядевшись, Ганночка, хотя и с трудом, все-таки признала Асю. Глаза старухи так и горели огоньками, когда она всматривалась на русскую девушку; ее грудь дышала столь порывисто, что по временам казалось, будто Ася задыхается. Из горла то и дело вырывались хриплые, совсем нечленораздельные звуки. Ася что-то говорила, но Ганночка совершенно не понимала ее. В руках у Аси был длинный тонкий черный жезл, которым она размахивала из стороны в сторону, и при каждом взмахе конец этого жезла вспыхивал синеватыми огоньками.

Во всем погребке разливался сильный сладковатый запах. Ганночка, едва войдя, уже почувствовала, что у нее кружится голова. Однако она пересилила себя и храбро ждала, что будет дальше.

Зюлейка была около нее, и боярышня чувствовала, как дрожит в ее руке рука персиянки. Ясно было, что Зюлейка ощущала страх, но и она старалась держаться, не показывая вида, что боится.

Войдя обе женщины остановились у порога; Ася повелительно протянула вперед свой жезл, как бы запрещая им идти далее. Ганночка испугалась, когда перед нею сверкнули синие огоньки с острия жезла. Она так и замерла на месте, ожидая, что теперь потребует от нее это страшное существо.

Ася между тем сделала шаг вперед и очертила своим жезлом на полу подвала большой полукруг, вполне достаточный, чтобы в середине его могли поместиться и Ганночка, и Зюлейка. Конец жезла, описывающий этот знак, оставил после себя синевато-огненный след, слабо мерцавший и слегка дымившийся. После этого Ася повелительным движением указала Ганночке и Зюлейке место в огненной дуге, где они должны были стать, и, когда это было исполнено, по-прежнему острием жезла соединила концы линии, так что образовался круг, в центре которого очутились теперь обе женщины.

— Мне страшно, страшно! — дрожа всем телом прошептала Ганночка. — Я хочу уйти...

— Нет, нет, — также шепотом ответила ей Зюлейка, — это невозможно... Нельзя уйти... Духи огня, подчиненные Асе, уже здесь, они спялят нас, если мы выйдем из круга...

— Долго ли еще будет этот страх? — опять спросила Ганночка.

— Не знаю! — услышала она дрожащий голос Зюлейки. — Мы должны оставаться, пока нас не выпустит Ася... Тише, тише! Слышишь?

Ганночка пока ничего не слышала.

— Слушай, — заговорила Зюлейка, — духи здесь, я слышу их голоса... Собери свои силы, будь мужественной...

Напрягши слух, Ганночка различила поблизости какое-то бульканье. Казалось, что кипела вода в каком-то невидимом для глаз котле. На костре с синим огнем не было ничего, звуки раздавались где-то позади от гадальщиц. В них не было ничего страшного, но невидимое всегда пугает, и не одних только робких женщин. А тут как раз Ася подошла вплотную к кругу и устремила свои глаза на Ганночку. Та не могла выдержать этот сверкающий взгляд и закрылась от него рукою.

— Уйди, уйди, проклятая! — довольно громко залепетала она. — Не нужно мне твоего колдовства... Ничего я не хочу знать... Ничего! Сгинь, рассыпся! Да воскреснет Бог!..

Но ничто не действовало: Ася не уходила и продолжала смотреть на русскую девушку. Та чувствовала нечто непостижимое: ей казалось, что какие-то невидимые волны льются из этих страшных глаз прямо в ее душу, льются и мутят остатки разума, заставляют кружиться голову, лишают ее воли...

— Сгинь, рассыпся! — еще раз простонала девушка. — Зачем, зачем это?

Ася водила перед ее глазами своим сверкающим жезлом, и Ганночка начинала чувствовать, что ее овладевает непреодолимая дре-

мота. Она даже на мгновение закрыла глаза, но когда вновь разомкнула их, то увидела, что Ася стоит около своего костра с простертой вперед рукой.

Теперь Ганночке уже совсем не было страшно. Она была спокойна, недавний ужас отошел от нее. Она оглянулась и увидела, что Зюлейка опустилась на колени у ее ног и, закрыв лицо полами платья, вся трепещет.

«Чего это она? — подумала Ганночка. — Я же вот ничего не боюсь...»

Она забыла о своем недавнем страхе, и теперь только одно любопытство владело ею.

Совершенно спокойно, без дрожи и трепета, смотрела она на то, что происходило у костра.

Пока Ася держала над ним свою руку, синее пламя в нем то и дело вспыхивало длинными, также синеватыми язычками. От этих язычков тянулся теперь дым, расплывавшийся сейчас же во все стороны. Сладковатый запах становился все более и более ощутительным — так и щекотал ноздри Ганночки. Ее голова опять закружилась, — дым пахнул прямо на нее, но в это мгновение Ася, сорвавшись со своего места, закружилась вокруг костра в неистово-бешеной пляске. Ее движения были так стремительны, что Ганночка не улавливала их. Она слышала дикие привизгивания кружавшейся колдуньи, но почти не различала ее в сгущавшемся все более и более дыму. Так длилось некоторое время.

Наконец огонь в костре ярко вспыхнул и поднялся вверх большим ярко-багровым столбом. Сейчас же пламя опало, и перед глазами изумленной Ганночки была теперь словно завеса из белесоватого тумана.

Ганночка видела, что на этой завесе движутся какие-то неясные тени, весьма похожие на человеческие фигуры. С каждым мгновением эти тени вырисовывались все яснее и яснее. Скоро уже можно было разобратить все. Девушка увидела какие-то постройки. Вглядываясь, она различила терема, палаты, невиданный ею кремль какого-то, очевидно, большого города.

Ей казалось, что она видит постройки этого чудного кремля. Среди них на большой площади было много храмов с золочеными куполами. С одной стороны этой площади она увидела высокие палаты с обширным широким крыльцом, и словно кто-то сказал ей, что это — царский дворец.

Перед ним столпился народ, все с обнаженными головами, а наверху крыльца, окруженный сонмом бояр, степенных и важных, стоял бледный молодой человек в царском одеянии.

Ганночка вскрикнула, увидав этот призрачный, и звук ее голоса глухо прозвучал под сводами погребов. То, что она видела, доставляло ей невыразимое удовольствие.

Девушка чувствовала себя несказанно счастливою, ей хотелось, чтобы видение длилось без конца. Но в это мгновение она услышала болезненный крик, и кто-то не грубо, но сильно схватил ее за руку.

Это было столь неожиданно, что нервы Ганночки не выдержали, она отчаянно вскрикнула и лишилась сознания.

На дворе у княжеского дома слышалась суетня; ржали и фыркали лошади, люди кричали на разных языках, мелькали зловеще-багровые огни смоляных факелов; несмотря на глухую уже ночь, весь дом сразу ожил.

XIV

ВЫЗВОЛЕННАЯ БОЯРЫШНЯ

Рука, столь грубо нарушившая очарование, во власти которого находилась Ганночка, была ей не совсем чужая. Это Серега и Федюнька, полные желания во что бы то ни стало спасти свою неоценимую красавицу-боярышню от грозившей ей позорной участи, наконец-то нашли ее.

Когда они, испуганные внезапно показавшимся светом и звуками человеческого говора, дрожа и волнуясь, захлопнули дверь, то все-таки — по крайней мере Федюнька — не совсем потеряли свою бодрость и не забыли той цели, к которой стремились.

После той до дерзости смелой проделки, которую выкинули они, уйдя из-под носа своих спавших вблизи сторожей, их нервы уже попривыкли к опасности, и страх, этот предвестник близкой беды, минул.

— Дядя Серега, — прошептал Федюнька, — слышь ты: мимо бабы шли... Да очнись ты, ишь, ополоумел! Очнись, скажи хоть словечко...

Сергей взглянул на подростка, и ему стало стыдно Федьки, выглядевшего как ни в чем не бывало и даже улыбавшегося. Только длинный засапожный нож в его руках показывал, что он готов лицом к лицу встретить всякую опасность.

— Слышь, дядя Сергей, что я говорю, — толкал он старика под бок, — бабы!

— Может, оборотни! — пробормотал в ответ тот, понимая, что ему в данном случае нужно хоть что-нибудь сказать.

— Чего там оборотни? Какие оборотни? — насмешливо проговорил подросток. — Ежели оборотни, так с ними всегда крестом да молитвой справиться можно. Это — настоящие бабы, как полагается... — Федор вдруг замолк и на мгновение глубоко задумался. — Слышь, дядя Серега, что я тебе скажу, — вдруг воскликнул он, — ведь там наша боярышня была!

— Да ну? — даже растопырил руки от удивления старик. — Врешь!

— Чего вру? По голосу узнал...

— Право, врешь! И чего ей в чужом доме, ночью, по разным закоулкам шататься?.. Посуди сам, пойдет она?

— А вот пошла, — торжествующе, с сознанием собственного достоинства ответил Федор. — Мало ли что на свете бывает! — с философской рассудительностью закончил он.

Сергей все еще продолжал не верить, и Федор стал заметно волноваться.

— Ну, ты как там желаешь, — сознавая свое превосходство в создавшемся положении, проговорил он с неудовольствием, — хочешь за дверью стоять — стой, твое это дело, попадайся Гассанке с Мегметкой на зубы. А я пойду...

— Куда, куда, миленький? — засуетился Сергей, сильно обеспокоенный создавшейся перспективой остаться одному среди темного перехода совершенно не знакомого ему дома. — Куда ты пойдешь?

— Как куда? Куда шел: боярышню вызволять! — ответил Федор и смело отворил дверь в покой за переходом.

— Стой, Федя, стой, миленький! — засуетился перепуганный старик. — Ежели ты, так и я за тобой. Вот только где твой ременный пояс? — шарил он во все стороны вокруг себя руками.

Федор тихо засмеялся и протянул ему руку, сказав:

— Держись!

Они вошли в неосвещенный покой.

Ночь уже наступила; на небо взошла луна и ее слабый свет лился внутрь покоя через слегка запотевшие окна. Благодаря этому вокруг смельчаков была не столько темь, сколько таинственная, порождавшая всюду тени полумгла. Кое-как, с большим трудом, но все-таки же можно было оглядеться вокруг.

Было мертвенно тихо, и эта тишина, как казалось Сергею, веяла чем-то могильным. Он чувствовал оторопь, но ему стыдно было выказывать ее перед подростком, и он старался держаться бодро.

— Ну, вот, — заворчал он, — говорил ты: «Идем!». Пришли, пришли, а теперь куда?

— Постой, не торопи! — огрызнулся Федор. — Дай сообразить.

Он начал повертываться во все стороны, потом отошел к двери, через которую они проникли в покой.

— Свет вот с этой, правой стороны видился, — размышлял он вслух, — стало быть, шли отсюда, а выходит так, что шли справа налево, выходит, стало быть, что нам нужно налево идти. Там-то дверь непременно должна быть! Поглядим...

Он начал осматривать стену, пришедшуюся от него налево, и скоро радостно вскрикнул: он действительно нашел ход!

— Идем, дядя, идем, — потащил он за собой Серегу, — засапожник-то у тебя при себе?

— Нет, — с сокрушением ответил старик, — должно быть, обронил я его, как ползли. Да и не нужно его, я и голым кулаком не хуже управляюсь...

— То-то! А то ведь идем мы с тобою неведомо куда, кого встретим — тоже неведомо. Может быть, боярышню-то отбивать придется.

— Ладно, — пробормотал старик, — не сдадим!

Они шли тем же понижающимся уступами переходом, по которому перед ними проходили Ганночка и молодая персиянка.

Идти им приходилось очень медленно, цепляясь за стену, переступая шаг за шагом. Сергей скоро почувствовал утомление и дол-

жен был то и дело останавливаться для отдыха. Это страшно злило Федора, но делать было нечего, не мог же он оставить товарища одного в темном переходе...

Наконец, спустившись по мокрым, скользким ступеням, они очутились у входа в подвал, где чародействовала старая Ася. Прежде всего они увидели пелену из дыма, образовавшую как бы стену, на которой им решительно ничего не было видно. Перед этой стеной, выпрямившись во весь рост, стояла с высоко поднятой головой их красавица-боярышня, а у ее ног полулежала молодая персиянка, которую Сергей уже не раз видел в эти часы.

— Смотри, смотри, — прошептал на ухо Сергею Федор, — там, за дымом, у окна, старая колдунья лежит...

— Тогда не зевай, парень, возьмем боярышню...

— Возьмем, возьмем, хотя бы силой. А то тут задохнется.

Теперь, уже не думая скрываться, и старик, и подросток кинулись к своей милой боярышне Агашеньке, и Сергей схватил ее за руки как раз в то мгновение, когда она видела перед собою на высоком крыльце молодого бледного царевича.

Ганночка, почувствовав прикосновение мужских рук, вскрикнула, как бы пробуждаясь от тяжелого сна.

— Кто это? — дрожащим голосом проговорила она. — Где я?

— Молчи пока, боярышня милая, — услышала она в ответ знакомый голос Сергея, — хотели злые люди погубить тебя, да мы подросли; уж мы-то тебя в обиду не дадим, скорее жизни лишимся, чем хоть волос с твоей головы упадет...

Он не договорил. Обессиленная от впечатлений Ганночка лишилась чувств. Она упала бы, если бы старый холоп не успел подхватить ее на руки. Федор не мог оказать ему помощь. Очнувшаяся от своего полузабытья Ася вцепилась в него, визжала, кусалась, царапалась. Федюнька, не в силах освободиться от нее и не видя помощи от Сергея, быстро пришел в ярость.

— Отцепись, змея подколотная, — крикнул он. — А, ты не хочешь! Так вот тебе!

Он со всей силы ударил старуху по голове рукоятью засапожного ножа. Та тихо вскрикнула и отвалилась от малого; Федор сильно толкнул ее, скорее отшвырнул прочь от себя и кинулся к Сергею, державшему в охапке боярышню и, видимо, положительно не соображавшему, что ему теперь нужно делать. Около них уже суетилась Зюлейка, очевидно, тоже не понимавшая, что происходит вокруг нее. Персиянка что-то лепетала; ни Сергей, ни Федор не понимали ее, но они видели, что эта женщина настроена к ним отнюдь не враждебно, и быстро сообразили, что могут получить от нее помощь.

— Ну, ну, милая, — ласково заговорил Сергей, — проводи нас скорее, где мамушка нашей боярышни, а то нехорошо ей, воеводской дочери, по подвалам пребывать! Ну, ну, не кочевряжься, показывай, что ли, путь! Куда идти-то? А не то!..

Старик, слышавший поднявшуюся на дворе тревогу и боявшийся всякого промедления, сделал угрожающий жест.

— Да брось ты ее, — остановил его очутившийся около него Федор, — сами выберемся, той же дорогой пойдем. Ишь ты, ведунья проклятая, туда же: нашей боярышне колдовать вздумала! Идем, идем. Вот тут ихний фонаришко валяется, — ткнул он фонарь, который принесла с собой Зюлейка, и, подняв его, пошел вперед к выходу из подвала, в котором пахучий дым сгущался все более и более.

Зюлейка кинулась вперед; видимо, участь Аси нисколько не трогала ее и она словно позабыла о ней. Позади всех старый Серега нес в своих медвежьих объятиях бесчувственную Ганночку.

Когда они вышли в верхний переход, то тревога и суматоха распространились уже по всему дому.

— Что еще там случилось? — сумрачно проворчал Сергей. — Эх, только бы до мамушки добраться!

Это им удалось вполне благополучно благодаря путеводительству Зюлейки. В покое, отведенном для гостей, было все тихо; мамушка крепко спала на жарко истопленной лежанке. Ее сон был столь крепок, что, когда Сергей попробовал разбудить ее, это ему не удалось.

Они уложили все еще бесчувственную Ганночку на постель, и около нее сейчас же примостилась Зюлейка.

Так прошло несколько времени.

— Идут, — вдруг вся так и взметнулась Зюлейка, заслышав приближающийся к дверям их покой шум, — господин идет!..

— Пусть идет, — спокойно проговорил Федор, вытаскивая нож.

Зюлейка тоже вытащила из складок своего платья длинный тонкий кинжал, а Сергей, у которого не было никакого оружия, схватил за конец тяжелую скамью.

Шум становился все ближе и ближе.

XV

В ЛЕСНОЙ ТРУЩОБЕ

Князь Василий себя не помнил, вынесшись от своего родного дома в адски темный лес. Он хлестал мчавшегося вихрем коня, как будто боясь, что за ним будет погоня, которая опять вернет его назад и снова поставит перед неумолимой, как пробудившаяся совесть, теткой. Князь Василий спешил уйти, потому что боялся Марьи Ильинишны.

Впервые он ослушался, вышел из ее воли. Он слышал ее угрозу и понимал, что старушка исполнит сказанное. Но страсть так мощно владела его существом, что даже и угроза боготворимой тетки не могла подавить ее веления.

— Пусть, пусть уходит! — говорил себе князь Василий. — Пусть все уходит, никого мне не нужно, никого! Пусть я один останусь на белом свете, но все-таки дедовская обида будет отомщена...

Однако, едва он подумал об отмщении старой дедовской обиды, как ему сейчас же пришли на память слова Марьи Ильинишны. И

вдруг его охватила невыразимая злоба против старушки, которую он всю жизнь по-детски пылко любил.

«Да, да, — с всевозрастающим озлоблением думал он, — не твоя, старая карга, московская роденька обижена, от ворога страдала... Чужая обида, известно, не больна! Пусть бы кто-либо одного из твоих московских петухов тронул, так-то ли бы ты запела, а то чего требуешь? Чтобы я, князь Агадар-Ковранский, да за деда во сто крат не расплатился. Я! Да в моих жилах, может быть, кровь ордынских ханов течет, — от того-то я так всех московских бородачей и презираю. А тут простить, забыть! Нет, никогда!»

И князь Василий, словно ослепленный, с бешеной яростью принимался нахлестывать и так уже терявшего силы коня, бить его по крутым взмыленным бокам коваными каблуками своих тяжелых сапог. В душе его клокотало безумие, ярость слепила его.

Обуреваемый своими огненными думами о сладкой мести, князь не заметил того, как метался из стороны в сторону несчастный конь, не понимавший, чего требует от него его господин. Он под ударами рвался вперед, насккивал на попадавшиеся ему деревья, в диком ужасе отбрасывался от них прочь, садился в снег на задние ноги и снова, побуждаемый градом жестоких ударов, кидался вперед, не разбирая дороги, которую он давно уже потерял...

А князь Василий даже и не замечал этого. Он сознавал, что мчит-ся по лесу, но обычен ли был его путь, о том он даже и не думал.

Кругом стояли вековые ели, сосны, опущенные снегом, сквозь их макушки лила свой слабый, кроткий свет луна. Гигантские, слегка колеблющиеся тени лежали на небольших лесных полянках и прогалинах, но ничего подобного не должно было быть на том пути, который вел от лесного поместья Агадар-Ковранского к его заезжему домику на опушке. Князь Василий не замечал даже того, что его измученный конь, делая гигантские скачки, то и дело проваливался в снег, иногда уходя в него выше груди, выкарабкивался опять, кидался дальше; но его силы заметно истощались, прыжки становились все меньше и короче, он начинал часто спотыкаться, а его дыхание перешло уже в сплошное надрывистое храпенье.

Всадник не замечал этого. Упоенный своими думами, теми картинками, какие рисовало ему его расстроенное воображение, он старался представить себе те моменты, когда внучка оскорбителя его давно уже умершего деда очутится в полной его власти. Ни на одно мгновение князь Василий не допускал мысли, что старая Ася осмелится послушаться его приказаний, и случится что-нибудь такое, что помешает ей выполнить их.

Вообще князь Василий не признавал случайностей там, где дело шло об исполнении его воли. Он даже не учитывал их, даже не считал возможным, чтобы его приказание осталось не исполненным и, чем сильнее была уверенность в этом, тем ярче рисовались картины того подлого дела, которое с такою отчетливостью задумал он.

Быть может, если бы Ганночка Грушецкая не была так хороша собою, то князь Василий был бы более благодетен. Может быть,

если бы на ее месте был ее отец, то и наследственная ссора тут же прикончилась бы примирением. Но Ганночка пробудила в своевольном князе Василии дикую, животную страсть. Он хотел ее всем пылом своей мятежной души, но в то же время знал, что насилие было бы скверной подлостью, которая навсегда легла бы позорным пятном на его честь и почесть его рода. Не в силах справиться со своими дикими желаниями, он подыскивал всевозможные оправдания для внезапно задуманного позорного преступления, и наиболее ярким из них была наследственная обида.

Но как только он перестал думать о мести, переставал рисовать себе картины своего будущего преступления, совесть где-то в тайниках его души начинала громко протестовать против задуманного, и это более всего приводило в ярость Василия. Он спешил подавить, заглушить этот ужасный голос, но ему не удавалось, и он, приходя в неистовую ярость, совершенно терял голову, даже не соображая того, что путь в лесу уже потерян и что, не будь этого, он уже давно был бы в своем доме на опушке.

Вдруг измученный конь страшно захрапел и остановился, как вкопанный. Князь Агадар осыпал его градом бешеных ударов и так рванул удила, что морда коня сразу окровавилась. Животное тогда обезумело. Инстинкт предупреждал его о какой-то непосредственно близкой опасности, но теперь боль пересилила инстинктивный страх.

Конь, страшно храпя, взвился на дыбы; однако всадник удержался и продолжал сыпать удары. Животное, дико заржав, попыталось сделать гигантский прыжок, как бы желая переброситься через что-то, но сила изменила ему. Конь упал на передние ноги и глубоко зарылся в снег.

Князь Василий страшным толчком был выброшен из седла и упал через голову на снег. С проклятиями он сейчас же вскочил на ноги, кинулся к коню, схватил его за поводья, но в следующий же момент невольно отступил назад, и по всему его телу вдруг пробежал холодок оторопи.

При слабом свете луны он увидел поднимающуюся из-под снега чудовищную голову. Ярко горели громадные глаза, лязгали огромными клыками страшные челюсти огромной пасти. Из больших ноздрей вырывалось обращавшееся в пар смрадное дыхание. За головой показались огромные плечи, к остолбеневшему князю Василию тянулись толстые, словно обрубки бревен, мохнатые, с ужасными ногтями лапы. Это выходил из берлоги внезапно потревоженный медведь.

Князь Агадар стоял, как вкопанный, крепко ухватив рукоять своего охотничьего ножа, и глядел перед собой.

Чудовище медленно поднималось из своего зимнего логова. Это был медведь-великан, каких и в те времена было немного. Он вытянулся весь из своей берлоги, и, поднявшись на дыбы, медленно переваливаясь с ноги на ногу, колотя себя лапами по груди, пошел прямо на князя.

Князь Василий понял, какая опасность надвигается на него, и обнажил нож. Чудовище подходило все ближе и ближе, его смрадное дыхание обдавало князя Василия. В инстинктивном ужасе он подался назад и сейчас же со стоном упал: он чувствовал страшную боль в ноге и понял, что вывихнул ее при падении.

XVI ЗА ПОДМОГОЮ

Три вершника Грушецкого, о которых вспомнил старый Серега, не видя их среди остальной челяди своего поезда, незаметно отделились от него еще в то время, когда обоз подходил к домику Агадар-Ковранского.

Парни действовали на свой риск и страх. Они твердо памятовали то совещание, которое было между ними, когда среди леса у них совершенно неожиданно сломались полозья у кибитки с боярышней, и считали, что ехать на ближнее селение за подмогой — дело уже решенное. Поэтому-то, не долго думая, и никому не сказываясь, даже старому Сереге, едва поезд с величайшим трудом двинулся вперед по указанному Федькой направлению, они отделились от него и повернули назад. Оттого-то и не заметил старый Сергей того, как они ушли.

Все трое вершников были молодые, здоровые парни, не любившие ни над чем особенно долго задумываться. Они были литовцы, и выросли в лесных трущобах, где всякого зверья было куда больше, чем людей. У себя на родине они привыкли находить дорогу, там им была известна каждая лесная тропка, но здесь все им было чужое: даже деревья казались совсем иными.

Но это нисколько не смущало молодцов.

— Ладно, — сказал один из них, когда они углубились в лес (дорога к поместью Агадар-Ковранского была ими примечена, когда они проезжали мимо нее), — не заплутаемся. Не впервой в лесу-то бывать!

— А ночь? — опасливо заметил другой. — Стемнеет — зги не увидишь...

— По звездам путь найдем. Ночью-то звезд и здесь несоримая сила...

— Вестимо так, — поддержал товарищей третий вершник, — не сидеть же нашей боярышне невесть где. Боюсь я, как бы беды какой не приключилось!

— А что? — разом спросили оба вершника. — Какая беда-то? Нешто ты слышал что?

Ответ последовал не сразу.

Вершники углублялись все далее и далее в густой лес. Деревья-исполины стеной стояли по обе стороны дороги и затемняли слабый свет угасавшего дня. Само собою даже в сердцах привычных людей рождалась невольная жуть. Казалось, и лошади испы-

тывали то же чувство, что и люди. Они шли неохотно, пофыркивали, храпели.

— Так о какой беде-то ты говорил давеча, Митроха? — нарушив молчание, переспросил первый вершник. — Или прослышал что-либо?

— Он там, на ночлеге, — засмеялся второй, Константин по имени, — все с бабами да девками толкался, так у него всяких сплетен, поди, целый воз понабрался...

— Помалкивай, Костька, вместе были, — огрызнулся Дмитрий, — а ежели Ванятка про беду спрашивает, — кивнул он на первого вершника, — так, поди, ты и сам на ночлеге слыхивал, сколь лют здешний князь Василий Агадар-Ковранский.

— Верно, верно, ежели ты про такую беду, — отозвался Константин. — Дюже лют князь Василий до девок и баб; ежели которая помилее, так и на глаза ему лучше не попадайся. Я так полагаю, Митроха: как бы от него нашей боярышне какой проторы не вышло?

— То-то и оно, — произнес опасливый вершник, — ты то сказал, что я подумал.

Иван внимательно слушал, что говорили товарищи.

— А почему тут вы про лютого князя Агадара заговорили? — спросил он. — Ведь к нему в его усадьбу за подмогой едем и его же хулим. Какое он касательство к нашей боярышне иметь может? Ишь, что медведь в лесную чащу забрался. Так что же он нам?

Дмитрий раздумчиво покачал головой, Константин засмеялся.

— Ты — совсем простота. Ванятка, — сказал первый. — Какое касательство? Да нешто боярышня-то наша — коза, а не девка, прости Господи? Нешто она — не красота писаная? Ведь всякий, кто поглядит на нее, вовек ее не позабудет, а сам сердцем иссушится.

— Так это, — одобрительно крикнул Иван, — это ты, Митроха, правильно. Вот к нам на границе какие паны наезжали, от Вильны, а то и от Варшавы самой, так, как взглянут на Агафью Семеновну, так сразу же и начинают млеть. Ну да не о том сейчас речь. А ты скажи вот, при чем этот лютый князь до нас?

— А притом, — поспешил ответить ему Дмитрий, — что, как сказывали нам на деревне, как раз у лесной притулицы есть у него жилье, — там у него персидская баба-красавица под присмотром такой же персидской ведьмы живет; для забавы они, значит, кормятся...

— Слышь, — опять перебил товарища Константин, — из-за персидского моря он их сюда вывез. Там-то он ее на аргамака, что ли, выменял, ну, и здесь забаву себе устроил...

— А в том же жилье у него татар и калмыков нагнано без числа, — перебил Дмитрий, — и все они на него, князя, как своего бога молятся и во всем его без слова слушают...

— Именно, именно! — воскликнул Константин. — Скажет он им убить кого-либо — убьют! Скажет он им церковь Божию

сжечь — сожгут, скажет, чтобы примеченную бабу или девку приволочь, — приволокут...

— Да и мало того, — заметил Дмитрий, — княжеские веления исполняя, и сами охулки на руку не кладут. Так вот я и думаю, что беда, ежели лютый князь Василий в том своем логове у персидской бабы прохладается, а тут наша раскрасавица-боярышня на глаза попалась...

— Не сдобровать ей! — согласился Константин. — Кажись, Федька-пострел прямо-таки на княжеское логовище наших и вывел...

Иван ничего не ответил; и в его душу закралась внезапная мысль о грозившей их любимой боярышне опасности.

Воцарилось тяжелое, грустное молчание; люди молчали, слова не шли им на язык. Лесная дубрава тоже молчала. Слышался только хруст проталого снега под копытами лошадей.

Так прошло несколько времени.

— Вернуться бы, — прервал тоскливое молчание Митроха, — у нас ножи и кистени, а у тебя, Ванятка, вон и пицаль за плечами болтается.

Иван досадливо махнул рукой и произнес:

— Никто, как Бог! А наших там немало. Ежели что, так есть кому за боярышню постоять, да и Серега там верховодит. Уж он-то боярышни не выдаст, горой за нее встанет. И оборониться есть чем: у кучеров и засапожники, и кистени...

— Ну, будь так! — согласился Константин, а Митроха, поглядев вверх на небо, добавил:

— А вот, ребята, туда ли мы идем-то?

Действительно, только теперь они сообразили, что их путь длился непомерно долго. Согласно тому, что им говорили в деревне, где они ночевали, от проезжей дороги до лесной усадьбы князя Агадар-Ковранского верхом немного больше часа ходу было, а по расчету Ивана они пробирались через лес куда больше двух часов. Да и сама дубрава стала заметно редеть.

— Ой не туда, — воскликнул Константин и задержал лошадь, — заплутались мы...

— Чего заплутались, каркай, ворона! — крикнул на него Иван. — Видишь, из леса выбираемся, стало быть, какое-нибудь жильё да близко.

Он не ошибался. Когда они выбрались из леса и пробрались сквозь его опушку, перед их глазами раскинулась деревушка. Там были люди, а получить подмогу вершникам было все равно от кого.

— Айда, родные, туда! — крикнул Иван, показывая на деревню рукой. — Поди там крещеные живут, не откажут подмогой в беде нашей.

Он и на этот раз не ошибся. Вершников с лаской приняли в первой же избе, на которую они поехали, и только покачивали головами, когда узнали, что поезд остановился близ заезжего дома князя Василия.

XVII

ПО ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ

Поселок принадлежал к вотчинным владениям князя, и люди Василия там так же, как и в других окрестных селениях, изнемогали от его взбалмошной жестокости. А люди здесь жили особенные — лесовые; жизнь среди лесного зверья, в постоянной борьбе с ним и с природой наложили на них особый отпечаток: это были не жалкие равнинные рабы, а гордые душой граждане леса.

Когда приютившие вершников жители прослышали о дорожном приключении, они только головами закачали, и один из них вымолвил:

— Кто его знает! Может, боярышню-то и не посмеет тронуть, а все-таки лучше бы ей подальше от него...

— Тогда надобно скорее вернуться! — проговорил с тоской Иван. — Кто там знает, что там вышло...

Дмитрий и Константин нерешительно переглядывались между собой.

— Будто и ночь уже! — заметил первый.

— Ну так что же? — сумрачно поглядел на него Иван. — Или ночь не поспать для боярышни трудно!.. Слышь, что говорят здесь? Дмитрий заметно смутился.

— Ночь не поспать — что! Да еще ежели для нашей боярышни, — ответил он, — а вот с пустыми руками вернуться нам негоже... Ведь кузнеца нам надобно, а поедет ли кто отсюда на ночь глядя? Пожалуй, и человека не найдешь...

— Не даром поедут, заплатим, что следует, да еще прибавим, — возразил Иван. — Или здесь деньги так дешевы, что лежанье на печи куда их дороже?

Его слова оказались правдою. В самом деле из-за денег нашелся кузнец, да и еще четверо посельчан, знавших лес вдоль и поперек, как свои пять пальцев, вызвались быть проводниками.

Последнее было очень приятно заблудившимся вершникам: теперь они были уверены, что плутать им по лесу не придется. Они тем временем и закусили, и выпили, и незаметно пришли в самое благодушное настроение.

— Ишь ты, словно на охоту собрались! — даже засмеялся Константин, когда увидел собравшихся провожать их парней.

И в самом деле те были с топорами у пояса, у каждого по ножу, а у одного за плечами виднелась даже рогатина.

— Нельзя иначе, — отозвался на замечание вершника парень, — у нас тут всякого зверья не счесть.

— Волки, что ли? — спросил Дмитрий. — Кажись, волчий вой мы слышали, как сюда ехали; далеко в стороне, и, зная, стоя большая была...

— Волки — что! Волки — мелочь. Медвежьих берлог тут много. Сколько мы их тут за зиму подняли, — видимо-невидимо!

— Видели и мы это добро! — отозвался Иван. — Где только этой твари не водится! У нас под рубежом их тоже не занимать стать...

— А у вас с чем на медведя идут? — полюбопытствовал другой парень из лесовиков.

— Разное! С рогатиной, а сперва из пищали бьют...

— Что пищали! — махнул рукой третий парень. — В пищали верности нет; либо промахнешься, либо осечка... То ли дело рогатина! Принял на нее медведя, пусть себе барахтается, как напорется, только смотри, чтобы за голову тебя не сграбал...

Наезжие вершники быстро dokonчили предложенное им угощение, живо собрались сами и скоро, несмотря на ночь, все пустились в путь через лес.

Идти теперь было не страшно и не грустно: шли ввосьмером. Лесовики, желая сократить дорогу, повели вершников по им одним известным звериным тропкам. Идти приходилось гуськом. По временам, словно тени, перебегали дорогу путникам всякие зверушки: то юркнет лиса, то прошмыгнет серый русак; на мелкое зверье никто не обращал внимания, и только лошади боязливо прядали ушами да начинали храпеть, когда где-нибудь поблизости мелькала живая тень. Но вдруг всех заставил остановиться и замереть на месте отчаянный, надрывистый крик человека, которому сейчас же, словно эхо, ответил грозный рев; от него кровь заледенела в жилах даже привычных ко всяким звукам звероловов.

Первым пришел в себя вершник Иван.

— Господи Иисусе Христе и Ченстоховская Божия Матерь! — выкрикнул он. — Да никак это медведь живого человека дерет!

— Похоже! — сумрачно ответил ему лесовик.

Крик, перешедший уже в сплошной вопль, повторился, но снова его заглушило грозное рычание.

— Так чего же мы тут-то стоим? — опомнился вершник Иван. — Не дадим, братцы, христианской душе без покаяния погибнуть... Нас много, кто за мной?

Он сорвал с заплечья пищаль и отпугнул от нее сошник.

Вопль и рычание зверя раздавались совсем близко; можно было идти на них, не опасаясь сбиться с направления. Все двинулись разом за Иваном.

XVIII

В ОБЪЯТИЯХ ЛЮТОЙ СМЕРТИ

Кричал князь Василий, сразу, как только он упал, почувствовав нестерпимую боль в ноге и сообразив всю грозившую ему опасность.

В самом деле еще никогда его полная всевозможных приключений и неистовств жизнь не висела на волоске так, как висела она в эти мгновения.

Зверь был огромный и, видимо, страшно разозленный неожиданным пробуждением. Может быть, счастьем для Агадар-Ковранского было то, что выпав из седла, он упал в снег.

Медведь не сразу заметил его. Внимание зверя в первые минуты было привлечено конем, отчаянно барахтавшимся и делавшим страшные усилия, чтобы выбраться и умчаться вихрем от лютото чудовища. Но медведь недолго занимался им. Инстинкт подсказал зверю, что поблизости есть враг, более опасный, чем это хрипевшее четвероногое, и лесной гигант стал оглядываться вокруг. Напряженные до последней степени нервы князя Василия не выдержали и он, не помня себя, крикнул, призывая на помощь.

Крик показал страшному зверю, где находится его враг; он страшно зарычал и пошел к своей жертве.

Отчаяние придало силы несчастному Агадар-Ковранскому. Он поднимаясь, опираясь на левую руку и пересиливая нестерпимую боль, причем в правой руке зажал обнаженный нож. Но что значило это жалкое оружие? Разве только царапину мог он, истомленный болью, нанести лесному чудовищу! Смерть взглянула прямо в глаза князю Василию, и перед ним вырисовалась вся наносная, обуявшая его безумная скверна, вспомнились уговоры Марьи Ильинишны, и отчаяние охватило его. Он невольно содрогнулся, когда перед ним промелькнули все неистовые ужасы, виновником которых он был на своем веку.

Смерть теперь не шутила с ним, она была неизбежна. Страшный зверь, рыча и сопя, подвигался все ближе, и в такие отчаянные мгновения нет такой крепко спящей совести, которая не проснулась бы и громко не заговорила в самом загроубелом сердце.

Князь Василий не сомневался, что настал его конец; страшная боль приковывала его к земле, он не мог двинуться, а потому лишь только размахивал ножом.

Это раздражало разъяренного зверя. Однако медведь, казалось, был в недоумении и не знал, что значит то обстоятельство, что человек не встает перед ним. Вероятно, у него уже не раз бывали схватки со своими ожесточенными двуногими врагами и он знал, что те никогда не ждут его нападения, а всегда сами нападают первыми. Тут же было как раз наоборот: человек не наступал на него, а лежал беспомощно и только раздражал его, махая чем-то перед ним.

Зверь топтался на одном месте, не зная, что ему делать, и только ревел и колотил себя по груди, не осмеливаясь подступить к лежащему человеку. Быть может, это и спасло князя Василия от его страшных когтей; но в те мгновения он ничего не соображал, всего его охватила страшная жажда жизни. Он, этот свирепый человек, делавший зло ради зла, жалобно молился и ждал чуда...

И чудо свершилось. Князю Василию вдруг показалось, что он слышит людские голоса, а потому, собрав все силы, закричал, призывая к себе на помощь.

Но он сейчас же забыл о голосах: зверь, очевидно, привыкнув к виду лежащего неподвижно на снегу человека, сообразил, что никакой опасности ему не грозит, что враг совершенно беспомощен, и сделал шаг вперед.

Еще шаг-другой — и лесное страшилище кинулось бы на свою жертву, а тогда князь Василий в одно мгновение расплатился бы за все свои злые дела, совершенные в течение его недолгой жизни. Но как раз в этот момент послышалось словно жужжание небольшого шмеля, из-за кустов сверкнул огонек, потом грянул выстрел, и как будто какая-то сила швырнула страшного зверя далеко в сторону, и он страшно заревел. Однако теперь в его реве слышалась уже не одна только ярость, а также внезапная нестерпимая физическая боль. Пуля достигла своей цели. Медведь завозил лапами по своей огромной морде, видимо, стараясь стряхнуть, стереть слепившую его кровь из неожиданной раны.

Теперь он уже вовсе не понимал, что происходит, откуда получен этот неожиданный удар, кто и где были его новые враги.

А они уже стояли перед ним. Трое из них кинулись к лежавшему на земле уже без чувств князю Василию, а двое направились к зверю, и лесной гигант, протерев свои залитые кровью глаза и двинувшись вперед, сразу же напоролся на острую рогатину.

— Принял, что ли? — воскликнул вершник Иван и размахнулся топором.

— Принял! — последовал короткий ответ лесовика. — Лобань космача, да, смотри, шкуры не попорть!

Топор опустился на башку медведя, но скользнул по ней и рассек ее наискось, не нанеся смертельной раны.

Зверь страшно заревел, замахал лапами, стараясь дотянуться до стоявшего перед ним человека, а острая рогатина все глубже и глубже впивалась в его тело.

Лесная тишь была нарушена. Раздавались человеческие голоса, рев раненого зверя. Удары теперь сыпались на него безостановочно. Вот он сделал инстинктивное движение, как бы поняв наконец, что ему несдобровать в схватке с этими могучими врагами, но было уже поздно: острие рогатины впилось в сердце и разорвало его. Медведь сильно качнулся набок, взметнул лапами, страшно заревел, а потом грузно рухнул на снег, вырвав при падении рогатину из крепких рук охотника, и затрепетал в предсмертной агонии.

— Инда упарился! — снял меховой колпак и отер пот со лба лесовик. — Ишь как возиться пришлось!..

— Н-да, — согласился Иван, — этакая здоровая махина... Грузный какой! — И он ткнул затихавшего зверя ногой и даже плюнул на него.

XIX

ИЗ ОГНЯ В ПОЛЫМЯ

— Пойти взглянуть, — проговорил лесовик, — кого из беды вызволить пришлось.

— А знаешь кого? — очутился около них кузнец из поселка. — Да самого нашего лютого князя Василия Лукича!

Лесовик заметно вздрогнул.

— Врешь! — закричал он. — Быть того не может!

— Поди, сам погляди, ежели не веришь...

Смельчак-парень надвинул на голову колпак и пошел к кучке товарищей, которые окружили потерявшего сознание Агадар-Ковранского.

— Взаправду князь? — спросил он подойдя.

— Он самый, — ответили лесовики.

— Кабы знать было то, — отозвался один из них, — так и пальцем не пошевелили бы, пусть бы его на здоровье медведь заломал...

— Вестимо так, — сказал другой лесовик, — медведь меньше зла творит, чем князь Василий; известно — Божья скотина...

— А как князь мучил нас для забавы! А вон теперь лежит и не двигается... Видно, зверь-то лесной — не наш брат, лютовать под ним не моги...

Князь Василий беспомощный, жалкий, без сознания лежал на снегу среди этих явно враждебно настроенных против него людей.

Пожалуй, и лучше было, что сознание покинуло его... Судьба, вырвав его из когтей одной опасности, кидала его в объятия другой, еще более грозной...

— Расступись-ка, братцы! — раздался звучный голос того лесовика, который принял на рогатину медведя. — Дай мне взглянуть на князьенку!

Голос этого смелого человека звучал как-то совсем особенно. В нем ясно слышались и злоба, и тоска, и нестерпимая мука.

Люди расступились.

— Ой, князьенка, — прерывисто захрипел лесовик, — вот как нам встретиться пришлось... Бог-то все видит: бывает время, что и богатым поплатиться нужно... Так-то! Дайкось топор-то! — обратился он к ближайшему из товарищей.

Тот в ужасе попятился.

— Ой, ой! Пришибет он князя-то, — пронесся кругом тихий шепот.

Лесовик злобно засмеялся.

— Миловать не буду, — коротко произнес он и добавил с невыразимой тоской в голосе, — сестренку, им для забавы замученную, вспомнил... Давай топор!

Тут сказалось все, что накопело на душе этих измученных людей. Отуманенный клочковавшею в нем злобою человек видел перед собой тирана и не задумывался совершить кровавое преступление...

— Разойдись, братцы, — выкрикнул лесовик, которому кто-то из товарищей сунул в руку топор, — я в грехе, я и в ответе, а вы ни в чем не повинны... У-ух! — размахнулся он топором.

Но опустить удар на голову бесчувственного князя Василия ему не пришлось.

— Не трожь! Чего ты? Или Бога позабыл! — раздался около него окрик, и чья-то сильная рука ухватила, как клещами, его руку и отвела в сторону. Это был вершник воеводы Грушецкого,

Иван. — Не трожь, не моги, — повторил он, — вспомни, на какое дело идешь!

— Ты чего? тебе-то что? наши счеты...

— В них я не встречаюсь, — твердо ответил Иван, — а у нас на Руси лежачего не бьют... Видишь, князь-то, словно мертвый, валяется, а ты его такого-то пришибить задумал... Небось кабы он на ногах был, так не посмел бы... Брось, тебе говорю, топор, не то, смотри, худо будет! — И Иван изо всей силы сжал кисть руки лесовика.

— Ты — чужой, — пробормотал тот, — нечего тебе промеж нас встречаться... Небось не тебя его княжеская лютость коснется... А он, наш князь-то, говорят тебе, хуже зверя лесного...

— Пусть! — столь же твердо, как и прежде, возразил Иван. — Вот очнется он, лютый твой князь, и делай с ним, что тебе душа велит, а до тех пор не трожь, не дам!

— И взаправду, Петюшка, — подошел кузнец, — дурное ты замыслил... Сердце-то ты свое потешишь, а потом каяться придется. И никакой поп тебе такого греха не отпустит. Потому, какой он враг сейчас? Малое дитя и то забрыкается, как топор над собою увидит, а он лежит и не дрыгается...

— Верно, верно он говорит! — раздались со всех сторон голоса. — Брось, Петюха, будет у тебя время с ворогом за все поквйтаться... Оставь! Не дадим мы тебе душу свою загубить...

— Так это! — опять заговорил кузнец. — Нет ни в одном нашем поселке и во всей округе никого из подлых людей, кто не хотел бы вот, как ты теперь, ему, князю, топором голову раскроить... И стоит он того, окаянный, но убить-то его надо в честном бою, а не тогда, когда он даже не поймет, кто его убил... Не примем на себя его крови, ребята! Пусть Петруха на сей раз уймется...

— А-а, — не то застонал, не то заревел Петр, — провались вы все и с князем окаянным вашим, — и он бросил топор. — Делайте, как хотите, берегите его на свою голову!.. Мало им в округе девок да баб перепорчено, мало на роду медведями для потехи народа перетравлено?.. Так и еще больше будет! Хотите того — пусть, а мне с вами не дорога... Нянчайтесь с окаянным... Эй вы, проезжие, ай-да, за мной! — И, не обращая внимания ни на князя, ни на товарищей, Петруха пошел прямо через кусты вперед.

Смущенные вершники Грушецкого последовали за ним.

XX

УСПОКОИВШАЯСЯ БУРЯ

Оставшиеся после ухода Петра и вершников лесовики несколько времени стояли молча вокруг своего князя. Удручающе действовала на них вся предыдущая сцена. В душе каждый сочувствовал Петру и каждый действительно был готов поступить, как намеревался поступить он, но слова чужого человека пристыдили их: им и в

самом деле показалось незамолимым грехом убить бесчувственного князя даже в отмщение за все то зло, которое причинял он им.

— Ну, и ввалились же мы! В недобрый час из избы вышли, — проговорил один из них, нарушая тягостное молчание.

— И в самом деле, — проворчал другой, — гораздо лучше было бы на печи сидеть.

— А уж если вышли да такое дело приключилось, — выступил третий, — так не сидеть же нам весь век тут...

— А что делать-то? Ну, скажи! — слышались вопросы.

— Как что? Посмотрим сперва, жив или помер князь-то? — И лесовик подошел к князю Василию и потряс его за плечо.

Тот слабо застонал.

— Ишь, жив! — с заметным неудовольствием и даже, вернее, с досадой пробормотал один из лесовиков. — Пойдет теперь перепалка...

— Да его, кажись, и зверь не ломал! — заметил товарищ.

— Значит, таково хорошо, что и лесному зверю противен, — философски промолвил первый, — и в аду не надобен.

— Полно вам, братцы, — отошел от князя возившийся около него лесовик, — немощный он, а немощный хоть и враг, но милосердия достоин... Лучше обсудим, что нам делать... Трое нас, рук довольно...

— Что? Да сволочь его в лесное его логово, тут напрямки совсем близехонько, особливо, ежели через чашу!

— Так-то так, а только троим нам не снести! — сказал молодой лесовик, косясь на тушу бездыханного медведя.

— Скажи лучше, шкуру бросить жалко! — заметил ему товарищ.

— И то верно, — согласился тот. — Батюшки, да чего мы думаем? Ведь конь есть, наезжие холопы его вытянули из берлоги, пока мы тут с князем возились...

Действительно Митроха и Константин, заметив бившегося почти под землей коня, воспользовались удобным моментом и освободили его.

— Где же он, конь-то? — вода всюду взглядом, спрашивал лесовик постарше. — Что-то нет его...

Коня и в самом деле нигде не было видно.

— Сорвался да улегся, вот тебе и все, — решили лесовики.

Князь между тем метался и стонал. Он все еще не приходил в себя, его стоны были сильны и надрывисты. Видимо, даже будучи в бессознательном состоянии, он сильно страдал.

— Не снести нам его, — твердил лесовик помоложе, — рук мало, да и шкуру здесь оставить нельзя... Попробуй-ка уйти, сейчас лисы явятся, да и волки пожалуют, весь мех перепортят...

— Так оно выходит, — согласился лесовик постарше, которому медвежьей шкуры было гораздо больше жаль, чем своего князя. — Тогда вот что, — предложил он, — пусть кто-нибудь на усадьбу сходит; и впрямь тут через чашу недалеко, пусть подмогу дадут... Чу, слышите!

Где-то в отдалении раздавались человеческие голоса. Издали доносились ауканье, кликанье, громкие удары колотушкой по набатному билу.

— Ишь, — даже испугались лесовики, — ищут самого!

Они не ошибались.

Сорвавшийся конь примчался прямо в лесное поместье князя Агадара и переполошил там всех. Через старика Дрота весть о примчавшемся коне была передана Марье Ильинишне и та, поняв, что с племянником случилось что-то дурное, сменила свой гнев на милость и не на шутку забеспокоилась. Как-никак, а она любила князя Василия, как родное дитя, любила его со всеми недостатками, всю жизнь жалела его, а узы такой любви не рвутся в одно мгновение, что бы ни говорил внезапно вспыхнувший гнев.

Вспокоилась старушка; куда только и сон девался, откуда и силы взялись. Она загоняла своего старого Дрота, отдавая распоряжение за распоряжением, и глаз больше не сомкнула до рассвета, пока наконец разосланные холопы не принесли из леса стоновавшего князя Василия.

По приказанию старушки, он был уложен в постель. Страшно страдая, князь то бормотал, то лепетал что-то совсем несуразное. Видимо, ему пришлось пережить сильнейшее потрясение, и он всецело находился под впечатлением его.

Старушка с тревогою смотрела на метавшегося в лихорадочном жару племянника, и слезы проступали на ее глазах.

В усадьбе Агадар-Ковранских был весьма искусный костоправ. Марья Ильинишна немедленно вытребовала его в хоромы, и он ловко вправил вывихнутую ногу князя. Тот, почувствовав облегчение, сейчас же крепко заснул, и только тогда уставшая донельзя старушка удалилась в свои покои.

На свете так уж устроено, что стоит сойтись троим, четверым людям — добрым, честным, дружным между собою, — и непременно один среди них окажется сплетником. И не то чтобы его сплетня была злостная, а просто хочется ему рассказать о том, чего другие не знают еще. Вот и начинает такой человек хвастаться своим всезнайством, болтать, нисколько не думая о последствиях своей болтовни.

Так было и тут.

Когда холопы подобрали князя, то двое лесовиков остались обдирать зверя, а третий, надеясь получить благодарность, увязался за людьми Агадар-Ковранского. Это был молодой и словоохотливый не в меру парень.

Он уже по дороге начал с подробностями, которые только в одном его воображении и существовали, рассказывать, как они, провожая наезжих вершников-холопов, натолкнулись на громадного медведя, готового задрать молодого князя. Когда же малый очутился на кухне и выпил хмельной браги, то его язык уже совсем развязался, благо вокруг него набралось много слушателей. Он рассказывал, и как княженьку хотел зарубить сердитый на него за сестру Петруха, и как его руку задержал от рокового удара наез-

жий холоп воеводы Грушецкого. Не преминул он сообщить и то, что наезжие холопы сильно беспокоились, как бы князь Василий не испортил их боярышни, а потому так и спешили уйти от места ночного происшествия.

— И ладно, что они Петруху да кузнеца с собой увели, — высказывал свои предположения разболтавшийся лесовик, — кузнец-то ничего, а Петра, кабы остался, так пришиб князеньку бы!

— Выходит так, — вмешался Дрот, — что они, Грушецкого холопы, нашего князя спасли!

— Выходит, что так! — согласились с ним почти все слушатели.

Тотчас же все подробности этого рассказа через Дрота стали известны Марье Ильинишне. Старушка даже заплакала, слушая их.

— Господи милосердный, — шептала она, — сколь неисповедимы пути Твои! Воистину сказано, что ни единый волос не спадет с головы без воли Твоей... Злое задумал Васенька на наезжую боярышню, а вот как вышло: ее же люди от гибели неминуемой его вызволили... Вот пусть светает только, соберусь да поеду сама, погляжу на красавицу...

XXI

НЕОЖИДАННОЕ ЗНАКОМСТВО

Томительные мгновения пережили и старый Серега, и юный Федька, пока за дверью слышались приближавшиеся шаги.

— Не сдавай, Серега, — шепнул старому холопу кравшийся к двери подросток, — все равно, где погибать, здесь ли, или в Чернавске у воеводы... Я живым не сдамся.

Старый Серега ничего не ответил, а только еще крепче сжал и выше поднял дубовую скамью. Зюлейка, вынырнувшая из-за полога, так и замерла в ожидании.

Весь этот шум разбудил, наконец, спавшую мамку.

— Что вы, что вы, оглашенные! — спросонок заголосила не знавшая, в чем дело, старуха. — Разбойничать в чужом доме задумали?... Вот я вас! Кшшш... окаянные!

— Молчи, бабушка, — тихо, но внушительно проговорил Сергей, — спала ты, а мы в лютую беду попали...

— Что зря мелешь? — выкрикнула мамка. — В какую еще там беду?..

— А в такую: боярышню ты проспала бы, кабы не мы...

Старуха привзвизгнула и, закрыв лицо руками в немом ужасе, присела на пол.

В это время дверь приотворилась и Федор, согнувшись, как кошка, уже готов был прыгнуть вперед. Однако, радостно вскрикнув, он выпрямился, и даже нож выпал у него из рук.

— Дядя Серега, — во все горло заорал он, — брось скамью-то: наши там, Константин с Дмитрием и сам Ванятка... пропащие! Там еще какие-то, а здешнего хозяина и не видать и не слышать...

Действительно, за дверьми были возвратившиеся вершники, но, отстраняя их, вперед продвинулось двое совершенно не знакомых людей.

Один из них, оставшийся позади, был в черной монашеской сутане, выдававшей в нем, как и едва заметная тонзура, католическое духовное лицо.

Другой, красивый молодой человек, скорее — юноша, с гордым и смелым лицом, в богатом польском одеянии, прямо прошел в покой и зорко окинул взглядом всех находившихся там.

На его лице отразилось нескрываемое удивление, когда он увидел и нож, валявшийся у ног Федора, и Сергея, все еще державшего за край скамью, и сидевшую на полу старушку-мамку. Он сразу же понял, что эти двое, а с ними и красивая молодая женщина с кинжалом, только что были готовы на отчаянную борьбу для защиты кого-то им дорогого, и только их появление успокоило их отчаяние, укротило их решимость.

В это время Ганночка пришла в себя. Она услышала шум, голоса и, преодолевая слабость, поднялась с постели и вышла из-за полога. Молодой поляк сейчас же увидел ее и сразу понял, что это-то и было то дорогое существо, ради которого эти люди готовы были пожертвовать своей жизнью. Одежда Ганночки подсказала ему, что это не простолюдинка, а вполне равная ему по своему общественному положению девушка. Сейчас же на губах юноши заиграла улыбка и, приблизившись к Ганночке, он почтительно склонился перед нею, говоря совершенно чисто по-русски:

— Пан Мартын Разумянский, герба Подляшского, королевский поручик. Прошу прелестную панну не обидеть меня своею милостью и дать мне для привета свою ручку.

Ганночка вся вспыхнула, но, будучи привычной к польскому обращению, с легким поклоном протянула пану Разумянскому руку. Тот припал к ней в почтительном поцелуе.

В покой тем временем все более и более набиралось людей. Однако ни холопов Грушецкого, ни приспешников Агадар-Ковранского не было видно. Новопришедшие и по типу, и по одежам, и по вооружению все были поляки и литовцы. Тут были и старики, и молодые; они держались свободно, но с соблюдением собственного достоинства.

Вершники воеводы Грушецкого, выйдя из леса на наезженную дорогу, прямо и натолкнулись на них, словно нанесла их тут сама судьба.

Пан Разумянский в сопровождении иезуита отца Симона Кунцевича и большой свиты из поляков и литовцев ехал по своим делам на Москву. У него — вернее, у его отца — были поместья и под Смоленском, и в Чернавском воеводстве, и молодой человек был послан родителями, чтобы разобраться в имущественных делах после недавней войны.

Дорога через лес не была прямым путем к белокаменной, но почему-то Разумянский и его товарищи захотели сделать порядоч-

ный крюк и направились именно этой дальней, кружной дорогой, и не какой-либо другой.

И вот вдруг из-за кустов, прикрывавших перелесок, появилось трое конных и двое пеших; среди поезжан начался было переполох, так как встречаемых людей путники приняли было за разбойников — много остро отточенных сабель вылетело из ножен, но, к счастью, недоразумение скоро разъяснилось и все обошлось благополучно.

Вершники простодушно рассказали обо всех своих приключениях, расписали, насколько им позволяло воображение, красоту своей боярышни и высказали опасения за ее участь.

— Хоть сам-то здешний князь, — сказал вершник Иван, — в беду попал и двинуться не может, а кто знает, какой им приказ своим холопам дан?

— Может, приказал он им схоронить куда-нибудь нашу боярышню, — заметил со своей стороны Дмитрий, — явемся и не найдем ее.

— А что наши там есть, — вставил слово Константин, — так с ними управиться легко: заснут с устатку, что хочешь с ними, то и делай... Хоть перебей всех.

В свою очередь лесовик Петруха не поскупился представить проезжим князя Василия в самом мрачном виде.

Разумянский рассеянно слушал Петра, но все-таки время от времени кивал ему головой и говорил:

— Так, так!

Когда рассказ был кончен, Разумянский обратился к своим спутникам:

— Ну что, панове, как вы думаете, что нам делать, как нам быть? Я вижу, что пан Руссов желает что-то сказать, — обратился он к высокому худощавому молодому литовцу, уже несколько раз пытавшемуся вставить свое слово: — Прошу вас, пан Александр!

Литовец тотчас же обратился к товарищам:

— Прошу извинения, паны, и вашего также, пан Мартын, — поклонился он Разумянскому, — но мне известно, что был на рубеже старый московский дворянин Грушецкий и у него красавица — паненка-дочь... Вся округа была от нее в восхищении. Лицом — ангел небесный, и разумом светла... Так и звали у нас красавицу-паненку: разумница! Не про нее ли теперь речь идет? Если только это — она, панна Ганна Грушецкая, — пылко воскликнул Руссов, — то, клянусь всеми ранами святого Севастьяна, я готов ради нее в самое пекло к черту на рога пойти!

— Пан Александр влюблен, — улыбнулся Разумянский. — Он — наш друг и добрый товарищ, паны; мы с ним и плясали, и рубились вместе, так теперь разве не обязанность наша последовать его призыву и оградить от беды его даму, хотя бы для этого пришлось взяться за сабли!

— За сабли, за сабли! Виват Разумянский, виват Руссов! — раздалось со всех сторон.

Крики долго не смолкали; мелькали обнаженные сабли, кто-то выстрелил в воздух. Все было ясно, все было решено: если бы

пришлось ради Ганночки брать штурмом логово лютого князя Василия, то разгорячившиеся паны и перед этим не остановились бы.

Они быстро достигли жилья на опушке. Этот шум и слышали Сергей и Федька, когда были в погребе у колдуньи Аси. Они приняли его за возвращение князя Агадара, но тем больше была их радость, когда перед ними оказались друзья, а не лютый враг.

Ганночка тоже поняла, что случилось такое, что грозило опасностью, и только появление этих избавителей предотвратило грозу.

XXII КРОВОПРОЛИТИЕ

Пан Разумянский после поцелуя руки с восхищением смотрел на Ганночку. Этот восторженный взгляд смутил ее и даже заставил потупиться.

Собственно говоря, Ганночка даже обрадовалась этой встрече. На нее словно чем-то привычным, даже родным пахло от этих напыщенных фраз молодого поляка, так она привыкла к ним, живя в прирубежном имении своего отца. Но в то же время ее смутили неожиданность и полное недоумение, которое ощутила она, оглядевшись вокруг себя. Ей стало стыдно, что этот молодой красавец застал ее около готовых к отчаянной драке холопов, и она подумала, что он непременно осудит ее за это.

Краснея, она пролепетала несколько невнятных слов благодарности.

— Мы прослышали, — слегка поглаживая шелковистые молодые усы, проговорил уже по-польски Разумянский, — что ясновельможная панна попала в гнездо разбойников... Разве не святой долг рыцаря защищать тех, кто в беде? Притом же пан Руссов, — красивым жестом указал Разумянский на литовца, — сказал нам, что панна — дочь знаменитого воеводы Грушецкого...

— Не герба ли Липецка ваш батюшка? — заявил о своем существовании отец Кунцевич.

Очевидно, с каким-то затаенным смыслом он предложил Ганночке вопрос по-русски. Девушка несколько удивленно взглянула на иезуита, который так и пожирал ее взорами, и ответила по-польски:

— Мой предок был из Липецка, не знаю, почему он выселился на Москву...

— И принял там схизму? — ядовито заметил Кунцевич.

Ганночка ничего не ответила.

— Оставим эти разговоры, — заметил Разумянский. — Если кто и в пекле, так далекий предок панны, а она — лучшее украшение рая, клянусь в том булавой Стефана Батория... Приказывайте нам всем, ясновельможная панна, — обратился он к Ганночке, — нет такого вашего слова, которое не было бы для нас законом. Не так ли, панове?

— Так, так, — загремели кругом голоса, и громче других слышался голос литовца Руссова, — умрем за панночку, смерть ее врагам!

— О, в этом отношении мы бесполезны, — с улыбкой проговорил пан Мартын, — за вас, панна Ганна, сама судьба. Она жестоко карает каждого, кто только осмелится помыслить дурное на панну...

— Что, что еще случилось? — испуганно воскликнула молодая девушка.

— Ничего особенного! — пожал плечами Мартын и в весьма цветистых выражениях рассказал о печальном приключении с Агадар-Ковранским.

Ганночка слушала рассказ, закрыв лицо руками. Ей стало жалко князя Василия, даже несмотря на то, что она видела его только мельком. Ведь он не сделал ей ничего дурного, а, напротив того, под его кровом она нашла себе приют ночью; о замыслах же князя Ганночка решительно ничего не знала и даже не подозревала, какой опасности она подверглась бы в эту ночь, если бы судьба не толкнула почти обезумевшего князя на медвежью берлогу.

О собственном приключении этой ночи Ганночка как-то не вспоминала. Гадание в погребке казалось ей сном и ей уже не хотелось теперь наяву вспоминать об этом тяжелом сне.

Между тем оправившаяся от потрясений мамушка пришла в себя, и к ней вернулись обычный апломб и бесцеремонность. Она сразу увидела непорядок и, выступив вперед, заголосила:

— И чтой-то господа бояре или дети боярские, как величать не знаю, будто и негоже здесь перед девицей кочевряться... Прикройся платочком, боярышня, и отвернись к стенке... Пусть вон та лупоглазая белымы таращит... А вы бы, бояре, уходили отсюда! Говорю, негоже вам тут будет... Налетели, словно летние мухи на мед... Идите, идите себе! Идите, а не то я боярышню уведу! — И она энергично схватила Ганночку за руку и накинула на ее лицо платок.

Разумянский иронически улыбнулся, кое-кто из его товарищей весело расхохотался, кое-кто, напротив того, обиделся, и последних было даже больше, так что кругом ясно слышалось довольно громкое ворчанье.

— Прошу успокоиться, паны, — крикнул пан Мартын и, обратившись к мамке, с иронической кротостью сказал: — Ты совершенно права, добрая женщина: мы, грешники, не должны бы быть в раю, но попали мы сюда по особым обстоятельствам и готовы уйти немедленно, как только нам прикажет милостивая панна.

Он еще не кончил своих последних слов, когда откуда-то из отдаленных покоев раздался надрывающий душу вопль, затем другой; потом на мгновение все стихло, но после этого раздался отчаянно громкий крик:

— Убил, окаянный, убил!

В доме начался переполох; со всех сторон только и слышалось:

— Держи убивца! Добьем его! Бей!

Все блестящее общество, собравшееся около Ганночки, недоуменно переглядывалось между собою. Некоторые кинулись к окнам, но сквозь них не могли ничего рассмотреть.

— Пойдемте, панове, узнаем, что там! — предложил Разумянский, которому все это происшествие представлялось преудобным предлогом удалиться из комнаты Ганночки, где они пробыли гораздо дольше, чем позволяли на то приличия. — Припадаю к ногам, — низко поклонился пан Мартын Грушецкой, — пусть не гневается панна, если мы покинем ее. Там что-то случилось, и необходимо наше присутствие... Но пусть панна будет уверена, что мы все — ее верные слуги. Пусть лишь прикажет что-нибудь и она увидит, что только смерть воспрепятствует исполнить нам ее приказание.

Подобострастно вежливо поцеловал пан Мартын руку Ганночки и, низко кланяясь, пошел к дверям; его товарищи начали выходить еще раньше, и наконец покой опустел, и женщины остались одни.

— Не иначе как это — Петруха! — шептал Ивану Дмитрий. — Он всю дорогу бурлил и убить собирался.

— Больше некому, — согласился тот, — побежим посмотрим, взяли его или нет?

Старый Серега и мамушка отошли к окну, в которое уже пробился свет. Серега стал рассказывать о полной событий ночи; к ним скоро присоединился Иван и передал подробности своей поездки за подмогой. Мамушка только ахнула; она понимала, что и в самом деле чуть было не проспала своей красавицы боярышни, хотя никак не могла сообразить, откуда у нее столь крепкий сон мог явиться.

А там, дальше этого покоя, около людской кипело оживление. На лавке один, на полу другой — валялись облитые своей собственной кровью Гассан и Мегмет, головы которых были страшно изрублены топором. Оба калмыка были мертвы. Да и никто не вышел бы после тех зверски страшных ударов, которые были нанесены им.

— Спали они, — рассказывали холопы, — и с чего так крепко, ума приложить нельзя!

Сергей и Федор переглянулись, поняв почему столь крепко заснули оба приспешника лютого князя: они выпили по ошибке ковши с сонным зельем, которое было приготовлено для наезжих холопов, и заснули мертвым сном. Зелье действовало так сильно, что Сергею стоило большого труда растолкать своих людей и горничных девок, не разбуженных даже царившим вокруг них шумом. Проснувшись, они не понимали решительно ничего из того, что происходило вокруг, и с ужасом поглядывали на окровавленные трупы, прибрать которые пока никто и не думал.

Убийцею был, несомненно, лесовик Петр. Первым увидел совершенное злодеяние кузнец, ладивший полозья к возку Грушецких. Петруха пробежал мимо него, размахивая окровавленным топором. Его вид был столь страшен, что перепуганный кузнец завопил о помощи.

XXIII

СНОВА В ПУТИ

Это кровавое происшествие ускорило отъезд Грушецкой из лесного жилья. Кузнец быстро исправил возок боярышни, и около полудня оба поезда уже снова пустились в свою дальнюю дорогу.

Разумянский и все его спутники держались по отношению к боярышне в высшей степени предупредительно; никто из них не лез на глаза Ганночке, и только пан Мартын несколько раз подходил, спрашивая, не надобны ли ей его услуги.

Иезуит Кунцевич во все это время не промолвил ни одного слова. На него нашла глубокая задумчивость. Он был настолько погружен в эти свои думы, что даже не откликнулся, когда кто-нибудь пробовал позвать его. Глаза сухопарого иезуита так и взблескивали; по временам на его губах начинала играть полная скрытой загадки улыбка. Видимо, у него назревал какой-то грандиозный план.

— Святой отец что-то думает, — улыбаясь, сказал пан Мартын, обращаясь к нему, — и держу пари, что я знаю, о чем?

— О чем же, сын мой? — спросил иезуит.

— Конечно же, «о вящей славе Божией»!.. О чем же и может постоянно думать духовный потомок великого Игнатия Лойолы?

Кунцевич улыбнулся и ответил:

— О да, сын мой, вы совершенно правы, именно об этом предмете я и думаю сейчас!

— И что же говорят вам, святой отец, ваши думы?

— Многое!..

Пан Мартын хорошо знал Кунцевича, который постоянно жил в его семье и был его духовным отцом. Этот слабый на вид человек был полон несокрушимой энергии. Он обладал таким упорством достижения цели, каким могли похвастаться немногие из его братьев по ордену. Он был пылким фанатиком, и раз задавался какою-либо целью, то неудержимо стремился к ней. На этом пути он не считался ни с преградами, ни с препятствиями. Тут для Кунцевича все средства были хороши и дозволены, лишь была бы достигнута цель.

Теперь, видя, что Кунцевич что-то серьезно обдумывает, Разумянский даже слегка встревожился, встревожился не за себя, а за Ганночку — он видел, какие взоры бросал на нее иезуит, — и, чтобы поразведать что-нибудь о замыслах последнего, заговорил с ним:

— А что, святой отец, уж не витает ли в ваших святых мечтах прелестная паненка, которую мы так неожиданно обрели в жилище этого московского дикаря?

— И опять пан Мартын прав, — спокойно заметил иезуит, — именно эта схизматичка и наполняет собою мои думы... Скажу больше — она в центре их...

— Ого! — воскликнул Разумянский, и в тоне его послышалась ни с того ни с сего ревнивая нотка. — Слышите, панове! Наш добрый пан Кунцевич влюбился «для вящей славы Божией»... Не

влюбиться ли и нам теперь «для большего посрамления дьявола»? Ха-ха-ха!

Кунцевич совсем спокойно смотрел на юношу.

— Пусть успокоится пан Мартын, — наконец, сказал он, — мне нужна не женщина, а пружинка... да, да пружинка, которую можно надавить и так, и этак... Успокойтесь! Вы, кажется, должны знать, что верить мне можно...

Он отвернулся от Разумянского, и тот замолчал.

Этот разговор происходил уже на дороге. Жилье Агадар-Ковранского было оставлено наспех. Там даже не были убраны трупы убитых Гассана и Мегмета. Их убийца ушел в лес, а растерявшаяся дворянка даже и не подумала пуститься за ним в погоню.

Отдохнувшие лошади быстро мчали возки с поезжанами. Солнце ярко сияло в небесной синеве. Повевал легкий, с небольшим морозцем ветерок, бодривший тело, хорошо настраивавший душу. О том, что осталось позади, никто не вспоминал. Ганночка словно позабыла о своем ночном гадании; что случилось с Асей — даже не приходило ей в голову. Теперь, когда все уже прошло, ночное приключение все более и более казалось ей сном, а о том, что это был не сон, а явь, некому было напомнить ей. Зюлейка спряталась, когда она уезжала, и никто не видал ее; Сергей и Федька, утомившись ночными приключениями, забились в возок для челяди и отсыпались, а мамка сама была так смущена своею оплошностью, что предпочитала молчать.

Однако для Ганночки эти события не прошли бесследно.

Сразу двое новых людей прибавилось в ее жизни: князь Василий Агадар-Ковранский и пан Мартын Разумянский. О первом она вспоминала с некоторым содроганием, образ второго вызывал у нее довольно веселую улыбку.

Пан Мартын нравился молодой девушке. Он был столь резким контрастом князю Василию, что не мог не произвести впечатления на Ганночку, которой была совершенно чужда непосредственность ее земляков, чужда хотя бы потому, что в Ганночке оставалось еще немало крови ее предков, польских выходцев, а голос крови всегда говорил куда громче, чем голос даже многолетней привычки.

Выглядывая из своего возка, Ганночка ни разу не забыла бросить взор в ту сторону, где, по ее соображениям, должен был находиться пан Мартын. И тот словно чувствовал, что молоденькая путешественница не на шутку заинтересовалась им. Он уже давно бросил возок, в котором помещался вместе с Кунцевичем, и, сев на своего коня, уже не сходил с него.

Его примеру следовали почти все его спутники. Пан Руссов, считавшийся любимцем Разумянского, не отставал от него. Они вместе гарцевали и то перекидывались словами, то обменивались улыбками между собою. Они видели, что Ганночка частенько взглядывает на них, это еще больше поджигало их.

— Сто тысяч дьяволов, — вполголоса произнес пан Мартын, — мне это приключение начинает нравиться! А как вам, пан Руссов?

Литовец вдруг ни с того ни с сего как-то особенно заулыбался.

— Чему улыбается пан? — вспыхнув спросил Разумянский. — Или, быть может, он не согласен со мною?

— О нет, — поспешил ответить Руссов, — наше дорожное приключение очень интересно, а панна Грушецкая хороша... хороша... Пусть дьявол скажет, как она хороша, — неожиданно закончил он свою фразу, — я не могу, у меня слов не хватает...

Это признание вырвалось у него с таким полным комизма пылом, что Разумянский невольно рассмеялся.

Руссов, вопреки обычной сумрачности литовцев, был большим шутником и, главное, у него была комическая жилка, благодаря которой он был всюду желанным гостем и дорогим другом во всякой компании молодежи.

— Но, — проговорил он, заканчивая свое признание, — глаза мои слишком слабы, чтобы разглядеть все прелести такого солнца, и я предпочитаю лучше любоваться не столь яркими звездами... Их по крайней мере всегда можно иметь у себя под боком...

Разумянский так и насторожился.

— Что хочет сказать пан? — воскликнул он. — Я не уясняю себе его слов...

— Только то, что около каждого солнца бывают звезды! — ответил Руссов. — Солнца для магнатов, звезды — для бедных шляхтичей... Пан Кунцевич сказал об этом так: «Всякому свое».

Шум, поднявшийся впереди поезда, заставил их прервать эту беседу. Случилось что-то такое, что заставило даже остановить лошадей, и возки, внезапно заторможенные, зарылись в снег.

Поезд уже давно миновал обширную равнину, стлавшуюся за лесным домиком Агадар-Ковранского, и снова проезжал сквозь лес, настолько большой, что на дороге сразу, как только въехал поезд, стало заметно темнее.

Заслышав шум, пан Мартын припустил вперед коня, но осадил его у возка, в котором ехала Ганночка. Девушка тоже услышала шум и суматоху и поспешила выглянуть в окошечко.

Как раз в это время около нее и очутился пан Мартын.

— О, панну все беспокоят! — воскликнул он, обнажая голову и кланяясь Грушецкой. — Клянусь, я сверну голову тому, кто устроил этот переполох...

Ганночка мило улыбнулась в ответ юноше.

Между тем впереди поезда столпились люди; все они громко кричали, махали руками и наконец всей толпою направились в ту сторону, где был пан Мартын.

XXIV

ЗА ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ

Разумянский, оставшись на коне, смотрел перед собой, наморщив брови и нахмутив лоб, чем старался придать себе величественно-грозное выражение. Но это не удавалось ему: серьезность вовсе

не шла к его молодому, красивому лицу; однако пан Мартын считал себя обязанным быть серьезным всегда, когда ему приходилось иметь дело с низшими.

— Что такое? — подоспел к нему пан Руссов. — Кого-то ведут сюда.

В самом деле впереди кучки людей шел высокий, плечистый лесовик, видимо, оставшийся равнодушным ко всему, что происходило вокруг.

— Убивец он — Петруха, — так и взвизгнул Сергей, увидав подходившего.

Да, это был лесовик Петр, так смело кинувшийся на медведя и вызволивший из-под него князя Василия, потом чуть было не убивший его во время обморока и наконец зарубивший у него в доме Гассана и Мегмета. Теперь он совершенно спокойно предстал перед Разумянским.

— Ты кто такой? — спросил его пан Мартын. — Отвечай без утайки!

Петр ухмыльнулся и переспросил:

— Кто я-то? А об этом ты, батюшка, спросил бы окрестных медведей. Лис да барсуков спрашивать нечего, внимания они не стоят, ну а матерых волков, пожалуй, еще поспросать можно... Вон поутру я двоих насмерть положил, Божий свет от их лютости избавил... Будут помнить на том свете, у нечистого в лапах, Петруху из Кобызевки прилесной!

Все это он проговорил ровно, спокойно, без малейшего выражения страха или сожаления в тоне голоса.

— А-а! — вскричал Разумянский. — Так это ты убил тех... там...

— Я.

— И не каешься? — вырвалось у Ганночки, слышавшей весь этот разговор.

Петруха искося взглянул на нее, и затем произнес:

— Чего там каяться? За такое-то дело мне на том свете больше, чем за паука, грехов простится!

Эти спокойные, хладнокровные ответы вывели из себя пана Мартына.

— Так вот, чтобы у тебя грехов поскорее убавилось, — закричал он, весь краснея, — я тебя сейчас повесить прикажу... Эй, хлопцы!

Петруха и ухом не повел на эту угрозу.

— Что же, — проговорил он совершенно равнодушно, — повесь, коли тебе того так хочется... Твоя сила! Только попомни, что я — московского государя и царя подвластный, а не вашего круля... Меня царь-то государь в обиду не даст. Да и за что ты меня повесишь? Я тебя ничем не обидел, на тебя у меня никакого воровства не было! Вышел я к тебе сам, не со злом каким-либо, а с поклоном...

Чем дальше он говорил, тем более туманилось красивое лицо пана Мартына. Он не мог не признать того, что этот смелый парень говорит справедливо, и против его слов ничего возразить нельзя. Но у сильного всегда бессильный виноват. Этот убийца-парень казался

Разумянскому такой незначительной величиной, что и думать о нем было нечего. Уже в том он был повинен, что осмелился дерзко говорить с молодым магнатом, и за это его следовало наказать по заслугам.

Пан Мартын уже был готов подать своим людям знак отвести лесовика подалее в лес и там покончить с ним, как вдруг какая-то закутанная в платок женская фигура, протолкавшись сквозь толпу сбившихся вокруг пойманного людей, стремглав кинулась к нему, упала на колена и залепетала что-то непонятное, но, судя по звукам голоса, долженствовавшее выражать благодарность. Это внезапное появление женщины обескуражило всех. Разумянский смотрел, ничего не понимая, Руссов был бледен и смущенно озирался по сторонам, очевидно, чувствуя себя в эти мгновения очень неловко. Только Ганночка не растерялась.

— Да это Зюлейка! — крикнула она, узнав закутанную женщину.

Это была действительно молодая персиянка.

После того, что произошло в загородном доме Агадар-Ковранского, в котором она была игрушкой чувственных капризов князя Василия, ее ненависть к последнему разгорелась настолько, что даже страх перестал сдерживать ее. Она увидела новых людей, которые нисколько не боялись ее господина. Быть может, если бы князь Василий был налицо, так она не решилась бы исполнить давно задуманную ею выходку: убежать из проклятой неволи, все равно, куда ни убежать, только бы не оставаться около ненавистного человека, только бы не знать его отвратительных ласк. А тут, как на грех, князя Василия не было, и пан Руссов обратил на нее свое благосклонное внимание. Они быстро столковались и, когда поезд Разумянского покидал лесное жилье, в возке веселого литовца, забившись в сено, которым он был устлан, покидала свою роскошную тюрьму и прекрасная пленница-персиянка.

Зюлейка увидела Петра, когда его подвели к пану Мартыну. Шум, суматоха, крики, неожиданная остановка в пути пробудили и в ней любопытство. Петра она видела раньше, когда он после своего кровавого дела уходил от погони в лес, и теперь сейчас же узнала в нем убийцу Гассана и Мегмета. Сообразив, что грозит ему, она, вся отдавшись внезапному порыву, кинулась вперед, желая во что бы то ни стало спасти его.

— Награду ему дать, — выкрикивала она, — он землю от лютых тигров освободил... Не столько князь, сколько Гассан и Мегмет людей мучили. Столь многие плакали от них, нет, не плакали, а стонали! Они были изверги, палачи! Все было от них... Прости его, награди! — кинулась она к Разумянскому и, схватив его стремя, умоляюще смотрела на него.

— Слышь, пан, — вдруг выступил вершник Иван, — у него, у Петрухи этого, те вороги сестру замучили. Князь испортил ее, а потом им отдал; они девку и замучили. Вот и не стерпел парень страшного лиха: вышел случай, и расчелся...

Пан Мартын внимательно слушал все, что говорилось. Неожиданное появление Зюлейки сперва несказанно удивило его, но, взглянув на Руссова, он сразу все понял.

— Не об этой ли звезде, — слегка кивнул он на Зюлейку, склоняясь к литовцу, — и говорил пан?

Руссов заерзал на седле и в тон Разумянскому ответил:

— Я уже сказал вельможному пану, что «всякому свое!»

— Так, так! — улыбнулся Разумянский. — Ну, об этом мы потолкуем после и выпьем за успехи пана Александра Руссова в любви! — Потом, обращаясь к Петру, он постарался нахмурить погрознее брови и спросил: — Так это?

— Все — правда! Вешай меня, ежели хочешь!

В этот момент раздался нежный голос Ганночки:

— Пан Мартын, а пан Мартын!

— Что прикажет ясновельможная панна своему верному рыцарю? — воскликнул поляк. — Прошу помнить, что каждое ее слово — закон для всех нас. Приказывай, божественная!

— Нет, я только прошу пощадить жизнь этого человека. Для меня пощади его, пан Мартын!

Разумянский весь так и вскинулся, будто вдруг вырос.

— Ты слышишь, собачья кровь! — крикнул он, обращаясь к Петру. — За тебя просит панночка!

— Спасибо ей, — усмехнулся Петр, — только мне того мало, что вы меня не повесите...

— Мало? Ах, негодяй! Чего еще тебе?..

— Возьми меня, пан, к себе на службу... Ведь ты на Москву идешь? Верно служить буду и не раз пригожусь! А ты меня не выдашь!

Лицо Разумянского прояснилось. Это обращение к его покровителю сильно польстило гордому поляку.

— Скройся с глаз моих! — крикнул он Петру в притворном гневе. — Иди назад в обоз, собачья кровь, москаль негодный, потом потолкуем, что с тобою делать... Да ясновельможную панну благодари! Уж повесил бы я тебя, если бы не она.

Петр усмехнулся, отвесил поклон Ганночке и побрел вдоль сновя двинувшегося обоза.

XXV

ПОСЛЕ БУРИ

Между тем, пока совершались эти события, и обреченная жертва благополучно избежала грозившей ей опасности, в лесном поместье князя Агадар-Ковранского еще продолжалась драма, в которой эпизод с медведем был далеко не началом конца.

После того как костоправ умело и ловко вправил вывихнутую кость в прежние суставы, и князь Василий заснул мертвым сном, добрая старушка Марья Ильинишна погрузилась в глубокие думы.

Нежданно налетела кипучая гроза и своим вихрем завертела все, что попало под него. Вспышка неповиновения со стороны всегда покорного племянника затронула Марью Ильинишну за живое, уколола самолюбие любящей женщины, но все-таки подействовала лишь поверхностно. Вряд ли старушка привела бы в исполнение свою угрозу и ушла бы из насиженного гнезда. Этого она, быть может, и не сделала бы, потому что слишком любила князя Василия и понимала, что одного нельзя было оставлять его.

Но теперь, когда старый Дрот передал ей все происшедшее в лесу, в особенности попытку Петра убить князя, старушка почувствовала, как она холодеет от ужаса. Ей сразу представилось, какая бездна ненависти окружает ее несчастного любимца, что покушение освирепевшего лесовика — только начало новых бед и что князю Василию несдобровать, если он останется еще в своей лесной трущобе.

«Нужно вывезти его отсюда, — вздыхая, думала Марья Ильинишна, — но как? Не маленький ведь он; пожалуй, и не послушает. Потом нужно эту проклятую ссору прикончить... Эх, пылкая кровь татарская! Деды из рода в род за всякий пустяк отмщали, так вот их-то крови в Васеньке и Москва не охладила. Горячая голова! Того, дурашка, рассудить не может, что если внуки за дедовские обиды будут кровью мстить, так и житье тогда никому на свете не будет... О Господи, Господи!»

От племянника мысли Марьи Ильинишны как-то сами собою перешли к виновнице всего этого переполоха, боярышне Грушецкой.

«Нанесло, знать, судьбою Агашеньку-то! — думала она. — Выходит это так, а не по-иному... Только это я сгоряча подумала ехать к ней, да, сгоряча! Молода она, чтобы я к ней первую явилась... Вот пошлю за ней, дорожным людям в пути день-другой не расчет, пусть погостит, хоть посмотреть на нее, что она за краса такая. Старого-то Семена Грушецкого я теперь вспоминаю; слюнятый парень был, шебарша и пустельга... Ишь, воеводою в Чернавске уселся; кормится, поди, от подвластных в три горла. На границе жил, от дедовских порядков, поди, отвык. Да и то сказать: все Грушецкие на польскую руку тянули, совсем не так жили, как наши исконные живут: телятину жрали и не каждую субботу в баню ходили, и то без жен, вопреки святоотеческому свчаю православному! Поди, и дочка у него такая же вышла».

Пораздумав на эту тему еще немного, старушка решила не откладывать дела в долгий ящик. Но послать холопов за Ганночкой ей не пришлось. Из прилесного жилья прискакали холопы с недобрыми вестями о гибели Гассана и Мегмета и рассказали о том, что Ганночка уже успела уехать, сопровождаемая наезжим польским поездом.

Марья Ильинишна терпеть не могла обоих калмыков. Ей была известна их лютость, но все-таки известие об их гибели неприятно поразило ее.

— Уж не последние ли времена настали? — гневалась она. — Всякий сброд лесной против господ пошел!

О том, что сбежала Зюлейка, она и думать не стала: персиянка в ее глазах была хуже паршивой собаки.

Сообщить о всем происшедшем племяннику взялась Марья Ильинишна. Да и кто бы из дворни или челяди осмелился на это? Ведь каждому была дорога своя голова, а князь Василий в гневе не разбирал ни правых, ни виновных.

Отдаляя по возможности минуту неприятного объяснения, старушка решила не будить племянника и начать с ним разговор только тогда, когда он проснется сам.

Князь Василий проспал далеко за полдень. Он пробудился весь разбитый: страшно болела голова, ныли все кости и суставы, побаивал и вывих.

От того, что было в прошлую ночь, остались только смутные воспоминания. Князь помнил, как вылетел из седла, как на него надвинулось лесное чудовище, а потом нить воспоминаний обрывалась; словно завеса какая-то окутывала его мозг, и он словно сквозь дымку тумана припоминал, что очнулся от боли, которую ему причинил костоправ. Еще несколько туманных отрывков носилось в его мозгу, а дальше опять все было окутано непроницаемой пеленой.

Радость так и охватила князя Василия, когда он увидел доброе лицо Марьи Ильинишны; она в ожидании его пробуждения уселась в высокое кресло около его постели и не спускала взора со своего любимца.

— Государыня-тетушка! — чуть не полным голосом закричал князь Василий. — Простила ли ты меня за дерзость мою вчерашнюю?

— А каешься ли? — спросила старушка.

— Как не каяться! Попущение Божие за грех мне было. Ведь уж и не знаю, как от медведя ушел-то, кто от него меня вызволил... Каюсь, государыня-тетушка, каюсь...

— И не будешь больше? Не посмеешь напередки дерзить?

— Да разрази меня Бог, ежели я помыслю впредь о том. И тут не иначе как дьявол от меня моего ангела-хранителя прогнал...

Очевидно, пережитый смертный страх умиротворяюще действовал на эту неукротимую душу.

Марья Ильинишна со свойственной старым людям наблюдательностью сейчас же подметила это и решила, что не может быть времени удобнее для того разговора, который она затеяла.

— Так-то вот все и выходит, племянничек, — торжественно заговорила она, — ты вот злое умыслил на боярышню Грушецкую — припомни-ка, какое ты дело хотел совершить, — а Бог-то многомилостивый не допустил до того, да и вразумление тебе великое послал... Знаешь ли ты, о чем говорю я?..

— Нет, государыня-тетушка, не ведаю я, — смиренно ответил князь Василий. — Не ведаю, — повторил он, — будто и памяти нет, будто всю ее отшибло, как под медведем я лежал...

— Ага! То-то и дело! — воскликнула старушка. — А знаешь ли ты, Васенька, что тебя боярышня Грушецкая спасла от смерти неминуемой, да не единожды, а два раза в эту ночь?..

— Как! — вскрикнул князь Василий. — Да может ли то быть?

— Два раза она тебя от смерти отвела, через людей своих, а ежели ты жив теперь, так ее одну за то благодари! — и старушка подробно рассказала племяннику все события полной тревоги ночи. — Или не видишь ты во всем этом указующего перста Господня? — торжественно закончила она. — Ты старую дедовскую обиду на неповинной внучке хотел выместить, ан нет — она тебе услугу такую оказала, что ты в одну ночь дважды на свет родился.

— Государыня-тетушка, — хватаясь за голову, воскликнул Василий Лукич, — да что же это такое? Сон я, что ли, наяву вижу? Тетушка, родная, одна ты у меня, тебе признаюсь: полюбил я боярышню. Никогда еще не любил никого так, сразу она меня всего в полон взяла... И неистовствовал-то я оттого, что хотел я любовь свою задавить, опозорить боярышню хотел, чтобы потом и думать забыть о ней. Да тут вон Бог вступился, на зло не попустил и ей же меня обязал неоплатным долгом... А тут промеж нас стародедовская обида легла, и, как теперь мне быть, не знаю... Не могу я любить ее, пока обида не будет покрыта.

— А ты обиду-то возьми да покрой, — произнесла Марья Ильинишна, — вот тебе и весь сказ.

— Как? Научи, родимая!

— Возьми, да и женись на свет-Агашеньке...

— Что? Жениться! Да разве она пойдет за меня такого?

— Отчего, не пойти?... Девичью замужеству отец — хозяин, а ты так сделай, чтобы тебе от отца отказа не было. Он-то, поди, никакой обиды не помнит, а устроить это легко! — И старушка принялась излагать разом зародившиеся в ней планы племяннику.

XXVI

НАРУШЕННОЕ ВЕСЕЛЬЕ

Пан Мартын Разумянский остался рыцарем Ганночки вплоть до того перекрестка, где дорога, по которой ему предстояло ехать дальше, ответвлялась на Чернавск. Тут оба поезда должны были разъехаться.

У перекрестка стояло большое торговое село, весьма оживленное, так как проезжающих было много, и все они считали своим долгом останавливаться здесь, одни — чтобы накормить, а другие — сменить лошадей. Здесь было много заезжих изб, и каждая из них почти всегда была полна народом.

Ганночка чувствовала себя настолько утомленной всеми пережитыми волнениями, что упросила мамушку побыть на селе подольше. Сказывалась тут и бессонная ночь; не прошел бесследно и тот час, который она провела в подвале, полном всякого чада и смрада, которым сопровождалось колдовство старой Аси.

Но, конечно, среди всего этого самым главным было желание несколько подольше побыть в обществе молодого, изящного поляка и

всей его веселой компании, такой непринужденной, а вместе с тем и такой деликатной, что Ганночка с ужасом вспоминала о тех чернавских увальнях, среди которых ей нужно было, может быть, прожить всю остальную жизнь.

Русские и поляки остановились в разных заезжих избах. Однако самим паном Мартыном избы были выбраны такие, которые приходились одна против другой. Промеж них раскрылась большая, обширная площадь, гудевшая разряженным народом, так как денек выдался чудный, солнечный, с легким морозцем и притом праздничный.

— Фу, устал я! — воскликнул пан Мартын, очутившись в тепло натопленной избе и освободившись от лишнего верхнего платья. — Клянусь рогами ста тысяч дьяволов, что я с удовольствием выпью один целый кубок вина...

— Это хорошо, — воскликнул пан Руссов, — пан Мартын выпьет один, я выпью второй!

— А я — третий, я — четвертый, я — весь пятый! — раздались вокруг веселые голоса спутников Разумянского.

Молодость — всегда молодость! Ничто не действует на нее: ни беда, ни усталость. Все, решительно все дает повод к веселью, к смеху... Счастливая пора!

Разумянский, хлопнув в ладоши, призвал слуг и приказал им поскорее накрывать на стол. В те времена все запасы путешественники возили с собой, так что всегда могли получить в изобилии свои любимые блюда в привычной сервировке. В один миг на столе избы, занятой поляками, выросли горы всякой всячины: холодные окорока, всякие соленья, печенья и среди всего этого стояли объемистые жбаны с разными винами и старым медом.

— Не будем, панове, забывать, что мы — странствующие рыцари, — возгласил Разумянский, — а рыцари никогда не забывают дам... Будем просить панну Грушецкую...

— Нет, не будем, — возразил литовец Руссов, — мое слово против пана Мартына. Ведь прелестная панна Грушецкая — московка. У них нет наших свободных обычаев, и не дай Бог, если мы хотя и без умысла, но все-таки обидим даму. Притом же и у них с собой, я знаю, множество всяких запасов.

— Клянусь на́большим пекла, — вскрикнул пан Мартын, — что литовец прав! Хотя красавица панна и любит наши обычаи, но та московская свора, которая около нее, так и косится на нас... Действительно, лучше не будем раздражать их, а то одна эта старуха-мамка способна испортить существование спасенной нами красавицы панны!

— Так, так! — раздался голоса.

— Но без дам скучно, — лукаво прищурился Разумянский, — не так ли, панове? Так не попросить ли нам пана Александра, чтобы яркий луч солнечный украсил нашу ночь. Это в его власти! Неужели он будет столь ревнивым эгоистом, что откажет нам в этом добром деле?

По лицу литовца Руссова скользнуло кислое выражение. Он понял, что от него требуют привести сюда, к пирующим, Зюлейку. Хотя он был безусловно уверен в полной корректности своих товарищей, но все-таки предложение Разумянского было ему не по сердцу. Увезя Зюлейку, он вообразил, что к нему перешли все права на нее, а тут как-никак на нее предъявляли права и другие. Однако ему не хотелось да и невыгодно было ссориться с Разумянским, а потому он воскликнул:

— Я знаю, про что вы говорите, шалуны, и хочу доказать вам, что я отнюдь не ревнив! Но я все-таки эгоист: я не хочу, чтобы вы умерли с голода, а это неизбежно, если будет исполнено предложение пана Мартына. Все эти прелести, — он указал на стол, — будут позабыты, когда перед вами замелькает мой луч. Итак, ешьте, пейте, а сладкое, как и всегда, будет последним!

Взрыв хохота и рукоплесканий встретил окончание этой коротенькой речи литовца.

Разыгравшийся аппетит давал себя знать. Не умолкая, бренчали ножи, кубки быстро опорожнялись и наполнялись снова. Веселая беседа так и кипела, так и искрилась остротами, шутками, прибаутками. Головы уже начали заметно кружиться, глаза разгорелись, лица разрумянились.

— А что, — вдруг произнес пан Мартын, в голове которого порядочно-таки шумело, — не вспомнит ли пан Александр о своем обещании?

Руссов, тоже порядочно охмелевший, вскочил со своего места и возбужденно воскликнул:

— Идет! Спасибо, пан Мартын, что напомнил. Пусть эта звезда Востока споет нам свои песни и потанцует нам. Сейчас пойду и приглашу ее! — И, полный возбуждения, он кинулся из избы.

Зюлейка была устроена им у хозяев на их половине. Однако Руссов не нашел ее там, и ему сказали, что персиянка вышла к проезжей московской боярышне.

Литовец Руссов далеко не мог похвастаться деликатностью прирожденного аристократа-поляка, да и в голове у него сильно шумело. Стремительно кинулся он через полуосвещенные сени на крыльцо. На пути ему попался какой-то человек. При слабом свете Руссов видел только, что этот встретившийся ему человек одет богато, что у его пояса сабля в богатых ножнах, а красивое лицо бледно, как у только что вставшего с постели больного.

Впрочем, все это Руссов заметил только мимоходом. Он сильно толкнул встречного и кинулся вперед, даже не обратив на него внимания. Незнакомец что-то крикнул вслед, но не погнался за литовцем, а пошел к дверям той горницы, где пировал Разумянский со своими спутниками, и на мгновение остановился у ее порога.

Этот незнакомец был князь Василий Лукич Агадар-Ковранский.

Крепкий, долгий сон после событий бурной для него ночи возвратил ему силы. Выход был мастерски вправлен и почти не давал знать о себе.

Пока Марья Ильинишна говорила о его личных делах, князь Василий все более и более успокаивался. Должно быть, вправду взяла в плен его неукротимое сердце боярышня Грушецкая! Ему был приятен план, предложенный Марьей Ильинишной: взять за себя Ганночку.

В этом случае разом гасло пламя давней дедовской ссоры. В согласии Семена Грушецкого не могло быть и сомнения: куда выше Грушецких стояли князья Агадар-Ковранские и куда более богаты были они, так что породниться с ними было бы честью для простого служилого дворянина.

Но, как только князь Василий услышал о последующих событиях, от него разом отлетел тихий ангел, и вновь яростный гнев стал жечь его буйную душу. Поезд поляков, убийство слуг, увоз Зюлейки — все это князь Василий принял как жесточайшую кровную обиду.

Но более всего и мучило, и терзало, и палило его то, что наезжие поляки увезли с собой Ганночку Грушецкую. Пожалуй, не будь этого последнего обстоятельства, не так быстро исполнил бы он свое решение, а тут откуда и силы взялись, и боль была забыта. Не подействовали никакие уговоры Марьи Ильинишны. Пылая ярым гневом, князь Василий сорвался со своего ложа. В обширных палатах раздался его грозный клич, созывавший холопов, и немного спустя князь уже мчался к своему прилесному жилью.

Там он нашел полный разгром. Не сдерживаемые никем холопы перепились, и, уверенные, что грозный князь не появится, принялись за форменный грабеж. Однако князь Василий даже не стал разбирать дело. В сопровождении десятка вершников он умчался в погоню за наезжими поляками, которых только одних винил во всем происшедшем, и теперь, догнав своих врагов, готов был на все, лишь бы утолить свой гнев.

XXVII

ССОРА

Из-за прикрытой двери до князя Василия ясно доносились веселые клики, звон круговых чаш, смех и хлопанье в ладоши.

«Проклятые! — злобно подумал князь, — пируют, веселятся! Может быть, и Зюлейка с ними?..»

О Ганночке князь и не подумал. Он, промчавшись через село вихрем, не заметил никаких следов обоза чернавского воеводы. Спросил он только о поляках и, узнав, в какой они избе, прямо кинулся туда. Он был уверен, что обоз Грушецкого не остановился в этом селе, а проехал далее.

Воспоминание о Зюлейке словно огнем обожгло его. Не помня себя от ярости, князь Василий так рванул дверь, что по сеням и горнице только грохот пошел, а затем, сделав шаг вперед, остановился у порога и окинув всю компанию мрачным, полным яростной злобы взглядом.

— Здравствуйте, панове, здравствуйте! — хриплым, вздрагивающим голосом проговорил он. — Видно, не ждали, что я так скоро пожалую?..

Никто из поляков не ожидал появления чужого человека, да притом появления на первых же порах столь грубо-враждебного. Они, конечно, не могли знать, что это — князь Агадар-Ковранский, так как никогда не видали его в лицо. В первые мгновения они предположили, что к ним ворвался какой-нибудь до бесчувствия перепившийся сельчанин, и повскакали со своих мест, готовые кулаками выбросить его вон.

— Кто ты такой? — весь кипя гневом, кричал пан Мартын. — Отвечай, собачья кровь! Иначе... — и он порывисто сорвался с места и в один прыжок очутился около князя Агадара.

Тот грубо крикнул:

— Потихе ты! Чего хайло свое польское распустил?.. Не запугаешь горлом. А кто я, так отвечу: я — князь Агадар-Ковранский. У меня в дому грабители побывали, так вот я за ними гонюсь. А вы говорят, те самые грабители и есть. Так или нет?

Разумянский покраснел от гнева и, не отступая назад, с ярко блистающим взором произнес:

— Очень рад, что предо мною — не холоп и не смерд, а благородный русский князь; по крайней мере я сам, а не моя дворня, научу русского князя плетью, что нельзя врываться так, как он ворвался, к незнакомым людям, нарушать их мирную беседу, наносить им оскорбления. Я уверен, что после моей порки русский благородный князь навсегда будет помнить, что так поступать нельзя, и все те, кому придется путешествовать после меня, уже не подвергнутся его дикой ярости.

Всю эту напыщенную речь Разумянский произнес отчетливо, налегая особенно на те ее места, которые казались ему наиболее оскорбительными.

Князь Василий слушал поляка молча и терпеливо. Ему как будто доставляли удовольствие эти оскорбления. Но было заметно, что в его душе в эти мгновения клокотал целый ад.

— Хорошо ты говоришь, пан!.. Не знаю, как тебя и называть по имени, но по делам-то я назвал бы тебя разбойным татем...

— Молчать! — перебивая его, закричал пан Мартын. — Или, клянусь всеми дьяволами преисподней, ты немедленно очутишься у них в пекле...

— Молчать, молчать! — хором грянули находившиеся в горнице спутники Разумянского. — Что это в самом деле? Или наши сабли к ножнам приросли, что этот грубиян еще жив до сих пор? В сабли его, панове, в сабли! За Польшу и короля!

Агадар-Ковранский, слыша эти крики, презрительно рассмеялся.

— Не любите вы, панове, правды, — прогремел он, напрягши голос, — не любите! Правда-то видно глаза колет, а у нас-то, на Руси, правды-то немало — не всю еще в лихолетье польская свинья съела. Ну, чего взбеленились? Или обрадовались, что я один, а вас

много! Только, если бы вас еще столько было, так и то я вас не испугался. Ну, чего саблями махаете? Подходите, что ли, кому жизнь надоела. Э-эх, вот так-то и всегда вы храбры, когда впятером на одного выходите...

Эти гордые слова задели за живое Разумянского.

— Прошу панов, — крикнул он, — вложить сабли в ножны и отойти. Этот человек принадлежит мне; прошу помнить, что я взялся выучить его, и потому прошу не мешать мне. Итак, скажи, князь, чего ты хочешь от нас?

— Перепороть вас всех у меня на конюшне, а потом вздернуть каждого отдельно на первых попавшихся суках.

Крики негодования были ответом на эту оскорбительную выходку. Но Разумянский все еще продолжал сдерживаться.

— Пан князь очень груб, — вздрагивающим голосом сказал он, — он позабыл, что мы — гости в его стране.

— Хороши гости! — захохотал Агадар-Ковранский. — Ехали путем-дорогой, видят дом без хозяина, и ну чужое добро растаскивать...

— Пан! — закричал не своим голосом Разумянский, и, обнажая саблю, ринулся было вперед...

Как раз в это время дверь в горницу отворилась и через порог ввалился раскрасневшийся Руссов, ведущий за руку Зюлейку.

— Вот и мы, панове, — закричал он. — Сейчас красивейшая звезда Востока споет нам... Но что здесь такое? — в изумлении остановился он, услышав, как дико вскрикнула персидская красавица при виде князя Василия.

— Что же, неправду я сказал! — захохотал последний, указывая на Зюлейку. — Разве не мое добро? Разве не ограбили вы меня?

Он кинул Зюлейке несколько слов по-персидски, и та, вдруг бросившись на пол, поползла к его ногам и припала около них; князь Василий поставил ногу на ее плечи и окинул всех гордым взглядом.

— Это невозможно! — закричали вокруг. — Вон его, в сабли, убить его!

— А ну-ка, попробуй! — вызывающе произнес Агадар. — Эх вы! На один крик мастера!

— Пан князь, — заговорил Разумянский, — нанес мне столько обид, что они могут быть смыты только кровью. Клянусь, что эта женщина сама ушла за нами, и мы узнали об этом только уже на пути. Мы не могли отослать ее обратно, потому что считали ее свободной; да и было бы грешно пустить ее одну по снегу через лес. Но пан русский князь, как я вижу, не верит мне. Пусть же сабли наши решат, кто из нас прав. Вызываю русского князя на поединок!

С этими словами он красивым жестом швырнул Агадару прямо в лицо свою перчатку. Князь Василий поймал ее на острие сабли и бросил обратно пану Мартыну.

— Пошла прочь! — закричал он на Зюлейку и толкнул ее в лицо носком сапога. — Будь ты проклята, негодная тварь!.. Сгинь с глаз моих, пока я тебя не прикончил!

Зюлейка с визгом вскочила с пола и кинулась из избы. Через минуту она уже в истерическом припадке билась у ног перепуганной Ганночки.

До последней уже дошла весть о появлении в селе Агадар-Ковранского. Кипучую ссору, происходившую в заезжей избе, уже успели заметить на сельской площади. Холопы князя Василия, спешившиеся с коней и смешавшиеся с толпой, уже успели многим рассказать, в чем дело.

Хотя и сюда дошли слухи и легенды о жестокости и лютости князя, но на этот раз симпатии большинства были на его стороне. Проснулась ли в этом случае неприязнь к полякам, еще жившая в русских сердцах после ужасов лихолетья, или чувства собственников, почуявших нарушение своих прав, или, может быть, просто всех этих праздных и далеко не трезвых людей охватила жажда разгоревшегося скандала, но только толпа оказалась враждебно настроенною против польских гостей, и между людьми Разумянского и Агадар-Ковранского уже началась драка.

Появление растрепанной Зюлейки, лицо которой было окровавлено, было встречено грозным ревом толпы. Ганночка слышала это, и ее сердце билось с каждым мгновением все сильнее и сильнее, старуха же мамка совсем потеряла голову.

— Ой лишенько, ой пропала моя голова, — металась она по горнице, — Серега, Федюнька, Митятка, Ванятка, Кенсенсин, закладывайте, идола, лошадей!.. Ехать нужно... Гнать, что есть духа, нужно уйти от беды неминуемой, боярышню увезти... Ох чуёт мое сердце, не быть добру! Вон как лупоглазая персидская баба воет, словно пес к покойнику! Ой да шевелитесь вы, негодники, закладывайте лошадей-то, нимало не медля!.. Уже пожалуйюсь на вас государю воеводе-батюшке, так влетит вам; будете знать, как о своей боярышне заботы не иметь! Вот я вас, статуи окаянные!

Однако на старушку никто и внимания не обращал: не до того было. Ганночка суежилась около бившейся в истерическом припадке Зюлейки; холопы убежали на улицу в ожидании, чем все это кончится.

Скоро гудение толпы и крики голосов дали понять Ганночке, что на площади происходит нечто необыкновенное.

XXVIII ПОЕДИНОК

А на площади происходило действительно почти необычайное для русского села.

Из заезжей избы занятой поляками, как угорелый, выскочил Руссов и во все горло заорал, призывая к себе людей пана Мартына. Он звал по-польски и говорил так быстро, что русские ни слова не поняли и были весьма удивлены, когда основательно вооруженные поляки и литовцы, стремглав кинувшись вперед, оттеснили

толпу, и, очистив от нее довольно большое место, окружили его живым кольцом.

Видя это, толпа замерла; она понимала, что готовилось интересное зрелище.

На крыльцо высыпали сильно возбужденные спутники Разумянского. За ними появился и он сам, очень взволнованный, бледный, с горящими ненавистью глазами.

Следом за ним выступил князь Агадар-Ковранский. Он шел с высоко поднятой головой. Его лицо тоже было мертвенно-бледно — без кровинки, но особенного волнения на нем не было заметно. Напротив того, князь Василий улыбался и, в то время как Разумянский заметно вздрагивал, был покоен.

— Вот молодец! — раздалось при виде его в толпе восклицания. — Ишь, ястребом так и смотрит!

— Наш, — громко говорили в другой кучке сельчан, — а наши разве когда сдают?.. Крыжа так вон дрожит, а наш себе спокойно пешешествует.

В толпе успели заметить, что князь Василий слегка прихрамывает, и те, кто знал его приключение в лесу, даже пожалели его.

Князь Василий действительно ощущал сильную боль в вывихнутой ноге, но его тело было настолько могуче, что он не поддавался болевому ощущению и даже вида не показывал, что сильно страдает.

Войдя на крыльцо, он приостановился и огляделся своим ястребиным взором вокруг. Вдруг его мрачное лицо просветлело, а на губах замелькала хорошая, светлая улыбка. Он увидел на крыльце противоположной избы Ганночку, и какой-то никогда не испытываемый ранее восторг овладел его вечно печальной и мрачной душой. Словно луч небесного света проник в ее тайники и все озарил там, разгоняя царившую в ней крошечную тьму. Теперь князь Василий был готов умереть, и смерть на глазах этой накануне еще чужой ему девушки, против которой он замышлял страшное, грязное дело, казалось ему величайшим счастьем. Да, теперь, видя Ганночку Грушецкую, князь готов был на бой, на всякий бой!

Между тем, весь трепеща от волнения и гнева, Разумянский воскликнул:

— Панове, вы все были свидетелями того, какие обиды нанес мне... нам всем князь Агадар... Только кровью смываются эти обиды... Так будьте же свидетелями, что я вызвал обидчика на единоборство, на бой, на жестокий бой...

— Если ты будешь побежден, — кинулся к Разумянскому Руссов, — наши сабли сумеют отомстить за тебя!

Пан Мартын сверкнул на него своими злыми глазами и крикнул:

— Не смей! Будь проклят тот, кто будет мстить за меня.

— Но отчего же? — не унимался литовец.

— Оттого, — скороговоркой ответил ему Разумянский, — что я призвал этого русского на суд Божий. Если он одолеет меня, стало быть, я был не прав, и мое поражение будет мне небесным

наказанием. Но этого не будет: я одолею, за меня Ченстоховская Божия Матерь, Пречистое Тело Господне и все силы небесные...

— Скоро болтать кончите там? — раздался с крыльца голос князя Агадара. — Начинать пора, а то еще стемнеет... Или вы этого и ждете?

Кровь бросилась в лицо поляка.

— Выходи, князь! — крикнул он и первым пошел на середину круга.

Холопы князя Василия, увидав своего господина и угадав чуть-ем, что ему грозит нешуточная опасность, двинулись было ему на помощь, но сам князь Василий поспешил остановить их.

— Эй вы, прочь! — закричал он, спускаясь с крыльца. — Голуవు расшибу, ежели кто сунуться посмеет!

Холопы отхлынули назад и смешались с толпой посельчан, вплотную окруживших живое кольцо из людей пана Разумянского.

— Никак биться будут! — говорили в одном месте.

— Если по чести, — высказывались в другом, — то это — Божье дело.

— А ежели не так, ежели с подвохом, — волновались их соседи, — так нашего князя полякам не выдавать... Чуть что, наваливайся скопом!

Но вдруг все разом стихло, и сотни взоров устремились на середину площади.

Там друг против друга стояли князь Агадар-Ковранский и пан Мартын Разумянский.

Пан Руссов и остальные спутники молодого поляка, сумрачные и нахмуренные, стояли, опираясь на свои сабли — хмель как будто соскочил с них. По крайней мере с вида они были трезвы; удручение же их было вполне понятно: пан Мартын был богат и, путешествуя с ним, они все были избавлены от путевых издержек.

Литовец Руссов был как бы распорядителем боя. По его знаку, противники оба одновременно обнажили сабли.

На верхней площадке крыльца появилась черная фигура Кунцевича. Он мрачно смотрел на происходившее перед его глазами и, очевидно, не думал помешать начинавшемуся поединку. Но смотрел он на бойцов с большим любопытством, словно оценивая их силы и стараясь предугадать, кто из них выйдет победителем.

— Сходись, начинай! — крикнул Руссов.

Разумянский стремительно кинулся на князя Василия, стараясь нанести ему удар своею сверкавшею на солнце саблею, но тот встретил этот стремительный выпад, даже не сдвинувшись с места, и так ловко отбил саблю Разумянского, что она вдруг очутилась за спиной поляка.

Гул одобрения пронесся по толпе.

Это раздражило и распалило Разумянского. Он с бешеной яростью снова кинулся на противника. Опять скрестились сабли и послышалось их лязганье.

Натиск Разумянского снова был блестяще отбит князем Василием.

Бешеная, яростная схватка утомила поляка. Его глаза налились теперь кровью, грудь вздымалась от прерывистого дыхания. Пан Мартын прекрасно владел холодным оружием, так как брал уроки фехтования у лучших мастеров Парижа, и был уверен, что если не в Варшаве, то во всяком случае в варварской Московии не найдется никого, с кем бы он не мог справиться. И вдруг, сам того не ожидая, он встретил в лице оскорбившего его князя Василия достойного себе соперника, и притом соперника более спокойного и более сильного.

— Вина! — приказал Разумянский, и, когда Руссов подал ему кубок с душистой влагой, он, с жадностью приникнув к нему, с неистовой яростью думал:

«Я должен уничтожить этого русского, должен, иначе я потеряю уважение всех этих моих скотов... Если так, то пусть лучше Агадар убьет меня... Смерть лучше, чем позор на всю жизнь!»

Выпитое вино сразу бросилось Разумянскому в голову. И толпа, и избы, и небеса, и земля закружились и завертелись в его глазах. Только один Агадар-Ковранский продолжал стоять по-прежнему. Это ясно видел пан Мартын, и снова бешенство овладело им. Он сознавал, что симпатии большинства зрителей на стороне его противника, и это еще более разъярило его. Еще не отдохнув, как следует, он снова, в третий раз, кинулся на Агадара, и опять залязгали сабли...

— У-ух! — вдруг раздался позади князя громкий крик. — Берись!

Это крикнул Руссов. Агадар-Ковранский инстинктивно оглянулся назад, и в этот момент пан Мартын, воспользовавшись оплошностью противника, вышиб из его рук саблю.

XXIX

ВЫРВАННАЯ ПОБЕДА

В толпе раздалась вой и визг, когда сабля Агадар-Ковранского, описав в воздухе полукруг, брякнулась о землю на порядочном расстоянии, а из кучки поляков раздалась громкие аплодисменты, крики «виват!» пану Мартыну Разумянскому и радостный смех.

Ни для кого из очевидцев этой своеобразной дуэли не было сомнения, что Агадар-Ковранский погиб. Нечего ему было ждать пощады от разъяренного до безумия Разумянского!

И в самом деле пан Мартын спешил закончить свою победу. Главное уже было сделано — противник был обезоружен, теперь оставалось только нанести ему роковой удар, и все обиды будут смыты горячею кровью обидчика. Разумянский, дико вскрикнув, кинулся с поднятой саблею на беззащитного врага.

Но недаром в жилах князя Василия текла русская кровь! Кровь татар и калмыков, его отдаленных предков, дала ему в наследство и непомерную пылкость, и лютость степную, и презрение к жизни,

а кровь русских предков, напротив того, внедрила в него стойкость, неустрашимость и стремление, не отчаиваясь ни в каких положениях, бороться до конца — до смерти или победы...

В то мгновение, когда Разумянский уже опускал вооруженную саблей руку, чтобы нанести противнику роковой удар, князь Василий ударил кулаком по ней.

Это была неожиданность, которой отнюдь не учитывал Разумянский. Удар был силен, и пан Мартын, вскрикнув от неожиданной боли, опустил саблю. Князь Василий воспользовался этим и мгновенно схватил своего противника-победителя в свои могучие объятия, так что кости у бедняги Разумянского захрустели.

— Пусти, дьявол, — задыхаясь, прохрипел поляк, — это не по правилам! Пусти!..

Но он не успел закончить свою фразу. Агадар-Ковранский поднял его в воздух и, дико взвизгнув, перебросил через голову...

Это было делом одного мгновения, но зато какого мгновения! Редко напряжение в массе людей достигало столь высокой степени. Казалось, вся эта толпа вздрогнула, когда Разумянский, пролетел через голову Агадара и шмякнулся о землю позади него. Толпа только ахнула и бросилась вперед, прорвав кольцо вооруженных холопов и смяв их.

Пан Мартын лежал, распластавшись на земле, без чувств, но и князю Василию недешево достались и спасение, и победа. В пылу борьбы он не чувствовал боли в вывихнутой ноге. Нервное напряжение, дикая злоба и воодушевление покрывали все. Опасение за жизнь перед лицом смертельной опасности удваивало его физические силы, но, как только опасность миновала и победа была достигнута, сейчас же наступила реакция. Страшная, невыносимая боль дала себя знать. Вывихнутая нога уже не поддерживала утомленного тела. Миллионы невидимых раскаленных острий вонзились в мозг князя и безумили его. Не будучи в состоянии противиться невыносимой, адской боли, князь Василий зашатался. Его глаза смежились против воли, кровь бурной волною ударила в голову и, слабо вскрикнув, он упал без чувств около своего побежденного врага...

Едва он упал, сразу же исчезло всякое очарование.

Надо полагать, что, пока князь Василий оставался на ногах, он был страшен полякам; когда же он упал и бесчувственный и беспомощный лежал на снегу, к ним сразу вернулись и их воинственный задор, и пылкая храбрость.

— В сабли его! Зарубить! Он бился не по правилам! — раздались возбужденные крики польских храбрецов.

Но и толпою уже овладела чисто стихийная вспышка. Сельчане вместе с холопами князя Агадар-Ковранского ринулись на польских холопов. Началась ожесточенная драка, в пылу которой никто не обращал внимания на то, что делается около недавних бойцов.

А там уже сверкали польские сабли. Пришедшие в неистовство паны готовились зарубить беззащитного, беспомощного, бесчувственного врага и зарубили бы, если бы вдруг среди всей этой отча-

янной свалки прямо под сверкавшие польские сабли не бросилась Ганночка Грушецкая...

— Не убивайте, пощадите! — кричала она.

Вряд ли она и сама соображала, как могло это случиться с нею. Любопытство привлекло молодую девушку, и она успела пробраться почти к самому кругу поединка. Вместе со всеми другими очевидцами его она почти замирала во все время боя. Когда же сабля была выбита из рук Агадара, Ганночке показалось, что все вокруг нее заходило ходуном. Ужас застучал в ее сердце. Девушка даже руками за голову схватилась и дико смотрела перед собой, не слыша громких воплей разыскивавшей ее мамки.

Странное дело! Агадар-Ковранский был для Ганночки совсем чужим человеком; мало того — она страшилась его. Пан же Мартын, напротив того, нравился ей; но, глядя на поединок, она более боялась за князя Василия, чем за Разумянского. Может быть, это было следствием того, что она считала Агадар-Ковранского слабейшим и сначала думала, что он осужден на гибель. Но все-таки его безумно отчаянная выходка, то есть то, что он один не побоялся кинуться на толпу врагов, поразила и восхитила ее. Князь Василий сразу вырос в глазах молодой девушки в великолепного героя; когда же она увидала, как он закачался и упал, в ее глазах все потемнело, она сама была близка к обмороку. Не помня себя, Ганночка кинулась под польские сабли, и ее вопль зазвенел среди шума и гама разгоревшейся свалки.

Появление русской красавицы смутило даже остервеневших поляков. Этим моментом воспользовались несколько прорвавшихся вперед холопов князя Василия и буквально выдернули его из-под ног наступавших на безоружного поляков. Ни эти последние, ни Ганночка даже и не заметили, как исчез бесчувственный князь Василий. Смущенные поляки видели только мертвенно бледную Ганночку, стоявшую перед ними с распростертыми руками.

— Не убивайте, пощадите, беззащитен он, — повторяла девушка, — а не то и меня убейте тут же...

— Панна! — начал было Руссов, красиво салютуя своей саблей. — Каждое ваше слово для нас закон, но...

Он не договорил. Около Ганночки очутилась ее мамка.

При других обстоятельствах вид перепуганной старушки вызвал бы общий хохот: кика совсем сбилась с ее головы, седые волосы растрепались, сморщенное в кулачок лицо было красно от негодования.

— Боярышня Агашенька, — визгливо кричала она, — да как тебе не стыдно? Мужики дерутся, а ты промеж них... Вот ужо батюшке пожалуюсь на тебя... Пойдем, пойдем скорее! Поезд наш уже обряжен, ехать засветло надобно...

Видя, что на Ганночку нашло что-то вроде столбняка, мамка сейчас же схватила ее и чуть не силой утащила прочь.

А драка все разгоралась. Толпа остервенела и была вся захвачена стадностью. Польские холопы были избиты так, что едва жи-

выми ушли от сельчан. Люди князя Василия все исчезли из свалки, наезжие поляки были предоставлены своим силам. Они подобрали Разумянского и поспешно отступили к крыльцу своей избы.

А на верхней ее площадке стоял, совершенно равнодушно глядя на все происходившее, отец Кунцевич. Ни этот поединок, ни драка как будто вовсе не касались его. Черная фигура мрачного иезуита казалась грязным, зловещим пятном на белой стене избы. Его безучастное равнодушие вовсе не гармонировало с бурным движением свалки...

Вероятно, не обошлось бы без крови, и поляки были бы смяты и затоптаны, но вдруг среди враждующих явилась жалкая, растрепанная фигура православного священника с крестом в руке. Он бесстрашно кинулся вперед, загораживая собой наезжих, и громко кричал на своих:

— Вот я вас, анафемы! Погодите вы! Причастия лишу, земные поклоны за эпитимью бить заставляю...

XXX ОТЪЕЗД

Если бы не вмешательство отца Иова, священника местной сельской церкви, плохо пришлось бы наезжим нахвальщикам: растрепала бы их в своем стихийном натиске разъяренная толпа. Но вид святого креста, смелые, понятные даже в своей грубости слова пастыря, подействовали на нее. Толпа отхлынула, а затем мало-помалу стал гаснуть ее пыл, умеряться ее ярость. Ворча, бранясь, насмехаясь, отходили люди прочь.

Только немногие видели при этом, как ушел из села поезд чернавского воеводы. Не до того было, чтобы следить за отъезжающими. Внимание разгоряченных сельчан сосредоточивалось на поляках, и лишь некоторые сбились у домика отца Иова, куда холопы укрыли князя Василия.

Тот довольно скоро пришел в себя. Возбуждение, поддерживавшее его во все это время, еще не опало, и, если бы ему сказали, что Ганночке доставит удовольствие новый поединок, он не задумался бы кинуться в бой...

Но Ганночка Грушецкая была уже далеко, а боль в вывихнутой и натруженной ноге давала себя знать князю. Агадар-Ковранский страдал невыносимо, но крепился и решительно ничем не выдавал своих страданий.

Отец Иов, суетившийся около князя, видел его страдания, но старался не подавать вида, что замечает их. Он быстро смекнул, что такие гордые, дикие натуры, как князь Василий, глубоко оскорбляются, если кто-нибудь видит их страдания, а тем более высказывает им свое сожаление.

Однако, несмотря на желание сдержаться, отец Иов все-таки промахнулся и не на шутку взволновал больного:

— Уж кому-кому, — заговорил он, захлебываясь от восторга словами, — а боярышне этой наезжей, чернавского, что ли, воеводы дочке, большая честь и хвала! Вот умница-разумница смелая! Уж тебе, князьенька, ни за что несдобровать бы, кабы она не заступилась.

— Как? Что? — воскликнул князь Василий. — Она за меня заступилась?

— Ну да, выходит так, ежели она под польские сабли, чтобы тебя вызволить — бросилась...

— Меня... она... под сабли? — прерываясь и путаясь в словах, произнес князь. — Она меня спасла? опять спасла?.. она?.. А... тетушка, государыня-тетушка! Спасла она, она!

Из горла больного вырвался прерывистый, хриплый смех, но глаза в то же время сияли счастьем. Он водил по воздуху вытянутыми руками, как будто стараясь схватить кого-то и привлечь к себе.

Отец Иов не на шутку испугался и воскликнул:

— Князьенька, что с тобою, милый? Испить не хочешь ли?

Но князь Василий не ответил; он что-то лепетал, но, что именно, старый священник не сумел разобрать. Очевидно, у больного начинался бред.

— Ахти, — разводил руками отец Иов, — и ума не приложу, что теперь делать: как будто взял силу злой недуг. Позвать, что ли, кого-либо из князевых людишек?.. Попадья, а, попадья!

На этот зов никто не откликнулся. Попадья была на площади, и отец Иов был один около больного, которого, по его мнению, нельзя было оставить одного. Однако старик уже решился на это и даже двинулся к порогу, но вдруг дверь открылась, и в маленькой уютной горенке православного священника появилась зловещая фигура иезуита Кунцевича.

Войдя, он слегка кивнул головою посторонившемуся от неожиданности отцу Иову и шмыгнул к князю Агадар-Ковранскому.

Тот лежал, откинувшись на подушки, его глаза были широко раскрыты, но вряд ли он видел что-либо перед собою. То его губы складывались в блаженную улыбку, то вдруг все лицо искажалось от невыносимой боли. Кунцевич осторожно взял руку больного и прощупал пульс, а потом притронулся к пылавшему лбу князя и слегка покачал головой.

Прикосновение привлекло внимание больного. Князь Василий взглянул на иезуита, и на его лице отразился ужас.

— Кто ты, кто? — закричал он. — Неужели сама смерть! О, не подходи, не подходи! Я не хочу умирать; не хочу! Она пожалела меня, спасла меня, она любит меня... Прочь, прочь! Я жить хочу, жить!

Крик быстро перешел в протяжный, нечленораздельный рев. В ужасе князь Василий забился к стене и вытянул вперед руки, как бы защищаясь от ужасавшего его призрака.

— Прочь, прочь, уйди! — закричал он.

Кунцевич снова покачал головой и, повернувшись, заскользил к двери. На пороге он приостановился и тихо проговорил по-русски:

— Его нужно как можно скорее отправить домой! Здесь ему оставаться вредно... Воздух не повредит, но нужно, чтобы ему было совершенно покойно...

Сказав все это, Кунцевич бесшумно выскользнул из горенки, оставив отца Иова в таком изумлении, что слова не шли с его уст.

Так в состоянии изумления и застала его возвратившаяся попадьа...

— Тьфу, тьфу, тьфу! — отплевывался отец Иов, опомнившийся только с приходом жены. — Ихний крыжаков монашек заявился! Черный весь, словно из преисподней выскочил; говорит — доставить домой князя надобно...

— Лучше чего быть не может, — поддержала Иова попадьа, — вот только пусть паны уберутся...

— Поскорее бы от них и запаха не осталось! — вздохнул отец Иов. — Уж больно наши-то на них осерчали...

— И молодец же ты, поп! — перебила его своей похвалой попадьа. — Ишь, ведь как выскочил, один на всех...

— Господь умудрил! Сразу так мысль явилась...

— И не страшно тебе было так?

— Нет, меня, говорю, Господь умудрил, направил, так чего же страшному быть?.. А вот князя-то действительно обрядить нужно, мается он, сердечный. Ты поди, мать, посмотри, как паны уедут, а я тем временем подводу приготовлю...

Попадьа не заставила себя просить. Любопытство кипело в ней. Ей все казалось, что на площади не все еще кончено.

Однако она ошиблась. Пришедший в себя Разумянский так стыдился своего поражения, что спешил скорее убраться из села.

«Голыми руками взял меня, — с ненавистью думал он про Агадар-Ковранского. — О, на мой шляхетский чести пятно позора легло, только кровью я могу смыть его... Клянусь не умирать, пока не отомщу!»

Пан Мартын уже заметил, что его спутники за несколько часов до этого подобострастно заглядывавшие ему в глаза, теперь, когда он взглядывал на них, потупляли взоры; да и их разговоры стали далеко не так пылки и льстивы, как прежде.

Сборы были недолги. Осыпаемые градом насмешек, даже бранью, покинули поляки село, где приняли их так радушно, а провожали столь недружелюбно. Нехорошо у них было на душе; сказывалась горечь обиды. Но в их положении приходилось держаться смиренненько: в селе было немало сорвиголов, только и выжидавших предлога к ссоре, чтобы закончить разгром польского поезда, которому помешало внезапное вмешательство отца Иова.

Только отъехав несколько верст, поляки почувствовали себя в безопасности, и к ним начало возвращаться их обычное настроение. Загудели шутики, стал вспыхивать смех. Трунили над литовцем Руссовым, оставшимся без своей «звезды Востока» — Зюлейки. По-

следняя, страшно перепуганная появлением своего лютого властелина, побоялась остаться с поляками и упросила Ганночку взять ее с собою. Руссов отшучивался, как умел, и, побывав у своего возка, вдруг вернулся к товарищам с новостью: не было Зюлейки, но вместе с нею исчез и Кунцевич.

— Где он? Куда он мог деваться? — не на шутку забеспокоился Разумянский, когда ему сообщили об исчезновении иезуита. — Не могли же мы оставить его в этом проклятом гнезде!

Руссов вздумал было пошутить, намекнув, что монах не мог покинуть в одиночестве красавицу-персиянку, но Разумянский посмотрел на него так, что у литовца прошла охота к шуткам.

Однако, несмотря на действительно овладевшее им беспокойство, пан Мартын и не думал вернуться назад за Кунцевичем. Польский поезд, спеша нагнать потерянное время, шел все быстрее и быстрее, о иезуите скоро перестали говорить.

Между тем, когда из села верховые холопы увозили на поповской подводе князя Василия, верстах в трех расстояния, из леса на дорогу вышел закутанный во все черное человек. Он попросил позволения присоединиться к поезду, а когда старший из холопов-вершников затруднился дать ответ, он прямо сказал, что жалеет больного князя и пристает к ним, чтобы вылечить его недуг. Тогда согласие последовало, и черный человек примостился около возницы на облучке подводы. Этим черным человеком был иезуит Кунцевич.

XXXI ВЫЗДРАВЛИВАЮЩИЙ

Нервные потрясения, чрезмерное напряжение и физическая боль сломили даже могучую натуру князя Василия. Недуг овладел им, захватил в свою власть и долго держал его между жизнью и смертью.

Князь Василий не помнил, как привезли его домой. Он страдал невыносимо, но вряд ли сознавал свои страдания. Только когда на кратчайшие мгновения возвращалось в измученное тело сознание, он, как сквозь дымку тумана, видел вблизи себя доброе старушечье лицо Марьи Ильинишны, чувствовал ее полный душевной тоски и сострадания взгляд.

Но рядом со старушкой он видел всю в черном фигуру. Кто это был, князь Василий не знал, а на догадки не хватало времени: сознание возвращалось к нему лишь проблесками.

Была уже цветущая весна, когда могучая натура Агадар-Ковранского одолела наконец тяжелый недуг. Однажды князь Василий вдруг открыл глаза и огляделся кругом.

Яркое весеннее солнце заливало комнату. Окно было приоткрыто и через него из окружающего сада и леса лились в комнату больного дивные весенние ароматы.

Никогда прежде князь Василий не обращал внимания на природу, даже, пожалуй, и не чувствовал ее, но теперь он вдохнул полной грудью этот напоенный запахами весны воздух и невольно потянулся к солнцу.

— Лежите, сын мой! — раздался около него тихий, вкрадчивый голос. — Пока вам не должно шевелиться...

Князь Василий постарался взглянуть туда, откуда раздались эти слова, и там увидел высокую тощую фигуру в странном нерусском одеянии.

Это был Кунцевич.

Агадар-Ковранский видел его мельком, память сохранила ему лишь совсем смутный образ этого человека, и теперь он, не узнавая его, напрасно напрягал свой слабо работавший мозг, чтобы припомнить, кто это, но память не давала на это ответа.

— Кто ты? — отчаявшись наконец в своих попытках, чуть слышно прошептал Агадар. — Такого у меня в дворне нет...

— Тише, тише, — прервал его Кунцевич, — повторяю, что вам не следует говорить. Молчите и постарайтесь заснуть. Поговорим после, когда вы достаточно окрепнете.

Он склонился над больным, устремив на него упорный взгляд; в то же время он слегка поводил ладонями перед лицом Агадара, как бы делая гипнотические пассы, и князь Василий чувствовал, словно какая-то неведомая сила заставляет его сомкнуть веки. Прошла минута-другая, и больной погрузился в глубокий сон.

Тогда Кунцевич выпрямился, отер со лба проступивший пот и отошел от постели, тихо бормоча:

— Он покорен мне, как овца, и будет во всем поступать так, как я прикажу ему. Это — хорошее приобретение; мой дикарь будет мне надежным сотрудником...

Патер Кунцевич явился в лесное поместье Агадар-Ковранского незваный, непрошенный, даже никому там неведомый, но скоро стал для всех желанным человеком. Присоединившись к вершникам, везшим обеспамятевшего князя, он выведал от них, кто теперь будет главным лицом во время болезни Агадара, и, конечно, очень быстро узнал все про тетюшку Марью Ильинишну. К ней-то он и явился по прибытии в поместье.

— Ваш молодой князь тяжело болен, — сказал он, — я умею врачевать и мне жалко стало такого молодца. Если его не лечить, он умрет. Разрешите мне остаться при нем и, ручаюсь, я подниму его на ноги.

Марья Ильинишна сперва оторопела. Предложение было неожиданно, а внезапно появившийся человек был совершенно не знаком ей. Но затем смущение быстро оставило старушку, когда она рассмотрела Кунцевича. По его одежде она быстро сообразила, что перед ней польское духовное лицо.

Русские никогда не были нетерпимы в вероисповедных вопросах, и только толпа, будучи разожжена в своем тупом массовом организме, изредка высказывала свою неприязнь к католикам и к

католицизму. Те же, кто стоял повыше, отнюдь не страдали фанатичностью, будучи, скорее всего, в религиозном отношении индифферентны. Поэтому и Марья Ильинишна отнеслась к предложению Кунцевича без предвзятых «мудрствований лукавых»; напротив того, его сан являлся для нее даже ручательством его добрых намерений. Притом же Кунцевич говорил очень вкрадчиво, словами проникал в душу и после двух-трех бесед сумел так войти в доверие старушке, что она всецело положила на него.

— Добрейший человек, хоть и крыжатик! — не раз говорила она своему наперснику Дроту. — И притом умеет лечить. Видно, твердо лекарское ремесло знает. Вот бы такого к великому нашему государю приставить! Болеет все пресветлый царь, совсем плох, говорят, стал, а крыжицкий поп, может, его, всемилостивейшего, и поднял бы.

С каждым днем вера старушки в Кунцевича все возрастала. Иезуит, конечно, видел это и старался держаться как можно скромнее. Он скоро прослышал, что Марья Ильинишна, в случае если ее ненаглядный Васенька выздоровеет после лечения «крыжицкого попа», собирается сообщить о нем своим московским родственникам, дабы они попробовали провести его к больному царю Алексею Михайловичу, здоровье которого становилось все плоше и плоше. Это, очевидно, входило в расчеты иезуита. Когда он услышал о намерении Марьи Ильинишны, на его губах зазмеялась довольная улыбка.

Князь Василий оправился сравнительно скоро именно благодаря неусыпным заботам Кунцевича. После того как сознание явилось к больному, выздоровление пошло быстро. Скоро Василий Лукич узнал, кто такой ухаживающий за ним черный человек. Вместе с тем он вспомнил все, что произошло. Чувство торжества овладело им при одном воспоминании о том, как он одолел Разумянского; но вместе с тем радостные слезы проступили на его глаза, когда Кунцевич подробно, смакуя каждую фразу, каждое слово, рассказал ему о геройском поступке Ганночки Грушецкой.

— Зачем она так, — не помня себя от счастья, воскликнул князь Василий, — чем я ей столь переболел, что она не побоялась вступить за меня и от смерти меня вызволить? Скажи мне, поп!.. Ведь вы там у себя только и делаете, что в человеческие души залезаете. Так тебе все должно быть известно. Скажи мне, просвети меня...

Кунцевич, не раз слыша такие вопросы, всегда хитро улыбался.

— Знать, девичье сердце заговорило, — обыкновенно отвечал он.

— Да ведь она почти не видела меня, — воскликнул раз князь Василий, — да и тогда я с нею неласков был!

— Что же из того, что боярышня Грушецкая тебя, князь, только раз видела! — снисходительно ответил иезуит. — Великая природа вложила в человеческие сердца постоянно тлеющие искры любви. Часто бывает так, что достаточно малейшего ветерка, чтобы из маленькой такой искры вспыхнуло великое пламя. Кто знает женское сердце! Быть может, твоя победа над Разумянским и была таким ветерком.

— Значит, по-твоему выходит, что Агаша любит меня?

— Я уже сказал тебе, князь! — уклончиво ответил иезуит. — Кто может знать женское сердце? Кто может утвердительно сказать, любит ли оно или не любит? Я — не Бог, а только скромный служитель Его алтаря. Ты сам должен узнать это...

— Но как, как? скажи мне!

— Прежде всего выздоравливай скорее, а потом поезжай в Чернавск, примиришься там с отцом юной панны.

— Клянусь, я сделаю это! Давно пора прикончить миром эту дедовскую ссору. Ну а потом что?

— Потом поступи так, как подскажет тебе сердце...

Князь Василий закрыл лицо ладонями рук.

— Да, да, — зашептал он, — я знаю, как поступить. Брачные венцы внуков покروют ссору дедов. Не может быть, чтобы Семен Грушецкий не принял моих сватов! Да тогда я его со света сживу! Пусть будет так, возьму Агашу себе женой.

Князь, предавшийся мечтам, не видел, какая дьявольская улыбка промелькнула на лице иезуита, слышавшего эти вслух произносимые мечты влюбленного юноши.

XXXII

ВСТРЕЧА ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Прав был иезуит Кунцевич, когда на полный любовной тревоги вопрос князя Василия ответил философской глубины вопросом: «Кто может знать сердце женское?» Да, кто, действительно, может знать его, кто проникнет в его бесчисленные тайны, угадает, каким законам оно повинует, под каким ветром, в какую сторону клонится; сердце женское, да особенно девичье — что тростник прибрежный, что морская гладь над бездонной пучиной. Тихо стоят воды, не шелочнутся и вдруг заколышутся, словно буря налетит какая нежданная-негаданная и обратит недавнюю тишь в кипучий ад.

Вряд ли и сама Ганночка могла бы ответить на такой вопрос, если бы он был предложен ей. Она была еще так молода, столь многое в жизни было не изведано ею, что ей было не по силам разбираться во внезапно нахлынувших чувствах и решать вопросы, которые даже искушенной жизнью женщине не всегда разрешить по силам.

Без всяких приключений добрался поезд до границ Чернавска, где воеводствовал Грушецкий. Тут была уже ровная дорога, оживленная, людная; сторона была промышленная, здесь часто ходили караваны с различными товарами, воеводу Семена Федоровича знали хорошо, а потому и его дочку всюду встречали нижайший поклон и доброе уважение.

Впрочем, последнее, пожалуй, далеко не было следствием того, что Ганночка приходилась местному воеводе дочерью.

— Раскрасавица боярышня-то, — говорили многие встречные, без всякой церемонии заглядывая в возок, где были Ганночка, Зю-

лейка и старая мамка. — Недаром по всей округе слух идет, что умница-разумница она: на рубеже взращена, и там она всему научилась — не то что наши чернавские кувалды, — ничего не боится. Ишь, как она за земляка-то вступилась перед польскими нахвальщиками! — вспоминали дорожное приключение Ганночки, о котором и сюда уже успела донестись быстролетная весть.

Эти толки долетали до слуха молодой девушки и подчас заставляли ее сильно краснеть. О безумно смелой выходке молодой барышни к ее приезду говорили уже повсюду в городе. Было много фантастических подробностей, совершенно не соответствовавших действительности; но все толки и пересуды были в пользу Ганночки, а между тем она и сама не понимала, что же геройского в ее поступке, за что следует хвалить ее. Ей ее поступок казался совершенно уместным, хотя и противоречащим многим тогдашним обычаям. Но Ганночка думала, что иначе она и поступить не могла. Ведь на ее глазах совершалось убийство беззащитного, за которого и заступиться было некому, так как же ей было не сделать попытки вызвать князя Агадар-Ковранского из-под польских сабель?

Тем не менее она сильно побаивалась предстоявшей ей встречи с отцом. Воевода Семен Федорович был человек простодушный, незлобивый, но все-таки и он жил, как жили все его современники, а по их понятиям женщины не должны были слишком выставляться там, где сверкали обнаженные сабли. С замирающим сердцем подъезжала Ганночка к Чернавску. Это был небольшой городок, окруженный деревянными стенами, защищавшими от всяких возможных нападений главный собор и присутственные места, дом воеводы, торговую площадь и склады товаров. В стенах жили немногие особенно именитые и зажиточные чернавские люди. Зато вдоль стен, спускаясь к реке, лепились домики чернавской бедноты. И тогда много было полуголодных, куда больше, чем счастливых богачей!

Когда воеводский поезд подъезжал к Чернавску, было утро праздничного дня. Еще издали слышен был звон немногих колоколов, к которому присоединялись глухие, нестройные, похожие на хаотический шум звуки церковно-набатных бил.

Как-то у всех поезжан неловко на душе стало, когда перед их глазами, словно вынырнув из прибрежных холмов, вдруг показался давно желанный Чернавск. Старшой Серега даже шапку бросил оземь и, поскребши в затылке, вполголоса сказал вертевшемуся поблизости от него Федору:

— Ах, мать честная, Федюнька!.. вишь, приехали.

— Приехали, дядя Серега, приехали, — уныло ответил недавний отчаянный герой. — Что-то теперь будет? Грозен, поди, боярин Семен Федорович, страшна мне его расправа.

— Никто, как Бог! — столь же уныло ответил старик. — Уже как-никак, а мы свое дело сделали, боярышню уберегли, не щадя живота. Что там ни будет, а ехать надобно.

Столь же приуныла и старая мамка. Ведь Сергей и Федор свой долг до конца исполнили, по крайней мере опасного часа не про-

спали, а она, старая, примостилась на теплую лежанку да чуть было боярышню и не проворонила.

— Ахти, будет беда! Помяни, Господи, царя Давида и всю кровость его! — то и дело вздыхая, лепетала старуха. — Ежели у боярина про меня ботагов мало, так уж я не виновата. Целую бы рошу о мою старую спину обломать следовало бы. Как и докладывать буду Семену-то Федоровичу — не знаю, а докладывать нужно.

С ненавистью взглядывала она на весело щебетавшую Зюлейку, но это нисколько не успокаивало ее страха.

Веселее всех в поезде была молодая персиянка. Она беззаботно отдавалась счастьем внезапно вернувшейся к ней свободы. Будущее нимало не пугало ее; хуже того, что было, вряд ли и быть для нее могло. Зюлейка верила, что воевода Грушецкий отнюдь не отошлет ее назад к князю Агадару; у нее создалась уверенность, что Ганночка заступится за нее. И в самом деле молодая девушка относилась к ней с редкой сердечностью и уже решила упросить отца оставить эту несчастную женщину при ней, в Чернавске.

Подъезжая к городу, Ганночка от нетерпения высунулась из оконца возка и не спускала взора с вившейся среди талого снега дороги. Вот она приметилла, что впереди показались вооруженные вершники, окружавшие большую зимнюю колымагу, и угадала, что это — отец.

— Батюшка, батюшка! — вскричала она. — Родимый батюшка обеспокоился, навстречу мне выбрался. Серега, кучера, поезжайте живее! Вон там государь-родитель встречает.

Лошади сильно рванули, и Ганночка едва не выпала из возка. Встречные тоже прибавили хода, и скоро обе партии встретились. Легче птички выпорхнула Ганночка из возка и кинулась на шею красивому старику, простершему к ней свои объятия.

Отец и дочь встретились. Молодая девушка непритворно рыдала, прикинувшись к груди родителя; проступили слезы и на глаза Семена Федоровича. Кругом моментально собрался досужий народ чернавский, проведавший о том, что воевода Грушецкий выехал встречать приехавшую с рубежа дочку. Видя эту нежную встречу, многие прослезились, кое-кто стал всхлипывать, а незаметно подобравшаяся мамка со счастья и страха за будущее даже навзрыд плакала.

— Соколик ты наш, милостивец, — выкрикивала она сквозь слезы, — сподобил меня Господь снова увидеть тебя, милостивца! Уж не вели казнить, ежели в чем провинились мы, а коли что заслужили при твоей милости, так не откажи, пожалей бедноту нашу.

Она, обливаясь слезами, целовала руки боярина и наконец от избытка чувств повалилась ему в ноги прямо на снег.

— Ну, полно, полно, старая! — сказал ей Грушецкий, несколько смущенный ее пылом. — Подожди, дай время разобраться, уж посмотрю — казнить тебя, старую, надобно или жаловать. Эге, да вон и Серега. Невесел что-то старик. Али и ты нашкодил что?

Грушецкий бросил это замечание своему холопу лишь вскользь, только для того чтобы не обидеть его своим невниманием; но, мимолетно взглянув на своего старшого, он заметил, как лицо у

того побледнело. И невольно в голове Семена Федоровича промелькнула тревожная мысль: «А ведь у них какое-то неблагополучие случилось в пути».

Однако эта мысль только промелькнула и исчезла вся целиком, будучи поглощена радостью давножданной встречи с дочерью.

— Государь-батюшка, — воскликнула Ганночка, ласкаясь к отцу, — сколь же долго я не видала тебя!.. И какой же ты ладный стал! Вот матушка покойная на тебя взглянула бы, то-то обрадовалось бы ее сердечушко! Видно, и ее молитва за тебя, батюшка-родитель, до Господа дошла...

— Ну ладно, ладно, дочурка милая! — ласково произнес боярин, подводя Ганночку к своему возку. — Царство небесное покойнице нашей! Жалею я, что нет ее с нами, а то полюбовалась бы она на тебя. Экая ты у меня красавица! Видно, вся в польскую роденьку пошла. Совсем хоть царской невестой быть...

— Что ты, батюшка, что ты! — смущенно проговорила она, потупляя взор. — Ни за кого я не хочу идти, век с тобой провожусь.

— Даже за царя-государя не пойдешь? — ласково засмеялся Семен Федорович. — Ой, девка, не лукавь!

— А на что мне царь-то? — оправившись от смущения, зашептала девушка. — Не хочу я его, да и он меня не возьмет. У него на Москве красавиц много. На что ему я, прирубежная полесовка? Да и старый он. Взаправду, батюшка, царь наш помирать собрался?

На лицо Семена Федоровича набежала легкая тень грусти.

— Ладно, дочка, — несколько сумрачно проговорил он, — обо всем том мы с тобой поговорим, как ты после дороги отдохнешь. А теперь садись-ка в мою колымагу; в моих хоромах протопоп с молебном ждет. Ну, трогай, ребята! — крикнул он, сам забираясь вслед за дочерью в тяжелый экипаж.

XXXIII

ПОД РОДИТЕЛЬСКИМ КРОВОМ

Совсем незаметно промелькнули для Ганночки первые дни ее пребывания под родительским кровом. Уж очень ласков был к ней Семен Федорович. Он не спускал взора с приехавшей дочки и не поднимал никаких вопросов о том, как она свершила далекий путь от рубежа до Чернавска.

Воевода Семен Федорович Грушецкий был на редкость добряк по свойствам своего характера. Московская кровь как будто утихомирила в нем ту пылкость, которая передана была ему его польскими предками. В его внешности не было ничего такого, что хотя несколько напоминало бы поляка. Он был широк лицом, голубоглаз, рус, румян, не особенно склонен к позированию, а больше любил простоту и отличался простодушием и незлобием.

В Чернавске все любили Грушецкого. Он не был ни мздоимщиком, ни лихоимщиком, совсем не грабил подвластного ему народа,

правил суд справедливо, и хотя были у него враги, обиженные более всего на то, что новый воевода не потакал их часто нечистым домогательствам, но и те отзывались о нем, как о человеке неподкупном и о таком воеводе, какого давно не было в Чернавске.

Вместе с тем Семен Федорович отнюдь не был честолюбив. Если он добивался царевой службы, то лишь потому, что ему казалось стыдным сидеть как опальному без всякого государева дела у себя в вотчине, и хотя Чернавское воеводство было незначительно, но тем не менее он был доволен и этим.

Однако и у Грушецкого, как почти у всех русских дворян того времени, была затаенная мысль. Он знал, что его дочь очень красива, знал также, что старший сын царя Алексея Михайловича, наследник престола, царевич Федор Алексеевич, еще не принял брачного венца; стало быть, впереди был неизбежен сбор по всей России невест на царский смотр, и — кто знает? — быть может, и ему, сравнительно мелкому служилому дворянину, улыбнется слепое счастье, и его ненаглядная дочка увидит у своих малюток-ножек платок юного царевича, а, быть может, к тому времени уже царя.

Печальный пример Евфимии Всеволожской¹ как-то был позабыт. Вспоминали только счастливые дни ее отца — Рафа, а о падении его и не думали. У всех перед глазами были неожиданно-негаданно выбравшиеся на большую высоту сперва Милославские, а потом Нарышкины, и каждый, у кого была красивая дочь, думал, что и для него возможен такой же шаг на головокружительную высоту, какую занимали царские тести и шурия и прочая родня царицы.

Семен Федорович никогда никому не говорил о своих тайных мечтах; мало того он даже не считал возможным, чтобы до большого дворца Московского Кремля достигли слухи о красоте его дочери. Еще более того он боялся, что такое возвышение не сделает его ненаглядной Ганночки счастливою; но все-таки нет-нет да и сверлила его мозг мысль о том, что и он может стать тестем московского царя.

Старик, от природы рассудительный, незаметно наблюдал за дочерью после ее приезда. Он очень скоро согласился на ее просьбы оставить Зюлейку и с виду совершенно равнодушно выслушал рассказ Ганночки и о ночлеге в прилесном жилье князя Василия Агадар-Ковранского, и о приключении в попутном селе. Однако он все-таки не отнесся равнодушно к этому рассказу и своим родительским сердцем почувствовал тут что-то недоброе.

Ганночка, конечно, промолчала ему о гадании в подвале, но когда она упомянула отцу о князе Василии, то Семен Федорович сейчас же припомнил дедовскую ссору. Сам он был совершенно равнодушен к той обиде, какую нанес его предок предку Агадар-

¹ Первая невеста царя Алексея Михайловича, избранная им, но внезапно до венца заболевшая.

Ковранскому; кстати, он никогда в жизни не видал князя Василия и даже не слышал ничего о нем. Но он все-таки полагал необходимым считаться с русскими обычаями и встреча дочери — внучки обидчика — с внуком обиженного невольно нагнала на него тревогу.

Он часто вглядывался в лицо Ганночки, стараясь прочесть на нем какие-либо затаенные ее мысли, но Ганночка всегда была весела и спокойно, без малейших признаков смущения, выдерживала пристальные взгляды отца. Ведь ей и в самом деле нечего было смущаться; она-то знала, что ничего дурного с нею не произошло и что она ни в чем не провинилась перед родителем.

Именно это и прочел Семен Федорович на лице дочери, но все-таки тревога не оставила его. Его немало смущало то обстоятельство, что старый Серега всегда потуплялся, когда ему приходилось говорить со своим господином. Иногда он даже бледнел. Старая мамка тоже выдавала свое смущение. И все это убеждало старого Грушецкого, что с его дочерью в пути произошло нечто такое, что эти люди хотели скрыть от него. В конце концов он решил произвести опрос и, начав с Сергея, узнал, что произошло в доме Агадар-Ковранского.

Сергей ни в чем не потаился, сказал и о том, как ходила к ворожее боярышня, и как он с Федюнькой, опасаясь, чтобы не случилось какой-либо беды, пробирался по разным переходам в подземный погреб, дабы уберечь боярышню. Он сообщил Семену Федоровичу и о том, что старая мамка заснула непробудным сном, и, конечно, указал, что такой сон старушки явился следствием подсыпанного ей в питье или еду снотворного зелья. После с подробностями, но совершенно правдиво, рассказал он и то, что случилось в проезжем селе.

Чистосердечный рассказ преданного холопа успокоил Грушецкого.

«Ну, что ж, — подумал он, — ежели Ганночка гадать ходила, так это пустое, на то и молодость... Ну, слава Богу, вижу теперь, что зла не вышло; Господь отнес. Кто знает, что случилось бы, если бы этот князь дома оставался? Нужно бы Сарогу батогами наказать за то, что он завез дочку в такую трущобу... Ну да Бог с ним! Ежели худа не вышло, так чего с него и спрашивать?»

Он успокоился, но все-таки продолжал наблюдать за дочерью.

После того как прошло порядочно времени и девушка окончательно пообжила в новом доме родителя, с нею, как заметил Грушецкий, действительно стало твориться нечто особенное. То она вдруг становилась возбужденно весела, то вдруг на нее словно грусть беспричинная ложилась, и не раз Семен Федорович замечал на ее глазах слезинки.

— Что, Агашенька, — спросил он ее однажды, стараясь быть шутливым, — скажи-ка, милая, какая грусть у тебя на сердце лежит? Примечаю я, будто сама ты не своя.

— Ой, государь-батюшка, — ответила дочь, — да с чего это ты на меня напраслину взводишь? Никакой у меня думы на сердце не лежит, кроме одной — чтобы тебе во всем угодной быть.

— Да, говори! — пошутил Семен Федорович. — Ваше девичье дело отлетное: у отца живете, а сами так на сторону и смотрите.

— И с чего это ты, батюшка, взял? — попробовала протестовать Ганночка. — Кажись, никто за мной ничего не заметил.

— Знаю я вас, девок, видал на своем веку-то! Приглянется вам сатана пуще ясного сокола, вот и томитесь, и не знаете, что с собой делать. Ну, да что ж, так уж вам Богом положено. Ежели люб кто — говори прямо; посмотрю, кто такой, и, коли мало-мальски подходит, перечить не буду, с Богом — честным пирком да и за свадьбу. Пора и мне, старику, внучков понянчить...

Краска залила щеки молодой красавицы, когда она услышала такой разговор отца. Она смутилась, готова была плакать, но когда, оставшись одна, спросила себя самое, что же с ней в самом деле такое, то подыскать ответ не могла. Двое были перед ней — Разумянский и Агадар-Ковранский. Один нравился ей, другого она боялась. Но ее девичье сердце — почему именно, Ганночка и сама не знала, — больше лежало ко второму, чем к первому. Но все-таки это были лишь внешние чувства, весьма далекие от какого бы то ни было намека на любовь. Когда Ганночка начинала думать о них, то ее сердце молчало. Ей припоминался тогда не Разумянский и не Агадар-Ковранский, а кто-то третий, тот, кого она видела в клубах синеватого дыма около разведенного старухой Асей костра. Этот неведомый образ ворвался в ее память, запечатлелся в ней, и хотя тот молодец далеко уступал и поляку, и русскому князю, но все-таки он почему-то был мил девушке и постоянно царил в ее мечтах.

Время же не шло, а положительно летело. Стаяли последние снега, зазеленела земля, птички весело и радостно защелкали; пришла весна благовонная, и непонятною истокою наполнилось сердце Ганны...

Случилось же так, что как раз в это время сразу напомнили о себе и пан Мартын Разумянский, и князь Василий Лукич Агадар-Ковранский; они напомнили о себе тогда, когда о них и вспоминать перестали в Чернавске у воеводы Семена Федоровича.

От пана Мартына прибыл к воеводе Грушецкому посланец. Это был любимец Разумянского, литовец Руссов. Он приехал якобы для того, чтобы исполнить долг вежливости и осведомиться, благополучно ли добралась ясновельможная панна Ганна до своего батюшки.

Семен Федорович был от души обрадован этим появлением посланца. В нем сказала польская кровь и он любил этих аристократов славянства, как называют теперь поляков; ему не претили ни их напыщенность, ни ходоульность. Руссова он принял как самого дорогого гостя, и, конечно, между ними только и разговора было о дорожном приключении, в котором сыграла такую большую роль Ганночка. Руссов умел и прихвастнуть, и поналгать с три короба, и изобразить князя Василия лютым зверем, которого отнюдь не жалко было бы убить.

Грушецкий слушал его, только головой покачивал да пыхтел от негодования.

— Бок о бок с моим воеводством живет, и у меня на него руки коротки? — воскликнул он. — Уж попался бы он, так я показал бы ему, как лютовать. Он у меня по струнке ходил бы и пикнуть не посмел бы.

Руссов, приметивший это негодование старика, постарался распалить его еще более и, конечно, при этом расхваливал Ганночку, рассказывая, как она заступилась за лесовика Петруху и смело бросилась защищать пана Мартына Разумянского от неистовой лютой князя Василия.

Семен Федорович слышал этот рассказ по-иному, но так как Руссов успел внушить ему предвзятые мысли, то он больше верил его рассказам, чем сообщению провожавших его дочь холопов.

Руссов пробыл немного больше суток и уехал, оставив по себе наилучшие воспоминания. Вскоре после него прибыли послы и из поместья Агадар-Ковранского.

Впечатление этого посольства было другое, обратно противоположное. Они были посланы не самим князем Василием, а его тетужкой Марьей Ильинишной. Уже это одно неприятно подействовало на Семена Федоровича. Присланы были холопы, и Грушецкому показалось, что подобное посольство было направлено к нему с целью нанести ему обиду. Присланные не сумели объяснить, что князь Василий настолько болен, что даже и не знал об этом посольстве. Они били воеводе поклоны и в один голос твердили, что государыня-тетужка князя, Марья Ильинишна, приказала благодарствовать да еще о здоровье воеводы и боярышни спросить. Да сверх того наказывала она сказать, что приедет, дескать, вскоре в Чернавск сам князь Василий Лукич, так пусть-де его воевода примет честно, как то подобает его княжескому роду.

Эта передача поклонов Марии Ильинишны неумелыми холопами не на шутку оскорбила Семена Федоровича. Он так разобиделся, что даже не стал угощать посланных, а приказал только покорить их да поскорее отправить за околицу — пусть, дескать, себе идут назад, злом его, воеводы, не поминая.

Ганночка, конечно, знала и о том, и о другом посольствах и тоже несколько обиделась. Ей хотелось бы, чтобы приехал к ним сам князь Василий, а присыл холопов показался ей как бы подчеркиванием того, что Грушецкие стоят ниже Агадар-Ковранских. Однако, несмотря на неудовольствие, ни отец, ни дочь ни словом не обмолвились о своих впечатлениях и не упоминали о посланцах князя Василия, как будто их и вовсе не было. А тут из Москвы вдруг был прислан гонец с приказом Семену Федоровичу ехать к царю-государю, чтобы сказать ему, каковы дела в Чернавске.

Сильно обрадовался этому Грушецкий. Такое приказание было своего рода снятием опалы с него и открывало ему путь к повышениям.

— Вспомнил государь меня, вспомнил! — говорил он. — Понадобился и я ему. Что ж, поеду, нимало не медля, предстану перед его светлые очи. Только Агашеньки своей теперь одной не оставляю

здесь. Пусть, голубушка, со мной едет! Надо и ей на Москву посмотреть; не все ей в здешней мурье киснуть! На Москве, может быть, и жених хороший найдется.

XXXIV РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ

Родительское сердце не обманывало Семена Федоровича. Если не серьезная опасность, то во всяком случае не особенно приятная встреча была близка к его дочери. В то самое время, когда Грушецкий собрался в Москву, к Чернавску чуть не стрелою летел влюбленный князь Василий. Он так жаждал встречи с полюбившейся ему Ганночкой, что ему казался бесконечным путь от его поместья до Чернавска.

Кунцевича с ним не было, тот отпустил его одного. Вероятно это входило в планы иезуита, так как, отпуская князя, он обещал непременно ожидать его на пути и уже вместе с ним отправиться в Москву, если только не будет ему удачи в сватовстве.

Кунцевич добился своего. Тетушка Марья Ильинишна дала ему грамотки к своим московским родичам, в числе которых оказались большие благоприятели с наставником царских детей, киевским монашхом, дворцовым пиитом Симеоном Полоцким.

У иезуита даже глаза заблестели, когда он услышал это хорошо знакомое ему имя. Это была такая зацепка, что он мог считать задуманный план выполнимым с полнейшим успехом. Крепко зашил Кунцевич полученные от Марьи Ильинишны грамотки в нагрудный мешочек и отбыл, благословляемый всеми чадами и домочадцами лесного поместья, видевшими в нем избавителя от лютости князя.

Агадар же Ковранский мчался с преданными ему холопами в Чернавское воеводство. Разные думы вихрем метались в его голове; опять возвращалась к нему его прежняя своевольная лютость; недавнее смирение что рукой сняло, и нарождалась даже еще большая свирепость.

«Уж если только не отдаст за меня этот старый хрыч Грушецкий Агашеньки, если и меня осрамит, как его дед моего деда осрамил, так я все его Чернавское воеводство разнесу. Жив не буду, ежели не сделаю так!.. Все равно мне погибать без Агашеньки, света моего».

Однако у чернавского воеводы были свои приспешники, прирученные словом и добрым, и ласковым. Они уведомили его, что вырвался на волю хищный волк князь Василий и направил лет свой прямо к нему.

Отеческим чутьем догадался Грушецкий, чего нужно князю. Наскоро собрал он свою ненаглядную Ганночку в путь-дорогу, окружил ее нянюшками, мамушками, сенными девушками, отобрал наиболее преданных холопов и, опять поставив во главе старого Серегу с Федюнькой, отправил всю эту многочисленную компанию

на богомолье в дальний монастырь, а сам остался в одиночестве поджидать незваного гостя.

«Уж я употчую его! — думалось Семену Федоровичу. — Поздно хватился, сокол неясный. Не холопов бы с поклонами да челобитьями посылать, а самому бы явиться да смирехонько просить, чтобы я его пожаловал, дедовские обиды ему простил. Ну а теперь-то пусть покрушится. Чернавск — не лесная трущоба, здесь не разгуляться ему; живо укротить сумею!»

А князь Василий, прискакав в Чернавск, кинулся к воеводскому двору. Разлетелся он со своей оравой — глядь, а ворота заперты, и стража около них стоит.

— Эй, отворите! — закричал он с коня. — Нужно мне к воеводе по спешному делу.

Старший из стражников, словно нехотя, спросил:

— С Москвы, что ли, будешь?

— С какой там Москвы? Сам от себя! Говорю, что воеводу нужно видеть. Пусть встречать выходит.

В ответ ему раздался смех.

— Чего гогочете? — не помня себя от бешенства, замахал нагайкой князь. — Биты, что ли, давно не были? Так вот я вас! — И он, соскочив с коня, кинулся к набольшему стражи.

— Ну-ну! — легонько отстранил тот его. — Ты, добрый молодец, полегче! Ведь мы — люди царские, нас всякому бить нельзя, на то у нас свои начальники есть. А ежели не пушаем мы тебя, так ты нас не вини: не велено самим воеводою пушать. Ежели из Москвы кто гонцом, так это — другое дело, а ты вон сам от себя.

Чуть не в первый раз в жизни князь остановился, не зная, что делать. Хотя он и грозил разнести весь Чернавск, но эта угроза только сгоряча была, просто обычный пыл сказался. Ведь всякое насилие тут было бы бунтом против царского величества, а за такие дела в то время не миловали.

Пока Агадар-Ковранский стоял, недоумевая, как ему поступить, двери воеводского дворца распахнулись, и вышел сам Семен Федорович в полном парадном одеянии воеводском: тканом кафтане, длиннополом летнике, в высокой шапке. Оглядевшись вокруг гордым взором, он уставился на молодого князя, стоявшего у нижней ступеньки крыльца, и крикнул:

— Что за шум? Эй, стража, что случилось?

— Государь-батюшка воевода, — закланялся набольший стражи, — не нас, а вот его суди, — указал он на князя Василия. — Пришел он неведомо откуда и будто за разбойным делом. Говорит, что сам от себя и тебе о чем-то бить челом желает.

— И не с челобитьем я пришел, — закричал снизу князь Василий. — Незачем мне, природному князю Агадар-Ковранскому, к мелкопоместному столбовому дворянишке с челобитьями ходить.

— А, так это — ты, князь Василий Лукич? — почти ласково заговорил Грушецкий. — А я-то и не знал того. Ну, чтоб тебе уведомить меня? Иду, дескать в гости! Тогда бы и прием был другой.

Он сделал вид, что не расслышал дерзости прищельца, протянул к нему руки, а между тем не сделал ни шага вперед.

Агадар-Ковранский был весь красен от душившей его злобы. Он весь дрожал, вспоминая, что вот так же, как он теперь, перед отцом этого старика стоял его дед, выданный головою на бесчестье.

Грушецкий словно не замечал, какие чувства волнуют его незванного гостя.

— Милости же просим, князьенька, — ласково заговорил он, — уж что поделать: назвался груздем — полезай в кузов! Наехал в гости, иди в дом к хозяину, не погнушайся. Время теперь такое, что обед на столе. Откушай моего хлеба-соли, да, кстати, я тебя за любезную мою дочь Агафью Семеновну поблагодарю. Жаль, что вот только нет ее здесь, услал я ее к дальним угодникам на богомолье. Ну, да все равно — мою благодарность примешь.

Словно обухом по голове ударили слова князя Василия.

«Услали, — подумал он, — пронюхали про меня, окаянные, и встретиться с нею мне воспрепятствовали! Видно, и сватовство мое отвергнуто будет. Нечего тут и голову ломать, и поклоны бить, и дедовскую ссору покрывать не стоит. Все пропало... еще больше стало зла, чем прежде. Эх, и крыжицкого попа около меня нет, некому посоветовать, как мне быть тут и на своем поставить».

Князь Василий почувствовал, что его горло перехватывает нервная судорога. Он вскочил в седло и, взметнув нагайкой, погрозил ею в ту сторону, где совершенно спокойно стоял Грушецкий.

— У-у, проклятые! — вырвалось у князя, а потом он, передернув поводьями, круто повернул коня, ударил его нагайкой так, что на бедре остался кровавый след, и неистово помчался от воеводского крыльца. Его холопы, растерянные и смущенные, последовали за ним.

— С чего это он? Что с ним? — развел руками Семен Федорович, как бы говоря сам с собою. — Уж не ума ли рехнулся? Не дай Бог, ежели лютая хворость какая возьмет. Ведь из князей Агадар-Ковранских он последний, знатный род с ним пресечется.

Так он говорил для людей, а сам думал:

«Нет, скорей на Москву ехать, а то еще беды натворит этот сорвиголова. Хорошо я сделал, что Агашеньку услал!»

XXXV

НА МОСКВУ

Пока это неожиданное горе разразилось над головою князя Василия, иезуит Кунцевич добрался до того перепутья на дороге в Москву, где он условился свидеться с Агадар-Ковранским. Это был небольшой поселок, в котором редко останавливались проезжие, и потому Кунцевич мог быть вполне уверен, что никто ему не мешает день-другой отдохнуть от всего того, что он пережил в эти долгие дни. А в отдыхе он действительно нуждался.

С самого того момента, когда он расстался с Разумянским, этот человек необыкновенной выдержки, преданный исключительно фанатической идее всемирного господства папизма, жил в постоянном нервном напряжении. Удивительно, как могли выдержать его нервы столько дней искуснейшего притворства! Во все время нахождения при Агадар-Ковранском Кунцевич сплошь играл роль. Он ненавидел русских в силу того, что они были схизматиками и не покорялись царствующему Риму; он желал, чтобы и тогда уже громадный народ, весь целиком, по учению его религии осужденный на загробные мучения, так или иначе признал Рим главою всех помыслов своей души и обратился в послушное стадо римского первосвященника.

Этой идее Кунцевич служил с пылким фанатизмом, забывая, что, прежде чем стать католиком и иезуитом, он сам еще во чреве своей матери был славянином, таким же славянином, как и те, которых он так яростно ненавидел. Может быть, эта ненависть исходила из того, что Кунцевич был страстным патриотом, слепо любил свою Польшу и не замечал того, что это могучее государство заметно разлагалось и теряло свои недавние богатырские силы, тогда как силы Московии все возрастали, и погибавшей Польше все чаще приходилось терпеть поражения.

То время, которое иезуит предполагал провести в попутном проезде, давало ему возможность сбросить все личины и, таким образом, освежить силы своего духа для предстоявшей ему борьбы.

Он приехал в поселок почти около ночи. Князь Василий оказался настолько предупредительным, что послал сюда слуг, и в одной из просторнейших изб поселка иезуиту был приготовлен ночлег, где он мог остаться один с самим собою, со своими думами.

Закусив с дороги, Кунцевич растянулся было на мягкой постели из сена и хотел бы заснуть, но сон бежал прочь. Возбужденный мозг иезуита не хотел покоя и работал с обычной быстротой. Почувствовав, что сна нет, Кунцевич подошел к окну и поднял его. Была чудная летняя ночь; немая тишина стояла вокруг поселка, луна серебрила поля, из леса неслись ароматы, но Кунцевич словно не замечал ничего этого.

«Да, да, — думал он, — женщины в таких делах — великая сила, и если этой красивой девчонке суждено послужить на вящую славу Божию, то да послужит она, и я заставлю ее идти желаемой для меня дорогой. Она сама даже не будет этого замечать и пойдет, куда я направлю ее. Да она и не может не пойти: ведь в ее жилах течет кровь ее польских предков, добрых католиков, и я заставлю ее быть проповедницей истинной веры среди этих обреченных аду схизматиков. Напрасно этот дикий зверь, — вспомнил он про Агадар-Ковранского, — мечтает, что я для него стараюсь. Уж отказ-то он получит. Мой расчет несомненен, и мне нужно, чтобы он получил его. Он влюбился в эту красивую девчонку и пусть себе пылает! Чем сильнее будет его страсть, тем крепче я удержу ее в своих руках. Он будет для нее дамокловым мечом, и я повешу этот дамоклов меч на волоске над ее красивой головкой. Если понадобится, я без сожаления

ния, ради вящей славы Господней, оборву этот волосок, и меч поразит ослушницу. А ежели мой безумец-князь выйдет из моего повиновения, осмелится противиться мне или хоть смутно поймет те ходы, какие делаю я, стремясь к своей великой цели, то у меня всегда остается в запасе Разумянский, который ненавидит теперь этого русского волка и сделает все, чтобы загладить позор своего положения. Когда мне будут не нужны этот русский волк и польский гусенок, то я сведу их, и они уничтожат друг друга. Да-да, это так, в моих расчетах не может быть ошибки. Лишь бы мне-то самому не изменить своей роли!.. Плохо, что я начинаю уже уставать. Поднятое на мои плечи бремя давит меня, дела же впереди много».

Иезуит оборвал свои мысли и несколько времени смотрел в окно. Однако прелесть и тишина дивной ночи, казалось, вовсе не действовали на этого человека: его душа ярилась, мозг по-прежнему был погружен в бездны всевозможных хитросплетений.

«Что же я должен делать там, на Москве? — задумался он. — Прежде всего я, конечно, должен пробраться в покои московского царя. Он умирает, это мне известно доподлинно, однако смерть можно приблизить или отдалить, и я посмотрю, что будет выгоднее. Но старый царь Москвы ни на что не нужен мне, мои ходы должны быть направлены на его сына-наследника. Я знаю, что этот юноша — воск мягкий, и из него можно делать все, что угодно. Его можно направлять в любую сторону, и он должен послушно идти туда, куда я пошлю его. Вот для того-то, чтобы управлять им, как мне нужно, я и приобретаю средство. Оно уже в моих руках и в них же скоро будет и наследник московского царства. Но что там? Кто там?» — вдруг оборвал себя он.

Не сужден был Кунцевичу желанный отдых. До его слуха ясно донеслись стук копыт и фыркание лошадей. Скоро на поле замелькали фигуры всадников. Иезуит понял, что это спешил к нему возвращавшийся из Чернавска после своей неудачи князь Василий.

Да, он не ошибался. Агадар-Ковранский с малыми передышками промчался весь немалый путь. Усталость хотя несколько умерила его гнев, но зато еще сильнее чувствовалась обида. Он спешил к человеку, которому одному на всем свете верил, от которого одного ждал совета, способного успокоить его. Личина уже снова была на Кунцевиче, так как этот фанатик идеи никогда не давал себя заставить врасплах и не терялся даже тогда, когда ему приходилось действовать экспромтом. Князь Василий еще не успел подскочить к избе, как Кунцевич уже очутился на ее крылечке и приветливо замахал рукой навстречу ему.

— Что случилось? — торопливо спросил иезуит, когда князь соскочил с коня. — Или неудача, или ты, милый сын, не застал в Чернавске воеводы?

— О-о-о!.. — почти застонал князь, — будь они все прокляты там. Пусть этот негодный старик попадет в ваше католическое пекло и там его разорвут на клочки ваши дьяволы.

Кунцевич принужденно засмеялся:

— Ого-го, я вижу, что случилось нечто особенное, и теперь жалею, что не поехал с тобою. Но оставим пока это! Иди в мой приют, дорогой князь. На столе осталось кое-что от моей скромной трапезы. Подкрепи сперва свои силы телесные, а потом расскажешь мне все, что так огорчило тебя. Иди же, иди скорей! Видишь, эти простые люди проснулись, разбуженные тобой. Пусть они идут себе с Богом, а ты успокойся.

Действительно, шум от появления нескольких всадников разбудил почти все население маленького поселка. Но князя Василия здесь знали, и стоило ему только прикрикнуть погромче, как все поспешили разбежаться под свои кровли.

Глядя на спокойное лицо иезуита, князь почувствовал облегчение; но, когда он, отказавшись от еды, осушил несколько стаканов вина, кровь ударила ему в голову, и он бурно рассказал Кунцевичу все, что произошло в Чернавске. Тот довольно спокойно выслушал его рассказ.

— Ну, что ты мне скажешь, поп? — быстро спросил князь. — Что делать мне теперь? Подскажи мне, как я должен мстить за новую обиду?

— Прежде всего скажу тебе, сын мой, — проговорил иезуит, после некоторого раздумья, — что для тебя ничего не потеряно. Ты сам виноват, сам себе все испортил. Грушецкий — старик, про тебя же далеко не хорошая слава идет. Как мог он пустить тебя к себе, не зная, зачем ты явился? А ты еще прилетел, как вихрь, нашумел, набуянил. Да разве гости делают так?

— Я не мог стерпеть, — отозвался князь Василий, тем не менее понурясь, так как чувствовал всю справедливость замечания Кунцевича.

— Ага, — воскликнул тот, — вот теперь ты и сам сознаешь это! А теперь подумай-ка: ведь воевода не гнал тебя; сам же ты рассказываешь, что он звал тебя к себе хлеба-соли откусать. Я ваши обычаи хорошо знаю; этим Грушецкий как бы показывал, что никакого зла на тебя не держит. А ты?

— Да как же; звать-то он меня звал, а вперед шага не сделал. Заставил меня внизу под собой стоять. Это — не обида, что ли?

— Ну какая же это обида? — наставительно заметил иезуит. — Грушецкий — старик, а ты молодой. Так не воеводе же было к тебе идти, а ты к нему должен пойти на зов.

На этот раз князь ни слова не сказал — ему опять пришлось согласиться с доводами Кунцевича.

— Так вот и пеняй, милый мой друг, на самого себя и старайся поправить дело своего сердца! — произнес иезуит.

— Да как, как? — пылко вскрикнул князь.

— Да так! Вот ляжем-ка мы теперь спать; ведь утро вечера мудренее, а завтра с тобой проснемся и поедem на Москву. По дороге обдумаем, как твое дело поправить, а на Москве, что надумаем, то и исполним.

Проговорив это, Кунцевич зевнул и побрел к своему ложу.

ДУМЫ ЦАРЯ-ПРОФЕССИОНАЛА

Низенькие покои царских палат в Московском Кремле были пропитаны удушливым смрадом перегорелого лампадного масла да терпким запахом всяких лекарственных трав. Сильно был недужен «горазд тихий» великий царь-государь московский и всяя Руси Алексей Михайлович. Совсем еще не стар он был — ему шел только сорок седьмой год, а «сырая натура» давала себя знать. Да и далеко не спокойна была жизнь «горазд тихого» царя. Он любил покой и порядок, свято верил в свое великое назначение на земле, всегда старался быть справедливым, быть прекрасным семьянином, но словно злой рок тяготел над ним.

Страдая душой, видел Тишайший, как вокруг него грызлись жадные до власти бояре. Милославские, царская роденька по его первой жене, Марье Ильинишне, грабили народ, спускали с нищих шкуры, отняв у них суммы. Тиха и кротка была покойная царица, не в роденьку алчную вышла и совсем под пару Тишайшему оказалась, да вот взял ее, праведницу, Господь — видно Ему там, в горних селениях, такие-то нужны!

Не раз вздыхал больной царь, вспоминая свою свет-Машеньку покойную и сравнивая ее с такой «бой-бабой», какою была его вторая жена, Наталья Кирилловна.

Совсем не московского уклада была эта женщина. Прирубежная вольная жизнь сказалась в ней. Такой царицы никогда в Москве не было! Разве безбожница Маришка у Самозванца такая-то была. Во все-то дела государевы она свой бабий нос совала, великого царя-государя учить пыталась, порядки такие развела, что не приведи Господи... Это царский сват Артамон Матвеев ее науськивал да на всякие новшества попускал... Вон что пошло: Васенька Голицын во дворец в куцем немецком платье осмелился прийти да еще проклятым табачным зельем надымил... Ох, совсем последние времена наступили!

Ну, да табачное зелье и куцее платье пустое! Вон в Кукуе никто иного платья и не носит да табачным зельем чуть не мальчишки дымят, а худа от этого нет, и гром небесный никого не раздражает. Господь словно еще посылает кокуевцам Свои неисчерпаемые милости! Каждый простец там не хуже столбового московского дворянина живет, а бояре дворцовые на Кукуй-слободу то за тем, то за другим частенько из своих палат посылают; добра-то там, видно, куда как много. Стало быть, не противны Господу Вседержителю ни камзолы с короткими полами, ни трубки с дымящим зельем, ни всякие иноземные новшества. Видно, все, что у человека, все — от Бога.

А вот боярская грызня хуже всего; уж она-то от дьявола!

Прежде Стрешневы (матушкина роденька) с Милославскими (женщиной роденькой) грызлись да гили разжигали, а теперь Нарышкины ввязались. Милославские да Стрешневы сыты, вдосталь

напились крови народной, Нарышкины же еще недавно беднотой были, а потому с голодухи-то так на народ нажились, что сколько ни кровопийствуют, а все им мало.

И ненавистны же эти кровопийцы народные Москве! Не дай Бог гиль — по клочкам их народ разорвет! И что только будет с государством, когда преставится он, царь-государь?

Тяжело вздыхал больной Тишайший; мрачные думы угнетали его утомленный мозг. С ним-то, законным царем, все эти Стрешневы, Милославские, Нарышкины, Черкасские, Хованские, Морозовы, Ордын-Нащокины, Трубецкие, Пушкины считаются, а все же ему, законному государю, куда как трудно управляться с ними! Круто их не повернешь — недавно еще Романовы на престол московский сели, Тишайший всего только второй царь из их семьи. У бояр-то много и друзей, и приспешников прикормлено; ежели будет смута — Бог знает, кто верх возьмет. Ему, царю, престол оберегать надобно и все он для него делает. Как он своего собинного друга, патриарха Никона, боярам головой выдал, на худую жизнь, сам плача, обрек, а разве бояре-то — псы, из-за кости грызущиеся, — поняли это, уразумели, какую великую жертву им государь принес? Какое там! Только и притихли они, когда окаянный Стенька Разин государство на Волге потряс. За свои мерзкие шкуры они испугались и за царя попрятались, а как гроза прошла — опять за свою грызню принялись... Эх, Грозного бы поднять из могилы на эту грызущуюся сволочь!..¹ Уж он-то показал бы им, что такое есть на Руси царь-государь венчаный!

И чем больше думал об этом больной царь, тем все сильнее захватывал его ярый гнев — тайный гнев! Что бы ни было на сердце, а как придут людишки, показывай им радостное лицо, глубоко тай, что думаешь. Эх, тяжелы вы, шапка и бармы Мономаха!

А на смену гнева всегда приходили сознание своего собственного бессилия и тоска, жестокая, гнетущая тоска.

Но не о себе тосковал Тишайший, этот пассивный созерцатель, из которого в других условиях жизни по всей вероятности выработался бы могучий философ. Он, великий государь, повелитель жизни и смерти миллионов людей, властитель судеб огромнейшего государства, был венценосцем-профессионалом и честно выполнял свои профессиональные обязанности, как тяжелы они ни были ему. Именно в силу этих профессиональных обязанностей он, могущественный, обладавший всею полнотою власти, был в то же время рабом каждого ничтожного выскочки, пробравшегося к престолу хотя бы окольными путями. Царь Алексей знал, что такое власть, и скорбел за того, кому должен был оставить ее после своей смерти.

— Эх, Лешенька, Лешенька! — с тоскою и сокрушением вспоминал он своего второго сына, царевича Алексея Алексеевича, умершего на семнадцатом году своей жизни, — рано тебя Господь

¹ Сволочь в то время не было бранным словом

прибрал... Спокойно оставил бы я тебе царство свое! Уж ты-то унял бы боярские свары злые, ты прикончил бы их грызню! Вот Софьюшка, доченька милая, такая же, да — жаль! — девкой родилась. Для государева дела в девке какой прок? Много их, девок-то, у меня наложено: Авдотьюшка, Марфинька, Софьюшка, Катенька, Марьюшка, Федорушка первая от покойной Машеньки, касатушки моей, да Федорушка вторая от Натальюшки, да Федосьюшка еще, да свет Наташенька предпоследняя, — считал по пальцам государь своих дочерей, даже не вспоминая об умершей в младенчестве «второй Авдотьюшке», последнем его ребенке от царицы Марьи Ильинишны, о малолетках-сыновьях Дмитриии, его первом ребенке, и Симеоне.

О царевиче Алексее Алексеевиче Тишайший вспоминал всегда с особенной тоской. Это был юноша, казалось, самой судьбой предназначенный властвовать. Представительный, с твердым, как камень, характером, он и подростком наводил на бояр такой страх, какой никогда не заставлял их испытывать его кроткий отец.

В московском народе, неведомо какими путями — может быть, именно тем, что умел приструнить кровопийц-бояр, царевич Алексей приобрел большую популярность, которая быстро распространилась по всем уголкам царства; и Стенька Разин был обязан своими успехами тому, что распространил на Волге слух, что царевич Алексей вовсе не умер, а был вынужден бежать из Москвы от боярских злоумышлений и он-де, вор Стенька, сбивает народ только на защиту гонимого боярами царевича.

Раз вспомнив о покойном сыне, царь вспомнил и о живых сыновьях.

— О-ох! — вздохнул он. — Всем хорош Феденька-то мой: и разумен, и добр, и всякой премудрости обучен, вот ежели Бог даст выживу, пошлю его будто в посольстве за рубеж, пусть посмотрит да поучится, как там добрые люди живут! И хороший из него царь выйдет: на своем он поставить сумеет, когда же нужно, то и поклониться народу православному не затруднится, а вот поди ты — здоровьем слаб: хилый он да сырой, как и я. Не многие лета протянет и Иванушка, дурачок блаженненький. Уж где на этого царство оставить? Ведь его самого без надежного глаза ни на малую минуточку оставить нельзя. Вот разве последыш мой? — И при воспоминании о «последыше», царевиче Петре Алексеевиче, хорошая улыбка так и расплылась по широкому лицу царя. — Вот бы кому на царстве сидеть! Ничего, что ему только четвертый годок идет, а видно сокола по полету. У-у, буян милый! Не дойдет только до него царская чреда! Федора женить нужно, дети-наследники пойдут, а Петруша, огонь-царевич, в стороне останется... Поздно родился он... последышек милый! А уж кабы он только сел на царство, лихо пришлось бы и Стрешневым, и Милославским, и всей остальной боярской сволочи! Грозный царь из него вышел бы! Вон и девки тоже выходят ой-ой какие бунтарки ядренные! Сонюшка им всем на покрыву, да и Марфинька с Марьюшкой им не уступят. А Сонюшка-то милая — совсем царь-девка; в пору входит, на Ваську Голицына заглядывать-

ся начала. Ох, доченьки, доченьки! И зачем вы у меня родились, себе не на радость? Сколь бы вы красивы ни были, сколь бы вам Господь ума ни дал, а придется вас всех по монастырям распихать. И умрете вы, женского счастья не ведая!

XXXVII

ИНТРИГАНЫ СТАРЫЕ И МОЛОДЫЕ

Не раз и не два, а постоянно, терзали и угнетали Тишайшего такие думы. А кругом него бурлило море боярских интриг.

Не умер еще царь, просто недужил, а окружавшее его алчное воронье дралось из-за будущей добычи. Чували эти стервятники в близком будущем труп, и не было на них никакой управы. Все их помыслы вились около юного наследника.

В особенности волновались Милославские, эти дворцовые выскочки, сознававшие, что все их призрачное могущество висит на волоске. Илье Милославскому юный наследник приходился внуком, и этот боярин-выскочка считал, что у него лично все права на наибольшие почет и власть.

— Совсем несмысленок царевич-то, — не раз говорил Илья Данилович, — дитя малое! Нельзя ему без опоры оставаться, а кому же при нем и опорой быть, как не нам, родному его деду! — И, цапаясь за могущество, плел паутину интриг этот старик, стоявший у самой могилы. — Да, да, — шамкал он беззубым ртом на своем смертном одре, — наше пусть при нас и остается. Не выпускайте царевича!

Умер старый интриган, и во главе его рода стал боярин Иван Михайлович Милославский, более молодой, более энергичный, предприимчивый и с еще большей жадностью добивавшийся власти. Он ясно сознавал, что вовсе не так близок к царской семье, как Илья Данилович, и старался держаться в тени, выжидая того времени, когда замутится вода в московском государстве и можно будет половить в ней для себя всякой жирной рыбки.

Укрепляясь в своем положении, хитрый Иван Милославский оставил в покое недужного царя и ткал свою паутину около юного царевича, стараясь только пока ослаблять влияние Нарышкиных да создавать себе популярность в московском народе, и главное — среди его черных сотен, в которых всегда были наиотчаяннее гилевщики, не считавшиеся ни с какой властью.

Этих бунзюнов и Иван Михайлович, и сплотившиеся вокруг него родственники, и вообще все приспешники и «жилыцы», то есть прихлебатели этого рода, старались всеми силами натравливать на новую царскую роденку — Нарышкиных.

Это натравливание ни для кого в Москве не было секретом.

— О-ох, — говорили на площадях, — умри великий государь, остыть еще не успеет, а литовчане мертвой хваткой возьмут окаянных татарчат!

Род Милославских происходил от литовского выходца Вечеслава Сигизмундовича, прибывшего на Москву в свите Софьи Витовтовны, невесты великого князя Василия, впоследствии «Темного»¹; мелкие же дворяне Нарышкины, как уверяли старинные родословные, происходили от крымского татарина-выходца Нарышки, осевшего в Москве с 1463 года. Оба эти рода за свою чрезмерную алчность в выжимании соков народа были нетерпимы и ненавидимы в Москве. От их первоначальных предков и пошли прозвища их придворных партий: «литовчане» и «татарчата». Однако Милославские все-таки были более любы народу, чем новые живодеи Нарышкины, и долгое время на старой Москве слово «нарышкинец» было чуть не бранным.

Повинным в такой народной неприязни, скоро перешедшей в ненависть, был Кирилл Полуэктович Нарышкин, отец второй супруги царя Алексея. Он, будучи новичком в придворном омуте, интриговал неумело, раздражал дворцовых бояр своею заносчивостью, не только держал руку нелюбимого в Москве ярого западника Морозова, но и подражал ему во всем. Его видели открыто курящим трубку, он подстригал себе бороду, осмеливался появляться в немецком короткополом платье. Всем этим пользовались Милославские и распалили чернь, подчеркивая ей эти новшества как измену вековой дедовщине, которой, по всенародному убеждению, была «Москва крепка».

Впрочем, Кирилл Полуэктович мудрил недолго. Новая жизнь, полная всяких непривычных излишеств, быстро сломила его. Он умер, а его сыновья — Иван и Лев Кирилловичи, пожалованные вместе с четырьмя отдаленными родственниками в бояре, ударились в омут интриг, действовали, ничем не стесняясь, так что народная ненависть к ним все разрасталась. Только уважение к больному царю удерживало чернь от гили и расправы с Нарышкиными.

А молодые братья царицы будто и не замечали этого. Они упивались своим построенным на песке могуществом, озорничали, безобразничали, пользуясь тем, что не до них было угнетенному недугами царю. А их сестра-царица, любившая сверстников своего невеселого детства, покрывала их во всем, и, выходя сухими из воды, Нарышкины тем самым еще более распалили народную ненависть.

Были, конечно, и другие честолюбцы, точно так же мечтавшие о власти, но они были сортом помельче и, кроме одного Матвеева, царского свата, никакого значения не имели. Они все были «поддужными» у набольших. Из них Милославские и Нарышкины вербовали своих сторонников. Да они и не домогались высшей власти, для них было совершенно довольно того, что давала им близость к временщикам. Они могли озорничать, как угодно было их низким душам, насильничать, грабить в открытую.

Зато и били же их московские черносотенцы, эти постоянные носители народной свободы в тогдашнем московском государстве! «Черные сотни» тогда были своего рода сословием; они состояли из ремесленников, торговцев, вообще из людей личного труда, не свя-

¹ Василий II Темный (1415—1462), великий князь московский с 1425 г.

занных с землей. Их развитие было несколько выше, чем развитие землепашцев, прикрепленных к земле. У них было свое управство, то есть они составляли вполне определенную организацию, с должностными выборными лицами, со своего рода «общим собранием», которое и вершило все их общественные дела.

Правительство даже несколько заискивало у черных сотен, и от них были представители на всех земских соборах. Да и немудрено: черные сотни, настроенные всегда протестующе, почти революционно, всегда готовые к бунту и всяческой гили, были силою, с которою нужно было считаться, в особенности потому, что стрельцы, эти в скором времени «преторианцы третьего Рима», были теми же черно-сотенцами и при частых гиях не раз принимали руку последних.

Старые дворцовые интриганы знали это и заискивали у черных сотен, видя в них пособие к выполнению своих замыслов; молодые, напротив того, относились к живой стихийной силе пренебрежительно, ни во что не считая ее.

И немудрено, что они имели такой взгляд. Ведь для всех этих «новых людей», вынесенных на высоту слепым счастьем и еще недавно пресмыкавшихся в ничтожестве, царь на престоле все еще продолжал казаться земным богом, по слову которого совершается все на Земле. Они еще не успели разглядеть в царе человека и верили в царское обаяние. Не замечали они и того, что царю, чтобы управлять хорошо, нужна сила немалая, так как кругом него море, вечно бурлящее и всегда настроенное враждебно против всякой власти. Другими словами, все эти выскочки были наивно уверены в полном могуществе права и были убеждены, что сила всегда смиритса перед ним и что существует-то она только для того, чтобы осуществлять великие права.

Старые интриганы, уже достаточно наметавшиеся, ко всему приглядывшиеся, держались других воззрений и действовали соответственно со своими взглядами, то есть старались захватить в свои руки и силу права, и дикую силу физической мощи.

Среди выскочек, выброшенных на высоту слепым счастьем, особенно выделялся ненавистный народу своими новшествами царский сват — «Сергеич», как его звал Тишайший, или боярин Артамон Сергеевич Матвеев, человек — к несчастью для самого себя — немного опередивший свой век. Это был в полном смысле «западник», но западник разумный. Он брал на Западе лишь то, что считал хорошим, и старался пересаживать на свою родину «заморские обычаи», не ломая, впрочем, дедовщины. Он — да один ли он! — был уже свободен от многих старых предрассудков. Его дом точно так же, как и дом другого западника, еще молодого князя Василия Васильевича Голицына, был устроен на заморский образец. Это были своего рода «салоны» тогдашней Москвы. И к Матвееву, и к Голицыну съезжались москвичи помоложе; они судили да рядили не о том, как бы подковырнуть друга-приятеля, а о том, как живут за рубежом, какой король как там правит. Здесь готовились реформы, которые скоро без всякой ненужной и пагубной ломки

внедрялись бы в жизнь русского народа. Сюда запросто являлись знатные и незнатные иностранцы. Глава кукуевцев — Патрик Гордон — был здесь своим человеком...

Артамон Сергеевич был большим мастером и по части дворцовых интриг, но вел их не грубо, а «по-европейски» с «подходцами». В глазах старых интриганов Милославских он был опаснейшим для них врагом, но поделаться они ничего не могли: царь был за Матвеева, и тут Милославские уже ничего не могли поделаться. Царь, в одной из вспышек гнева, даже за бороду оттащал Дмитрия Милославского, осмелившегося похаить его «Сергеича». Милославские попритихли, выжидая того времени, когда без промаха можно будет взять мертвой хваткой и ненавистных им Нарышкиных, и худородного Артамона.

А тем временем около Тишайшего совершенно не замеченная никем зарождалась новая дворцовая партия, казалось, и надежды на успех не имевшая; это была партия «бой-девки», царевны Софьи Алексеевны.

XXXVIII

СЕСТРЫ-БОГАТЫРШИ И БРАТ-МЕЧТАТЕЛЬ

И в кого только уродились у «горазд тихого» царя Алексея Михайловича, в какого предка, близкого или далекого, такие ненаглядные его свет-доченьки? Все, как на подбор, богатыршами вышли... Трудно было потом, многие годы спустя, справляться с ними даже все гнувшему, все ломавшему младшему их братцу Петру.

Царевны Марфинька да Марьюшка много крови ему попортили, а о той, кто, казалось, всем им на покрыву уродилась — свет-царевне Софьюшке, — и говорить нечего. Ту державный брат-сокрушитель и любил, и ненавидел, и даже в монастыре, за множеством затворов, боялся ее...

Богатырь была царевна Софьюшка, всем она удалась: и красотою девичьей, и умом не по-женски мужественным, и энергией несокрушимой. Ничего не известно о ее потомстве, а что за могучие люди должны были быть ее дети!

В ту пору, перед кончиной отца, царевне Софье Алексеевне было восемнадцать лет — родилась она в 1657 году. Такие годы для девушки того времени были половиной девичьей весны: рано тогда созревали красные девицы, а царевна Софья в свои восемнадцать лет казалась уже совсем взрослою и чуть ли не перестарком.

Высока и статна она была — совсем богатырша с виду, вроде Владимировой Настасьи Микулишны, которой и пятка богатырей Красного Солнышка мало было на одну руку. Все в ней складно было: и плечи могучие, и грудь высокая. А ее личико девичье так красиво было, что, кто взглядывал на него, долго позабыть не мог. У нее были косы черные, жестковатые, до пят, брови под высоким и широким лбом крупные, соболиные, румянец здоровый, так жизнью и бивший, во всю щеку, крупные, словно постоянно жаждав-

шие огненных поцелуев, губы. Но самым чудным в царевне были ее глаза с орлиным, пронизывающим взором. Они постоянно горели, лучились, переливались своими лучами, жгли, как остриями невидимых кинжалов, никогда никого не манили к себе, а властно приказывали. Они не сулили счастья, а говорили о муке среди блаженства, и вряд ли среди дворцовой молодежи много было таких добрых молодцов, которые не были бы готовы безропотно умереть за одну мимолетную улыбку красавицы-богатырши.

Слабые, хилые сыновья Тишайшего — царевичи Федор и Иван, в особенности последний, и в сравнение не могли идти с этой величественной богатыршей, не признававшей над собою ничьей воли, не подчинявшейся ничьему влиянию, стремившейся гнуть все и всех.

К отцу она только снисходила, мачеху терпеть не могла, а по ней не могла терпеть и даже ненавидела всю ее через меру зарвавшуюся родню. К своим родственникам по матери — Милославским — царевна Софья относилась свысока и так покрикивала на них, что те ее, как огня, боялись. С сестрами, в особенности с такими же, как и она, почти богатыршами, Марфой и Марьей, Софья была дружна, а на младшего брата «нарышкинца Петрушку», она и глядеть не хотела, но только за то, что он был ненавистный ей «нарышкинец». Тут в этой царевне-богатырше уже сказывалась женщина: не будь Петр сыном Нарышкиной, Софья боготворила бы его, как боготворила память брата Алексея, характером и своей внешностью весьма походившего на Петра. Но в то время никакие честолюбивые помыслы еще не будоражили этой юной души: другие бури бушевали в юном сердце, которому настала пора любить.

Царевич Федор Алексеевич, уже объявленный наследником престола, по складу своего характера был вылитый отец. Он был мечтателем, с тихой, кроткой, всегда женственно-нежной душой. Грубые забавы претили ему. Напрасно старались молодые Милославские и их прихлебатели втягивать царевича Федора в безумные попойки, — он чувствовал органическое отвращение к вину. Противны были ему и разные травли, которые часто устраивались на дворах важных бояр: он не мог переносить вид льющейся из свежих ран крови, вообще не мог видеть никакого страдания, а тем более, когда оно являлось по-техою.

У его государя-батюшки была одна весьма любимая забава: в день Маккавеев, когда церковью совершается освящение вод, купать бояр, опоздавших к началу водосвятного молебна. Для такого купания даже особый церемониал был выработан и заранее назначалось, кому сталкивать в воду опоздавшего, кому следить, чтобы тот не утонул, кому принимать из воды. Многие бояре за честь для себя считали посмешить великого государя, барахтаясь в воде. Царевичу же Федору такое зрелище было противно и он всегда старался отстраниться от него.

Не любил он и охоты соколиной, столь излюбленной его отцом, но зато постоянно тянуло его в сад, в парк, в поле, где он мог бы быть

один, любоваться Божьими цветочками, глядеть в далекие небеса, как бы стараясь отгадать, что там такое кроется. Любил он вдыхать ароматы леса и поля, среди которых, обвеянный ими, он мог бы размышлять, зачем это так устроено на Божьем свете, что есть цари-государи, которым ничего нельзя, и есть жалкие смерды, которым все можно. Это, пожалуй, были любимые думы юного царевича.

Женщины никогда не являлись предметом мечтаний царевича. Как ни старались окружавшие его придворные развратники просветить Федора Алексеевича относительно всяческой грязи жизни, и сам он, и его мечты оставались целомудренными. Может быть, это было потому, что Федор только и видел около себя лишь сестер, которые для братьев — не женщины, а товарищи, мать и мачеху, потом разных мамушек, да таких женщин, на которых он с детства привык смотреть, как на близких себе, которых он и сам ни в чем не стеснялся и которые сами его не стеснялись...

Правда, иногда он подумывал о необходимости для себя жениться, но и в этих думах о браке чувственность отсутствовала. Федор смотрел на брак, как на обязанность, и в будущей жене видел более доброго товарища, чем необходимую подругу милых бессонных ночей.

В этом отношении царевич Федор, более взрослый, уступал даже своему меньшому брату. В том говорили одни только инстинкты и, как всегда бывает у подобных субъектов, чувственность у царевича Ивана была не по возрасту повышена.

О предстоящей ему обязанности царствовать Федор Алексеевич думал с большим страхом и сокрушением. Как бы он был счастлив, если бы миновала его «чаша сия»! Ушел бы он в святую обитель и жил бы там на полной волюшке, сам ни в ком не нуждаясь и сам никому не нужный. И зачем это взял Господь братца Алешеньку? Уж тот не помышлял бы о монастыре. Как жаль, что братец Петрушенька столь молоденек! Не дожидаться, пока он подрастет. А то, если бы Петр в поре оказался, сдал бы ему он, Федор, все царство! На что ему оно? На что ему призрачная власть необъятная, когда он по своей воле, без боярской указки и шаг ступить не может? Вот и отец хотел бы, чтобы Петруша, братец-последышек, царем был... И справедливо желание государя-отца! Какой он, Федор, царь, когда далеки от царской чреды его помыслы!

«А скоро, скоро батюшка-государь преставится, — размышлял Федор, — со дня на день ждать нужно, и тогда волей-неволей нужно будет бразды правления принять... Эх, пожить бы ему, голубю, может быть, меня Господь раньше прибрал бы, тогда, минуя братца Иванушку, и приказал бы государь-батюшка царствовать брату Петру; правда, молод он еще, ну да, пока в годы не войдет, за него верные люди поправить могут».

Такие мысли все чаще и чаще посещали голову наследника Тишайшего.

Однажды совсем нечаянно пришлось ему слышать потайной разговор своего отца с Артамоном Матвеевым. Утомленный недугом

царь лежал на своей высокой пуховой постели. Матвеев сидел около него на невысоком ставце (табурете), так что его голова приходилась вровень с головой больного царя. Они беседовали, и ни тот, ни другой не слышали, как вошел в покой царевич Федор. По своей скромности, юный наследник остановился поодаль, не желая тревожить беседу и ожидая, чтобы государь первым сам заметил его. Так ему и пришлось слышать конец наставлений отца.

— Так слышишь, Сергеич, — произнес слабым, прерывистым голосом Тишайший, — исполни, как говорю. Умру — попробуй так повернуть, чтобы Петруше царем быть; ежели с умом это сделать, так возможно... Пойми, что не в нарушение Божеского и дедовского закона о царском наследии приказываю тебе так, а потому, что и за сыночка Федю, и за все царство московское боюсь. Очень большую силу мои грызуны-бояре взяли, Феденька не по ним царь. Им нужно, ежели не такого, как я, то такого, чтобы бил их нещадно и непрерывно, а Федя этого не может... Не то он у меня монах, не то красная девица...

Даже не дослушав конца беседы, поспешил уйти царевич Федор. Не было у него на сердце ни горечи, ни обиды, а радость была великая. Мягкое сердце в слабой груди так и прыгало: авось так выйдет, как государь-батюшка желает.

Подстерег царевич Матвеева, когда тот из царской опочивальни выходил, и, остановив его, робко заговорил:

— Ты, Сергеич, того... сделай, как батюшка-государь приказывал тебе.

— О чем ты, государь? — удивился Артамон Сергеевич. — О каком государевом приказе намекать мне изволишь?

— Да вот, слышал я, насчет царства батюшка велел... брату Петруше, а не мне его отказывает.

— Ты слышал, государь-царевич? — вскричал пораженный боярин.

— Слышал, говорю... Да ты не бойся, Сергеич, я никому не скажу... А насчет царства пусть лучше Петрушенька будет; мне не надо, я не хочу. Какой я царь? Мне бы в обитель, Богу за вас молиться...

Смотрел поседевший в интригах боярин на смущенного наследника престола, и невольные слезы проступили на его глазах, невольная дума бредила его мозг: «Святая, чистая душа!»

XXXIX

СЛУГА ДУШИ И ТЕЛА

Но и этого милого, кроткого, застенчивого юношу однажды опалило дыхание страсти, правда, не своей, а чужой, а все-таки и он тогда понял, что есть на белом свете сила могучая, которая управляет жизнью человеческой более, чем холодный разум, чем сознание долга.

Это было в то лето, которое стало последним для Тишайшего царя Алексея Михайловича.

Около постели больного вдруг появился новый человек, немало пугавший всех семейных угасавшего царя своею замкнутой серьезностью, своим несколько мрачным видом, а главное, своей черной фигурой.

Он появлялся в царских покоях всегда внезапно, и царевич Федор знал, что его приводят к больному украдкой, через потайные двери перехода. Иначе было невозможно.

Этим мрачным человеком был иезуит Кунцевич, и в Москве поднялась бы гиль, если бы там узнали, что у православного царя государя бывает «пан-крыжак».

Кунцевич попал к больному царю через придворного пииту, наставника царских детей, разудалого монаха Симеона, по прозванию Полоцкого. Тот наговорил про него кучу всего хорошего. Выходило так, что Кунцевич хоть покойника оживить бы смог, такой-де он дельный лекарь.

О таком премудром лекаре доложили царю, и тот пожелал видеть его.

Когда царевич Федор впервые увидел Кунцевича, он вдруг не на шутку испугался, — так его поразила серьезная мрачность этого человека. Кунцевич в первый раз осматривал царя в присутствии наследника престола. Тут же был и Артамон Матвеев, единственный, на чью скромность в этом случае можно было положиться. Матвеев внимательно следил за новым врачом, и Кунцевич произвел на него хорошее впечатление.

— Знает дело лекарь-то! — шепнул он царевичу. — И слушает, и мнет, как положено, и постукивает... Я их, лекарей-то, перевидал на своем веку. Все их ухватки знаю.

Царевич Федор тоже не спускал взора с нового лекаря. Его приемы были совсем не те, которыми обыкновенно сопровождали свои осмотры придворные лекаря-немцы. Кунцевич не шарлатанил, а действовал с простотою, но уверенно, и это производило впечатление на больного, для которого лекарские осмотры обыкновенно бывали сплошною мукою.

Покончив с осмотром, Кунцевич весьма почтительно, но без тени холопского подобострастия стал откланиваться.

— Я ничего сейчас не могу сказать о болезни его царского величества, — сказал он, — мне нужно все сообразить, и только тогда я могу сказать свои предположения.

— Так, так! — добродушно одобрил его Тишайший. — Торопиться нечего. Чай, не сейчас помру.

— Совершенно верно, — спокойно ответил иезуит, — каждый человек в воле Господа, смерть всегда у нас за плечами, но я не думаю, чтобы роковой конец наступил раньше середины зимы. Я могу высказать это как предположение, а для более определенного сейчас у меня нет никаких данных...

— Спасибо за правду! — растроганно проговорил Тишайший. — Вот если бы всегда мне так говорили, так, может быть, меньше я и обеспокоен был бы. А то врут все! Говорят, что еще

многие лета я жить буду, а сами знают, что меня смерть за ворот держит.

— Не совсем так, государь, — улыбнулся иезуит. — Но я уже сказал вам, что все в воле Божией! Когда я приду в следующий раз, я с полной откровенностью выскажу вашему величеству свое мнение.

Он почтительно поклонился и пошел к Матвееву, бывшему его проводником по дворцовым тайникам. Проходя мимо грустно глядевшего на него царевича, иезуит приостановился и тихо, но внушительно сказал: «Вашему высочеству тоже весьма необходимо лечиться», — после чего, сделав новый поклон, вышел вслед за Матвеевым из покоя.

— Ну что, как государь? — спросил его тот, когда они были довольно далеко от царской опочивальни. — Плох?

— Да, — ответил иезуит, — он проживет недолго...

— Сколько? — воскликнул испуганный Артамон Сергеевич. — С год или более?..

— Нет, вряд ли его и на полгода хватит... Весь его нестойкий по природе организм уже расшатан и подточен недугом.

— Что же теперь делать? — совсем уже растерялся Матвеев.

— Лечить, и очень серьезно, его наследника, — ответил иезуит, — царевич тоже недолговечен, но лечением можно продлить его жизнь. Если бы мне предложено было, — словно вскользь заметил он, — я взялся бы за лечение его высочества.

— Да как же это сделать? — с сердцем ответил ему Артамон Сергеевич. — Ведь буря поднимется, ежели только узнают, что ты, крыжак, его лечишь.

— Что же? Ради покоя я мог бы лечить его тайно. Разве не может царевич бывать у своего учителя Симеона? Там мы и могли бы встречаться. Никто об этом ничего не узнал бы, а может быть, мне удалось бы несколько укрепить силы этого бедного царственно-юноши!

Пока Кунцевич говорил, Матвеев смотрел на него, не спуская взора. Как-никак, а это доброжелательство поляка до некоторой степени будило в Артамоне Сергеевиче подозрительность. Ведь Кунцевич был сыном страны, издавна враждовавшей с Москвой; короли этой страны считали Москву своим достоянием, и вдруг такая заботливость со стороны поляка о московском престолонаследнике!

Иезуит, должно быть, понял, какие мысли бродят в голове этого близкого царю человека, и с улыбкой произнес:

— Не думает ли боярин о том, с чего это я принял на себя заботы о его государях? Так мой ответ на это был бы весьма прост. Я — скромный служитель алтаря и ни в какую политику земных властителей не вмешиваюсь. Я — Божий, а не земной... для меня все люди на земле — дети одного Отца — Творца неба и земли, а потому я, видя, что молодое существо хиреет, и спешу на помощь к нему с теми познаниями, которыми умудрил меня всемогущий Господь!

Матвеев внимательно слушал эту речь иезуита, но вряд ли верил хотя бы одному его слову.

«Да, да, — думал он, — знаем мы, что ты за птица!.. И твоих песен хорошо слышаны. Слыхали таких-то! Черные вы вороны. Турнуть бы тебя следовало, да вот лекарь ты и в самом деле знающий. Свет-государя тебе не поднять — не Бог ты, а Феденьку полечи, зачем ему пропадать. Пусть поживет во славу Божию! Пока я тут поблизости, и не такие, как ты, козлы не страшны, а умру я — так уж Божья воля будет».

Заметив, что Кунцевич вопросительно смотрит, Артамон Сергеевич круто оборвал свои мысли и сказал:

— Что же, если умудрил тебя Господь, то и нам от твоей помощи нечего отказываться. Сделаешь доброе дело — без награды ни на небеси, ни на земли не останешься... А насчет мниха-пииты ты хорошо придумал. Ходить ты будешь будто к нему, туда же я и царевича приведу.

Знаменитый дворцовый пиита, поэт-лауреат того времени, черноризец Симеон Полоцкий жил в одном из дворцовых флигелей. На смиренного инока он был похож разве только по платью. Это был веселый, жизнерадостный старик, всегда готовый и гульнуть с добрыми приятелями, и попить «до положения риз» зелена вина, и попеть под гусли или бандуру не одни только церковные песнопения, а подчас, когда не было в кружке лишних глаз, готовый, подобрав полы рясы, пуститься в отчаянный пляс, заставляя дрожать слюду в окнах раскатами здорового бурсацкого хохота.

Симеон был украинец, киевский бурсак; в молодости он толкался среди польской знати и по духу скорее был католическим, чем православным монахом. Свое крестовое имя он давно позабыл, а может быть, и никогда не помнил; рясою он отнюдь не тяготился и духовного начальства никакого не признавал. Даже грозный патриарх Никон отнюдь не пугал его. Хорошим в нем было то, что он не впутывался в дворцовые интриги и одинаково был дружен с представителями всех постоянно враждовавших между собою дворцовых партий. У этого-то «светского монаха» и стали происходить встречи царевича Федора с иезуитом Кунцевичем.

Последний был всегда вкрадчиво почтителен с наследником престола. Рассуждал он с ним всегда серьезно и притом всегда о таких предметах, которые были более всего по сердцу юному царевичу. Многое, что говорил Кунцевич, было откровением свыше для царевича Федора. Он жадно слушал иезуита и скоро, сам того не замечая, подпал под его влияние.

Однажды, как-то придя к своему старому учителю Симеону, царевич Федор не застал ни его, ни лекаря. Вместо них в просторной, совсем уже не монастырской келье старого сочинителя «Вертограда» был высокий, красивый с мрачным, несколько злым лицом молодой человек. Это был князь Василий Лукич Агадар-Ковранский.

Царевич и ранее того видел его несколько раз с Кунцевичем. Он даже знал, что последний с большими усилиями выходил князя

от тяжелого недуга. Теперь царевич даже был рад, что этот молодой человек очутился от него так близко и притом с глазу на глаз с ним.

— Князь Василий, а, князь Василий, Васенька, — позвал он Агадар-Ковранского, когда тот, низко поклонившись, зашпешил к выходным дверям, — да куда ты все торопишься? Посидел бы ты со мной малость, поговорили бы мы... Чай, не страшный я...

Царевич даже улыбнулся, произнеся эти слова. Он рад был разговору со свежим человеком, притом ближе подходившим к нему по возрасту, чем другие, окружавшие его во дворце люди.

Князь Василий, услышав это приглашение, низко поклонился и сказал:

— Что-й-то, царевич, несуразное ты сказал. Ты ли страшен! Да ты все равно, что ангел небесный!

— Оставь, — махнул рукою Федор, — надоели мне хвалы.

— Да я и не хвалю тебя, а говорю, что думаю. Прости, ежели что не по сердцу сказал! Приказывай, какую тебе службу сослужить...

— И ничего я приказывать не буду, а прошу. Вот садись-ка ты против меня на лавку, побеседуем. О себе мне расскажи! Ты ведь на воле живешь, всякое видишь, а я здесь — все равно, что Божья птичка в клетке. Садись!

Князь Василий присел.

XL

ВОРВАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ

Несколько времени они молчали, смущенно переглядываясь друг с другом. Агадар-Ковранский, несмотря на всю дикость своей натуры, просто ополоумел от мысли, что сидит как равный с равным с наследником московского престола. Еще в первый раз он так близко видел царевича Федора и никогда не воображал, чтобы будущий царь мог быть таким вот, как этот болезненный, с тонкими, женственными чертами лица юноша, столь кротко, без тени какого бы то ни было презрения смотревший на него. Эта нежная красота и кротость никак не вязались с представлением князя Василия о царегосударе, который, по его мнению, должен был быть и ростом велик, и голосом груб, и на речи дерзок, дабы было в том хотя какое-нибудь отличие между ним и его червяками подвластными.

Федор же, напротив того, смотрел на князя Василия с великим любопытством. Ведь он крайне мало видал людей и ему тоже казалось, что все те люди, которые находились вне стен дворца и Кремля, — совсем другие люди, особливые от тех, которых он видит постоянно вокруг себя. Поэтому-то новый человек возбуждал в нем жгучее любопытство.

Так смущенно, не зная, о чем заговорить, молчали они несколько времени.

— Ну, что ж ты ничего не говоришь, милый? — ласково спросил Федор. — Ты не бойся, скажи что-нибудь!.. Как вы там живете, про веселости ваши расскажи... Я ведь здесь, в четырех стенах — постоянно сидючи, как есть ничего не знаю! — И он даже засмеялся, представив себе, как часто он воображал себя птичкой малой, запертой в раззолоченную клетку.

Этот смех рассеял смущение князя Агадар-Ковранского. Он опомнился и быстро сообразил, что наступает тот момент, о котором до этого часто-часто шли у них разговоры с иезуитом Кунцевичем. Для него не было сомнения, что эта неожиданная встреча с наследником престола устроена его черным другом. Кунцевич часто брал его, князя Василия, с собой, когда отправлялся к Симеону Полоцкому на тайные свидания со своим пациентом-царевичем. Но, должно быть, все не выпадало ему свести молодых людей так, чтобы они могли очутиться с глазу на глаз и поговорить о разных разностях, позабыв о различии своего положения. Едва только вспомнил обо всем этом князь Василий, как к нему опять возвратилась его обычная дерзость.

— Эх, государь ты наш свет-царевич, — воскликнул он со своей обычной пылкостью, — тоже нашел кого о веселостях расспрашивать!.. Веселости! Тоска-злодейка так вот и гложет сердце молодецкое, горе неизбытное давит, а ты веселости.

— Ну, расскажи о своем горе! Нам, царям, и ваше горе точно так же, как и веселости, неведомо. Послушаю я, какое на земле горе бывает; такое ли оно, как царское.

— Да нешто вы-то, цари, тоже его знаете? — спросил князь Василий. — Вот уж чему я не поверил бы! У царей да горе!..

— А то нет, что ли? — потупился царевич. — Вон батюшка мой помирает; нешто это — не горе. Нарышкины с Милославскими грызутся — опять-таки горе. Мачеха и не глядит на нас, пасынков и падчериц. За братцем Иванушкой не доглядели — и он чуть у печки не сжегся. Боярину Матвееву комедийное действо поставить, как следует, не удастся. Слышь ты, лицедеи его хмельной браги много выпили и двух архангелов батогами отодрать пришлось. Все это печалит, спокою лишает... Разве это — не горе?

Князь Василий ничего не ответил. Он вряд ли даже слушал царевича, обдумывая в это время свой ответ.

— Ну, вот видишь, — уже настойчиво продолжал говорить Федор, — я тебе все по душе сказал, так и ты не таись. Скажи, какое у тебя горе. Ты не бойся, я никому не скажу, а ежели что смогу, так и посодествую, шепну кому-нибудь там. Может быть, и удастся твое горе в радость обратить.

— Эх, коли так, не буду молчать! — воскликнул Агадар-Ковранский. — Видно, Бог меня вспомнил и с тобою, царевич, свел. Ну, коли так, слушай! Скажи мне откровенно: ты любил кого-нибудь? Или еще не пришла твоя пора, молчит твое сердце?

Федор удивленно посмотрел на собеседника.

— А как же не любить-то? — сказал он. — Вот ты какой чудной! О чем спрашиваешь!.. Да разве есть на белом свете Божиим

человек, который любви не знал бы? Мы, цари, хотя и помазанники Божие, а все-таки человеки, и, как говорит учитель наш, инок Симеон, и нам ничто человеческое не чуждо.

— Ну, так ты, стало быть, знаешь, о чем будет речь моя, — проговорил князь Василий. — Коли ты любил уже, так и горе мое поймешь.

— Да, да, — радостно закивал головою царевич. — Пойму, бесприменно пойму. Говори только, да поподробнее, говори!

— Ну слушай, царевич! Нет больнее недуга, как любовь. Недавно меня медведь чуть было не заломал, потом такая лихоманка с горячкой привязалась, что я Бог весть сколько недель меж жизнью и смертью вывалился. Спасибо вон тому лекарю, к которому и ты ходишь: только он меня и выправил, а кабы не он — лежать мне под курганом с крестом. Только не на радость мне была поправка. Как выправился я, так и почуял, что новый недуг мною владеет, и куда он горше, чем тот, который меня в могилу тянул. Эх, царевич, царевич!.. Коли ты тем недугом уже болел, так знаешь сам, что недужному-то и Божий свет не мил, а солнышко на небе не светит, а темь гонит, и лакомый хлеба кусок в глотку не идет, и не любо ничто, что недавно еще так мило было, — ни утехи лихие молодецкие, охота псовая или соколиная, ни пиры-попойки веселые, ни песни в душу льющиеся, ничего, ничего!.. Ходишь, как в воду опущенный, тоскуешь, как зверь лесной, насмерть раненый!.. Все не мило, все противно, ни на что бы не глядел. Томишься, терзаешься, места себе не находишь, на каждого человека, как на врага себе, глядишь... Куда ни кинешься — вместо отрады да покоя мучу себе находишь. А душа-то так и мятется, так и рвется; все так тебя и тянет куда-то, а куда — и сам не знаешь... Вот она, любовь-то, свет-царевич наш, надежда милостивая!

Все это было произнесено Агадар-Ковранским быстро, с большим повышением голоса; видно было, что порыв охватил его и что он не столько говорит со своим царственным собеседником, сколько самому себе высказывает мучившие его сокровенные думы. Он даже не видел, как раза два в приотворенную дверь выглядывала голова иезуита Кунцевича. Хитрый интриган, устроивший это свидание, не пропустил ни одного слова в разговоре молодых людей.

Федор внимательно слушал все то, что говорил Агадар-Ковранский. Порыв, овладевший буйным князем, захватывал собою и нежную душу юного царевича.

ХЛІ

ИСТОМНАЯ НОЧЬ

Царевич открыл окно, и ему прямо в лицо пахнуло ароматами благоуханной ночи. Было уже темновато, чувствовалось близкое наступление осени, но было тепло и тихо. Тишина действовала умиротворяюще на развивавшегося царевича. Он стоял, облокотив-

лись на подоконник, и жадно вздыхал лившиеся к нему ароматы. Мысли о всеисцеляющей смерти сами собою отошли от него; около него вились роем думы о жизни. И вдруг царевичу стало грустно именно от этих дум.

И все-то эти «земные мысли» вращались все около одного и того же центра — любви. О чем бы ни начинал думать Федор Алексеевич, его думы неуклонно неслись к этому центру. И вовсе не теплая благоухающая ночь была в том причиною. Видно, и прочные стены великолепных дворцовых земных владык не оберегают от натисков жизни, от вторжения в их душевные покои великих сил природы; видно, и жалкому, тщедушному, болезненному царскому сыну приспело время любить... любить и страдать.

«Если люди страдают из-за этой любви, — размышлял царевич, — и все-таки, страдая, любят, значит, любовные страдания — счастье. Иначе и думать нельзя. Хотелось бы и мне узнать, что такое любовь, отчего непременно нужно страдать и терзаться тому, кто любит».

Едва подумав так, юный царевич почувствовал, что краснеет. Ему даже стало совестно самого себя: еще никогда у него не было таких дум, и вдруг явились они незванные, непрошенные, уже и теперь не в меру мучительные.

Большим усилием воли царевич прервал свои думы. В своей девственно-наивной простоте он считал их греховными, «от прелести дьявола», и уже хотел наложить на себя строгую эпитимию за то, что позволил им на миг овладеть собою, когда заметил какую-то смутную тень, промелькнувшую мимо него под деревьями любимого сада.

«Кто это? — промелькнула у него тревожная мысль. — Уж не тать ли какой ночной?»

Однако тревога, охватившая царевича, быстро прошла, и он даже весело засмеялся.

— Знаю, знаю я, что это такое! — тихо промолвил он самому себе. — Ох, воистину были у меня мысли от дьявола. Только что не хотел ничего думать, только что с самим собою справился, а он, окаанный, вот так и надзуживает, так в искушение и вводит. Ахти мне, грешному! Пойти скорее в опочиваленку да на молитву стать.

Но напрасно! Царевич в этот момент был и с самим собою неискренен. Он знал, что не пойдет в свою опочиваленку, не опустится на колени перед святыми иконами, а если и заставит себя сделать это, то не чиста, греховна будет его молитва, далеко-далеко унесутся его помыслы от всего святого, и отвратят угодники Божии от него, грешника, свои строгие лики. Так и всколыхнулось снова все его существо, так и колотилось сердце в его истомленной груди, дух спирало в ней, какая-то невидимая сила неуклонно тянула его не к святой молитве, а в сад, в тот его далекий, обыкновенно никем не посещаемый уголок, в который — это угадывал царевич — шмыгнула так испугавшая его тень.

Повинуясь непреодолимому влечению, юный царевич вышел из своего покоя. Истомленный дневной суетой, молодой спальник

крепко спал на самодельном ложе и ничего не слышал. Значит, может совсем незаметно выйти из своей золоченой тюрьмы юный царевич, значит, хотя со стороны узнает он, как друг друга люди любят и как они от своей любви страдают.

Потихоньку, крадучись, выбрался Федор Алексеевич в сад.

Тишина объяла его, но теперь юному царевичу хотелось уже не столь милой его сердцу тиши, а бешеной бури, которая своим грохотом, сверканием молний, ревом ветра заставила бы его вернуться назад в опочиваленку.

Но грозы не было.

Крадучись под ветвями деревьев, стараясь даже шаги свои заглушать, чувствуя, как трясутся у него ноги, добрался юный Федор Алексеевич до отдаленного уголка сада, где стояла забытая беседка, вся поросшая густою зеленью. Подходя к ней, царевич на минуту приостановился и приложил руку к левой стороне груди, как бы стараясь унять еще сильнее прежнего колотившееся сердце. Но оно продолжало биться, а какой-то чужой внутренний голос так и шептал ему в уши:

— Ну, что же ты стал? Иди, посмотри, послушай, как друг друга люди любят!

Опять невидимая сила толкнула царевича вперед; он очутился около самой беседки, и первое, что он услышал, был звук страстного поцелуя, а потом зазвучал другой, третий. В этих звуках было что-то особенное, чего никогда еще на своем веку не слышивал царевич. В них слышалась такая огненная страсть, что даже в душе Федора Алексеевича словно обожгло; голова у него закружилась, дыхание опять сперло в груди. А поцелуи продолжали звучать, как будто у влюбленных был неистощимый запас их. Слышались прерывистые вздохи, какой-то непонятный для чистого юноши лепет, потом опять поцелуи, поцелуи без конца...

«Софья это с Васькой Голицыным», — промелькнуло в мозгу Федора Алексеевича и вдруг, не в силах сдерживаться, он тихонько выкрикнул:

— Софьюшка!

Сразу в беседке все стихло, а потом послышалось шуршание одежд, двиганье скамьи. Прошло еще минуты две — и царевич увидел в дверях беседки крупную фигуру старшей сестры.

— Кто еще там? — крикнула она, и в тоне ее голоса ясно слышались и досада, и гнев. — Ну, кто? Отзывайся, что ли!

— Это — я, Софьюшка, я, — нашел в себе силы кое-как ответил царевич, — я — Федя... брат...

— Брат Федя? — уже не скрывая гнева, закричала царевна. — Что тебе здесь понадобилось? Чего полуночишаешь? Чего не спишь?

— Так, милая, не поспалось мне...

— А ежели и не поспалось, так нечего по ночам бродить. Вот ужо скажу батюшке, так научит тебя, как по ночам таскаться. Ну, иди вперед, — вдруг смягчилась сестра, — я тебя догоню...

Тон ее голоса, высокого и грубоватого, выражал пренебрежение; как ни мало был знаком с чувствами людей Федор Алексеевич, но он расслышал эти нотки. Ему стало грустно, он понял, что он жалок своей богатырше-сестре.

«И зачем я такой на свет Божий уродился? — с тоскою думал он о себе, бредя по слабо освещенной луной аллейке, — ни мне света, ни мне радости... Вон сестра!.. никого не боится»...

У него опять закружилась голова, когда он припомнил то, что увидел в заброшенной беседке сквозь скважину раздавшихся досок при слабом мерцании тайком пробравшегося в темь лунного луча.

«Так вот что значит у людей любовь! — подумал он. — Уж не сказать ли батюшке про Ваську Голицына! — вдруг охватила ни с того ни с сего Федора ревность: — Уж он покажет ему, родитель-то, как к царским дочерям ластиться, словно какую себе ровню нашел?.. Быть вору-Ваське в Березове!..»

В сердце у него закипело озлобление против молодого Голицына, хотя он был с ним всегда в наилучших отношениях. Царевич теперь завидовал ему, его молодому пылкому счастью, его смелой и здоровой любви.

Под впечатлением этих дум он шагал по аллейке, пока его не догнала сестра Софья. Она пошла рядом с ним. Несколько времени брат и сестра молчали.

— Ты что ж, Федор, думаешь? — заговорила первая Софья. — Поди, батюшке доложишь, что нас застал?

— Да уж и не знаю как, Сонюшка, — позамаялся Федор Алексеевич, — и тебя-то мне жаль, и перед батюшкой смолчать нельзя...

— Да что ж я тебе сделала? — спросила царевна. — Тебе-то что?

— Как что? — вспыхнул Федор. — Будто уже и не позор для нашего царского рода?.. Царская дочь да с подвластным слюбилась. Вот пару нашла!..

Вся загорелась гневом богатырша-царевна.

— Ах ты, слюнтяй, — громко, не стесняясь, закричала она, — недоносок маменькин! Тоже нашел, чем корить! С подвластным! Да, стало быть, хороша я девка, ежели меня любят! Вот тебя, чахлого разиню, поди, никто не полюбит. Кому такие-то, как ты, нужны? У тебя нешто кровь? Рыбья сыворотка у тебя, а не кровь. Вот женят тебя да жену молодую приведут, так ты, что и делать с ней, знать не будешь, а станешь только охать да вздыхать: тут болит да там болит... А тоже мужчиной прозываешься! «Я, дескать, по образу и по подобию Божию сделан... не из ребра»... Тыфу! Из навоза гнилого ты сделан... А тоже корить: царская дочь с подвластным слюбилась. Да ежели бы ты понять мог, что бывает, когда вся кровь в теле ходуном ходит и огнем пылает! Как тогда человек к человеку стремится!.. А у меня крови много, и откуда она у меня такая кипучая, не знаю. Царская дочь! Да что же мне из-за того, что я — царская дочь, и счастья не изведать?.. Нет, братец милый, без счастья вековать, как государыня-тетушка, я не буду!.. Не та-

кая я... Вот люблю Васеньку и никого не боюсь; жилы из меня тяните — не испугаюсь, а ежели его тронуть, то такое натворю, что и сами вы все не рады будете: пошлете его в Березов, так я за ним, как собачонка, побегу. Вот тебе и будет царская дочь!.. Смекнул? Иди, слюняй паршивый, наушничай родителю. Иди! Чего стал да бельмы выпучил? У-у, недоносок! Глядеть-то на такого противно!

С этими словами юная царевна-богатырша так толкнула в грудь своего тщедушного брата, что тот едва-едва удержался на ногах. После этого она пустилась бегом к крыльцу палат.

— А ты, царевич, — раздался около Федора Алексеича мужской голос (это неслышно подошел князь Василий Васильевич Голицын), — нас не трогал бы с Софьюшкой-то... Мы тебе не мешаем, а любим друг друга, так, значит, то Господу Богу угодно... Шел бы теперь почивать! Не царевича дело по ночам любящих ловить...

С трудом добрался до своей опочивальни Федор Алексеич. Много передумал он в остаток этой ночи и лишь под утро, вспомнив, что ему за крестным ходом нужно идти, забылся тревожным сном.

XLII

В ВИХРЕ ЛЮБВИ

К вечеру после крестного хода, за которым шел царевич, вся Москва белокаменная была полна толков и нареканий. Эти толки пошли еще накануне, но Москва и в ту пору была столь велика, что понадобилось порядочно времени, чтобы всю ее успела обойти сенсационная весть.

Говорили о совершенно небывалом в Москве происшествии, настолько небывалом при общем затворничестве московских женщин, что, казалось, такого случая и быть бы не могло.

Какая-то боярышня, очень красивая, но не из богатых, и в Москве никому не ведомая, когда проходил крестный ход, взглянула на юного царевича Федора Алексеича, громко вскрикнула и упала без чувств. Ее крик услышал царевич, и, нарушая благочиние — чего также никогда не бывало, — остановил крестный ход и бросился к юной красавице на помощь. Однако он только мельком взглянул на нее. Началась вполне понятная суматоха. К месту происшествия кинулась толпа; никто ничего не знал толком, но говорили все. Произошла беспорядочная толкотня, едва не помяли неосторожного царевича, и, пока народ толпился, толкался, кричал и суетился, кто-то выхватил и унес бесчувственную девушку.

Когда наступило некоторое успокоение и кое-как был водворен порядок, боярышня, как в воду канула. Никто не знал в толпе, чья она, откуда взялась, с чего это ее дурман мог взять. Рассказывали только, что кроткий царевич был весь бледен, как полотно, а потом вдруг стал необычайно гневен, когда ему сказали об исчезновении никому не ведомой красавицы.

Однако кое-как совладав с собою и подавив волнение, царевич занял свое место в крестном ходе и проследовал с ним; но все заметили, что он был необычайно рассеян и даже небрежно относился к церковной службе.

Действительно, еще никогда во всей своей жизни Федор Алексеевич не переживал таких минут, таких острых и непонятных ощущений, какие пришлось ему переиспытать в эти немногие часы. Несмотря на то что был день, а не ночь, прежние «греховные» мысли не оставили его. Напротив того, они еще более будоражили его душу, жгли, как огнем, его мозг.

То, что он подсмотрел, вернее, подслушал в заброшенной беседке сада, волновало его кровь, заставляло сильно биться его сердце. Разговор с могучей сестрой не успокоил, а распалил его еще более. Он понял, убедился, что действительно есть на свете великая сила, заставляющая людей в бесконечном страдании находить неземное счастье. Это было совершенно новым для него вопросом, полным всевозможных загадок. Он думал об этих загадках во все утро этого дня, думал, шествуя за крестным ходом, думал как раз в то время, когда совсем близко от него неожиданно раздался громкий женский вопль.

Этот вопль был настолько неожиданным, царевич расслышал в нем столько новых для себя разнообразных звуков, что, положительно не отдавая себе отчета в своих поступках, забыв, что происходит вокруг него, кинулся вперед. Там, среди замершей в иступлении толпы, он увидел мертвенно бледное, но ангельски прекрасное лицо молоденькой девушки, опрокинувшейся на руки заметно перепуганной старушки, голосившей, что было сил в горле, призывая на помощь.

Лицо бесчувственной девушки поразило царевича своей красотой, и его черты сильно врезались в память и в сердце. Федору Алексеевичу казалось, будто он видит перед собою сошедшего с неба ангела; он дрожал, как в лихорадке, весь обуреваемый каким-то неизвестным ему, совершенно новым, никогда не изведанным им чувством. Под влиянием — лучше сказать, под внезапным наплывом — этого чувства, у царевича вдруг закружилась голова. Он никого и ничего не видал вокруг, перед его глазами было только одно милое лицо с закрытыми под длинными ресницами глазами.

Когда царевич опомнился, красавица уже исчезла. Он даже не заметил этого и с изумлением глядел на неистово галдевшую толпу, забывшую уже о красавице-девушке и видевшую перед собою, совсем близко, своего любимца, царского сына, будущего «великого государя Великия и Малыя Руси».

Опомнившись и осознав, что красавицы уже нет, Федор Алексеевич сконфузился. Он заметил, с какой укоризной смотрит на него духовенство. Кто-то из его среды даже осмелился потянуть его за рукав, понуждая скорее занять место. Царевич не обиделся на это. Он стал по-прежнему на свое место, подал знак, и крестный ход при громких песнопениях двинулся вперед. Навстречу ему

несся радостный звон церковных колоколов, тихо качались хоругви, певчие покрывали своим голосами гул толпы, но Федор Алексеевич ничего этого не замечал. Он уже не мог молиться; его думы и помыслы были далеки от небесного, земля всецело завладела им.

Словно в лихорадочном жару он вернулся в свои покои. Первым его встретил «сват Сергеич», на правах близкого больному царю человека, постоянно остававшийся во дворце. Когда он взглянул на Федора Алексеевича, то тот прочел в этом взгляде немой укор. Но ему не стало стыдно, как стало бы прежде. Юноша чувствовал себя совсем другим; в нем словно родился новый человек. Откуда только взялись в дряблой душе силы. Федору Алексеевичу теперь ничего не было страшно...

— Чтой-то, царевич, у тебя за крестным ходом-то вышло? — несколько укоризненно заговорил Артамон Сергеевич Матвеев. — Нешто так возможно царскому сыну? Ведь соблазн-то какой для православного народа!..

Он не договорил. Глаза обыкновенно тихого царевича вдруг блеснули. Словно огонь какой-то загорелся в них. Брови низко-низко нахмурились, холеные руки в кулаки сжались...

— А ты чего, пес смердящий, на господина лаять вздумал? — напрягая голос, закричал царевич. — Или на наших царских конюшнях батожья мало? Ах ты, негодник старый!.. Государь-родитель болен, так ты, холопская душа, сейчас и волю забирать. Вон пошел, гадина, чтобы духом твоим около меня не пахло!

В сущности говоря, царевич был смешон в своем гневе. Как-то не шла к нему, кроткому, безобидному, эта гневность. Напускная она была, и это сразу было видно, но Матвеев, более изумленный, чем напуганный, растерялся: чего-чего, а этого он ожидать от Федора Алексеевича не мог.

— Государь-царевич, — дрожащим голосом, страшно бледнея, заговорил он, — верою и правдою многие годы служил я пресветлому родителю твоему и нашему царю-государю, но того не слыхивал. Стар я уже. Пусть великий государь повелит мне отъехать.

Федор вспыхнул еще больше.

— Вон, — затопал он на старика ногами, — вон, чтобы и духом твоим не пахло! Вон, с глаз моих долой!

Матвеев, весь бледный, весь дрожа и трясясь от гнева и чувства обиды, сделал шаг вперед, в пояс поклонился наследнику и потом медленно вышел из покоя, не говоря ни слова.

Едва только закрылась за стариком дверь, Федора Алексеевича уже охватила жалость к нему. Ведь этот важный, степенный старик, всеми признанный умница-разумник, преданнейший из преданных его отцу, всегда был ласков с ним, и теперь он, Федя, столько раз засыпавший на его коленях, у его широкой груди, вдруг так дерзостно обидел его! Не будучи в состоянии справиться с собою, царевич кинулся к дверям, распахнул их и по-детски жалобно закричал:

— Сват Сергеич, а сват Сергеич!

Отклика не было — вероятно, обиженный Матвеев был уже далеко.

«Что ж это я наделал, что наделал? — хныкал Федор. — И как это я мог так обидеть Сергеича?..»

Но порывы быстро сменялись один другим в слабой душе этого царственного юноши. Скоро чувство жалости, точно так же, как и чувство гнева перед тем, потеряло свою остроту, и Федор Алексеевич забылся в думах о другом — о той красавице-девушке, которую он при таких чрезвычайных обстоятельствах увидел в этот день.

«И хоть бы узнать мне, кто она такая! — раздумывал он. — Если приказать боярским детям разведать, так сейчас по всей Москве гомон пойдет. Скажут: вот царевич-наследник для забавы себе честную боярышню облюбовал. Нехорошо это! Да ежели и сыщут ее... любочку мою, — мысленно произнес никогда еще не приходившее ему на ум слово царевич и при этом вдруг покраснел, — так не скажут, кто она и как ее имечко: Матвеев запретит, он теперь на меня в яром гневе. А узнать нужно: людишки при царе-государе дотошные, одни дядья Милославские чего стоят — изведут милую... у них и яды всякие, и приспешников куча. Так как же тут быть? Да, что я, забыл! — вдруг встрепенулся царевич. — А князь Василий-то? Он — такой ухарь, что все ему нипочем. И меня-то он, кажись, полюбил. Ой, разве пойти к иноку Симеону в келейку? Сказывал я князю Василию, чтобы он пришел туда для беседы. Ой, пойду! Сергеич, поди, теперь батюшке на меня жалится, так, пока не призвал родитель к ответу, нужно поскорее это дело справить».

Предвидя неприятные отношения с отцом, царевич засуетился. Он послал сказать, что идет навестить своего учителя, и сам сейчас же двинулся вслед за посланцем. Как раз навсегда было уговорено, веселый монах-поэт спешил перед приходом царевича покинуть свою келью, наскоро приведя в ней все в порядок и довольно неделикатно вытолкав в потайной ход рыжую краснощекую девку, подобранную им где-то в Москве и частенько появляющуюся у него на целые ночи для выслушивания смиренных и отеческих наставлений. Он же послал в покой князя Василия, и тот явился к нему, как то было приказано царевичем.

— Слышал, поди, княже, что приключилось-то со мной на крестном ходу? — начал свои объяснения Федор Алексеевич. — Вот и прошу я тебя, как собинного друга своего, сделай мне милость...

— Приказывай, государь! — отозвался князь. — В чем твоя воля, а я, холоп твой, не щадя живота своего, все исполню, как сумею...

Федор Алексеевич, краснея, путаясь в словах, разъяснил ему про свой случай, а потом высказал свои соображения относительно того, что может ожидать бедную девушку. Князь Василий сосредоточенно выслушал рассказ царевича, а затем воскликнул:

— Э-эх, сам знаю, как ущемить может душа красная девица сердце доброго молодца! Ладно, царевич, сослужу я тебе службишку. Но и ты меня не забудь: помоги мне раздобыть мою лапушку...

Появление царского стольника оборвало беседу. Царь Алексей Михайлович настоятельно требовал к себе своего наследника-сына.

— Иду, иду, сейчас! — засуетился не на шутку испугавшийся царевич.

По дороге к опочивальне отца, ему преградил дорогу внезапно выступивший словно из-под земли Кунцевич.

— Ваше высочество, одно слово, — заговорил чуть не шепотом иезуит. — Запомните: молодая девушка, привлекающая ваше внимание своим обмороком на площади, — дочь чернавского воеводы Семена Грушецкого. Зовут ее Агафьей. Сообщаю вам это, чтобы вы понапрасну не мучили себя.

XLIII СУЖЕНЫЙ

Имя Ганночки Грушецкой ничего не сказало царевичу: Федор Алексеевич никогда такого имени не слышал и понятия не имел, что за чернавский воевода есть такой на Руси; но опять забилося его сердце. Ранее, чем он мог ожидать, исполнилось его желание: он знал имя поразившей его девушки.

Словно в сон погрузился царевич. Он забыл, что идет к отцу и что там ему придется разделяться за невольную гневную вспышку. Сладостные мечты осенили его, и он вдруг с ужасающей ясностью понял, что и он, слабый, тщедушный юноша, любит, любит вот так же, как любит Ваську Голицына его сестра Софья, как любит князь Василий Агадар-Ковранский свою исчезнувшую от него разлапушку.

Даже перед разгневанным отцом юный царевич не расстался со своими думами. Вряд ли он слышал, что говорил ему отец. И гневные, и убеждающие слова пролетали мимо, скользили только по его возбужденному мозгу, не оставляя в нем по себе следа. Машинально, как заведенный автомат, повинаясь отцовскому велению, подошел царевич к «свату Сергеичу», машинально взял его руку и так же, не думая, что он делает, хотел поцеловать его, но словно сквозь туман приметил, что Матвеев не допустил его до этого поцелуя.

Артамон Сергеевич, всхлипывая от рыданий, опустился перед юношей на колена и осыпал поцелуями его руки. Хитрый царедворец знал, как должно было ему поступать, чтобы наверняка заслужить расположение царя.

Федор Алексеевич не отнимал своих рук. Ему было все равно — самому ли целовать чьи-либо руки, или принимать чужие поцелуи. Так же безучастно, словно сам не свой, облобызал он руку родителя, в пояс поклонился Матвееву и ушел, причем тотчас же позабыл все, что происходило в опочивальне.

«Агафья, Агаша, Ганночка, — так и вертелось в его голове милое имя. — Чернавский воевода Симеон Грушецкий!.. Ну, сыщу

теперь, да, сыщу... Узнаю все, увижу ее... Может быть, и она меня полюбит!..» — думал он.

Старый иезуит был прав. Он с неутомимой энергией держал в своих цепких руках нити своей грандиозной интриги, знал многое, чего не видели другие.

Молодой красавицей, упавшей в обморок, когда мимо нее проходил крестный ход, была действительно Ганночка Грушецкая.

Сильно был перепуган ее отец, Семен Федорович, выходкой Агадар-Ковранского тогда, в Чернавске. Чего-чего, а этого он уж никак не ожидал от князя Василия. Выходка была ни с чем несообразна по своей дикости.

В глубине своей души Семен Федорович в то время был рад примирению с Агадар-Ковранским: ведь князь Василий был завидной партией для его красавицы Агаши; но после того, что выкинул князь в Чернавске, старик оскорбился, сообразил, сколь дик был этот добрый молодец, и решил, что «слава Богу, ежели князя Василия прочь отнесло».

По общественному и материальному положению род Грушецких был гораздо ниже рода Агадар-Ковранских, и вот, боясь новых диких выходок со стороны князя Василия, он и увез от него свою красавицу-дочь.

Однако в Москве Грушецкому совсем не повезло. Не исполнилась ни одна из его «золотых надежд». Он появился в столице как раз в разгар болезни Тишайшего. Совсем не до того было его весьма немногочисленным «богомольцам и радельцам», а потому о представлении государю нечего было и думать. Нужно было беречь свое положение чернавского воеводы. И вот Семен Федорович тихохонько, смиренхонько проживал в Москве, где у него был свой домик.

Он старался быть тише воды, ниже травы, боясь привлечь на себя внимание, особенно после того как узнал, что в Москве появился и князь Василий, сразу же заявивший себя несколькими буйными выходками, о которых заговорила вся людная столица.

В это время при Семене Федоровиче была уже его Ганночка. Страшась, как бы она не встретилась с буйным, диким князем, Грушецкий держал дочь взаперти, чуть не «под затворами». И вот около этого времени около него появился Кунцевич.

Воевода издавна привык к этому черному воронью католичества. Еще в Москве он перевидал его многое множество, да и не совсем чужими были они ему, потомуку польского выходца. Их религия была религией его предков, их идеалы ярко сияли еще прадеду Семена Федоровича; притом же он считал представителей этого черного народа людьми умными, всякою премудростью книжно богатыми.

Конечно, Кунцевич ничего не сказал ему о своей близости к князю Василию; он отрекомендовался воеводе как лицо, близкое к польскому магнату Разумянскому. Когда же Грушецкий узнал, что Кунцевич тайно лечит больного царя, то все в нем так и всколых-

нулось, иезуит стал казаться ему драгоценностью: ведь через него можно было попасть и в близость к великому царю-государю!

Кунцевич действовал, преследуя свою цель. Он, пожалуй, еще более ревниво, чем отец, оберегал Ганночку от встречи с князем Василием, потому что такая встреча была вовсе не в его планах, и тщетностью своих поисков Агадар-Ковранский был более всего обязан стараниям своего друга-иезуита.

О если бы он только мог знать это! Но князь Василий даже не подозревал подобного коварства. Он всецело вверился Кунцевичу и ответил бы смехом тому, кто сказал бы, что его черный друг «дьяволит» против него, князя Василия.

Иезуит быстро и легко сумел втереться в доверие и к Ганночке. Молодая девушка перестала бояться его и теперь уже любила беседовать с ним. Кунцевич знал, чем пленить юное девичье воображение. Он рассказывал Ганночке о великолепии придворной жизни, о блеске, постоянно окружающем королев и цариц. Кое-что знала об этом и сама Ганночка, но теперь рассказы Кунцевича воссоздали в ее воображении весь блеск дворцов, всю пышность и могущество царской жизни.

— Хоть один малый денек пожить так-то! — простодушно восклицала наивная девушка.

Кунцевич улыбался и обыкновенно отвечал:

— Все, дитя мое, в наших руках. Господь дал человеку свободную волю, а Сын Божий сказал: «Просите и дастся вам!»

Он незаметно для Ганночки вселял в ее душу убеждение в том, будто она рождена быть царицей, и с легкомыслием юности молодая девушка уверила себя в этом. Нередко она даже сама себя видела на троне, но — увы! — ей рисовался польский, французский троны, а никак не свой, московский.

Но и это явилось в результате бесед с иезуитом.

«Уж если бы я только стала на Москве царицею, — не раз думала девушка, — завела бы я свои порядки... Не хуже бы французской королевы сумела бы показать себя!.. Да не бывать мне на престоле, — вздыхала она, — где уж!»

Она вздыхала, горевала и все чаще и чаще ей вспоминался сон-гадание в погребе-подземелье Агадар-Ковранского в ту смутную ночь, которую она провела в его прилесном доме.

Зюлейки уже не было с ней. Молодая персиянка сперва затосковала в скуке московской замкнутой жизни, а потом ушла. Дикий зверек не перенес московской лютой неволи. Она никому не сказала, куда уходит, и даже не попрощалась ни с Ганночкой, ни со стариком Грушецким, всегда относившимся к ней ласково. Много спустя Ганночке сказали, что Зюлейка живет на польском подворье и не нахвалится своей жизнью. Об этом узнал и Семен Федорович и строго приказал дочери даже никогда не вспоминать о своей подруге. Ганночка подчинилась отцовскому приказанию, но жить ей стало так скучно и тоскливо, что, просыпаясь утром, она не знала, как ей дожидаться темноты, чтобы во сне забыть свои тоску и скуку.

Не зная, чем наполнить свое время, Ганночка пошла посмотреть на крестный ход, проходивший неподалеку от их дома. С ней, как и всегда, отправилась проводить ее и присмотреть за нею, как бы кто не обидел, ее старая, быстро одряхлевшая нянька.

Веселый летний день радостно отзывался в юной душе Ганночки. Солнце так ясно горело на небе, такие веселые его лучи лились на землю, что девушка не чувствовала обычной тоски. Давно она не была на людях, а теперь вокруг нее неумолчно гудела, волновалась оживленная, празднично настроенная толпа. Звон колоколов мощной волной вливался в этот веселый шум. Ганночка слушала его и все веселее и веселее становилось у нее на сердце. Вот заблестели на солнце хоругви, послышались протяжные песнопения. Крестный ход надвигался все ближе и ближе. Толпа вокруг Ганночки заволновалась, загудела все сильнее, потом вдруг так стихла, как будто на огромной площади, которую пересекал крестный ход, никого не было.

— Царевич, — пронесся тихий шепот, — вместо государя-царя за крестным ходом...

Ганночка вся обратилась в зрение. Она еще никогда не видала никого из царской семьи, и женское любопытство всецело овладело ею.

«Где же, где царевич? — спрашивала она самое себя. — Хотя бы глазом взглянуть на него, каков он таков?»

— Вон, вон он, государь наш батюшка, — словно угадывая мысли Ганночки, зашептал кто-то около нее. — Да какой же щупленький он! Будто и не добрый молодец, а красная девица, прости Господи! Где уж такому-то с волками Милославскими да голодными псами Нарышкинами будет управиться?..

— Сгрызут они его, — подхватил эту мысль сосед говорившего, — как пить дать, сгрызут... И не подавятся, ироды.

— Где, где царевич-то? — волнуясь, спросила Ганночка у соседа.

— Да вот видишь, боярышня, — последовал ответ, — вот тот, хорошенький-то...

Ганночка взглянула и обомлела. Совсем-совсем близко от нее был тот царственный юноша, на которого чары старой Аси указали ей, как на ее суженого.

Да, да, это — он, девушка узнала его. Тогда она видела призрак, теперь же перед ней был живой человек. Так вот ее суженый, вот кого приготовила ей судьба! Господи! Да он глядит, глядит на нее, на Ганночку!..

Девушка не выдержала внезапно овладевшего ею волнения; голова у нее закружилась, дыхание сперло, и она лишилась чувств...

Пришла в себя Ганночка уже дома. Около нее хлопотали, приводя ее в себя, мамка и ее горничная девка.

Старушка, заметив, что Ганночка очнулась, накинулась было на нее с вопросами. Она не постигала, что случилось с ее питомицей; казалось, не произошло ничего такого, из-за чего девушка могла бы чувств лишиться. Но что ей могла ответить Ганночка? Она и сама

не понимала, что довело ее до обморока; она только чувствовала, что ее сердце так и замирает, а неясные, но светлые грезы роем витают вокруг, будя в ней надежды на неведомое счастье...

Скоро после того мрачнее непроглядной зимней ночи вернулся домой и Семен Федорович. Он уже слышал про случай на крестном ходу и кто-то даже сказал ему, что это его дочь упала в обморок при виде царевича. Поэтому, придя домой, он не пошел к дочери, а сейчас же призвал к себе ее мамку.

— Вот что, старая, — тоном приказания сказал он ей, — нужно Агашку вон из Москвы убрать, иначе худо будет. Вор Агадар-Ковранский Васька, как волк, кругом бродит. Сам я видел, как он побоище устроил с поляками пана Разумянского. Здорово ему, негоднику, попало, да жаль, что мало. Так вот и приказываю я, чтобы в ночь вы все в Чернавск убрались... Слышишь?

— Слышу, батюшка, — ответила мамка, — все по-твоему будет.

— То-то, ступай, собирайся!

Но не одного князя Агадар-Ковранского страшился старый Грушецкий.

«О-ох, — думал он, — сказывают, что сам царевич Агафью увидал. Вот в чем беда-то! Прознают о том Милославские, побоятся, что он Агашу супругою себе возьмет, и сживут ее раньше времени со света белого!»

XLIV

НА ЦАРСКОЙ ЧРЕДЕ

Мелкое личное дело чернавского воеводы скоро потонуло в налетевшем вихре таких дел, которые закружили все государство с неокрепшей еще на престоле династией Романовых.

Московскому царству грозила смута, и только уважение к дышавшему на ладан Тишайшему сдерживало бояр, в особенности Милославских, эту отчаянную свору гилевщиков и смутьянов, в беспредельном своеволии, в их неудержимом стремлении к совершенно ненужным интригам и проискам.

Как ни «горазд тих» был великий государь царь Алексей Михайлович, а дворцовые интриганы все-таки не на шутку побаивались его. Они хорошо знали, что у этого кроткого человека под напускной мягкостью были скрыты такие «ежовые рукавицы», что даже им боязно было открыто супротивиться его царской воле: палачей в застенках и у Тишайшего было много, а леса вокруг Москвы на виселицы для грызшей боярской клики стояло видимо-невидимо.

И сдерживались всякие смутьяны, рассчитывая, что свое они наверстают, когда после смерти «горазд тихого» царя станет на царство его болезненный, с робкой душою, сын-наследник Федор Алексеевич.

А бедный царевич растерялся, когда ему волей-неволей пришлось заменить страждущего отца во всех его государственных

делах. От природы он был сметлив и, присутствуя с отцом на суждениях по докладам бояр, царевич пригляделся к механике царского дела. Он был достаточно образован и начитан, чтобы суметь сделать верный вывод из того, что ему говорили, и подобрать наиболее подходящее решение, но врожденное безволие всегда давало себя знать.

Царевич, а впоследствии и царь, не мог не согласиться с тем, что ему подсказывали. Он никогда не был в состоянии поставить на своем, и в результате часто в один и тот же день, а иногда в один и тот же час, являлись совершенно противоречащие, уничтожавшие друг друга царские резолюции.

Это вносило и распяляло смуту. Каждый «на законном основании» делал то, что ему было угодно. Частенько выходили драки и потасовки между мелкими агентами высшей власти, приводившими по одному и тому же делу различные законы и не знавшими, как им иначе разрешить явное недоразумение. Приближенные к царю пользовались безволием Федора Алексеевича с грубой беззастенчивостью. Бывали случаи, что «царского великого жалования» удаивались заведомые воры и тати, пытаные в застенках, иуды-предатели народные, а в то же время добрые и честные или ни за что ни про что попадали в застенки, или ссылались в дальние и отдаленнейшие города. Все это сеяло смуту; народ волновался, видя явную неправду. Разнуздавшиеся насильники-бояре бросались с царским войском «укрощать» его. Происходило избиение невинных. Развращалось стрелецкое войско: стрельцы, участвуя в экзекуциях за несовершеннолетние народом преступления, привыкали к своевольтву, чувствовали, что они — сила, и среди стрелецких слобод уже зрело семя тех кровавых бунтов, которые вскоре потрясли неокрепшую еще Россию.

Тишайший царь-государь Алексей Михайлович скончался 30 января 1676 года, горько оплакиваемый народом и всеми, кто в его царстве был неподкупно честен. Те же, кто был безудержно своеволен, для кого великое государство было только «дойною коровою», кто грабеж народа ставил в доблесть, — те не плакали, а были веселы; для этих мерзких котов наступала широкая масленица.

И действительно сейчас же, как только успели похоронить Тишайшего, вокруг молодого царя началась неистовая вакханалия сильно разнузданного своевольтва. Насильники и грабители Милославские, перед которыми их предшественники Стрешневы оказались «мальчишками и щенками» в деле всякого грабительства народа, неистовствовали вовсю. Не было такого грабительского дела, на которое они постыдились бы пойти.

Царь Федор любил своего брата Петрушу — огневого, хотя болезненного мальчика, а своевольтвовавшие бояре заставили государя отослать Петра в Преображенское на житье, с приказом не появляться на Москве.

«Сват Сергеич», этот любимый покойным царем человек, осмелился после кончины Алексея Михайловича заикнуться о том, что покойный желал, чтобы ему, вместе с сыном Федором, наследовал

и сын Петр. Матвеев только передал предсмертное желание царя, и очутился под опалой в Пустозерске.

Охраняя возможность своевольничать и угнетать народ, Милославские заподозрили в ковах против себя духовного отца юного царя, безобидного попа Андрея Савинкова, и духовный сын упрятал его, по их настоянию, в Нижнеозерский монастырь. Даже одряхлевший в Ферапонтовом монастыре бывший патриарх Никон, жертва интриг объединившихся Стрешневых и Милославских, казался последним опасным, и юный царь, по их настоянию, перевел его в Кирилло-Белозерский монастырь, что было равносильно чуть ли не убийству знаменитого государственного деятеля, сотрудника его отца. Вскюду были видны следы губительного влияния Милославских. Они разжигали гили, вели народ с челобитными к царским палатам и тут приказывали стрельцам уничтожать людей, не замышлявших ничего дурного. Волнение разрасталось, день ото дня увеличивалось недовольство молодым царем. Да и немудрено: ведь все преступления бояр совершались от его царского имени.

Бедный, одинокий царь вряд ли соображал это. Он верил тому, что ему нашепывали его мерзавцы-родственники, и отдавал приказы, не размышляя, какое впечатление произведут они на массы. Если бы только знал он, каково от таких его указов народу! Но он не знал этого, даже не думал, что его инициатива может иметь иные последствия, чем он предполагал.

Увлеченные своим могуществом, вернее — возможностью своеволия, Милославские, разогнав всех, кто был им страшен, все-таки проглядели, что года через три после своего восшествия на престол у юного царя появились друзья, верные, преданные, полюбившие его, как человека, не искавшие у него ничего, а по-своему желавшие добра и родной им стране, и родному их народу. Это были царский думский постельничий Иван Максимович Языков и стольник Алексей Тимофеевич Лихачев.

Это были пожилые, серьезные русские люди, с большим жизненным опытом и порядочною по тому времени образованностью. Языков был видным московским юристом: при царе Алексее Михайловиче он был первым судьей Большого дворца судного приказа, то есть нечто вроде современного министра юстиции. Стольник Лихачев бывал с посольствами за рубежом и даже ездил в Италию к «флорентинскому дуку с государя-царя благодарностью». Это был русский патриот русской крови до мозга костей, из числа тех, которые выдвигают Сусаниных, тех, величавый образ которых создала чистая, как кристалл, фантазия народная. Алексей Тимофеевич был историком, и у него было немало сочинений исторического характера, к сожалению, ныне не сохранившихся.

Оба этих умных и честных человека, приблизившись к юному царю, незаметно, но быстро приобрели на него влияние. Они открыли ему глаза на то, что творилось вокруг него, но открыли умело, не наставляя и не поучая его, а заставляя его самого увидеть то зло, какое расплодили вокруг него неистовые Милославские.

Мало-помалу влияние Языкова и Лихачева на царя все росло, а Милославские не замечали этого: вероятно, царские дяди и не догадывались, что можно любить родную страну, а не грабить, как грабили и душили ее они.

Был и третий близкий человек у юного царя: все тот же постоянно тихий, скромный, державшийся всегда в стороне иезуит Кунцевич.

Теперь никто не узнал бы в нем прежнего Кунцевича. Иезуит носил московское платье, отпустил себе по-московски бороду и волосы на голове. Словом, внешним видом он не напоминал бесстрашного воина черной рати Игнатия Лойолы, а казался заурядным москвичом, человеком, который не в состоянии и воду замутить.

Милославские его-то совсем просмотрели, лучше сказать, даже и не видели его.

Между тем Кунцевич был ближе всех к царю Федору. Их свидания происходили почти тайно. Бесшумно скользила темная фигура по тайным дворцовым переходам, проникала, вряд ли кем замеченная, в царскую горенку, и там надолго затягивалась их долгая-долгая беседа.

Языков и Лихачев знали об этих посещениях, но никогда не препятствовали им. Кунцевич незаметно успел очаровать их и привлечь на свою сторону, и они сами очень любили беседовать с умным, всесторонне образованным иезуитом.

Между тем в конце четвертого года своего царствования царю Федору несладко пришлось от своих «дядьев»: Милославские решительно принялись за него, заставляя его жениться.

— Да что же это такое? — настаивали то тот, то другой из них, налетев на юного царя. — Ведь ежели царь холостой, то добру от того не быть. Сколь еще времени престолу наследника законного ждать? Что и будет только, ежели нарышкинский выпорток на престол сядет? — стращали они царя ненавистным для них, а не для него, царевичем Петром. — Жениться тебе, государь, нужно и откладывать женитьбу не нужно. Нечего откладывать! Соберем невест, такие кралечки на примете есть, что так ты и растаешь, яко воск от лица огня!..

Но, сколько ни приставали дяди, царь в этом вопросе не уступал.

— Рано еще, — отвечал он, — поживу так! А что до невесты, царицы вашей будущей, так я и без смотрин себе супругу найду.

Дяди пытались выпрашивать, кто именно — избранница царского сердца, но юный царь упорно молчал. Знал он, где живет его лапушка, да сказать боялся. В этой боязни поддерживал его и Кунцевич, справедливо указывая на печальный пример Евфимии Всеволожской. И в самом деле, от Милославских всего можно было ожидать. Но время все-таки шло, женитьба становилась уже необходимостью, далее тянуть было нельзя.

Не знал Федор Алексеевич, как поступить ему тут; и опять к нему пришел на помощь его любимый советчик Кунцевич.

— Вызови, государь, чернавского воеводу, — присоветовал он, — как бы для твоего государева дела, да предупреди, что, может быть, назад в Чернавск он и не вернется; вот он и придет тогда с дочкой своей...

Такой совет пришелся по душе юному царю. Он через Кунцевича знал многое о Ганночке, — знал о том, что она отказывается замуж идти, и жалобно замирало его сердце, когда он думал:

«Не из-за меня ли!»

XLV

ЖДАННЫЙ СВАТ

Разве только сердце подсказало бы юному Федору Алексеевичу, если бы он увидел Ганночку теперь, спустя четыре года, что эта пышная красавица — именно та девушка, почти девочка, только что распускавшаяся из подростка, которую он видел в памятный день крестного хода.

Ганночка дивно похорошела в эти быстро промелькнувшие годы. Не одно мужское сердце сохло по ней, да и старик Грушецкий был без ума от красавицы-дочери. Одно печалило и сушило его: много славных и богатых людей сваталось за его дочку, но она наотрез отказывалась идти замуж. Семен Федорович голову терял в догадках, с чего бы это, однако не настаивал. Дочь он растил не по-московски, а свободно, не стеснял ее девичьей воли. Он всегда оберегал ее от всяких бед и, если бы избранник Ганночки вдруг оказался недостойным ее, Семен Федорович, вернее всего, не дал бы своего благословения, но в том, что «девка подрасти хочет», он ничего особенного не видел: старик был уверен, что его ненаглядная дочка вековушкой-перестарком не останется.

— Ой, милая, — иногда попугивал он Ганночку, — будешь разборчива не в меру, как бы вековушкой тебе не остаться? Бывает с вами, девками, это.

— Не бойся, батюшка, не останусь, — бойко и задорно отвечала Ганночка, — придет, родимый, и мне череда...

— Ой, девка, — покачивал головою старик, — ждешь ты кого-то, вижу я это.

— Жду, батюшка...

— А кого? Которого короля или пана?

Ганночка смеялась в ответ, кидалась на шею отцу, душила его в своих объятиях и тихо шептала ему на ухо:

— Уж такой-то мой суженый-ряженный, что ты, батюшка родимый, ахнешь, когда про него узнаешь!..

Старика эти постоянные ответы дочери приводили в удивление.

«Ну уж и народ пошел! — думал он, раскидывая мыслями о том, кого это готовит ему в зятя его дочка. — Ведь вот и девки, а на все сами лезут. Нет того чтобы, как прежде, отцы их замуже-

ством располагали да мужей им выбирали... О-ох, отживают старики свой век!»

Сколько он ни ломал голову над мучившим его вопросом о замужестве дочери, — ответа все не было. Не было даже малейших указаний, кого наметила себе в мужа красавица Ганночка.

Иногда он вспоминал об Агадар-Ковранском, но о последнем не было ни слуха ни духа; он словно в воду канул после того как подрался при встрече в Москве с паном Мартыном Разумянским, и, где он был, что с ним, — никто не знал. Семен Федорович даже подсылал своих людишек в его лесное поместье к старушке Марье Ильинишне, но и там ничего не знали о князе Василии. Впрочем, там не особенно беспокоились, так как хотя и не частые, но зато долгие, длившиеся годами отлучки князя бывали и ранее.

Один только раз мелькнула у старого Грушецкого надежда на то, что его любимица-дочь покончит со своим девичеством.

Пан Мартын Разумянский заслал было свата, вернее — посла, который прежде всего должен был разведать, как принято было бы его сватовство. Партия была и подходящая, и желательная для Грушецкого. Ему, потомку польского выходца, не противна была «крыжацкая вера», да и сама Ганночка как будто серьезно отнеслась к этому брачному проекту.

Но тут, будто прознав о сватовстве, вдруг явился в Чернавск Кунцевич. Он нередко наезжал к воеводе, и дружба между ним и Семеном Федоровичем поддерживалась по-прежнему добрая. Конечно, старый Грушецкий поспешил высказать иезуиту свои мысли о возможном и желательном союзе.

— Так улаживается, — рассказывал он, — пусть они здесь повенчаются по нашему обряду, а как уедут в Польшу, на них моя воля кончается; тогда пусть дочь, ежели пожелает, в вашу крыжацкую веру идет. Я погляжу-погляжу да и сам за рубеж отъеду. Делать мне здесь нечего. Видно, службишка моя и молодому царю не нужна, как и его батюшке, царство ему небесное, вечный покой!

Кунцевич, слушая это, головою покачивал.

— Не делай этого, воевода, — серьезно ответил он, — веры все одинаковы, кто в какой родился, тот в ней и оставайся. Да притом же, кто кроме Господа будущее знает? Вон царь молодой жениться хочет, собирать невест будет. Или тебе царским тестем стать не охота?

— Куда уже нам? — махнул рукою Грушецкий, а у самого словно маслом душу полили.

Ганночка тоже беседовала с иезуитом, о чем именно, старик не знал, но после этой беседы она наотрез отказалась от замужества с Разумянским, и подосланный разведчик уехал из Чернавска ни с чем...

Снова потянулся день за днем; снова беспокойство о судьбе дочери-упрямицы мучило состарившегося воеводу.

Вдруг в Чернавск прибыл из Москвы царский посланец, да не простой какой-нибудь, каких обыкновенно посылали, а сам дум-

ский стольник Алексей Тимофеевич Лихачев, ближний к царю боярин, свой человек в его покаях.

С великой честью постарался встретить его чернавский воевода. Ему никогда столь близко и быть не приходилось от царедворцев, а тут — накость! — этакая особа у него в хоромах очутилась.

Алексей Тимофеевич держался важно, но был ласков. Грушецкий и думать не знал, что это может значить. Он смекал, что неспроста явился боярин, но спрашивать не осмеливался, и с замиранием сердца ждал, что скажет ему царский посланец.

А тот медлил и в конце концов старик заметил, что слишком уже пристально приглядывается боярин к его Ганночке, и не всегда пристойно приглядывается, как будто мысленно проникает своим взором во все, что ее наряды скрывали от взгляда мужского.

Такое разглядывание несколько оскорбляло старика Грушецкого, но делать было нечего: слишком уж высоко поставлен был думский стольник Лихачев, чтобы смел на него обижаться какой-то захолустный воевода.

Несколько дней Лихачев молчал о цели своего приезда; но наконец настал такой момент, когда важный царедворец, многозначительно крикнув и лукаво подмигнув Семену Федоровичу, произнес давнее жданное:

— А ну, воевода, поговорим по душам!

Грушецкий даже побледнел от волнения, когда услышал эти слова. Лихачев потребовал, чтобы ни одна живая душа не слыхала, о чем они будут беседовать.

— Так вот что, воевода, — заговорил первым боярин Лихачев и тон его голоса стал весьма серьезен, — поди, смекнул уже ты, что неспроста я к тебе в Чернавск припожаловал.

— Думалось мне о том, боярин дорогой, — простодушно ответил Грушецкий, — невдомек мне только было, какое у тебя столь важное дело ко мне случилось...

— А вот послушай какое. А насчет твоего смирения так это хорошо. В Писании сказано: последние да будут первыми. Нужно тебе на Москву собираться.

— А зачем, милостивец? — воскликнул Грушецкий. — Что мне там делать, если служба моя государю-царю не нужна?

— Постой, не пой! Говорю, что нужно, так нужно. Ну, не буду обходами лясить. Только пока молчок обо всем, что скажу, не то все дело попортишь. Ведь злых людей в наши времена много. Так о чем бишь я? Да, на Москву тебе надобно, и не одному: дочку вези с собою! Счастье великое вам, Грушецким, привалило: восхотел великий государь твою Агафью в супруги для себя взять!

Когда прежде мечтал об этом самом Семене Федоровиче, то у него слюнки от счастья текли и душа восторгом наполнялась, а теперь, когда мечты сбывались, он до крайности испугался.

— Да за что же мне такое-то? — воскликнул он.

Алексей Тимофеевич засмеялся и спросил:

— Или не любо? Брось, воевода, не притворствуй! Коли счастье привалило, хватай его. Ну, да любо или не любо, твое дело, но воли твоей в том нет. Приедешь в Москву, будто по царскому вызову о здешней службе, а там сейчас твою Агафью в терема возьмут, будет она сказана царской невестой и станут ее готовить к брачному венцу.

— Как Рафову дочку! — невольно вырвалось восклицание у Грушецкого, вспомнившего печальную участь Евфимии Всеволожской.

Лихачев заметно нахмурился.

— Брось скулить! — с досадой произнес он. — Тогда одно было, теперь другое. Под особой охраной дочь твоя будет: сам я да думский стольник Иван Максимов, сын Языков, беречь ее будем. Ты только сам пока не болтай, а то, пожалуй, Евфимьину участь и в самом деле накликаешь. Ну вот, сказал я тебе, что надобно. А свадьбу скрутим живо; враги-нахвалящики и глазом не моргнут, опомниться не успеют, как станет твоя дочь над ними царицею, а тогда им ничего не поделаться...

— Так ты, боярин, царским сватом, что ли приехал?

— Сватом не сватом, а одни лишь вороны прямо летают, — уклонился от прямого ответа Алексей Тимофеевич. — Ну, коли сказ кончен, так и ко щам идти надобно, у тебя их вкусно готовят...

Как сонный, повел Семен Федорович посланца-свата в столовую; в глазах у него стлался туман, мозг так и зудила неотвязная мысль:

«А что, если и теперь Ганночка заупрямится?»

Но этого не случилось, и сильно удивлен был этим Грушецкий.

Вопреки приказу боярина Лихачева он в тот же день рассказал дочери, в чем дело и какую участь приготовила ей судьба. Так и вспыхивало лицо девушки, когда она слушала отца, глаза блестели, а высокая грудь так ходуном и ходила. Вдруг она кинулась на шею отцу, прижалась к его широкой груди и сквозь слезы залепетала, чего Семен Федорович и ожидать никак не мог:

— Батюшка, дорогой! Да ведь Феденька-то мой и есть тот самый суженый и ряженный, о коем я тебе столь много раз говорила.

Тут уже старик от изумления руками развел и только и нашел, что сказать:

— Ну и девки же ноне пошли! Сами себе женихов добывать начали! Последние времена перед антихристовым в мир пришествием!

Как чудную сказку, слушал он, что дальше рассказывала ему дочь. А она не скупилась на подробности. Повела она батюшке, что нагадала ей старая ведьма Ася в ту ночь, когда она пришла к ней в погреб в доме Агадар-Ковранского, рассказала, что и в обморок-то она упала при крестном ходе только потому, что узнала в юном царевиче-наследнике своего суженого-ряженого. Полюбился он ей и ждала она его все эти годы, а ее любовь родилась из жалости.

— Уж больно он несчастенький с вида, — сказала Ганночка в порыве откровенности, — что былиночка придорожная: какой ветер пахнет, туда и клонится. За худобу да убожество полюбила я его, и знала я, сердцем чувствовала, что прийдет он за мной, соколик любый!

Девушка с такою спешностью и оживлением принялась за сборы, что Лихачев, подмечавший все это, однажды с добродушною, но грубою усмешкою сказал Семену Федоровичу:

— Ишь, воевода, как у тебя девка-то засиделась! Видно, неможугу стало, так приспичило, что и дожидаться честного венца не может.

Все свершилось по плану Лихачева. Он сам сопровождал Грушецких в столицу, а там сейчас же Ганночку взяли в терема как царскую невесту.

Сильно всполошились царские дяди Милославские, прознав об этом. У них была своя кандидатка в супруги Федору Алексеевичу, и вдруг выходило совсем не так, как они надумали. Их добыча-царь выскальзывал из их цепких рук; интриги не помогали, царь даже и слушать не хотел своих недавних советчиков.

XLVI

ИСПОЛНИВШЕЕСЯ ГАДАНИЕ

Счастливые дни переживал Федор Алексеевич. Сразу для него наступили дни радостной весны.

Был апрель. Пышно развertyвалась воскресавшая после зимы природа; всюду был дивный праздник воскресения. И в душе царя тоже был праздник воскресения любви.

Да, юный царь Федор Алексеевич любил, любил, как любят только один раз в жизни. Страсть уже родилась в его сердце из любви.

Прежние дедовские порядки уже давно были поколеблены. Обычаи соблюдались лишь внешние, московские люди во многом жили по-новому, «по-иноземному», как тогда говорили. Порядки Кукуевой слободы были у всех на глазах, жизнь москвичей быстро менялась; хотя старые устои как будто и оставались, но люди старались не замечать, что они уже подточены мощно врывавшимися в жизнь новшествами и должны были рухнуть, унося с собою в бездны забвения весь старый бытовой строй.

Затворничество женщин существовало только по названию. Московские дамы того времени и флиртовали, и блудили не менее западных женщин. Сохранялось внешнее ханжество и затворничество, а на самом деле под этой маской скрывалась самая разнузданная свобода. Словом, всюду так и веяла все сильнее и сильнее новая жизнь.

Царь также воспользовался такой свободой. В один из прелестных весенних дней он навестил свою невесту, которую до того он близко видел всего лишь раз в жизни.

Не как царь-повелитель всемогущий явился к своей невесте Федор Алексеевич, а как трепещущий влюбленный, для которого во всем мире одно только солнце, одно божество, одно счастье — его возлюбленная...

Войдя в покои невесты, он остановился, как вкопанный, и даже зажмурился слегка, словно яркое солнце вдруг ударило ему в глаза.

Неземным существом показалась ему невеста. И сама Ганночка была чудно красива, а грезы, все эти годы распалывшие царское сердце, придавали ей еще более красоты в глазах царя.

Несколько времени влюбленные смущенно молчали.

— Агаша, милая, — чуть слышно проговорил Федор Алексеевич, — так ты вот какая!

В этих словах, в тоне их слышался неопиcуемый восторг, и Ганночка женским чутьем поняла его.

— Какой Бог уродил, государь, такая я и есть, — потупляясь, кокетливо проговорила она, — не нравлюсь ежели, отпусти меня к родителю!

Она так говорила, а сердце, трепеща, словно шептало ей:

«С чего ты? Ведь знаешь, что любя ты ему, пуще всего на свете любя. Чего даром сушишь доброго молодца!»

Федор даже вскрикнул, когда услышал слова Ганночки.

— Бог с тобой, разлапушка ненаглядная! — воскликнул он, подходя к невесте и беря ее за руки. — Ты ли не любя мне! Грех это сказать тебе было бы, если бы ты мне в душу взглянуть могла. С того самого дня — помнишь крестный ход? — неотстанно все о тебе думаю. Как увидел я тебя, так словно разума лишился. Только ты одна перед глазами моими была, во сне мне виделась, на святой молитве чудилась... ты, только ты! Как ты любя мне, я сказать словами не могу...

Он глядел, любуясь Ганночкой, в ее голубые очи, весь трепетал, как будто лихорадка вдруг приключилась у него; его так и тянуло непреодолимой силой к этой чудной красавице, но в то же время врожденная робость отталкивала его прочь, душила его мужскую смелость, и вместо страстных, жгучих поцелуев царь чувствовал, как слезы подступают к его горлу.

— Сядем, милая, — с трудом выговорил он, — обо многом нам с тобою поговорить нужно.

— Поговорим, государь! — покорно согласилась Ганночка. — Такое мы с тобой дело затеяли, что без разговора нам никак невозможно.

Они сели рядышком, не разнимая рук.

— Спрашивай, государь, — предложила Ганночка, — и верь тому, что таиться от тебя я не стану. Все выложу, что на душе есть. Спрашивай же!

Федор Алексеевич смущенно мялся, не зная, с чего начать разговор.

— Правда твоя, — наконец заговорил он, — такое дело, как мы затеяли, без разговора вершить нельзя, и, прежде чем повер-

шить его, нужно, чтобы наши души были друг другу известны, как на ладони, а то и лада между нами не будет николи. Так вот какой тебе спрос от меня будет; отвечай, не таись и ничего не бойся! Неволею или волею ты за меня идешь? Люб я тебе или не люб?

— Кабы не люб ты мне был, Федор, — серьезно ответила Ганночка, — так не была бы я здесь вовеки. Никто моей воли в этом деле не снимал; на рубеже я росла, всегда вольная; если б не люб ты мне был да силком меня к тебе потащили, так на своей косе задавилась бы я, а все-таки тебе меня, как ушей своих, не видать бы. Вот тебе каков мой сказ на спрос твой!

Глаза молодого царя загорелись.

— А тебе от меня такой сказ будет, — чуть не закричал он. — С той самой поры, как увидел я тебя, полюбила ты мне... пуще света белого, пуще солнца красного, пуще жизни земной полюбила. Говорю тебе: сном я засыпаю — ты мне, любезная, мерещишься, будто наяву, предо мною стоишь. Не посылал я столько времени за тобою потому, что боялся, как бы вороги тебя со света не сжили. Ой сколь много зла около нас с тобою, Агашенька, будет... болото трясиное! А я, видишь, какой? И телом слабый, да и душа у меня совсем не царская. Кабы мне можно было с престола уйти, ушел бы я. Взял бы тебя и ушел бы, куда глаза глядят, только бы от всяческого здешнего зла да распрей, да грызни подале быть. Тяжко мне, Агашенька, тяжело на великой царской чреде! Один я, никто меня не пожалеет, никто в душу мне не посмотрит!.. Сестры, что чужие, убожеством меня корят; дядя и братья двоюродные — кровопийцы, изверги, своевольники; мачеху с братом и сестрами я по их воле выгнал, а я зла от нее не видывал. Всех, кто любил да жалел меня, я по дальним городам под опалу разогнал и остался один, как олень загнанный, среди волчьей стаи людей. Теперь ежели ты мне жить да царствовать не поможешь, так хоть со света мне долой...

Голос молодого царя перешел в надрывистый крик; горе, обиды, постоянно затаиваемые, так и рвались теперь наружу. И вдруг Федор Алексеевич почувствовал, как две нежные, теплые руки обвили его шею, и теплота молодого женского тела обожгла его. Словно палящий огонь влил в него жгучий поцелуй, первый поцелуй женщины в его жизни!

— Милый, желанный, — слышался ему шепот, — ведь и ты мне грезился постоянно, тебя я ждала все эти годы!.. Какой ни на есть ты, а люб ты мне, как я тебе. И буду я тебе другом из верных верным. Сильна я и духом, и телом; всех наших врагов мы сокрушим, и будет нами народ православный вовеки доволен!

Юному несчастному царю казалось, что он уже не на земле, а высоко-высоко — на седьмом небе; страстные поцелуи пепелили его, кровь бурлила и кипела, дух мутился, дыхание спиралось.

«Так вот она какова, любовь-то! — металась в его голове огненная мысль. — Вот он, Бог-то, страдать заставляющий. И взаправду за такое страдание умереть не жалко».

Еще никогда не изведенное чувство опьяняло юного царя. Роскошное молодое женское тело разливало в нем теплоту жизни. Он слышал и чувствовал, как около его сердца бьется другое сердце, и опьяненный забывал все, весь мир, самого себя в тумане своей первой любви.

А кругом влюбленных мучилась скверная боярская грязца, сгущались тучи клеветы, змеились двуногие ядовитые змеи в горлатных шапках, но пока еще не жалили, а только шипели, чувствуя, что бессильны со всеми своими замыслами. Любовь пока побеждала зло.

Ганночка в семье царя одерживала победу за победой; как-то совсем незаметно она стала большой приятельницей с сестрами царя, даже богатырше-царевне Софье она по сердцу пришлась, хотя вызвала у этой неукротимой девушки весьма своеобразную характеристику.

— Хороша девка, слов нет, — отозвалась как-то с обычной грубоватой прямоотой Софья Алексеевна, — и рожей, и кожей взяла, и умом крепка: впрямь умница-разумница. Она у нас царем-то будет, а слюняй Федька-брат при ней царицей. Вот помяните мое слово: не он ее, а она его в баню поведет!

На такой отзыв царевны, которая и сама была умницею-разумницею, можно было вполне положиться. Софья по-своему очень любила своего хилого брата, но все-таки не могла простить ему случайное вмешательство в ее сердечные дела. Она не поняла, какой порыв толкнул его на это, не знала, что он сам тогда весь горел жаждою любви, и думала, что он хочет разлучить ее с свет-Васенькой, в котором она с каждым днем все более и более души не чаяла.

Наскоро приглядевшись к невесте брата, она стала по-своему благоволить ей и мощно сдерживала интриганов Милославских от всякого поползновения устранить Ганночку.

Наконец одна маленькая капелька заставила выплеснуться наружу океаны боярской грязи: Ганночка посетила опальную царицу Наталью Кирилловну. В этом случае она обставила дело умно: сами царевны-сестры посоветовали ей посетить вдову Тишайшего; но Милославских это как холодной водой облило, и Ганночка сразу приобрела себе в них заклятых, злейших врагов, от которых ей не приходилось ждать пощады.

— Нарышкиница лупоглазая! — говорили потайно царские дяди, строя планы, как устранить прочь девушку. — Ишь, какой прыщ вскочил нежданно-негаданно! Засапожный бы ей нож в бок...

— И не пристало ей на московском престоле сидеть, — злобно высказался Дмитрий Милославский, — польского она порождения. Что и будет, ежели царица-полячка над православными воссядет? И так всякого разврата у нас много развелось, совсем в упадке древнее отеческое благочестие, а тут еще всякие новшества пойдут: понедельник, среды и пятницы соблюдать перестанет народ, с женами в баню ходить не будут... Последние времена перед светопреставлением!

— А то еще возьмет царица-то полячка да антихриста породит, — разжигал брата младший Милославский.

— Верно, — отвечал тот. — Нужно будет о сем на базарных площадях да в стрелецких слободках и в царевых кружалах слух пустить, а ежели это не подействует, так другое у меня на примете есть. Как ни вертись полячка оглашенная, а от своей судьбы не уйти ей. Не с того, так с этого бока свое получит...

Но любовь царя оберегали преданные ему Языков и Лихачев.

Устроено было так, что, вопреки обычаю, Федор Алексеевич был скороспело обвенчан с Агафьей Семеновной 9 апреля 1680 года. На русский престол воссела царица-полячка, и православный народ радостно принял ее.

XLVII

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Сразу повеяло новым духом над Москвою и над Русью после женитьбы царя Федора Алексеевича.

Чуток народ православный, умеет разбираться он в том, кто ему — друзья, кто — враги. Понял он, что молодую царицу Бог ему послал в ограждение всяких врагов-нахвальщиков да лютых бояр, грабителей и угнетателей.

Ганночку, или теперь уже царицу Агафью Семеновну, все в Москве полюбили, а по ней полюбили царя. Недовольство последним стало уменьшаться в народе, тем более что все Милославские притихли, и если грызлись, то только со своими врагами Нарышкиными, которые тоже по большей части попритихли. Это успокоение враждовавших бояр и их приспешников народ приписывал влиянию царицы на своего царственного супруга. Да, пожалуй, так и было. Слабовольный Федор Алексеевич всецело подпал под влияние своей супруги, и права оказалась царевна-богатырша Софья Алексеевна, когда сказала, что царем будет Агафья, а Федор при ней — царицею.

Однако царь Федор Алексеевич даже и не замечал, что жена возымела на него столь большое влияние. Если бы кто-либо со стороны сказал ему об этом, он не поверил бы. Умело действовала Агафья Семеновна. Она была истинной хозяйкой в государстве, но, любя своего слабого и хилого мужа, все-таки выдвигала его вперед; и выходило так, что действовал сам царь Федор, и это сильно возвышало его в глазах народа. Он был милосерд; ангельски чиста была его душа, и он действительно стремился сделать счастливым свой народ.

Но влияние разумной супруги сказывалось не в одном этом. В царских палатах завелись многие новшества, которые до того никому и во сне не снились. Многие придворные — и не легкомысленная молодежь, а важные пожилые бояре — стали свои бороды подстригать и табачным зельем в открытую дымить, а кое-кто из

них и в короткополое немецкое платье нарядился. Князь же Голицын свой дом совсем на зарубежную ногу поставил и жил не как русский боярин, а как пан-варшавяк какой-нибудь. И пиры у него шли по-заморскому, музыка роговая играла и пляски шли нерусские. На пирах боярские жены всегда присутствовали и — что уже совсем срамно было, — по примеру царевны Софьи Алексеевны, боярские дочери также показывались и по-заграничному веселились.

Все это бояре Милославские пробовали использовать против молодой царицы; они хотя и затихли, а своего дела не упустили.

— Полячка-царица всю святую отеческую веру кочерыжит, — неслоь по всем площадям из десятков и сотен уст людей, преданных этому боярскому роду. — Телячьей убоиной царя кормит и под праздники с ним спит. Быть худу!.. Недаром звезда хвостатая по небу бродила!.. Вот она царицу-полячку на нас и намела.

Такие же толки распускались и в кружалах стрелецких слобод, — но — странное дело! — они как будто и не трогали легко воспламеняющейся толпы. Еще недавно Милославским совсем легко удалось поднять буйную гиль из-за сухих пустяков; эта гиль разрослась в крупный бунт, и даже сам царь тогда был в опасности. Но теперь, что ни говорили разосланные повсюду смутьяны, как ни подстрекали они народ, ничего из этого не выходило.

— Что ж, что она — полячка? — обыкновенно отвечали подстрекателям. — Ведь она и в церковь ходит, и Богу по-православному молится, и память покойного царя-батюшки почитает. Со всей родней царской она почтительна и угодлива, а своих никого в мироеды-бояре не тянет. Патриарх ею доволен и священство тоже. А ежели у нее что с мужем не так и не по Писанию, так это — их супружеское дело. Кто там знать может? У них в опочивальне ночью никто не бывает, так ежели они в грехе, то и они же в ответе.

Милославские злились без конца, но вскоре им стало ясно, что путем ложных клевет и всяческих подвохов им гиль против Ганючки не вызвать. Им приходилось искать нового средства.

— Что ж похвалялся-то? — как-то в минуту пылкого озлобления сказал Дмитрию Милославскому его брат. — Помнишь, говорил ты, что у тебя какое-то верное средство есть? Ну, так вот где оно? Давай его сюда! Упустишь время — назад не вернешь. Слышь ты, за Никона-пса полячка распинается, настраивает царя, чтобы он простил старого черта да на Москву вернул.

— Крепок старый пес! — сумрачно проговорил Дмитрий. — Другой бы давно у Кирилла Белозерского скопытился, а он ничего себе, недохнет. Заправду худо нам всем придется, ежели он на Москву возвратится! Народ-то за него, сметет он нас.

Заточенный титан, патриарх Никон, был по-прежнему страшен стае хищных дворянжек даже и в изгнании.

О своем средстве Дмитрий Милославский промолчал на этот раз и продолжал упорно молчать еще несколько времени. Наконец, он

однажды позвал к себе брата, и когда тот явился, то увидал в столовом покое молодого, но страшно изможденного человека, видимо, только что перенесшего долгое заключение в сырой темнице.

— Вот мое средство-то! — шепнул Дмитрий брату. — Знаешь ли ты, кто это! Погляди, погляди, может, и припомнишь?

— А кто? — недоумевал младший Милославский. — По облику как будто и знакомый, а признать не могу. Ну-ка, кто?

— Ага, не признал!.. Да это — князь Василий Лукич Агадар-Ковранский, вот кто! Припомнил теперь? Я его ради нашего дела из узилища вытянул. Уж теперь-то мы с проклятой полячкой справимся. Не из таких князь Василий, чтобы обиды без отомщения оставлять.

— А, помню теперь... Его еще без вести пропавшим считали.

— Ну вот-вот, он самый. Пойдем скорей к нему.

Братья вошли в покой, где был их гость.

Это был действительно князь Василий Лукич.

Как страшно изменился он в эти годы!.. И узнать было бы нельзя в этом живом трупe бывшего мрачного красавца, отчаянного забияку, буяна, каких немного было на Москве.

С ним случилось ужасное, такое ужасное, что князь Василий и представить себе не мог, как все это произошло.

Когда молодой царевич-наследник дал ему лестное поручение во что бы то ни стало разыскать столь заинтересовавшую его девушку, князь Василий и ног под собой не чуял, спеша услужить царевичу. Лестно ему было исполнить поручение, которое поставило бы его в близость к наследнику престола, в скором будущем царю. Он не считал такое поручение трудным и был уверен, что не далее как к вечеру принесет царевичу желанную весточку. Но судьба располагает людьми, и часто малые причины мешают исполнению великих замыслов. Спеша к тому месту, где произошел случай с царевичем, князь Агадар-Ковранский не разбирал, кто ему попадетсЯ навстречу. Он пошел пешком, рассчитывая, что так скорей доберется до места, и шел без разбора, и толкал всех, кто мешал ему.

Вдруг ему попался какой-то высокий человек в нерусском одеянии.

Князь Василий и его толкнул довольно грубо, так что встречный даже пошатнулся.

— Ты чего, песья кровь, без толку тычешься? — раздался как будто знакомый Агадар-Ковранскому голос. — Вот я тебя, лайдака, выучу! — И в тот же момент здоровенный сокрушительный удар по уху свалил его с ног.

В следующий момент князь Василий уже был на ногах и, хрипло ревя, как разъяренный зверь, выхватил из-за сапога нож и кинулся на обидчика. Однако удар, еще более сильный, чем первый, пришедшийся уже ниже виска, свалил его с ног и лишил чувств.

Когда через несколько времени князь Агадар-Ковранский очнулся, то он был уже крепко-накрепко связан, лучше сказать —

весь обмотан веревками, и его куда-то везли в закрытом возке. Во рту он был кляп, так что он даже и мычать не мог. Но его уши оставались свободными и он ясно слышал, что вокруг него раздавалась польская речь. Однако и это не давало ему никаких объяснений.

Его куда-то привезли, закутали ему голову и понесли на руках. Несли долго. Князь Василий чувствовал, что вокруг него пахнет погребной гнилью и сыростью. Наконец он очутился в каком-то подземелье. Тут ему голову раскутали. Он увидел чужих, незнакомых людей, а среди них — коваля с молотком и цепями. Кричать он не мог даже тогда, когда его оковали цепью вокруг пояса и вокруг горла и концы цепи оказались заклепанными в железное кольцо, укрепленное в стене. Лишь тогда ему были развязаны руки и рот.

Из толпы выступил тот самый высокий человек, который побил его при встрече на улице. Князь Василий теперь узнал его. Это был тот самый литовец Руссов, которого он видел в свите пана Мартына Разумянского при встрече-поединке в придорожном поселке.

— Ты — пес смердящий, — заговорил громко Руссов, — и хотел укусить господина. Так тебе не следует на свободе гулять, а на цепи сидеть. Вот и посиди, пока не смилуется над тобой господин. Псу и житье псовое. Лай, сколько угодно, но, если твой лай надоест, ты будешь бит, а смотреть за тобой вот он будет! — И Руссов указал на выступившего вперед сумрачного богатыря-парня.

Князь Василий сейчас же узнал его, и на душе у него стало неловко. Этим парнем был лесовик Петруха, мстивший ему за свою загубленную сестру.

Князь понял, что поручения царевича теперь ему не исполнить.

Более четырех лет просидел на цепи несчастный князь Василий. Только его титанически могучее здоровье могло выдержать адские муки. Трудно и вообразить, как он не сошел с ума. Во всяком случае это была месть более ужасная, чем смерть. Уже убийственно было самое сознание того, что великая избавительница — смерть — не приходит, и нет никаких средств призвать ее с ее великою тайною.

Иногда в подвал спускался пан Мартын Разумянский. С изобретательностью «цивилизованного» человека, он всячески издевался над бессильным пленником, и всегда заканчивал свои издевательства ударом плети, с которой приходил к несчастному князю.

Это было страшной пыткой, но князь Василий всегда переносил ее молча; зато, когда Разумянский уходил, и шум его шагов затихал, он разражался диким ревом и бился на своей цепи, как сумасшедший.

Удивляло его только то, что приставленный стражем Петр вовсе не пользовался своим положением, чтобы мстить за прошлые обиды, а был добр и ласков по отношению к нему. Никогда не вспоминал он о своей замученной сестре, а, напротив того, всячески старался — конечно, по-своему — облегчить пленнику его существ-

вание. Это было единственное существо, которое хорошо относилось к князю Василию в тяжелые для него годы.

Обиженный князем Василием лесовик и спас его.

— Вот что, князь Василий Лукич, — как-то особенно внушительно сказал он ему однажды, — не может моя душа более терпеть, чтобы польское отродье православного терзало. Довольно тебе, как псу, на цепи сидеть!

— Избавь, освободи меня! — взмолился Василий Лукич. — Ничего для тебя не пожалею.

Петруха как-то особенно усмехнулся, а затем произнес:

— Сестры-то замученной все равно не вернешь мне. Да и не нужно мне никакого твоего награждения. Сестра мне, тобой замученная, почитай каждую ночь снится, и все за тебя просит. И вот на ее просьбы я и склонился. Освобожу я тебя, благо время для того выпало приспешное — нет наверху никого из поляков. Удирай с цепи! Да, вот что. Поди, знаешь на Москве бояр Милославских? Так вот допреж всего к ним лыжи наостри. Они тебя помнят и помочь тебе хотят. К ним и иди!

— А ты? — робко спросил князь Василий.

— Что я-то?

— Здесь останешься?

— Обо мне какая тебе забота? — снова мрачно усмехнулся Петруха. — Заботься о своей голове...

Он ушел, оставив князя Василия в смутном ожидании свободы.

Петруха исполнил все, что сказал. Спустя несколько дней, он разбил цепи и, выведя князя, одел его с ног до головы вместо обветшавших лохмотьев в новое добытое им платье. Он сам проводил его до палат бояр Милославских и здесь сумрачно простился с ним.

— Не поминай меня лихом! — сказал он князю на прощание. — Бог даст, больше не встретимся...

С этими словами Петр быстро отошел прочь, оставив князя Василия одного.

XLVIII

ПОД ВЛАСТЬЮ ЛЮБВИ

У Милославских князь Василий был встречен как жданный гость. Братья, и в особенности на первых порах Дмитрий, окружили его всяческим уходом. Агадар-Ковранскому казалось, будто и они пришли в великое негодование, когда он рассказал им про свое ужасное заключение.

— Что и говорить, — сказал старший Милославский, — теперь полякам большая воля. В кабале у них Московское государство; что хотят они, то и делают.

— Да с чего же это? — пробовал допытываться Агадар-Ковранский, но Милославские уклонялись от ответа.

Одно только он и узнал от них, что нет более в живых царя Алексея Михайловича и что царствует сын его Федор Алексеевич.

Теперь, когда он был свободен, и от него отошла прежняя мука, в его сердце вскрылась прежняя рана; ему вспомнилась Ганночка, и снова заклокотали в нем любовь и ревность.

«Где-то она, ласточка-касаточка моя, теперь? — вспоминал князь Василий про Ганночку. — Поди, замужем уже, счастлива и никогда не вспоминает меня. Да и то подумать: за что ей вспоминать-то меня? Малого слова меж нами по сердцу сказано не было. Ну что же, ежели мне счастья не суждено, пусть она, ненаглядная, будет счастлива во веки вечные!»

Слезы подступали к горлу князя Василия, когда он думал так; тихая, кроткая печаль нисходила в его душу.

Однако вдруг ревность, а вместе с нею и адски кипучая ненависть, насильно пробужденная извне, вспыхнула с прежней свирепой дикостью в душе князя Василия. Об этом постарались Милославские, решившие сделать князя орудием злобы против ненавистной им юной царицы Агафьи Семеновны.

Царские дяди узнали о заточенном русском князе от его тюремщика Петра. Сам перестрадавший свое горе и простивший его Петр уже давно хлопотал о том, как бы избавить от мук своего несчастного господина, и обратился с этим к тем, кого, по его мнению, сильнее в Москве не было, то есть к Милославским. Дмитрий Милославский, подробно расспросив Петра, быстро сообразил, что князь Василий Лукич может быть весьма полезен им, и тотчас заюлил перед добродушным Петрухой. Парень поверил и привел к Милославским польского пленника.

Теперь оба брата решили, что время им приступить к исполнению своих мрачных замыслов, и умело повели свое дело.

Они с яростью, вполне способной распалить воображение ревнивца, долго рассказывали князю Василию, как вышла замуж Ганночка (о ней они все, что им было нужно, узнали от Петра), так изобразили ему ее «измену», что прежний яростный гнев закипел в душе Агадар-Ковранского. Наконец, князю Василию было сообщено, чьей супругой стала Агафья Семеновна, и этому ее замужеству был придан вид хищнического расчета, а никак не свободно проявившегося чувства.

— Эх, — воскликнул младший Милославский, — уж если бы со мною такое было, ни за что не стерпел бы я! Нож бы в бок этой змее подкольной всадил, хотя она и царица! Поди, теперь подсмеивается она над тобою, Васенька!

Во время этой беседы кубки с вином не сходили со стола. Князь Василий, давно не видавший вина, пил с остервенением и с каждым глотком становился все мрачнее и мрачнее.

— И все-то это дело устроил крыжацкий пан Кунцевич, — словно вскользь заметил Дмитрий Милославский. — Задумал он нашего царя и весь народ в свою веру перевести, вот и подставил государю в супруги полячку богопротивную...

— Он? — прерывая хозяина, вне себя от ярости, закричал князь Василий и так ударил кулаком по столу, что все кубки и бокалы запрыгали.

— Он, все он, — зашипел хозяин, — а теперь она, полячка проклятая, изменница твоя, поди, целует да милует муженька-царя, да над тем, кто из-за нее пострадал и сохнет, насмехается...

— Эх, — проговорил, словно в раздумье, Агадар-Ковранский, — ежели бы мне теперь нож отточенный, да подойти только поближе, уж за все про все расплатился бы я...

— А за чем дело стало? Хорошему человеку в таком деле мы всегда помочь рады. Ножей много, не жаль этого добра, а о том, чтобы провести тебя, так для этого такой у нас человек есть, что прямо на окаянную полячку наведет, и делай с нею, что твоей душе будет угодно.

Сильно нетрезвый Агадар-Ковранский слушал эти речи и как-то особенно улыбался.

— Ну, чего же думаешь? — приставали к своему гостю оба Милославские. — Пойдешь? Идти, так иди...

— А ну вас, — словно от назойливых мух, отмахнулся от них князь Василий, — ежели так, ведите!

Нетвердо помнил князь Василий, что было дальше. Милославские не скупились на уговоры. Вино было безмерно крепкое, голова же Агадар-Ковранского после заточения слабая. Слово туманной дымкой застлало все в его глазах. Смутно помнил князь Василий, что его куда-то везли, потом вели по каким-то темным переходам и наконец он очутился в небольшом, ничем не освещенном покое.

— Вот и жди здесь, — шепнул ему чей-то голос, — в стене щелочка есть, как свет увидишь, загляни, полюбуйся на свою змею подколодную, на полячку окаянную...

Агадар-Ковранский остался один и прежде всего ощупал себя. За поясом у него торчал длинный нож.

— У-у, идола! — рассмеялся с чего-то он. — Аспиды и василиски. Какое дело задумали! Ладно, посмотрим, что я там еще увижу. Я уж за обиду разочтусь, над собой насмехаться никому не дам...

Прошло еще немного времени.

Вдруг в темной стене засветился огонек. Бесшумно скользнул вперед князь Василий и припал к ней глазом. За стеною был ярко освещенный восковыми свечами покой, посреди него стол, накрытый на два прибора. Невдалеке от него, в глубоком кресле, сидела царица Агафья Семеновна. Она слегка задумалась, но ее лицо не отражало печали. Ясен и безобиден был ее взор. Агадар-Ковранский смотрел на нее, и слезы текли из его глаз. Он не замечал их; его душа всколыхнулась при виде этой чудной красоты. По округлости стана царицы он понял, что скоро на свет Божий явится новая жизнь, и эта новая жизнь, поднявшись и окрепнув, послужит на добро и на славу той православной Руси, которую угнетали они, Агадар-Ковранские, и грабили такие, как Милославские...

Отворилась одна из дверей покоя, и вошел сам царь Федор Алексеевич. Это был уже не прежний заморыш-юноша, хилый и чахлый; теперь он возмужал, был весел, румян. Безмятежное счастье укрепило его, пересоздало в славного русского доброго молодца...

Царица поднялась с кресла и, в силу своего положения несколько тяжело ступая, пошла навстречу к стирававшему ей объятия царю.

Дрожь пробежала по всему телу князя Василия, видевшего всю эту сцену. Подступившие к горлу слезы давили его. Не помня себя, он зарыдал и наобум кинулся к дверям из покоя.

Что было тогда в его сердце, князь Василий не соображал. На него словно опрокинулось что-то, но это «что-то» вовсе не было тяжелым, давящим, угнетающим, а, напротив того, он чувствовал восторг и умиление при воспоминании о той мимолетной сцене, которой он был свидетелем. Но вдруг он остановился: ему пришло в голову, что он перепутал переходы и теперь ему не выйти из этих дворцовых тайников...

В самом деле он оказался в незнакомом ему месте. Это был какой-то узел дворцового лабиринта. Переходы здесь скрещивались, расходились в разные стороны, и князь Василий положительно не знал, куда ему идти, как выбраться из этой ловушки, в которую он был, очевидно, умышленно заведен.

«Окаянные, — задыхаясь, шептал он, — смекнул я теперь, в чем дело. На зло меня наталкивали, хотели, чтобы ее, ненаглядную мою, я погубил, а после того и сам бы попался. Да нет, вот не вышло по-вашему!»

Он радостно вскрикнул — один из переходов показался ему знакомым даже при слабом свете, кое-где мелькавшем в тайниках. Князь знал этот переход и уже не раз видывал его. Это был проход в так называемые кельи царского учителя, Симеона Полоцкого. Бывая у него для встреч с Федором Алексеевичем, князь Василий в тех случаях, когда ему приходилось дожидаться одному царевича, нередко выбирался из богатого помещения развеселого монаха-пития и прокрадывался по коридорам то в ту, то в другую сторону. Бывал он и в этом переходе и теперь сразу же узнал узел лабиринта, откуда можно было пробраться чуть ли не в любое помещение дворца.

«Ну и везет же мне! — подумал он. — Этого-то Милославские не сообразили, что мне ходы здесь известны. Ну что ж, значит, судьба такая, не погибнуть мне. Ладно, попробуем! Авось инок Симеон за наваждение бесовское меня не примет».

Князь смело двинулся по знакомому переходу. Тут уже было значительно темнее, и Агадар-Ковранский старался идти так тихо, что его шагов совсем не было слышно. Вот и знакомая дверь роскошной кельи Симеона Полоцкого. Она была не прикрыта, и князю Василию достаточно было слегка толкнуть ее, чтобы попасть в знакомые покои. Но он не сделал этого. До него донесся говор голосов, и один из них показался ему знакомым. Несколько прислушавшись,

Агадар-Ковранский так и замер на месте; он узнал этот голос! В покое монаха-пииты был иезуит Кунцевич, которого князь все еще считал своим наилучшим другом. С ним был еще кто-то другой, и, только прислушавшись более внимательно, князь опять вспомнил этот второй голос. Он принадлежал Ивану Михайловичу Милославскому, царскому дяде.

— Ты уж, пан, — произнес Милославский, — как там хочешь, а на нас не сердись. Не по нутру нам эта царица-полячка. Осетил ты государя нашего, попустил на то Господь. Мы его верноподданные, должны порадеть о его здоровье и избавить его от дьявольского наваждения...

— Причем же я-то тут, боярин? — будто удивляясь, произнес Кунцевич. — Моего старания тут ни к чему приложено не было...

— Ну полно, говори там! — оборвал его Милославский. — Разве не ты ее Федору-то подсватал? Ведь мы тоже хоть и на Москве живем, а не лыком шиты!.. Не ты, что ли, князя Василия Лукича Агадар-Ковранского в погреба поляка Разумянского упрятал? Одно-го лишь ты боялся, что помешает он твоим замыслам, а сам так змеєю в ангельскую душу юного нашего царя и забирался, невесту ему подыскивал. Эх вы, клопы черные!

— Постой, боярин, — перебил его Кунцевич. — Что ты говоришь, того я не ведаю. Никогда я не боялся князя Василия. Весь он всегда в моих руках был и, что я указывал ему, то он лишь и делал. Государь же ваш сам увидел свою невесту и сам прельстился ею...

— А ты ему сказал, кто она такая и где ее разыскивать?

— Сказал, — бесстрастно согласился Кунцевич. — Отчего же не сказать-то? Нешто они — друг другу не пара? — Голос иезуита дрогнул как-то особенно, видимо, его всего охватил порыв — страстный порыв восторга перед самим собой. И он вдруг заговорил с особенной пылкостью, заговорил не столько для своего единственного слушателя, сколько для самого себя: — Да-да! Разве не пара друг другу эти молодые люди? Сознаюсь: я отдал их одного другому... да, боярин, я сделал это, всех вас перехитрив. Но из этого великое благо произойти может — не для Польши моей, а для вашей же Московии.

— Ну, какое еще там благо? — буркнул Милославский. — Лашь, сам не зная что, пес потрясучий!

Кунцевич будто не слыхал этого оскорбления, на которые никогда не были скупы Милославские, а прежним тоном воскликнул:

— Да-а, великое дело, великое дело! Большой народ погибает в кромешной тьме и уготован аду, преисподней, погибает и должен погибнуть, если только не просветится истинным светом и не воссоединится с великою римскою церковью, склонившись перед властью наместника Христа на Земле. Об этом воссоединении и хлопочу я. Ради него и действовал я, ради него вырвал я Агадар-Ковранского из когтей смерти, когда он был болен, и держу его

теперь в своей власти, как держат цепную собаку до того времени, когда ее нужно спустить на злого врага.

— Ой смотри, не спустишь! — выкрикнул, захохотав, Милославский. — Не хвались заранее...

— Спущу, боярин, когда нужно будет, — твердо произнес иезуит. — Покорен мне князь Василий во всем и жизнь отдаст по слову моему.

— Ан не отдам! — раздался выкрик, и обезумевший Агадар-Ковранский ворвался в покой, где происходила беседа.

Он был страшен. Вся та ярость, которую разожгли в нем Милославские и которую успокоила было подсмотренная им идиллическая сцена в царской столовой, вдруг вспыхнула в этом легко воспламенявшемся человеке. Признание Кунцевича о том, что он сам отдал Ганночку другому, заставило князя позабыть всякое благоразумие. Не помня себя, он очутился перед иезуитом, и его вид был таков, что даже Милославский отступил прочь в ужасе.

— Окаянные, окаянные! — вопил Агадар-Ковранский. — Что вы сделали оба? Вы оба, как коршуны, терзаете Русь несчастную, и не дорог вам ее народ, а оба смеете кричать, что о добре ее радуете.

— Ну полно, полно! — попробовал остановить его Милославский. — Чего ты, князь, так разобиделся? Сделал ли дело свое удачно?

— Сделал, сделал, — словно в забытьи, несколько раз выкрикнул князь Василий, — да так сделал удачно, что никогда вам и во сне не снилось.

— Так вот теперь отмсти за себя! — указал Милославский на иезуита. — Ведь это он — всех твоих бед заводчик. Он тебя на столько времени в смрадный погреб посадил. Кабы не он, так женился бы ты на Агафье Семеновне и жил бы теперь припеваючи. Ну что ж, вот и рассчитайся теперь, ежели случай выпадает.

Голова князя Василия закружилась. Он выхватил поясной нож и кинулся было на иезуита.

Однако тот давно уже поднялся с кресла и теперь стоял перед ним, бесстрашный, недвижимый, готовый к роковому удару.

— Ну что ж, — произнес он, — убей, князь Василий, меня, который тебя от смерти спас! Ну, рази, что ли!

Что-то звякнуло о пол. Это Агадар-Ковранский выпустил из рук нож.

— Не могу, не могу, — воскликнул он, закрывая лицо ладонями рук.

— Чего там не могу? А ты попробуй! — сильно толкнул его Милославский, а сам взметнул рукой.

В следующий же момент Кунцевич грузно рухнул на пол. Князь Василий Лукич вскрикнул, но Милославский, ухватив его за плечи, потащил к двери.

— Брось, не думай! — шептал он ему на ухо. — Черная собака и без нас кончится. А теперь, ежели ты свое дело сделал, так обоим нам улепетывать надобно.

На другое утро в Большом дворце начался, чем свет, переполох. В покоях, которое занимал бывший учитель царя Симеон Полоцкий, нашли зарезанного насмерть человека. Это был иезуит Кунцевич. Чья рука поразила его, так и осталось неизвестным.

...Солнце счастья сияло над молодыми царем и царицею. Свое счастье они, светлые, любящие, распространяли вокруг себя. Но недолговечно счастье людское, всюду сторожит людей горе, крадет-ся оно за ними и настигает тогда, когда менее всего ожидают его люди. Недолго оно светило и царю Федору Алексеевичу и его дорогой жене, Агафье Семеновне¹.

¹ См. роман того же автора «Оберегатель».

ОБЕРЕГАТЕЛЬ

I

ГРОЗНЫЙ АТАМАН

Вокруг обширного и глубокого оврага, в стороне от большой проезжей дороги, пахло преступлением. Над кручами носилась стая воронья, перед пологим спуском была помята трава, поломан кустарник, как будто здесь только что окончилась отчаянная борьба. В ложбине оврага трава тоже была обмята и в воздухе носился запах свежей крови. И в самом деле, несколько в стороне виден был свеженасыпанный бугор, под которым, вероятно, нашла вечный покой жертва только что совершенного кровавого преступления.

То время было смутное. На московском престоле сидели малолетние цари Иван да Петр Алексеевичи, а за их малолетством всеми государевыми делами правила их сестра, царевна Софья Алексеевна. Она была умной, способной правительницей, замечательно искусным политиком, но под нею все-таки не было той почвы, какая нужна для успеха государевых дел: не было законности власти. Последняя была захвачена ею с помощью стремившихся к своеволию бояр да разнуздавшихся стрельцов. Кроме того, женщина на такой высоте — правительницы царства — была необычным явлением в России того времени, и, пожалуй, противников у царевны Софьи в годы ее регентства было всегда гораздо больше, чем сторонников и приверженцев.

Открытого недовольства ее правлением не было. Народ знал, что нужно же кому-нибудь быть на царстве, пока не подрастет наследник Тишайшего, царь Петр Алексеевич. Старики еще помнили ужасы лихолетья и были твердо уверены, что хоть какая-нибудь власть все же лучше, чем ее отсутствие, и поэтому сдерживали от открытого бунта против правительницы тех, кто был помоложе. Может быть, из-за этого соображения люди мирились с царевной, но умаление законов все-таки чувствовалось во всем. Правительница, чтобы удержать власть в своих руках и чтобы самой удержаться «превыше царей венчаных», должна была делать всякие послабления своим наиболее заметным и могущественным приверженцам, а те, чувствуя свою безнаказанность, своевольничали, как хотели, вызывая протест и отпор со стороны народа, изнемогавшего от их притеснений и озорства.

Народная масса выражала свой протест против умаления и сокрушения закона и своеволья знати, как и всегда, грубо. Наибо-

лее буйные и наиболее обиженные уходили в леса, на большие дороги, составляли разбойные шайки, грабили проезжих, преимущественно купеческие караваны, иногда нападали на помещиков.

Словом, чернь отвечала на своеволие и бесчинства знати своим своеволием и бесчинством. Неистовствовали верхи, их примеру следовали и низы. И чем больше озоровали и насильничали первые, тем больше становилось разбойных шашек.

Страдать от этого приходилось тем, кто был мирен, для кого еще существовали законы и кто на них строил распорядок своей жизни.

Жить становилось все тяжелее и тяжелее. Грубая сила крушила право. Никто не хотел знать обязанности. Каждый желал, чтобы его личная воля была законом. Кто был силен, тот был и прав.

Именно в силу таких условий и создалась большая разбойная шайка, обратившая в свои владения огромный дремучий лес с большой дорогой, пролежавшей на Москву, По всей округе наводили ужас разбойники. Про них говорили со страхом, что это — не люди, а дикие, хищные звери, даже хуже их: ведь сытый зверь не трогал без надобности; злодеи же не только грабили, что было бы понятно в их положении, но и убивали, причем убивали не ради необходимости, а ради самого убийства, ради пролития крови. Бывали случаи — правда, редкие, — когда даже некоторые из разбойников не выдерживали творящихся ужасов и убегали от товарищей, а затем, предпочитая верную гибель от руки палача, отдавались с повинною воеводам, хотя те и расправлялись с ними без всякого милосердия.

Особенно страшна была эта разбойная шайка своей сплоченностью. Во главе ее стоял человек несокрушимой воли, сотканный из железных нервов и отличавшийся прямо нечеловеческой отчаянностью. Кто он был — не знали даже ближайшие к нему люди из шайки. Он появился в этих местах никому не ведомый, собрал людишек буйных и начал разбойное неистовство. Скоро вся округа дрожала от его разбойных дел. Действовал он всегда с отчаянной смелостью. На него и его шайку предпринимались большие облавы, но главарь был неуловим и ускользал, как тень, каждый раз, как только пробовали захватить его врасплох.

По рассказам убежавших из шайки можно было судить, что этот изверг был молод, но при этом, как рассказывали, лют по-зверски. Вид жертв, обреченных на смерть, жалких, вопящих о пощаде, будил в нем веселость, зрелище их смертных мук вызывало в нем хохот. В схватках он был неустрашим и всегда кидался туда, где была наибольшая опасность. В своих приговорах этот атаман был неумолим. За все проступки в его шайке было только одно наказание — смерть, и не было известно случая, чтобы раз произнесенное решение было отменено. Благодаря этому железная дисциплина крепко спаивала между собой разбойников, заставляла их без всяких рассуждений повиноваться вождю. Если прибавить к этому, что всех беглецов из шайки вскоре после побега находили убитыми, где

бы они ни прятались, то понятно станет, что редко кто решался покинуть грозного атамана. Напротив того, несмотря на тяжелейшие условия, к нему шли люди, шли чуть не толпами, и, если бы грозный атаман пожелал, он быстро мог бы составить громадное скопище отчаянных головорезов. Но он, очевидно, не желал этого — его шайка не была особенно многочисленна.

II

НЕЖДАНЫЙ ОКЛИК

В тот день, с которого начинается рассказ о правдивой истории давным-давно прошедших лет, шайкой было произведено нападение на проходивший мимо купеческий караван, которому не помог даже и конвой из стрельцов, сопровождавший его. Разгром был полный. Как и всегда бывало, ни в чем не повинные приказчики, извозчики, грузильщики были перерезаны без пощады, перебит был и конвой. Каким-то чудом уцелели только двое: один приказчик, отчаяннее всех сопротивлявшийся разбойникам, да еще несчастный, жалкий стрельчишка, притворившийся мертвым в самом начале схватки.

Схватка на этот раз была жестокою. Сопротивление нападавшим было оказано и в самом деле отчаянное. Один уцелевший приказчик чего стоил! Силища у него была медвежья — он так и швырял наседавших на него разбойников. Атаман, вопреки своему обыкновению, приказал взять его живым и даже без единой раны, а это стоило шайке четырех товарищей; двум из них силач, сопротивляясь, раздробил головы, двое еще умирали с переломленными позвоночниками.

Теперь этот силач, опутанный веревками, ожидая своей участи, лежал под деревом, с завязанными глазами, с толстым кляпом во рту.

Разбойники, утомленные схваткой и кровавой расправой с караванщиками, зарыли трупы своих несчастных жертв и отдыхали около громадного костра, разложенного в овраге без всякой опаски. Среди них очутился и стрелец. Утомленные кровавой бойней, душегубы взяли его к себе для забавы. Они уже порядком подпоили его хмельной брагой и громко смеялись, слушая его хвастливые пьяные речи.

Бедняга как будто не совсем ясно представлял себе, что именно происходило. По крайней мере он как будто чувствовал себя совсем не плохо среди душегубов и, когда они хохотали, сам весело вторил им.

— Эх, ребята! — сказал он, оправляя обрывки своего стрелецкого кафтана. — Взяли бы вы меня к себе, так никогда скуки не видали бы... Уж больно я парень-то веселый.

— Ну, коли так, скоро на том свете развеселое житье пойдет! — глумились над ним разбойники.

— На том, так на том, — согласился пленник, — мне все равно...

— Будто? Иль жизнь опротивела?

— Не то чтобы опротивела, а двум смертям не бывать, одной — не миновать. Поди, и сами это знаете...

— Как не знать? На этом и живем, — слышались отзывы. — Кажинное утро просыпаемся, не зная, будем ли живы в полдень.

— И все теперь так живут, — возразил стрелец, — ишь, чем похвастаться наши. Первеющие бояре и те с такими же думами просыпаются...

— Разве? Они-то с чего?

— Как с чего? Разве бояре-то не ваш брат Исаакий? Только и разницы между вами: вы на большой дороге народ православный грабите, а они на Москве златоверхой... И по вас, и по них два столба с перекладиной плачут: ждут не дождутся, когда пожалуют гости дорогие...

Громкий смех встретил слова пьяненького стрельца. Это ободрило его. Он потянулся к жбану с брагой, налил ее в ковш чуть не до краев, выпил единым духом, крикнул и утерся лохмотьями рукава.

— Молодец! — одобрил один из разбойников.

— Пить-то? — подхватил его замечание стрелец. — И не говори! Кто хочет пить научиться, пусть в московские стрельцы идет...

— Будто уж насчет этого так у вас на Москве хорошо?

— Чего хорошо! Море разливное... Есть не проси, а пить, сколько хочешь, заливай душеньку огненным пойлом. С тех пор как померла царица светлая Агафья Семеновна да преставился после нее супруг ее, великий государь царь Федор Алексеевич...

— Тише, молчи! Атаман! — понеслось вокруг, и все разом смолкло.

К разбойничьему кругу около костра подходил высокий, красивый, далеко еще не старый человек в богатом кафтане с саблей на боку и двумя пистолетами за поясом. На его лице был виден отпечаток тяжелых страданий, но глядел он вокруг себя с холодным высокомерием. Подойдя, он в упор уставился на хмельного стрельца, и его глаза вдруг зловеще сверкнули.

— Этот чего еще на сем свете болтается? — хрипло крикнул он. — Чего ему на земле нужно? Или на том свете места мало?..

Он поднял руку, готовясь дать роковой для несчастного знак, но в это время вдруг раздался громкий укоряющий голос:

— Князь Василий, а, князь Василий! Бога побойся!

III

ВНЕЗАПНАЯ ВСПЫШКА

Грозный атаман так и задрожал, услышав этот голос.

— Кто, кто смеет? — вырвался у него крик и, обернувшись, он грозно, свирепо, дико взглянул в ту сторону, откуда раздалось укоряющие слова.

Пощаженный разбойниками силач-приказчик каким-то образом освободился и от наглазной повязки, и от кляпа и теперь, сидя под деревом, с укором глядел на разбойника.

— Князь Василий, князь! — понесся придавленный шепот среди разбойников. — Так вот кто у нас атаман-то!

— С того-то он и лют непомерно, — довольно громко высказался один из разбойников. — Княжеское отродье всегда видно: им бы только лютовать над нашим братом...

Разбойник не договорил: щелкнул выстрел — и несчастный со стоном повалился на землю, сраженный пулею атамана. Весь разбойничий круг, вскочивший на ноги, так и замер, а грозный атаман, как был, с дымящимся еще пистолетом в руке, очутился около пленника.

— Узнал? — наклонившись к нему, задал он вопрос. — Узнал-таки?

— Еще бы не узнать-то, — спокойно ответил тот, — мало разве на тебя нагладелся? Да ты об этом после... Теперь себя побереги... Вишь, твой-то как освирепели! Дай-ка мне ножик путы разрезать, может, я еще пригожусь на что-либо...

Атаман оглянулся.

Случилось то, что нередко бывает среди людей, сцепленных между собою только общностью преступления.

Вид товарища, корчившегося на земле в предсмертных муках, осатанил этих и без того озверевших людей. Может быть, это новое злодеяние их атамана было последнею каплею, переполнившей запасы их долготерпения; может быть, они сообразили, что не для того сошлись они все сюда на большую дорогу, не для того порвали все, связывавшее их с честной, мирной жизнью, чтобы быть хуже, чем в рабском подчинении, и у кого?.. Пока они думали, что у такого же, как и они, обиженного и униженного — все было ничего, и даже слепо рабское подчинение не казалось особенно тяжелым. Но теперь, когда они внезапно узнали, что во главе их стоит ненавистное им «княжеское отродье», в них, собственно говоря, и на большую дорогу-то вышедших ради бессознательного протеста против неистовавшей и измывавшейся над угнетенным народом знати, закипела, разом проснувшись, ненависть; забыто было все прошлое, они в эти мгновения жили только одною ненавистью и жаждали крови человека, которому за миг до того повиновались беспрекословно.

Теперь эти обезумевшие люди готовы были в клочки разорвать своего грозного атамана. Он сразу потерял над ними всю свою власть, все свое влияние и из недавнего еще владыки обратился в беспомощного, загнанного зверя.

Атаман понимал и сам свое положение. Оно действительно было критическим. Из огнестрельного оружия, которым только и можно было сдерживать наступающую толпу, у него остался только пистолет. Правда, у него была сабля — засапожный нож он кинул своему пленнику, — но что все это значило перед хорошо вооруженной

толпой, у которой были и пищали, и пистолеты, и сабли, и тяжелые топоры-секиры?

Наступавшая толпа галдела, ревела, бесновалась. Взлохмаченные волосы, дико сверкавшие глаза, рубахи с еще не просохшей кровью, — все это сливалось перед атаманом в одно хаотичное целое. Казалось, на него наступала не толпа его соучастников в разбоях и злодействах, а какое-то диковинное, многоголовое чудовище, освирепевшее, не знавшее пощады, жаждавшее его крови.

В таком положении атаман забыл о своем пленнике. Он видел перед собою только ревущую толпу и понимал, что лишь хладнокровие и присутствие духа могут спасти его.

— Прочь, вы, песьи дети! — закричал он, поднимая оставшийся заряженным пистолет. — Прочь, вам говорят, волки бешеные! Первого убью, кто только шаг ступит...

Вид поднятого пистолета заставил толпу отступить назад шага на два.

— А, трусите, висельники окаянные? — закричал атаман. — Живо по местам все!..

Но на этот раз окрик не подействовал.

— Усь его, усь собаку, — так и юлил пьяненький стрелец, натравливая разбойников на атамана. — Чего, братцы, стали?.. или вы, холопы несчастные, князя испугались?.. Вот он вам сейчас батожья горячего всыплет... Или давно, атаманы-молодцы, этого кушанья не пробовали?..

Стрелец суетился впереди всех. У него в руках был разряженный пистолет атамана, который тот бросил, кинувшись к своему пленнику. Пьяненький размахивал им и, указывая на атамана, выкрикивал:

— Айда! Усь его, чего стали!

Его ирония подстрекающе действовала на разъяренную толпу. Грозный предводитель шайки решительно ничего не представлял собою для этого чужака; он отнюдь не был для него грозою, и этот пьяница своими насмешками вконец разрушил остатки обаяния атамана.

— Подержи-ка лоб, негодник! — крикнул тот, оценив положение, и с этими словами направил на стрельца пистолет, дернув за собачку.

Но судьба не благоприятствовала атаману. Последовала осечка, и толпа так и завывала, увидав новую неудачу своего противника.

— Ишь ты, без пороху палить вздумал! — закричал стрелец. — А еще князь именитый!.. Моего лба хотел, свой подержи! Вот так! — И он, схватив за дуло, метнул в атамана его же пистолетом.

Тот схватился было за саблю, но в этот же момент пистолет, кувырнувшись неуклюже в воздухе, угодил ему своей тяжелой рукоятью в голову около виска. Атаман слабо вскрикнул, взметнул руками и, оглушенный страшным ударом, рухнул на землю.

НЕЖДАНАЯ ВЫРУЧКА

Все это было делом одного мгновения.

Едва только упал сраженный атаман, как вся толпа разбойников, стремительно сбив с ног неугомонного стрельца, кинулась к своему еще недавнему повелителю. Теперь-то, казалось, гибель этого человека была неизбежна, но тут случилось нечто неожиданное.

— Не трожь, ребята, говорю! — раздался ровный, спокойный голос и своей неожиданностью и спокойствием произвел на толпу магическое впечатление. — Посторонитесь-ка, братцы, поотодвинься малость!..

Перед толпой, выпрямившись во весь свой богатырский рост, стоял недавний пленник, приказчик разгромленного обоза. Его вид был необыкновенно внушителен. Он был на голову выше всех в этом разбойном скопище; в плечах у него что косая сажень была заложена, руки, длинные и цепкие, спускались до колен, а грудь так и подымалась колесом под изорванной в клочья рубахою. Он стоял спокойно около лежащего на земле без чувств атамана. Ярость освирепевшей толпы, очевидно, нисколько не пугала его. Он не боялся ее, как будто сознавая свое превосходство над всеми этими людьми, которые были более несчастны, чем злы. К тому же теперь он был не совсем безоружен: в его руках был огромный, толстый суковатый кол, на который он совершенно спокойно опирался.

Толпа, ошеломленная неожиданным заступничеством за свою жертву, на мгновение приостановилась.

— Что стали? — крикнул кто-то из разбойников. — Забить их обоих!.. Вали, молодцы!

Повинуясь этому оклику, разбойники, но далеко уже не так дружно, как прежде, двинулись было вперед.

— Ну, ну, молодцы, — прикрикнул на них пленник, — полегче вы!.. Говорю, лучше отодвинься!

Он слегка пошевелил колом, и в этом движении было столько угрожающего, что толпа и в самом деле несколько поотодвинулась.

Внезапно вспыхнувшее бешеное озлобление так же быстро и опало, как вдруг вспыхнуло. Сознание просветлело, вернулась снова способность соображать и рассуждать, буйный порыв стих, и уже никому не хотелось подставлять свою голову под страшную палицу освободившегося пленника, силу которого все видели, а некоторые и на себе извели.

— Ну вот так-то и лучше, братцы! — с добродушной усмешкой проговорил великан. — Кажись, мы и без драки сговориться можем. Так вот вы и послушайте меня...

— Говори! — раздалось несколько голосов. — Ежели хорошее что скажешь, так отчего и не послушать?

— Вот и ладно! — отозвался недавний пленник. — Так вот что я сказать вам хочу. То что на большой дороге было, а потом в

овраге, пусть Бог рассудит. Его святая воля! Ежели Он попустил, так, значит, было надобно... Он с виноватых взыскивает, и не нам против Него идти. А вот что теперь будет, так это — уж наше дело. Этого человека я вам не уступлю: он мой уже давно... Старые счета между нами, бо-ольшие счета! Ежели, к примеру, так сказать, я из него кровь по единой малой капельке всю выточу, так и то он у меня в долгу останется.

— Ого! — воскликнул кто-то из разбойников.

— Вот тебе и ого, — отозвался богатырь. — Понимаете сами, почему я вам его уступить не могу... Да и на что он вам нужен? Ведь после того, что вышло, атаманом над вами он быть не может — друг другу верить ни в чем не будете, а ежели вы убить его желаете, так бросьте! Не надоело вам, что ли, душегубство? Вы его мне отдайте, вот мой сказ. Согласны?

— А что нам за это будет? — выступил, подбоченившись, очухавшийся стрелец.

Великан посмотрел на него, засмеялся, а затем сказал:

— Чудишь, Ермил, брось смешить! А вы, братцы, ежели про выкуп меня спросите, то вам я, так и быть, отвечу. Головы ваши у вас на плечах уцелеют, вот это и будет вам моим выкупом. А вы мне коня дадите еще...

Он опять, словно невзначай, передернул плечами и шевельнул колом. И слова, и жест показались настолько внушительны, что разбойники, переглянувшись только, все разом пришли к молчаливому соглашению.

— Ну, Бог с тобой, добрый молодец! Пусть наш атаман тебе достается: бери себе, что нам негоже! Хоть вот здесь, в овраге, свои счета с ним своди, мешать не станем...

— Нет, уж я лучше на стороне, — уклонился от этого предложения недавний пленник.

— Твое дело! Мы с тебя воли не снимаем. Бери его и уходи, коня тебе сейчас приведут. А что он — в самом деле князь?

— Природный! — усмехнулся богатырь. — С чего он в разбой пошел, того не ведаю, а только разбойником... да чего там разбойником! — зверем лютым он всегда был...

— Оно и видно! — раздались голоса. — И с нами он больше лютовал, чем промышлял...

— Ну, бери его, князя твоего, бери да уходи скорее! — закричал Ермил. — А не то товарищи свою милость назад возьмут... Вот тебе конь!

В самом деле подвели хорошего скакуна с ладно снаряженным седлом.

Богатырь, как перышко, поднял тело все еще бесчувственного атамана и вместе с ним взобрался на коня.

— Эх, Ермил, Ермил, — укоризненно покачал он головой, — обращаясь к стрельцу: нехорошо ты делаешь, что здесь остаешься!

— Ладно, добрая душа, — выкрикнул тот, — не тебе знать, что для меня хорошо, что дурно! Поезжай-ка с Богом! — И с этими

словами стрелец, превратившийся в разбойника, вытянул коня хвостом и гикнул.

Испуганное животное рванулось с места и понеслось к дороге, вившейся по круче оврага.

Скоро становище разбойников скрылось уже из виду.

V

В ЛЕСУ

Конь был ходкий, привычный к грузу и бойко нес свою двойную ношу.

Богатырь, один устранивший своею решимостью столько отпетых злодеев, был с виду по-прежнему спокоен; тревога только тогда начинала скользить в его зоре, когда он взглядывал на своего бесчувственного пленника. Страшный удар рукоятью тяжелого пистолета не разбил ему головы, по крайней мере крови не было видно, но все-таки удар был так тяжел, что надолго лишил атамана сознания.

Однако тряска, неудобство положения на седле, свежесть надвигавшегося вечера уже понемногу приводили беднягу в себя. Все чаще и чаще раздавались его слабые стоны, и был близок момент, когда он должен был окончательно опомниться.

Спасший его богатырь, слыша вздохи и стоны эти, то и дело покачивал головой. Видимо он сильно беспокоился за него. Наконец он решительно остановил коня и, осторожно придерживая недавнего атамана, сошел вместе с ним на землю. Они в это время были в лесу, уже значительно поредевшем, что показывало на близкий конец его. Может быть, именно из-за этого и остановился здесь освободившийся пленник.

«Поправить бы его малость нужно, — тихо прошептал он, укладывая беднягу-атамана поудобнее у подножия большого, широко раскинувшегося своими ветвями дерева. — Эх, и людям показать нельзя... Признают, кто он, — в клочки разорвут... И куда бы мне укрыть его, вот чего не ведаю. Везде боязно оставить!»

Как раз в это мгновение атаман пришел в себя. Быстро, нервным движением поднялся он на руках и осмотрелся мутным взором налитых кровью глаз.

— Где они, где? — закричал он, не узнавая местности. — От чего их нет?.. А-а, вы меня убить захотели?.. Вот я вас!.. Всех перебью, будут помнить, окаянные!

— Будь, князь, спокоен, — склонился над ним спасший его силач, — кроме меня, никого нет... Твои-то все ау, далеко!

Князь-атаман устремил на него свой воспаленный взгляд и забормотал:

— Это ты, Петька, опять ты! Откуда ты появился? Ах да, помню... Ты опять спас меня от неминуемой смерти...

— Видно, так мне уж на роду, князь Василий Лукич, написано, чтобы тебя вызволять! — тряхнул головой великан. — Из-

под медведя я тебя выцарапал, от самого себя спас, из польской неволи высвободил, вот теперь опять привелось... Да что об этом говорить-то?.. Надо думать, что Господь мне так повелел свои счета с тобою сводить. А дюже твои-то на тебя осерчали. Видно, осточертел ты им...

По лицу князя пробежала судорога, но он ничего не сказал в ответ.

— Вот не думал-то, — продолжал Петр, — что встречу среди разбойного сброда именитого своего князя Агадар-Ковранского... И как только это случиться могло? Ума совсем не приложу... Хотя ты мне скажи... А не хочешь — не говори; знаю — нелегко про такие-то дела рассказывать...

Он опять взглянул в лицо князя. Оно было мертвенно бледно, глаза широко раскрыты, но в них не отражалось мысли; губы шевелились, как будто князь хотел что-то говорить, но слова не шли с его уст.

— Ахти, беда, — опять закачал головою Петр, — вишь ты, снова обеспамятовал... Ох грехи, грехи! Что же мне теперь с ним делать?

Он остановился и осмотрелся вокруг. Разбойничий конь, припрыгивая к подобным остановкам, спокойно пасся тут же на лужайке поблизости. В лесу все было тихо. Близился вечер. Даже птицы переставали чирикать.

«Опять обеспамятовал, — думал Петр, — может, огневица начинается... Куда его девать? На село свезти? Нельзя, ведь знают его... видели атамана-то... Озlobятся и, поди, убьют, как увидят, а не убьют, так воеводе выдадут. Далеко завезти тоже нельзя: больного, куда повезешь? И выходит: куда ни кинь, все клин! Что делать? Хотя бы Господь-батюшка на ум навел; у Него, Всемилостивца, и к зверям всяческая жалость есть... Чу, откуда это?»

Петруха весь так и насторожился, напряженно прислушиваясь к доносившимся откуда-то издалека странным, нестройным звукам. Слышалось, как будто кто-то дробно, часто ударял палками в большой железный свободно висевший лист. Удары были то глухие, сильные, с перерывами, то переходили в дробь, так и сыпавшуюся в лесном безмолвии.

Услыхав эти звуки, Петр весь так и просветлел.

— Милостив, видно, Господь к нечестивцу, — тоном глубокого убеждения проговорил он, — в било бьют, святая обитель близко...

Он подошел к князю. Тот лежал и бредил.

— Ясочка моя, касаточка! — довольно внятно срывалось с его запекшихся губ. — И счастливо пожить-то тебе злые люди не дали... Извели тебя вороги окаянные. Милославские лютые... У-ух, расплачусь же я за твой венец мученический с палачами твоими... Нет той муки, которой бы я для них не придумал...

— Все царицу покойную Агафью Семеновну вспоминает, — тихо, с грустью проговорил Петр, — за нее Милославским отмщать собирается... Поди, он ее один и помнит. Хотя много ли годков с ее

мученической кончины-то прошло? Эй, князь Василий, — потряс он за плечо бредившего, — послушай-ка ты меня. Можешь подняться да на коня сесть?

VI

У ВРАТ ОБИТЕЛИ

Силы и сознание совершенно оставили князя Василия.

Несомненно, что потрясение было настолько сильно, что даже могучий организм этого человека не мог с ним справиться. С величайшим трудом взгромоздил Петр князя на коня, а сам пошел рядом, поддерживая его. Шел он на звуки монастырского била, доносившиеся с каждым шагом коня вперед все явственнее и явственнее.

Так с величайшим трудом пришлось пройти, продираясь сквозь кустарники, несколько больше версты.

Монастырек, маленький и бедный, ютился на обширной поляне с большим лесным озерком. Плохо срубленная оградка сильно обветшала. Из-за нее виднелись крохотные, топорной работы главки убогой монастырской церкви и соломенные крыши столь же убогих келий-изб.

Вся обителька была миниатюрная, словно игрушечная. От нее веяло великим покоем; жизнь с ее бурями и вихрями не добиралась сюда, в эту безмолвную тишь. Озеро тоже было спокойно; оно словно спало невозмутимо среди лесных великанов — елей и сосен, росших по его берегам и защищавших его спокойствие от бурных шквалов налетающих иногда ветров.

— Господи Иисусе Христе, — ударив молотком, начал было Петр обычное монастырское обращение, когда добрался до плохо притворенной калитки в ограде, но даже и докончить не успел его.

— Ась, кто там? — послышался старческий шамкающий голос. — Кого еще Господь-батюшка несет? — И словно из-под земли вырос старенький-престаренький монашек-привратник. — Ох, ох, что за люди, — шамкал он, — откуда такие?

— Путники, — ответил Петр, — двое нас... Вот товарищ неожиданно заболел... Примите Христа ради...

— Заболел? Ахти, беда какая! — засуетился монашек. — С чего же с ним приключилось-то такое? Вы уж подождите здесь Бога для, а я к отцу игумену сбегая... Недолго я, единым духом смахаю... Вон и братия собралась... Тоже хоть и ангельского жития, а любопытствуют...

Действительно, внезапный стук Петра в калитку нарушил обычную тишину и всколыхнул замершую в обители жизнь. Появление новых людей было столь необычно для ушедших навсегда от мира стариков, что и в них заговорило уже давно забытое любопытство. Собралась вся братия: несколько древних монастырских мохом обросших от своей древности иноков да два-три послушника помоло-

же. Все они стояли и, не говоря ни слова, смотрели на прибывших, как на какое-то невиданное чудо.

— Ишь ты, конь-то как разубран! — произнес один из стариков и, сильно вздохнул, зачем-то прибавил: — О-ох, суета сует и суета всяческая!.. Марфо, Марфо, пещешся о мнозем... а ад-то вот тут совсем близко; костры горят, котлы кипят, враги рода человеческого ликують... Что тебе, милый? — прерывая свои рассуждения, обернулся он к склонившемуся к его уху молодому послушнику.

— Откеле бредете? — деловито спросил другой старичок.

Петр не успел ответить: к ним подошел сам настоятель обители, такой же старичок, как и остальные, но только более суровый с вида. Он пристально взглянул и на Петра, и на снятого уже с седла князя, находившегося в забытьи.

— Кто такие? — отрывисто спросил он, когда Петр метнул ему земной поклон и подошел после того под благословение. — Чем недужит? — указал он на больного.

— В дороге попритчилось, — не отвечая на первый вопрос, сказал Петр, — трясовица, видно, злая... Приютите, святые отцы, Христа ради, не дайте погибнуть душе христианской без покаяния!..

— Как, отцы, думаете? — оглядел братию настоятель. — Помоему, недужного надобно приютить...

— Приютить-то недолго, — выступил инок, шептавшийся с послушником, — отчего Христа ради недужного не приютить? Да как бы святой обители от того беды и греха не вышло?

— Какой беды? Какого греха? — уставился на него настоятель. — О чем, отец, говоришь-то?

— А о том, отец игумен, — ответил старец, — что не простой человек недужный-то, а лихой: душегуб и разбойный атаман, вот кто он такой... Слыхали, поди, шайка разбойных людей в нашей округе завелась? Так вот он над той лютой шайкой и атаманствует!

Сперва словно тихий шелест пошел среди безмолвствовавшей братии, но потом привычка взяла свое и все замолкли.

Настоятель внимательно поглядел на Петра и суровым тоном спросил:

— Правда?

— Правда, отче! — твердо ответил тот, смотря своим светлым взором в глаза монаху. — Лгать не буду!

— То-то ты и увильнул, когда я спрашивал, кто вы такие будете... Сам-то ты тоже из душегубов большедорожных?

— Нет, отче, — твердо ответил Петр, — никогда разбойными делами не занимался и, пока Господь не попустит, заниматься не буду...

— Так как же вы вместе очутились-то?

В ответ на это Петр рассказал все, что случилось с обозом, к которому он принадлежал, а потом среди разбойников.

— Никогда я не лгал, — закончил он свой рассказ, — и теперь правду говорю. Грешник он великий, не одно только атаманство у

него на душе... Много грехов у него, да ведь нельзя же дать погибнуть и такой душе без покаяния...

— Верно! — произнес настоятель. — Ну, отцы, как? Вы слышали...

— Нельзя принимать! — высказался все тот же старец, который первый заговорил против принятия недужного.

Остальные молчали, видимо, присоединяясь к уже высказанному мнению.

— Стыдитесь, отцы! — громко воскликнул настоятель. — Не узнаю я вас... Судите вы человека по делам его, которых и не знаете даже... Богу единому суд: «Мне отмщение и Я воздам», — говорит Господь!

VII В ОБИТЕЛИ

Старичок-настоятель был взволнован и казался в то же время сильно разгневанным. Он смотрел, переводя взоры, то на больного, беспамятного разбойника, то на Петра, стоявшего около него с понуренной головой, то на смущенную его упреком братию. Наконец он заговорил резко, властно, внушительно.

— Данной мне от Бога властью, — громко, отчетливо, повышая каждое слово, начал он, — беру я этого неведомого человека, лютой болезнью одержимого, в святую обитель нашу. Неисповедимы пути Промысла, и не нам — грешным, слабым людям — проникать в них! Не нам судить ближнего — пусть его Господь судит; перед лицом Господним все грехи человеческие... А тебе, отец Харлампий, — обратился он к старцу, указавшему, кто такой был недужный, — суетой мира прельщенному и Христа Бога нашего позабывшему...

— Прости, отец, — склонился перед ним старец, — ангел, должно полагать, от меня отступился и лукавый посетил...

— погоди, помолчи! — прервал его настоятель. — Тебе, говорю, суетою мира прельщенному, послушание назначаю: возьми недужного к себе в келью и ходи за ним, пока не выздоровеет он. Ходи прилежно, без доуки, ты к тому же от Господа в понимании трав и кореньев лечебных умудрен... Вот твое послушание!

Провинившийся старец смиренно поклонился настоятелю и, указывая молодым послушникам на беспамятного князя-разбойника, сказал:

— Помогите-ка, мне, недостойному, милые! Немошна плоть моя, сила оставила тело мое. Понесите-ка его, милые, в келейку мою... — Он снова поклонился в пояс настоятелю и добавил: — Согрешил я, отче, согрешил, окаянный; прости ты меня, немощей моих ради!..

— Бог простит, — сухо ответил настоятель, — иди и впредь не греши! — Он внимательно последил, как послушники подняли не-

дужного разбойника и понесли его к одной из изобок-келий, а затем распорядился: — Коня-то выводите, напоите, овса задайте, Божья тварь! А ты, молодец, — обратился он к Петру, — иди за мной!

Скоро в обители наступила прежняя, ничем не нарушаемая тишина. Словно в сон глубокий погрузились и люди, и лес, и тихое озерко. Только по далекому небу плыли вечерние облака, гася последние отблески уже давно выступившего заката.

Наутро, чем свет, Петр был отпущен игуменом. Долго длилась накануне его тихая беседа со строгим настоятелем и все, все без утайки рассказал он старцу — и про себя, и про князя Василия Лукича Агадар-Ковранского, и про его горемычную жизнь. Этот рассказ не был покаянною исповедью, но был так же правдив, как она. И внимательно слушал старик-игумен, чувствуя, что искренни были слова этого простодушного богатыря, что в рассказе ничего он не пытался скрывать от своего сурового слушателя.

«Прост, как дитя, парень, — вздыхая, думал старик, — христиански незлобиво его сердце; как младенец он, а такие-то и Господу угодны»...

Отпуская, он благословил Петра и даже просфору ему дал, собственноручно вынутую.

Жизнь опять замерла в обители после отъезда Петра. Изредка бороздил челнок инок-рыболова гладь тихого лесного озерка, а то не было видно по целым дням никого ни у ограды обители, ни на ее тесном дворе. Только рано по утрам да под вечер созывал монах-звонарь ударами в било братию на молитву в убогий храм.

Но жизнь замерла только во внешности... Мощно ворвалась она бурным потоком в тихую обитель, разлилась по ней всюду, вплеснула в каждое сердце человеческое и нарушила его недавнее спокойствие. То и дело у келейки отца Харлампия, словно невзначай, сталкивались молодые парни- послушники, перекидывались будто мимоходом двумя-тремя словами и разбегались, как разлетаются испуганные воробьи в разные стороны, заведя приближавшегося старца.

Молодыми послушниками руководило любопытство; оно же беспокоило и отживших свой век старцев.

Легендарна была известность грозного атамана разбойников. Рассказы о его жестокостях приводили в трепет людские сердца. Сколько людей проклинали его, об этом только Бог один всеведущий знал, сколько человеческих жизней тяготило душу этого отверженца. И вот он, этот страшный человек, этот беспощадный душегуб, лежал в стенах мирной обители, в приюте великой Христовой любви, среди людей, давно уже позабывших, что такое ненависть. Старик-инок, высказавший ему неприязнь, ухаживал за ним как самый близкий ему человек.

Отец Харламгий оказался и в самом деле искусным врачом. От его снадобий князь-разбойник скоро почувствовал облегчение. Дня через три он пришел в себя, и только необычная слабость

приковывала его к ложу. Сначала он долго не мог сообразить, где он, что с ним, кто такой этот старик, почему он то молится у плохоньких иконок, то возится около него, разбойника. Не раз разбойничьему атаману делалось смешно, когда он видел, как, слышав его стон, вскакивал прикорнувший было старик, как он спешил подать ему питье, ласково приговаривая:

— Господь с тобою, родимый, спи спокойно!.. Да хранят твой сон святые ангелы!..

Скоро князь-разбойник сообразил, где он и что с ним.

«А, пустосвяты проклятые, мироеды черные! — вдруг вспыхнула в нем злоба. — Вылечат скорее, чтобы здорового воеводе выдать да жалованье получить... Знаю я их...»

Ни с того ни с сего беспричинная злоба на оказавших ему добро людей росла и росла...

Однажды инок Харлампий, отправлявший чреду в храме, не нашел в своей изобке больного. Кинулись искать его, не нашли, не было и коня. Князь-разбойник, едва оправившись, бежал из обители.

VIII

НА СВОБОДЕ

Действительно, князь-разбойник бежал, как только подорванные болезнью силы несколько вернулись к нему.

Основою всего его духовного существа была ярая, непримиримая злоба ко всем — и к друзьям, и к недругам. Был единственный в жизни момент, когда в этой мрачной, вечно бушевавшей душе всколыхнулась любовь, но это был только луч солнца, скользнувший случайно во мраке полярной ночи: скользнул, засветился на миг — и опять нет его, и снова крошечная тьма...

Однако этот единственный светлый луч, которым князь Василий Лукич Агадар-Ковранский был обязан своей любви к Ганночке Грушецкой, потом царице Агафье Семеновне, навсегда остался памятен ему, и воспоминание о нем ярко горело в его омраченной душе.

В неистовствах, в душегубстве, в кровопролитиях князь Василий утешал свою злобу на жизнь, но связь с жизнью еще сохранялась, пока он не знал, что царица Агафья Семеновна скончалась. Вслед за нею скончался и сыночек ее, царевич Илья, а вскоре преставился и царь Федор, вынужденный жениться вторично на воспитаннице боярина Матвеева Марфе Матвеевне Апраксиной. Видно, не вынес молодой государь тоски по любимой женщине и не приковала его к жизни другая, молодая и красивая, но не любимая жена...

Когда князь Василий узнал о кончине царя Федора, понял он, что значит истинная любовь, и, поняв это, разбушевался еще более. Слова пьяного стрельца Ермилы разбредили душевную рану, и, когда, выздоравливая, он вспомнил все происшедшее в овраге, злоба сильнее, чем прежде, забушевала в его сердце.

«Милославские, Милославские сгубили ее, голубицу чистую!» — всплыла опять мысль, не раз уже приходившая князю в голову и ранее.

Эта мысль была первой, которая пришла ему, когда он услышал о кончине кроткой царицы. Она так и сверлила его мозг, не давала ему покоя, и кричала ему о мести за погубленную жизнь любимой женщины.

Именно эта мысль о мести более всего и побудила его тайком покинуть тихую обитель.

Князь Василий страшился расспросов, которые были неизбежны со стороны иноков. Он боялся, что его начнут упрекать его полной кровавых дел жизнью, стращать геенною огненной и всякими адскими муками. Князь знал, что ему в этом случае не сдержаться, что он вспылит, а между тем какое-то чувство, таившееся в глубине души, не позволяло ему обидеть чем-либо этих так хорошо относившихся к нему стариков.

Поэтому-то он и решил тайно покинуть обитель.

Словно волк, вырвавшийся из западни, чувствовал себя князь Василий, очутившись на свободе. Даже сил как будто прибавилось. Он гнал коня, немилосердно хлеща его бедра тугой, с проволокой, плетью: князю хотелось мчаться, лететь быстрее ветра, причем хотелось не потому, что он боялся, а потому, что ему нравилось так мчаться и вдыхать полной грудью свежий воздух, бодривший его в эти мгновения.

Куда нужно держать путь, князь Василий не разбирал. Ему было все равно, — он не думал о будущем, а о прошедшем также не вспоминал, словно его и не было. Порой ему было даже весело.

Уставший конь пошел тише и тише. Князь Василий сообразил, что животное нужно беречь, — ведь другого такого коня ему не достать бы теперь скоро. Раздумывая, как быть, он припомнил, что поблизости от проселка, по которому он ехал, на большой дороге есть заезжий дом, хозяин которого косвенно принадлежал к его шайке.

«Поеду туда, — беспечно решил Агадар-Ковранский, — не посмеет не принять меня».

В самом деле весть о распаде шайки и бегстве атамана, по-видимому, еще не успела дойти в эти места. Хозяин-дворник встретил атамана с подобострастием, и чуть не в ноги ему кланялся, когда тот отдавал распоряжения выводить и накормить коня, а себе подать заморских вин побольше да бокал пообъемистее, а ко всему этому и снеди всякой: после долгой поездки князь Василий чувствовал и голод, и жажду, и утомление немалые.

Насытившись и со слегка кружившейся головой, князь Василий приказал себе застлать постель в соседнем покое, строго запретил чем-либо беспокоить его и скоро заснул богатырским сном.

Когда он проснулся, было уже темно, но сквозь дверную щель из соседнего покоя проникали тонкие полоски света. Оттуда же доносились сдержанные голоса. Там, очевидно, были люди, и, прежде чем подать знак о своем пробуждении, Агадар-Ковранский

решил узнать, кто это такие. Это предписывал ему инстинкт самосохранения. Дорога была большая, проезжая, вела на Москву. Всякого люду было по временам много, — могли быть и ратные люди, и люди от воеводы, а и тех, и других князю Василию приходилось не на шутку опасаться.

Руководясь этими соображениями, князь Василий встал, стараясь не делать шума, подошел к двери и через ее расщелину заглянул в соседнюю горницу.

Заглянув, он вдруг отшатнулся, словно в испуге:

«Уж не наваждение ли? Зачем его сюда понесло? Не обознался ли я?...»

Он снова примкнул к дверной расщелине и после небольшого промежутка, отходя от нее, прошептал:

«Да, это — он... Тараруй проклятый. Милославских прихвостень...»

IX

ТАИНСТВЕННАЯ БЕСЕДА

В покое, куда заглянул князь Василий, были два старика и один молодой еще человек с бледными, испитым лицом.

Один из стариков был одет, не то чтобы бедно, но просто, зато на другом было богатое дорожное одеяние.

Этот старик был дорожен собою и весьма важен на вид. Его лицо было могуче-красиво (даже седина красила его), но страсти и беспутная жизнь наложили на него свой заметный отпечаток.

Молодой человек был очень похож на старика, так что без ошибки можно было бы сказать, что это — отец и сын...

Так оно и было.

Старик был знаменитый воевода царя Алексея Михайловича, победитель шведского полководца Магнуса де ла Гарди под Гдовом, сперва могилевский, потом псковский и затем новгородский воевода, князь Иван Андреевич Хованский, стрелецкий воевода, заставивший царевну Софью и Милославских под угрозой бунта провозгласить братьев-царевичей, Ивана и Петра Алексеевичей, царями. Буйные московские стрельцы чувствовали на себе его железную руку, но обожали, благодаря его щедрости, а главное — потворству их всяческим бесчинствам.

За своего «стрелецкого батьку-Тараруя» — таково было прозвище Хованского — они всегда готовы были идти в огонь и воду, и такая преданность бесшабашных стрелецких голов делала князя Ивана Андреевича могущественнейшим человеком в Москве. Милославские пресмыкались перед ним, царевна-правительница всегда ощущала невольный трепет, когда видела близко от себя Тараруя.

Молодой человек был сын стрелецкого батьки, князь Андрей Иванович, променявший не совсем удачную военную карьеру на поприще юриста, — в это время он как раз ведал судный приказ.

Третьего из собеседников — старика — князь Агадар-Ковранский не знал, но, несколько прислушавшись, безошибочно угадал в нем раскольника. Да и кому же было столь близко и запросто быть около гордеца-князя? Ведь все его могущество было основано только на поддержке стрельцов да раскольников! Первые давали ему могущество в Москве, вторые — во всем Московском государстве.

Беседа велась между двумя стариками и, как это мог понять князь Василий, имела весьма серьезное значение.

Князь Хованский даже как будто заискивал перед раскольников.

— Ты сам посуди, — произнес он, — шатается святоотеческая вера...

— Именно, — подтвердил раскольник, — с Тишайшего пошло! Конца краю нет всяческим новшествам. Чего уж лучше: зелье табачное дымить в открытую стали...

— Вот и я то же говорю, — подтвердил его мнение Хованский, — крепка наша Русь православная староотеческими преданиями и всякое проклятое чужеземное новшество только умалает их...

— Вот-вот, — зашамкал старик-раскольник беззубым ртом. — Новшества, одни только новшества. Вот много ли побывала на престоле около царя проклятая еретичка, царица-полячка, а чего она только нашему государству не нанесла? Ведь подумать страшно! Московские люди, с царского попущения, стали богоподобный вид терять — бороду обстригать и волосы на голове тоже.

— А это царское повеление, — презрительно проговорил князь Иван Андреевич, — чтобы беглые с ратного поля люди бабьи охабни перестали носить? Ведь это одно каково было! Каким устрашением действовало!.. Вот хоть, к примеру, сказать о моих стрельцах-сорванцах: как гиль заводить или смуту там, так они первые были, а как на поле ратном, так сейчас и пятки показывают. Только и страха было, что бабьи охабни в мирное время вместо человеческих кафтанов. Этого и боялись. А как отменил это царь, так и справа не стало, отмену же свою сделал по жены своей полячки настоянию.

Князь Иван Андреевич прекрасно знал, что царица Агафья Семеновна никогда полячкой не была, знал он и ее отца, Семена Грушецкого, не раз даже пировал с ним, когда был псковским воеводою, но тем не менее считал нужным вторить своему собеседнику.

А тот так и сыпал нападка на умершую уже царицу.

— Да-да! — с жаром продолжал он. — Ведь эдакое дело еретичка мерзкая завела! Святые иконы, словно иконоборчиха какая, из храмов Божьих повыгнала. Что только ей, окаянной, на том свете будет!..

Хованский усмехнулся. Ему, прирубежному воеводе, были дики такие обвинения. Он был в достаточной степени индифферентен в религиозных вопросах и не находил в распоряжении царя Федора о вынесении икон ничего особенного.

Дело в том, что в то время религия вообще недалеко ушла от идолопоклонства. Следы последнего сохранились во многих обрядах и обычаях. Так, например, был установлен и такой обычай. Каждый мало-мальски значительный прихожанин приносил в свою церковь образ, перед которым одним только и молился и ставил свечи. Другие образа словно не существовали для него, он даже относился к ним с презрением, а его ревность к своему образу доходила до того, что такой прихожанин не позволял никому другому теплить перед своим образом свечи, и не раз бывали случаи, когда из-за таких собственных образов между прихожанами одной и той же церкви происходили весьма великие ссоры, нередко завершавшиеся жестокими драками, а то и кровопролитием. Само собой разумеется, что подобное безобразие в культурном государстве, каким была уже в то время Москва, не было терпимо, и указ царя Федора о вынесении собственных икон и недопущении впредь подобных собственных образов был встречен оставшимися в православии совершенно спокойно; вожди же раскола использовали его, как средство борьбы с новшествующими никонианами.

— В ляхскую веру задумал государь, женясь на полячке, русский народ переводить, — сеяли раскольничьи агитаторы семена смуты. — Пождите, уж то ли будет! Вон уже везде стали сабли да польские кунтуши носить, скоро-скоро поляцкий крыж поставят и ему кланяться прикажут. А все это делает царица-полячка. Хуже, чем богопротивная Маринка Мнишек, она будет. Пойдет опять смута! — подкапывались агитаторы под ненавистную им династию. — Вон богопротивника, безумца Никона, чуть было царь-то на Москву не вызвал. Вот тогда пошло бы мучение...

Х

РАСКОЛЬНИЧИЙ ПОСЛАНЕЦ

Князь Хованский был слишком развитой и умный человек, чтобы серьезно относиться к подобным обвинениям. Он только взглянул мельком на сына. Андрей Иванович сидел, совершенно равнодушно глядя в пространство перед собой ничего не выражавшим взором. Все то, что говорилось здесь, он уже слышал не раз, и ему было скучно при этом совещании, на которое неизвестно зачем позвал его отец.

— Ты как, Андрей, думаешь? — громко спросил его старик, желая, чтобы внимание сына было всецело обращено на его разговор с раскольников. — Слышал ты, поди, что отец Федор-то говорит?

— Слышу-слышу, батюшка, — отозвался молодой Хованский наобум. — Иначе и быть не может. Как вы говорите, так и быть должно.

О том, как быть должно, князь Иван не сказал еще ни слова, но он сейчас же поддержал сына.

— Да-да. Справедливо ты, Андрюша, говоришь! — начал он, поглаживая окладистую бороду. — Пропадет вера православная, ежели некому будет поддержать ее. Где же найти такого, кто бы грудью мог стать за святоотеческие предания? Милославские? Да они только правительницей и держатся. А ей, правительнице, супротив их не пойти, свои они ей: дяди и братья. Да и сама-то она горазд проклятому латинству прилежит. Стала на стезю греховную и пешествует по ней, преисподнего ада не боясь. Есть у нее утешитель, князь Вася Голицын. Ишь ты, ведь тоже!.. Оберегателем его пожаловала она, а за какие такие доблести — неведомо. Вот оба они и вершат все дела. Пропадет из-за них Русь, ежели некому попридержать их будет, ежели хвосты им кто-нибудь не поприжмет...

— Ох верно говоришь, княже, — вздохнул раскольник. — Могучи силы адовы, как и противостоят им, — не знаем. Уж сколько раз отцы совещались, а все знамения не было, как с сим делом быть.

— Теперь же, — продолжал Хованский, не обращая внимания на слова собеседника, — ежели Милославские не годны, то Нарышкиных возьмем; о Стрешневых и говорить не стоит, их все позабыли и никто за ними не пойдет. Нарышкины поослабели сильно и нет у них, кому бы народ верил. Новые они люди, в силу они войти не успели при покойном царе Тишайшем, а теперь-то им уже не подняться — задавили их Милославские. Знаешь, что, старче, я тебе скажу?

— Что, княже? — отозвался раскольник.

— Да вот о Нарышкиных-то. Слабы-то они слабы, попридавлены-то попридавлены, а есть в их роду, кому их поднять и всех нарышкинских врагов в землю захватить. Растет среди них богатырь; в канавах теперь, несмотря на свои малые годы, хмельной валается; сам он от горшка два вершка, а, пожалуй, и нас, стариков, всякому соблазному действию поучит, да, на все это не глядя, огонь дитя: ежели дадут ему вырасти — все сокрушит, все сотрясет, все на иной лад повернет.

— Это ты про антихриста малолетнего, княже, говоришь? — спросил старик-раскольник.

— Эх, — отозвался старик-князь Хованский, — антихрист он там или нет — того не знаю, а про юного царя Петра речь идет моя, так это верно. Вот кто страшнее всех для святоотеческой веры! Вот с кем не побороться будет! Был у нас перед лихолетьем Грозный царь, а ежели этому дать подрасти, так куда он погрознее будет. Как бы блаженной памяти царь Иван Васильевич перед ним сосунком-младенцем не оказался.

Молчавший до того князь Андрей встрепенулся и заговорил:

— Так как же, батюшка, ежели от царя-нарышкинца беды ждать нужно, то неужели же, руки сложа, сидеть, пока он не вырастет и зубов не покажет? Ой, батюшка, не верится — ты уж прости на таком слове! — чтобы на Москве златоверхой человека

не было бы, которому и народ бы верил, и который сам не желал бы горой встать за православную веру и святоотеческие предания. Или уже Русь так оскудела, что только одна мразь на ней осталась? Уж кому бы кому, а не тебе такое говорить! Или позабыл ты, как шведа де ла Гарди под Гдовом уничтожил или ляха Воловича близ Друи поколотил, или такого витязя, как пан полковник Лисовский, в полон взял?.. А потом вспомни, как ты от татар рубеж наш оберегал. Ежели ты по скромности своей о столь славных своих делах позабыл, так не забыл о них народ московский. И каково нам слышать, как ты говоришь, будто на Руси одна только черная мразь осталась. Нет, батюшка, нет! Ты вспомни, что мы, Хованские, от литовского Гедимины через Наремунта Глеба происходим, и шестнадцать наших родов на московском царстве налицо есть, и за каждым-то люди идут. А все Хованские за тобой последуют, куда ты их ни поведешь, потому что верят они тебе. Вот что я скажу. А ты, отец, что? — обратился он к старику-раскольнику.

«Ловко гнут!» — усмехаясь, произнес про себя слышавший всю эту беседу князь Агадар-Ковранский.

XI ТАРАРУЙ

Хотя князь Василий и жил в полном отдалении от Москвы и ее кровавых дел того года, но все-таки слухи о стрелецких бесчинствах доходили и до него. Он знал о кровавой московской гили в мае 1682 года и о том, как Хованский, опираясь на буйных стрельцов, заставил возвести на престол обоих царей — Иоанна и Петра. Знал он и о собеседованиях Никиты Пустосвята, закончившихся для раскольников, которых поддерживал все тот же Хованский, далеко не так, как ожидали они. Теперь он понял, что затевается новая смута и что уже раз оборвавшийся в каких-то своих надеждах князь Иван Андреевич начинает снова «дьяволить», выставляя раскольников вперед для зачатия беспорядков.

Это нисколько не касалось князя Агадара, но тем не менее словно какая-то сила направляла его подслушать эту беседу.

Старик-раскольник ответил не сразу. Очевидно, он хотел пообдумать слова своего ответа, прежде чем произнести их.

— Так, — заговорил он. — И я вот тоже по малоумию своему думаю, что не одна только черная мразь осталась на святой Руси православной, есть кому и постоять за родную землю, всяческими новшествами угнетаемую. Но в то же время думаю, что прав и князь Иван, говоря, что ни на Милославских, ни на Стрешневых, а тем паче на Нарышкиных полагаться нельзя. Но на кого же тогда надеяться нам, от богоотступника Никона угнетенным? Кто может восстановить староотеческую веру и побережь народ православный от растления всяческого, геенну огненную ему готовящего? Где найти мужа доблестного, с душою, в отеческой вере укрепленной?

Кто поведет народ на богопротивных отступников, иконопочитание отметающих и табачных зельем дымящих? За кем может последовать народ? Кто столь могуществен, что может заставить идти за собой и ленивых?

— Да, да, кто? — воскликнул Хованский, в упор смотря на своего собеседника.

Ответ последнего был для него чрезвычайно важен. Это свидание было отнюдь не случайное, и ради него Хованский даже потрудился приехать из Москвы. Старик-раскольник тоже явился сюда уполномоченным от старообрядцев из глубины России. Неудача, постигшая Никиту Пустосвята, на которого так надеялись оставшиеся в старой вере, его казнь, грозный оклик царевны-правительницы на раскольников, которых она со свойственной ей энергией назвала возмутителями перед всем царством, а главное, полное равнодушие народа к догматическим спорам в Грановитой палате, пошатнули дело возвращения к старой — дониконовской — вере, но не образумили вождей раскола. Впрочем, в это же время раскольниковье движение уже выродилось и потеряло прежний свой религиозный характер, которым оно было еще недавно столь сильно. Не стало фанатиков вроде Аввакума, боярыни Морозовой; пошла мелкая акуля стая, для которой смута являлась средством устраивать свои делишки.

Пользовались раскольниковым движением и Милославские, а теперь стремился захватить в свои руки почти всемогущий Хованский. Старик-раскольник прекрасно понимал, что этому старому развратнику, для которого на свете ничего не было святого, совершенно все равно, как будет молиться народ — по-гречески, по-ляхски или по-лютерански. Он прекрасно понимал, куда гнул старый князь, говоря, что нет в Москве людей, и что значили речи его сына, указывавшего только на заслуги своего отца и промолчавшего о том, что князь Иван потерпел страшное поражение около Ляхович в битве с Сапегою и Чернецким и что в следующем после этого году его более чем двадцатитысячный отряд был совершенно уничтожен польским полководцем Жеромским, что и было причиной отозвания Хованского из Пскова и позорного в его положении назначения ведать ямской приказ. Но, слушая эти речи, старик не возражал и не пополнял их, ожидая, не будет ли сказано чего-нибудь такого, что раскрыло бы ему замыслы могущественного интригана. Однако Хованский довольно ловко создал положение, при котором раскольниковий посол так или иначе, а должен был высказаться.

— Ты спрашиваешь кто, княже? — медленно заговорил старик. — Да кто же таким доблестным мужем может быть, кроме тебя?

Тараруй, не в силах сдержать свою радость, усмехнулся. Сказано было то самое слово, которое он уже столько времени выжимал у раскольниковьего посла. Однако он, продолжая играть комедию, произнес:

— Куда уж мне. Вон перестала меня и слушать правительница. Не уберег я главы старца Никиты...

— А скольким ты, батюшка, зато головы спас? Вспомни отца Сергия да садовника Никиту Борисова с товарищами! Разве не тебе они своими головами должны?

— Да, — ответил князь Иван. — Сберег я их, только уж и сам не знаю, как это вышло. Да навлек я тем на себя патриарший гнев. Дюже гневается на меня Иоаким-то, лютым зверем смотрит, когда встречаемся.

— Нет, княже, — перебил его старик, — что скромн ты — это похвально, а только напрасно ты умаляешь свое могущество. Мы-то знаем его, рассказывать о нем не надобно, а потому мы и надеемся на тебя. Послужи же вере отеческой, послужи земле родной, а мы тебя не выдадим. Бог наградит тебя на небе за труды твои, а на земле будешь ты возвеличен перед всеми. Будешь поставлен превыше всех в народе, и в том тебе мое слово порукою. Знаешь ведь, поди: не от себя я говорю, весь народ за тебя встанет, если мы того захотим.

Он пристально смотрел на Тараруя и заметил, что в его глазах отразился некоторый испуг.

И в самом деле, слушая раскольников гонца, стрелецкий батяка тревожно думал: «Неужто пронюхали они, куда гну-то я? Ведь ежели так, то торговаться не мало придется. Столько заломят ока-янные, что хоть все дело брось».

ХII

МЕЧТЫ ТАРАРУЯ

Собеседники-заговорщики повели между собою разговор шепотом.

Князю Агадар-Ковранскому уже наскучило его подслушивание. Когда же в шепоте двух стариков ничего нельзя было разобрать, это дело окончательно потеряло для него всякий интерес, но его словно что удерживало у двери...

Однако князь Хованский и раскольник шептались недолго.

— Вот что, княже милостивый, — полным голосом, громко заговорил раскольников посланец, — видно, пива с тобою не сварить, спорить только. И оттого не сварить, что все-то ты, как лиса, виляешь. Небось знаешь, как лиса от гончих увертывается? В сторону кидается, кружить начинает, след свой замечает. Так вот и ты, хотя никаких гончих нет и в помине. Брось лисить, давай напрямки говорить...

— Тише ты, старче, тише! — заметался испуганный Хованский. — Разве о таких делах громко говорят?

— Некому нас здесь слушать-то! — уже грубо прервал его старик. — А потайно что за беседа по делу важному? С уха на ухо потайность для бабьих сплетен надобна, а не для зрелых мужей, когда они о великих делах говорят. Говорю, брось, пойдем в откры-

тую! Нам, что нужно? Нужно нам, чтобы старая святоотеческая вера над еретическим никонианством восторжествовала. Для чего нужно? А для того чтобы народ в нашем государстве Господу был угоден, чтобы не было двоеверия. Что уж и за народ о двух верах!.. Кто нам в таком деле восстановления отеческой веры помочь может?

— Батюшка! — произнес Андрей Иванович, вставая со скамьи. — Вы уж тут говорите, а я на двор выйду, что-то голова разболелась!

— Что ж, иди, нытик! — неприязненно посмотрел на сына Хованский, недовольный тем, что он перебил речь раскольниковьего посланца, и, когда князь Андрей вышел, обращаясь к тому, сказал: — Ну-ка, ну-ка, говори, что дальше, я послушаю...

— Что бишь? — вернулся к прежней теме старик. — Да, кто нам в нашем деле поможет? Да кто же, как не ты, княже! Ты и удал, и смекалист, и государево дело править знаешь; на тебя и стрельцы чуть не молятся, пойдут они за тобой на любой рожон, как уже не раз ходили. Так, князь Иван Андреевич, али нет?..

— О-ох, уж и не знаю, — вздохнул Тараруй. — Ну, скажем, что так. Что теперь еще скажешь?

— А скажу я теперь вот что, напрямки скажу, без утайки. Все то, что я сказал, ты и без меня и знал, и знаешь, и напредки ты обдумал, из-за чего стараться будешь, если с нами сойдешься.

— А из-за чего? — вызывающе крикнул Тараруй и даже подбоченился при этом. — Из-за чего? Ну-ка скажи!

Раскольников посол пристально посмотрел на него и усмехнулся.

— Мономахову шапку да бармы добывать собрался, ежели не для самого себя, так для сынишки своего Андрюшки, — медленно, вычеканивая слова, произнес он. — Вот из-за чего и старания твои будут.

— Молчи, молчи! — залепетал, отшатнувшись в испуге, Тараруй. — Что ты? с чего взял?..

— Да, ладно, — засмеялся старик-раскольник, — чего уж тут? Видишь, знаем, куда ты метишь. Спервоначалу ты размыслил своего Андрюшку на какой-либо из царевен женить. Много ведь их после Тишайшего осталось!.. Женил бы ты Андрея, а стрельцы горланством своим его на престол посадили бы, и стал бы он, телепень-то твой, царем-государем, а ты — царским отцом, вроде Филарета Никитича. Ну, так или нет? Правду я говорю?

— Так, — чуть слышно ответил Тараруй, подавленный таким разоблачением своих сокровеннейших планов, — не отпираюсь, так...

— Еще бы не так! — усмехнулся старик. — Понадумав такое, ты и о себе вспомнил. Сын-то сыном, да и батька хоть куда. Борода-то у тебя сивая, а хоть сейчас под венец брачный, благо невеста подходящая есть. Думаешь, не знаем кто? Знаем: царевна Софья Алексеевна, правительница-то наша.

— Да что ты, что ты! — сделал Хованский слабую попытку опровергнуть новые разоблачения, бившие его, как обухом по затылку. — Нешто может тако статься, чтобы царевна за меня пошла?..

— Она-то? Ишь, простачок какой! — засмеялся не то злобно, не то дерзко старик. — Да ежели бы только Ваську Голицына изжить — оберегателя-то! — так не в монастырь же ей идти. Она — баба в соку, и такой супруг, как ты, ей совсем под стать. Царей-то малолеток, Ивана и Петра, тоже изжить можно. Что в них проку? Иван — недоумок, а нарышкинец... да ежели он вырастет, сам всем на плечи сядет, сам ты сказал. Пусть поднимется малость, так такие, как ты, ползать перед ним будут...

— Ну уж ты! — огрызнулся Иван Андреевич.

— Чего? — взглянул на него старик. — Дело говорю. Голицына побоку, царей изжить, и станешь царем ты — ты, Тараруй, поляками битый...

Раскольниковый посланец остановился и испытующе смотрел на Хованского. Тот сидел, словно придавленный. Он никак не ожидал, чтобы люди, которых он хотел сделать орудием своих замыслов, уже проникли в его сокровенные мечты.

— Мы, — закончил свою речь старик-раскольник, — от помощи в твоих делах не прочь. Такой, как ты, для нас совсем подходящим на престоле будет. Взыберешься ли ты сам на него, царевым ли отцом станешь, крепко мы тебя в руках держать будем. Так в ежовых рукавицах зажмем, что без нас вздохнуть не сможешь, не только что помыслить. А будет через то, — восторженно выкрикнул старик, — святоотеческой веры восставление!

XIII

НОВАЯ ОПАСНОСТЬ

Все то, что услышал князь Василий, поразило ужасом даже его закаленную душу.

Ведь еще так недавно была кровавая, безобразная смута, устроенная раскольниками, поддержанная буйными стрельцами-преторианцами. Вот этот же самый Тараруй верховодил смутьянами. Сила была на его стороне; что он хотел тогда, то и делал. Теперь поднималась новая смута; снова должно было произойти потрясение государства, и ради чего? Да ради того только, что проклятый Тараруй, пьяница и развратник, возомнил о себе, что он достоин востосе на царский престол.

Последнее сильно задевало Агадар-Ковранского. Между ним и Хованским решительно ничего не было, никакого зла; они даже не знали друг друга. Вряд ли когда Хованский даже слышал о князе Василии, но именно это самое и разжигало злобу в нем против могущественного стрелецкого батьки.

«Постой же ты, Тараруй окаянный! — думал князь. — Вот я покажу тебе, как на царское здоровье злоумышлять!.. Видно, и в самом деле есть Бог, ежели Он меня сюда нанес, и я про все ваши замыслы прознал»...

Он потихоньку, крадучись, отошел от двери. Последние слова, слышанные им, были: «август»... «крестный ход»... «чтобы к новому году все покончено было»...

Злобствуя на Тараруя, князь Василий невольно натолкнулся на мысль, что предстоявшая смута доставит ему полную возможность потешить свою злобу, свою буйную натуру. Он уже решил пойти против Тараруя, сокрушить все его замыслы, разбить все его планы. Как это могло бы удасться ему, князь Василий не знал да пока и не думал об этом. Им владело желание, и он всецело отдавался ему.

Он очутился около окна. Было порядочно темно, но князь уже не раз бывал в этой горенке и прежде; он знал, что за окнами находится конюший двор, а через него можно выбраться и на большую дорогу.

Смело подняв окно, он очутился одним прыжком за подоконником. На дворике все было тихо, изредка доносилось фырканье лошадей в конюшне. Князь Василий осторожно, не производя шума, обогнул надворные строения, подошел к дверце, которая, как он знал, ведет в хозяйские горенки, и только что хотел постучаться, как перед ним вдруг, словно из-под земли, выросли две человеческие фигуры.

— Постой-ка, добрый молодец, — услышал он грубоватый мужской голос, — давно мы за тобой приглядываем, видели, как ты и из окошка выпрыгивал. Дай на тебя поглядеть, что ты за птица такая!

Князь Василий не ожидал этого. Он схватился было за пояс, но свой нож он оставил в покое, где спал, и потому теперь был безоружен, а его противники, которых уже стало пятеро, все, очевидно, были хорошо вооружены.

— Пустите меня! — рванулся он. — Как вы смеете держать меня? Вот я вас...

В ответ ему тихо засмеялись.

— Ну, так и есть. Он самый! — раздались тихие голоса. — Попался-таки. Уж теперь-то не уйдешь!

Легкая дрожь пробежала по всему телу князя. Он по голосам узнал теперь, что перед ним разбойники из его недавней шайки. Искали ли они атамана, или нет, или просто случайно натолкнулись на него, забравшись сюда, на заезжий двор своего сообщника, — этого князь Василий конечно не знал, но по злорадству, какое слышалось в этих голосах, он чувствовал, что ему грозит большая опасность.

— Братцы! — взмолился он, прикидываясь испуганным. — Да что же вы? Да разве я вам зло какое сделал?

— Ага, узнал-таки! — тихо ответили ему. — А о том, что сделал, потом все вместиах поговорим.

— Бери его, ребята! — раздался новый, незнакомый князю-атаману голос. — Еще переполюшит он всех. Бери его!

Князь Василий почувствовал, что ему накинули на голову какую-то большую ткань. Он хотел крикнуть, но его голос был совер-

шенно заглушен. Несколько рук схватило его так крепко, что он не в состоянии был повернуться. Потом его опутали веревками и быстро понесли куда-то. Несли на руках; князь Василий и не думал сопротивляться. В его голове само собою создался смелый план.

А в горнице заезжего двора Тараруй все еще продолжал свою потайную беседу с раскольниковым посланцем.

— Хоть и не думал я никогда того, что ты мне, отче, сейчас изъяснил, — льстиво и вкрадчиво сказал он, — а вижу, что ежели служить святому делу, так до конца служить надобно. Может быть, так-то и лучше выйдет. Ведь и правительница тоже в сторону всяческих новшеств гнет; ненадежна она для отеческой веры, ох как ненадежна! Не столп она ее и даже не подпорка. А ежели нарышкинец вырастет, еще хуже будет. Стало быть, нужно, чтобы был у отеческой веры такой столп, которым она прочно держалась бы.

— Вот ты и будь таким столпом, княже! — поддержал его старик. — Тебе мы верим, хотя и ты — такой столп, что много еще к нему подпорок надобно! Так по рукам, что ли?

— По рукам! — согласился Хованский, лицо которого так и сияло. — Значит, к новолетью и все у нас по-старому будет...

— Давай Бог! Только, чтобы уже на этот раз верно все было, не так, как в прошлый раз. Шума сколько хочешь, а дела ничего. Хованский только улыбнулся.

— А теперь и силы подкрепить можно! — сказал он.

XIV

ДВА БРАТА

В пышных палатах князя Василия Голицына стояла невообразимая толчея. По всем покоям суетились многочисленные слуги, собирая со всех стен роскошные персидские ковры, укутывая иноземную мебель в чехлы, упаковывая в наполненные сеном ящики статуи и различные скульптуры, навезенные из-за рубежа. Похоже было на то, что хозяин этих роскошных, но совсем не на русский лад обставленных палат, собирался надолго в отъезд и брал с собой все то, что ему было так или иначе дорого.

Так оно было и на самом деле. Князь Василий Васильевич Голицын отъезжал из Москвы со всей своей семьей, отъезжал спешно. Никто не знал и не ведал причины этой спешности, но отъезд Голицына задевал интересы многих.

Князь Василий Васильевич был не единственным среди московской знати, жившим уже на иной, близкий к зарубежному, лад. Он, не стесняясь, выставлял те новшества, которые перенял в свою жизнь от Запада. Слуги в его доме были одеты одни по-польски, а другие на парижский лад. На кухне у него были повара, выписанные из Парижа, а так как они готовили куда вкуснее московских поваров, то на интимные пиры к Голицыну любили ездить московские знатные люди, которые были помоложе и для которых отступ-

ление от дедовщины не считалось грехом. Бывали у Голицына и старики, но это стало случаться лишь в последнее время, когда на высоте царского престола очутилась могучая царевна Софья.

Действительно, Голицын собирался в отъезд из Москвы и никто пока не знал, какая его муха на то укусила.

Москва только что успокоилась от раскольниковых и старообрядческих безобразий, унятых не столько вооруженною силой, сколько находчивостью и поистине царским могуществом царевны Софьи. На Красной площади еще стоял стрелецкий столб, напоминавший всем и каждому, что пока стрельцы являются истинными владыками Москвы, а их батька Хованский и самой царевне-правительнице, и даже самим царям, на престол венчаным, указать все, что угодно, может. Конечно, тем, кто был родовит, такое положение далеко не нравилось, могуществом обоих Хованских знать тяготилась и не добром поминала Милославских, которые разожгли эту смуту, и, дав возможность стрельцам почувствовать свое могущество, тем самым вывели на высоту Тараруя и его сына.

Пока в доме шли переполох и суета, князь Василий Васильевич в глубокой задумчивости сидел в своем кабинете у письменного стола, в изобилии обставленного на зарубежный лад всяческими безделушками.

Он был в ту пору еще молод и красив. Его лицо отражало пронизательный ум, глаза смотрели задумчиво и всегда были устремлены вперед, как будто князь Василий был намерен постоянно прозревать будущее. Одет он был тоже не по-московски — в длинный камзол с откидными, закинутыми назад рукавами, и в польские шаровары, красиво заправленные в невысокие расшитые сапоги. Волосы на его голове были коротко острижены, подстрижена была клинчато и борода, так что князь Василий Васильевич по своей внешности ничуть не напоминал знатных москвичей того времени. Если прибавить к этому, что около него стояла трубка с длинным мундштуком, а на столе — светец с фитилем для закуривания, то контраст еще резче кидался в глаза, потому что курение хотя и было распространено, а при покойной царице Агафье Семеновне в дворцовых палатах курили почти все, но после ее кончины, и в особенности после кончины царя Федора новые обычаи были поприпрятаны, чтобы не раздражать стрельцов и раскольников. Только князь Василий Голицын да еще несколько сорвиголов шли наперекор общему положению и нисколько не скрывали своего пристрастия к иноземщине и всяческим зарубежным свечаям.

Князь Василий Васильевич был не один. Против него за тем же столом сидел другой Голицын, князь Борис, его двоюродный брат. Этот Голицын носил старомосковскую одежду, длинноватые волосы, и только по свободному обращению да звучавшей еще более свободно речи можно было заключить, что это — новый человек, столь же новый, как и его брат.

— О-ох, ахти, Васенька, — произнес князь Борис, — с чего это ты наутек собрался? Или новую грозу предвидишь, или с разла-

пушкой своею рассорились? Уж очень ты скороспело вспархиваешь. Смотри, не сядь с небес да в воду!

Князь Василий Васильевич в ответ слабо улынулся и промолвил:

— Полно, брат Борис! О каких ты там небесах говоришь? Не ведаю я того. Было когда-то дело, это — правда, а теперь... что теперь? Все было, да прошло и быльем поросло.

— Ну полно тебе, с чего туман-то напускаешь? Вся Москва знает про твои дела.

— Про какие такие дела? — высокомерно спросил князь Василий Васильевич. — В толк не возьму я, о чем ты говоришь, брат Борис.

— Ну полно, полно!.. Уж разобиделся! — отступил тот назад. — Твое дело! И я тоже забыл, что промеж двоих третьему вступаться нечего, а ежели и начал что говорить, так только потому, что тебя жалею. Ведь подумай: совсем не вовремя ты уезжать собрался. Смута только унялась, стрельцы спокойны, Тараруй хвост поприжал. Теперь такие, как ты, царевне в подмогу ой-ой как нужны! Где она другого такого возьмет. Все около нее медведи Тишайшего да лисы Милославских стоят. Никто ей, голубушке, правды не скажет, всякий на свой лад разумеет и на свою сторону тянет. Ты же один был при ней, который без всякого стеснения мог говорить ей всю правду. И вдруг ты покидаешь ее и уходишь. К чему, зачем? Ведь ты не только ее, но и всех нас покидаешь: пропадай, дескать, вы! Да так и будет. Ты хотя и молод, а для всех нас, Голицыных, и для тех, кто с нами, — голова.

Князь Василий Васильевич опять улынулся и в его улыбке отразились и грусть, и насмешка.

— Эх, брат Борис, — проговорил он, — вот рассуждаешь ты и, думаю, говоришь только то, что сердце ведает. Знаю, что и жалеешь ты меня, и за себя боишься. Но что же поделать, ежели такое время для меня подошло? Вот подумай-ка, каково мне сидеть да глядеть, как другие государыней-царевной промышляют. Что я для нее такое? Забава на время малое, да и только. Ну нравился я ей, говорю тебе о том откровенно, как брату, — а как нравился? — как игрушка, как кукла нравится забавляющемуся дитяти. Понаиграется дитя и бросит, и забыта игрушка. А нешто я могу в таком положении быть? Нешто наша голицынская гордость может допустить это? Так уж лучше, Борисушка, вовремя уйти.

XV

ЛЮБОВЬ ОКОЛО ТРОНА

А как же очутилась на престоле или почти на престоле эта царевна-богатырша, эта могучая дочь «горазд тихого» царя Алексея Михайловича, любимая воспитанница развеселого пиита-мниха Симеона Полоцкого, о которой только что вспомнил князь Василий Васильевич Голицын?

Два-три слова истории отнюдь не помешают общему ходу этого правдивого повествования. Вот они.

Софья Алексеевна по матери была Милославская и сохранила в своем характере многие типические особенности этого молодого рода боярских выскочек, и в знать-то попавших только потому, что интриги боярина Морозова удалили от царя любимую им Акимьюшку Всеволожскую и выдвинули в царские невесты Марью Ильинишну Милославскую. Последняя вскоре стала русской царицей, но была женщиной тихой, незаметной и не оставила по себе совершенно никакого следа, кроме многочисленного потомства.

Сестра Марьи Ильинишны стала боярыней Морозовой, и таким образом Тишайший царь породнился с одним из самых коварных интриганов своего двора.

После смерти царицы Марьи Ильинишны царь Алексей Михайлович женился на мелкопоместной смоленской дворянке Наталье Кирилловне Нарышкиной, и, конечно, в славу вошел род Нарышкиных и затмил было своим влиянием Милославских. Так было до смерти Тишайшего царя, а в начале царствования его сына Федора Милославским снова удалось занять первое место среди дворцовых бояр. После смерти Федора Алексеевича, последовавшей очень скоро вслед за кончиной его юной супруги, Агафьи Семеновны Грушецкой, на царство вступил малолетний царь Петр Алексеевич (1682 г.), и вместе с тем, конечно, опять вошли в честь и славу его родственники Нарышкины. Милославские выдвинули, со своей стороны, царевну Софью и путем дворцовых интриг и народного возмущения, в котором главную роль играли стрельцы — «преславная надворная пехота», — добились того, что вместе с Петром Алексеевичем на царство был возведен его старший слабоумный брат, Иван Алексеевич; при этом вследствие неспособности к какой бы то ни было умственной деятельности царя Иоанна V и малолетства Петра I правление государством было поручено царевне Софье, старшей сестре обоих царей.

Во всем этом деле главную роль сыграли стрельцы, хотя и не довели до конца своего действия.

Милославские были уверены, что в этих кровавых беспорядках, происшедших в мае 1682 года, погибнут все Нарышкины, не исключая даже и малолетнего царя Петра. Но они ошиблись в расчетах. В жертву судьбе был принесен только юный брат царицы Натальи Кирилловны, Иван Кириллович Нарышкин, которого стрельцы выбросили из окон второго этажа дворца на копья стоявших внизу товарищей. Малолеток царь Петр остался невредим, а вместе с тем и Софья Алексеевна, став правительницей и пользуясь неограниченной властью, тоже не оправдала надежд своих «дядьев». Когда вскоре после этого раскольники, пользуясь еще не совсем улегшейся смутой, вздумали было при помощи всех тех же стрельцов вооруженной силой вновь водворить на прежнее место «древлепрепрославленное благочестие», то Софья Алексеевна так обош-

лась с ними, что главный вожак московских раскольников Никита Пустосвят поплатился за свое смутьянство головою, а другие его пособники оказались в таких сибирских дебрях, куда не только птицы не залетали, но даже и политических преступников никогда до того не ссылали.

В то время во главе стрельцов уже стоял князь Иван Андреевич Хованский, известный стрелецкий «батька» Тараруй; но даже и его влияние на стрельцов оказалось ничтожным в сравнении с влиянием могучей красавицы-царевны Софьи, одним своим окликом укрощавшей пьяные ватаги «надворной пехоты».

Однако царевна Софья Алексеевна, несмотря на свой ум, энергию и почти мужскую неукротимость в достижении цели, все-таки была женщиной, и ничто женское ей не было чуждо. Ее женское сердце жаждало любви, и любовь жила в ее сердце. Еще когда она была девочкой-подростком, ей полюбился молодой князь Василий Васильевич Голицын, один из замечательнейших щеголей того времени. Чуть не с детства он изъездил почти все зарубежные государства, бывал и у дождей венецианских, и у дюков итальянских, и в Риме у папы был, и по Священной Римской империи путешествовал; ко всему он там присматривался и все, что видал там хорошего, спешил перенести на свою родину. А юная головка Софьи была уже в то время полна рассказами развеселого мниха Симеона Полоцкого о том, как живут за рубежом. Поэтому немудрено, что красавец Голицын стал идеалом юной царевны. Еще при ее «горазд тихом батюшке» слюбились они, и не раз темные ароматные летние ночи покрывали своей непроницаемой завесой страстные свидания царской дочери и ее красавца-паладина.

У царевны на глазах был печальный пример ее теток, так и оставшихся вековухками-девицами только потому, что они имели несчастье родиться царскими дочерьми. А Софья Алексеевна была не из тех натур, которые безропотно покоряются выпавшей на их долю участи. Она готова была с боя взять то, что принадлежало ей по праву человеческого существования, и взяла: человеческое превозмогло в ней царское. Она любила князя Голицына, даже и очутившись у власти, но эта любовь всегда оставалась тайною. Никогда ни Софья Алексеевна, ни Голицын никому не выставляли ее напоказ, хотя тайные помыслы честолюбивой царевны стремились к тому, чтобы создать такое положение, при котором ее любимец мог бы неразрывно быть связан с нею, царицею земли русской.

Князь Василий Васильевич тоже любил эту пылкую девушку; но он уже был женат, у него были дети, и никогда не тревожили его думы о престоле...

Этот представитель молодой Руси, этот щеголь-западник был честен. Для него существовали идеалы, до которых не доросли в то время многие бояре Большого московского дворца; у него были принципы ненарушимые и, будучи западником, он в то же время был убежденным монархистом и считал, что единственным закон-

ным царем на московском престоле может быть только младший сын Тишайшего царя.

Покончив с историей, возвратимся снова к повествованию.

XVI

ВЕСТОЧКА ОТ МИЛОЙ

На пороге покоя бесшумно появился слуга и стал почтительно, совсем по-иностранному, ждать, чтобы господин заметил его.

— Что там еще? — вскользь обратился к нему Василий Васильевич.

— Из Большого дворца, князь-государь, гонец к тебе пригнан, — с поклоном ответил слуга. — Тебя видеть желает.

— Хорошо, сейчас выйду! — И, махнув рукой, князь Василий отпустил слугу.

— Ну вот, видишь, видишь? — торопливо и радостно заговорил князь Борис. — Ведь это она за тобой посылает. Верно, прослышала государыня о том, что ты в отъезд собираешься, вот и шлет к тебе гонца.

— Пусть шлет, — сумрачно ответил князь Василий. — Поздно спохватилась...

— Как поздно? Неужто ты не пойдешь?

Голицын отрицательно покачал головой.

— Погоди малость! — сказал он при этом, и, поднявшись, вышел из своего кабинета.

Князь Борис глядел ему вслед, пожимая плечами.

«Нет, видно, и он что-то задумал, — размышлял он. — Вот все-то они так. И умен наш Васенька, ох как умен!.. И знаю я, что обойдет он царевну-то правительницу, и она глазом моргнуть не успеет, как в его тенетах очутится, а все-таки не далеко его ума-то хватает. Что бы он там ни говорил, а тонко я его игру понимаю. Надумал он в бабью душу без мыла забраться, вот и играет со своей лапушкой, как кошка с мышкой. Добивается от нее своего, а того и не замечает, что она-то на престоле краденое недолговечна, ой-ой как недолговечна! Не по дням, а по часам Петр-нарышкинец подымается!.. Проглядят они его — и останется верх-то не Васеньки братца, а мой. Ведь я около нарышкинца постоянно. В их дела как будто и носа не сую, живу вместе с опальным царем в Преображенском — нужно же кому-нибудь из бояр и при его царском величестве оставаться — и хорошо мне; в стороне, покойно. Никто меня не тронет, и я сам никого не трогаю. Вокруг меня всякие бури носятся, стрельцы кипят-бурлят, а я-то на них гляжу да посмеиваюсь. Старайтесь, дескать, други любезные, грызите друг друга! Чем больше вы сами себя перегрызете, тем меньше вас для нарышкинца останется».

Он залился тихим мелким смехом, потом, встав, подошел к окну и, отпахнув его, вдохнул чистый, ароматный воздух полной грудью.

Перед князем Борисом был хорошо знакомый ему сад, тенистый, плохо разделанный, густой настолько, что солнечные лучи не всегда пробивались сквозь листву его деревьев. Обширный это был сад; много было в нем всяких дорожек, тайных беседок, гротов, искусственных пещер. Отец Голицына много раз бывал на Западе, близко видывал тамошнюю жизнь, прельстился ею и одним из первых на Москве стал заводить всяческие свои порядки. Сад при доме разбивал иностранец, приглашенный специально для того из Кукуй-слободы, и в свое время чуть было не вызвал всенародной гили как «новшество, не соответствующее православию».

— Что? Нашим старым садом любуешься? — раздался голос князя Василия Голицына, и князю Борису показалось, что звучит он как-то особенно: не то великим удовольствием, не то гордостью, которую не смог скрыть на этот раз всегда владевший собой вельможа.

— И впрямь люблюсь, — ответил князь Борис. — Детство наше с тобой вспоминаю. Сколько раз мы тут играли в ребяческие годы...

— И тузил же ты меня тогда! — весело смеясь, промолвил князь Василий. — Доставалось мне!..

— Да, было время, — в тон ему, ответил князь Борис. — Тогда-то, Васенька, я тебя тузил, а теперь твоя очередь настала. Силен ты стал больно, хоть Хованского заламаешь.

Князь Борис говорил все это, зорко всматриваясь в лицо своего двоюродного брата, как бы стараясь прочесть на нем его сокровенные мысли. Но он только подметил, что Василий Васильевич в эти мгновения находился в каком-то восторженном настроении: не то, чтобы он сиял, как говорится, от радости, но недавние морщины на его лице поразгладились, красивые, лучистые глаза смотрели весело, он даже улыбался как-то совсем по-особенному.

— Уж и Хованского сломать! — шутливо сказал он. — Ишь, чего тебе, Борисушка, захотелось!.. Не широко ли шагнул?

— Чего там широко? Такие звери, как Хованский да Милославские, нашему голицынскому роду только и по плечу. С разной там остальной мелочью и возиться не стоит. Ну, что ты там, с гонцом-то?

Лицо князя Василия сразу приняло серьезное выражение.

— Правду ты говорил, — промолвил он. — Она, правительница, за мной присылала.

— Ну и что ж ты? — заволновался князь Борис.

— Да что? Сказал, времени не имею, а потому, чтобы и не ждала меня. Когда мне тут возиться с чужими делами, когда своих по горло? Этакий дом весь на выезд собрать; сразу не соберешь, а на холопов полагаться нельзя. За всем своим хозяйским глазом приглядеть нужно. Не на день на выезд собираюсь.

— Так-таки и сказал царевне, что не придешь?

— Так и сказал.

На мгновение братья замолчали.

— Ой Вася, высоко метишь! — тихо проговорил Борис. — Смотри, и в самом деле не сверзись!.. Неловко тебе тогда будет.

— Тебе-то что? — нахмурился князь Василий. — Не тебе сверзиться придется, а мне...

— Нам-то, Васенька, в Преображенском с чего сверзиться? Сам ты знаешь, на каком низу мы там. Ниже травы посажены вашими-то, так что больше и падать нам некуда. А ежели говорю я тебе так, то по-родственному, по-братски. Вот наши бывшие ребячьи игры в этом саду припоминаются, — указал на открытое окно князь Борис. — Помнишь, как мы играли там? Играть-то, братанчик, играй, да смотри, как бы за что не зацепиться да носа в кровь не разбить!..

— Да ты что? — вдруг весь так и вспыхнул князь Василий. — Или пронюхал что-либо твой лисий хвост?

Он с тревогой глядел на руку брата, указывавшую на сад, и эта тревога исчезла с его лица только тогда, когда рука князя Бориса опустилась.

— Эх, Васенька, — сказал тот, — ну чего мне пронюхивать? Глядим мы, нарышкинские мураши, снизу в милославскую высь, а там всякие нам виды кажутся, ну вот и чудится разное. Вы-то в этой выси ничего не замечаете и ни о чем низком не думаете. Так уж ты меня прости, — отвесил он брату поясной поклон, — ежели что и неладно сказал. А пронюхать-то я и в самом деле пронюхал. Напрасно собираешься, братанчик, не уедешь ты из Москвы. А на сем слове прости, родной, желаю тебе всяческого успеха!

XVII

МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И ДОЛГОМ

Тучка, набежавшая на лицо Голицына, так и осталась на нем, даже когда ушел князь Борис.

Оба двоюродные брата еще с детских дней очень любили друг друга и почти всегда были согласны во всем. Борис был старше годами и с ребячьих лет привык уступать тогда маленькому задорному братишке. С годами привычка не пропала, а, пожалуй, укрепилась, но вместе с нею осталось и некоторое покровительствова-ние, выражавшееся, когда братья стали зрелыми мужами, в легкой, добродушной насмешке.

Пока жив был царь Алексей Михайлович, жизненные дороги братьев не расходились, но уже при царе Федоре они разделились, и каждый пошел своим путем: князь Василий Васильевич остался на стороне Милославских и Софьи, князь Борис присоединился к Нарышкиным и царю Петру. Когда царь Петр, его мать и все близкие к нему люди были высланы из Москвы на житье в Преображенское, князь Борис последовал за высланным царем, пренебрегая всяческими опасностями. Он мог бы остаться в Москве — для этого достаточно было одного слова князя Василия Васильевича, — но наотрез отказался от этого, объясняя свой отказ привязанностью к царевичу Пет-

ру, тогда еще малолетку. В дворцовых кругах такое поведение двоюродного брата могущественного царедворца казалось удивительным. Всякий тогда думал, что все семейство Нарышкиных обречено было на гибель, и быть при царе Петре значило как бы и самого себя приговорить к смерти. Не раз говорили об этом князю Борису его друзья, но он продолжал упорно стоять на своем и только загадочно улыбался, когда ему совсем недвусмысленно намекали, что, дескать, все Нарышкины в совсем недолгом времени будут стерты с лица земли так, что и «запах их, нарышкинского, не останется!»

— Слепой сказал: посмотрим, глухой сказал: послушаем! — обыкновенно отвечал на такие намеки князь Борис и сам первый же смеялся своим словам, как бы давая понять, что в этом случае и слепым, и глухим он считает самого себя.

Однако князь Василий Васильевич знал, что его двоюродный брат вовсе не из тех людей, которые говорят и смеются на ветер. В душе он даже признавал превосходство князя Бориса над собой и нередко прибегал к его советам.

«И как это все они разнохают, пронюхают! — с неудовольствием думал князь Василий Васильевич. — Откуда бы, кажется? Ан, нет!.. даже и то, что думаешь, они знают. Ежели один Борис, так это еще ничего: он — свой человек, болтать не будет! А что, ежели другие вот так же пронюхали?.. Ведь тогда Борисово пророчество втуне останется: придется отъезжать. А как не хочется! Не бросить ли мне то, что я замыслил? Нет, никогда! Ежели есть козыри в руках, так нужно ими рисковать. У меня же всяких козырей достаточно: есть и большие, и малые».

«Да стоит ли? — вдруг словно шепнул князю Василию Васильевичу какой-то тайный голос. — Не бросить ли все то? Из-за чего стараться? Жизнь так хороша: всего в ней довольно, всего! У кого еще столько довольства, сколько у него, князя Василия? Кого страстно и пламенно любит царевна Софья, такая женщина, которая всем другим женщинам — король? Да ради одной ее любви огневой разве нельзя все на свете позабыть? Разлапушка любезная! Стало быть, чего же еще добиваться, чего хотеть? Уйти разом от всей этой грязи, от интриг, от подкопов, забыть, что есть на свете и Милославские, и Хованские, жить своим счастьем, благо много его судьба ниспослала!»

Князь Василий Васильевич присел к окну и задумался. Он переживал смутные мгновения. Томительные вопросы будоражили его душу и мозг.

«А что же, — мыслил он, — уйду я от всего и буду я счастлив. Это верно, но буду счастлив только я один. А родина-то моя, а этот народ мне родимый? Он-то будет счастлив? Уже и теперь рвут его, несчастного, Милославские, Хованские и все прочее ненасытное коршунье, а кругом-то, кругом так и сторожат злые нахвальщики, когда изнеможет Русь в бедствиях окаянного грабительства. Турки, татары, ляхи, шведы так вот глаз и не спускают, так вот и готовы кинуться, как только приметят, что истощенный народ не в силах

будет отшвырнуть прочь злую нахвальщину. Так разве не стоит Русь страдающая того, чтобы на нее поработать? Стоит, стоит! Немало впереди меня Голицыных, сколько их за родину головы положили! Им тоже умирать-то не хотелось, а они шли на смерть, о себе не думая. А что же я-то, потомок славных предков, другим путем пойду? Вот везде новые времена настали, жить по-прежнему нельзя, невозможно от соседей отставать. Нет отечеству врага злее того, кто дает соседям свой народ ограбить!.. Хуже Иуды-предателя такой враг, а Милославские да Хованские, за рубежом не бывавшие, тамошней жизни не выдавшие, об этом и не думают. Вон что замыслил старый пес князь Иван! Да ежели ему преграды не поставить и дать хотя частички задуманного достигнуть, так погибнет Русь в раскольниковых лапах, и я сам повинен в том буду... Да, я! Все у меня в руках есть, чтобы беды избежать, а я о себе только думал... Так не бывать этому! Лучше погибнуть, чем злым врагом для своей родины, для своего народа стать! Не сдам я в борьбе, не сдам, лучше голову сложу!»

— Э-эй, кто там? — хлопая в ладоши, закричал Василий Васильевич и, когда на зов прибежали слуги, произнес: — Собираться, живее, народу нагнать больше, чтобы так все и кипело!..

XVIII

НОЧЬ В САДУ

Все эти сборы продолжались до позднего вечера. Князь Василий Васильевич на этот раз принимал в них самое деятельное участие. Он чуть не сам помогал холопам укладываться, сам сутился, распоряжался, вообще проявлял усиленную деятельность, в которой, казалось бы, для него не было никакой необходимости. Когда уже начинало темнеть, он зашел в сад и здесь долго ходил с толпой холопов, указывая, какие статуи — а их в голицынском саду было порядочно — и как укладывать.

Уже смерклось, когда он, словно утомленный хлопотами, опустился на скамейку под раскидистыми ветвями большого дерева и здесь так и застыл в позе, свидетельствующей о крайнем его утомлении.

— Идите прочь! — приказал он холопам. — Ужинайте, что ли, и ждите меня, пока я не приду.

Приказание не заставило ждать повторения, и князь Василий Васильевич остался один среди благоухающего сада. Так, не меняя позы, просидел он около получаса, а потом, медленно и лениво поднявшись, побрел по дорожкам, направляясь в глубь своего сада. Сделав несколько шагов вперед, он останавливался, чего-то пережидая, оглядываясь во все стороны, и потом опять столь же тихо двигался вперед. Перед глухой чащей деревьев он приостановился, достал огниво и выбил слабый огонек. При свете его он взглянул на карманные часы-луковицу и, задув огонь, пошел уже быстрым

шагом прямо через траву к одиноко стоявшей в глубине чащи небольшой беседке. Около приступки, затенявшей крыльцо в беседку, князь Василий приостановился, простоял с мгновение и, энергично махнув рукой, как бы отбрасывая в последний раз все свои сомнения, быстро вошел в беседку через едва притворенную дверь.

Едва только князь Василий перешагнул порог, как его шею обвили мягкие женские руки и он услышал страстный женский лепет: — Лапушка, что так долго мучиться меня заставил?

Голицын ответил не сразу. Минуту или две в тишине беседки раздавались звуки поцелуев и только в перерывах между ними слышался влюбленный лепет:

— Разлюбил ты меня, видно, коли покидаешь?

— Нет, Сонюшка, нет! — тихо, но пылко ответил князь Василий. — Не разлюбил я тебя и никогда не разлюблю. Не может того быть! Разве позволит мне такое, голубь, сердце? В могилу лягу, так и то любить тебя буду...

— С чего же уезжаешь?

— Так нужно, Сонюшка.

Голос Василия Васильевича звучал уже серьезно; в нем теперь слышались отзвуки горя и тоски. Обвив рукою стан любимой женщины — царевны Софьи Алексеевны, — он вместе с нею подошел к большому венецианскому окну и отпахнул его. В беседку ворвалась тихая лунная летняя ночь. Серебристый свет луны озарил обоих любовников, стоявших у окна, нежно прижимаясь друг к другу. Князь Василий слегка дрожал, чувствуя на своем плече чудную головку красавицы, прильнувшей к нему так, что, казалось, никакая сила не могла бы уже оторвать ее. Он нежно смотрел в милое лицо и, казалось, вот-вот слезы заблестят на его красивых глазах.

— Так нужно, Сонюшка, — повторил он.

— Почему так нужно? — забеспокоилась молодая женщина. — Или указка какая ни на есть над тобой со мной завелась? — гордо проговорила она.

— Указка над нами — судьба, ненаглядная! — тихо ответил Голицын. — Уж против нее-то ничего не поделаешь. Судьбе такая от Бога сила дана, что, хоть с рожном иди против нее, ни за что со своей дороги упрямой не своротишь.

Он посадил свою собеседницу на небольшой раскидной табурет, а сам стал, опираясь на подоконник, так что их лица приходились почти вровень, и обоих их озарял кроткий свет сиявшей на далеком небе луны.

— Пугаешь ты меня, князь Василий! — в свою очередь серьезно проговорила царевна. — С чего это ты вдруг о судьбе заговорил? — не то насмешливо, не то сердито произнесла она. — Ведь оба-то мы — не простецы какие-нибудь, так что нам судьба? Как хотим, так ее и поворотим.

— Нет, Софьюшка, нет! Ты про себя одну говори, а меня уже оставь. Где мне не только против судьбы, а хотя бы и против людей идти?..

— Ну, заныл! — недовольно и с оттенком гневности воскликнула гостя. — Видно, все московские бояре на один лад. Как только что им нужно, так и занокуют. Недостает того, чтобы и ты из-за лакомого куска словно чужеземный стриженный пес на задние лапки стал! Брось! Мне это и так уже надоело. Только тебя в моей боярской своре доставало, а тут вот и ты налицо.

Слова царевны уже дышали гневным раздражением. Недавно еще столь нежная, вся полная любовной истомы, жаждавшая только поцелуя, эта женщина вдруг изменилась. Прежнего настроения как не бывало; явилась сухая властность, сказалось презрение высшего к низшему.

Голицын вспыхнул. Он выпрямился во весь рост и подергивал плечами, как будто его давила какая-то тяжесть. Явно слова этой властной женщины задели его за живое.

— Бог с тобой, Софьюшка! — промолвил он, видимо, сдерживаясь. — Не тебе бы так говорить со мной. Нешто мало мы вот таких, как эта, ночек коротали вместе, мало, что ли, между нами слов ласковых сказано, клятв страшных друг другу дано?.. Не тебе меня заискиванием корить. Припомни-ка, просил ли я у тебя какой-нибудь милости, кроме любви твоей? Добивался ли я через тебя когда-нибудь чего-либо у твоего батюшки, затем у твоего брата — царя покойного, а теперь у тебя самой? О-го! Что мне нужно на белом свете. Разве я — не Голицын? Всего у меня достаточно и было, и будет, да кроме того еще одна драгоценность самая лучшая в мире есть!.. Это — ты, Софья, — слышишь? — ты — Софья! Но только, как бы я ни любил тебя — жизнь я за тебя отдам, кровь каплю за каплей выточить позволю, — словно вдруг охваченный порывом, громко, слово за словом, беспорядочно выкрикнул князь, — а того вовек я не забуду, что мужчина я, и Голицын притом. Да, не забуду. Вот прикажи меня сейчас в застенки отправить, повели каткам так меня истязать, чтобы, глядя на меня, дьяволы в аду слезами от жалости залились, — а не пикну я и умру, тебя благословляя. Умирая, буду твое имечко лепетать, а делиться тобой, делиться твоей любовью с кем бы то ни стало, хотя бы с самим архангелом Гавриилом, не стану! Не на то я тебя люблю, не на то я душу тебе в полон отдал; не на то я — мужчина, и еще Голицын к тому же.

— Бог с тобой, Васенька! Что ты такое придумал? — уже совсем другим тоном, видимо, пораженная словами своего возлюбленного, промолвила царевна. — О чем ты говоришь — не ведаю. Кажись, и ты на мою любовь пожаловаться не можешь. Уж я ли тебя, касатика, не любила? Я ли тебе всегда верною не была? Не я тебя, а ты меня чем-то неведомым корить хочешь. Скажи на милость, с чего ты сердце мое бедное терзать вздумал?

— Как с чего? — мрачно выговорил князь Василий. — Или ты отпираться станешь, что князя Хованского Ивашки, Тараруя проклятого, ты женою стать задумала?

ХІХ

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Последние слова князь Василий Васильевич почти выкрикнул, и замолчал, как будто выжидая, чтобы этот внезапно раздавшийся гром произвел свое впечатление. Так оно и было.

Несколько мгновений в беседке царило молчание. Собеседница Голицына, очевидно, была действительно поражена его обвинением.

— Уж и не знаю, о чем ты говоришь, Васенька! — проговорила она заметно дрожащим голосом. — С чего ты окаянного Тараруя приплел? Будто не знаешь ты сам, что ненавижу я его, как злого врага, и глаза мои на него не смотрели бы. Скажи на милость, откуда ты это взял? Да ведь и старик он, Тараруй-то, сивый пес, и какую он жизнь ведет, мне тоже ведомо. Так неужто я тебя, моего сокола быстролетного, на него променяю? Да скажи же ты мне наконец, откуда ты этакую несуразицу взял?

— Вся Москва о том говорит, — сумрачно произнес князь Василий.

— Вся! — расхохоталась молодая женщина. — А я вот на Москве тоже живу с рождения, а этакую новость впервые от тебя сейчас услышала.

— Оставь, Софья, — серьезно и с раздражением проговорил Голицын, — ведь мы с тобой — не дети малые, чтобы в прятки играть. Ежели говорю я, так, стало быть, знаю, что говорю дело. И Москва о твоём замужестве болтает, и Тараруй им похвально.

— А я тебе говорю, — перебила его Софья, — что я о сем деле и слыхом не слыхала, и думать никогда не думала. Ненавижу я Тараруя, смутьяна проклятого. Велика у него сила: всеми стрелецкими душами овладел он, пес негодный. Недоумков да малых ребят на царский престол сажает, а вот моей воли ему никогда не сломить, даром, что я — девка, а не муж доблестный... Никогда!... Слышишь, Вася? Никогда! Ты вон давеча про застенки говорил, а теперь я скажу. Пусть я хоть в запростенок попаду, пусть я хоть всем ангелам бесовским в лапы брошена буду, а Тараруя меня своей женой не видать. Ежели он о таком деле заикнуться посмеет, так прежде всего кубарем из моих покоев вылетит — я хоть и девка, а рука у меня мужской потяжелее. А потом он сам с сынишкой своим мерзким в застенке очутится. Пусть стрельцы, как хотят, мятутся, пусть хоть все царство кровью залиют, и в ней его утопят, а перемены моей воли не будет. Понимаешь ты это, Вася? Я говорю тебе и на том клянусь перед тобой. Уж мне-то, думается, ты поверить можешь.

— Верю я, верю, касаточка моя, — со страстным воплем вырвалось у Голицына, — а только все же в сердце моем смуты хоть отбавляй. Ночей не спал я сколько, все думал, как мне тут быть.

— Вот глупый-то! — весело засмеялась молодая женщина. — Ты — и Тараруй. Да о чем тут и думать-то? Плюнул бы на сплетни московские, вот и все.

— Ах Софьюшка, — проговорил Голицын, — да нешто такое-то, как ты, о любви думают? Коли нужно — так не то что за Тараруя, а за старого козла замуж пойдешь. Твои же Милославские тебя к тому принудят.

Молодая женщина засмеялась в ответ на эти слова. Ее смех был громкий, несколько неприятный, но в нем слышалась искренность.

— Брось ты все думать, Вася! — опять проговорила она. — Даром и себя, и меня терзаешь. Что ж, ты из-за этого, что ли, в отъезд собрался?

— Из-за этого, Софьюшка, из-за этого. Думал я все одно и то же в ночи бессонные и надумал, что иного и быть не может. Приказывать я тебе не могу, не смею: что там ни говори, как ты меня ни люби, а все же я — подвластный. Сейчас вот люб, а завтра скажешь слово — и голову с плеч.

— Твою-то, Васенька?

— А что ж? Мало, что ли, голов перед тобой-то склоняется?..

— Да такой, как твоя, другой нет, — раздалось страстное восклицание, и опять руки гости нежно обвили шею молодого князя, и опять раздались страстные поцелуи. — Ну, говори же, говори дальше, что такое ты, глупенький, надумал в бессонные ночи твои? — пролепетала молодая женщина. — Ну, приказать ты мне не смеешь, а дальше-то что?

— А переносить то, что ты женой другого станешь, да еще такого, как проклятый Тараруй, я не в силах. Вот и решил я отъехать на чужбину.

— На чужбину? — задрожал испуг в голосе Софьи. — Куда же ты это надумал отъехать, Васенька? Уж не к польскому ли королю?

— Думал я в город Париж ехать. Уж там-то мои недруги меня не достали бы. Там, может, скорее успокоилось бы мое сердце.

— Позабыл бы ты там меня, Васенька. Немало ведь у французского короля красавиц...

— Ой нет, оставь! И там бы я страдать по тебе стал, — говорил князь Василий, — а только не на глазах моих ты была бы с Тараруем! Не стал бы я ему, окаянному, век служить!..

— И не будешь! — пылко воскликнула Софья. — Уж ежели на то пошло, так живо я эту сивую дурацкую голову с обмызганных плеч уберу! — В молодом, звучном голосе царевны звучал такой яростный гнев, что даже он, знавший всю неукротимость и пылкость ее натуры, назад отступил, инстинктивно хватаясь руками за свою собственную шею. — Ну говори ты, Василий, теперь! Какие там толки на Москве? Что говорят?

— Говорят, — забормотал Голицын смущенно, — что тут скоро крестный ход будет, а за ним — цари шествовать должны. Окайные же стрельцы гиль подымут и, якобы оберегая царей от Милославских, под свой караул их возьмут. Вот что говорят.

— А еще что? — гордо и грозно спросила правительница. — Договаривай, Василий!

— А еще говорят, что вскоре после того оба царя волею Божию преставятся, и останешься ты одна. Тебе же, девке, на престоле нехорошо быть, а посему и заставят тебя в замужество с князем Ивашкой вступить. И будут у нас на царстве не Романовы, а Хованские. Вот что говорят! На тот же случай, ежели у Хованского от тебя приплода не будет, так он своего Андрюшку негодного на одной из сестриц твоих женит и в смертный час ему царство передаст.

— Ха-ха-ха! — дико расхохоталась молодая женщина. — Вон уже куда у них зашло! Тараруй уже о царском наследии думает. Больно уж он на своих стрельцов-то надеется!

— Не одни стрельцы за ним пойдут, — тихо, уже страшась вспаившего и вспаившего гнева своей гостью, промолвил Голицын. — И раскольники за ним, за Тараруем, пойдут.

— Пустосвяты-то? Ну пусть их, пусть их, пусть их идут! — в диком озлоблении выкрикнула царица. — Пусть больше куча собирается! По малости и бить их не стоит; сразу бы всех их, русской земли вредителей, с лица ее смыть... А тебе, князь Василий, я вот что скажу: нечего отъезжать тебе ни на чужбину, ни просто с Москвы; твоя голова мне здесь нужна. Ха-ха-ха! Посмотришь по крайности, что будет князь Хованский в свой смертный час отказывать.

XX

ПОСЛЕ НОЧНОГО СВИДАНИЯ

Любовное и в то же время деловое свидание в далекой беседке голицынского сада покончилось лишь тогда, когда уже забрезжила алая утренняя заря.

Тихо выскользнула плотно укутанная женская фигура через потайную калитку в стене сада на безмолвный пустырь, прилежавший к голицынским владениям. Там возвращавшуюся домой гостью поджидал легкий тарантас. В нем прикорнула, забывшись дремотою, так же плотно закутанная женщина. При появлении возвратившейся царицы эта женщина разом проснулась, засуетилась, помогла ей взобраться на сиденье, и тотчас вслед за тем дребезжание колес прозачески завершило полную поэзии ночь любви.

Князь Василий Васильевич, словно очарованный, стоял у открытой потайной калитки все время, пока слышался стук колес. Блаженством сияло его лицо, неизъяснимыми восторгами горела его душа. Он был весь полон дивного счастья. Для него вновь разгорелась чудная заря воскресавшей любви.

«Пришла! — шептал он. — Сама пришла, хотя и потайно!.. значит, и впрямь она любит меня, любит, любит! Не мимолетная забава я для нее, а сердцем она меня любит... Лапушка ненаглядная!.. А уж как я-то ее люблю. Пуще света белого... Ничего от нее не хочу я, ничего, только сама она мила и дорога сердцу моему. Жена? Что мне жена моя неведомая?.. Эх, батюшка покойный, не

зла ты мне желал, окручивая меня по рукам и по ногам, а вот и вышло, что худо мне от твоего добра приключилось».

Искренен ли был князь Василий Васильевич? Такова ли была его любовь к могущественной женщине? Скорее да, чем нет. Он действительно обладал в жизни всем, что было доступно человеку в его положении, и мог любить бескорыстно.

Князь Василий Васильевич был умница, каких было немного и за рубежом! Да, что рубеж! И Париж, и Лондон, и все вообще столицы того времени вовсе не были в чем-либо выше Москвы. Только там люди жили внешне несколько по-иному, другой уклад жизни был, и только... Дичь была в народе такая же, как в России, высшие классы — развратители были также. Допетровская Русь ни в чем не уступала при первых Романовых своим соседям. Прогресс развивался в ней правильно, но самобытно; государство было органически здорово, и только катастрофы, терзавшие его с самого начала XVIII века, внесли в могучий организм России тяжкий недуг. Нужна была нелепая ломка всего государственного строя, всего бытового уклада, чтобы поставить московское государство в хвост других народов Европы. Но тут действовали уже не человеческие силы, а несчастная судьба...

Идя вровень со своими зарубежными соседями, а в некоторых отношениях будучи и выше их, московское государство имело своих выдающихся людей, таких государственных деятелей, которые на Западе были бы признаны великими умами.

Именно к таким людям принадлежал и князь Василий Васильевич Голицын.

Прекрасно образованный, всесторонне просвещенный, знавший зарубежную жизнь не по одной только наслышке, этот человек как бы самой судьбой был предназначен к тому, чтобы стать у кормила правления московского государства. Он был богат и знатен и действительно не нуждался ни в чем; добиваться для себя чего-либо от жизни у него тоже не было необходимости: он все имел. В то же время это был искренний патриот, и его патриотизм был не узкий, не невежественный, а широко просвещенный. Голицын искренне желал добра и процветания своему отечеству, своему народу, но никогда не закрывал глаза на недостатки строя. Он видел, что нехорошо в государственном организме его родины и что в этом же отношении хорошо у соседей, и не постеснялся бы пересаживать чужое хорошее на отечественную почву. Если не все, то многие наиболее разумные реформы великого царя-сокрушителя — Петра Алексеевича — были лишь продолжением голицынских мероприятий, так сказать, родились от его, князя Василия Васильевича, инициативы. Посылка юношей-дворян для обучения за границу — была задумана Голицыным. Он же проектировал и освобождение крестьян от крепостной зависимости, в то время отнюдь не бывшей позорным рабством; он же задумывал дать народу и религиозную свободу, то есть шел навстречу желаниям той части русских людей, которая была известна под именем раскольников. Голицын был

другом народного просвещения, да не внешнего, поверхностного, показного, а истинного. Но и на нем оправдались сказанные много спустя после него слова поэта: «Суждены нам благие порывы, а свершить ничего не дано!»

Голицын был русским человеком, и его судьба была русская, очень печальная, приведшая его вместо храма бессмертия и славы в ледяные тундры дальнего Севера.

XXI НА БАЗАРЕ

На другой день вся Москва говорила о том, что князь Василий Васильевич отменил свой отъезд. Одни этому радовались, другие же ехидно посмеивались.

— Ну, да, как же?.. Уедет он! — говорили эти последние. — Нешто может улететь воробей из-под орлицына крылышка?

Впрочем, таких злобствующих было не слишком много. Большинство москвичей, особенно простонародье, любило всегда приветливого, всегда ласкового князя Голицына, и любовь к нему царевны-правительницы никого особенно не смущала, тем более что ни сама Софья Алексеевна, ни князь Василий Васильевич никогда не выказывали своей близости на людях, и о том, что они любили друг друга, знали разве только одни ночки темные.

Однако никто не понимал и не догадывался, что значили и неожиданные спешные сборы, и такая же неожиданная отмена отъезда. О ночном свидании в садовой беседке, конечно, никому не было известно.

На другое утро Василия Васильевича разбудило довольно рано присланное из дворца от царевны письмо. Прочитав его, Василий Васильевич весело улыбнулся.

«Свет ты мой, Васенька, — написала царевна-правительница. — Буду ждать тебя о полдень по некоему делу государскому. А к тому времени помоги ты мне в одном моем деле, которое весьма важным для нас обоих быть может. Подумай ты мне о таком человеке, который бы никому на Москве ведом не был, только тебе одному; и должна быть у этого человека душа на верную службу неукротимая, чтобы положиться на него во всем можно было, и сердце спокойное, и чтобы голову свою он не боялся потерять на нашей службе. Когда ты придумаешь такого человека, то скажи мне о нем. Премного я его возвышу, если он надобные нам службы верно сослужит».

Под письмом, как и всегда, выведено было крупными латинскими буквами имя царевны.

«Нелегкую задает мне задачу Софьюшка! — подумал князь Василий Васильевич. — И нелегко бы мне было исполнить ее, если бы не был такой человек у меня под рукою. Думается, что угрожу я им свет-царевне ненаглядной. Только на что он ей понадобился? Какой такой службы она от него потребует?»

Весело и легко встал со своей постели князь Василий Васильевич; хотя и мало спал он в эту ночь, но не чувствовал никакого утомления. Словно солнце небесное улыбалось ему. Давно он не чувствовал себя так покойно, как в эти мгновения.

Напившись ароматного сбитня, князь выехал из своего двора в сопровождении двух вершников-холопов. Один из этих последних вез с собою большую кису, битком набитую мелкими медными деньгами. Так обыкновенно выезжал князь Голицын тогда, когда хотел побывать в людных местах. И теперь он отправился на одну из площадей перед Кремлем. Как и всегда, площадь в утренние часы кишела народом. Словно живое море перед князем Василием волновалось, когда он спускался к берегу Москвы-реки. День был не праздничный, но базарный; всякого народа в такие дни собиралось на все вообще площади видимо-невидимо, всякого люда было много. Одни торговали с возов, лотков и прямо с рук всякой всячиной, другие покупали. Базарные парикмахеры то там, то сям стригли «под горшок» своих непрехотливых клиентов, а последних было столь много, что местами площадь сплошь была устлана мягким ковром из волос. Кое-где видны были продавцы навезенных из-за рубежа эстампов — этот товар в Москве, несмотря на дорожную цену, шел довольно ходко; были и продавцы книг, по большей части духовного содержания. Кое-где сидели прямо на земле слепцы, калеки, уроды, тянувшие заунывными голосами разного содержания стихи. Между народом толкались стрельцы, тоже и продававшие, и покупавшие; кое-где затевались обычные в базарные дни драки и потасовки, и над всем этим живым морем стоял непрестанный веселый гомон людских голосов.

— Дорогу боярину князю Василию Васильевичу Голицыну! — выкрикивал ехавший впереди вершник, и шумевшая толпа, только слышав имя любимого вельможи, расступалась перед князем.

Справа и слева летели в нее полные пригоршни денег и везде, где только замечали этот поезд, долго не смолкали крики:

— Здрав буди на многие лета, князь Василий Васильевич!

Голицын приветливо и добро улыбался. Он знал, что в Москве его любят, и всячески старался подогреть эту любовь мелкими подачками. Но он вовсе не искал популярности, ему просто нравилось чувствовать себя любимым. Ему приятны были эти обращенные к нему восторги многих сотен людей, а теперь, в это счастливое и радостное утро, ему хотелось, чтобы вместе с ним было как можно больше счастливых людей.

Однако, улыбаясь и кланяясь, он тем не менее зорко поглядывал вокруг себя, как бы отыскивая глазами кого-то, особенно нужного ему. Вдруг его взор остановился на молодом, красивом подьячем, горделиво подбоченившемся и стоявшем так молодцевато, что его сразу можно было заметить среди обычной базарной толпы.

— А, Федя, Федя! — весело крикнул Голицын, направляя к нему своего коня. — Вон ты где? Тебя-то мне и нужно!

— Здрав буди, боярин! — почтительно, но отнюдь не подобострастно поклонился ему молодой красавец. — Всей душою рад, ежели понадобится тебе. Приказывай, послужу.

— Ну, Федя, до службы еще далеко, — усмехнулся Голицын. — Прежде чем за службу приниматься, поговорить нам надобно.

— И на том рад, боярин. Говори, буду слушать и на ус мотать. Небось все о том же колоднике, что в мои руки попался, речь поведешь?

— И о нем, Федя, а покамест прежде всего о тебе. Слышь-ка, ты приди ко мне хоть сейчас, да приди так, чтобы ни одна живая душа о том не знала. Вы, подьячие, на такие ходы мастера немалые, не мне тебя учить.

— Вестимо так, князь дорогой, — с добродушной усмешкой поглядел на Голицына подьячий. — Ладно, пойду я к тебе. А ты-то скоро будешь?

— Сейчас вслед за тобой коня вертаю...

— Ну тогда я побегу, встретимся. Ты ведь на прогулку только выехал, княже?

— На прогулку, на прогулку, Федя.

Они расстались.

Кругом них во время их разговора уже собралась толпа любопытных, слушавших, разиня рот, что говорили эти двое людей, совершенно различных по своему общественному положению.

— Ишь ты, — неся шепот, — не горделив, Васенька-то, князь! С Федькой Шакловитым как со своим братом-боярином разговаривает и пересмеивается даже.

— О чем говорили-то они?

— Кто их там знает? О чем-то мудреном. Ишь ведь, как Федор Леонтьевич-то припустился!

— Видно, дело какое ему боярин дал.

А в это время князь Голицын, повернув коня, уже направлялся назад к своему дворцу.

XXII

ПРИМЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Не велика была сошка — подьячий стрелецкого приказа Федор Леонтьевич Шакловитый, а всякий на Москве знал и побаивался его. Был он, как говорили о нем, «птичка невеличка, а ноготок востер», хоть и гульливый молодец, а своего дела такая умица, что в других приказах такого подьячего и не сыскать бы. Был он не только смекалист по своему подьячему делу, но и умен к тому же, и всяческим книжным премудростям обучен, а сверх того всегда ловок, смел и в карман за словом лазать не любил.

Таков был этот добрый молодец, которого при всем честном народе приветил ласковый князь Василий Васильевич.

Когда князь вернулся домой, Шакловитый уже ждал его.

Князь велел ему идти в дальнюю горенку своего обширного дома, а сам приказал слугам, чтобы ни единая душа близко не подходила, даже распорядился, чтобы на караул холопа с саблей поставили, и только тогда прошел сам к своему гостю.

— Прежде всего, Федя, — ласково заговорил он, — спасибо тебе за твои вести. Присядь-ка, милый, вон табуретка! — Движением руки указал он Шакловитому место, делая вид, что вовсе не замечает его смущения.

Шустрый обыкновенно подьячий на этот раз действительно растерялся от такого приглашения.

— Ничего, княже, — смущенно пробормотал он, — не велика я персона, и постоять могу...

— Садись, садись, милый, — внушительно промолвил Голицын, — чиниться в приказе должно, а ежели ты в гостях у меня, так милости просим, гостю почет подобает всякий. Бывал я в разных зарубежных странах, так там друг перед другом никто не чинится...

— Так-то так, княже, — как-то особенно усмехнулся Шакловитый, — а у нас, на Москве, разве можно? Узнал бы Хованский князь, что перед тобою сидеть я осмелился, он мне все жилы повымотал бы...

— Ну авось Бог даст, ничего не узнает князь Иван Андреевич, — добродушно засмеялся Василий Васильевич. — Не чинись же, друг, садись, я тебя о том прошу.

— Твоя воля, княже, ты приказываешь! — пробормотал Шакловитый и сел.

Голицын спокойно, но пристально, словно изучая его, смотрел ему в глаза, а затем начал:

— Я сказал уже тебе спасибо за твои вести, ну-ка, доложи мне теперь, что твой колодник все еще не признается, кто он такой?..

— Нет, говорить не хочет, молчит, как дыба в застенке... Только напрасно он... Я уже признал, кто он такой.

— Неужто? Кто же?

— Про князей Агадар-Ковранских слышал, поди? Так тезка он твой — князь Василий Лукич... Или не слыхивал?

Голицын наморщил лоб, стараясь припомнить что-либо об этом княжеском роде.

— Словно бы и слышал, — сказал он, — при блаженной памяти царе Федоре слух пошел, будто он ляхского монаха-иезуита зарезал...

— Вот-вот, он самый, — подтвердил Шакловитый. — Искали его тогда, да он неведомо куда скрылся... Так и не нашли! Именьишко его за государя взяли, а он, как в воду канул, вон когда только объявился... да и то! — И, не договорив, Шакловитый махнул рукой.

— Ну-ка, Федя, — мягко ободрил его князь Василий Васильевич, — скажи-ка мне поподробнее, как он попал к тебе... С татями большедорожными, говоришь, взяли-то его?

— С ними, князь, с ними... Волокли они его куда-то и на отряд стрельцов нарвались, ну их и сцапали. Отряд-то на дороге был выставлен, чтобы князя Ивана Андреевича берег, и был поставлен в засаде... Ну и схватили их тут... Разбойные люди были то, опознали их на заезжем дворе; хозяин опознал, хотя и перепорчены были их лики, так что живого места не оставалось...

— Перебили их? — тихо спросил Голицын.

— Насмерть всех... Уцелел князь Василий Лукич, и то потому только, что спутан был и видно было, что у разбойных людей в плену он. После сам князь Иван Андреевич спрашивал, кто он, да как с татями очутился. Не робкого десятка молодец, зуб за зуб с ним шел, прямо в глаза смеялся, огрызался-то как! — И глаза Шакловитого даже заблестели от удовольствия при одном только воспоминании о допросе Агадар-Ковранского.

— А князь Иван, что? — тихо спросил Голицын.

— Злился Тараруй, сопел, кряхтел, кричал, грозил... Все спрашивал, где князь Василий Лукич был, не сидел ли он в заезжем доме, когда он там был, только ничего не добился, ничего тот ему не сказал. Тараруй приказал его в свой погреб бросить и караул верный приставить, чтобы никто к узнику пробраться не мог...

— Тебе приказал? — быстро спросил Голицын.

— Мне. А как вылучилась минутка да остались мы с ним с глазу на глаз, князь Василий Лукич засмеялся и говорит... Ты уж, княже, прости, не свои слова я сейчас вымолвлю...

— Говори, все говори без утайки...

— Ну так вот и говорит он: «Молод ты, парень, а видно, что смелый. Так беги к князю Василию Васильевичу Голицыну и поспеши ему от меня: скажи ему, что, мол, его любушка ненаглядная за Тараруя скоро замуж выйдет... Им уже брачные венцы куют... Тараруй царем захотел стать... А князь Голицын пусть крестного хода в августе боится».

— Так, так, — задумчиво промолвил Василий Васильевич. — Ну и дела же! Больше-то ничего не говорил?

— Ничего, княже, хуже всего то, что не попасть мне теперь к узнику, — князь Иван Андреевич строжайше запретил пускать меня к нему. Вот тебе все я сказал, больше ничего не знаю.

XXIII

НА ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Князь Голицын бесстрастно выслушал это сообщение, задевавшее его лично. На его лице словно маска была надета. Глаза, еще недавно ласково смотревшие, теперь как в сталь одели свои взоры.

— Так, так! — проговорил он. — А что, Федор, узник жив?

— Полагаю, княже, что жив, — было ответом, — постоянно вижу, как ему пропитание носят, и сам князь Иван Андреевич,

нет-нет да и спустится в погреб. По-моему, князь дорогой, выходит так, что побаивается Тараруй князя-то Агадар-Ковранского.

— Чего ему бояться-то? — вздохнул Голицын. — Кабы боялся, так давно бы извел.

— За этим у Тараруя дело не станет, да, видно, нельзя извести-то. Вишь ты, разбойничал князь-то Василий Лукич... Слыхал ты, поди, про шайку головорезов, что на большой дороге засела и обозы купецкие грабила? Много их, таких-то шаек, развелось, а эта отчаяннее их всех была. Так вот князь Агадар-Ковранский этой шайкой и атаманствовал.

Голицын поморщился.

— И это прознал! — сказал он.

— Все как есть, князь милостивый! — весело ответил Шакловитый. — Знаю я про все, пожалуй, больше, чем Тараруй знает; купецкого приказчика Петра я разыскал, так он мне все рассказал. И знаешь, княже, повели ты мне еще сказать то, что я думаю...

— Говори, Федя, — ласково сказал Голицын, — говори все, что на душе есть... Ничего не бойся!

— Опять смуту Тараруй-то затевает — это верно, узник-то мне сказал. С раскольниками он столкнулся... может, и впрямь задумал царем сесть... Со стрельцами он медовые разговоры ведет, для стрелецких голов пированьица потайно устраивает. Только на Москву и московский сброд не надеется он; ведь в Москве-то, ежели подлый народ и пойдет за ним, так тогда лишь, когда смута разожжена будет. Пойдет, чтобы богатеев пограбить. Вот и нужно Тарарую, чтобы кто-нибудь новый смуту разжиг. Тут ему от князя Агадара большая помощь быть может. Знает князь Иван Андреевич, что князь Василий Лукич у большедорожных татей атаманствует, вот и думает, что придет он со своей шайкой на Москву и гиль начнет, а там раскольники подстанут, а на покрышку всего стрельцы явятся. Только ошибется он! Того он не ведает, что я знаю... У князя-то атамана с его шайкой распря вышла, мне и это приказчик Петруха поведал... Теперь-то князь Василий Лукич все равно, как перст, один.

Пока он говорил, князь Василий Васильевич уже закурил трубку с длинным чубуком, и ароматный дым стал расстилаться по небольшому покойчику.

— Поглядели бы, княже ласковый, — весело засмеялся Шакловитый, — те, кто на Москве в старой вере остался...

— Что бы тогда было? — остановился против него Голицын.

— Расчихались бы! — совершенно неожиданно dokonчил поды-
ячий, не желая сказать то, что вертелось у него на языке.

Но Голицын понял, чего не досказывал Шакловитый.

— Вот то-то и есть! — заговорил он, словно обращаясь к самому себе. — Гиль устроить, государство великое потрясти — это не грех, а на такое дело, как куренье, все глядят и все незамолимым грехом считают.

— Не все, княже, — перебил его Шакловитый, — такое теперь пошло, что разве одни младенцы-сосунки табаком не дымят.

Из Кукуя табачного зелья, сколько хочешь добыть можно, и добывают...

Голицын рассеянно слушал, что говорил Федор Шакловитый.

— Опять смута, опять ненужная борьба, — говорил он, — а тут столько дела, столько великого государева дела! Ведь если бы выполнить его, всем бы, даже смутьянам самим лучше жилось бы! Нет, не должен я уходить. Я должен порадеть о Руси православной, только для того и дано мне от Господа все. Кому еще радеть, кроме меня? Некому! Всякий только о себе думает, а о государстве страдающем и мысли ни у кого нет... Федор!

— Что прикажешь, боярин-князь? — быстро вскочив с табурета, спросил Шакловитый.

Голицын подошел к нему, положил ему на плечо руку и несколько мгновений в упор смотрел ему в глаза. Шакловитый, выдерживал этот упорный взгляд, не потуплял своего взора.

— Федор, — заговорил, наконец, Голицын, голосом так и лившимся в душу, — страдает наше великое царство, Русь наша родимая страдает... Не дают нашему народу покоя злые враги, а враги-нахвалящики стерегут наши беды, чтобы, улучив пору, голыми руками нас забрать... И те враги, которые внутри, куда злее, чем те, что снаружи. Те далеко, а эти близко, вот тут, везде. С ними нужно бороться, не щадя живота своего... А кому бороться? Где люди? Их нет! Цари-малолетки, царевна-правительница... да под силу ли ей бремя, под которым и Тишайший порой гнулся? Тогда оно будет под силу, когда она около себя преданных людей соберет, таких преданных, чтобы живота своего не щадили ради ее государского дела, чтобы и на розыске под пытками ее врагов не выдали. Федор, тебя я заметил в такие люди царевны. Хочешь, не ей, а Руси православной послужить, ни на какое жалованье не зарясь?... Опасна служба, голова с плеч слететь может, но все-таки тебя спрашиваю, хочешь послужить, Федор?

— Хочу, княже! — восторженно воскликнул Шакловитый и на его глазах заблестели слезы.

XXIV

ТАРАРУЕВ УЗНИК

Федор Шакловитый ничего не утаил, рассказывая князю Голицыну про пленника князя Хованского.

Агадар-Ковранский действительно оказался в руках стрелецкого батюки и сидел, запертый в одном из погребов его московского дома.

Князь Иван Андреевич и в самом деле боялся передать его в судный приказ. Он все еще не мог уяснить себе, как мог этот неведомый ему человек очутиться столь близко от заезжего дома, где произошла его встреча с раскольниковым посланцем, и беспокоился, не была ли подслушана им их беседа.

У князя Хованского было тоже немало дошлых людей, преданных ему за его «ласку», то есть за подачки, на которые Тараруй был щедр всегда, когда ему нужно было чего-нибудь добиться. Ему скоро стало известно, кто такой его пленник, и эти сведения в самом деле окрылили его. Шакловитый был прав, когда высказывал предположение, что Тараруй хочет ввести в затеваемую им смуту новый элемент, досель отсутствующий, а именно «народ». Но вместе с тем подьячий ошибался относительно того, на что это было нужно князю Хованскому. Тараруй просто рассчитал, что если бы смута не удалась, то ее возникновение всегда можно было бы свалить на «злых людей» — на татей большедорожных, и таким путем даже и при неудаче сухим и чистым из мутной воды выйти.

Однако князь Иван Андреевич Хованский при всей своей дерзости, при всем своем несомненном уме, не был психологом. Хотя у него были на руках подробнейшие справки об Агадар-Ковранском, он не понял существа этой неукротимой натуры и при своих начальных переговорах прибег к обычной своей тактике: к запугиванию, то есть к тому, что как раз нисколько не действовало на князя Василия Лукича. Чем больше он грозил своему пленнику, тем злее тот над ним надсмехался, тем громче хохотал над ним.

Злобный, мстительный Тараруй терял голову, не только не зная, что ему делать, но не понимая, в какую игру затеял играть с ним пленник... Князь Агадар-Ковранский своими дерзостями и пылкими наскоками положительно сбивал его с толку.

— А-а, воронья снесь, — рычал князь Василий Лукич на Тараруя, когда тот, явившись к нему в погреб, заявил, что ему все известно: и кто такой его пленник, и какие за ним провинности числятся, — прознали-таки?.. Ну, да мне все равно! Знайте, знайте! По крайней мере на виселице умными казаться будете.

Свои слова он сопровождал злобным, гогочущим смехом, всегда смущавшим Тараруя. Князь Хованский привык, чтобы люди, к своему несчастью попадавшие в его руки, унижались перед ним, ползали у его ног на коленях, умоляли его о пощаде... О, с ними Тараруй знал, как себя вести! С ними, с этими жалкими червями, он был надменен, дерзок, беспощаден, но тут, слыша сам обиды и дерзости, он терялся и невольно притихал.

— Полно тебе, князь Василий Лукич, грозить-то, — ответил он на дерзкую выходку Агадар-Ковранского, — не страшна твоя гроза в погребе-то! — и прибавил, желая смутить узника: — Ты вот лучше скажи мне, как ты разбойничал-то?

— Ежели с московскими боярами сравнивать, — загрохотал злобным хохотом Василий Лукич, — так я, разбойник большедорожный, кротким агнцем был! Мы, разбойные люди, — телята кроткие, а волки-стервятники — вы, бояре... И за что только и нас, и вас одним и тем же жалуют: двумя столбами с перекладиной?

Опять этот сарказм смутил Хованского, смутил до того, что он даже не знал, что ответить. Ему все казалось, что человек, попав-

ший в его полную власть, не мог бы говорить так, если бы не чувствовал за собой чьей-либо поддержки, обеспечивающей ему полную безопасность.

— А ну тебя, князь! — беспомощно махнул рукой Тараруй. — Тебя, верно, и не переговоришь... Тебе слово скажешь, а ты в ответ десять... Давай лучше по-хорошему...

— Давай по-хорошему! — согласился Агадар-Ковранский. — Да и чего нам в добре не быть? Ведь одинакие мы: ты — боярин именитый, а я — разбойник придорожный, одного, значит, поля ягода...

— Полно, — перебил его Тараруй, — надоед!.. Ну, одинакие, так одинакие, одного поля ягода, так одного, — цинично признался он, — ежели так, то и помнить мы должны: слышал, поди, рука руку моет?..

— Слышал... Что же из того?

— А вот что. Хочешь этот погреб на хоромы сменить? Хочешь, чтобы все твои художества навсегда забыты были? Хочешь, чтобы все твое именишко, за государя взятое, назад к тебе пошло? Мало этого, хочешь важным боярином стать... думским, что ли? Оно и роду твоему княжескому под стать совсем!

— Ну, говори, что дальше, — грубо перебил Тараруя князь Василий, — по всему вижу, хочешь ты меня, разбойника, к себе в учителя взять... Брось лисить: не тебе у меня, а мне у тебя разбойному делу учиться нужно!

Князь Хованский пропустил мимо ушей эту новую дерзость своего пленника и продолжал прежним миролюбивым тоном:

— И мало для этого служить нужно: всего только пособрать бы тебе твоих молодцов да на площадь выйти с ними, погорланить малость...

— Или гиль опять? — быстро спросил Агадар-Ковранский.

— Гиль не гиль, — ответил Тараруй, — а народ православный своей святой правды искать собирается. Знаешь, поди, сам: цари-то — малолетки, а за них государственным делом баба, сестра их, правит... Нешто это полагается? Царь-то всякий, поди, по образу и подобию Божию, аки Адам сотворен, а всякая баба из ребра, что кочерыжка... Кочан на ней должен быть, так не Ваське же Голицыну кочаном стать?.. Не желают этого православные, и вот ты правде Божьей послужи со своими молодцами, а послуги твои втуне не останутся: зело добрая награда тебе будет.

XXV

ТАИНСТВЕННЫЙ ПРИСЫЛ

Ожидая ответа, князь Иван Андреевич, поглаживая бороду, лукаво смотрел на Агадар-Ковранского. Он не сомневался, что ответ будет утвердительный, и думал: «Ага, попался-таки, парень! Перед добычей-то никогда ворон ворону глаз не выклюет... Вот после,

когда добычу делить придется, так другое дело, а теперь... Да и что мне тебя в погребке гноить, ежели ты мне службу сослужить можешь? А погреб к тому же мне для хозяйства нужен; осень скоро — с деревенских огородов всякую всячину повезут, а тут держи тебя. После-то погреба не понадобится, прямо тебя, друга милого, в сырую землю упрячу»...

На лице князя Василия Лукича заметно отражалось волнение.

— Ну что же, родной, — заторопил его Хованский, — какой твой ответ будет?.. Вижу, что согласен ты...

— Нет, погоди, князь Иван Андреевич, — так и встрепенулся князь Агадар-Ковранский, — дай мне хотя до утра пораздумать.

— Чего раздумывать-то, сокол мой ясный?

— Нужно... Не все ты знаешь! Ведь я своих молодцов растерял; повздорили мы промеж себя малость...

— Эка, велика беда! — перебил его Хованский. — Хочешь, так я тебе под начало сколько угодно молодцов дам... Твоим-то уж ни в чем не уступят: злы, как псы цепные, и в разбойном деле, куда как искусны...

— Твоей, что ли, выучки? — пренебрежительно кинул ему Агадар-Ковранский.

— Вот именно! — залился смехом стрелецкий батька. — Ну что ж, милый, по рукам да и в баню?

— Нет, поразмыслить хочу, — уперся Василий Лукич, — а что и сулить, ежели ничего я сделать не сумею и не смогу... Молодцы-то мои, видно, к себе меня в атаманы опять хотят... Силой в свое становище ташили, да твои сорванцы им помешали...

— Ну что же поделать, ежели так вышло? Кто такое дело знать мог? — поднялся со скамьи князь Иван. — Так и быть, милый, подумай до утра, ежели тебе того так хочется... До утра недолго. А чтобы тебе думать не скучно было, так я тебе французского винца pošлю... Выпей, вкусное вино-то, я за ним на Кукуй-слободу к купцу Монсову посылаю и нарочно по малости беру, а то у нас, на Москве, его беречь не умеют... Подумай, подумай, друг сердечный; ежели надумаешь народу православному послужить, за мной пошли, а не надумаешь — и посылать не нужно... Я тут своих людишек сам пришлю; нечего и погреб понапрасну занимать, он мне под овощи, куда как нужен! — закончил разговор угрозою князь Хованский.

На этот раз узник не разразился, как прежде, злым хохотом, не отпустил вслед ухивившему обычной дерзости. Теперь он был всецело погружен в свои думы, и весь остальной мир как бы перестал существовать для него.

Холоп, принесший князю Агадару объемистый кубок вина и блюдо всякой снеди, очевидно, со стола самого князя Ивана Андреевича, застал его расхаживающим большими шагами из угла в угол. Василий Лукич словно не заметил вошедшего и обратил на

него внимание только тогда, когда тот умышленно громко кашлянул.

— Ты чего? — накинулся князь на холопа. — Пошел вон!

— Я... я-то ничего, — забормотал тот, — а вот Федор Леонтьев...

— Какой Федор Леонтьев?

— Шакловитый... подьячий... так он... сказать твоей милости велел, что ежели пить будешь, так поболтай посильнее... Тогда оно вкуснее станет... А я что? Мне ничего не надо...

— Ну, и пошел вон! — даже замахнулся на холопа князь Василий Лукич.

Холоп исчез, а князь Агадар-Ковранский опять остался один со своими думами, овладевшими им после ухода Тараруя.

«Ловко придумано, куда как ловко! — словно отвечая самому себе, воскликнул он. — Ай да Тараруй! На что другое, а на всякое низкое дело взять его... Хочет, чтобы народ смуту поднял... Потом раскольники пристанут, а там его стрельцы все совершат... Чего ловче! В смуте всякое бывает: ненароком можно и в кого не хочешь нож всадить... А в самом деле правду я говорил, что разбойникам у вельмож царских разбою-то учиться следует!»

И вдруг, когда так подумал князь Василий, словно кто-то неведомый щипнул его за самое сердце. Никогда этого раньше не бывало; никогда с той самой поры, когда он, князь Василий, потайно свою ненаглядную Ганночку увидел, не знало его сердце жалости, а тут вдруг опять заговорило. Вспомнилась князю-разбойнику тихая обителька на берегу лесного озера с ее ветхими, давно покинутыми мир стариками, вспомнилось, как они приняли его, болящего, обезпамятевшего, зная, что за зверь он лютый был, и вдруг этому неукротимому, полному всегда кипящей злобы человеку, стало жалко этого приюта мира и любви, до боли в неукротимом сердце жалко стало... А тут распаленное воображение представило ему пылающую смуту Москву. Вот где разгуляться есть, вот где есть чем потешить сердце богатырское, руки поразмять... Хорошо! Эх, пропадай все! Хоть день, да мой...

В горле Василия Лукича пересохло, и он, подойдя к столу, взял кубок с присланным от Хованского вином. Тут ему припомнился несвязный лепет холопа.

Инстинктивно последовав странному совету, князь Василий сильно потряс кубок и сейчас же послышались какие-то звуки: словно металл ударялся о металл.

«Это что?» — так и вспыхнул князь, и, забывая о жажде, повернул кубок вверх дном.

Вино вылилось, но вместе с ним на каменный пол упал, сильно звякнув при падении, большой ключ.

Не помня себя, Агадар-Ковранский схватил его, отер и несколько мгновений смотрел то на него, то на дверь. Потом с искаженным от волнения лицом он кинулся к двери, вложил ключ в замочную

скважину и повернул его. Дверь отворилась, князь Василий увидал полутемный коридор, но стражи в нем не было...

«Так вот как? — тихо проговорил он. — Знать, судьба... Э-эй, Тараруй, не удалось тебе меня в кабалу взять!»

XXVI

ПЕРЕД РОКОВОЙ ВСПЫШКОЙ

Не раз приходилось Москве переживать бурные гили, не раз все ее предкремлевские улочки и площади заливало живое, бурлящее море, но никогда еще столь долго не затягивалась смута. Бывало, гили вспыхивали и унимались, как вспыхивает и угасает всякое случайное пламя. Но на этот раз было не то: начиналась затяжная смута.

Московские люди притихли, попрятались подальше; им было хорошо ведомо, что смута коснется прежде всего их, и им прежде всего придется поплатиться и своими именьями, а не то и своей жизнью.

Князь Хованский ликовал. Он был вполне уверен в благополучном исходе своего предприятия. Все, казалось, говорило за его успех. Стрельцы восторженно принимали своего «батьку», когда он, так сказать, гипнотизировал их, наезжая то в одну, то в другую из слобод для беседы. Из внутренних городов приходили от верных людей, вожakov-раскольников, вести, что ежели только Москва начнет, то они на местах не отстанут.

Все это так вскружило голову Хованскому, что о предстоящем захвате молодых царей, а затем и о своей женитьбе на царевне-правительнице он говорил уже как о совершившемся факте.

— Ты, Андрей, свою-то царевну береги, — лукаво подмигивая, сказал он сыну, — она у тебя хоть и перестарок, — намекнул он на уже решенный брак князя Андрея с царевной Екатериной Алексеевной, — а девка в соку, по красивости-то и моей Софьюшке мало в чем уступит... Притом же тихая, не то что сестрицы Марфинька или Марьюшка, а о Софьюшке-правительнице и говорить нечего...

Князь Андрей кисло-вато улыбнулся: с одной стороны, ему не верилось, что природная царевна станет его женой, с другой — он завидовал отцу, не желая его смерти, чтобы занять московский престол.

— Эх, — ответил он, — кажись, чтобы старшая сестра у младшей дочерью стала, того и в зарубежных царствах не было!

Князь Андрей, профессиональный юрист, еще ничего не достигнув, уже подыскивал основание к тому, чтобы столкнуть отца, когда тот заберется на престол, и занять его место. Однако упоенный заранее восторгом старик не обращал внимания на отдаленные намеки сына.

У князя Ивана Андреевича был еще младший сын — князь Иван. Это был буйный молодец, гуляка, безобразник. Отец уже

давно махнул на него рукою: старику Хованскому думалось, что на этого сына он надеяться не может — больно ветра много в голове, тогда как спокойный, рассудительный, до тонкости знавший все законы Андрей Иванович казался ему самым подходящим в хитро-сплетенной интриге, которая должна была их обоих привести к престолу и возвести на него.

Уверенный в преданности стрельцов Тараруй все-таки несколько побаивался одного стрелецкого полка, не выказывавшего ему своих восторгов и безучастно относившегося ко всяческим его заигрываниям.

Это был стрелецкий Стремянный полк, особенно часто вызываемый для караулов в Большой дворец. Этот полк пользовался большим вниманием царевны-правительницы, часто видел обоих царей, и казался старому интригану ненадежным.

«Надобно удалить его, — размышлял князь Иван Андреевич, — а то одна ложка дегтю весь мед испортить может... Вон и бутырские солдаты неведомо еще на чьей стороне будут».

В самом деле в слободе Бутырке, у заставы, где были поселены гарнизоны солдат Бутырского полка, положение было довольно неопределенно. Солдаты были совсем новым войском, большинство их было взято из московских семей. Они знали, что при смуте прежде всего пострадают их родные, и потому далеко не были проникнуты желанием помочь в беспорядках стрельцам. Эти же последние были для Москвы чужаками: московских уроженцев среди них было немного; большинство составляли астраханские стрельцы и вообще уроженцы Поволжья. Все они были закоренелыми раскольниками, и на них-то была у князя Хованского самая твердая надежда.

В своем упоении князь Иван Андреевич даже особого внимания не обратил на побег князя Агадар-Ковранского из его погреба. Когда Хованские подсчитали свои наличные силы, для него сразу стало ясным, что при таком их количестве можно обойтись и «без народа», а — стало быть, и вожака для гилевщиков было уже не нужно.

«Пусть его! — решил князь Хованский, когда ему доложили, что пленник неизвестно как убежал. — Далеко не уйдет, тут на Москве трепаться будет... Найдется — повешу на первом заборе, вот и вся недолга!»

Он даже не назначил расследования о том, как удалось бежать пленнику: не до того было, — все его мысли были заняты предстоящим «великим действием».

А начало этого великого действия было назначено на 19 августа 1683 года, когда по Москве из Успенского собора в Донской монастырь совершался крестный ход в память избавления от нашествия татар-крымцев при царе Федоре Иоанновиче.

Обыкновенно этот крестный ход совершался с особенной пышностью. За ним всегда следовал сам царь, несший крест. Тут должны были идти оба царя, и у Хованского был план произвести

беспорядок во время пути к монастырю и захватить под предлогом «верного обережения» обоих царей — Ивана и Петра, оставив, однако, на свободе их сестру-правительницу.

XXVII СОРВАННАЯ СМУТА

Грозные дни переживала царевна-правительница Софья Алексеевна. Она ясно понимала свое положение, сознавала призрачность своей власти. Какая это власть, если стрельцы могли шатать ее из стороны в сторону, если они могли за несколько бочек вина, выкаченных им для пропоя, согнать с царства одних, возводить на престол других! Что это за положение, если развратный старик Хованский, плохой полководец на поле битвы, мог предъявлять требования на красавицу, царскую дочь, замужеству с которой был бы рад любой зарубежный король!

Царевна зубами скрежетала, платки свои кружевные в мелкие клочья рвала, всех своих горничных девок перещипала со злости, когда ей вспоминались замыслы Тараруя. В ней этими замыслами была оскорблена женщина, женщина гордая, властная, знающая, кто и что она такое, и притом еще женщина любящая...

После ночного свидания в беседке царевна не видела князя Василия Васильевича, — да мало того, что не видела, а сама не хотела его видеть.

«Когда сдержу свое слово и покажу ему, что Тараруй в свой смертный час будет отказывать, — приказала она передать своему любимцу, — тогда и свидимся...»

Однако тут говорила уже не одна только гордость. Как ни была могуча царевна, а и в ее мужественное сердце закрадывалась неуверенность в своем будущем. Она тоже хорошо знала, на какие силы опирался Хованский, и порой отчаяние начинало охватывать ее. В сущности говоря, она была одна, совсем одна; то трусливое боярское стадо, которое толклось постоянно в царских палатах, только раздражало ее своею растерянностью.

«У-у, окайнные! — думала не раз царевна. — Возьмет Тараруй силу, так от меня все они к нему и посыплются! Вот и вся их цена».

Однако в последние дни при царевне оказался человек, в которого она сразу же уверилась безусловно. Это был Федор Леонтьевич Шакловитый. Уже одного того, что он был прислан «светом-Васенькой», было вполне достаточно, чтобы царевна положила на него, как на каменную гору. И она на этот раз не ошиблась: Федор Шакловитый был именно такой человек, какой и нужен был Софье Алексеевне в переживаемое ею тревожное время.

Она сразу приблизила его к себе, долгие часы проводила с ним в разговорах о предстоявших событиях, и Шакловитый умел всегда успокоить ее тревогу.

— Брось даром крушить свое сердце, матушка-царевна, — говорил он, — что там будет, Бог покажет, а я так думаю, что не Тарарую нас взять...

— Думаешь? — спрашивала Софья Алексеевна.

Шакловитый презрительно передергивал плечами.

— В грош я тараруевских стрельцов астраханских не ставлю! — говорил он. — Они, что пес-пустолай, только на одно тьяканье и годны... Сделай по-моему, царевна, и увидишь, что выйдет... Доверься мне в этом! Богом клянусь — не пожалеешь!..

Шакловитый уже не однажды развивал перед правительницею в подробностях свой план борьбы со смутой, но только накануне того дня, когда должен был идти роковой крестный ход, царевна-правительница сказала ему:

— Ну, Федор, сделаю по-твоему, а в остальном сам действуй...

Глаза молодого человека заблестели радостью, когда он услышал эти слова.

В день крестного хода, несмотря на все страхи все московские улицы и проулки, по которым он должен был пройти в Донской монастырь, кишели народом. Все знали, что вряд ли дойдет до монастыря крестный ход, что на пути ему тараруевы приспешники приготовили засаду, и что дело дойдет до кровопролития; но все-таки во всех говорило любопытство и собрало на улицы толпы праздных людей.

Среди них был и недавний пленник Тараруя — князь Василий Агадар-Ковранский.

Когда он вырвался из погреба Хованского, то первым, на кого он наткнулся, очутившись на свободе, был Федор Шакловитый. Тот увел к себе освободившегося пленника, скрыл его у себя до поры до времени и только теперь, в день крестного хода, позволил ему выйти на московские улицы, чтобы посмотреть, как начнется тараруево «великое действо».

Князь Василий Лукич ходил из улицы в улицу, как сонный. Всюду он видел буйные толпы пьяных стрельцов, слышал угрозы залить Москву кровью и не видел ничего такого, что было бы приготовлено хотя бы для отпора начинавшегося бунта.

А что последний был неизбежным, это казалось очевидным.

— Возьмем за себя великих государей, — во все горло орал пьяные, — пусть они сами царствуют, а бабьего хвоста нам на престоле не нужно...

Такие крики раздавались всюду. Начало своего «великого действия» Тараруй полагал именно в захвате царей. Это он считал наиболее важным; остальное все, по его расчетам, должно было пойти, как по маслу.

Вдруг незадолго до того как кончилась в Успенском соборе литургия, показались стройные ряды всадников, направляющихся через Москву к Коломенской заставе. Это выходил в полном своем составе Стремянный полк, тот самый, на который не питал надеж-

ды князь Хованский. Полк красиво прошел по улицам, никого не трогая, и это еще более убедило бунтовщиков в их успехе.

— Видел, князь, стрелянных? — ликовали полупьяные стрельцы. — Теперь нашему делу ни от кого помехи не будет...

Чу, зазвонили колокола. Это пошел крестный ход. Вот его хоругви, слышны песнопения... Вот идет духовенство.

Стрельцы не двигались с места. Они стояли, разинув рты, не зная, что им делать. Ни царей, ни царевны-правительницы за крестным ходом не было...

— Отъехали цари-то с Москвы, — пронеслась вдруг весть среди обескураженных бунтовщиков, — стремянные их поезд провожать позваны.

Хитросплетенный план Тараруя потерпел крушение.

XXVIII ЦАРСКИЙ ОТЪЕЗД

Да, не удался в самом своем начале план старого Тараруя!..

Несчастные пьяницы-стрельцы были подбиты на то, чтобы захватить обоих царей и скрыть в подмосковном дому своего батьки. Но царей на крестном ходу не оказалось, и захватить было некого. Повод к смуте был вскрыт разом: и всеми сторонниками Хованского овладели смущение и растерянность. Сам Тараруй не знал, что делать. Теперь ему уже не о царстве нужно было думать, а о том, как спасти свою голову. Старик хорошо знал нрав своих стрельцов. «Сумы переметные», — нередко называл он их сам. Всякая неудача действовала на них угнетающе, и теперь можно было ожидать, что если не все полки, то большинство их, перейдет на сторону правительницы.

«Изловить! Придушить сразу! — было первою же мыслью Хованского, когда он получил известие об отъезде царей. — Все равно пропадать теперь».

Но момент был уже упущен. Весь царский двор был в селе Коломенском, и около него для стражи оказался Стремянный полк, достаточно сильный, чтобы отбить нападение стрельцов, если бы только те осмелились на это.

Но стрельцам было не до того. Они приуныли, потеряли всякую бодрость и пьянствовали так, что в кружалах не хватало вина.

Однако Хованский не хотел сдаваться. Он выдумал пугать правительницу «новгородскими боярами», которые будто бы прибыли в Москву для всенародной смуты, и совсем уже глупо спрашивал у правительницы, что ему с ними делать?

«А тебе бы, воевода, — последовал ответ, — тех новгородских бояр взять за себя и разыскать ими, для чего они то действо затеяли, и, разыскав все, бить челом великим государям, пусть бы грамоту свою дали и тех смутьянов по своей царской воле пожаловали».

Другими словами, Хованскому указан был обычный порядок судебного расследования по делам подобного рода и при этом даже

было подчеркнуто, что, дескать, он, воевода, своего дела не знает, ежели о нем расспросы делает.

Это было таким ударом по самолюбию князя, что он совсем голову потерял и начал было Москву мутить и кровавую гиль поднимать.

Однако опять последовала неудача! Московский народ не хотел гили и был против стрельцов, которых считал рассадником смуты; стрельцы, растерявшиеся после первой неудачи, боялись народа, зная, что они — ничто без него, и не годны были ни к каким вооруженным выступлениям.

Раскольники же, видя, что ни народ, ни стрельцы смуты не начинают, тоже сидели, не давая о себе ни слуха ни духа; так что Тараруй и его сын остались совершенно без союзников. А тут еще наступило новолетие. Нельзя сказать, чтобы день 1 сентября праздновался Москвою особенно пышно, но, как и во все другие праздники, москвичи любили основательно выпить в течение его. Москва в день «действия нового лета» обычно имела пьяный праздничный вид, а на этот раз осталась трезвою. От двора пришел указ Хованскому быть у «действия нового лета», а он струсил сам, не пошел. Не пошли и его стрельцы. Из народа пришли только пьяницы, и патриарх остался очень недоволен. Еще бы, при торжестве был только один околотный.

Москва испугалась, с одной стороны, стрелецкого бунта, а с другой — была уверена, что боярские дети и люди отмстят в день новолетия стрельцам за беспорядок на крестном ходу. Таким образом, с обеих сторон было пусто, а Хованский, не имевший точных сведений о настроении стрельцов и народа, был уверен, что он останется совсем без союзников.

О малолетних царях он получал довольно верные сведения. Они, благоверные, изволили путешествовать. Из села Коломенского оба царя отехали в Воробьево, из Воробьева — в Павловское, затем — в Саввин сторожевой монастырь, где праздновать изволили память чудотворца Саввы. Затем они вернулись в Павловское, а из него проехали в Хлябово, а из Хлябова — в село Воздвиженское, где и были 14 сентября, дабы отпраздновать здесь престольный праздник.

Ездили-то цари не совсем просто. Не Бог весть какие они села объезжали, а массу народу собрал их поезд. Напрасно сказал поэт, что «живая власть для черни ненавистна». Во время этого путешествия царей, из которых один был недоумок, а другой — малолеток, около них собралась такая масса всякого народа, какая и в Москве не всегда собиралась.

Софья ездила с братьями и ловко придумала.

Прибыл с Украйны гетманыч Семен, и ради него царевна-правительница стала рассылать всем боярам, окольным, думным людям, стольничим, стряпчим, дворянам московским и жильцам указы о походе из Москвы в Воздвиженское; всем было приказано съехаться непременно к 18 сентября. В этот день назначался боль-

шой прием гетманыча великими государями, а так как в канун этого дня были именины царевны-правительницы, то еще 16 сентября масса московской знати переполнила Воздвиженское. Тут были не только придворные люди, но и множество простых стрельцов, пожелавших воспользоваться именинным днем, чтобы заявить о своем раскаянии и принести повинную царевне.

Князь Иван Андреевич Хованский видел, что вся его затея рушилась, но для вида все еще держал голову высоко. Он оказался в полном одиночестве; около него ютился еще сын его Андрей, прекрасно понимавший, что его судьба связана безусловно с судьбою отца. Второй сын, Иван, словно не замечая, что происходит, пьянствовал и беспутствовал со стрельцами, как прежде.

Нельзя сказать, что князь Иван Андреевич казался забытым или униженным; напротив того, он держался совсем гоголем, отдавал распоряжения, как будто ничего не произошло в Москве, и не показывал вида, что число преданных людей вокруг него с каждым днем все таяло и таяло. Должно быть, он все еще питал надежду, и эта надежда прочно сидела в нем, хотя бы потому, что он видел, что и князь Василий Васильевич Голицын все еще остается в Москве и даже не делает никаких сборов к отъезду.

— Обнесли нас перед царевой-то, — лицемерно вздыхал он в беседах с сыном, — уж если она своего... милого дружка к себе не требует, так, значит, ничего она не задумывает, и все пойдет на Москве по-старому.

Однако 17 сентября сильно пугало Тараруя. Он уже прознал, что на день своих именин царевна назначила в Воздвиженском «большое сидение», то есть совет по каким-то государевым делам. Если бы она не призвала к этому сидению и Хованского, то это значило бы, что они в великой опале, но этого не было. Особым гонцом правительница просила и князя Ивана, и князя Андрея прибыть к ней «на водку», то есть, другими словами, она приглашала их и на созываемый ею совет.

Тараруй был в восторге от этого приглашения и, нимало не медля, собрался в Воздвиженское.

XXIX ЛЮБОВЬ И ТРОН

Князь Василий Васильевич Голицын тоже получил приглашение прибыть в Воздвиженское на именины царевны, но оно было далеко не таково, как приглашение Тараруя.

Царевна-правительница уже чувствовала и ясно видела, что она в состоянии исполнить те обещания, которые несколько хвастливо были даны ею князю Василию при ночном свидании в беседке, и написала ему очень нежное приглашение.

«Свет ты мой, Васенька, солнышко ты мое ненаглядное! — читал князь Василий Васильевич в нежном послании своей разлапуш-

ки. — Проходит наша темная ночь, и радостный светлый день наступает, но как в беде, так и в радости не могу я тебя забыть, моего светозарного. Спасибо тебе за Федю Шакловитого! Вот парень — в молодые лета умудренный опытом старца седого. Он мне один только добрый совет подал; но я так думаю, что не он, а ты мне добро сделал, ибо если б ты его ко мне не прислал, так и его в тяжелые години около меня не было бы. Так что не он, а ты мне помог окаянную хованщину избыть. Теперь же я ничего не боюсь. Около меня народ сошелся, и происки врага мне не страшны. Приезжай ты, свет мой, в Воздвиженское, где я с братьями милыми и с мачехой будем справлять именины мои, святой Софии, премудрости Божией, коей имя невозбранно ношу я с твоею теперь, Васенька, помощью. Назначила я после водки у великих государей великое с боярами сидение. Ты на него хотя и не приезжай, а после пожалуй. Может быть, и исполнится слово мое, кое я тебе в нашем особливом разговоре сказала, и увидишь ты, какое кому царство проклятый Тараруй будет отказывать. А тебе, соколу моему поднебесному, привет от меня. Поцелуй же мои потом последуют, когда мы без письма с глазу на глаз встретимся».

Это письмо, дышащее и любовью, и ненавистью, произвело большое впечатление на князя Василия Васильевича. Он не любил Хованского, считал его вредным интриганом, но уже по той паутине, которую раскидывал Тараруй, видел в нем человека, куда более способного, чем дядя царевны, Иван Михайлович Милославский. И ему жалко было князя Ивана Андреевича, жалко потому, что, по его соображению, этот зарвавшийся вельможа, как бы там ни было, человек с русской душою, мог бы быть полезным русскому царству. Но Голицын видел, что князь Иван Андреевич приуготовил свою судьбу, и теперь, жалея его, размышлял, как бы устранить от него его ужасную участь.

Шакловитый был у князя Василия Васильевича постоянным гостем и являлся к нему запросто.

Скромный подьячий величался теперь уже думным дьяком и правил многие царевы дела. Он отнюдь не был снисходителен ни к Хованскому, ни к стрельцам.

— Брось ты, княже, жалеть эту мразь, — сказал он Голицыну. — Много их и обо всех-то их, от первого до последнего, плаха да виселица плачут. Одну голову срубить — десяток на ее место явятся. Одного повесить — десяток с петлями на шее прибежит. Чего их жалеть-то? Э-эх! Добра еще царевна-правительница! Собрать бы их всех на Красную площадь да перерезать, как персюки баранов режут, чтобы другим, что после придут, неповадно было бунтовать. А то сам посуди, из-за чего они стараются? Очень им переболело, кто на царстве будет; ведь Романовы, Милославские, Хованские — один им дьявол. Кто их водкой поит, тот им и царь. А польза какая от них? Вот смутьянят ляхи, обидные грамоты рассылают, Украину в подданство к султану зовут, чтобы от нас их отшибить. А пошли-ка этих стрельцов на рубеж, так разве они

годны для царского дела? Нет, новые солдаты, куда пригоднее. Ежели бы моя воля была, вывел бы я все это войско стрелецкое до единого... Смута только одна от него...

В ответ на такие суждения князь Василий только головой кивнул.

— Всякому овощу свое время, — произнес он. — Хорошо, что теперь и стрельцы есть. Буйны они, что говорить, а все-таки сила. Силою же один только ум владеет. Настанет время, когда и сами они пропадут. И так я думаю, что такое время не за горами. Недолговечна правительница. Сам, поди, знаешь, не по дням, а по часам растет богатырем нарышкинец-то. Мало времени пройдет — и придется правительнице ему царство сдать. А уж он-то и не с одними стрельцами управится.

— А скажи мне, вот ежели бы, к примеру сказать, Петр-то Алексеевич царем стал? Был бы ты ему слуга или нет? — спросил Шакловитый.

— Был бы! — без всякого раздумья ответил князь Василий. — Не за страх, а за совесть был бы, хоть и нелюб мне. Ведь все же он — царь над Русью венчаный.

В князе Василии Васильевиче уже сказывался будущий дипломат, умеющий заглядывать за завесу грядущего.

XXX

НА ПУТИ К ПЛАХЕ

Вся московская знать двинулась в Воздвиженское, как только стало известно, что царевна Софья там будет справлять свои именины. По дороге в тихое, малопосещаемое село потянулись длинные обозы; с утра до ночи, а то и ночью видны были колымаги, окруженные вершниками, слышались непрерывные крики, брань, понукание, и уже одно это должно было бы показать князю Хованскому, что затеянное им дело потерпело полнейшую неудачу.

Однако старый Тараруй все еще не хотел сдаваться; он никак не мог поверить тому, что его тайные замыслы могли быть раскрыты. Он не допускал мысли, чтобы кто-либо мог прознать его сокровенные тайны, а все то, что пока произошло, еще отнюдь не составляло, по его мнению, никакого преступления, в котором можно было бы обвинить его. Такие мути и гили, как вызванная им, и раньше того не раз бывали в Москве; задорность и буйность стрельцов были хорошо известны, а он ничем не проявил себя — ни подстрекательством к мятежу, ни даже попустительством на него. Да и мятежа-то никакого не вышло, все обошлось тихо. А злые языки мало ли что говорить могут? Их мерзкого бреханья не переслушаешь.

Так думал Хованский, и женской придурью, то есть капризом, объяснял себе желание царевны отпраздновать именины не в столице, а в далеком подмосковном селе. Наконец, видя, что все отъезжают из Москвы в Воздвиженское, князь Иван Андреевич решил и сам поехать вместе со старшим сыном, князем Андреем.

Было ясное сентябрьское утро, когда, наконец, из Москвы к Пушкину тронулся поезд Хованского. Желая показать, что ему бояться нечего, князь Иван Андреевич не взял даже стрелецкого конвоя, а ехал запросто. Думалось ли ему в те мгновения, когда он, отъезжая, крестился, что он в последний раз в жизни видит блистающие главы московских сорока сороков?

А оставленная им Москва словно теряла голову от неожиданно нависшей над ней беды. Такое с ней случалось еще впервые. Правда, отъезжали на время гили и Тишайший царь, и царь Михаил Федорович, но столица все-таки никогда не оставалась без высокой власти, к которой она уже привыкла в предшествующее царствование. Всюду шатавшиеся пьяные стрельцы, то там, то тут задиравшие мирных обывателей, как бы хотели показать, что ждало бы москвичей, если бы они, «тараруевы детки», стали и на самом деле хозяевами положения, и тем самым как бы оттеняли значение высшей власти для мирного населения. Скоро эти полупьяные буяны стали ненавистны своими бесчинствами для всех, кто оставался в Москве, и если бы не уверились, что в конце концов правительство справится со смутой стрелецкой, против них двинулся бы сам народ.

Князь Василий Лукич во все эти смутные дни шатался по Москве, к чему-то все приглядываясь, чего-то все ожидая. Ему казалось, что «тараруево действо» далеко еще не закончено и что так ничем не может быть кончено. Порой ему становилось жалко, что он не принял предложения Хованского, порой он обвинял самого себя в том, что сам до известной степени был виновником всей этой московской бестолочи, только напрасно перебудоражившей людей.

«Э-эх, если бы в прежнее времечко да это, — думалось ему, — уж тогда было бы, где разгуляться!.. А то и народ-то какой пошел: режь его, а он, как теленок, голову протягивает. И стрельцы тоже — хороши молодцы... нечего сказать! А еще войском считаются!..»

И опять в душе этого неукротимого человека рождалась злоба, притом совершенно беспричинная в его положении. Вряд ли он даже знал, на кого он злобствовал; он сознавал только одно, что все делается не так, как ему хотелось бы, что смута не принимает такого характера, какой он представлял себе. В то же время князя Агадар-Ковранского неудержимо тянуло в Воздвиженское, где была теперь вся Москва. Ему хотелось видеть, как встретится Тараруй с неукротимой царевной и чем завершится их встреча. Натура князя Василия Лукича была непосредственна, он легко поддавался своим порывам, и, когда прознал, что князья Хованские собрались на царевнины именины, решил и сам отправиться в Воздвиженское, дабы стать свидетелем того, чем завершится наконец «тараруево действо». Как ни неукротима была душа этого человека, все-таки то, что он пережил в последние дни, как бы погнуло его и уже лишило прежней мощи, в которой всегда сказывалось более безумства, чем ума.

Нельзя сказать, чтобы замыслы Тараруя, в которые он столь неожиданно проник, не привлекали его. Все преступное скорее находило отклик в душе Василия Лукича, чем доброе. Злость заста-

вила его помешать Тарарую, выдав Шакловитому его тайные планы, а теперь, когда благодаря доносу «тараруево действо» было проиграно, ему было уже жалко этого лихого старика, хотя и не прикидывавшегося доброжелателем простого народа, но все-таки кое-что для него делавшего.

Обуреваемый такими мыслями, Агадар-Ковранский, пристроившись на чьем-то возке, начал пробираться к Воздвиженскому.

Между тем Хованский добрался уже до Пушкина. Дорога была для него нелегкая. Много народа шло по ней, и со своим величайшим прискорбием он должен был видеть, что все эти люди шли к Воздвиженскому, то есть на поклон к царевне. Грустно было на душе у Тараруя, но тем не менее он считал свое дело далеко еще не проигранным.

— Э, пустяки все, — сказал он сыну, князю Андрею Ивановичу, стараясь ободрить его. — Полно, сынок, не робей!.. Не в таких мы с тобой передрыгах бывали, а сухими из воды всегда выходили. И теперь мы выйдем. Не бойся!..

— А слышал ли, батюшка, в чем виноваты нас? — спросил приунывший князь Андрей. — Знаю, что заведомую напраслину взводят, а как бы дыбою в застенке наше дело не кончилось.

— Э-э, пустое! Какая там дыба? Не так-то легко именитого князя на дыбу вздергивать, не простые мы с тобой люди. Прежде чем в застенки отправлять, спросят, поди нас, так ли то было, или нет.

— А ежели, батюшка, не спросят? — настаивал младший Хованский. — Ежели вот и видеть-то нас царевна не пожелает.

— Ну, тогда мы и сами на нее не взглянем, — дерзко сказал старик. — Возьмем да назад в Москву и отъедем, а там нас стрельцы-молодцы не выдадут.

— Хорошо, кабы так!.. А гляди-ка, батюшка, никак боярин Лыков из Воздвиженского назад едет.

Андрей Иванович не ошибался. Прямо на поезд Хованского двигался отряд стремянных стрельцов, во главе которых был боярин Лыков, один из боевых воевод царя Алексея Михайловича, личный враг Хованского.

— Эге, князь Иван Андреевич, — закричал он еще издали. — Поздно ты на царевнины именины собрался! Соскучилась по тебе наша матушка и вот теперь меня за тобой послала. Ну-ка, поедем вместе, скорее будем.

Глазом не успел моргнуть Хованский, как его поезд был окружен стремянными. Теперь и его сердце почувствовало недоброе.

XXXI

КОНЕЦ СТРЕЛЕЦКОГО БАТЬКИ

А в Воздвиженском в Софьиин день, несмотря на именины царевны, после поздравления ее, началось в постоялой избе у съехавшихся бояр «о государевом деле великое сидение».

— Великим государям ведомо учинилось, — доложил думный дьяк заседавшим боярам, — что боярин князь Иван Хованский, будучи в приказе надворной пехоты, а сын его, боярин князь Андрей, в судном приказе, всякие дела делали без великих государей указа, самовольством своим и противясь во всем великих государей указу; тою своею противностию и самовольством учинили великим государям многое бесчестье, а государству всему великие убытки, разоренье и тягость большую. Да сентября во второе число, во время бытности великих государей в Коломенском, объявилось на их дворе у передних ворот на них, князя Ивана и князя Андрея, подметное письмо: извещают московский стрелец да два человека посадских на воров и на изменников, на боярина, князя Ивана Хованского да на сына его, князя Андрея: «На нынешних неделях призывали они нас к себе в дом — человек девять пехотного чина да пять человек посадских — и говорили, чтобы помогали им достигать царства Московского, и чтоб мы научили свою братию ваш царский корень известь, и чтобы прийти большим собранием неожиданно в город и называть вас, государей, еретическими детьми и убить вас, государей обоих, царицу Наталью Кирилловну, царевну Софью Алексеевну, патриарха и властей; а на одной бы царевне князю Андрею жениться, а остальных царевен постричь и разослать в дальние монастыри; да бояр побить: Одоевских троих, Черкасских двоих, Голицыных троих, Ивана Михайловича Милославского, Шереметевых двоих и иных многих людей из бояр, которые старой веры не любят, а новую заводят; и как то злое дело учинить, послать смущать во все Московское государство по городам и деревням, чтобы в городах посадские люди побили воевод и приказных людей, а крестьян подучать, чтобы побили бояр своих и людей боярских; а как государство замутится, и на московское бы царство выбрали царем его, князя Ивана, а патриарха и властей поставить, кого изберут народом, которые бы старые книги любили».

С напряженным вниманием слушало все «сидение» этот странный обвинительный акт против могущественного вожака стрельцов. Все знали, что тут много прикрас, но вместе с тем было понятно и то обстоятельство, что в основу обвинения заложена сама сущая правда.

— Вот вам, бояре именитые, и слово знаменитое, — звонко выкрикнула царевна, все время безмолвно слушавшая чтение. — А к тому вам добавить хочу, что и сам-то Ивашка Тараруй на такое помыслить осмелился, чтобы я, царевна, за него замуж пошла, и через то самое оный Тараруй над вами царем бы стал.

— Прости, царевна, — выступил один из бояр, — если бы шуты такое говорили, так я посмеялся бы, может быть, а теперь смеяться не смею, а верить не могу. Слышите, бояре, Тараруй у нас царем захотел быть!

— Полно тебе лисить!.. — раздался голос из задних рядов. — Сам, поди, лучше других знаешь, на что Тараруй метил.

— Откуда знать-то мне? — высокомерно ответил вопросом первый боярин. — Я с Тараруем пива не пивал.

— С раскольничьими идолопопами зато ведался. Сами, поди, сговаривались старую веру на новое место стрельцовскими бердышами на наших головах укрепить.

Сама собой разгоралась ссора, сравнительно не редкая на подобных боярских «сидениях». Софья прекрасно знала, что завершением таких ссор обыкновенно бывает всеобщая потасовка, а между тем момент был вовсе не такой, чтобы дать страстям разгуляться.

— Молчите, бояре! — гневно выкрикнула она. — Кто что думал, о чем с кем сговаривался, того я не спрашиваю теперь, может быть, и после не спрошу, а созвала я вас сюда в именинный свой день затем, чтобы вы сказали мне, повинен ли князь Иван Андреевич Хованский с сыном своим, князем Андреем, в лихом умысле на наши царские величества?

Задавая такой вопрос, Софья даже со своего трона приподнялась и теперь стояла, обводя пылающим взором все собрание. Она хорошо знала всех этих людей и проникла в сокровенные их мысли. Среди заседавших бояр не было ни одного, который не страшился бы Тараруя, как пожара. Ведь князю Ивану Андреевичу ровно ничего не стоило бы напустить на своего противника ватагу пьяных стрельцов, им же напоенных, и тогда, конечно, недовольного им человека постигло бы полное разорение. Этого и боялись московские знатные люди.

Тараруй для них был неуязвим. Ведь не мог же он в самом деле отвечать за пьяные стрелецкие безобразия. Ну, взыскал бы он с первого попавшегося батогами, а какой был бы толк от того разоренному? Эта боязнь сказывалась даже и теперь. Софья, не слыша ответа на поставленный ею ребром вопрос, сильно заволновалась, но все-таки нашла выход из такого положения.

— Это хорошо, что вы не сразу отвечаете, — пренебрежительно кинула она собранию. — Подумайте, подумайте хорошенько, авось по правде ваше решение будет.

— Матушка-царевна, — перебил ее слова вбежавший с докладом один из назначенных в караул боярских детей. — Дозволь тебе сказать, государыня, что привез боярин Лыков Ивашку Тараруя с его отродьем, и стоят они у села на большой дороге, в том месте, где ты указала.

Словно буря внезапно налетела и оживила дотоле упорно молчавших бояр.

— Повинен... в лихом умысле на здоровье царских величеств князь Хованский... И Иван, и Андрей повинны... — кричали в первых рядах.

— Казнить их обоих, чтобы и памяти от них не осталось... — неистовствовали задние.

— Худая трава из поля вон... Да здравствует царевна Софья Алексеевна! — повторяли третьи.

— Да живет она многие лета!

О царях Иване и Петре никто не вспоминал.

— Ручку, ручку дай поцеловать, царевна милостивая, — так и подкатился к Софье Алексеевне тот самый боярин, которого только что уличали в сношениях с раскольниками, поддерживавшими Хованского. — Ты одна у нас солнце красное и тебе мы все верою и правдою служим. А Ивашке Тарарую смерть. Пусть ему голову отрубят за то, что таковое помыслить осмелился. Нечего такую голову и жалеть, если в нее столь срамные мысли приходят...

— Так каков же ваш приговор, бояре? — покрывая весь шум, выкрикнула царевна. — Повинен, говорите, князь Иван Андреевич Хованский с сыном Андреем?

— Повинен... Смертью казнить! — опять раздался голоса. — И откладывать дело нечего: палачей не занимать, поди стать, всегда найдутся...

— Ты слышал, дьяк? — обернулась царевна к дьяку, читавшему обвинительный акт. — Поди же, не медля, к боярину Лыкову и скажи ему, что присудили бояре. Пусть Федя Шакловитый с тобой идет для верности и стремянных поболее захватит с собой на случай, ежели гиль какая выйдет. Оба идите и исполните, как бояре приказали.

Вовсе не ожидал столь скорого для себя конца несчастный князь Иван Андреевич. Когда он увидел, что приближается дьяк, то подумал, что его послали поторопить нового гостя с приходом на именинное пиршество. И вдруг вместо этого он услышал чтение грозного обвинительного акта и, прежде чем дослушал его до конца, уже понял, что настали последние мгновения жизни его и его сына.

— Богом клянусь, — воскликнул он, — что никогда ничего такого не замышлял, а если бы сын мой такое помыслил, так я своими руками удушил бы его.

Громкие клики стремянных заглушили слова осужденного. Притащили из леса толстый обрубок дерева, и этот обрубок заменил плаху. Один из стремянных вызвался быть палачом, и вскоре после того скатились с плеч головы и старого Тараруя, и его сына.

У той части русских людей, которая столь яростно противилась надвигавшемуся прогрессу, было вырвано могучее оружие. Так называемые раскольники лишились единственного смелого человека, не задумывавшегося идти против укрепившейся династии новаторов Романовых; прогресс кровавым путем сделал новое завоевание.

XXXII

ПОСЛЕ КАЗНИ

Когда князь Агадар-Ковранский увидел, как под неумелой рукой добровольца-палача скатились головы князей Хованских — отца и сына, им вдруг овладело неистовое бешенство, приступов которого он не испытывал уже давно. Он совершенно забыл, что эти головы скатились не без его участия, что если бы не он, так, может быть, все пошло бы по-иному: князь Хованский не очутился

бы в столь жалком положении, и эта голова, столь дерзко думавшая о царском престоле, уцелела бы на плечах.

Теперь в глазах Агадар-Ковранского оба эти человека были жертвами коварства, и их кровь вопияла к небесам об отмщении. Но кому же было мстить за них? У несчастного Тараруя и его сына было много друзей среди московской знати, когда сила была на их стороне, но эти друзья — и явные, и тайные — не пошевелили бы пальцем, чтобы спасти обреченных, и несчастные жертвы остались бы одни в роковое мгновение своей жизни.

Все это промелькнуло в голове Василия Лукича, и он, словно повинувшись внутреннему властному порыву, не помня себя от ярости, вдруг выкрикнул:

— Нечестивцы! Изверги! Да падет эта кровь на головы ваши!

Этот крик, обратившийся в отчаянный вопль, резко нарушил мертвящую тишину, вдруг воцарившуюся около места казни. Он как бы привел в себя сотни людей, словно застывших при виде ужасных мгновений, словно почувствовавших дыхание смерти, пронесшейся среди них, нарушил великое очарование ее, возвратил всех к жизни. А в следующее же мгновение князь Василий Лукич почувствовал, как несколько рук ухватило его так, что он даже не мог двинуться с места.

— Стой, молодец! — услышал он над собой. — Откуда взялся?

— Чего спрашивать? — зазвучал другой голос. — Нешто не видно, что он из тараруевских ребят окаянных! Что с ним долго возиться? Плаха не убрана, пусть идет сынок за батькой, туда ему и дорога!

— Проклятые, — рванулся было князь Агадар-Ковранский, но его держали крепко, и попытка оказалась тщетною.

— Врешь, негодник, не уйти тебе! — крикнул один из державших. — Пришибить его, вот и вся недолга!

Несколько опомнившийся Агадар-Ковранский, словно в тумане, видел вокруг себя возбужденные, дышавшие злобой лица. Его уже оттащили в сторону от дороги.

Пинки, тумачи, удары градом сыпались на него, но он не чувствовал ни боли, ни унижения. Ярость словно слепила его. По кафтанам и шапкам он различал, что его схватили стрельцы преданного царевне Стремянного полка, и, стало быть, о пощаде или хотя бы о промедлении казни и думать было нечего. Стремянные ненавидели всех тех, кто держал сторону Тараруя, теперь же они были распалены зрелищем его позорной смерти и искали, на ком бы сорвать свою ярость. Жертва была налицо, и некому было остановить этих разъяренных людей.

Но этого не случилось. Видно, князь Василий Лукич свершил еще не все, что суждено было ему свершить на земле.

— Эй, молодцы, — раздался властный оклик, — что еще такое вы затеяли? Кого это вы уму-разуму учить задумали?

Услышав этот голос, стремянные оставили Агадар-Ковранского и даже несколько отступили от него. Тот взглянул вперед и увидел

перед собою Шакловитого. Князь Василий впервые видел его после встреч в Москве. Это был далеко не прежний шустрый подьячий. Федор Леонтьевич сидел на коне, молодежато избоченясь, и гордо, даже презрительно смотрел перед собою. Когда он увидел порядком потрепанного стрельцами князя Агадар-Ковранского, в его зоре не отразилось ничего: ни удивления, ни сострадания. Он смотрел холодно и безучастно, как будто никогда ранее не видал Василия Лукича.

— Что у вас такое, молодцы? — переспросил он.

— Да вот, батюшка, — выступил один из стремянных, — вора поймали... проклятое тараруево отродье!

— Не похож что-то! — отозвался Шакловитый. — Тараруевых-то деток, поди, сами выдаете; я чуть не каждого в лицо знаю, а такого что-то не видел!

— И из нас никто его не знает! — последовал ответ. — Неведомый человек, а нас всех паскудить стал, как тараруева голова с плеч скатилась! Ну, мы и взялись было за него!

По лицу Шакловитого скользнула тень недоумения. Он опять взглянул на Василия Лукича и даже слегка пожал плечами при этом.

— Вот что, братцы, — сказал он после недолгого раздумья, — вы-то — не тараруевы дети, престолу верны, а своевольничать начинаете, как и те, окаянные. Мало ли что бывает! Человек, никому из нас не ведомый, а вы за него принялись. Не дай Бог, зашибете еще...

— Что же делать-то с ним? Научи, кормилец! — слышались просьбы.

— Как что? Будто не знаете? А еще государыне-царевне служите верой и правдой! На суд к ней, пресветлой, отвести его надобно, вот что! Как она присудит, так тому и быть!

— А и вправду, что так! — закричали кругом. — Человек неведомый, может, и не тараруев он бес. Волоки его, братцы, на село!.. Пусть сама царевна скажет, что с ним делать...

Василия Лукича потащили.

XXXIII

У КРЫЛЬЦА

Он даже не упирался и не отбивался, прекрасно понимая, что всякое сопротивление в его положении было бы бесполезно. Напротив того, очутившись перед правительницей, он все-таки мог бы надеяться на некоторую пощаду: ведь как-никак, а Федор Шакловитый, очевидно, становился теперь большим человеком. Князю Агадар-Ковранскому не казалось странным даже его поведение у места казни. То, что Шакловитый сделал вид, будто не узнает князя Василия, было вполне естественно. Ведь если бы он признался перед разъяренными стремянными, что знает их пленника, то

это разъярило бы их еще более, и — кто знает — как бы могла закончиться внезапно вспыхнувшая свалка!

Все это понимал князь Василий и покорно следовал за схватившими его стрельцами. Идти было не особенно далеко. После замечания Шакловитого стремянные обращались со своим пленником не так уже свирепо; их ярость, очевидно, уже прошла, и они теперь думали только о том, чтобы поскорее представить его своей возлюбленной царевне.

Вот и высокая тесовая изба с красивым резным коньком. Она казалась лучшей из всех построек Воздвиженского. Да так и было: именно в этой избе приютилась на эти смутные дни царственная именинница. Толпа орущих стремянных вместе со своим пленником приблизилась к крыльцу и начала громкими криками вызывать к себе царевну. Несколько времени никто не выходил. Крики усиливались и привлекли любопытных и зевак.

Вдруг одно из окон приподнялось и под откидной рамой выглянуло красивое женское лицо.

— Царевна, сама царевна! — загудели голоса. — Будь здрава, мать наша, на многие лета!.. Пожалуй нас, матушка, своей милостью! Выйди к нам!

Как-то совсем незаметно под навесом крыльца вдруг очутилось несколько бояр, образовавших собою внушительную группу, и только тогда на фоне этих величавых стариков появилась могучая, рослая женская фигура. Это сама царевна-именинница сочла нужным выйти на зов своих вернейших приверженцев.

Громкий клич радости огласил площадь; словно море вдруг заволновалось и зашумело от этих криков, рвавшихся уже из сотен могучих грудей. Шапки полетели вверх; видимо, восторг охватил всех этих людей. О пленнике забыли, и он остался совершенно на свободе.

В эти мгновения князь Василий Лукич мог бы без труда скрыться; ему для этого стоило только несколько податься назад, и тогда он очутился бы среди толпы, которая вполне укрыла бы его, и выбраться из которой уже не составило бы труда. Но он не сделал ни шага; он словно забыл сам в эти мгновения обо всем на свете и стоял, как очарованный, глядя на царевну Софью, эту красавицу-женщину, гордо и дерзко смотревшую с высоты крыльца на шумевшее перед ней человеческое море.

Князь Василий Лукич никогда до сих пор не видал близко царевны Софьи; он только слышал о ее красоте, о ее смелости, но никогда особенно не верил этому. Теперь он был вблизи этой богатыря-девицы, чувствовал на себе ее огненный взгляд, и ему казалось, что вместе с ним в его душу проникает какая-то неотразимая сила, быстро завладевающая и его разумом, и его душою. Он и сам не понимал, что с ним творится, но забыл и жалкую смерть Хованского, и свою вспышку, и, если бы эта могучая женщина на крыльце сейчас вот послала бы его на казнь, он умер бы без сопротивления, без ропота, без сожаления, радуясь одному тому, что умирает по ее приказанию.

Между тем крики несколько стихли, и, воспользовавшись этим, царевна властно заговорила своим несколько грубоватым голосом:

— Звали вы меня, молодцы? Вот и вышла я к вам. Что скажете, детушки? Зачем я вам понадобилась?

— Здрава будь, царевна-матушка, на многие лета! — ревом ответила толпа на это приветствие. — Вот пришли мы к тебе с неведомым человеком. Стоял он около того места, где головы Ивашки Тараруя да его отродья, князя Андрюшки, с плеч скатились, и нас, твоих верных стремянных, поносными словами неведомо за что честил.

— Где ж он, этот человек? — спросила царевна, и в ее черных глазах как будто блеснули недобрые огоньки.

Князь Василий Лукич почувствовал, как толпа сзади нажала на него и выдвинула вперед, так что он очутился на нижней ступеньке крыльца, и в тот же самый момент он почувствовал на себе взгляд царевны-богатыря. Князь поднял голову и сам взглянул в упор на царевну. Их взгляды скрестились, как клинки, и, должно быть, в глазах князя Василия тоже было достаточно силы, потому что царевна слегка потупилась, на ее щеках вспыхнул едва заметный румянец и голосом, менее суровым, чем прежде, она спросила:

— Ну, говори, не бойся, что ты за человек?

Агадар-Ковранский понял, что на его стороне очутилась вдруг выгода положения и что он не пропадет, если сохранит присутствие духа и смелость.

— Твоего царского величества слуга верный, — проговорил он, называя себя. — Никогда я против тебя, государыня, не шел, оболгали меня людишки шумные. Сама, быть может, знаешь, что, не будь меня, тараруевы головы и до сих пор на плечах еще оставались бы.

Царевна вскинула на него изумленный взгляд, а затем произнесла:

— Ах да, помню, помню! Дьяк Федор Леонтьевич уже не раз докладывал нам. Что ж, услуги нам мы не забываем, а поносить наших верных слуг тоже не годится.

— И не поносил я их, — дерзко ответил князь. — Говорю, шумны они! — намекнул он на нетрезвость многих стремянных. — А что сказал, то сказал. Сказал же я про Тараруя и его детеныша, а не про тех, кто их на казнь предал.

Однако, когда он снова взглянул на царевну, то сразу понял, что его слова пропали даром. Софья Алексеевна словно позабыла обо всем, что происходило. Она глядела куда-то вперед, через головы толпы, и на ее лице появилось уже другое, отнюдь не суровое выражение. Улыбка так и расплылась по ее красивому лицу, глаза смотрели ласково; она как будто видела вдали что-то такое, что вдруг сделало ее счастливою.

— Так, так! — опомнилась она. — Ну что ж, были у тебя, князь Василий Лукич, и заслуги перед нами, да ведомо мне, что и негодяйства тоже бывали. Так, памятуя заслуги твои, прошу тебя

гостем быть моим, а вы, молодцы, ради именин моих, на князя Василия не гневайтесь и на меня не взыщите. Дорогой гость на именины едет, надо пойти по хозяйству распорядиться.

Все это царевна говорила торопливо; она, видимо, волновалась и спешила уйти поскорее от всех этих людей, так внимательно стороживших каждое ее движение, ловивших каждое ее слово.

— Ишь, заерзала! — услышал позади себя князь Василий Лукич сдержанный шепот. — Издалека увидала, что князь Василий Васильевич Голицын жалует. Все бабы на один лад.

Агадар-Ковранский оглянулся, чтобы взглянуть на дерзкого, но вместо этого увидел приближавшийся богатый, совсем не по-руски составленный поезд. Вместо обычных вершников ехали впереди рейтары в немецких кафтанах, а за ними катилась богатая, нарядная карета с рослыми гайдуками на запятках. В тот же момент на плечо князя Василия опустилась чья-то рука, и ласковый голос, по которому он узнал Шакловитого, сказал ему чуть не на ухо:

— Ну, князь, вывернулись, так нечего глаза мозолить. Пойдем прочь скорей!

Шакловитый увлек за собою князя Агадар-Ковранского. А тот даже не подумал о том, что теперь будет с ним. Он повиновался Шакловитому и был готов на все, лишь бы не уходить отсюда, из этого кипевшего жизнью села. Чудовищной силой тянуло его к молодой царственной женщине, которую он увидел на крыльце. Он совершенно позабыл, что это — царевна, что она недосыгаема для него, и видел в ней только женщину, красота которой очаровала его. Слыша вокруг себя мощные клики, которыми возбужденная толпа приветствовала князя Голицына, Василий Лукич вдруг ни с того ни с сего почувствовал, что адски ненавидит этого человека и с наслаждением всадил бы ему между ребер нож, но в то же время сознавал, что князь Голицын для него совершенно недосыгаем, как недосыгаема для него и любовь могучей царевны.

XXXIV

ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ

Шакловитый увел князя Василия в какую-то надворную постройку, приспособленную под житье. Он, видимо, очень торопился, так как, приказав слугам накормить и напоить гостя, ласково сказал ему:

— А меня, князь Василий, уж прости. Пойду туда князю Василию Васильевичу поклониться. Нельзя иначе: он меня любит, и я его привечать должен. Ты же, поди, устал после передряги... Вот покушай, подкрепись, а потом ляг, сосни малость... Я, как только там освобожусь, приду к тебе, и обо всем мы с тобой поговорим. Много есть нам о чем словами перекинуться; времена такие настали, что, ежели без разумения жить, так пропадешь совсем. Так будь милостив, князь Василий, подкрепляйся; помни, что ты у меня, и никто здесь тебя тронуть не посмеет.

Шакловитый исчез, и только теперь, оставшись один, Василий Лукич почувствовал, как он устал во все эти дни непрерывных скитаний по волновавшейся Москве. Он присел на лавку, хотел было налить себе вина из стоявшего на столе объемистого кубка, но раздумал, отодвинул его прочь, потом опять придвинул, быстро налил чару до краев, залпом выпил, осушил вторую, за нею еще одну, другую и еще несколько чар. Что-то так и жгло его внутри, страшно жгло; словно огонь какой-то невидимый палил всего его и нечем было утолить это мучительное пламя.

«Что со мной творится? — провел он рукой по голове. — Или стремянные так напугали, что меня со страха лихорадит».

Князь чувствовал себя совсем плохо; его глаза заволакивал белесоватый туман, все помещение, где он находился, словно наполнилось его клубами, и в то же время Василия Лукича жгло, жгло так, что по временам ему казалось, будто у него горит кожа; а между тем его трясла лихорадка. Перед ним как бы в тумане рисовалось что-то, какие-то смутные фигуры отовсюду кивали ему головами. То ему представлялись люди с перерезанными горлами, трясущиеся, кивавшие ему, и в них недавний атаман разбойников узнавал жертв своих придорожных неистовств. Он ясно различал их лица, видел широкие кровавые раны; но это не ужасало его — уж слишком были привычны для него такие зрелища. Дальше в туманной дымке он видел нагло смеющееся лицо Ивана Милославского, виновника того, что он пошел атаманствовать на большую дорогу. Рядом с ним выглянуло бритое, иссохшее лицо польского иезуита.

«Этот зачем? — удивился Василий Лукич. — Ведь я-то в его смерти неповинен. Милославский зарезал его, так зачем же он-то сюда пришел?»

Однако и это видение, созданное распаленным от болезни мозгом, только мелькнуло перед князем, и на смену ему в какой-то дымке глянуло другое — молодое женское лицо, кротко смотревшее на него голубыми чистыми глазами. Василий Лукич сейчас же узнал его. Ведь это была Ганночка Грушецкая, первая, кого он полюбил действительно искреннею любовью, та самая Грушецкая, которая стала потом русской царицей Агафьей Семеновной и которую он пощадил в тот момент, когда распаленный вином и ядовитыми насмешками Милославских шел, чтобы отомстить ей за измену, в чем она вовсе была неповинна.

Теперь, видя это лицо, Василий Лукич почувствовал, как увлажнились его глаза и какое-то чувство, мимолетно знакомое ему, чувство всепрощения, смягчало его неукротимую душу.

«Милая, милая, ненаглядная, — зашептал он. — Помню я тебя. В душегубствах неистовых старался я позабыть тебя, в крови людской хотел утопить любовь свою, ан нет, не по-моему вышло. Ушла ты с этого света, ушла, даже и не ведая любви моей!»

Князь простер к дивному видению дрожащие руки, но в белесоватом тумане вынырнуло новое красивое женское лицо, так и дышавшее могучей энергией, лицо с крупными чертами и с

соболиными бровями, загнутыми дугою над горящими, как угли, глазами. Эти глаза глядели на Василия Лукича и словно жгли его своим искристым огнем. Неукротимое сердце князя-разбойника затрепетало, забилось, как попавшая в тенета птица, и вдруг князь Василий Лукич неожиданно для самого себя понял, что значит это последнее видение, отчего вдруг замерло его сердце и закружилась его плающая голова.

На него — неукротимого, злобящегося — во второй раз в жизни снизошла любовь, любовь пламенная, всезахватывающая, всепоглощающая. Богатырь-царевна там на крыльце двумя-тремя взглядами взяла в вечный плен сердце князя Василия Лукича, и он чувствовал, что конца края не будет этой его новой неволе, что на всю жизнь он останется безвольным рабом своей новой любви.

Нехорошо он почувствовал себя в это мгновение. Явилось угрожающее сознание собственного ничтожества. В самом деле, что такое был он, разбойник с большой дороги, перед нею, царевной, правящей как государь целым народом, целой необъятной страной.

Сознание всего этого успокоительно действовало на Василия Лукича. Он почувствовал, что силы возвращаются к нему, а томительный туман мало-помалу рассеивается. Однако ему не хватало воздуха в этой душной горенке и он чувствовал, что непременно должен выйти на волю, дабы хотя несколько освежить себя. Повинуясь этому инстинктивному влечению, князь пошел было к двери, но побоялся выйти обычным путем. Ведь за дверьми непременно кто-нибудь должен был быть и без надзора его не выпустили бы. Тогда он прибег к обычному своему способу: выпрыгнул прямо в окно и очутился в саду, окружавшем эту избу. Сразу же он увидел перед собою ярко освещенное окно, и словно какою-то силою его так и повлекло к нему. Ночь была теплая, окно оставалось открытым, и князь Василий Лукич свободно мог заглянуть внутрь горницы.

XXXV

МУКИ ОЖИДАНИЯ

Василий Лукич стоял под окном, скрытый кустами уже давно пожелтевшей зелени. Он ясно видел все происходившее в комнате с приподнятыми оконными рамами и узнавал тех, кто находился там. Прежде всего он увидел царевну-правительницу Софью Алексеевну, а с нею был и князь Василий Васильевич Голицын. Они свиделись впервые после того как было между ними тайное свидание в заброшенной беседке голицынского сада.

Князь Василий Васильевич терпеливо переносил эту разлуку. Его натура была вполне уравновешена, он не был способен к резким порывам, умел ждать и подчинять свои желания обстоятельствам. Но царевна Софья по характеру и пылкости была совсем другая. Порыв охватил ее всецело, и всякое ожидание заставляло

нестерпимо страдать. Она даже несколько растерялась, когда увидела приближающийся поезд своего «лапушки» и, только сделав большое усилие воли, овладела собою и приняла нового именитого гостя, как подобало ее сану и положению.

Однако тут ее выдержки хватило ненадолго. Все присутствовавшие при этом приеме заметили, как сильно волновалась царевна. Она то бледнела, то краснела, то вдруг становилась не в меру разговорчива, то неожиданно замолкала. Всем со стороны было видно, что она непомерно томилась. Наконец она не выдержала и под предлогом усталости удалилась в свою опочивальню.

Это было как бы сигналом к тому, чтобы всем расходиться на отдых после этого чреватого событиями дня.

— Мамушка! — кинулась на шею старой своей мамке царевна, когда осталась одна с нею в просторной горнице, обращенной теперь в ее спальню. — Тяжко мне, милая, инда места не нахожу себе нигде...

— Да уж вижу, все вижу, — несколько ворчливым тоном ответила старуха, — мне и говорить не надобно! Ждешь ты не дождешься сокола-то своего!

— Жду, мамушка, — откровенно призналась Софья, — и так жду, что сердце так вот на части и разрывается...

— Ну, и пожди еще малость времени, приведу я его к тебе. До утра времени много; вдосталь на милуетесь!

Вульгарное слово ударило царевну по нервам.

— Ты, старый пес, что это такое? — вдруг вспылила она. — Что я, девка, что ли, черная, что свидания дожидаться не могу? Не для забавы у меня свет мой Васенька, а друг собинный! Ты попомни! — даже затопала она ногами на старуху. — Ежели хочу его видеть, так не для одной своей забавы, о коей и не помышляю даже, а для беседы душевной о делах государственных.

Такие переходы от ласки и нежности к пламенным гневным вспышкам были у царевны нередки. В гневе Софья Алексеевна была прямо-таки страшна. Ее лицо все искажалось, губы начинали подергиваться, глаза метали молнии, и разгневанная царевна могла перепугать и нетрусливого человека. И теперь, как ни привыкла мамка к этим сценам, а все-таки струсила не на шутку.

— Прости, матушка-царевна, меня, неразумную, — робко сказала она, сопровождая свои слова поклоном, — по глупости разве обмолвилась я.

Вид оробевшей старушки подействовал успокаивающе на царевну-богатыршу.

— Вот так-то все вы! — смягчилась она и потом заговорила уже с кротостью. — Все вы одним миром мазаны! Этакую тяготу пришлось мне поднять, врага такого сломить! Да и не сломлен он еще совсем-то: только у двух Хованских головы слетели.

— Еще отродыице, князь Ивашка, остался, — напомнила старуха о втором гульбимом сыне казненного старика, — еще бед немалых понаделать может, того и гляди стрельцов подымет.

— Не боюсь я стрельцов! Раскольники богомерзкие — вот кто страшен! По всему царству они рассеяны, и, где хоть один из них есть, смута тлеет. Вот кто мне страшен! А с ними вот так, как с Хованскими, не справишься, все головы раскольников за один раз не снесешь. Вот и нужно думать, как от этой проклятой гидры упасть. Голова же у меня одна, да и голова-то притом бабья. Вот и хочется, чтобы при мне была голова мужа достойного, чтобы могли мы вместе над государским делом думать. Васеньку Голицына я для того избрала, и будет он при мне до скончания живота моего. С ним я власть свою разделю, а не для забавы он мне нужен. Поди, старая, приведи его!

XXXVI

РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ

Те минуты, которые провела Софья Алексеевна одна в ожидании князя Василия Васильевича, показались ей особенно длительными; они тянулись бесконечно, время словно остановило свой лёт, мучая влюбленную женщину.

А разных мыслей и отрывков несвязных дум столько роилось в этой гордой головке, сколько еще никогда не тревожило ее во все то недолгое время, когда ей, царевне-богатырше, пришлось взять на себя всю тяготу управления великим государством.

Она, очутившись без всякой подготовки у власти, часто терялась, не зная, как ей поступить, чью сторону держать. Отовсюду предъявлялись настойчивые требования, каждый из близких людей хотел, чтобы дела правления шли так, как ему хотелось. Даже такие родные люди, как Милославские, в особенности старший дядя, Иван Михайлович, действовали только для себя, и нужд государства словно не существовало для них. Софья Алексеевна, хоть и богатыршей была духом и телом, все-таки была женщиной и мыслила по-женски. Ей была нужна опора, а кто же и мог быть надежной опорой, как не человек, которому уже давным-давно было отдано ее девичье сердце?

— Васенька, светик мой радостный! — крикнула Софья Алексеевна, увидав входящего в ее покой князя Голицына. — Да и истосковалась же я, тебя ожидаючи!

Она бросилась к князю и порывисто обняла его. Прозвучал долгий, полный жгучей страсти поцелуй, другой, третий. Потом влюбленная царевна откинула назад голову Василия Васильевича и жадным, испытующим взором с минуту или две вглядывалась в его лицо, как бы желая проникнуть в тайники этой души, узнать самые затаенные помыслы этого дорогого для нее человека.

Эту самую сцену и видел стоявший под окном князь Агадар-Ковранский.

Сперва дыхание остановилось у него в груди, в глазах потемнело, а в горле словно заклокотало что-то. Его рука сама собою

потянулась к поясу, нащупывая рукоять ножа. Но это длилось только мгновение, кровь отхлынула от головы и перестала туманить мозг, руки бессильно опустились, весь он поник и как-то сразу ослаб. Он слышал поцелуи, страстный лепет, и нестерпимая тоска вдруг охватила его сердце.

«Нет! — вихрем летели в его мозгу мысли. — Видно, не суждено мне любить счастливо, не для меня на роду счастье написано!..»

И тут вдруг ему припомнилась его любовь к Ганночке Грушецкой, вспыхнувшая в его страстной душе вот так же неожиданно, как и теперь. Тогда она родилась из жажды мести, но всецело овладела им. Это была бешеная страсть, и она не нашла себе ни малейшего удовлетворения: ведь Ганночка даже не узнала, что князь Агадар-Ковранский любил ее, он в ее жизни был лишь мимолетным воспоминанием. Она даже не узнала о том, что только внезапно возникший в неукротимой душе добрый порыв отвел от нее смертельный удар.

Теперь случилось то же. Сразу был очарован Василий Лукич другой женщиной, и эта женщина, опять всколыхнувшая его душу, уже принадлежала другому.

Так и стоял неукротимый князь, словно пришибленный, около стены под окном, и все слабела и слабела его душа, замирал его мятущийся дух, ослабевала недавно еще могучая воля. А в открытое окно ясно слышался любовный лепет. В людях сказалось человеческое: ради любви было позабыто все на свете, нежному чувству уступили место все тревоги и заботы.

Посерела недолгая сентябрьская ночь, на востоке загоралась предрассветная заря.

— Новый день начинается! — проговорил князь Василий Васильевич, тихо подводя Софью Алексеевну к поднятому окну, сквозь которое врываются в неосвященный покой утренняя свежесть и первые лучи еще невидимого солнца. — Видишь, ненаглядная?

— Пусть эта заря будет нашею зарею! — томно ответила Софья. — Помни, Васенька: и на жизнь, и на смерть вместе.

— Да будет так! — с чувством проговорил Голицын.

В этот момент ему кинулась в глаза чья-то фигура, быстро удалявшаяся к воротам сада. Это уходил сломленный любовью князь Агадар-Ковранский.

XXXVII

ПОСЛЕ ВСПЫШКИ

Уже на другое утро по Воздвиженскому разнеслась весть, что на Москве бунтуют стрельцы, пораженные слухом о казни своего батюки Тараруя. Они, охваченные мстительным порывом, разобрали оружие и попробовали поднять бунт. Кремль был занят ватагами стрельцов, у которых оказались даже пушки, самовольно захваченные ими на Пушечном дворе. Стрельцы дошли до такой дерзости,

что толпились на Крестовой у патриарха и грозили убить его. К ним скоро присоединились солдаты Бутырского полка, также вооружившиеся и также озлобившиеся на отсутствующее правительство. Словом, вспыхивал новый бунт, грозивший залить кровью всю Москву.

Но в Воздвиженском уже не страшились этих новых волнений. Без Тараруя стрельцы отнюдь не казались опасными.

Тем не менее весь двор перебрался из Воздвиженского в Троице-Сергиеву лавру, и она сейчас же была приведена в осадное положение; вместе с тем во все окрестные города поскакали придворные люди с царскими грамотами о том, чтобы служилые люди сходились к лавре в полном вооружении на защиту великих государей от злых врагов.

Главное начальство в многострадальном монастыре, превращенном в крепость, было возложено на князя Василия Васильевича Голицына, в Москву же для распоряжения был отправлен боярин Михаил Петрович Головин, человек нрава крутого и решительного.

Он своими распоряжениями показал волновавшимся стрельцам, что их теперь не боятся. Да те и сами поняли это: сбор служилых людей к Троице-Сергиевой лавре нагнал такого страха на «надворную пехоту», что многие стрельцы плакали, как дети, и вскоре же пришли к Головину с челобитной о царском жаловании их великою милостью: позволением быть при государях их выборным. От Головина они ходили с таким же челобитьем к патриарху и так странствовали от одного вершителя их судеб к другому, пока наконец не вымолили себе указа «быть к государям в лавру стрелецким выборным по двадцати человек от полка».

Грозно встретила этих выборных правительница-царевна. Она сама вышла на крыльцо к ним и буквально кричала на них, понося их разными словами. Но волей-неволей приходилось им слушать: проиграно было стрелецкое дело!

Однако стрельцы в ту пору не знали того, что их московская смута перекинулась в разные области и особенно на юг, в казацкие стороны. Там приводился, очевидно, в исполнение раскольничий план. Не осведомившись о том, в каком положении было московское «действие», раскольничьи агитаторы всюду, где было только возможно, поднимали гили и смуты. Во многих городах стрельцы отказывались слушать воевод, и к ним подставала жадная до всяких бесчинств чернь, всюду ходили по рукам подметные «воровские письма». Однако все эти вспышки были разрознены, не было согласованности в действиях, а потому грандиозные замыслы о восстановлении старой веры всюду терпели крушение...

Двор не особенно торопился возвращением в Москву, и из лавры правительница именем великих государей рассылала свои указы.

Конечно, они прежде всего касались виновников всей этой передряги — стрельцов. Было уничтожено их прозвание «надворной пехоты», которым они крайне гордились, и вместо того явился уже

официальный стрелецкий приказ, главным начальником которого был назначен дьяк Федор Леонтьевич Шакловитый.

К концу октября вся смута была ликвидирована, и 6 ноября двор торжественно возвратился в Москву.

Князь Василий Васильевич Голицын возвратился в столицу первым лицом в правительстве после царевны: он уже носил титул «Царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателя».

XXXVIII

ПОСЛЕ РАССЕЯВШЕЙСЯ БУРИ

В Москве после всей этой стрелецкой передраги воцарились давно желанные мир и тишина. Внезапно налетевшая буря, казалось, на этот раз не оставила и следа. До «крови» не дошло, стрельцов удалось укротить без массовых казней. Они поняли, что со смертью Хованских их дело проиграно, что не вождь им и не мститель за погибших отца и брата гуляка-князь Иван Хованский. Все его попытки поднять стрелецкую гиль не шли дальше кружал, и если причиняли кому беспокойство, то только присяжным целовальникам, не всегда уверенным, что подгулявшие стрельцы уплатят за выпитое.

Железные руки Федора Шакловитого сдерживали даже самых завязтых буянов от открытого бунта. Да и немного прежних стрельцов оставалось на Москве. Все полки, которые были нагнаны в столицу из городов, были возвращены обратно. Из Москвы прежде всего были удалены самые буйные астраханские стрельцы, главный раскольничий оплот прежней «надворной пехоты», самые яростные противники всяких новшеств. Заместившие их новики держались пока тише воды, ниже травы. Стрелецкие полки незаметно, но быстро из преторианской гвардии обращались в самый заурядный гарнизон, и против них была выдвинута теперь новая сила — солдатские полки, число которых все возрастало.

У стрельцов, несмотря на уничтожение звания «надворной пехоты», все еще сохранились кое-какие привилегии, у солдат же не было никаких. И это было причиной ожесточенной ненависти последних к первым. Таким образом одной грубой силе была противопоставлена другая. Обе эти силы были парализованы этим в том случае, если бы они вздумали обратить свое оружие против правительства.

В эту пору у всех в Москве было в памяти и сердцах имя князя Василия Васильевича Голицына, оберегателя, как все называли его. Именно ему все приписывали то, что смута промелькнула мимо, не залив столицы кровью.

Женский ум и в те времена стоил малого в глазах русских людей. Как бы ни была талантлива правительница, ее талантливости не замечали, а вместо нее видели оберегателя. Он начинал

развертываться во всю мощь своего недюжинного таланта и вел внешнюю политику Московского государства так, что перед Московю стали заискивать зарубежные соседи.

И в самом деле никогда еще Москва не видала столько иноземных посольств, сколько в эти первые дни и месяцы всевластия царевны Софьи. Князь Голицын так ловко повел дело, что был заключен «вечный мир» с Польшей, по которому к России отошла вся Малороссия с Киевом, и киевский митрополит оказался в подчинении у московского патриарха. Само собою при этом вместо ненавистника России гетмана Дорошенко, был «избран» гетманом уже обоих берегов Днепра и всей Украины пронырливый Иван Степанович Мазепа — человек, лучше которого и нельзя было желать для Москвы на этом посту. Таким образом, Малая Россия воссоединилась с Великою Россией, а это был шаг недоступный для дипломатов предшествовавших царствований.

Другим блестящим делом оберегателя было вступление России, то есть Московского государства, в «священный союз народов против турок», который тогда возник в Западной Европе. Оберегатель так ловко повел дело, что России было предложено вступление в союз, а не сама она напросилась в него. Турки в то время были в нынешней Подольской губернии. Польша должна была вести с ними ожесточенные оборонительные войны, и участие России в союзе защищало от них Европу.

Благодаря этому европейский дух со всеми его стремлениями к новшествам благодетельного прогресса и эти стремления встречали в Московском государстве благодатную, готовую к их восприятию самобытную почву. Прогресс шел естественным путем; образование быстро развивалось, крепчала Русь великая...

Многочисленные посольства, прибывавшие в Москву со всех концов Европы, различные торжества по случаю их прибытия, на которые отнюдь не скупилась правительница, приучали русских людей к братанию с иноземцами. Москвичи, а через них и вся Россия, видели, что и за рубежом живут такие же, как и русские, люди, и Бог так же, как и в Москве, всяким их грехам терпит.

Начиналось великое сближение русско-азиатского Востока с европейским Западом.

XXXIX МРАЧНЫЕ ТЕНИ

Нужно ли говорить, как была упоена восторгом молодая правительница в эту счастливую пору своей жизни? Все удавалось ей, ее имя гремело по всей Европе и было славно не менее, чем имя ее родителя, положившего могучее начало единения России с Европой. Великие замыслы роились в женской, полной фантазий головке, но центром всех дум и мыслей царевны-богатырши все-таки оставался ее собинный друг — оберегатель.

И вот однажды, покончив с государственными делами, Софья и Голицын заговорили уже не как государыня и ее первый министр, а как добрые друзья, крепко спаянные вместе искреннею, хотя и потерявшею пылкость, любовью и общностью интересов и идеалов, которым оба они служили.

— Помнишь, свет Софьюшка, — проговорил Голицын, откладывая в сторону только что доложенную им правительнице «статью» о каком-то важном посольском деле, — помнишь ли ты, как мы с тобою в утро после казни Хованского у окошка стояли и восходящею зарею любовались?

— Помню, Васенька! Как не помнить! — ответила царевна. — То была наша заря...

— А за зарей, — вздыхая, произнес князь Василий Васильевич, — всегда утро и полдень следуют, а там — глядишь — совсем незаметно и вечер с ночью подходят; а ночи после ясной зари бывают темные, непроглядные. Случается так, что ни единой звездочки на небе не светит, и после яркого дня человек такую ночью чувствует себя, как в сырой могиле.

— Ты к чему это, князь Василий? — спросила царевна.

— А к тому, несравненная, — тихо проговорил Голицын, — что, чувствуется мне, короток будет наш день, ночь же наша близка...

— Экие у тебя мысли, Васенька! — досадливо отмахнулась царевна. — И с чего они только тебе приходят? Кажется, все ладно идет; все к нам с уважением относятся, разные там короли из-за рубежа и мне, и тебе хорошие подарки шлют. Стрельцы окаянные уняты: умело справляется с ними ставленник твой, Федя Шакловитый, да и раскольники примолкли, будто их и не бывало никогда. Во всем прочем тоже все ладно идет, и нечего нашему дню к закату близиться. Далеко еще он, закат-то твой!..

— А что ж ты, царевна, разве о своих братьях-царях позабыла? — тихо спросил оберегатель. — Царь-то Петрушенька растет не по дням, а по часам. Вишь ты, царица Наталья Кирилловна уже и о невестах для него думает.

По лицу Софьи Алексеевны скользнула мрачная тень и оно сразу же приняло жестокое, портившее ее красоту, выражение.

— Не забывала я о них, о братьях-то, — глухо произнесла она, — а все же так я думаю, что для нас с тобой, князь Василий, да и для нашего государства, куда было бы лучше, ежели бы этих братьев и вовек не было.

— Нехорошие мысли, царевна, — перебил ее Голицын, — злые мысли! Что бы мы с тобой о себе ни думали, как бы хорошо дело наше ни было, а все-таки цари они законные, на престол венчаные, и народ пойдет за ними, а не за нами.

Брови царевны нахмурились еще более.

— А ежели не пойдет? Ежели мы народ отвратим от сего пути и заставим его под нашу дудку плясать? Что ты тут скажешь?

— Ничего не скажу, царевна. Незаконное это дело будет. Люблю я тебя, моя ненаглядная, пуще всего на белом свете. Служу

тебе, как самому себе не служил бы никогда, а против совести своей идти не могу вовеки. Совесть же мне говорит, что, как только окончательно войдет в разум царь Петр Алексеевич, так и должны мы будем передать ему царство. Он — законный царь, он должен наш народ к великому счастью вести. Это — его право.

— Да куда-то он его с такого ума своего заведет! — упрямо возразила царица. — Сам знаешь, каков он! Еще только-только подрастать начал, а уже от великого шума голова трясется, как у кружального завсегдатая. Хорош царь будет!

— А кто виноват, царица? — чуть слышно проговорил князь Василий Васильевич и в упор посмотрел на Софию.

Та не выдержала этого взгляда и потупилась.

— Ну, полно нам говорить с тобою о том, что будет! — воскликнула она, оправляясь от невольного смущения. — Ежели такое с ним приключается, так его мать в том виновата. Чего головой-то качаешь? — вдруг раздражилась она, заметив, что оберегатель укоризненно покачал головой. — Я его не спаиваю, даже видеть редко вижу, так что в ответе за него никогда не буду... А ты об этом брось говорить и думать! Помнишь, поди, какое мы слово друг другу сказали, когда наша заря на небо восходила тогда в Воздвиженском?

— Помню, царица! — ответил Голицын. — Порешили мы с тобою и в жизни, и на смерть рука об руку идти...

— Ну, так вот и все тут. Жить живем, свое дело делаем, а ежели смерть придет, так не два раза умирать. Только ежели она смерть-то, раньше времени придет, я ей так не сдамся. Недаром мне от Господа неженская сила дана. Уж только ты-то меня, Васенька, не оставляй! — под влиянием быстро сменившегося порыва совсем уже плаксиво, по-женски, заговорила царица-богатырша. — Знаю, будет мне худо тогда!.. Все побегут прочь — и не пожалею я о других. Ты уйдешь — солнце на небе для меня померкнет...

— Не уйду я сам, — кротно проговорил Голицын, — но разлучат нас с тобою, когда наша ночь надвинется. Не помилуют нас, царица...

— Что? Разлучат? — полная яростного гнева, воскликнула Софья Алексеевна, и ее глаза так и заметали молнии. — Уж не нарышкинец ли посмеет на это? Так я тогда батюшкина государства не пожалею. Раскольников всех подыму, стрельцов на него спущу. Он пропадет, а мы с тобою, как были, так и останемся.

Князь Василий молча посмотрел на нее.

А царица мощным усилием воли подавила охвативший ее порыв и заговорила уже другим, властным тоном:

— Князь Василий, все государи из-за рубежа мне с великой похвалою о твоих, оберегатель, великих делах пишут. Говорят, что другого такого, как ты, и на земле нет, а я вот думаю, что мало видит тебя народ наш, и славы твоей не замечает. Так хочу я, чтобы оберегатель мой и царства и на ратном поле стяжал себе

великую славу. Тогда вся Русь увидит и восхвалит его, а потом, — она опять перешла на интимный тон, — уж если старый Тараруй меня себе в жены метил, да не пошла я за него, так, может быть, славный герой-победитель к тому времени овдовеет и меня, старую да некрасивую, после честного венца своей женой назовет.

Она стояла перед Голицыным, вытянувшись во весь свой богатырский рост, и ее красивое лицо горело восторгом, князь же Голицын, глядя на эту гжугчую красавицу, грустно-грустно улыбался.

XL

ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ

Оставшись после ухода Голицына одна, царевна Софья Алексеевна вдруг залилась слезами, — горькими, обильными слезами! Слезы совсем не шли к ее лицу и делали ее некрасивой, но, оставаясь одна, Софья Алексеевна в последнее время нередко давала волю своим чувствованиям, в особенности той тревоге, которая уже давно накапливалась в ее сердце, но которой она ни за что не показала бы ни перед кем на свете, даже перед своим свет-Васенькой...

Все то, что говорил ей в это свидание князь Василий Васильевич, она и сама уже давно чувствовала, понимала и только силою воли старалась отстранить от себя тягостные думы. Царевна чувствовала всю непрочность своего положения «около престола». Она понимала, что, как только ее брат Петр достигнет совершеннолетия, ей придется уйти, и это страшно пугало ее. Страшила ее та участь Голицына, которая могла последовать, если бы над ним очутился ненавидевший его брат Петр. Он — царь Петр — и ее самое, свою родную сестру-то, терпеть не мог, и Софья знала об этом, а тех, кто служит ей, прямо-таки ненавидел.

И вот в богатырской голове царевны давно уже созрела смелая мысль заставить весь народ полюбить ее фаворита. Для этого-то она и хотела облечь его ореолом народного героя, и это вовсе не казалось ей трудным. Русское царство сильно страдало от крымцев, постоянно тревоживших своими неистовыми набегами юг тогдашней России. Тот, кто разорил бы это проклятое гнездо, мог бы приобрести себе великую славу, стал бы народным героем. Так отчего же победителем крымцев не сделаться ее свет-Васеньке?

Однако царевна знала, что неохотно пойдет на это князь Василий, что он — враг всякого кровопролития ратного. Но и это не особенно смущало ее: она была уверена, что так или иначе ей удастся уговорить своего любимца принять ратное поле. Не спрашиваясь оберегателя, она послала на Днепр к казакам Федора Шакловитого, чтобы обследовать все это дело. А тот исполнил ее поручение тщательно и донес, что все казаки — и днепровские, и украинские — ждут не дождутся, когда могучая Москва двинется на их векового врага. Тогда Софья Алексеевна принялась за своего свет-Васеньку, и ей удалось очень скоро уговорить Голицына

отправиться в Киев для переговоров, а в случае надобности и принять на себя начальствование в походе, если бы таковой состоялся.

Голицын отправился с большой неохотой. Он как раз в то время вел переговоры с Китаем об исправлении границы, но тем не менее решил отправиться походом на крымцев, предварительно заключив знаменитый Нерчинский договор, благодаря которому Россия стала ближайшим соседом Китая. В 1686 году во главе сотысячного войска он выступил в поход.

Еще раз перед походом царевна тайно свиделась со своим собиным другом. Много-много было переговорено между ними на этом свидании. Хмур был князь Василий — ведь он шел на такое дело, к какому никакого желания не чувствовал. Невесела была также и царевна.

— Не боюсь я, Васенька, — сказала она — за тебя. Знаю, что ты здоров и невредим с похода вернешься, а щемит мое сердце оттого, что не ведаю, как этот поход кончится, будет ли в нем слава для тебя.

Голицын ни слова не ответил на этот вопрос. Ему больше, чем Софье, было известно, что не оправдаются их надежды. Нигде на земле русской места не было, в котором бы не плакала жена, мать, невеста, сестра, не горевали бы родители и родные. Дал себя почувствовать набор сотысячного войска!

XLI РОКОВОЙ ЗАКАТ

Первый крымский поход князя Василия Васильевича Голицына не оправдал надежд, которые возлагала на него правительница. Он не был неудачен, но и не было свершено никаких таких подвигов, которые стяжали бы оберегателю славу героя. Крымское гнездо осталось невредимо и даже нисколько не пострадало, так как русские войска не проникли в глубь полуострова.

Понадобился второй поход.

На этот раз было собрано 112 тысяч войска, и 20 мая 1689 года русские стали уже у Перекопа, укрепленного замка, защищавшего ров через перешеек. За этим рвом был Крым. Для настоящего полководца оставалось только шагнуть вперед, так как оба укрепления Перекопа не могли оказать серьезное сопротивление, но оберегатель был не полководцем, а дипломатом, и вместо решительного натиска повел переговоры с ханом, надеясь так «напугать» его, что он и без битв на ратном поле сделает все, что хотелось врагу. Хан и «испугался». Он собрал у Перекопа свои бесчисленные орды, перепортил колодцы, и русскому войску волей-неволей пришлось уйти.

Татары даже не преследовали его, и когда оберегатель послал подробное донесение обо всем этом правительнице, то она даже в восторг пришла, несмотря на явную неудачу.

Действительно ослепленная страстью царица была в восторге от того, что «свет ее ясный» избег страшной опасности и возвратился здоровым из степного похода, где он мог погибнуть со всем войском. Голицын казался ей «вторым Моисеем», проводившим своих людей по дну морскому.

Но так смотрела на ратные подвиги оберегателя только одна правительница, отуманенная, ослепленная своею любовью, все же кругом — и знать, и народ — видели только неуспех, и все ее восхваления казались им просто смешными. Софья же в своем ослеплении ни с чем не считалась. Все, что говорилось о неудаче обоих походов, она приписывала недоброжелательству, зависти, обычным проискам.

Когда князь Василий Васильевич возвратился в Москву, ему была устроена триумфальная встреча, как будто он и в самом деле стяжал себе лавры героя под Перекопом.

Однако этот умный и — главное — честный человек прекрасно знал, что замыслы царицы провалились и что уже наступало начало его и ее конца. Когда он в качестве «триумфатора» прибыл в царские палаты на поклон великим государям, то, прежде чем взглянуть на «свою царицу», он поглядел на высокого, очень похожего на нее юношу, сидевшего на втором царском месте; он поглядел, и нехорошо стало у него на сердце!

Это был младший царь Петр Алексеевич, которого Голицын не видел больше двух лет. Рядом с недоумком-братом Иоанном V он производил неотразимое впечатление: высокий, статный, с таким же, как и у сестры Софьи, горящим взором, с заметно подергивающею головою, он показался оберегателю истинным властелином, таким, каким уже давно представлял себе Голицын московских властителей. Когда он перевел свой взор на стоявшую рядом с царским престолом правительницу, то она показалась ему слабой и жалкой женщиной, ничтожеством, которое этот подросток мог раздавить и уничтожить в каждое мгновение.

«Вот он, вечер-то ненастный! — невольно подумалось Голицыну. — И близкая ночь непроглядная... Где-то только будут моя да Софьюшкина могилы?»

Но царица была наверху блаженства; в мгновение радостной встречи будущее словно перестало существовать для нее, а потом даже не пошла, а помчалась с быстротою молнии дни великого упоения. Влюбленная правительница словно позабыла о всех «государских» делах, к которым она была так прилежна. Она упивалась своею любовью, словно стараясь наверстать все то, что было потеряно в дни горестной разлуки.

Оберегатель пытался вернуть царицу на прежнюю деловую почву. Он указывал ей на подростка-брата, на то, что не за горами то время, когда им придется «сдавать царство» молодому царю. Однако Софья и слушать об этом не хотела.

— Ему, нарышкинцу, государство сдать? — со смехом восклицала она. — Да не бывать тому веки!.. Что он за царь? Недалеко

от Иванушки-братца ушел... Ты, оберегатель мой, только посмотри на него: женат, дитя ждет, а сам только и делает, что в солдатики играет. Вон потешных себе завел, с ними забавляется. Теперь в Кукуй-слободу к немцам зачастил, говорят, прелестницу, Монсикабатчика дочку, там себе подыскал, с ней там хороводится. Нет, не царь это! Государство погубит, ежели ему престол передать! Так и не бывать этому!.. Сказала, что стрельцов на него напущу, раскольников подыму, смуту великую настрою, а все-таки к царским делам загрожу ему дорогу... Ты, хоть и не венчанный, а царем через меня будешь. И устроим мы народ наш в счастье, на новый лад все порядки в нашем царстве заведем... И то уже много новшеств наш народ принял.

В самом деле дивное было это время незаметно, но быстро двигавшегося благодетельного прогресса. Без всякой ломки новшества входили в народный обиход. Их никто народу не навязывал, он сам принимал их. Эволюция совершалась правильно. Но не судил Бог счастья многострадальной России! Близка была гигантская ломка, поставившая великий народ в хвосте всех его ничтожных соседей...

Солнце царевны-богатырши уже закатывалось, но она, упоенная своим счастьем, не замечала этого заката: ей, бедной, казалось, что все еще длится безоблачный день.

ТРОН И ЛЮБОВЬ

I

В ЦАРСКОМ КРУЖАЛЕ

В царском кружале, за отдельным столом в самом дальнем и темном углу, чинно и степенно, не притрагиваясь даже к жбану с пенной брагой, сидели два московских стрельца¹. Оба — молодые парни; бороды у них были совсем маленькие, шелковистые, усы еще не щетинились; подстриженные «под горшки», в кружок, волосы на головах были мягки, хотя вряд ли имелся за ними какой-либо уход. Вообще не заметно было, чтобы эти молодцы обращали внимание на свою внешность. Их кафтаны были местами порваны, местами в заплатках, колпаки грязны и засалены; по лоснящимся полосам на них было видно, что они для своих хозяев частенько служили за трапезами утиральниками. Зато к своим завескам-пищалам² оба молодца относились с очевидной

¹ Стрельцы, первоначально пищальники, — постоянное московское войско, явившееся после введения в Московском государстве огнестрельного оружия. Правильное устройство они получили при царе Иоанне Грозном. Стрельцы делились на стрелянных (царская гвардия), московских (пехотная армия) и украинских (гарнизонные). Они делились на приказы — полки; в каждом приказе начальствовал стрелецкий голова — полковник, подчиненный воеводе (генерал); ниже головы были: сотники, пятидесятники. Каждый приказ, т. е. полк, состоял из 1200 человек, живших вместе особыми слободами, набравшихся из «нищих», «никчемных», «гулящих», но никак не пашенных, не крепостных и не тяглых людей, «молодых и резвых». Десятники и пятидесятники выбирались из среды стрельцов, сотники ставились из боярских детей, головы — непременно из дворян. Стрелецкая служба была пожизненной и наследственной. В обыденной жизни стрельцы пользовались всякими гражданскими преимуществами: например, торговали беспощинно, не платили судебных сборов; также без оплаты сборами варили пиво и курили вино.

² Пищаль, или ручница, а также самопал — небольшое, но довольно тяжелое огнестрельное оружие, составлявшее главное вооружение московских стрельцов XVII и XVIII века. Их носили обыкновенно на перевязи за спиной и называли «завесками», или завесными, в отличие от «заспинных» пищалей — не ручного, а артиллерийского огнестрельного оружия. «Берендейка» — ремень через левое плечо, на котором носили «зарядци» под «кровельцами», т. е. особыми деревянными долбленными крышками; к берендейке же привешивалась и сумка пулечная, рог с порохом, а впоследствии и натруски; иногда на берендейку наматывался и запальный фитиль. Сошки, или подшошки, — подставки с виллообразным наконечником, на который укладывалось при стрельбе дуло довольно тяжелой пищали, а после — мушкета. Холодным оружием стрельцов были: сабля с искривленным клинком, бердыш — секира с длинным, искривленным лезвием, насаженным на рогамище (древко), кистени, ножи запоясные и засапожные; с конца XVII века появились палаши, протазаны (почетное оружие — золоченое копьё с кистью под ним) и алебарда — то же копьё, но без кисти.

любовью и заботливостью. Пищали, скромно стоявшие теперь со своими сошниками в углу, были начищены, украшены нарезками; на берендейке всюду виднелись серебряные набивки, такие же набивки были и на кровельцах. Ножны кривых сабель были искусно и красиво разделаны, а на ядрах кистеней нанесены такие замысловатые узоры, что этим страшным оружием мог залюбоваться всякий любитель искусства.

Словом, у этих двух грязных нерях все щегольство было в их оружии, которым они, видимо, немало гордились.

Один из этих стрельцов был сухоощавый высокий жгучий брюнет с мелкими нерусскими чертами энергичного лица.

Другой — типичный русак, да притом еще русак московский: плотный, коренастый, с высокой богатырской грудью, широкими, в косую сажень, плечами, с длинными мускулистыми руками. Его лицо было добродушно и выражало полнейшую апатию; в голубых глазах не отражалось ничего, в то время как черные глаза его приятеля то и дело поблескивали искорками.

Высокого черного стрельца звали Васькой Кочетом, а крестовое имя его товарища было Федор, но в кругу стрельцов все называли его Середя Телепень, и он так привык к этому прозвищу, что даже не откланился, если его звали настоящим именем.

Несмотря на молодость, бедность и незначительность среди других стрельцов, и Кочет, и Телепень были молодцы, Москве, в особенности ее царским кружалам¹, хорошо известные. Весьма известны они были и в стрелецком приказе, где голова нередко учил их батогами и кнутом за весьма не малые разбойные дела, за всяческое поношение приставов и подъячих, которых терпеть не могли оба молодца, в особенности когда хмель будоражил их забубенные головушки. Но наука головы мало помогала. До самого воеводы доходили жалобы, но Кочет был ловок и увертлив: и сам вывертывался, и Телепня часто вызволял из неминуемой беды; а с Телепнем он был самый закадычный друг. Про них, перенимая польский способ выражаться, так и говорили, что Кочет и Телепень — оба два и что никогда их и водой не разольешь...

¹ Кружало (раньше «кабак откупной», потом кружечный двор) — казенная винная лавка в древности. Кружала были царские, боярские, духовные. В первых можно было пить только крестьянам и посадским; вторые отдавались на откуп или в арендное пользование, «кормление», за заслуги. В них продавались различные горячительные напитки, причем «кабацкие суммы», т. е. доход с кружал, поступали в казну. В кружалах торговали «верные целовальники» с подручными, подчиненные земским старостам и обязанные представлять «оклад», т. е. выручать от торговли заранее назначенную сумму. Верные целовальники были люди выборные и, в случае непредставления полностью оклада, должны были идти «на правеж» (т. е. во что бы то ни стало пополнять недобор, переходивший и на их избирателей). Благодаря этому и вкоренилось пьянство в русский народ; целовальники, в особенности когда число кружал увеличилось, положительно спаивали народ, преследуя свои цели. В конце XVII века все управление «кабацкими делами» было сосредоточено в приказе Большого дворца и в приказе Большой казны, т. е. в высших финансовых установлениях государства.

Впрочем, в то буйное время — последние годы XVII столетия, — когда над всем государевым делом верховодила огонь-царевна Софья Алексеевна и полагала себе опору во всем именно на стрельцах, на стрелецкие «шалости» глядели сквозь пальцы. Стрельцы были могучей силой: за кого они стояли, тот и был владыкой всему, а потому раздражать их мелкими придирадками было не всегда безопасно.

На этот раз забубенные стрелецкие головушки были совсем трезвы, хотя Кочет и Телепень порядочно-таки времени уже сидели в кружале.

Целовальник из-за своей стойки с неудовольствием поглядывал на молодцов, видя, как они то и дело перешептываются между собой и пальцем не притрагиваются к жбану со столь любимой хмельной брагой.

— Чего это они? — наконец не вытерпев, спросил он у подручного. — Ведь ежели так-то гостить у нас будут, так и оклада не внесешь, идти на правеж придется...

— Вишь, ждут! — отозвался подручный.

— Кого еще?

— А тут ополдень Анкудин Потапыч забегал. Поди, знаешь, боярина Каренина старший холоп и его сыновей дядька-пестун...

— Ну, знаю! Не велик кус — боярин-то Каренин... На Москве он наезжий, воеводство, говорили, промыслять прибыл, да не в такое время явился... Тут и без него своих московских до воеводства без конца без краю охочих... Так что же ему от этих-то, — слегка кивнул целовальник в сторону стрельцов, — понадобилось...

— Не знаю я того... Только больно Анкудин Потапыч наказывал, как придут Кочет да Телепень, задержать их до него, вино и угощение им выставить да последить при том, чтобы в порядке были... Видно, важное дело какое... Да вот он и сам жалуется, легок на помине...

II

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

В кружало, слегка хлопнув дверью, вошел небогато одетый худощавый старик. Он был мал ростом, но его глаза, умные и живые, показывали, что хотя его тело и немощно от прожитых на свете многих лет, но дух бодр. Он так и бегал взором по кружалу и, заметив стрельцов, еще с порога приветливо улыбнулся им. Потом скинул колпак, истово помолился на прикрытую убрусцем икону, поклонился целовальнику (он кланялся как-то особенно низко, словно заискивая перед ним) и уже после этого бегом продвинулся к поднявшимся при его появлении со скамей стрельцам.

— Здоровы будьте, удалыцы-молодцы, — первым заговорил присаживаясь старик, — ежли запозднилс, не виноватьте... Сами знаете, не свой я... боярин мой позадержал... Да что же мы так-то сидим? Али у целовальника все зелено вино выпито и на нашу долю ничего не осталось? Эй, Евстигнейч, — захлопал он в ладоши, — дайкось сюда, что там у тебя покрепче есть... Вот и я, старик, с молодежью хлебну малую толику, вспомню годы, когда сам таким же был. И-и, молодцы! И лихой же я парень был, вот когда в ваших годах был... Только давно это было, ух, как давно... еле-еле сам-то те дни вспоминаю.

— Да ты, Анкудин Потапыч, — перебил его Кочет, — перво-наперво про дело скажи, а выпить-то мы успеем, за нами не гонит-ся никто...

— У-у, какой горячий! — засмеялся старик. — Всегда ли ты так до дела-то охоч?

— Да уж там, когда охоч, когда нет, про то я сам ведаю, — уклонился от прямого ответа Кочет, — а ты зубов-то не заговаривай, дешевле, чем себе стоит, все равно с тебя не возьмем... Выкладывай, на что мы тебе понадобились... Да не ври, смотри! Все равно не поверим...

— Уж и «не ври»! — обиделся старик. — Врать я ничего и не собирался...

— Постой, — опять перебил его Кочет, — я к тому тебе такое слово сказал, чтобы ты, про дело с нами говоря, вахляться не вздумал... Если нуждаешься ты в услуге нашей, так между нами все начистоту должно быть... Заранее тебе, Потапыч, говорю: на подвох какой-либо там мы не пойдем, на подлое убийство тоже...

— Полно, полно ты, полно! — так и замахал на него руками Потапыч. — Окрестись ты! Какое ты слово вымолвил: «убийство подлое!» Меня инда мороз по коже пробрал... Что ты, Господь с тобою! Разве мы с боярином решимся на такое дело?..

— Ну, помалкивай! — оборвал его Кочет. — Знаем мы, на что ваша боярская братия готова... В таком деле, кто для них помеха? Нож под левые ребра всадить не задумываются... У каждого простого человека крест на вороту есть, а они все свои давно черту продали...

— Молчи! — даже в ужас пришел Потапыч. — Негоже мне такие речи слушать...

— Так вот ты и не слушай, а говори про дело-то...

Потапыч помялся, хлебнул из ковша и, собравшись с духом, начал:

— Вот оно что, сердешные: не об убийстве моя речь пойдет. Богом клянусь, ничего такого ни у боярина, ни у меня и в голове не было...

— Так чего же ты мямлишь-то...

— Да дело-то совсем особенное, семейное, можно сказать, дело; вот оттого и язык прилипает к гортани... Радости никакой говорить нет, а плакать хочется... А тут еще ты цыкаешь...

— Семейное дело? Слышь, Телепень? — ткнул Кочет в бок приятеля.

— Ну, слышу, — лениво отозвался тот, потягивая из ковша брагу, — мне-то что? Я-то ведь не боярин... Вот когда их бить позовут, так со всем моим удовольствием... На любой гили впереди всех пойду...

Кочет махнул рукой и, повернувшись к Потапычу, сказал:

— Семейное, говоришь, дело? Ну, докладывай, в чем оно у вас будет.

— А вот в чем... Ведомо вам, поди, что боярин-то мой Родион Лукич на Москве наезжий... Еще при Тишайшем царе Алексее Михайловиче в молодости услан он был в украинные города на цареву службу и правил ту службу не за страх, а за совесть, сил и живота своего не щадя. А потом, как помер блаженной памяти Тишайший, да пошли при его сынке новые порядки, и не понадобилась Москве боярина моего верная служба. Известное дело, разобиделся он и отъехал в свою вотчину. Таить не буду, отъезжая думал, что вспомнят его да позовут. Ан нет!.. Недаром говорится: «С глаз долой, из сердца вон»... Так и с моим боярином вышло... Жил он жил, видит, никто не зовет, а тут сынки у него поднялись — свет Михайло да Павел Родионычи... Я их пестовал и на коне ездить учил, и пищаль да саблю в руках держать приучил, да вышла беда в том, что не один я около них был...

— Как ты не один? — спросил Кочет, заинтересованный рассказом старика. — Кто же еще?

— Да ты постой, не перебивай... дай время, все скажу, — и, Потапыч, здорово хлебнув из ковша, продолжал свой рассказ: — Матушка-то боярыня наша Анисья Сергеевна — дай ей, Господи, царство небесное, в селении праведных со святыми упокой ее душеньку! — добрая была; сам-то боярин во гневе куда как лют... Когда скончалась она, сынки-то только что из младенческого возраста вышли; родила она на последних боярину дочку, Зою Родионовну — красавица теперь писаная боярышня! — а после родов и преставилась... Остались дети малые полукруглыми сиротами... Материнский глаз — алмаз, а отцовское попечение уж известно какое... Притом же боярин Родион Лукич по кончине боярыни своей в соку мужчины остался... Вдругорядь деток жалеючи, жениться не стал, да и схимы тоже не принимал... А теперь такое время пошло, что и иноки не всегда ангельскую чистоту соблюдают, а нам, мирянам, и подавно, где же подвиг воздержания подъять? Вот и вышло дело. Поселил он у себя в хоромашках немчинку молодую якобы для обучения деток всяким иноземным наукам... Ох уж эти заморские науки, нет в них проку русскому человеку! Одна для него наука полезительна: батожьем, а нет, дубьем скорей всего ему ум-разум пришьешь... Говорил я про это боярину моему, ну, пусть бы он сам с немчинкой занимался науками-то, а детей только не портил бы, так не послушал он меня, своими собственными руками о мою

подлую холопскую спину трость за такие слова измочалил, а вышло в конце концов все-таки по-моему... Детки-то у него по-иноземному лепечут, боярышня, кроме того, на такой штуке, что немчинка клавесинами называла, играть обучена, а немчинка-то сбежала, да не одна, а со всем своим приплодом: парочка — барашек да ярочка...

— А куда сбежала-то? — любопытствовал Кочет.

— Куда ж, как не в Москву, а отсюда, где ж ей укрыться, как не в Кукуй-слободе...¹ Ведь там все эти чужеземные поганцы² ютятся да табачищем своим проклятым московские святыни окуривают...

— А у них там, в Кукуй-слободе, весело, — поднял голову Телепень, — я оттуда не ушел бы...

— Кабы тамошние парни тебе за своих девок боков не намяли, — перебил его Кочет и, обращаясь к Потапычу, спросил: — Так в чем же наше-то дело будет?

— А ты погоди, до всего черед дойдет, — отозвался старик. — Или слушать прискучило?

— Да нет, — признался стрелец, — вот жду, когда ты до самого толку доберешься...

— Сейчас все, как на ладони, выложу... Только попу на духу нишкните про то, что я вам сейчас скажу, — понизил старик голос до шепота. — Все тут у вас на Москве думают, что наш боярин воеводства искать наехал, так нет же, нет! Приворожила, знать, его немчинка проклятая. Уж чего-чего он не делал, а грызла его лютая тоска... Еще бы! И по ней-то, подлой, ноет сердце, и о ее приплоде душа болит, вот и не вытерпел боярин мой, собрался и прикатил. А тут опять беда; сынки-то, Мишенька да Павлушенька, как на Москве огляделись, сразу на Кукуй-слободу путь нашли... Видали уж их там... Чтобы они немчинку искали, этого я думать не могу: не знают они, куда она сбежала, да и мы-то тоже этого не знаем, а так догадки наши об этом... Только теперь, что же выходит?.. Боярин-то Родион Лукич так бы вот к поганцам и полетел...

¹ Кукуй-слобода находилась под Москвой, между Яузой и ручьем Кукуй, название которого, по мнению некоторых, произведено от немецкого слова kuckel — смотреть. Слобода возникла еще при царе Иоанне III Собирателе, когда в Москву были вызваны для возведения дворцов иностранные рабочие. При Иоанне Грозном это было уже большое поселение, в котором жили исключительно иностранцы, наехавшие в Россию. Слобода пользовалась правом самоуправления; в ней были своя церковь, лавки, училище. В Смутное время она была сожжена, но затем восстановлена при царе Алексее Михайловиче. К концу XVII столетия здесь жило до 15 тысяч иностранцев, старавшихся обособиться в своей жизни от москвичей. В настоящее время от Кукуй (Кукуевой) слободы остались только одни письменные памятники. Ее население было пестрое: шотландцы, англичане, ирландцы, немцы в особенном изобилии, французы, итальянцы и т. д. Нельзя сказать, чтобы москвичи относились к этим высленцам враждебно, но и особенно дружественных отношений тоже не было.

² Поганый — от латинского *paganus* (язычник).

— Чего же ему не полететь? — опять вставил свое слово Телепень. — Боярин Василий Васильевич Голицын¹, куда повыше его, а бывать в Кукуй-слободе не брезгует...

III

СТРЕЛЬЦЫ-МОЛОДЦЫ

Потапыч ничего не сказал в ответ Телепню, только зло сверкнул глазами в его сторону, обиженный таким не особенно лестным отзывом стрельца о его боярине.

— Так вот, говорю я, — продолжал он, — боярин мой так бы и полетел в Кукуй-слободу, да боится там со своими ребятами встретиться... Ведь они-то ничего не знают о стыде да о грехе его... Вот и надумал боярин мой, чтобы поискали немчинку в Кукуй-слободе такие верные люди, на которых положиться можно было бы, а после ему доложили бы, как, что, где? Тогда-то он уже сам надумает, что ему дальше делать...

— Так чего же твой боярин от нас желает? — спросил Кочет. — Чтобы мы эту немчинку разыскали?

— Это бы уж совсем хорошо было, — ответил Потапыч, — только допреж всего нужно знать, есть ли она там, или нет... Ведь говорю же, что этого мы и сами толком не знаем...

— Так, так, — покачал головой стрелец, — вот оно дело-то какое! Как ты, Телепень, о нем думаешь?

— А мне что ж? Поискать, так поискать, — последовал вялый, ленивый ответ. — Уж ежели думать, так ты, Кочет, думай, а я за тобой пойду...

— Вы не думайте, — вставил свое слово Потапыч, — боярин мой за казной не постоит... жалованье великое получите... Казны-то у него много...

— Еще бы, — усмехнулся Кочет, — на воеводстве был...

— Ну, ну, чего там! — заворчал Потапыч. — Не вашего ума то дело... Говори-ка лучше: беретесь вы разведать, живет ли немчинка в Кукуй-слободе?

— Отчего ж не взяться-то, ежели жалованье хорошее будет, — усмехнулся Кочет. — Только вот редко мы там бывали, не запу-

¹ Князь Василий Васильевич Голицын (1643—1714) — один из выдающихся передовых людей своего времени. Он был прекрасно образован, в совершенстве владел немецким, латинским и греческим языками, в молодости участвовал в чигиринских походах, потом сблизился с царем Федором Алексеевичем и добился местничества. В то же время он интимно сблизился с царевной Софьей, любившей его. В 1682 г. Голицын стал во главе Посольского приказа, т. е. занял пост министра иностранных дел, и выказал себя искуснейшим из дипломатов своего времени. Фактическое присоединение Малороссии к Киевом — его дело, но двукратные крымские походы, предпринятые им согласно договору с Польшей, были неудачны. После падения царевны Софьи Голицын был сослан Петром I сперва в Вологду, затем в Яренск, а потом в Архангельскую губернию, где в селе Кологорах и умер 71-го года от роду.

таться бы, — раздумчиво произнес он, — Телепень вот до заморских девок падок, так лазил туда, а я в Кукуй-слободу только с посылкой из приказа бегал. Погоди малость, Анкудин Потапыч, дай умом пораскинуть...

— Раскидывай, торопить не буду, — ответил старик, наливая ковши. — Вот хлебни, это помогает, ежели кто думу думает...

— А как эту немчинку кличут? — полюбопытствовал в первый раз Телепень.

— Постой, малый, — остановил его Потапыч, — про то после речь будет... Да вот еще что, молодец, — обратился он к Кочету: — Заодно уж желательно боярину моему знать, что в Кукуй-слободу его детища делают, у кого бывают, с кем время делят... Родительское сердце-то болит...

— Стой, Потапыч, стой! — перебивая его, воскликнул Кочет. — Нашел я, знаю, как ваше дело обделать; ту самую думу, которая мне нужна была, за хвост ухватил... Шляются, говоришь, сынки-то боярские в Кукуй?

— То и дело... Вдругорядь днюют и ночуют там... Я вот сюда побрел, а они туда улизнули...

— Так, так... А знаешь ли, что? Ведь я этих твоих молодцов видал... Дрались мы с ними... Молодцы они парни, и в драке, и в попойке лихи.

— Ну вот, скажешь тоже! — недовольно проворчал старик. — Станут они свои боярские ручки о вас, подлых¹, трепать...

— Бывало дело! — самодовольно усмехнулся Кочет. — Вот теперь это все пригодилось... Знаю я, что нам делать, как приступить... Найдем мы с Телепнем вашу немчинку, ежели она только в Кукуй-слободу живет, живо найдем... Они-то, боярина твоего сынки, туда, говоришь, пошли?

— Ох, туда...

— Важно! Принимаем мы твое дело! Давай теперь о жалованье говорить... Вот мой сказ: по два рубля на брата да угощение твое!

Потапыч даже взвизгнул, услышав условия Кочета. Два рубля в то время были вовсе не малой суммой, а служба, которая надобна была боярину Каренину, старику Потапычу казалась пустяшною.

— Ишь, заломил! — взволнованно воскликнул он. — Пожалуй, дело так у нас не сойдется.

— Не сойдется и не надо, — равнодушно ответил молодой стрелец.

Но торг все-таки начался. Потапыч торговался до слез, божился, клялся всеми святыми, каких только знал, но стрельцы непреклонно стояли на своем. Делать было нечего, в конце концов старик согласился, и ударили по рукам.

— Вот теперь и выпить можно! — заявил Кочет, до того не прикасавшийся к ковшу. — Ставь, что ли, хмельного, за скорую удачу выпьем...

¹ Подлый в старину — всякий человек низшего звания, простолюдин.

Однако теперь Потапыч заторопился домой. Он приказал выставить стрельцам брагу, а сам за шапку было взялся, да не таковые молодые стрельцы были, чтобы его без задатка выпускать. Как ни вертелся старый холоп, а задаток им выдал и за угощение все сполна заплатил, и только тогда с миром был отпущен из кружала.

Оставшись одни, стрельцы потребовали себе еще брагу и повели уже разговор о том, как им выполнить принятое на себя поручение.

— Плевое это дело совсем, как я обмозговал его, — сказал Кочет, — ежели выйдет нам удача, так нынешней ночью, может, с ним покончим...

— Да ну? — усомнился Телепень.

— Верно слово... Мишеньку да Павлушеньку Карениных мы с тобой оба знаем. Так ведь?

— Знаем, — отозвался Телепень, — я лишь про то не хотел при Потапыче рассказывать...

— Так вот, ежели они и зачастили в Кукуй-слободу, так неспроста. Вернее верного, что они боярскую разлапушку уже давно разскакали... Парни-то взрослые, смекают, в чем дело... Да потом все-таки, хоть и приبلудные, а там у них братишка с сестренкой... У нее, у немчинки этой, они и толкутся... Вот пойдем мы с тобой ночью, да будем в избы люторские по окнам заглядывать; где эти молодцы окажутся, там и немчинка боярская... Вот тебе и все... Верно?

— Верно-то верно! — согласился Телепень. — А ежели бока взмылят?

— Ау, волков бояться, в лес не ходить... Да и не впервой нам с тобой в переделках бывать. Ни с того ни с сего не тронут, а ежели тронут, так и сдачи дадим... И тянуть нечего, пусть боярские рубли по нашим кошелькам не долго плачут... Так, что ли, друже?

Телепень только заулыбался в ответ. Он хотя и часто вспоминал про «взмыливание боков», но на самом деле нисколько не боялся этого... Его физическая сила была огромна, и менее сильный, но зато более умный Кочет пускался без всякой боязни на самые отчаянные проделки, когда в них вместе с ним принимал участие его товарищ. А Телепень тем охотнее соглашался участвовать в предложенном им розыске, что на Кукуй-слободу у него кое с кем были давнишние счета, и он не прочь был, наконец, свести их. Одно ему не совсем нравилось — это то, что Кочет зашепшил и надумал идти ночью. Лень было выходить из кружала, — так было в нем уютно; но раз уговор был заключен, исполнить его было нужно.

IV

УГОЛОК ЕВРОПЫ

Кукуй-слобода и в самом деле была уголком Европы в Московии. По своему внешнему виду это был чистенький, опрятный городок средней Германии. Словно какой-то великан взял его с прирейнской долины и переставил сюда, на Яузское урочище.

В центре Кукуя стояла небольшая, но строго выдержанная в готическом стиле церковь, конечно, лютеранская, так как католиков среди кукуевцев было совсем мало. Вокруг церкви раскинулась опрятная площадь, настолько обширная, что когда по воскресным дням в Божий храм собирались почти все обитатели слободы, то по окончании службы, когда они, как и у себя на родине, любили постоять да побеседовать об общественных делах, было совсем не тесно. Внутри церковь была весьма опрятна, кафедра просторна и украшена замысловатой резьбой, а пастор — симпатичный представительный старик — говорил такие проповеди, что слушатели совсем позабывали, что они не на своей родине, а под боком у совершенно чуждой им и по быту, и по складу мышления столицы.

От церкви во все стороны, как радиусы от центра, расходились прямые чистенькие улочки, не очень широкие, но все-таки достаточные, чтобы разъехаться двум подводам. Дома были небольшие — в каждом помещалось только одно семейство, — но весьма своеобразной архитектуры: узкие по фасаду, с остроконечными цветной черепицы крышами. Только у тех домов, которые выходили на площадь, окна были в лицевом фасаде, да и то в этих окнах были вделаны прочные решетки; у большинства же домов на улицы выходили глухие стены с одной массивной дверью и рядом почти незаметных отверстий-бойниц. У таких домов лицевой фасад выходил во внутренний двор, на котором обыкновенно разбивался если не сад, то цветник. Такое оригинальное расположение фасадов оправдывалось в данном случае желанием обратить каждый дом в небольшую крепость, вполне пригодную для защиты при нападении. Кукуевцы были и осторожны, и предусмотрительны. Они знали, что московская чернь, и в особенности буйные стрельцы, относится к ним недружелюбно и в случае какой-нибудь гили, то есть буйной народной вспышки, им придется самим себя отстаивать. Однако над многими домами на длинных, выдававшихся вперед прутьях болтались своеобразные вывески в виде изображения тех предметов, которые можно было приобрести в данном доме. Некоторые домики, особенно те, которые выходили на площадь своими лицевыми фасадами, были не так уже строго выдержаны в излюбленном германцами стиле. В их архитектуре чувствовались местные московские веяния: коньки были с причудливой резьбой, ставни у больших окон тоже. Только дом старого пастора был выдержан в строгом стиле.

Лучшим из домов Кукуя был, кроме обширного дома пастора, дом Джемса Патрика Гордона¹, «Петра Иваныча», как его звали русские, шотландского выходца, бывшего, так сказать, «первым человеком» в слободе. Гордон, порядочно образованный по тому времени человек, был в большой чести у всесильного князя Василия Голицына. Он много лет состоял на русской военной службе, участвовал в чигиринских

¹ Джемс Патрик Гордон (1635—1699), шотландский выходец, инженер по образованию. На службе у московского правительства Гордон был с 1661 г., а до этого сражался в войнах Швеции и Польши.

походах, когда и сблизился с Голицыным. У последнего в его дворце он бывал запросто, сама неукротимая царевна Софья спрашивала советов Гордона, и через него в Кукуй-слободе раньше, чем в Москве, становились известными все придворные новости.

Затем красив и обширен был дом богача-винооторговца Иоганна Монса. Бедняком явился Монс в Кукуй-слободу искать у москвитов своего счастья и нашел его. В десяток лет, не больше, он стал одним из богатейших колонистов. Потолкавшись на Москве, он узнал, что в кружалах могут пить только «подлые люди», а всякий, кто принадлежит к сословию повыше, должен был постоянно держать запасы дома. На этом Монс и построил свое благополучие: ведь законы — одно, а жизнь — совсем другое! Он ухитрился завести винный погреб, стал отпускать «заморские вина» небольшими бочонками и быстро составил себе большое состояние на этом.

Далее среди наиболее видных поселенцев Кукуя был австрийский агент Плейер¹, зорко наблюдавший в Москве, потом выделялся образованный швейцарец Лефорт², другой Гордон, Александр, оставивший после себя своим лучшим памятником историю этих лет, инженеры — француз Марло и голландец Иаков Янсен, казавшиеся большими знатоками военного и пушкарского дела, Адам Вейде, Иаков Брюс, а в последнее время, по особенным причинам, вдруг выдвинулся совсем скромный корабельный мастер, лучше сказать, корабельный плотник, Франц Тиммерман.

V

НА СОВЕЩАНИИ

В один из праздничных дней, по призыву Джемса Гордона, все более видные и влиятельные лица собрались в его доме. Гордон без особенной крайности никогда не беспокоил никого; значит, если он созывал совещание, у него было что-нибудь особенно важное, требующее не только общего обсуждения, но и общего согласия. А это в свою очередь знаменовало то, что кукуевцам откуда-то грозила серьезная опасность. Поэтому у всех собравшихся к Гордону были напряженно-серьезные лица, на которых отражалась тревога.

Как и всегда, по безмолвному уговору, роль председателя досталась Гордону. Он не стал топить своих гостей и после того как все

¹ Отто Антон Плейер прибыл в Россию якобы с торговыми целями. Под видом простого купца он следил за всем, что делалось в России, и посылал подробные донесения императору Леопольду. После переворота он был уже явным дипломатическим агентом и одно время резидентом. Покинул Россию в 1718 г.

² Франц Яковлевич Лефорт родился в 1655 г. в Женеве, в Россию явился в 1675 г., поселился в Кукуй-слободе, где и женился на родственнице Гордона. Благодаря последнему был принят на русскую военную службу, участвовал вместе с Гордоном в походах, приобрел расположение князя Василия Голицына, впоследствии принял сторону Петра и был до конца жизни одним из деятельных его сподвижников. По отзывам современников, это был отважный рубака, большой говорун, весельчак. Он основал под Москвой Военную и Лефортovu слободу. Умер в 1699 г.

разместились в зальце его богатого дома, закурили трубки и принялись за объемистые кружки с пивом, заговорил:

— Друзья мои, я созвал нас не для веселья, — Гордон говорил по-немецки с небольшим акцентом, — а для того, чтобы выяснить наше положение. С глубокой печалью говорю, что у меня имеются весьма тревожные сведения относительно недалекого будущего, настолько тревожные, что я не счел себя вправе не поделиться с вами.

— Что же такое ожидается? — робко спросил Лефор. — Уж опять не злоумышляют ли на молодого царя Петра?

— Похоже на то, мой дорогой друг, — ответил Гордон. — Царевна-правительница хочет одним разом изменить все положение. Да оно и на самом деле становится нестерпимым. Петр молод, порывист и неукротим так же, как и его сестра София. Московиты говорят, что в одной берлоге два медведя не уживаются, а тут таковые налицо... Ужасно! Брат и сестра одинаковы по характеру... Один стремится к власти, другая защищает то, что у нее в руках... Кто возьмет верх, известно одному только Господу!.. — Гордон немного помолчал и потом продолжал с заметным подъемом: — Не сегодня-завтра на Москве должны произойти события... кровавые, скажу я, друзья мои, события. Две силы вступят в решительный спор, и от того, которая из них одолеет, зависит будущее множества людей, целого государства, целого народа, скажу я... Мы не можем быть равнодушны к предстоящим событиям, и для того чтобы определилась и наша роль, я и решил создать вас...

— Да, — отозвался сумрачный Вейде, — наши мушкеты и алебарды бесспорно могут дать перевес той стороне, на которую мы станем, а я и герр Брюс знаем толк в этих вещах... Потом, кто же будет участвовать в ожидаемых вами, герр Гордон, кровавых событиях? Московская сволочь¹, не вооруженная, — сильная, когда она в массе, и ничтожная под напором организованной силы. Потом это стрелецкий сброд; но он — такая же сволочь, как и московская чернь... Все они способны только на бессмысленные неистовства. Вот почему я совершенно не боюсь ни за себя, ни за нашу колонию.

— И я также, — легко усмехнулся Гордон, — но я, мой уважаемый герр Вейде, и не говорю об этом; я говорю только о том, какова будет наша роль в предстоящих событиях, на чью сторону мы станем.

— Но не будет ли это вмешательством во внутренние дела Московии? — осторожно заметил Плейер. — Ведь мы здесь чужие... Как мы можем в подобной борьбе принимать ту или другую сторону?

¹ В своем древнем значении это слово никогда не было бранным. Оно означало толпу людей, которую при всенародных переписях охватывали («сволакивали») определенной длины веревкой. Количество людей, помещавшееся при охватывании от одного конца веревки до другого, и заносилось в списки, потом охватывалась («сволакивалась») другая толпа людей, и в конце концов определялось, сообразно записанным цифрам, общее количество населения в данной местности. По именам вносились в списки лишь те, кто пользовался тем или иным преимуществом. Отсюда под названием «сволочи» был известен люд, при переписях поименно не перечисляемый в списках.

— Я люблю царя Петра, — приподнялся швейцарец Лефорт, — но думаю так же, как и Плейер.

— А я верую, — восторженно воскликнул пастор, — что будет так, как угодно Небу... Что мы такое? Жалкая трава, ничтожные былинки! Небо пошлет ветер, и он сдует нас без следа... Но вместе с тем, создавая человека, Господь Творец вдунул в него душу свободную, и я думаю, что мы, прежде чем постановить решение, должны всесторонне обсудить это дело.

— Я думаю так же, — с улыбкой проговорил Гордон, — и потому предлагаю вам высказаться... Пусть каждый скажет, что он думает, и тогда...

Однако желающих говорить не было. Хотя все в Кукуевской слободе знали о подготавливавшихся грозных событиях, но все-таки заявление Гордона застало всех врасплох, и никто не решался принять на себя ответственность за высказываемое мнение.

— Если никто не желает сказать свое мнение, — проговорил, наконец, Гордон, — то да будет позволено сделать это мне... Прошу снисхождения и терпения, так как моя речь будет несколько продолжительна.

Гордон откашлялся, поправился в кресле и заговорил сперва ровно и спокойно, но потом все более и более возвышая голос и делая по временам эффектные перерывы и паузы.

— Я совершенно согласен и с моим дорогим Плейером, — говорил он, — да что поделывать: мы здесь, в Московии, совсем чужие... Мы в самом сердце народа, совсем нам чуждого и по духу, и по крови, и по обычаям, и по вере... Мало того, скажу, не боясь обидеть вас, что этот народ смотрит на нас, как на занозу в своем теле... Но позволю себе спросить вас: а разве там, откуда мы все пришли сюда, на родине, мы не чужие теперь? Разве мы не сами покинули те места, где жили и успокоились на земле наши отцы, деды, предки? Не думаю, чтобы слезы не полились из глаз того, кто покидает родину для этой полудикой и буйной страны. И вряд ли кто-либо из нас не потерял надежды вернуться назад в родные места...

— Да, он прав! — перебил оратора один из слушателей. — Нам нет возврата...

— На родине не будет хуже, чем здесь... — сказал другой.

— Тс-с... Послушаем, что скажет господин Гордон дальше... Все опять стихло.

— Отчего же мы все ушли оттуда? — задал риторический вопрос Гордон. — Ведь родина и поныне дорога нам, воспоминания о ней — самые радостные для нас... Что же это значит? Мы изменили своей стране, своему народу? Нет, тысячу раз нет! Я объясню все проще. На родине на нашу долю не хватало счастья, и мы отправились за ним на сторону... Да, да, так это. И мы нашли это свое счастье среди чужих, — Господь был в достаточной степени милостив к нам. Можем ли мы возвратиться? Я полагаю, что нет... Мы отстали от своего народа, который ушел далеко вперед; в настоящее время мы в родных нам странах будем более чужими, чем

здесь, и потому я уверен, что немногие решатся на возвращение... Да и к чему? Тесно там, всюду избыток населения, все страны Европы стараются сбывать его. Я имею много писем от европейских друзей и могу судить, что там делается. Франция, Англия, Испания массами сбывают свое население в Новый Свет, голландцы сбывают его в Китай, Португалия — на архипелаги Индийского океана; между Францией и Англией идет постоянная морская война из-за Индии. Остаются Германия и Римская империя. Там тоже тесно, там тоже скоро земля не будет в состоянии прокормить все рты. Куда же кинуться германскому избытку? У тевтонов нет колонизаторских способностей. В Новом Свете пионерам приходится вести страшную борьбу за существование. Германцы не способны на это. Конквистадоры на южном американском материке беспощадно истребляют аборигенов, а германцы не способны и на это.

— Это — совершенная правда, — раздался голос одного из собравшихся, — господин Гордон подметил верно: тевтоны не насильники, их орудие завоеваний — мирный труд, а не кровопролитие....

VI

КУКУЕВСКИЕ ЗАМЫСЛЫ

Патрик Гордон улыбнулся говорившему и продолжал:

— Для выселения германцев нужна страна с зачаточной культурой, а они, придя в нее, помогут населению развиваться. Но, конечно, эта помощь не может быть оказана даром, наградой для культуртрегеров должно быть вечное первенствующее значение в этой стране. Чтобы создать себе такое положение и упрочить его за собой, они должны завоевать такую страну, но не оружием, не кровью, а совершенно тем путем, о котором сейчас только сказано здесь, — мирным путем. Я уверен, вы догадываетесь, что такой страной для Германии является необъятная, все ширящаяся в своих пределах Московия. Завоевать ее оружием нельзя. Недавно еще Польша и Швеция сделали эту попытку, и русские легко отбились от натиска внешних врагов. Москва после тяжелого разорения оправилась быстро и стала еще могущественнее, чем до своего мимолетного безвременья. Стало быть, завоевание может быть, говорю я, только мирное. Но как сделать это?

— Да, да, — закричали несколько слушателей, — как?

— Не воевать же Кукую с Москвой!

— Мы бессильны... Что мы можем поделать?

— О, чего не добьется энергичный человек! — воскликнул с порывом Гордон, приподнимаясь на своем месте. — Для него нет решительно ничего невозможного... «Я хочу, я могу!» — вот девиз европейца! Московское государство культурно, по крайней мере в своих средних и высших слоях; полагаю, что никто не будет отрицать это; но его культура совсем иная, чем европейская культура. Восток Европы и запад Азии сеял в этой стране семена культуры, так нужно дальнейшее ее развитие направить в такую сторону,

чтобы она пошла тем же путем, как и европейская культура. Иначе Москва скоро очутится впереди всех. В самобытности культуры, в оригинальности прогресса — ее сила, и эту силу нужно ослабить, сломить во что бы то ни стало. Направленная вдогонку Европы, Россия никогда не сравняется с нею, всегда будет отставать, а, пока она будет отставать, колонизаторы и их потомки всегда будут во главе ее, то есть они будут в Московском государстве господами, а аборигены страны — их рабами... Эти последние будут работать, а первые — будут управлять ими...

Слова Гордона произвели сильнейшее впечатление на слушателей.

— Он открывает нам глаза на наше великое будущее! — воскликнул пастор.

— Тс-с... Слушайте, слушайте, господин Гордон говорит опять!

Отдохнув, оратор продолжал:

— И вот, говорю я, настоящий момент — самый удобный, для того чтобы начать великое мирное завоевание... И честь начать его выпадает на нашу долю, мы — авангард великой европейской армии, мы — пионеры в открываемой для новой нашей культуры стране.

Гордон смолк.

Раздались возгласы одобрения. После этого Гордон хлебнул пива, затянулся трубкой и продолжал уже совсем пророчески-вдохновенным тоном.

— Теперь смотрите, что творится вокруг нас. Царевна Софья и князь Василий Голицын не склонны сходить с пути своих предков. Они не допустят ломки, потому что не желают ее. Они достаточно разумны, чтобы понять, что русские никогда не станут европейцами, что от России останется только одно географическое название, если она сойдет со своего прежнего пути. Но против них выступает царь Петр. Он молод, но его сердце полно ненависти ко всему прежнему. Как и вся молодежь, он жаждет новизны. Прежние формы давят его, его детство несчастно, юность не красна. Ошибка правительницы в том, что она слишком в тисках держала своего меньшего брата. Слишком много крови и трупов он видел в свою недолгую жизнь. В его глазах, в его воззрении с политикой его предков олицетворялось одно дикое, кровавое неистовство. И молодой царь способен сломить отцовскую старину, если ему помогут в этом. Само собой понятно, все те, кто будет с ним в этом предприятии, станут первыми для него людьми. Отчего же не стать ими нам? Зачем упускать то, что само дается нам в руки? Молодой царь Петр запросто бывает у нас в слободе, многие из нас имеют честь быть его друзьями, некоторые же — учителями... Окружим же молодого царя своею ласкою, своею заботою, в опасную минуту встанем с оружием на его сторону; когда же он начнет переменять путь развития своего народа, поможем ему в этом, всеми силами поможем... Наградой от него мы забыты не будем. Но этого мало: мы сохраним почетные места, а стало быть, и господство над Россией для тех, кто будет следовать за нами. Россия — страна азиатская, страна рабов; неужели же европейцам не быть в

ней господами? — Гордон в изнеможении откинулся на спинку кресла и слабым голосом проговорил: — Вот, господа, что я был намерен сказать вам. Решайте теперь сами, чью сторону мы должны принять в предстоящих великих событиях.

С минуту все молчали.

— Царя Петра, Петра! — пылко воскликнул Франц Лефорт, вскакивая со своего места. — Долой правительницу, к черту в ад женщину!..

Он не успел еще закончить, как кругом все задвигались, зашумели, заговорили.

— Петра, царя Петра! Долой правительницу! — только и слышалось в течение нескольких мгновений.

Гордон сделал рукой повелительный жест и, когда шум и крики смолкли, спросил:

— Это, господа, ваше решение?

— Единогласное! — последовал общий ответ.

— Смотрите же, я не насиловал вашей совести, ваших убеждений, вы были вполне свободны в своем решении.

— Да, да... Вполне!

— Кому вы поручаете вести все это дело? Помните, что вы должны будете беспрекословно повиноваться своему избраннику.

— Вам, вам, Гордон! Вы опытни в ратном деле, — раздались опять крики, — вы знаете всех бояр, вас знают в московских войсках, вы лучше всех осведомлены, что делается во дворцах... Гордон, Гордон...

— Благодарю вас за доверие и принимаю ваше поручение, господа, — поклонился Гордон собравшимся. — Можете верить, что я приложу все силы, чтобы выполнить ваш план во всем его объеме, но вы все должны помогать мне. Главное, молодой царь... Пусть он станет своим между нами... Принесите общему святому делу тяжелые жертвы, отрешитесь, если будет нужно, от самолюбия. Узы дружбы и благодарности спаяйте пламенем любви, и тогда наша победа будет несомненна.

— Не бойтесь за нас, Гордон, — подошел к нему Лефорт, — вы указали нам путь, и мы не сойдем с него.

— Верю, — пожал протянутую им руку старый шотландец, — верю всем! Господа, великий долг должен быть исполнен до конца, — говоря так, он отер слезы, навернувшиеся на его глаза, и закончил: — Этого ждет от вас Европа. Со всех сторон к нему протянулись для прощального пожатия руки. Участники собрания быстро расходились; последним подошел к Гордону пастор.

— Я понял вас, — проговорил он, и его глаза так и загорелись, — вы выступаете на свершение великого подвига, и на этом пути я до своего конца пойду вместе с вами.

— И мы победим! — воскликнул Гордон.

— И ради этого подвига, — не слушая его, продолжал пастор, — я принесу величайшую в моем положении жертву: я совершу грех, который лишит мою душу вечного спасения...

— О чем вы говорите, преподобный отец? — встревожился Гордон, подумавший, что этот фанатически настроенный старик таит мысль о каком-нибудь политическом убийстве. — Скажите подробнее... Прошу вас...

— Да, скажу! Вы говорили о пламени любви, которое должно спаять узы дружбы и благодарности?

— Говорил, что же?

— Я понял, о каком пламени любви вы сказали... Греховное пламя! Молодой царь часто бывает у меня, я просвещаю его ум разными науками, которыми умудрил меня Небесный Отец...

— Да, знаю... вы легко можете повлиять на царя...

— Он заходит ко мне, а у меня живет сиротка Елена Фадемрехт, — и не сказав Гордону более ни одного слова, пастор, что-то бормоча, пошел к выходу в сени.

— Да, — усмехнулся вслед ему шотландец, — фрейлейн Лена очень недурна. Из этого, значит, может быть толк... Посмотрим!..

VII

В ПАСТОРСКОМ ДОМЕ

Небольшой, уютный домик пастора на церковной площади весь был увит плющом, так что его лицевой фасад издали казался зеленой стеной. Окна в нем были створчатые, а не подъемные, ставни также распахивались на две половинки. Когда темнело, эти ставни закрывались, и комнаты внутри освещались, но не русскими светцами, а особенного устройства масляными лампами, при умелой заправке дававшими порядочный свет. На площадь выходили только парадные комнаты жилища пастора, его же рабочий кабинет выходил окнами на двор, в красиво разбитый сад, в котором любил проводить часы своего отдыха старый служитель церкви.

Кабинет пастора был обставлен, как все вообще кабинеты ученых людей того времени. Посредине стоял просторный стол с чернильницей, на которой лежали гусиные перья и небольшой ножичек. В простенке помещался другой небольшой столик. В углу стоял невысокий аналой с лежавшим на нем Евангелием. Другой угол был задернут занавеской так, что за ней образовывалась довольно большая пустота. У одной стены стоял большой шкаф с книгами, у другой — такой же большой шкаф с различными склянками, банками, колбами, мензурками, ступками и всевозможными медикаментами. Все было просто, чисто и опрятно.

Был конец июля 1689 года; осень уже чувствовалась и в рано наступавшей темноте, и в прохладе вечеров, но это была отрадная после дневного зноя прохлада. Надворные окна были открыты, кое-где слышались тихий говор, смех, где-то пела скрипка. Кукуй-слобода затихала рано, но засыпала в сравнении с Москвой поздновато.

В эту-то темную ночь и пробирались, минуя заставы и рогатки в Кукуй-слободе, стрелецкие сорванцы Кочет и Телепень. Оба они

были порядочно навеселе и дело, за которое они взялись, казалось им совсем пустяшным, тем более что они сразу же натолкнулись на следы молодых Карениных. У Телепня на Кукуе было немало не только знакомцев, но и приятелей. Оказалось, что Михаила и Павла Родионовичей Карениных действительно частенько видели в слободе и знали, куда и к кому они ходили. Все было так, как рассказывал стрельцам Анкудин Потапыч. Сыновья боярина Каренина бывали у почтенной, уважаемой всеми в слободе дамы, Юлии Шарлотты фон Фогель, одиноко, но вполне независимо жившей в наемном домике с двумя подростками-детьми. Боярские сыновья, по рассказам, относились к Юлии Фогель, как любящие дети к матери, и она в свою очередь была матерински добра с обоими юношами.

— Ишь ты, выходит, что не наврал нам старик, — глубокомысленно произнес Кочет, — правду сказал...

— С чего ему врать-то! — согласился Телепень. — Значит завтра доложим все, как следует, и чтобы сейчас рубли на бочку...

— погоди ты с рублями! — приостановил его более рассудительный товарищ. — Дай дом хоть найти.

— А то не найти, что ли? — захвастался Телепень. — Я тот дом знаю, видал... Вот только темно, да земля с чего-то, прах ее поberi, под ногами пляшет! — И, как бы желая доказать справедливость своих слов, Телепень так качнулся, что едва не свалил с ног своего друга.

— Вот в том-то и все дело, что земля заплясала, — чуть слышно засмеялся более трезвый Кочет, — а еще чужой дом в немчинской слободе по приметам искать собираешься.

— А что ж, не найду, что ли?

— Может, и найдешь, да он-то у тебя из-под носа убежит... Что тогда, не догонишь ведь?

Телепень подумал было сперва, что ему нужно разобидеться на насмешку приятеля, но потом решил, что, на ночь глядя, ссориться не стоит, и совершенно неожиданно брякнул:

— А я спать лягу!

— Эта как же так спать? — опешил Кочет. — Где?

— А вот в канаву лягу... Дождя давно не было, сухо... До утра просплюсь и найду тогда твой проклятуший дом... Уж об утро он у меня не убежит... Я тогда поймаю его, не выпущу...

Кочет не на шутку растерялся.

— А я-то как же? — спросил он.

— А ты уж, как знаешь... Поди да погуляй маленько до утречка. А то знаешь что, братейник? Где это мы? А, около кирки ихней... попов дом, стало быть, близко... Да, так и есть... около него стоим... Хочешь, к ихнему попу в сад заберемся? Там у него сл-а-авная беседочка есть... в ней и завалимся... Важно до утра поспим... Хочешь, что ли, братейник?

Совсем не улыбалось Кочету болтаться до утра, да еще без силача Телепня, по улицам незнакомого ему поселения. В Кукуй-слободе было тихо, но мало ли на кого ночью можно было нарваться? Немцы

же и со стрельцами не особенно церемонились, и немецкие кулаки дубасили так же больно, как и русские. Предложение друга даже понравилось стрельцу. Ведь что ж в самом деле? До утра в сад из дома никто не выйдет, а как забрезжит рассвет, и убраться можно.

— А ты ладно придумал, — проговорил он, — даром, что Телепень.

— Вот тебе и Телепень!.. Открыта калиточка, открыта! Шагай, родимый! Да тише ты, неумытая твоя рожа!

Стрельцы прошмыгнули в калитку. На них так и пахло ароматом полного разнообразных цветов сада. Кочет приостановился на мгновение и огляделся вокруг. Было тихо, ни души кругом не было; одно из окон в сад было распахнуто. Это было окно пасторской кабинета.

— Стой, — прошептал Кочет, — видишь!..

На светлой полосе, выбивавшейся из окон, были видны две тени; одна была неподвижна, другая же двигалась из стороны в сторону. В этот вечер пастора не было дома, а в его отсутствие к нему пожаловал гость, правда, не редкий, но всегда являвшийся в вечернюю пору.

VIII

ГОСТЬ КУКУЕВСКОЙ СЛОБОДЫ

Это был юный царь московский Петр Алексеевич.

Еще пригож собою был он в ту пору своей жизни. Ему шел в начале всего только восемнадцатый годок. Бела была, не загрубела еще кожа на его лице и не покрылись его руки сплошными мозолями. Мяжки были его черные волосы на голове и нежный первый шелковистый пушок покрывал подбородок и губу Петра. Правда, крупны были черты его лица, мясисты — широкий нос и толстые губы, непомерно высок и выпукл лоб, но все его лицо было в полном соответствии с крупной не по летам фигурой. Огневой энергией сверкали его большие навывкате глаза; все движения были порывисты, как будто этот юный богатырь постоянно стремился куда-то вперед. На нем был синий простой кафтан, а под ним — шитая рубаха, подпоясанная узорчатым поясом. Не стеснявшая движения одежда выдавала высокую грудь, а это и любо было живчику-юноше, порывистому даже и за тем серьезным делом, за каким он явился в такое позднее время в пасторский дом.

За отсутствием самого пастора, потайно прибывшего царя встретила его молоденькая воспитанница Елена Фадемрехт.

Это была хорошенькая девушка, веселая, бойкая, словоохотливая. Она была сирота, и пастор приютил ее, когда она была совсем маленькою, приютил и воспитал как родную дочь. Он был привязан к ней по-отцовски, души в ней не чаял, берег ее, холил и ее-то он наметил той жертвой, о которой говорил на собрании Джемсу Гордону.

Опытен был в жизни старый пастор, знал он человеческую душу... Знал он, что велика власть женщины над человеком. Только

одного не принимал он в соображение — что, пока птичка не поймана, она порхает, где ей любо.

Фрейлейн Елена мило встретила позднего гостя. Никакого особенного почтения, а тем более внешнего подобострастия перед ним она никогда не выказывала. Не царь московский был для нее Петр Алексеевич, а престо милый юноша, которого ее благодетель представлял в разных премудростях. И юному царю очень нравилось такое обращение. Притворное низкопоклонство, лесть, угодничество, за которыми почти всегда скрывались неприязнь и ненависть, давно опротивели ему; он искал простоты, отзывчивости, душевной теплоты; он был еще достаточно молод, чтобы любить правду, и искал ее. Среди иностранцев Кукуй-слободы Петр находил некоторое подобие ее. Люди не ломались перед ним, не гнули дугой спины, а говорили, что думали или что было нужно, простыми, ясными словами. И в Петре эти люди видели такого же человека, как и они сами, были снисходительны к его слабостям и недостаткам, но и не стеснялись открыто говорить про них. Все это было контрастом по сравнению с тем, что было вокруг Петра в Москве, и это привлекало его к себе: ведь контрасты действуют на впечатлительные души всегда сильно, резко, захватывающе.

Нравилась ли молодому московскому царю хорошенькая воспитанница пастора?

Кто знает сердце человека? Трудно допустить, чтобы хорошенькое личико, румяные щеки, веселые голубые глаза, искренне-веселый смех молодой девушки не производили впечатления на венценосную душу; но в Кукуй-слободе, в свои частые поездки туда, Петр Алексеевич как будто забывал, что он — царь и «все может». Он был почтительно-деликатен со всеми женщинами, с какими ему приходилось сталкиваться, даже застенчив в ту пору своей жизни, а Елена Фадемрехт нравилась ему, как веселое молодое существо, с которым ему иногда бывало не скучно.

Петр Алексеевич был уже женат в то время. Любившая его мать по-своему постаралась охранить его от последствий увлечений молодости и женила, как только он перешел за грань отрочества. Конечно, в этом браке любви не было, но естественные чувства были удовлетворены, и в молодой душе еще не кипели те бури страсти, которых было так много в последующей жизни этого человека. Может быть, поэтому Елена Фадемрехт и не притягивала к себе внимания молодого царя.

Но молодая девушка чисто женским чутьем понимала, что рано или поздно роковой момент должен был наступить. Близость молодого человека и молодой девушки редко проходит бесследно — так уже создана человеческая природа. Огонь вспыхивает внезапно, волны желания захлестывают человека с быстротой, которой он противиться не может, и ни царь, ни смерд не в силах противиться нахлынувшим вдруг чувствам.

Были и еще обстоятельства, из-за которых Елена стала побаиваться молодого гостя и царя.

БОЯЗЛИВАЯ ГОЛУБКА

С некоторого времени воспитатель молодой девушки стал делать намеки, невольно заставлявшие ее краснеть. Она не совсем понимала их, но инстинкт подсказывал ей, что в этих намеках таится для нее какая-то опасность. Пастор чего-то желал от нее, ждал от нее какой-то услуги, какой-то великой жертвы ради блага множества обездоленных, лишенных милой родины людей, близких ей и по духу, и по крови, и по религии. Пастор то перечислял ей могучих, славных женщин, не останавливавшихся ни перед каким самопожертвованием, когда дело шло о счастье великого родного народа; он красочно, увлекательно, живо рассказывал ей историю библейских Юдифи и Олоферна, восхищался подвигом еврейки и сразу же переходил к царю Петру, расхваливал его, говорил, что, если бы около него была своего рода Юдифь, тысячи и сотни тысяч благословляли бы ее.

Он говорил о той роли, которую должны были сыграть в истории России иностранные выходцы, и вдруг прямо высказывал, что таких людей, как молодой царь Петр, крепче всего можно сковать цепями женской любви, — любящий человек-де сделает все, чего ни захочет любимая им женщина.

Елена слушала все эти красноречивые слова, краснела, но старалась не вникать в их скрытый смысл, и все только потому, что ее юное сердце было уже в ту пору несвободно.

Этого последнего и не принял в расчет старый пастор Кукуевской слободы.

Чувствуя опасность, молодая девушка, и тут руководимая чисто женским инстинктом, начала готовиться к отпору. Она ни в чем не переменила своего обращения с царственным гостем, стала даже веселее прежнего, была еще более непринужденна в обращении с ним, и наблюдавший за всем этим старый пастор радовался, воображая, что его план удастся. Он стал уходить или запаздывать с возвращением, когда, по его расчетам, его гость-венценосец должен был быть у него.

Так было и в этот темный июльский вечер.

— Здравствуйте, царь, здравствуйте! — приветствовала Елена прибывшего Петра. — Давно не были у нас в слободе... Словно и позабыли совсем...

— Нет, фрейлейн Лена, нет, — ласково ответил гость, пожимая маленькие ручки девушки, — я никогда не забываю своих друзей.

Они говорили по-немецки; Петр медленно произносил слова, старательно подыскивая их в своей памяти, прежде чем сказать, но, в общем, его речь была правильна, хотя и несколько книжна. Он, разговаривая с Еленой, даже старался сдерживать свой и в то время уже грубый голос, и только его глаза так и взблескивали яркими огоньками.

— Это хорошо, что вы не забываете своих друзей, — заговорила девушки, — а врагов как? Тоже не забываете?

Лицо молодого царя потемнело, изогнутые дугой брови надвинулись на глаза.

— Смотря кого! — глухо ответил он. — Иных и на своем смертном одре не забуду...

— Какой вы! Ведь это не по-христиански, — отняла у него свои руки девушка. — Но я не хочу верить, чтобы вы были злой... Нет, нет! Вы — добрый. Господь заповедал любить своих врагов...

— То был Господь, — по-прежнему глухо проговорил Петр, — а мы — простые люди... В мудрых же изречениях, которые я вычитал в книгах вашего благодетеля, прямо сказано, что человек человеку — волк... Эх, фрейлейн Лена, если бы могли только заглянуть в душу мне и увидеть, что там делается, испугались бы вы!..

— Разве? — отступила немного назад Елена.

Петр в это время присел к столу и так ударил по нему кулаком, что все вокруг ходуном заходило.

— Чего «разве»? — запальчиво и даже грубо выкрикнул он. — Кипит все там, словно печь разоженная, — слегка хлопнул он себя по левой стороне высокой груди. — Да! А как же этому не быть? Разве вокруг меня друзья? Враги лютые! Все... Вот сестра Софья... От одного отца мы с ней, а нет большего врага для меня, чем она! Сидит она теперь, поди, со своим Васькой Голицыным и придумывает, как бы меня с белого света известить...

— Полноте, царь, полноте! — остановила его девушка. — Вы сегодня мрачно настроены... И еще такой разговор затеяли... Бросим его!.. Знаете, я очень рада, что моего благодетеля дома нет...

— И я тоже, — сознался Петр.

Сердце Елены так и захолонуло.

«Что он задумал? — промелькнула у нее тревожная мысль. — К чему он это сказал?»

Она была одна во всем доме с этим молодым своевольником, о выходах которого давно уже ходили недобрые слухи.

— Я по крайней мере прочту еще раз анатомию, — докончил Петр, и Елена сразу почувствовала, как отлегло у нее от сердца, — и то воюясь с этими потешными и книги совсем забросил.

— И прекрасно! — воскликнула Елена, обрадованная и в то же время с чисто женской непоследовательностью задетая за живое явным равнодушием к ней молодого царя. — Усаживайтесь за свои книги, и если только вы будете прилежны, то я обещаю вам сюрприз.

— Какой? — восторженно спросил Петр.

— Будьте терпеливы и вы увидите сами, какой мой сюрприз! — весело засмеялась девушка. — Садитесь же за книги, огонь горит ярко, и ваши глаза передадут вам всю мудрость, какая в них есть. Учитесь, царь! Из вас, если бы вы не были царем, вышел бы прекрасный студент.

И, прежде чем Петр успел что-либо сказать, Елена с веселым смехом выбежала из пасторского кабинета.

ЗА ПРЕМУДРОСТЬЮ КНИЖНОЙ

Оставшись один, Петр не сразу принялся за книги. Видимо, взволнованный неожиданным разговором о друзьях и врагах, он несколько раз прошелся по комнате.

— Милая, резвая хохотушка, — проговорил он вслух сам с собой, — право, приятно словом перемолвиться с такой — не то что наши московские тетери и кувалды... «Лапушка» да «разлапушка», — только одно и знают, а дальше этого никуда... Целуй ее, ласкай, дрожи от страсти, а спроси что-нибудь — про один пирог с морковью услышишь... Матушка, матушка! Зачем ты меня с Авдотьей сковала?! Жизнь моя по-другому потекла бы, если бы иная около меня была! Эх! Да что тут! Порву я все путы, вырвусь на вольную волюшку... Не удержать им орла на привязи... И уж загуляю же тогда, так загуляю, что сам Грозный царь в своей гробнице сухими костями от удивления застучит... Только бы моих потешных поднять, никакие Софьи стрельцы против них не выдержат. Покажу тогда всему миру, кто я.

И прекрасен, и страшен был царь в эти мгновения. Горели его глаза, ноздри так и раздувались, вздрагивали его искривленные губы, высоко вздымалась богатырская грудь.

Наконец, поборов себя могучим усилием воли, Петр взялся за книгу. Однако, прежде чем сесть к столу, он подошел к окну; тут до его чуткого слуха донесся отдаленный говор и ему показалось, что голоса все приближаются, и что наконец скрипнула даже приворотная калитка.

Он выглянул во двор. Было темно, веяло прохладой, из пасторского сада лился аромат цветов. В саду стояла ночная тишина; слышался только шелест листьев под легкими шквалами налетавшего ветра.

— Причудилось, надо быть, мне, — промолвил царь, — никого там нет. Да и кому быть? Сестра Софья сюда своих соглядатаев послать не осмелится... Ох, сестра, сестра! — он даже опять нахмурился, вспомнив про правительницу, но, опять подавив в себе закипавшее чувство, махнул рукой и подошел к завешенному углу.

Занавеска была отдернута, и за ней оказался прекрасно собранный человеческий костяк, установленный во весь рост на широкой подножке. Глазные и носовые впадины зияли на его белой кости. Беззубый рот был раздвинут, и казалось, что эта страшная мертвая голова улыбается тому, кто смотрит на нее. Лишенные мускулов руки были протянуты вперед, но в них были приспособления, посредством которых каждой руке или ноге можно было придать любое положение.

Петр взял костяк, перенес его к столу, сел сам и развернул одну из книг. Перелистав несколько страниц и найдя нужное ему место, он поднял и укрепил подставкой одну из рук костяка так, что она приняла горизонтальное положение, то же положение он придал и

ноге скелета. Покончив с этими приготовлениями, он стал повторять урок, лишь изредка заглядывая в учебник:

— Сие есть локтевая кость, сие — лучевая, сие — голень, вот малая берцовая, вот копчиковый отросток...

Изучаемый предмет, видимо, сильно интересовал Петра. Простудировав его, он в прежнем положении поставил костяк перед глазами, а сам закурил трубку с длинным чубуком. Напряженно работавший мозг требовал подбодрения. Петр курил сильно, и скоро клубы табачного дыма носились над его головой, окутывая и его, и стоявший перед ним костяк. Но венценосный ученик не обращал на это внимания. По временам он отрывался от книги, склонялся к костяку, трогал его, повертывал, бормоча в то же время наименования тех или других его частей.

Как раз около того времени, когда Петр взялся за изучение скелета, стрельцы Кочет и Телепень промелькнули в калиточку пасторского дома. Телепень подбодрился, держался на ногах порядочно твердо, но его болтливость все-таки не иссякала.

— А что, брат, ведь хорошо я придумал? — хвастливо спросил он у товарища. — А?

— Чего уже лучше! — насмешливо ответил тот. — Вот как хозяйева надают в загорбок, совсем чудесно будет.

— Не надают... Мы и сами с усами... Сдачи дадим...

— Тише ты, видишь! — указал Кочет на отворенное окно, из которого выбивался яркий свет. — Ведь не спят еще, проклятушие.

— Да, я и то вижу... А ведь беседка, что я наметил, прямо против окна...

— Думаешь, увидят?

— Вернее верного то, а увидят — прогонят... Ночуй в канаве... Эх ты, жизнь...

— Что же делать?

— А вот что! Переждем тут, под стеной... Не до петухов же не спать будут... Угмонятся, тогда мы в беседку и проберемся.

— Дело! — согласился Кочет. — Переждем!

Они притаились под стеной вблизи открытого окна; шум, вызванный ими, привлек внимание чуткого Петра.

Прошло несколько времени. Стрельцам даже уже надоело стоять и ждать, да и спать им хотелось, так что невтерпеж даже стало.

— У, полуночники! — с сердцем, выбранился Кочет. — Ночь уже на дворе, а они все спать не укладываются... А знаешь что, Телепень?

— Что?

— Давай, поглядим, кто там такой полуночничает? Может, немчинская девка с хахалем милуется...

— Так мы их спугнем, — подхватил мысль своего друга Телепень, — верно ты говоришь, давай!

Они подкрались, затаивая дыхание, к окну. Первым взобрался на узкую завалинку Кочет, заглянул и кубарем, без звука, скатился вниз. Телепень не понял сразу, что такое случилось с его това-

рищем. Он даже подумал, что Кочет просто-напросто оборвался, и, подумав, не говоря ни слова, полез к окну.

Волосы дыбом поднялись под шапкой у простоватого парня, холодный пот проступил по всему телу, мурашки так и забегали по спине, когда он заглянул в окно.

— Чур, меня чур! — вырвался из его груди дикий, отчаянный вопль. — Оборотень, антихрист! — кричал он, и в следующее мгновение уже был на земле...

Петр услышал эти дикие крики. Одним прыжком он очутился у окна, но там среди темноты был только слышен тяжелый топот стрелецких ног.

XI

СЮРПРИЗ

Первой мыслью Петра было то, что на него замышляется покушение. Ведь он знал, каковы приспешники его сестры-правительницы и на что они способны. Однако его чуткое ухо уловило в донесшемся до него вопле такой испуг, то молодой царь сразу сообразил, что произошло.

— И поделом негодникам! — весело и зычно расхохотался он. — То-то я думаю, их душа в пятки ушла... Эх, людишки, — презрительно закончил он и, позабыв о приключении, снова принялся за прерванную было работу.

Но, должно быть, в этот вечер ему не суждено было заниматься науками; только венценосный ученик хотел углубиться в книги, как у дверей послышался веселый девичий говор и смех. Снова внимание Петра было отвлечено, он приподнял голову и слегка улыбнулся.

— Ишь, — вполголоса проговорил он, — одна стрекоза другую привела... Что же они сюда не идут? Чего там за дверями стрекотать?

Как бы в ответ ему дверь распахнулась, и в кабинет пастора вбежала Елена, таща за руку другую девушку.

— Иди, Анхен, не упрямясь, — смеясь, сказала она, — молодой московский царь — не медведь и тебя не укусит.

Петр поднялся с стула и во все глаза смотрел на гостью, чувствуя, как вдруг загорается все его лицо. Перед ним было такое существо, каким в его молодых грезах рисовалась женщина. Это была не лупоглазая жирная московская «тетеха», нет, перед ним была довольно высокая, полная и в то же время, несмотря на полноту, статная девушка. Тяжелые золотистые косы змеями висели по плечам, голубые глаза смотрели гордо, но в то же время и кротко. Щеки так и пылали ярким румянцем. Девушка была, видимо, смущена этой неожиданной для нее встречей, но на ее лице не отражалось ни испуга, ни тревоги.

— Ваше царское величество, — с церемонным реверансом говорила Елена, — прошу вашего позволения представить вам мою подругу Анхен Монс...

Это имя было знакомо Петру. Он уже не раз слышал о Иоганне Монсе, богатом виноторговце, и теперь сообразил, что эта девушка — его дочь.

— Я рад знакомству с вами, фрейлейн, — проговорил он, протягивая девушке руку, — слышал о вашем отце, а вот теперь вижу вас...

— Что ты так на него смотришь, Анхен, — оставляя в стороне всякую церемонность, воскликнула Елена, — ты, может быть, удивляешься, что он так прост? Вероятно, тебе наговорили, что эти московские цари — какие-то божки... сидят на своих престолах, а им все кланяются... Так нет, видишь, вон он какой... Он у нас бывает запросто и даже не любит, когда его здесь называют царем... Ну, знакомьтесь же, разговаривайте... Я пойду по хозяйству! — И Елена убежала, оставив молодых людей одних.

Как и всегда на первых порах, чувствовалась неловкость. Очевидно, Петр произвел сильное впечатление на молодую девушку и вместе с тем и она видела, что он тоже смотрит на нее с заметным волнением. Но разговор все-таки не клеился. Молодые люди задавали друг другу незначительные вопросы, отвечали на них, но смущение все-таки владело ими. Разговор то и дело прерывался.

Так прошло несколько времени.

Вдруг в кабинет опять вбежала Елена Фадемрехт. На этот раз она была взволнована и даже испугана чем-то.

— Государь, — заговорила она, — тут сейчас явился какой-то молодец, который желает видеть вас.

— Кто такой? — нахмурившись, спросил Петр.

— Не знаю, но он очень настойчив и говорит, что если не будет допущен к вам, то могут произойти для вас большие неприятности...

— Э-эх! — досадливо махнул рукой Петр. — Так вот всегда... Прознали, значит, мелкие шавки мой след... Вы, фрейлейн, ничего не слышали?

— Ничего! А что?

— Кричал тут под окнами кто-то, — произнес царь.

— Мы были далеко во внутренних покоях... Как будто я слышала какой-то крик... Не правда ли, Анхен?

— Да, — ответила Монс, — и мне показалось, что кто-то кричит... Но ведь это так часто здесь... Какие-нибудь пьяные стрельцы из Москвы.

Появление нового лица прервало ее слова.

Вошедший был еще совсем юноша, вернее, подросток, безбородый, с только что начинавшими пробиваться усами. Одет он был не по-простому; его богатый кафтан, расшитые сапоги, опушной колпак, который он держал в руках, показывали, что он принадлежит к знатному боярскому роду. В пасторский кабинет он скорее вбежал, чем вошел, но, увидев царя, выпрямившегося во весь свой рост и смотревшего на него сверкающими от гнева глазами, смутился и испугался.

— Великий государь, — дрожащим голосом воскликнул он, преодолевая свой испуг, — помилуй... Не вели казнить, дозволю слово вымолвить...

— Кто ты? — спросил Петр, и в его голосе зазвучала гневная нота. Он ждал ответа, а его правая рука уже нащупала под кафтаном рукоять запоясного ножа. — Ну, говори, кто?

Молодой царь, видимо, был сильно разгневан. Но его гнев был главным образом вызван тем, что появление этого юноши прервало его беседу с Анной Монс. Почему-то Петр Алексеевич сразу же почувствовал себя совсем хорошо с этой девушкой, и хотя они не сказали ни одного сколько-нибудь значащего слова, но Петру казалось, что они уже давным-давно знакомы и вот-вот их беседа должна была принять дружеский, душевный характер.

— Ну, так что же? — опять спросил он. — Чего же ты молчишь?

Юноша опустил на одно колено и, поникнув по-прежнему головой, произнес дрожащим голосом:

— Твоего боярина Каренина сын я, Павлом звать меня.

— Каренина? — нахмурил лоб Петр. — Что же я не слышал такого? Верно, к сестрице моей Софьюшке забегает, а то бы уж я слышал. Ну, так чего же тебе надобно, с чем явился?

— Позволь, великий государь, говорить с тобой, — поднял голову Павел, — негоже, чтобы чужие уши слышали, что я говорить тебе буду. Прикажи им уйти, — указал он в сторону девушек, с любопытством смотревших на них.

ХII

НОЧНОЙ ПЕРЕПОЛОХ

Петр тоже взглянул на них, и они поняли этот взгляд, как безмолвное приказание.

— И в самом деле, Лена, выйдем, — произнесла Анна Монс, — видно, желает добрый молодец что-либо тайное своему царю рассказать. Прощайте, государь, — почтительно, но с достоинством поклонилась она молодому царю. — Будете еще в нашей слободе, не забудьте и нас своей милостью.

Она пошла к дверям.

Петр быстро перегнал ее, открыл перед ней дверь и, когда девушки проходили мимо него, проводил их низким поклоном.

Он был недоволен настойчивостью юноши, но вместе с тем ясно понимал, что тому надо сказать ему что-то особенное.

— Ну, говори, — опустил он на табурет около скелета, — что у тебя там такое? Какие еще тайны? Да встань! Не люблю я этих ваших преклонений.

Павел быстро поднялся и, подступив к Петру, торопливо заговорил:

— Не с добрыми вестями пришел я к тебе, великий государь!.. Задумали по твою жизнь людишки скверные, и, прознав, что ты сюда, в Кукуй-слободу, наезжаешь, решили промыслить.

Петр вздрогнул и его лицо потемнело еще более.

— Кто же такие? — выкрикнул он. — Стрельцы, небось?

— Они, государь. Ведь ведомо тебе, что всякое зло на Руси теперь от них идет. Поставили они засаду, чтобы захватить тебя, как только ты выйдешь за Кукуй-слободу на проезжую дорогу. Поберегись, государь! Умоляю тебя, поверь моим словам, не ездь сегодня отсюда...

— Ну, этому не бывать! — весь так и вспыхнул молодым, юношеским задором Петр. — Чтобы я, царь московский, да злодеев испугался? Или забыл ты, что своего помазанника и Бог хранит.

— Так, государь, но ты будешь один, а их много.

— Пусть. Но ты-то, ты-то откуда знаешь это?

Павел заметно смутился, а затем взволнованно отметил:

— Делай, что хочешь, государь!.. Казни или милуй — твое царское дело, но скрывать от тебя не буду. Есть у меня брат старший, Михайлом зовут; так вот он-то на тебя и наводит.

— Твой старший брат? — с удивлением посмотрел на Павла молодой царь. — Так что же я ему сделал такого? За что он на меня таким злом пышет? Ведь я ни вас, ни вашего отца никогда и в глаза не видал и даже никогда и не слыхивал о вас... Или и твой брат руку моей сестры Софьюшки держит? Ну, говори же правду до конца, ежели начал.

Царь видел, что смущение Павла так и разрасталось; лицо юноши было красно, он стоял перед Петром, потупив взор.

— Будь по-твоему, государь великий, — наконец сказал Каренин, — скажу тебе все, не потаив, а ты потом не гневайся. Частенько мы тут, на Кукуй-слободу, с братом бываем. Женщина тут живет одна, немчинка, а была она долгое время нам обоим вместо матери. Привыкли мы к ней, как к родной, и вот, как батюшка на Москве поселился, мы первым своим делом решили разыскать ее; с тем мы и стали бывать здесь, в Немецкой слободе. Да часто мы бывали, и приглянись брату, на его беду, здешняя девица одна. Просто сохнуть по ней он стал, а тут вдруг показалось ему, что ты, государь, на эту девушку взглянул ласково... Вот и лишился разума мой большак.

— Кто эта девица? — в упор, сверкающим взором посмотрел Петр на своего молодого собеседника. В нем так и закипело ревнивое чувство. Ему показалось, что сейчас он услышит имя Анны, и гнев так и залокотал в нем. Этот неведомый ему доселе боярчонок вдруг стал ненавистен ему, как совершенно неожиданный соперник в сердечном деле. Тут сказался необузданный нрав молодого царя. Он даже не подумал, что у него нет никаких прав на Анну, и одна только мысль о том, что кто-то другой осмелился думать о ней, приводила его в ярость. — Говори же, проклятый, — надвинулся он на Павла, — говори, что же эта девица ответила твоему брату?

— В том-то и дело, государь, — произнес молодой Каренин, — что и она полюбила его, а, тут, говоря, ты появился между ними...

— Полюбила... а-а!.. — неистово вскрикнул Петр, хватая молодого Каренина за плечи. — Говори же, говори, кто она такая? Имя ее!..

— Здешняя, пасторова, фрейлейн Лена, — не пытаюсь даже отбиваться, пролепетал перепуганный юноша. — Помилуй, государь! Ведь в своем сердце никто не волен.

Но Петр уже и сам отпустил его.

— Лена, Лена Фадемрехт, — повторял он в порыве безумной радости, — ха-ха!.. Эх вы, телята молодые!.. Ну, да все-таки же, значит, скверное дело задумал твой брат, из-за чего бы то ни было на царя своего покуситься. Ну да ладно, посмотрим, что там будет, и по справедливости это дело рассудим.

— Чу, государь, — весь так и насторожился Павел. — Ты разве ничего не слышишь?

Петр прислушался.

— Шумят там, — равнодушно сказал он, — видно, пьяные дерутся.

— Нет, нет! — испуганно заговорил Павел. — Как бы не ворвались в слободу стрельцы, которые тебя поджидали... озорной народ они, сам, поди, знаешь. Ну, так и есть, ишь галдят... Государь, послушай ты меня, пойдём со мной! Слышишь? Ведь они сюда идут. Пойдем, пока еще можно...

— Мне, бежать? — выпрямился во весь свой огромный рост Петр. — Что же, разве нет при мне сабли острой, ножа за поясом?.. Пусть идут!.. Я смогу отбиться.

— Ой государь, в таком деле, кто за что поручиться может? Ведь стрельцы все пьяны... Ну, молю тебя, государь, последуй за мной! Я всю слободу знаю и так укрою тебя, что никто не найдет...

Петр заколебался. Он понимал, что в словах Павла есть много правды, но все-таки не решался последовать за ним.

— Государь, — вбежала перепуганная Елена, — ваши московские стрельцы возмутились, они идут сюда... спасайтесь, государь!..

— И вы, фрейлейн Лена, говорите то же, что и он. Вы боитесь?

— Не за себя, государь, не за себя. Вы знаете, как они буйны. Нет возможности ни за что поручиться... Вспомните ваше детство.

Лицо Петра исказилось болезненной судорогой. Елена напомнила ему одно из ужаснейших пережитых им мгновений: страшный стрелецкий бунт 1682 года. Петру живо представился труп его дяди Нарышкина, сброшенный с балкона дворца на стрелецкие копья. Вспомнил он, как увела его перепуганная мать в Грановитую палату, и как ворвались туда опьяненные своим успехом бунтовщики. Ведь тогда, ребенком, он видел направленные на него копья, и памятен ему был испытанный тогда страх смерти.

Петр знал, на что способны озверевшие стрельцы, подстрекаемые и руководимые такими опытными смутьянами, как Федька Шакловитый да подьячий Шошин, за которыми стояли, руководимые Милославскими, царевна-правительница Софья и ее «мил сердечный друг Вася», князь Голицын, Васильев сын.

И вот теперь эти сорвавшиеся с привязи звери были близко.

Шум и галдеж все разрастались. Обитатели Кукуя были застигнуты врасплох. Они никак не ждали, чтобы беспорядки начались так скоро, и мирно покоились сном, когда на тихих слободских улицах вдруг появилась пьяная стрелецкая ватага.

— Изведем оборотня, — слышались неистовые вопли, — младшим царем прикинулся и черную смерть пушает...

— Долой Нарышкиных... Перебьем их всех так, чтобы на семя не осталось...

— На колья их! Милославские нам милы...

— Ищите оборотня, забьем его!

Такие крики, сливаясь в один общий гул голосов, слышались все ближе и ближе.

Петр не знал, на что ему решиться. Он ясно сознавал опасность и в то же время присутствие молодых девушек связывало его. Он боялся уронить себя в их глазах, иначе говоря, боялся, что Анна Монс подумает про него, что он — трус...

— Государь великий, — кинулся к нему Павел Каренин, — доверься мне, я укрою тебя...

Петр не шевельнулся; только его рука все крепче и крепче сжимала рукоять ножа.

— Государь, — выдвинулась Анна, — безрассудство не есть геройство... Вы слышите, что кричат там? Вы будете убиты, прежде чем подоспеют наши алебардисты... Я хочу, чтобы вы жили... Идите!..

Она смело схватила молодого царя за руку и потащила за собой.

Петр не сопротивлялся; он покорно следовал за Анною, с восхищением глядя на нее; для него в эти моменты она была героиней.

— А я буду прикрывать отступление! — воскликнул по-немецки Павел. — И мы уберем его.

Он слышал, что Анна говорила с Петром по-немецки, и заговорил на этом же языке и сам.

Елена, когда они вышли, спешно погасила огонь в кабинете, спрятав перед этим скелет. Сердце молодой девушки страшно билось; она прекрасно понимала, какая страшная опасность грозит пасторскому дому в эти мгновения.

Опасность действительно была немалая.

Прав был Павел Каренин, когда, не пощадив брата, выдал его тайну сердечную...

Дерзок был нравом, необуздан в порывах и горд его старший брат Михаил. Этот юноша был весь в отца. Боярин Родион Лукич удерживая себя не знал, когда попадал под власть какого-нибудь чувства; так было и с Михаилом. Он полюбил юную Елену Фадеевну, сердцем почувствовал, что и она не прочь разделить его любовь, и вдруг запылал яркой ненавистью к молодому царю. Для него Петр был не помазанник Божий, не царь московский, а соперник в любви, и он, ничтожная былинка, ни на мгновение не задумался поднять бунт против того, кто по сравнению с ним был исполином.

XIII

МИЛОСЛАВСКИЕ И НАРЫШКИНЫ

Впрочем, такое отношение к царю из рода Нарышкиных было понятным.

С тех пор как давно уже сгнивший византизм порастил своим тлетворным ядом молодое московское государство, всегда в нем была ожесточенная борьба боярских партий за власть.

Хитрая пронира, воспитанница иезуитов, Софья Палеолог¹ внесла жалкие интриги и коварные хитросплетения в дворцовую политику. Когда ее тезка, богатырша-литвинка Софья Витовтовна, дочь славного героя Грюнвальдской битвы, в которой славяне разбили наголову проклятого тевтона, выпив лишний кубок, подралась на свадебном пиру своего сына с богатырем Василием Юрьевичем и восстановила против своего сына Шемяку и князей, то в этом была мощь, но не подлая интрига, из-за этого пошла открытая борьба, в которой и народ принимал участие.

Когда Софья Палеолог добилась казни — первой публичной в России казни! — не угодившего ей Ряполовского, действовала скверная дворцовая интрига. Когда она лишила венца и престола и свела в Млаву первого коронованного царя, юношу Дмитрия Ивановича, — опять-таки действовала адски сплетенная дворцовая интрига. Внук гречанки — гениальный Иоанн IV, — «гнев, венчанный на престоле», в детстве которого боролись за власть Бельские и Глинские, сумел обескровить дворцовую интригу, но не уничтожил ее. Именно ее жертвою стали царь Федор Иоаннович и Борис Годунов, и его несчастный сын Федор, и Дмитрий Самозванец, и Василий Шуйский, и Владислав Польский. А кроме последнего, личности в истории неизвестной, и первого, типичного вырожденца, все это были талантливые правители, и каждый из них возвеличил бы Россию перед всеми соседями, если бы только не работала против них опять-таки дворцовая интрига.

Дворцовой интриге Россия была обязана всем своим Смутным временем. Но даже опасность для государства, бывшего в смутные годы (1606—1613) на краю гибели, изнемогавшего под страшными ударами поляков и шведов, раздираемого в клочки внутренними

¹ Зоя-София Палеолог — вторая жена царя и великого князя Ивана Васильевича III Собирателя (1440—1505), дочь Фомы, брата последнего царя Византии — Константина, нашедшего после взятия Константинополя турками убежище в Риме. Римский папа Павел II вздумал воздействовать на Россию в смысле обращения ее в католичество, устроив брак Зои с великим князем Иваном Собирателем. В 1472 г. Зоя прибыла в Россию, где приняла имя Софьи. Согласилась она на этот брак в надежде, что московский царь поможет изгнать турок из Византии, но этот замысел не удался: царь Иван III не пошел на это. Зоя-София осталась в России. Она ввела при дворе московском византийскую пышность, привлекла в Москву многих иностранцев, главным образом строителей, но вместе с тем привила к придворной жизни все растленные нравы византийского двора с интригами, коварством, убийствами. Умерла Софья в 1503 г.

беспорядками, не образумили, ничему не научили добивавшихся власти ради власти бояр.

Церковь, в лице энергичного Филарета Никитича, вырвала Россию из омута боярских интриг и козней и возвеличила ее, поставив вровень со всеми ее европейскими соседями при Никоне; первые Романовы, цари Михаил и Алексей Тишайший, прекрасно знавшие, каковы окружавшие их бояре и на что они были способны, отвернулись от знати и обратились к народу. Они правили с «землей», созывая земские соборы, и в кратчайшее время обессиленное государство оправилось, окрепло и стало могучим, сколь могучим некогда еще не было в своем прошлом.

Впрочем, Тишайший не особенно церемонился со смутьянами, кто бы они ни были: в его царствование насчитывается до 15 тысяч «повешенных за ребро», и внутренний мир при нем не нарушался. Бывали не раз «гили», то есть стихийные вспышки взбунтовавшейся черни, но большинство их создано было опять-таки своевольничавшими боярами.

Внутренний мир держался и при болезненном наследнике Тишайшего, царе Федоре, а уж он ли не подавал, казалось, поводов к народному возбуждению, если бы только «Московия» того времени и в самом деле была «страной дикарей»? Царь Федор Алексеевич уничтожил местничество, чем разделил боярское средостение и открыл доступ людям снизу — из народа — в ряды высшей знати. Он, следуя примеру отца, привлек в Россию иностранцев, которые при нем сидели смирно, торговали, строили, ремесленничали, но и не мечтали даже пробраться к «кормилу государства».

Женатый на польке, Федор Алексеевич начал насаждать и прививать западные порядки и обычаи. У него во дворце ходили в «кургузом католическом платье и курили проклятое дьявольское зелье, табаком именуемое». И все эти «новшества» принимались народом: Федор был законный царь; что он творил, то внушалось ему Богом.

Бояре и «звездные палаты» того времени грызлись между собой, интриговали, но не имели в народе опоры для своих интриг.

Почва для этого создалась после смерти болезненного Федора Алексеевича. Во главе правительства стала сестра этого царя, Софья, энергичная, честолюбивая, но вместе с тем пылкая, страстная женщина.

Как женщина, она никаких прав на власть не имела. Ее сестры и тетки сидели смирно в своих теремах, «пошаливали» втихомолку, потом отправлялись в святые обители замаливать свои грешки, среди которых были и «подсердочные» и «подпятничные»... О них никто не слышал, ими никто не интересовался. Царевна Софья одна выдвинулась среди этих ничтожных, безликих женщин.

Она привлекла на свою сторону стрельцов — этих «преторианцев» древнейшей Москвы, умела обходить их вожakov. Честолюбцы Хованские погибли, запутавшись в сетях, расставленных им Софьей; другие, очертя голову, шли за ней и возносили ее и ее фаворита Голицына на высоту власти. И должно сказать, что прав-

ление Софьи возвеличивало Россию; оно было продолжением царствования трех предшествовавших первых Романовых.

При Софье не было земских соборов, но это не мешало ей править с великою мудростью. Софья, однако, не опиралась на народ; на ее стороне была только ничтожная горсть буйных стрельцов, и, чтобы сохранить власть, ей нужно было не сплочение, а разъединение народа. Смуты — правда, частичные, местные — не прекращались во все семь лет ее правления, и в конце концов, как ни умна была Софья, она все-таки не разглядела правды. Она вообразила, что народ будет за нее.

Первый молодой царь — Иоанн Алексеевич — был совершенно не пригоден для царствования по своему слабоумию, второй — «огонь-дитя», Петр — с детства припадочный, в раннем возрасте стал алкоголиком. Пагубная страсть была искусственно привита ребенку, в возрасте двенадцати-тринадцати лет напивавшемуся до бесчувствия. Но алкоголь не осилил богатырской натуры, да и судьба была родною матерью этому меньшему из детей Алексея Тишайшего. Умственные способности сохранились и изошрились.

Отшатнувшись от своих, Петр с детства метнулся к иностранцам. В Кукуй-слободе у него было много учителей-друзей; старик Тиммерман, знаменитый Гордон, Лефорт, Вейде, Брюс — все были его друзьями. Юный мозг обогатился знаниями; сами собой выросли «потешные полки» — и Софья просмотрела их. Просмотрели их, этих «ребят потешных», и ее советники, считая их просто-напросто — баловством. Вернее всего, и сам Петр смотрел на свое «потешное» войско как на забаву; только Гордон да Лефорт, организаторы этой забавы, ухмылялись, когда при них говорили так.

Петр, как и все богато одаренные, из ряда обыкновенного выходящая натуры, не умел обуздывать ни свои страсти, ни свои желания. В отношении всего, что так или иначе могло пагубно отозваться на его некрепком в ту пору здоровье, приспешники правительства потворствовали ему.

Мать, видя и зная это, стремилась охранить сына от последствий излишества и — вопреки правительнице — женила Петра, не достигшего еще семнадцатилетнего возраста, на молоденькой Евдокии Федоровне Лопухиной.

Красива была юная царица — даже по московским понятиям того времени, не только красива, но прямо-таки красавица: полная, белая, пышная, кровь с молоком, румянец во всю щеку, бровь соболиная, взгляд ласковый, грудь высокая.

Но не по сердцу пришлось она своему юному супругу: скучно ему с ней, «тетехой», было.

Его мозг работал с лихорадочной быстротой, а мозг его подруги жизни безмятежно спал... Супружеские ласки после всего пережитого уже не были заманчивы; юный Петр не нашел в них ничего нового, а говорить ему с его «Дунечкой-разлапушкой» не о чем было. То ли дело бабы да девки на Кукуй-слободе! С теми не скучно! Оттого и мужья с ними хорошо живут, что все у них в свое

время: ласкам — ночь, а умному разговору — день... И тянуло юного московского царя к чужим ему людям, нравилась ему свободная жизнь этих людей, и все чаще и чаще наезжал он в Кукуй-слободу, благо не один, а несколько домов у него было, где его принимали запросто, не как царя, а как желанного, милого гостя.

И вдруг неладное случилось: озорничавшие стрельцы-вороны вспугнули молодого царя-орла.

XIV

РОБКОЕ ПРИЗНАНИЕ

Когда молодой царь и его юная спутница вышли из пасторского дома, сопровождаемые Павлом Карениным, на церковной площади уже кипела жестокая свалка. До оружия еще не дошло, дрались кулаками, но страсти с каждым мгновением разрастались все больше. Слободская молодежь и ворвавшиеся в слободу стрельцы шли стена на стену. С обеих сторон оглушительно орали.

— Ишь, сволочь подлая! — презрительно усмехнулся Петр. — Одного полка моих потешных достаточно, чтобы разметать всю стрелецкую орду... Вот бы вызвать их сюда...

— Тише, царь! — схватила Петра за руку Анна. — Вы неосторожны...

— Сердце кипит, фрейлейн Анхен...

— Верю, но нужно все-таки быть разумным! Идемте! — увлекла она его в темный переулок.

Там не было никого, и путь оказался совершенно свободным.

— О фрейлейн, — мечтательно воскликнул Петр, — я счастлив, что вы обратили на меня внимание... Чем могу я отплатить за услугу?!

— Услуга небольшая, — весело рассмеялась Анна, — но если вы считаете, что я вам в чем-то помогла, то отплатите мне потом...

— Когда потом?

— Когда будете настоящим царем!

Эти слова были произнесены и весело, и ласково, но подействовали на Петра, как удар кнута.

«Как, — вихрем пронеслось у него в мозгу, — она меня не считает «настоящим» царем?!.. Кто же я тогда?»

Однако он подавил вспыхнувший было гнев и только пробормотал:

— Ни теперь, ни тогда, ни после я не забуду вас.

— Меня? — засмеялась Анна. — Только меня?

— Только вас! — ответил юный царь, и в его голосе задрожала страсть.

— Какой вы! — вспыхивая, вызываясь проговорила Аннушка. — Ну, посмотрим, так ли это и в самом ли деле цари умеют говорить правду.

Но она вдруг оборвалась.

— Вот он, вот оборотень проклятый! — раздался хриплый голос. — Он со смертью был и на Москву ее напускал.

Перед спасавшимися показалась фигура Кочета, но в следующее мгновение он замолчал и рухнул на землю, сбитый страшным ударом молодого Павла Каренина.

— Бежим, государь, — выкрикнул последний, — это — передовой, за ним сейчас же и другие явятся.

Он ухватил царя за руку и, не обращая внимания на Анну, потащил его за собой.

— Идите, идите за ним, государь! — крикнула девушка. — Я знаю его; он — человек верный... Обо мне не беспокойтесь, я здесь своя.

Петр, не отдавал себе отчета, что такое происходит с ним, покорно последовал за молодым своим спутником.

— Это — Кочет, — пояснял Павел, — он передовой. Он видел тебя, Петр Алексеевич, когда ты с костяком занимался; с Телепнем он был, и всю эту ораву они на тебя навели, перепугались. Идем сюда вот!

Царь и Каренин свернули в новый переулок.

Разгоревшаяся на церковной площади драка принимала все большие и большие размеры. В слободе ударили в набат, и, к своему ужасу, обитатели Кукуя услышали, что этому набату ответила Москва. Очевидно, туда донеслись тревожные призывы, и кто знал, что могло оттуда последовать!

Елена Фадемрехт, вся дрожа от испуга, стояла у окна наружных комнат и смотрела на происходящее на площади. В это время она услышала, как сзади хлопнула дверь и кто-то вошел, вернее сказать — вбежал, в пасторский домик. Девушка обернулась. Позади нее стоял Михаил Каренин.

Знала его Елена, не раз они не только встречались, но и вели хорошие, дружеские беседы. Строен и статен был этот молодой Каренин, нежны были черты его лица, глубокой бездной были его черные глаза. Нравился он Елене, и ради него она пустилась на хитрость, отстраняя от себя всю ту честь и славу, которая, как рассчитывал пастор, могла принадлежать ей, как Юдифи Кукуевской слободы.

— Ты что? Зачем ты здесь, Михаил? — воскликнула она. — Ты был среди озорников?

— Да, был среди них, Аленушка, — бессильно опуская руки, ответил юноша, — я их сюда и навел... Не стерпело мое сердце.

Он был сильно смущен и, видимо, плохо соображал, что говорил.

— Чего твое сердце не стерпело? — подступая к нему, воскликнула Елена. — Чего, говори?

— Его я здесь увидал, его... разлучника моего.

— Кого его? Царя? Да отвечай же!

Она не дождалась ответа. Михаил Каренин стоял перед ней, поникнув своей красивой головой.

— А, ты молчишь! — выкрикнула Елена. — Ты сам не знаешь, что и сказать... Знаю я вас, московских озорников! Только в один свой кулак веруете... Кричит «люблю», а сам норовит кулаком в бок! Так мы здесь, в Немецкой слободе, не такие... Как ты смел только про меня дурное помыслить? Ваш царь молодой — у нас гость здесь, и мы как гостю рады ему... А ты ревновать... Да кто тебе на меня такое право дал?

Голос Елены перешел в крик, лицо покраснелось, глаза так и сверкали.

— Прости, Аленушка! — робко вымолвил Михаил. — Все равно что слепой я от любви моей к тебе...

— А, теперь «прости»! Московских буянов навел, такую драку устроил, а сам того знать не хочет, видеть не желает, что не ко мне, а к Анхен Монс ваш молодой царь льнет...

— Аленушка, — вскрикнул влюбленный юноша, — да неужели это — правда?! Прости же, прости меня!..

— Ступай, заслужи вперед мое прощение, — уже торжествующе крикнула Елена, показывая на дверь. — На глаза мои не показывайся, пока тебя царь Петр другом не назовет. Понимаешь? Добейся у него этого и тогда только назад ко мне приходи... Ступай, нечего тебе здесь делать больше!.. — И она вышла, сильно хлопнув дверью.

Михаил постоял, видимо, в раздумье, и опечаленный побрел вон из пасторского дома.

Юноша любил эту живую, красивую девушку, любил так, что ради нее забывал все на свете. Встретились они у Фогель вскоре после того, когда дети боярина Каренина разыскивали свою любимую воспитательницу, и сразу же первая юношеская любовь вспыхнула в сердце Михаила. Не умел он таить свои чувства и сказал Елене все, что было у него на душе. Та не приняла всерьез эти объяснения, но и не отвергла их сразу. Михаил понял это как добрый знак для себя и, пожалуй, более для Елены Фадемрехт, чем для Фогель, зачастил в Кукуй-слободу. И Елена не гнала его прочь; ей самой нравился этот красивый русский юноша, и она не была противницей его наивного восторга и ухаживания.

И вот теперь произошел взрыв.

XV

ИЗ-ЗА «ОБОРОТНЯ»

Михаил точно так же, как и Павел, его брат, знал о частых тайных наездах царя Петра в Кукуй-слободу. В стремление царя к учению он не верил и приписывал эти наезды желанию Петра овладеть Еленой. Тут уже ревнивое чувство подсказало Михаилу, как устранить со своего пути соперника.

Михаил Каренин на жизненном пути во всем следовал отцу, боярин же Родион Лукич терпеть не мог весь род Нарышкиных и

всегда держал сторону Милославских, стало быть, и царевны-правительницы. Он и старшему сыну внушил свою нелюбовь к Нарышкиным — «ниже они Карениных родом были», — и потому-то для Михаила молодой царь Петр, происходивший из этого рода, не был дорог; мало того, предполагая соперничество царя в любви к Елене, он постоянно питал к нему одну только неприязнь.

Подсмотрев, что царь Петр, как и всегда потайно, наехал в пасторский домик, Михаил подбил несколько пьяных и особенно буйных стрельцов завести на церковной площади драку, надеясь, что таким путем удастся отвести Петра Алексеевича от его наездов сюда.

Случай помог Каренину в этой затее. Отчаянные вопли Кочета и Телепня подтолкнули собравшихся уже близ пасторского дома стрельцов, а их безумно-несвязные рассказы об «оборотне», принявшем царский вид и напускавшем на Москву лютую смерть, довершили начатое. Буйство вспыхнуло и вдруг разрослось, и теперь его зачинщику, опомнившемуся после слов Елены, приходилось унимать буянов.

Удрученный, не знавший, как ему быть, вышел Михаил из пасторского дома.

Драка уже затихала; алебардисты слободы сумели управиться с нетрезвыми буянами и разогнали их; звуки набата смолкли. Михаил стоял на площади и не знал, куда ему идти.

Было темно, улицы уже успокаивались, кое-где еще мелькало багровое пламя смоляных факелов. Михаил Каренин, стоявший в раздумье, вдруг встрепенулся. В темноте раздался лошадиный топот. По тому, как часто раздавались удары копыт, Михаил различил, что едут двое. Ему вспомнилось, что на дворе Фогель стоят две лошади, и тут уже пришло в голову, что ему самое лучшее вернуться к этой доброй женщине и вместе с братом Павлом отправиться обратно на Москву. Там можно было на покое обсудить все, что произошло, и как им вести себя дальше. Но едва он успел подумать это, как у самых его ушей раздался лошадиный храп и в следующее мгновение он был сбит с ног грудью наткнувшейся на него лошади. Слегка вскрикнув, Михаил упал, но, падая, крикнул не столько от боли при толчке, сколько от изумления. Он узнал голос своего брата Павла, горячо убеждавшего в чем-то своего спутника. Михаил быстро вскочил на ноги, но всадники уже были далеко, и Каренин понял, что даже и догонять их не стоит.

«С кем мог быть Павел? — подумал он. — Уж не наших ли коней он угнал? Тогда как же мне вернуться?»

Эта мысль заставила его заспешить к дому воспитательницы, но дойти туда ему не удалось. Едва он отошел на несколько шагов от места своего падения, как был окружен толпою, видимо, возбужденных людей в длиннополых кафтанах и остроконечных колпаках. Это была небольшая кучка рассеянных алебардистами стрельцов.

— Стой, — заорал один из них, хватая Михаила за ворот кафтана, — что за человек? Наш или немецкий?

Молодой Каренин, по голосу и выговору узнавший говорившего, ловким движением освободился из рук стрельца и даже успел дать ему легкого тумака...

— Чего лезешь, Еремка, — зыкнул он, — иль не признал?..

— Свой, свой! — заорали стрельцы, узнавая его. — А проклятого оборотня не видал ли?

— Какого еще оборотня.

— Да тут нарышкинским царем прикидывался и черную смерть на Москву напускал...

Михаил, конечно, знал, в чем дело, не раз он видал у пастора и человеческий костяк, но вновь зашевелившееся неприязненное чувство к молодому царю не позволило ему разубедить буянов.

— Выдумаете тоже! — пробормотал он. — Оборотень!

— Не веришь? Спроси Телепня и Кочета... Они собственными глазами все видели... А потом Кочет оборотня в проулке встретил. Хотел, перекрестясь, наотмашь двинуть, как по закону полагается, а тот только и всего что дохнул на него, Кочет и с ног свалился. Словно ветром сдуло... Потом оборотень сразу утроился — вместо одного три их стало и из глаз исчезли...

— Голове да дьяку об этом беспрерывно рассказать надобно, — слышались голоса.

— Так идем, чего мешкать-то! — крикнул кто-то. — Вот опять немчины с алебардами на нас бегут...

Действительно, к стрельцам с воинственными криками приближались кучки кукуевских алебардистов.

Те уже по опыту знали, каковы будут последствия столкновения, и пустились наутек, увлекая за собой и Михаила.

Судьба как будто сама распоряжалась братьями: младший стал на сторону гонимого царя, старший, несмотря ни на что, присоединился к его гонителям.

XVI

ЦАРЕВНА-БОГАТЫРША

Немного прошло дней с только что описанных событий, как на Москве стало чувствоваться приближение чего-то страшного. Москвичам не раз приходилось испытывать такое тревожное настроение; та эпоха была полна неожиданностей, сопровождавшихся обычно потоками человеческой крови. Но теперь чувствовалось приближение из ряда вон выдающихся событий, и вместе с тревогой в души москвичей проникал гнетущий страх.

Не проходило ночи, чтобы своевольные стрельцы не производили какого-нибудь буйства, и никто, решительно никто не принимал мер, чтобы унять их. Уже по этому было видно, какие назревали события. Однако мирные москвичи, на которых не обращали никакого внимания, должны были сыграть в предстоявших событиях большую роль, и победа должна была остаться на той стороне, на

которую они встали бы. Ослепленная своею любовью к Голицыну, правительница не принимала этого во внимание; она всецело полагалась на стрельцов и на их главного воеводу, окольничего Федора Шакловитого, которому поручила вести стрелецкий приказ, и ни во что не считала населения Москвы.

А буйства разнуздавшихся стрельцов все больше и больше восстанавливали москвичей против царевны.

— Боек царь Петр Алексеевич, — говорили всюду на Москве, — да он все-таки — царь, а царевна Софьюшка, что ей бояре прикажут, то и творит. Бояре же народу всегда первые враги были, добра ждать от них нечего. Все гили ими устроены, чтобы народ прижимать.

Такие разговоры велись всюду и довольно громко, так что популярность молодого царя росла буквально не только по дням и часам, но даже и минутам.

Софья ничего этого не замечала. Ее ближайший друг и советник, князь Василий Голицын, «оберегатель»¹, несмотря на свой могучий природный ум, с презрением относился к народу и действительно ни во что не считал его. Шакловитый же, обязанный Софье своим богатством, возвышением и почестями, может быть, и слышал о московских толках, но вовсе не в его интересах было уговаривать Софью возвратить власть брату: тогда он потерял бы все. Личная выгода заставляла его поддерживать правительницу в уверенности, что на ее стороне сила и что она непременно выйдет полной победительницей из борьбы со своим младшим братом.

Так назревали события. Был уже в первых числах август. Софья и Голицын сидели в одном из покоев Большого дворца. Князь Василий Васильевич был невозмутимо спокоен, а на лице энергичной дочери Тишайшего царя так и отражалось переживаемое ею волнение.

— Не могу я терпеть более, — жаловалась она. — Уж хоть один конец был бы!.. А то как жить, когда ни в тех ни в сех находишься и видишь, как подлые людишки только что в глаза над тобой не смеются?!

Князь Василий равнодушно взглянул на нее.

— Это ты все ссору-то с братом забыть не можешь, свет Софьюшка? — спросил он. — Пустое это, оставь!

— Как я могу оставить? — опять заволновалась правительница. — Разве я мало работаю, мало тружусь, чтобы врагу свое место уступать? Нет, Васенька, вижу я теперь, на Москве нам двоим не быть. — Ее глаза метали молнии, голос становился хриплым. — Только ты один у меня и есть, — снова заговорила она, — только для тебя одного и живу я, а не то давно в обитель ушла бы... Да как я уйду, ежели знаю, что без меня тебя сейчас же со света сживут?.. И ничто-то его не берет! — с новой вспышкой гнева выкрикнула царевна-правительница: — Другой бы на его месте давно очокурился бы, а ему все ничего.

¹ Высшая должность, равнозначащая ныне канцлеру.

— А ежели умрет он, — наставительно сказал Голицын, — то может большая смута быть, и мы с тобой, Софьюшка, тоже все потерять можем...

— Будто уж так его любят, нарышкинского царька? — горько усмехаясь, спросила Софья.

— Ну там, любят или нет, это — дело другое, а законным помазанником Божиим его считают...

— Пусть себе считают! Как хочу я, так тому и быть должно. Я правительницей буду! А если Петр умрет, а Иван останется, смуты никакой не выйдет...

— Но ведь и братец твой Иванушка недолговечен, — возразил было Голицын.

Глаза Софьи блеснули недобрыми огоньками.

— Будет жить, пока я того хочу, — крикнула она.

— А потом?

На мгновение вопрос как будто смутил правительницу, но она быстро оправилась и резко ответила:

— Что потом, то видно будет.

Неожиданно распахнулись двери, и вбежал, даже не доложив о себе сперва, высокий, мощного вида человек в богатом кафтане и шапке окольничего. Это был знаменитый стрелецкий вождь, правая рука правительницы во всех ее делах.

— Матушка-царевна, — быстро заговорил он, — прости, что ворвался и беседе твоей помешал! Дело такое, что никак ждать не может.

— Что такое? — быстро поднялась царевна. — Опять что-нибудь с братом младшим? Что он натворил?

— Он не он, а из-за него все. Мои стрельцы будоражат, как и сдержать их — придумать не могу...

— Что же еще такое приключилось?

Теперь на лице Софьи ясно отразились любопытство и тревога.

Шакловитый взглянул на нее, откашлялся и выразительно заговорил:

— Докладаю я тебе, мать родимая, что по стрелецким караулам под вечер разъезжал тут боярин Лев Кириллович Нарышкин и хотел бить и мучить всячески моих стрельцов...

— Оставь! — крикнула на него царевна. — Нечего мне сказки говорить, правду докладывай! Будто я не знаю, что то не Нарышкин был, а твой же содруг, подьячий Шошин.

Шакловитый не смутился и дерзко смотрел на правительницу.

— В самом деле, Федя, — примирительно сказал князь Голицын, — об этом мы все знаем. Нет ли у тебя чего новенького?

— И новое есть, князь Василий Васильевич! — переводя на него свой взор, ответил Шакловитый. — Были тут мои молодцы в Кукуй-слободе и видели там молодого царя Петра Алексеевича... Не в обиду будь тебе сказано, матушка-царевна, видели они его там за таким делом, какое московскому царю вовсе не подобает...

— Что же, что такое? Опять в канаве валялся? — быстро спросила Софья.

— Нет, это что! К такому виду никому в Москве, а тем больше в Преображенском не привыкать стать!.. Видели брата твоего, Софья Алексеевна, — уже нагло и дерзко, видимо, сознавая свою силу, заговорил Шакловитый, — со смертью бок о бок. Ишь ты, чародействовал он! С сухими человеческими костями без кожи, крови и мяса разговор вел и на Москву смерть уговаривал идти и погулять там, сколько ей вздумается. Сперва-то ребята думали, что оборотень, а потом порешили, что от Нарышкиных все стать может...

XVII

НА ВСЕ ГОТОВЫЙ

Он остановился, как бы ожидая, что скажут в ответ на его речи Софья и Голицын. Правительница сидела понурившись, князь Василий Васильевич усмехнулся, насмешливо поглядел на Шакловитого и спросил:

— А ты сам-то, Федя, веришь этому? Веришь ли, что человек может с сухими костями другого человека беседу вести, и от этих костей целому городу что-нибудь худое приключиться может?

— Прости меня, князь Василий Васильевич, — неприязненно взглядывая, ответил Шакловитый, — о том, что в царевых войсках происходит, я государыне нашей доклад делаю и ни одного слова о том не лгу, а верю я тому или нет про то я сам знаю...

— Ты меня прости, Федя! — остановил его князь. — Ведь это я все к тому сказал, что человеческий костяк ты и у меня в палатах видел. В той же самой Немецкой слободе он мною куплен, и оба мы с тобой по нему разбирали, где у человека какая кость находится...

— Опять-таки, — перебил его стрелецкий вождь, — про то я тебе ничего не говорю. Я лишь про то рассказываю, что в стрелецких приказах, караулах да слободах говорят. А что об этом говорят, так, ежели хочешь, сам послушай. Вот пойдем, проведу я тебя в любую слободу, ты и услышишь сам. А что царь Петр Алексеевич на Москву смерть насылал, так об этом все стрельцы во весь голос кричат и на Преображенское идти собираются. Как бы беды какой не вышло... Вот сегодняшнюю ночью около самых царских палат дважды избы загорались. А кто поджигал?.. Судом спрашивать будете — ничего не скажу, а ежели так побеседовать, по душам поговорить, так и это мне ведомо... А еще вам скажу: по всей дороге от Преображенского до Москвы нарышкинского царя караулят... Должен же я вам рассказать обо всем этом... Если беда случится, с кого спросится? Все с меня же! А я в ответе быть не хочу; как вы мне укажете, так и будет. Только одно мое последнее слово: не сдержат мне стрельцов. Ну, там день-другой как-нибудь уговорю, а дальше мое слово бессильно будет, не послушают. Приказывай, матушка-царевна, как быть? Поставь вместо меня другого; может быть, он лучше со стрельцами управится, а мне неумогуту.

Шакловитый замолчал. Софья, хоть она и ненавидела брата, все-таки не осмеливалась сказать решающее слово и боязливо взглядывала на своего фаворита. Но лицо того по-прежнему было совершенно спокойно и бесстрастно.

— Вот что, Федор, — сказала царевна, — больно ты великое дело нам доложил, как и быть — не знаю. Нужно бояр созвать и с ними порешить, а без них, что я?

— То-то, матушка! — восторженно воскликнул Шакловитый. — Да ты на народ свой напраслину взводишь. Все мы — твои рабы и дети, за тебя животы наши положим. Хотим мы, чтобы ты над нами была царицей, а Нарышкиных не желаем. Решись, слово скажи — и все по-твоему будет.

— А Москва? — тихо и робко спросила царевна.

— Что Москва? — выкрикнул Шакловитый. — Москву и в счет ставить нечего: Москва туда пойдет, на чьей стороне одоление будет. А Нарышкины? Что они сделать могут?

— Слышишь, сердечный друг, что говорит Федя? — обратилась к Голицыну Софья. — Не то ли самое и я тебе говорила?.. Нет более сил терпеть мне такую муку... Да и зачем терпеть ее? По отцу Петр — брат мне... Но что же это за родство? Ведь я ему ненавистна так же, как и он мне... Но пусть я и он... что мы? Мы — только смертные люди... Но за нами стоит Русь... Если сдам я царство Петру, что из этого будет? Все он по-своему перевернет и переломает всю землю нашу так, что кусочка на кусочке целого в ней не останется... И ослабнет Москва, всякая смута разведется... А соседи кругом так и сторожат нас... И будет то, что уже раз было: новое лихолетье настанет. Все на нас кинутся и будут наследие нашего брата, отца и деда растаскивать... Вот что будет, если Петр на царстве останется... Того ли ты хочешь? Или не жалко тебе ни земли нашей, ни народа родимого?

Все это Софья проговорила с яростной пылкостью. Голос у нее был грубый, почти мужской, соответствовавший ее высокой, мужественной фигуре. Произнося слова, Софья то и дело повышала тон. Ее грудь от волнения высоко-высоко вздымалась, глаза сверкали, голова слегка тряслась.

Князь Василий Васильевич, к которому она обратила свой вопрос, ничего не ответил ей; он только как-то особенно смотрел на любимую женщину. Видимо, нравилась ему эта пылкость и он любовался тем оживлением, которое делало красивым лицо Софьи.

Восторженными глазами следил за правительницей и Федор Шакловитый. Он, сам по своей природе страстный и впечатлительный человек, тоже был охвачен волнением.

— Матушка-царевна! — пылко воскликнул он. — Великую правду ты сказать изволила! Сам Господь глаголет твоими устами. Дедовщиной только и держится наша Русь. Всякие новшества — гибель для нее, и погибнет она, если твой брат на царстве будет... Чует это твоё стрелецкое войско и не хочет, чтобы твой брат от Нарышкиной царем был... Повели только — и спасем мы нашу родину от но-

вого смутного времени... Все будет ладно, слово только скажи! — И он снова устремил на Софью свой пылающий ожиданием взор.

Но царевна молчала: страшно было то слово, которого требовал от нее этот человек.

Однако все-таки нужно было дать ответ... Софья взглянула на Голицына; князь по-прежнему был бесстрастно спокоен.

— Ступай, Федор. Иди, — проговорила правительница, потупляя взор, — а мы тут еще об этом подумаем, да я потом позову тебя.

Шакловитый в пояс поклонился Софье, отвесил почтительный поклон князю и вышел из покоя.

XVIII

НАДОРВАННАЯ МОЩЬ

После ухода Федора Шакловитого и царевна, и князь Василий несколько времени молчали. Видно было, что их обоих охватывали тревожные, мутившие их дух, лишавшие их покоя мысли.

— Ну, что ты скажешь, оберегатель? — подняла наконец опущенную голову неукротимая царевна. — Вот ушел Федя, а неведомо, что он нам назад принесет.

— А то скажу, Софьюшка, — мягко и даже нежно ответил князь Василий Васильевич, — что боюсь я, как бы беды не было.

— Беду ты провидишь, — воскликнула Софья, — Или боишься ты?!

— Пожалуй, что и боюсь. Софьюшка, — по-прежнему ласково проговорил князь, — и как не бояться? Ведь против царя с пьяной сволочью идти мы с тобой задумали.

Царевна презрительно засмеялась.

— Не холопья ли кровь в тебе заговорила? — воскликнула она.

— А что же? — совершенно спокойно отнесся к этому явному оскорблению Голицын. — Ведь мы, бояре, все — холопы царей... Пока царей не было, мы ближние люди при великих князьях были, а потом блаженной памяти государь-царь Иван Васильевич воочию показал нам, что мы только — холопы. Так с тех пор и повелось... Служим мы своему господину и от него жалованье свое получаем. И не у одних нас так, — так везде. Зарубежные-то государства я знаю. Там то же самое. Тамошние-то вельможи — холопы еще хуже.

— А я-то как же ничего не боюсь? — перебила его рассуждения Софья Алексеевна. — Мне, кажись, более всех бояться должно.

— Да по тому самому, Софьюшка, что ты Петру — сестра, а не холопка... Вы с ним равные... Одна кровь, одна плоть... Оба вы, как себя помнить начали, нами повелевали, а сами, кроме батюшки да матушки, никого не слушались.

— А вот люблю же я тебя... холопа! — воскликнула пылко Софья. — Вровень пред Богом стоим, хоть и не венчаны...

— Только пред Богом, Софьюшка, — мягко возразил Голицын, — только пред Богом, а не пред людьми... А пред Ним, Мно-

гомилостивым, и царь, и смерд одинаковы. Перед людьми же, родимая, никогда вровень нам не стать... невозможно. Не так люди на земле устроились, чтобы все вровень стоять могли. Вот и теперь начнет Федя смуту, а что выйдет? Одни люди за тебя пойдут, другие — за царя Петра Алексеевича, а третьи — ни к нам, ни к царю не примкнут, будут выжидать, кто верх возьмет. И беда будет, Софьюшка, ежели не нам верх останется.

— Ни пугай, оберегатель, — холодно произнесла царевна.

— Не пугаю, а размышляю, царевна мудрая, — в тон ей ответил князь, — оба-то мы с тобой не столь уже молодые — вот у меня вся голова седеая, — чтобы без размышления на случай один полагаться. Случай слеп, летает быстро, не всякому в руки дается. А посему, надеясь на лучшее, ожидай допреж сего худа: лучшее само придет, а от худа оберегаться надобно.

Царевна ничего не сказала. Ее голова опустилась на грудь, пальцы рук судорожно перебирали складки богатой одежды.

— Вон, — произнес Голицын, — приднепровский гетман едет... Поистине гость хуже татарина, а принять его надобно...

— Ах, что мне до Мазепы, — с внезапным порывом воскликнула Софья Алексеевна, — что мне до нарышкинца! О тебе, свет очей моих, Васенька, думаю, за тебя страшусь... что с тобой-то будет, ежели наше дело удачи не найдет.

— Что будет, то и будет! — спокойно проговорил Голицын.

— Тебе хорошо: мудрый ты, — чуть не плакала эта неукротимая женщина, — а мне каково? Как придет на мысль, что прикажет тебя казнить брат мой, ежели верх его будет...

— Что же, — по-прежнему спокойно отозвался князь, — уметь сумею... Мне ли плахи бояться, ежели она мне немало служб справила! Сам под топор лягу.

— И надорвется тогда сердце мое... Ты под топор, из меня дух вон... Столько ведь лет...

Волнение пересилило ее. Куда девались ее неукротимость, непоборимая мощь! Сказалась женщина, и слабая женщина, сжигаемая страхом за того, кто дорог ее сердцу.

Она приникла своей большой черной головой к широкой груди князя Василия Васильевича и зарыдала, громко зарыдала.

Голицын даже вздрогнул от удивления. Он не раз видел Софью Алексеевну в слезах, но то всегда были не жалкие слезы отчаяния, — в прежних слезах неукротимой царевны изливалась досада, находил себе облегчение гнев. Т а к и х слез князь Василий Васильевич еще не видывал.

— Полно, Софьюшка, полно! — гладил он по голове, как ребенка, плачущую царевну. — Перестань тревожить себя раньше времени... Кто там знает, что завтра будет... Может, все по-нашему выйдет, а ты убиваешься,

Царевна продолжала рыдать.

— Софьюшка! — вдруг воскликнул вне себя от удивления Голицын. — Да ты как будто и сама в затейное не веруешь?

— Ах, — ответила сквозь рыдания царевна, — чувствует мое сердце недоброе...

Она отстранилась несколько от князя и, как будто успокоившись немного, отерла слезы.

— Вот чего я более всего боялся! — медленно и торжественно проговорил оберегатель. — Мощный дух надорван, веры в удачу нет... Теперь и я завтрашнего утра страшусь.

— А все-таки, — со злобой воскликнула Софья Алексеевна, — что там ни будет, а до конца пойду... Князь Василий Васильевич...

— Что, царевна?

— Поклянись мне на одном тем, что тебе дороже всего, поклянись!

— В чем клясться приказываешь?

— Исполнишь ты, ежели удачи нам не будет, то, о чем я тебя просить буду?

— Царевна! И без клятвы знаешь, что исполню я...

— Нет, ты все-таки поклянись... Что тебе дороже всего? Да не теперь, Васенька, а потом... потом, когда беда наступит... — Она остановилась и вопросительно поглядела на Голицына. — Ну, чего же ты, Василий, молчишь! Отвечай, что тебе будет и в беде дороже всего?

Князь Василий Васильевич и на этот раз медлил ответом.

— Трудное ты меня спрашиваешь, Софьюшка, что мне дороже всего... Хорошо, отвечу тебе по всей совести: дороже всего была мне любовь твоя... да! Как оглядываюсь я назад, на те годы, что уже прошли, и вижу я в их тумане одну звезду — твою, царевна ненаглядная, любовь... А что впереди? Ой, ты вот сразу сказала то, что я с самого начала на уме держу: плохо я верю в удачу нашу... По всем видимостям так выходит, что за брата твоего больше народа стоит, чем за нас с тобою... Так что же вернее всего ждет меня впереди? Может быть, плаха да топор, может быть, опала лютая, застенки, может быть... Так вот что я тебе скажу: в хомуте ли на дыбе, на плахе ли под топором, в опале ли лютой, куда бы ни послал меня твой брат, нас одолевши, память о твоей... о нашей любви... лучезарным солнцем всегда сиять мне будет... И умру я, счастливые наши дни вспоминая... Вот что мне дороже всего... И этим, ежели приказываешь ты, поклянусь я тебе на том, что исполню все по слову твоему.

Софья так и вздрагивала вся, слушая Голицына. На ее лице сияли и радость, и счастье, и восторг.

— Васенька! — воскликнула она, бросаясь к Голицыну и обнимая его. — Верю тебе! Счастлива я твоим словом...

Она и плакала, и смеялась; по ее лицу опять струились слезы, но это были уже слезы восторга. Голицын тоже был взволнован. Его красивое лицо было грустно.

— Так скажи мне теперь, Софьюшка, — проговорил он, — какое ты дело мне наказываешь, ежели худое выйдет.

— А вот какое, Васенька, — воскликнула Софья Алексеевна, — помни, что поклялся ты мне, и что я твою клятву приняла.

— Сказывай, царевна, не томи.

— Ежели худое выйдет, — страстно заговорила Софья, несколько откидываясь назад и зорко впиваясь глазами в лицо любимого человека, — и брат-нарышкинец надо мной верх возьмет, так должен ты, князь Василий Васильевич, поехать к нему с повинной и челом ему о его милости ударить и тем свою жизнь спасти...

— Что! — воскликнул Голицын. — Ты этого от меня требуешь?

— Требую этого, и поклялся ты мне, что исполнишь... Ты, ты мне всего дороже... Хочу, чтобы жив ты был... Я с ним, с братом Петром, пока не представляюсь, бороться буду и, кто знает, быть может, верх возьму еще... Так на что мне над врагом одоление, ежели тебя на белом свете не будет... Хочу, чтобы жив ты был... У брата есть кому и похлопотать за тебя, князь Борис — двоюродный братец тебе, а он у брата Петра в милости.

— Софьюшка! — только и вымолвил Василий Васильевич.

Он привлек к себе эту могучую женщину, и оба они зарыдали в объятиях друг друга....

ХІХ

НЕ РАЗГОРЕВШИЙСЯ ПОЖАР

А Федор Леонтьевич Шакловитый уже начал то дело, в успех которого почти не верили ни неукротимая царевна, ни Голицын.

Он вышел из царевнина покоя страшно взволнованный.

Его лицо быстро изменило свое выражение, губы что-то шептали. Не кланяясь никому, с высоко поднятой головой вышел он из дворца. Там у крыльца его ждала свита — богато разодетые стрелецкие головы и дьяки стрелецкого приказа. Не взглянув на них, Шакловитый вскочил на подведенного коня и нервно рванул его за поводья. Видно было, что он волнуется, и все, бывшие с ним, успели заметить это.

— Эй, Шошин! — крикнул он, подзывая к себе одного из дьяков. — Поезжай рядом, поговорить нам надобно.

Шошин, сопровождаемый завистливыми взглядами, выдвинулся и поехал рядом с окольным.

— Ну что, как у тебя там? — кинул ему Шакловитый.

— Все готово, милостивец. Повсюду стрельцы так и кипят; разожжены они так, что трудненько будет пожар потушить.

— Ничего, потушим, — небрежно ответил Шакловитый. — Не впервые ведь! Да, вот что: пусть сегодня, по двенадцатому удару с Ивана Великого, соберутся молодцы на Лыков двор... да пусть с пищалями придут, все как следует... А другие пусть соберутся на Лубянке и ждут...

— Ой ли! — воскликнул Шошин. — Стало быть, несдобровать Нарышкиным?

— Выходит, что так! — коротко ответил Шакловитый и сильнее погнал лошадей...

Ровно в полночь на Лыковом дворе в Кремле замелькали среди темноты ночи многочисленные фигуры. Это сходились стрельцы по зову Шошина. Шли без чинов, и скоро их собралось около тысячи. Однако они вели себя тихо; несмотря на такую огромную толпу людей, заведомо буйных, не слышать было не только криков или песен, но даже и разговора.

Вдруг у ворот Кремля раздался топот копыт мчавшейся во весь опор лошади.

— Ой товарищи, — вполголоса воскликнул сотник Гладкий, — не соглядатаи ли явились?! Пойду посмотрю.

Все снова затихли. У ворот были слышны говор, брань, потом шум драки.

Вскоре появился Гладкий, таща за собой молодого человека в дворцовом кафтане.

Это был спальник царя Петра, Плещеев, прискакавший в Москву из Преображенского.

— По-моему, молодцы, вышло! — выкрикивал Гладкий. — Нарышкинский соглядатай явился. Ташу его к отцу нашему, Федору Леонтычу, пусть делает с ним, что знает...

Гладкий и Плещеев скрылись в дворцовых сенях; на Лыковом дворе опять все стихло.

Так прошло около часа. Вдруг на одном из крылец распахнулись двери, замелькали багряные огни смоляных факелов, и на крыльце показался Шакловитый, разодетый, как на пир, вооруженный, как для битвы. Сзади него шли несколько бояр. Багровое пламя факелов озаряло их своим зловещим светом. Лица всех этих людей были бледны, бояре шли, словно осужденные на казнь.

— Эй, молодцы! — первым нарушая тишину, громко крикнул Шакловитый. — Знаете ли вы меня? Знаете ли, кто я такой?

— Как не знать, Федор Леонтьевич? — слышались отдельные голоса. — Отец ты наш милостивый, а мы все — послушные дети твои...

— А вот я посмотрю, какие вы послушные дети... Знаете ли вы, зачем сюда собраны?

— Доподлинно, милостивец, не знаем, — выдвинулся Шошин, — а только ежели ты нас зовешь, так, стало быть, служба какая-нибудь есть.

— Вот именно! — ответил стрелецкий вождь. — Даром среди ночи не стал бы я вас звать, знаю, что ночью всем спать нужно, а не колобродить; верно, нужна ваша служба царевне Софье Алексеевне... Милостива она к вам по-прежнему и жаловать вас будет, как детей своих родимых... Отвечайте же: готовы вы послужить ей?

— Еще бы! Умереть за нее, пресветлую, рады!

Шакловитый приостановился, вынул из-за пазухи кармана большой свиток и, не развертывая его, заговорил снова:

— Знаю я, слуги царские верные, что всем вам ведомо, какие такие дела на Москве завелись... Православная вера находится в колебании, дедовские обычаи попираются, немчинские свычаи бо-

гомерзкие заводятся. Что тут долго рассказывать-то вам? Сами, поди, знаете! Вон в Преображенском да в Семеновском растет новое войско... Вы своей грудью государство отстаивали, кровь на полях бранных проливали, а пройдет немного времени — и все ваши заслуги ни во что будут поставлены... Возьмут немцы верх над нашим отечеством, и будете вы хуже, чем скоты какие, прости Господи!.. Так вот и спрашиваю я вас: любы ли вам нарышкинские новшества, или дедовская старина вам по сердцу?

В ответ ему раздался сплошной рев.

— Умрем за дедовскую старину! — кричали отдельные голоса. — Не нужно нам немчинских свычаев!.. Без них жили, без них и впредь жить будем.

— Так, так, деточки, — одобрил подобные ответы Шакловитый. — А знаете ли вы, кто все это заводит?

— Нарышкины! Нарышкины! — слышались исступленные крики.

— Верно! Теперь я у вас вот что спрошу: ежели вам в палец заноза попадет, что вы делаете?

— Вестимо, вытащить нужно! — выкрикнул Шошин. — Не вытащишь, так и вся рука, а нет, так и сам весь от огневинны пропадешь.

— Так-так, справедливо слово, — одобрил подъячего Федор Леонтьевич. — Стало быть, занозу всегда надо вытаскивать, чтобы самому в лютых мучениях не пропасть. Так вот Нарышкины — та же заноза... Идите же, молодцы, вытащите эту занозу... Спасайте Москву, государство все спасайте... Сослужите великую службу родимой земле, промедлите — худо будет.

— А как же с царем быть? — слышался из толпы робкий возглас. — Царь-то Петр Алексеевич ведь тоже Нарышкин?

— Какой он царь? Один у нас царь, Богом помазанный, — Иван Алексеевич, а по слабости его здоровья всем государственным делом вершит любимая мать наша родимая, царевна Софья Алексеевна. Вот вам — кто у нас царь! А нарышкинское отродье, по Божьему попущению, доселе тоже царем называется. Всех нарышкинцев надо истребить, все их скверное племя, да так, чтобы на развод не осталось. А если кто сомневается, что я правду говорю, так вот вам указ боярской думы и царевны нашей: глядите сами, вот он! Кто осмелится ослушаться Богом поставленной над нами власти, идти против указа царевны?

— Никто, никто, все, как один, пойдем! — заревели стрельцы.

В это время Шакловитый развернул во всю длину свиток, внизу которого была ясно видна печать царевны-правительницы. Это произвело впечатление. Крики на мгновение смолкли, но потом сейчас же возобновились, и в них уже была слышна прямо-таки стихийная ярость.

— Сейчас же пойдем на Преображенское. Найдём проклятого оборотня... Выведем нечисть с нашей земли... Все пойдем!..

— Идите, родимые, идите! — воскликнул Шакловитый и отодвинулся в сторону.

Сейчас же из-за него показалась фигура в черной мантии, и в этой фигуре многие узнали как будто тогдашнего патриарха Иоакима¹.

— Господь вас да благословит, — слышался старческий голос, — на великое дело спасения веры православной и страны родимой.

Фигура в черном подняла вверх руки.

Трудно поддается описанию, что началось тут. Всей этой толпой овладел невыразимый восторг. Люди плакали, целовались; некоторые лезли на крыльцо, кланялись в ноги стоявшим, лобызали их руки; другие умиленно крестились, и никто не заметил, как двое из стрельцов отделились из толпы и быстро выскользнули за кремлевские стены.

— Послужим царевне! — ревела толпа. — Покончим с Нарышкиными!.. Пусть их и на племя не останется.

И вдруг все двинулись, предводительствуемые Шошиным, к воротам Кремля.

— Что, бояре, каково? — спросил Шакловитый.

— Да уж что говорить, Федор Леонтьевич, не ускользнет, поди, теперь нарышкинский вороненок.

Шакловитый усмехнулся и, повернувшись, пошел во дворец.

XX

НОЧНЫЕ ГОСТИ

Страшное задумывалось дело. Как будто решена была молодого царя участь. Где же было ему спастись, когда против него была стихийная сила? Кровавые примеры Бориса Годунова, Федора, Дмитрия Самозванца не прошли бесследно. Помазанник Божий перестал быть священным для грубой толпы.

Юный царь Петр Алексеевич, конечно, знал о том, что творится на Москве, но и мысли не допускал, чтобы старшая сестра осмелилась поднять на него руку. С беспечностью юноши он крепко спал в своей опочивальне, утомленный ласками молодой жены. Но кругом скромного дворца в Преображенском чуяли беду; ведь недаром же накануне ночью сами будто собою вспыхнули пожары, и только бдительность людей не дала им возможности разгореться. Сомнения быть не могло: пожары были следствием поджогов и нужны были только для того, чтобы произвести около дворца сумятицу, а в это время поджечь и дворцовое здание. Тогда, конечно, откуда ни возмись, нахлынула бы буйная толпа, и вряд ли уцелели бы от лютой гибели юный царь и все его семейство.

И вот в ночной тишине раздался топот копыт. Во весь опор мчалась ко дворцу, не разбирая дороги, группа всадников.

¹ По всей вероятности это был монах, старец Сильвестр Морозов, правая рука Шакловитого во всех его заговорах.

— Отворите, отворите, — раздался у калитки женский голос, и в то же самое время какой-то высокий, рослый человек так сильно застучал в ворота, что этот неожиданный стук среди ночи донесся до царской опочивальни и разбудил юного царя.

В одно мгновение Петр был на ногах.

— Господи, Матерь Пресвятая Богородица! — пробудилась молодая царица Евдокия Федоровна. — Что же это такое? Да неужели же опять подожгли? Свет ты мой, Петрушенька, прикажи им уняться! Царь ты ведь!

— Молчи! — крикнул ей Петр и выбежал из опочивальни.

— Государь! — встретил его встревоженный спальник. — Повели, как тут быть. Прискакал из Кукуй-слободы немчин, а с ним немчинская девка простоволосая да два московских стрельца; требуют, чтобы тебя разбудили, а не то, говорят, всем худо будет.

— Прикажи прогнать, пусть утром приходят.

Глаза Петра сверкнули; он сразу сообразил, что только что-нибудь важное вынудило его друзей из Немецкой слободы примчаться в Преображенское, в его дворец.

— Стрельцов сюда, в этот покой! — распорядился он, указывая на соседнюю комнату. — Поставить караулы, не выпускать их никуда и к ним никого не допускать, а тех двух немчинов ко мне!

Спальник бесшумно исчез.

— Ой, эти безбожники стрельцы! — воскликнул, оставшись один, Петр. — Когда же мне удастся раздавить их проклятые змеиные гнезда?.. А все сестра со своим Васенькой... яд-баба! Все от нее... вся... смута... весь раздор...

По своей натуре Петр никогда — ни в юности своей, ни в зрелых летах — не был храбр¹. В этом отношении в него перелился характер его отца — Тишайшего.

Всякие излишества ослабляли его организм, а стало быть, и волю. Он никогда не был ни умен, ни находчив, но зато природа наградила его повышенным упрямством. Упрямство, но не сила воли, есть недостаток человека, и то мнимое могущество характера Петра, о котором так много говорилось впоследствии, было не более, как самодурством прирожденного деспота, далеко не умного, но хитрого, лишь умевшего пользоваться обстоятельствами и принаравливаться к ним; впоследствии бегство из-под Нарвы, где была брошена вся армия, появление на Полтавском поле, когда битва была уже окончена, позорный откуп от визиря во время турецкой войны, не говоря уже о стрелецких казнях 1699 года, совершенно ненужном перенесении столицы на окраину государства, причем нужно было вовсе не открытое море, а возможность бегством за

¹ Есть показание современников, что Петр, получив известие о походе возмущившихся стрельцов на Преображенское, со страха в одной только ночной рубашке убежал из дворца в близкий к Преображенскому лес. Постельничий Гаврило Головкин доставил ему сюда платье, и царь, наскоро одевшись, усакал в лавру. Его мать и жена выехали в лавру много позднее. Об этом эпизоде упоминает в своей «Истории Государства Российского» и С. М. Соловьев.

рубежом спасти свою жизнь; кровавые расправы со всеми, кто был слаб, и ухаживание за теми, кто так или иначе был выгоден, все это в достаточной мере показывает, какова была природа этого второго из грозных царей России.

Но в то же время Петр Алексеевич обладал недюжинными способностями актера и всегда умел маскироваться, так что только самые близкие люди видели, каков он в действительности. Таких близких было очень не много, но для них Петр не был загадкой. Они умело пользовались им ради создания и упрочения своих собственных выгод, и впоследствии деспот стал покорной игрушкой в их руках.

Но в то время, в дни своей ранней молодости, он для многих еще был загадкой. Его поведение даже для лучших людей того времени приписывалось не его личным свойствам, а попустительству честолюбивей сестры, добивавшейся власти. На него надеялись, и если были сторонники у царевны Софьи, то были они и у юного царя, и не в таком уже малом количестве, чтобы в случае борьбы не было надежды на успех.

Петр знал это и с поразительным умением применялся к обстоятельствам. Теперь он понимал, что ему грозит большая опасность, и уже быстро соображал, как он должен поступить.

Вдруг он весь вздрогнул; дверь хлопнула, спальник ввел в покой царя мужчину и женщину.

Первый был авантюрист Лефорт, вторая — Анна Монс.

— Государь, — задыхаясь от волнения, воскликнула последняя, — среди глубокой ночи примчались мы сюда, чтобы сказать вам, что Москва восстала против вас.

XXI СМУЩЕННЫЙ ЦАРЬ

Анна говорила по-немецки. Слова вырывались у нее с торопливостью, совсем не соответствовавшей ее обычному спокойствию. По всему было видно, что она безмерно спешила. Ее щеки разгорелись огнем, все лицо было покрыто крупными каплями пота, непокорные золотистые волосы выбились из-под накинутого кое-как платка. Все-таки Анна была замечательно хороша. Нервное возбуждение оживило ее лицо, и юный царь даже отступил назад, невольно любуясь ей.

— Москва восстала против меня? — сказал он довольно спокойно. — Не может того быть, фрейлейн Анхен!.. Что-нибудь набуянили стрельцы, и вы приняли их обычное буйство за мятеж...

— Нет, нет! — перебила Анна. — На этот раз не обыкновенный беспорядок; огромная толпа идет сюда, чтобы убить вас...

— Меня убить? — Петр невольно побледнел, схватился руками за голову, и перед ним живо восстала картина пережитых стрелецких неистовств. — Убить, меня убить, — повторял он, — да разве это возможно?

— Возможно, государь! — продолжала Анна. — Я была в Москве, у знакомых моего отца, и там узнала все. Правительница издала об этом указ, и Шакловитый послал сюда людей... Понимаете, правительница...

— Сестра! — простонал Петр. — Она, она дерзнула... Милый Франц, неужели все это — правда!

— Государь, — выступил Лефорт, — увы, это — правда... По дороге сюда мы нагнали двух стрельцов... Они ужаснулись, когда услышали о задуманном преступлении, и мчались сюда, чтобы предупредить вас... Вы, государь, можете спросить их сами.

— Что же делать, Франц? — взволнованно заговорил Петр. — Здесь, в Преображенском, нет даже моих потешных.

— Я послал за ними.

— Но успеют ли они явиться сюда.

— Увы, государь, не могу поручиться за это...

— На помощь вам, государь, — вмешалась Анна, — явятся все наши алебардисты; я послала верного человека к господину Гордону.

— Но и они опоздают, — поспешил вставить свое замечание Лефорт, — стрелецкая ватага уже на полпути...

— Что же делать? — вырвался стон у Петра. — Тогда я погиб!..

Он так и заметался по покою. Страшная тоска исказила его лицо; в эти мгновения он и сам искренне считал себя погибшим.

— Дитяtko мое ненаглядное, — раздался женский вопль, — опять стрелецкая напасть нас постигла!

— Свет мой Петрушенька, лапушка мой ненаглядный, — смешался с этим воплем другой, тоже женский, — да как же это так? Да где же это в писаниях есть, чтобы против царя бунт подымать, на него, помазанника, дерзнуть?.. И ночью-то покоя нет...

К Петру одновременно с двух сторон кинулись две женщины. Одна была почти старуха, другая — совсем молоденькая. Обе они дрожали от испуга, обе плакали и причитывали. Они обнимали Петра и своими воплями еще более угнетали его, лишали его в эти роковые мгновения, когда жизнь всех их троих висела на волоске, всякой способности думать и подыскивать выход из ужасного положения. Это были мать и жена Петра, царицы Наталья Кирилловна и Евдокия Федоровна.

Их причитания терзали царя. Он понимал, что и они должны будут погибнуть вместе с ним, и что-то похожее на жалость шевельнулось в его сердце. Его взгляд невольно скользнул по переставшей уже быть стройною фигуре жены: Петр знал, что вместе с нею должен погибнуть и кто-то третий, быть может, наследник его царского престола, и при мысли об этом его сердце болезненно сжалось...¹

А время шло... Каждое промелькнувшее мгновение приближало молодого царя и его семью к гибели.

¹ Свадьба царя Петра и Евдокии Федоровны Лопухиной состоялась 27 января 1689 г. Первый сын Петра, царевич Алексей, родился 26 февраля 1690 г.

— Государь, — резко заговорила Анна, выступая вперед, — пока человек живет, он не мертв... Отчаяние — последняя ступень к гибели... Женскими слезами вы не спасетесь... Нужно действовать! Будьте же мужчиной!

Хорошо, что Анна говорила по-немецки. Царицы не понимали этого языка, но для них, в особенности для молодой царицы, было вполне достаточно того, что простоволосая «девка-немчинка» осмелилась заговорить с царем.

Петр жестом руки отстранил от себя обеих женщин и отрывисто, также по-немецки, спросил:

— Что же мне делать?

— Бежать! — разом, в один голос, ответили ему Анна и Лефорт.

— Бежать? — удивился царь. — Куда?

— Государь, — заговорил теперь Лефорт, — совсем недалеко есть великолепная крепость, уже раз изумительно выдержавшая труднейшую осаду... Я говорю про монастырь, в котором похоронен чтимый вашим народом человек... Идите туда, укройтесь там... Там вы будете под защитой святынь. Ваши монахи — не ваши стрельцы, они сумеют защитить вас... Да их защиты и не нужно... Пусть они примут и укроют вас хотя бы до утра. Нам нужно выиграть время. К утру я успею привести к монастырю наших потешных, а господин Гордон — своих алебардистов и мушкетеров... Этого будет вполне достаточно. Не все стрельцы возмутились. Вашим врагам удалось взбунтовать не более как полторы тысячи отчаянных головорезов. Правительница вовсе не желает народного бунта; она добивается вашей смерти и думает, что для совершения такого преступления достаточно нескольких головорезов. Спасайте, государь, себя! Сейчас уходите от непосредственной опасности...

— Да, да, государь, послушайте господина Лефорта, — воскликнула Анна, — поверьте ему!

XXII БЕГСТВО

Анна так увлеклась, что, не обращая внимания на цариц, схватила царя за руку и порывисто толкала Петра вперед.

Это не прошло незамеченным. Так и вспыхнуло яркою краскою стыда хорошенькое личико молодой царицы, а ее глазки заблестели огоньками ревности и гнева.

— Свет Петрушенька, — воскликнула она, — выгони вон эту бесстыжую! Как она, мерзкая, тебя, помазанника, смеет так хватать?.. У, простоволосая!.. Лопочет по-своему что-то несуразное, немчинская тварь!.. Прогони ее скорее, не то я ей сейчас глаза выцарапаю...

Это была первая вспышка, такую Петр никогда еще не видал жены, и эта вспышка была вовсе не вовремя.

Царь грозно взглянул на Евдокию Федоровну, так грозно, что один его взгляд заставил молодую царицу задрожать всем телом, а потом отрывистым, звенящим голосом сказал:

— Если бы вы понимали обе, что говорит эта милая, достойная девушка, вы обе поклонились бы ей в землю.

— Как? — взвизгнула Евдокия. — Мы? царицы?

— Да! Матушка, возьми Дуню! — обратился Петр к матери. — Приоденьтесь обе, нам сейчас уехать нужно будет... спешно уехать... Наталья Кирилловна сумела сохранить достоинство.

— Куда, сын мой любезный? — спросила она.

— К Троице-Сергию, родимая... Да не медля! Сюда идут стрельцы, подготовленные сестрой Софьей погубить всех нас... Ты, родимая, сама знаешь, что может быть, когда они найдут нас здесь...

О Наталья Кирилловна знала, что могло быть! Уже не раз переживала она все ужасы стрелецких бунтов и, раз сын говорил так, значит, и на самом деле опасность была грозная, и единственное спасение было только в бегстве.

— Пойдем, Дунюшка, пойдем скорее! — засуетилась она, слышишь, к Троице-Сергию нам ехать надобно... Пойдем, милая, собираться скорее...

— А эта немчинская девка здесь останется?

— Не останется она, по государеву делу она здесь! — И схватив молодую ревнивицу за руку, царица мать потащила ее вслед за собой во внутренние покои.

— Это — ваша жена, государь? — спросила Анна Монс. — Право, она очень мила...

Молодая девушка была оскорблена. Правда, она слыхала о грубости, ревности и вообще о невыдержанности московских женщин, но никогда не могла представить себе, чтобы эта невыдержанность была так велика. На миг ею овладела неприязнь к этой хорошенькой «кукле», как она мысленно назвала молодую царицу, но, понимая всю важность переживаемого мгновения, она все-таки сумела совладать с собою.

— Да, да, — ответил ей Петр, — вы не сердитесь на нее, фрейлейн Анхен; она у меня живет по-московскому.

Ему было стыдно за выходку жены. Он заметил, какие иронические взгляды бросали на нее Анна и уже привыкший к ее выходкам Лефорт.

«У, тетеха, кувалда московская! — мысленно бранился царь, — оставить бы тебя здесь — узнала бы, как друзей порочить!» Петр тотчас же стал отдавать распоряжения, чтобы приготовили для женщин колымагу, а для него и для его немногочисленной свиты оседлали коней.

— Я, государь, — услышал он голос Анны, — если позволите, отправлюсь с вами в монастырь...

— Со мной? Вы? — изумленно воскликнул Петр.

Еще несколько минут тому назад Монс даже и не думала о поездке вместе с царем и его семейством, но грубая выходка моло-

дой царицы задела ее самолюбие. Ей захотелось отомстить другой женщине за то, что она считала оскорблением. Она прекрасно понимала, что должна была переживать царица, видя ее около своего супруга. Притом же тут действовало и другое соображение. Анна знала о совещании кукуевских слобожан, об их стремлениях привлечь Петра на свою сторону, знала, что старый фанатик-пастор задумал приковать Петра ко всему иноземному узами любви, для чего даже решился пожертвовать Еленой Фадемрехт. намереваясь сделать ее любовницей царя. Но, зная все это, Анна Монс думала также, что Петр совершенно равнодушен к Елене, и что Елена в свою очередь любит молодого Каренина, и решила, что она будет Юдифью для этого московского Олоферна. Анна была умна и достаточно сообразительна; она отлично понимала, что для того чтобы привлечь к себе царя, необходимо как можно сильнее поразить его воображение, и вот она сама глухой ночью примчалась в Преображенское с предупреждением об опасности.

В этом случае молоденькая девушка оказалась весьма тонким психологом. Ее поступок произвел на восприимчивого Петра впечатление, а контраст Анны и Евдокии еще более усилил его. Анна Монс выиграла сражение, и теперь ей оставалось укрепить за собою свою победу. Именно с этой целью она и вызвалась сопровождать Петра в Троице-Сергиеву лавру.

— Спешите же, государь! — заторопил Петра Лефортов. — Вам еще нужно взглянуть на ваших друзей стрельцов, мне же позвольте откланяться... Что бы там ни говорили, а наши потешные, если только дойдет до драки, сумеют постоять за себя.

Петр, уже не слушая его, прошел в соседний покой.

Там были двое стрельцов, перепуганных одной только мыслью о царевубийстве, на которое подстрекали их приверженцы правительницы Софьи.

Имена этих оставшихся верными Петру стрельцов были: Михаил Феоктистов и Дмитрий Мельков.

В стрелецких полках, таких, как эти двое, было немало; есть указания на то, что Феоктистов и Мельков были только депутатами от множества товарищей, с отвращением относившихся к кровавому замыслу.

Увидав входящего царя, они пали на колени и нестройно заголосили:

— Здрав будь, государь царь великий, Петр Алексеевич!

— С чем вы? Какое у вас до меня дело? — грозно сверкнул на них своими черными очами царь.

— Прости, государь милостивый, — опять запричитали стрельцы, — неповинны мы в том... Все проклятый Федька Шакловитый да сучий сын Шошин... Они — тому делу главные затейники; указ твоей сестры, царевны Софьи Алексеевны, показывали, говорили, что всех Нарышкиных извести надобно, потому что от них всякая зарубежная нечисть на Руси заводится... Мы же твое царское величество упредить прибежали и просим за то твоего великого жалованья: помилуй нас.

Стрельцы замолотили лбами об пол.

— Ну, там я посмотрю, чем вас пожаловать, — уже почти ласково произнес Петр, — столбами ли с перекладиной, или чем другим. Вставайте! Еду я на великое богомолье к Троице-Сергию и вас с собою беру...

— Милостивец ты наш, — вскочили на ноги стрельцы, — солнышко наше красное! Грудью своею постоим за тебя, а врагу не выдадим... Царь наш пресветлый!

Их восторг был искренен, и Петр видел это, и надежда опять посетила его душу.

«Не все еще потеряно, — подумал он. — Ну, Софьюшка, сестрица милая, видится, что потягаемся еще мы с тобой!»

Уже совсем бодро, высоко подняв голову, пошел он из покоя, сопровождаемый стрельцами, лица которых сияли радостью¹.

Лефорта уже не было; возвращения царя ожидала одна только Анна.

— Фрейлейн, — церемонно кланяясь ей, сказал Петр, — прошу вас занять место в колымаге вместе с моей матушкой и супругой...

— Ну уж нет, государь! — тряхнув головой, весело ответила Анна Монс. — На коне я сюда примчалась, на коне и далее последую... Что мне собою ваших дам в колымаге стеснять...

— Но разве вы не устали? Ведь вся ночь напролет!

— Не бойтесь, я вынослива!

— Пусть будет, как вы того желаете, — согласился Петр.

Они все вышли. Царицы были уже усажены в колымагу, остальным были подведены оседланные кони.

Прошло несколько времени, и весь этот поезд почти бесшумно скрылся во мраке близкой к рассвету ночи.

XXIII

ПОТУХШИЙ ПОЖАР

Расскажем в самых коротких словах, что случилось после. Здесь не история Петра Великого, но ход событий был бы непонятен, если бы не было этих небольших пояснительных вставок.

Петр и его семейство благополучно добрались до Троице-Сергиевой лавры и с великих почетом были приняты архимандритом Викентием и иноками этой святой обители. А в Преображенское с Шакловитым во главе ворвалась буйная ватага стрельцов, из которых многие уже оказались пьяными. Шакловитый смело и дерзко постучал в ворота дворца и заявил, что по приказанию правитель-

¹ Из собравшихся на Лыковом дворе и Лубянке стрельцов, всего 700 человек, верными царю Петру остались пятисотенный Елизарьев, пятидесятники Мельков и Улефов,десятники Ладыгин, Феоктистов, Турка, Троицкий и Панфилов. Феоктистов и Мельков были посланы в Преображенское в качестве передовых.

ницы явился занять караулы. Его пропустили, и он сейчас же убедился, что тех, кого он искал, уже нет.

Холодный пот проступил у него при одной мысли, что Петр и Нарышкины успели уйти. Ведь весь кровавый заговор был основан только на внезапности нападения. Никто лучше Шакловитого не знал, что цареубийство вовсе не было по душе значительному большинству стрельцов и народа. Был расчет, что удастся, внезапно появившись, разом кончить кровавое дело, и тогда, конечно, московский народ примирился бы с совершившимся фактом; а если бы нашлись немногие смельчаки, которые вздумали бы обличить убийц, то их всегда можно было бы очень скоро унять. Теперь положение разом изменилось. Если младший царь ушел из Преображенского, значит, он знал, что готовилось для него, значит, весь заговор открыт, и Петру известно все, происшедшее на Лыковом дворе. Несомненно, что из своего убежища младший царь обратится к народу, и народ пойдет к нему, а если народ станет на сторону Петра, то никакая сила не справится с ним...

Так думал Шакловитый, так было и на самом деле...

Уже наутро после тревожной ночи к Петру в лавру явились стрелецкий полковник Циклер¹, с ним были стрелецкие головы, рядовые стрельцы, всего более пятидесяти человек, и явились они не с повинной, а за тем, чтобы защищать царя от злых врагов. Весь день шли люди из Москвы к лавре; скоро около нее уже раскинулся шумящий лагерь.

Силы Петра все росли и росли, а вместе с этим рос и ужас его сестры. Софья была достаточно умна, чтобы понять, что ее дело проиграно. Напрасно она издала указ о том, чтобы никто не смел уходить из Москвы без ее ведома. Народ перестал повиноваться ей и шел массами к тому, кого считал своим законным царем.

Скоро в лавре явились петровские потешные. Наемные иностранные войска вступили в Москву, часть их тоже была отправлена к Петру, и командовавший этими войсками Патрик Гордон объявил, что будет повиноваться только законному царю Петру, а не его сестре. Стрельцы покидали полки и шли тоже к Петру. Сухарев стрелецкий полк явился в лавру в своем полном составе. Софью покидали все. Ее сестры, Марфа и Марья Алексеевны, вместе с престарелой теткой Татьяной Михайловной, в молодости бывшей подругой знаменитого патриарха Никона, тоже уехали из Москвы в Троице-Сергиеву лавру «на богомолье».

Гордость неукротимой царевны была сломлена. Она умоляла сестер устроить ей примирение с братом. Петр даже не пожелал их слушать. Софья упросила поехать к Петру патриарха Иоакима — результат был тот же.

¹ Циклер был ревностным приверженцем царевны Софьи и в лавру явился только для того, чтобы разузнать, как обстоит дело, и, если возможно, поднять смуту. Это не удалось, так как к царю Петру из Москвы с каждым днем прибывало все более и более верных ему друзей.

Патриарх был даже рад явиться на поклон к Петру, так как усердно распространялись слухи, что он будто бы благословил стрельцов на царевубийство.

Софья отправилась сама, но дальше села Воздвиженского ее не пустили.

Тогда все бояре, кроме Голицына и его сына, бросили царевну, и 5 сентября Петр торжествовал в лавре победу над своими врагами. В этот день он приказал разыскать Шакловитого и ближайших его соучастников: Розанова, Гладких, Петрова, Черного. Уже был наряжен суд, и во главе судей поставлен один из ожесточенных против Софьи бояр — Тихон Никитич Стрешнев.

В тот же день к Троице-Сергию прибыл князь Василий Васильевич.

Петр более чем милостиво отнесся к нему и ограничился тем, что приказал ему отъехать на житье в Вологду.

Петру нужен был не столько разумный вельможа-дипломат, сколько ревностный исполнитель приказаний его неукротимой сестры — Шакловитый.

Требование выдать Шакловитого перевернуло всю душу Софьи: ведь это был вернейший из ее слуг! Она сделала последнюю попытку спасти его: ринулась к старшему царю Ивану Алексеевичу, оставшемуся в Москве. Но тот даже не пожелал видеть ее... Тогда Софья послала верных людей молить его о защите ее и Шакловитого перед братом.

— Я, царь, — ответил Иван, — не только из-за такого злодея, но даже и из-за нее, царевны, не хочу ссориться с братом!

Это уже было последним ударом. Софья поняла, что ей придется заботиться уже о себе, и решила пожертвовать Шакловитым, чтобы спасти свою жизнь.

Шакловитый исповедался, причастился Святых Тайн, плача, может быть, в первый и последний раз в жизни, простился с царевной и сам отдался в руки Стрешнева.

Жестокий был век, жестокие были сердца!

Шакловитый вел себя героем. Он знал, что его ждет, и даже не дрогнул, когда пошел на страшные муки, на ужасную смерть. Он погибал за то, что считал своей святыней. Софья из ничтожества подняла его, он отплатил ей, погибая за ее дело. Его расчет не удался, все его замыслы потерпели крушение; при удаче он выигрывал многое, при неуспехе — рассчитывался за все сполна....

XXIV

РОЗЫСК С ПРИСТРАСТИЕМ

Одно из зданий судного приказа старой Москвы было особенно мрачно. Его высокие окна были с рамами из такого толстого стекла, что извне даже самые зоркие глаза не могли бы рассмотреть, что такое творится внутри. В этом мрачном здании был один обширный покой со сводчатыми стенами. Мрачно было здесь; низкий потолок

глушил всякий звук, а сквозь непомерно толстые стены ничто, даже самый громкий вопль, не вырвалось бы наружу. Обстановка была донельзя проста. Под окнами лицевой стороны стоял большой стол, длинный и широкий, покрытый темной материей. За ним стояли кресло и несколько табуретов. На столе были разложены толстые темные книги в свиной кожи переплетах. Поодаль, у других стен, были расставлены предметы, тоже никогда в обычном обиходе не употребляемые, стояли высокая и низкая «кобылы» — толстое круглое бревно на толстых неуклюжих подставках-ножках, по стенам висели разной величины клещи, ломы, тиски, разных форм воронки. В углу был свален пук коротких и длинных палок и лежали охапки веревок. Около стояла большая жаровня. В двух местах в потолок были вбиты крюки и через них пропущены порядочно обтерханные веревки, один конец которых был раздвоен.

Этот «мрачный покой» был застенек, тот самый застенек, в котором так «геройствовал» Малюта Скуратов и в котором после него подвизались неизвестные в истории, но столь же усердные к своему делу его преемники. Много человеческих мук видели эти толстые стены, страшные вопли боли и отчаяния глушили они, но все, что свершалось здесь, вершилось «во имя правды», ради достижения правосудия... Этот ужасный застенек как официальное государственное учреждение появился в России почти одновременно с появлением в ней «носительницы древней пышной культуры», греческой царевны Софьи Палеолог.

Много жестокостей совершалось в России, пока она развивалась самобытно, но когда после татарщины был насажден худший, чем и эта беда, византизм, то он принес с собой на Русь царский титул ее правителям и великие муки управляемым. До Иоанна III пыток в России не было, как не было и публичной смертной казни. Впервые о пытках говорится в судебнике Иоанна III около 1497 года. С тех пор и пошло, и пошло... Лучшие государственные умы стали изощряться в изобретении все новых и новых пыток, разнообразных видов казней. И с тех пор пытка процветает.

В один дождливый октябрьский вечер 1689 года, к концу второго месяца после неудачного покушения Софьи на жизнь своего венчанного на царство брата, в застенке заметно было большое оживление.

Гордо подняв голову, расхаживал по покою «заплечный мастер» — палач, высокий, ражий детина, великан по сложению, с необыкновенно длинными руками. Он громко покрикивал на своих подручных, возившихся около свисшей с потолка веревки с двумя концами и около жаровни, которую они раздували; третьи отбирали пушистые веники с сухими листьями, размахивали плетью из жгутов, свитых из воловьей шкуры. Ясно было видно, что в застенке в этот вечер готовилось что-то необычайное.

— Шевелься, ребята, — покрикивал заплечный мастер, — не каждый день такие куски к нам в застенек попадают... Надоело

кости всяких смердов ломать; чуть плеть увидят, хныкать начинают, а клещи покажешь — визгу не оберешься...

— Да, пришлось-таки поработать! — отозвался один из подручных. — Давно уже не было столько работы...

— Ну, что там за работа была!.. Стрельчишки разные из всяких гулящих, никчемных людей... А тут честь на нашу долю такая великая выпадает: знаешь, поди, сам, кто такой Федька Шаклович был?

— Еще бы, окольниковый!

— То-то и оно, главный стрелецкий воевода... Эва, куда занесся, а наших рук все-таки не миновал... Эх и потешим мы Федьку, так потешим, что до конца дней своих не забудет...

Подручные засмеялись.

— Чего вы? — крикнул им заплечный мастер.

— Да как же чего? «До конца дней не забудет!» Ведь не сегодня-завтра нам на лобном месте работать над ним придется, а ты — «до конца дней не забудет»...

— Ну, пока там лобное место — это еще впереди, а вы теперь, ребята, перед боярином-то Стрешневым лицом в грязь не ударьте... Постарайтесь!..

— Да уж ладно! Чего там! Постараемся! — раздались суровые ответы.

В страшном покое темнело все более и более. В полутемноте кроваво-красным глазом казалась разгоревшаяся и чадившая углями жаровня. Ее свет был ничтожен. Зажгли светцы (особые осветительные приборы), горевшие также весьма тускло. Заплечные мастера разбрелись по углам в ожидании начала своей страшной работы, а боярин Стрешнев, как на грех, все не шел в застенок, да не вели и Шакловичего, для которого и собраны были сюда все эти страшные люди.

Вдруг где-то в отдалении раздались шум, хлопанье тяжелых дверей, людские голоса.

— Идут! — Так и встрепенулись все в застенке.

Действительно, скоро шум и голоса раздались у самых дверей; они распахнулись — и вошел высокий старик-боярин с утомленным суровым лицом.

Это и был боярин Стрешнев, которому Петром был поручен розыск, то есть судебное следствие — вернее, расправа — над главными злоумыслителями августовского покушения.

Не ошибся Петр в своем выборе: лют оказался боярин Стрешнев! Милославские были его давнишними врагами, и он рад был причинить им всякое страдание, а так как не достать ему их было, то он вымещал свою яростную злобу на тех, кто служил им.

Вошел боярин, все оживилось вокруг.

— Здравствуйте, мастера! — сказал Стрешнев, даже не двигая своей седой головой. — Работишка есть для вас, постарайтесь....

— Здрав будь, боярин! — с поклоном ответили мрачные люди. — Работы мы не боимся... Приказывай только, все исправим...

— То-то!

Боярин прошел к столу, снял свою высокую шапку, расправил бороду и уселся в среднее кресло.

Вместе с ним вошли дьяк судного приказа, подьячие с засунутыми за уши гусиными перьями, и тут же следом ввели трясущегося, дрожащего молодого парня в сильно изорванном стрелецком кафтане, а за ним, окруженный молодыми потешными (стрельцам уже не доверяли), гордо выступая, высоко подняв красивую голову, шел окольный Федор Леонтьевич Шакловитый. Парень в стрелецком кафтане был Кочет.

Едва только Шакловитый приблизился к столу, как Стрешнев, словно подтолкнутый какой-то пружиной, вскочил с кресла и закланялся с преувеличенным почтением узнику.

— Феденька, друг, — воскликнул он, — вон и здесь привелось встретиться... Что поделаешь-то? Встречались прежде в палатах царских, а теперь вон, сам, поди, знаешь, какой здесь дворец.

— Брось, боярин, — презрительно усмехнулся Шакловитый, — к чему все это? Делай свое дело...

— Да ты что, Федя? Никак гневаться изволишь? Грех тебе, стыдно! — притворно огорчаясь, воскликнул Стрешнев. — Для тебя же, сердечный друг, стараюсь... Разве мы не свои? Поклеп тут на тебя взведен, так нужно же правду разыскать... Ведь нехорошо, Федя, ежели ты в подозрении останешься.

XXV ДОПРОС

Шакловитый презрительно усмехнулся. Стрешнев искоса взглянул на него и тоже засмеялся. Он немного подождал, не скажет ли чего-либо окольный, потом, поманив к себе Кочета, сказал:

— А ну-ка, молодец, пожалуй сюда...

Кочет метнулся вперед и у самого судейского стола упал на колени.

— Ой, боярин-милостивец, — заголосил он, — не буду... Богом клянусь, никогда не буду...

— Да ты чего это, Кочет, — представился удивленным Стрешнев, — чего ты не будешь?

— Ничего не буду, как есть, ничего... И детям, и внукам, и правнукам закажу, чтобы они оборотней и во сне не выдывали...

— Далеко хватил, парень! — усмехнулся Стрешнев и, многозначительно крикнув, прибавил: — Про детей да внуков ты нам не говори, еще не видно, будут они у тебя или нет! Ты нам про себя лучше поведай... Правду скажи: видел оборотня-то со смертью?

— Ой, государь-боярин, видел, вот как тебя вижу... Царев облик оборотень принял, и смерть около него...

— А ну-ка, ну-ка, расскажи! — дозволил Стрешнев.

Кочет заговорил. Его голос и дрожал, и срывался, но говорил он правду. Без всяких прикрас рассказал он о своих ночных похожде-

ниях в Кукуй-слободе и только на одном стоял неотступно, что видел в пасторском домике оборотня в образе царя, а около него — костлявую смерть.

— Так оборотня-то своими глазами видел? — добродушно усмехаясь, спросил боярин.

— Его, боярин милостивый, его самого, неумытого, вот как тебя вижу, — опять повторил Кочет свою фразу, очевидно, казавшуюся ему убедительною.

— Так, так... Ну а кто тебя научил так говорить?

Кочет смутился.

— Никто, боярин... Что было, то говорю...

— А я тебе говорю, что нет! — вдруг, меняясь, загремел боярин. — Враги царевы приказали так говорить тебе, негоднику, чтобы смуту на Москве развести... Сейчас говори, кто?

Кочет смущенно молчал.

— А, не хочешь сказывать! Ворогов укрываешь! Так мы тебя заставим сказать неволью... Послушаем, какие ты у нас песни запоешь... Эй, кат!

Выдвинулся заплочный мастер, двое его помощников очутились за спиной Кочета.

— Помилуй, боярин! — ударился тот лбом о пол. — Все я сказал.

— Врешь! Окольничий Шакловитый тебя не наущал этикие слова говорить?

— Да я, боярин, Федора Леонтьевича только издали видел, слова у меня с ним сказано не было.

— А вот это мы увидим, — пообещал боярин Стрешнев. — Так что же, молодец, скажешь ты нам или нет, кто тебя наущал на это дело?

— Полно, боярин! — с презрением глядя на него, сказал Шакловитый. — Ну чего ты еще время понапрасну теряешь: «кто сказал, кто наущал»... Никто не повинен, сам я творил все! Вот тебе и весь сказ!

Стрешнев вскинул на него свой злой взор и ехидно засмеялся:

— Погоди, Федор Леонтьевич, какой ты скорый! Знаем мы твою доброту да любовь к этой стрелецкой братии!.. Ты и всяческую напраслину на себя готов склепать, только бы своих молодцов вызволить, а правда от этого умаление терпит... Нет, ты уж погоди!.. Эй, кат! — Злые глаза боярина так и сверкнули; он крикнул: — На дыбу!..

Помощники палача схватили Кочета и потащили его к спущенной с потолка веревке с двумя концами. Несчастный стрелец страшно завопил. Шакловитый отвернулся в сторону; он знал, что ему ничего не поделать, что его самого ждет куда горшая участь...

— Вы молодца-то, заплочные мастера, прежде на кобыле растяните! Может, он, как вы его плетью погладите, упрямиться перестанет и всю правду выложит, — велел Стрешнев.

В один миг несчастный Кочет, обнаженный и неистово вопивший, был разложен на бревне с подставками так, что его ноги и

руки спускались с обеих сторон кобылы, а на ней оставалось лишь его туловище.

— Какую, боярин, прикажешь, — подошел к Стрешневу с двумя ременными плетями заплочный мастер, — большую иль малую?

— Великое дело было ими задумано, так с большой и начинай.

XXVI

ДЫБА

Палач швырнул одну из плетей в угол, другою же сильно взмахнул несколько раз в воздухе; каждый раз при взмахивании слышались свист и характерное шелканье.

— Ой, ожгу! — вдруг как-то особенно дико выкрикнул он, после чего взмахнул рукой, и плеть со свистом опустилась на спину Кочета.

Тот страшно взвизгнул; на его спине сразу же вздулась широкая багрово-красная полоса.

— Что, не под веничек ли прикажешь, боярин? — спросил палач.

— Вот-вот, старайся, молодец! — было ответом.

Плеть все чаще и чаще замелькала в воздухе, вопль истязаемого стал непрерывным; вся его спина, с которой плетью сорвана была кожа, обратилась в одну сплошную рану, местами вздувшуюся пупырыми, местами кровоточившую.

— погоди, погоди, мастер, — остановил палача Стрешнев, — дай малому передохнуть! Да и ты, поди, устал, сердечный?

— Ничего, — сумрачно ответил палач, — нам это дело привычное.

Кочета сняли с кобылы и подвели к судейскому столу.

— Ну что, добрый молодец, — совсем ласково спросил допросчик, — не вспомнил, кто наущал тебя на великого государя небылицы взводить?

— Ой, боярин-милостивец, — завопил молодой стрелец, — все я тебе сказал, все! Да и ничего я про великого государя и не говорил... Про оборотня я болтал... Так нешто оборотень-то — великий государь?.. Так, нечистая сила.

Боярин, покачив головой, возразил:

— Упорствуешь ты, молодец; столь молод и столь упорен, хорошо это... Про Бога вспомни! Взгляни-ка, люди над тобой умаялись... Их бы пожалел, сказал бы святую правду... Бог-то правду видит... Ну, что же ты?

Кочет молчал. Стрешнев взглянул на Шакловитого; тот поймал этот взгляд и по-прежнему презрительно усмехнулся.

Тогда боярин не выдержал и, нахмурясь, грозно закричал:

— Эй, кат, подвесь-ка его да попарь ножки веничком, ножки ему нагрей; авось с пылу-то, как согреется, и молчать не будет...

Кочет стоял, дико озираясь по сторонам. Он весь дрожал, и то и дело поводил языком по воспаленным, сухим губам. Палачи опять схватили его и подтащили к спущенной с потолка веревке.

В один миг руки истязаемого были закручены за спину и на кисти каждой из них надеты петли, которыми заканчивались концы веревки. Все стихло в застенке. Горящими злобой глазами смотрел на приготовления к пытке Стрешнев. По-прежнему отвернувшись в сторону, стоял Шакловитый. О чем он думал в эти страшные мгновения? Быть может, о том счастье, которое было так близко и вдруг выскользнуло из его рук; быть может, о том, что ждет обожаемую им царевну, от которой он видел столько добра; быть может, он вспоминал свои заграничные поездки в составе посольств, картины роскошного Стамбула, великолепной Венеции, гордого красавца Рима... Но его лицо было невозмутимо спокойно, ни тревоги, ни страха не отражалось на нем.

А заплечные мастера, не спеша, делали свое ужасное дело. Трое из них схватились за свободный конец веревки и стали тянуть его к себе. Веревка натянулась, тело Кочета поднялось на воздух и, наконец, повисло на руках. Слышался хруст костей; вопли несчастной жертвы становились все громче, все жалобнее. Но не поддавались еще суставы. Кочет висел на руках, но он был слишком легок, чтобы вывернуть их. Тогда палач с диким визгом бросился к нему, охватил его стан и сам повис на нем. Раздался нечеловеческий крик; кости хрустнули так сильно, что этот хруст раздался по всему застенку, и точно же вышедшие из суставов руки вытянулись вдоль головы.

— Чисто сделано, боярин! — хрипло выкрикнул палач. — Эй, давай сюда веник!..

Один из подручных подбежал к нему с веником, на котором горели все листья и прутья. Палач схватил его и, что было сил, принялся хлестать по исполосованной спине Кочета.

— Ну что, молодец, скажешь ли? — спросил Стрешнев.

— Ой, не мучьте меня, убейте лучше! — закричал стрелец.

— А ты правду скажи! — наставительно произнес боярин. — Кто тебя наушал?

— Все сказал, что мне ведомо было... все...

— А, так ты!.. Подогреть его!

Вслед за этим окриком под ногами истязаемого очутилась жаровня. По всему застенку распространился запах паленого мяса. Палач, с которого пот катился в три ручья, уже переменил несколько горящих веников. Кочет затих.

— Довольно, боярин, — крикнул палач, — взгляни!..

Стрешнев подошел. Несчастный Кочет был без чувств. Боярин махнул рукой, и помощники палача приспустили веревку. Старший палач схватил тело жертвы, освободил петли и понес Кочета в угол. Руки несчастного, вывернутые из плеч, болтались во все стороны.

Осторожно спустив в углу несчастного, палач ловким и быстрым движением вправил вывернутые руки на место и затем отошел в сторону, а его помощники стали лить на голову Кочета воду, стараясь привести его в чувство, может быть, для новых пыток...

— И неженки же у тебя, Федор Леонтьевич, твои ребята! — засмеялся Стрешнев. — Чуть что им не по нраву — и дух вон сейчас.

Шакловитый, ничего не ответил. Он устремил взор на дверь, ручка которой шевелилась. Дверь отпахнулась, и в застенок вошел высокий «немчин», сопровождаемый еще двумя другими.

Шакловитый вскрикнул, увидав его. Это был царь Петр Алексеевич, одетый в немецкое платье.

XXVII

ОТ УЖАСА К СЧАСТЬЮ

Была уже совсем поздняя ночь, когда в Кукуй-слободу, к дому виноторговца Иоганна Монса, примчались со стороны Москвы двое всадников. Тот из них, который был повыше и поплотнее, сильно застучал молотком в дверь. На стук выбежала служанка со светцем в руках и, отворив дверь, отступила назад, воскликнув:

— Царь!

— Тс-с! — крикнул Петр (это действительно был он). — Простой я гость здесь у вас. Принимайте! Хозяин дома?

— Нет, господин в Москве.

— А фрейлейн?

— Фрейлейн Анхен дома...

— Так я пройду к ней... Павел, ты пригляди за лошадьми... Ведь ты здесь не останешься?

— Нет, государь...

— Молчи... Так ты подожди меня немного, авось меня не прогонят... Я вышлю сказать, ежели останусь... — И Петр, не обращая внимания на служанку, быстро прошел в покои Монсова дома.

— Господи! — всплеснула руками служанка. — Что-то будет... Господин Монс уехал в Москву до завтрашнего дня, а царь-то как будто хочет ночевать остаться...

— А что ж такого? — спросил Павел (это был Павел Каренин). — Опоздился он, а завтра ему, чем свет, нужно на Москве быть...

— Да как же? Ведь дома одна только фрейлейн...

— Наш царь ее не съест! — засмеялся юноша. — Иди-ка ты, иди!.. Посмотри, долго ли мне еще торчать здесь.

Служанка ушла, и Павел остался один. Он в эти мгновения переживал все впечатления недавнего ужаса. Напрасно он старался заняться лошадьми, расправлял их гривы, поправлял седельные подпруги: его мысль невольно возвращалась к тому, чего свидетелем он только что был.

Где-то далеко вверху слышалось хлопанье дверей, и по лесенке застучали башмаки возвращавшейся служанки.

— Иди, молодец, куда тебе надобно, — довольно чисто по-русски сказала она, приотворяя дверь, — заночует ваш царь здесь у нас... Уже на погреб за вином послали... Фрейлейн Анхен сама хлопочет ради гостя дорогого...

— Ин и хорошо! — проворчал Павел, вскакивая на коня. — Завтра, чем свет, разбуду... Не пугайтесь, ежели застучу сильно...

Он кивнул головой и умчался, уводя с собою и вторую лошадь.

Павел отправился к домику фрау Фогель, где ему никогда не отказали бы в приюте. Добрая была женщина фрау Юлия и, как своих собственных сыновей, любила обоих юношей Карениных, да мало того, что любила, но и, как любящая мать, страдала за них. Она видела, что на душе и у того, и у другого творится что-то неладное, что между ними пошел какой-то разлад. Оба они были прежде веселы, а теперь стали грустны; прежде были дружны между собой, теперь же словно кошка черная пробежала промеж них... И что более всего удручало ее, так это то, что они, прежде никогда ничего не таившие от нее, вдруг отделились и ушли глубоко-глубоко в самих себя. Добрая женщина не понимала, что это значит, но своей душою скорбела.

Вряд ли в доме Монса ожидали такого гостя в такую позднюю пору... Встретила прибывшего Матрена Ивановна Балк. или Балкша, сестра Анхен, вертевшаяся в отцовском доме в ожидании событий, которые могли быть выгодны для всей этой семьи...

— Ой, ой! — приседая, воскликнула она. — Сколь великая честь...

— Ладно! — грубо оборвал ее гость. — Анхен-то спать, что ли, легла?

— Как же, государь, как же... Что же и делать молодой девице в ночную пору?.. Спит моя нежная кенарочка и, быть может, во сне своего героя видит...

— Кого? — нахмурился Петр.

— Героя... Ведь у каждой молодой девушки непременно в мозгах свой герой есть...

— Кто же он такой?

В голосе позднего гостя зазвучали грозные нотки.

— Кто это знает, государь, — залепетала испугавшаяся Балкша, — разве вам неизвестно, что это — сокровенная тайна девичьего сердца...

— А вот я сейчас узнаю эту тайну... Пусть проснется фрейлейн Анхен и придет побеседовать со мной.

Тон, которым отдано было это приказание, был таков, что никаких возражений быть не могло, но Балкше все-таки не пришлось его исполнить... Дверь вдруг отпахнулась, и в покое, где происходил этот разговор, появилась сама Анна.

— Вы! Здесь? — воскликнула она, как будто с изумлением, хотя ее костюм показывал, что она и не думала еще ложиться в постель. — Чем обязаны мы, скромные люди, такой чести?..

Поздний гость огляделся и его взор остановился на Матрене Ивановне.

— Поди-ка ты вон, — приказал он, — мне тут с Анхен о разных делах побеседовать нужно... Да пусть там вина из погреба принесут.

Балкша, все время дрожавшая, моментально исчезла.

— Государь, что это значит? — с деланным удивлением воскликнула Анна. — Я совсем не узнаю вас.

— А то значит, — последовал быстрый ответ, — что пропало для меня все то, что позади меня... Жажду новой жизни... Помнишь, как ты ко мне ночью в Преображенское примчалась? Так вот тогда ты мне и новую жизнь привезла... Хочу я жить по-новому, не как старики живали... Сегодня в застенке последки с себя стянул.

— Боже, — воскликнула на этот раз с действительным ужасом Анна, — на вас кровь!

— Перепачкался! — равнодушно ответил гость. — Вот, — вернулся он к прежней теме, — пришел я сюда, к тебе, спросить: ты мне новую жизнь привезла, так хочешь ли ты и делить ее со мной?

— Государь!

— Отвечай, да или нет... Не хочешь ежели, так силой возьму, и будет по-моему... С тысячами совладал, так с тобой-то одной совладаю... Отвечай без уверток...

Анна взглянула на своего собеседника. Его молодое, красивое лицо так и искажалось судорогами, глаза сверкали, как раскаленные угли, он весь так и трясся...

— Государь, — тихо сказала девушка, — когда я входила сюда, то слышала, что вы спрашивали у моей сестры о том, какой герой царит в моих девичьих мечтах... Позвольте же мне спросить вас, сами-то вы не знаете ли? Когда девушка, забывая все, ночью мчит-ся, чтобы спасти человека от смертельной опасности, какое чувство руководит ею?

— Анхен! — хрипло выкрикнул гость, бросаясь к «прелестнице Кукуя» и схватывая ее в свои объятия. — Так это я — твой герой!

— Вы запачкаете меня, государь, — отстранилась Анна, на платье которой остались большие кровавые пятна, — вам непременно нужно переменить ваш камзол; пойдемте ко мне наверх, в гардеробе моего отца найдется пригодное для вас одеяние...

XXVIII

СРЕДИ СОМНЕНИЙ

Когда Павел примчался к ее дому, фрау Фогель только что уложила спать детей и готовилась стать на вечернюю молитву.

— Павлушенька, что с тобой, — воскликнула она, когда Павел, поставив лошадей в конюшне, вошел в ее покой, — посмотри-ка, на тебе лица нет...

— Мать, мать, — дрожащим голосом произнес Павел, — какого ужаса я только что был свидетелем...

— Ты говоришь, ужаса? Но где же ты был?

— В застенке!

— Ты был в застенке?

— Да, царь Петр приказал мне сопровождать его... видишь, на мне нерусское платье... С нами был господин Брюс, а потом пришел господин Вейде; господа Гордон и Лефорт отказались туда идти... Я же не смел послушаться...

— О Боже!.. Что же ты там видел, дитя?

— О я до сих пор еще не могу прийти в себя, опомниться. Он был герой, мать... О как я хотел бы в преданности и любви походить на него...

— Про кого ты говоришь, дитя, — сама вся дрожа, спросила госпожа Фогель, — кого ты называешь героем?

— Окольного Шакловитого... Его пытали сегодня в застенке, заставляя сказать, что царевна Софья Алексеевна приказала ему убить всех Нарышкиных, а вместе с ними и царя Петра...

— И правда это, дитя?

Павел поднял голову и взглянул на госпожу Фогель совсем не по-юношески серьезным взглядом.

— Кто знает! — сказал он.

— А Шакловитый разве не повинился под пыткой?

— Не застонал даже... А как его пытали... как пытали! В аду грешников не так истязают, как его... Из его истерзанного тела раскаленными клещами вырывали куски, клинья забивали под ногти... на дыбе встряхивали... Ведь старались и заплечные мастера, и боярин Стрешнев... Сам царь тут был и на эти страшные пытки смотрел... Любо ему было смотреть на муки... Глаза то и дело взблескивали... А Шакловитый поносил его и славил царевну, возносил ее превыше небес и лишь тогда замолчал, когда чувств лишился... Должно быть, что и сам грозный царь пожалел его. Боярин-то Стрешнев еще хотел пытать, а царь приказал оставить... Завтра казнят окольного...

— Завтра? — вскрикнула госпожа Фогель. — Так скоро?

— Царь повелел. Он сам тайно будет на казнь смотреть... С тем и сюда заночевать прибыл...

— Где же он, у кого?

— У Монсовых...

Лицо доброй женщины подернулось грустью, на глазах проступили слезы.

— Вот ты видел ужас, Павел, — слегка дрожащим голосом произнесла она, — ужас, ни с чем не сравнимый... Человек истязал человека, чтобы услышать от него правду, и не услышал того, что хотел. Но Божья воля тут ясна. Если мучили окольного невинно, то свыше ниспослано ему это тяжелое испытание... Если же заперся он, то его постигла кара Божья за совершенные грехи... Что такое человек? Ничто, трава полевая... Ни единый волос не спадет с его головы, ежели на то не будет воли Господа... Помни это, милое дитя, помни и не ропщи... Не виновать даже в помыслах своего царя... Бог управляет сердцами царей, и часто делают они то, что нам, простым смертным, непонятно. Вот и теперь...

Госпожа Фогель запнулась и покраснела. Воображение быстро нарисовало ей такую картину: чистенькая, с величайшей аккуратностью прибранная горница, в ней полумрак, слышатся страстный, прерывистый лепет, поцелуи, вздохи... Потом, словно из тумана, выплыло чье-то молодое, красивое лицо, и добрая женщина не

узнала, а поняла, что это — лицо Анны Монс, первой красавицы Кукуевской слободы.

— Что теперь? — возвратил ее к действительности вопрос Павла.

— Теперь?.. Что теперь? Да кто это знает? Быть может, готовятся беспримерные события, — нашлась ответить Юлия, — теперь на распутье стоит все твоё отечество, Павел, и кто знает, какой дорогой и куда пойдет оно... Но, смотри, уже поздно! Ляг и усни; ты должен, как я поняла, встать очень рано... А где твой брат? Отчего я не вижу его?

— Не знаю, — грустно ответил Павел, — Михаила против царя был. Как бы греха из сего не вышло...

— Будем молиться, чтобы Господь отвел все беды от нашего милого Михаила, — проговорила добрая женщина. — Так иди же, отдохни!..

Павел с величайшим почтением поцеловал у нее руку и пошел наверх в светлицу, где для него и его брата всегда были приготовлены постели.

Долго-долго еще не могла заснуть Юлия Фогель. Ей мерещились то истязаемый Шакловитый, то Анна Монс, вся так и сиявшая уже не девичьей, а только что расцветшей женской красотой. Добрая женщина слышала, как, едва забрезжил рассвет, поднялся Павел; потом она слышала топот и фыркание коней и заснула только тогда, когда все затихло.

Павел прибыл к дому Иоганна Монса как раз в то время, когда пробудившийся Петр уже осведомлялся о нем. Едва явился Каренин, царь уже вышел на крыльцо, и Павел видел, что его лицо так и сияет довольством и счастьем.

— На Москву теперь, молодец! — бодро и весело крикнул царь. — Будем гнать всю... Поспеть надо, пока там еще народ не проснулся.

Садясь на коня, он оглянулся. Павел следил за его взором и увидал, что в доме Монса было открыто окно, и там была видна Анхен, нежно глядевшая на отъезжавшего царя.

XXIX

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

В это пасмурное туманное утро, 11 сентября 1689 года, гудела и кипела вся Москва, сходясь и сбегаясь со всех своих концов к Кремлю, где на лобном месте спешно заканчивались приготовления к позорной торговой казни. Должны были казнить смертью Шакловитого, а вместе с ним двух его наиболее преданных друзей — Петрова и Черного; стрелецкому же полковнику Рязанцеву, пятисотенному Муромцеву и стрельцу Лаврентьеву, по нещадному битью кнутом, должны были урезать языки, а после того сослать в далекие сибирские города. Колесовать должны были гордую красу и

опору всего могущества недавней правительницы; той же смертью должны были умереть и его друзья.

Колесование было совсем новою казнью в Москве; как и все дурное, оно занесено было сюда с соседнего европейского Запада.

Московский народ волновался в ожидании нового, невиданного зрелища, и — странное дело! — лиц, жалевших Шакловитого и его друзей, почти не было, и все боялись, что казнь будет отменена, и осужденные будут помилованы.

Увы! Переменчивы людские настроения: еще недавно низкими поклонами встречали и провожали москвичи Федора Леонтьевича Шакловитого, когда он, гордо озираясь вокруг, проезжал по улицам Москвы, а теперь, теперь отовсюду на его голову сыпались ожесточенные проклятия...

— Слышь, царь-то без пытки хотел казнить вора Федьку! — говорили в толпе.

— Без пытки? Ну, милостив же государь великий! Разве без пытки у таких злодеев правду узнаешь?

— Признав это, московские служилые люди в Троице-Сергиево бить челом ездили, пред светлые очи государя были допущены...

— О чем бить челом-то собирались?

— Да все о том же, чтобы допрошен был вор Федька с великим пристрастием... пусть выдал бы всех соучастников своих.

— И что же великий государь?

— Прогневаться изволил, очами заблестал и челобитчиков гнать велел. Он-де — великий государь и, как ему свое государево дело вершить нужно, знает. Показаниями Федькиными он-де доволен, за усердие служилых людей он благодарит, а только им-де непригоже мешаться в государево дело...

— Ведут, ведут! — раздались крики.

На Красной площади показалась оригинальная и весьма печальная процессия. К лобному месту вели осужденных. Впереди шли два стрельца с бердышами; они как бы открывали шествие. За ними шла шеренга пеших стрельцов с пищалями, причем фитили были разожжены, и отряд в каждое мгновение мог дать залп по толпе, если бы она вздумала освободить приговоренных. После шеренги стрельцов ехала поломанная, грязная телега; не лошадь, а отвратительный одер волочил ее. На передке сидело омерзительное, пьяное, одетое в жалкие лохмотья существо, во все горло выкрикивавшее что-то вроде песни. Москвичи хорошо знали эту телегу и возницу; в обыкновенное время на ней увозили с улиц всякую падаль. Теперь же за ней, привязанный к ее задку длинною веревкой, конечная петля которой была захлестнута на его шее, шел окольный Федор Леонтьевич Шакловитый. Он шел босой, но на клочки его изорванной нижней одежды был накинута боярский кафтан, а на голову была надета высокая шапка окольного. Его вывернутые и потом вправленные назад палачом руки были скручены за спиной.

Шакловитый был мертвенно бледен, но шел на казнь с высоко поднятой головой. Огненным взглядом окидывал он ревеющую на все

лады толпу и, когда до его слуха долетали ее поносные крики, только презрительно улыбался.

За ним, со связанными назад руками, в невозможных лохмотьях, едва прикрывавших их изможденные тела, шли попарно четверо других осужденных. На шее каждого из них была накинута петля, а другим концом ее веревки они были привязаны к рукам своего вождя. Этим как будто хотели показать, что Шакловитый, идя на гибель сам, вел вслед за собой и других...

Эти другие шли уже не так бодро и гордо. Лаврентьев и Рязанцев плакали, сравнительно спокойно держались Петров и Чермный. Еще бы! Ведь для них все очень скоро должно было окончиться, наступал полный отдых и от земного кипения, и от пыточных неистовств, а первым двум впереди предстояла долгая мука — им была дарована жизнь...

Страшная процессия подошла к лобному месту. Там уже был палач с помощниками. Они возились около ужасных приспособлений новой казни — двух, сколоченных посреди крест-накрест, нетолстых бревен и огромного колеса с широким, в толщину человека, ободом. Один из палачей то и дело пускал в ход это колесо, заставляя его вращаться то тише, то быстрее; главный заплечный мастер, пробуя силу размаха, вертел над головой железным ломом порядочной длины. Остальные прилаживали к концам бревен петли-подвязки.

Толпа все это видела, видели это и осужденные...

К самому краю помоста вышел дьяк судейского приказа и ровным, ни разу не дрогнувшим голосом принялся читать вины осужденных. Долго тянулось это чтение. Сердечный друг царевны Софьи, князь Василий Васильевич Голицын, за многие вины и своевольные притеснения подданным великих государей и солдатам Комарицким присяжным осуждался на ссылку в Пустозерск. Шакловитый с товарищами осуждался на смертную казнь. Далее шли уже легкие кары: битье кнутом, вырывание ноздрей, урезывание языка, ссылки и разные государей немилости. О царевне-правительнице не было сказано ни одного слова.

Когда кончилось чтение, дьяк что-то тихо сказал палачу и отошел в сторону. Кат живо кинулся по ступеням вниз и, схватившись за веревку, привязанную петлей к шее Шакловитого, потащил его.

— Милости просим, боярин, — закричал он, — пожалуй к нам на угощение, не погнушайся, угостим на славу!.. Мы такому именитому гостю рады.

Он выкрикивал это так, чтобы все кругом слышали, и действительно, толпа, стоявшая вокруг, неистово гоготала. Подобные издевательства над осужденными в то время были в большом ходу и, чем знатнее был осужденный, тем ядовитее насмехались над ним палачи.

Шакловитый взглянул на небо, на золотые кресты московских соборов и твердой поступью поднялся по ступенькам.

XXX

КАЗНЬ ДУШИ

А в это время в палатах, выходивших на площадь, где происходила казнь, у одного из окон стояли две женщины, обе заливавшиеся слезами. Одна из них была недавняя правительница, самодержица-царевна Софья Алексеевна, а другая — ее сестра, царевна Марфа Алексеевна. Неукротима была дочь Тишайшего царя, но в эти страшные мгновения женщина сказала в ней. Ее насильно привезли в эти палаты в это утро и насильно заставили быть в покоях, выходивших окнами на площадь, где должен был в страшных мучениях кончить жизнь преданный ей человек.

Ни Стрешнев, ни князь Борис Голицын, ни другие им подобные бояре, приверженцы Петра, не решались прикоснуться к телу дочери того, чьими рабами и холопами они были всю свою жизнь. Но они придумали более страшную пытку для Софьи: решили не тело, так душу измытарить. И вот, приводя в исполнение свой гнусный замысел, они в надежде, что этим сыщут благоволение молодого царя-победителя, заставляли побежденную смотреть на предсмертные муки ее друзей.

Марфа Алексеевна, пожалуй, была столь же неукротима, как и ее старшая сестра. Известен вспыльчивый и впечатлительный нрав этой царевны. Пожалуй, она больше сочувствовала в силу своей порывистости Петру, но, когда он, пылая гневом, не захотел видеть старшую сестру, то она накинулась на брата с таким остервенением, что тот был смущен этим порывом и, избегая повторения его, поскорее отослал Марфу на Москву. А она там прежде всего явилась с утешениями к опальной Софье, и даже готовые на все бояре не смогли разлучить этих двух женщин. Зато они теперь заставили Марфу вместе с Софьей присутствовать при казни Шакловитого.

— Смотри, смотри, сестрица, — сквозь рыдания воскликнула Марфа, — раздевают его и привязывают.

Софья подняла голову и гневным, полным ярости взглядом впирилась в то, что происходило на площади...

Палач уже сорвал с Шакловитого его боярский кафтан и шапку и начал топтать их ногами, а в это время его помощники схватили несчастного осужденного и распяли на крестообразной перекладине. Шакловитый сразу оказался растянутым всеми своими конечностями. Его руки и ноги, вытянутые вдоль бревен, были привязаны к ним ремнями у кистей и у ступней; ремнем же он был привязан посредине туловища к крестовине.

— Ой-ой, — истерически вскрикнули обе царевны, дрожа от волнения и ужаса.

Но как сильно ни было их волнение, они все-таки не могли оторвать взор от ужасного зрелища. Они видели, как палач взял в свои мускулистые руки лом, высоко взметнул им в воздухе и со всего размаха опустил его на локтевую кость руки Шакловитого. Удар был страшен, все тело истязаемого рванулось вперед, а в это

время палач с диким визгом нанес такой же удар по локтевой кости другой руки. Тут он приостановился и стал отдыхать, опершись на лом.

Обе царевны плакали, но уже тихо: они просто не могли удерживать слезы, которые сами струились из глаз. Затуманенными глазами смотрели они, как извивалось в ужасных судорогах все тело Шакловитого на крестовине, а отдохнувший палач между тем продолжал свое отвратительное дело. Так же с перерывами, более или менее длинными, он перебил плечевые кости, бедра и голени и тогда отошел в сторону. При каждом ударе он дико взвизгивал, и вокруг него громко гоготала толпа, наслаждавшаяся этими страшными муками человека.

Должно быть, Шакловитый от страшной, нестерпимой боли лишился чувств, так как во все время не издал ни звука.

Невыразимое впечатление производила эта казнь: ни капли крови не было видно, палач наносил свои удары так, что ломал кости, но не разрывал наружных покровов. Когда его жертву отвязали от крестовины, то в руках палачей был уже не человек: перебитые руки и ноги трепались, как плети, а это было еще только начало...

Бесчувственного Шакловитого палачи начали поливать водой; лили ее, не жалея, и наконец добились того, что страдалец открыл глаза и из его истерзанной груди вырвался тяжкий, надрывистый стон. Палачи только этого и ждали. Они быстро схватили этот полутруп и вскинули его на широкий ободок колеса. Тело перегнулось, как будто в нем совершенно не было костей. Палачи привязали его ремнями, и опять раздался дикий, хриплый вопль старшего ката.

— Пускай сверху вниз! — приказал ему дьяк.

— Э-эх, — выкрикнул палач, — вот что значит боярин-то: ему и тут везет... Нашего брата ногами вперед пускали.

Дело в том, что под колесо был вбит широкий ряд гвоздей, и эти гвозди при вращении колеса рвали в клочья тело казнимого. Если пускали колесо так, что голова жертвы первую попадала на эти гвозди, то, за самыми редкими исключениями, в этом случае смерть наступала почти мгновенно, если же колесо пускали в обратную сторону, то казнимый умирал только тогда, когда гвозди прободали ему голову, а до этого мгновения испытывал невыразимые муки. То, что Шакловитого приказано было колесовать «сверху вниз», было особой милостью.

Царевны Софья и Марфа видели, как были кончены последние приготовления к колесованию. Они знали, что в эти страшные мгновения несчастный жив и чувствует все, и теперь вместо недавних отчаяния и ужаса уже страшным гневом кипела далеко еще не побежденная душа могучей царевны Софьи. Она видела, как палачи с всевозрастающей быстротой завертели ужасное колесо; она слышала дикий вопль, раздавшийся с места казни и заглушивший на мгновение неистовое гоготанье толпы. Теперь Софья уже не плакала, ее глаза горели, как горят глаза дикого зверя, когда перед ним уничтожают дорожное ему существо.

— Мученик, за меня мученик, — шептала она. — Но погодите, проклятые, расплачусь я со всеми вами... горшую устрою вам муку... Не впервой с московского престола русским царям в Польшу бегать... я, братец любезный, то тебе устрою, что само лихолетье светлым праздником покажется, нарышкинец проклятый!

А страшное колесо на площади все вертелось и вертелось, пока истомленные палачи не бросили его. Оно сразу остановилось. Труп Шакловитого застрял на гвоздях. Палачи засуетились около колеса, приподняли его; на нем висела уже почти бесформенная, вся окровавленная, изорванная и истерзанная масса, только отдаленно напоминавшая человека. С Шакловитым было все кончено, наступила очередь других. Страшные люди на роковом помосте уже размахивали плетями, готовились к новым казням¹.

XXXI НЕУКРОТИМЫЕ

Царевна Софья закрыла лицо руками и, как бы повинуюсь какому-то душевному велению, опустила на колени. Когда она встала, то у нее был совершенно спокойный вид.

— Ну что ж, сестрица милая, — обратилась она к царевне Марфе, — чего еще-то смотреть? Достаточно нас позабавил братец милый. Князь мой Вася — по дороге в Яренск, боярин Леонтий — с ним по пути, а верный слуга мой Федя — в царстве небесном...

— Ха-ха-ха! — раздался сзади женщин глухой, грубый смех.

Софья и Марфа быстро обернулись. За дверями покоя стоял тот, кого они в эти мгновения ненавидели более всего на свете, их младший брат, царь Петр. Он еще до казни стрелецкого вожды прискакал из Кукуй-слободы в Москву. На нем было немецкое платье, и благодаря этому никто из московских людей не угадал в нем царя. Во время казни Шакловитого Петр был в соседнем покое и теперь не мог отказать себе в удовольствии dokonать вконец побежденную сестру.

— Вот, сестрица любезная, — проговорил он, делая шаг вперед, — добивалась ты меня видеть, вот мы и свиделись. Только коротки будут наши разговоры, хоть и давно мы с тобой не видались. А наговорились-то мы друг о друге и в разлуке досыта... Что же, хочешь, я скажу тебе последнее мое слово?

— Говори, враг, нарышкинское отродье! — звучным голосом, полным ненависти, произнесла царевна. — Ну, что же? Я слушаю, что ты мне скажешь?

— Да то, сестрица любезная, — сдерживая себя, довольно спокойно ответил брат. — Видела ты это? — указал он на окно, вы-

¹ По некоторым данным, казнь Шакловитого была совершена в поле у Троице-Сергиевой лавры.

ходившее на площадь: — Так это только для твоего любования устроено. Знаешь что? Ведь я Федьки Шакловитого не казнил бы, а так разве малость постегал бы его да послал бы ненадолго туда, где твой Васька Голицын соболей ловить собрался. Да, верно это, умен Федька был!.. Ведь ведомо мне, как он турецкое посольство справил... И верным рабом он был своему господину, а такие-то мне и нужны. Так не казнить их я должен был, а жаловать... Только вот его беда в чем: ты, сестрица любезная, свой дух неукротимый вдохнула в него, злобу не против меня, а против всего нашего царства посеяла. Ты — баба, про тебя и законы не писаны, а он, неукротимый, тобою в мужском образе был. Ха-ха-ха! Оборотень!.. Баба мужиком перекинулась! Так не Федьку Шакловитого я казнил, а тебя, самодержица. Ты там на площади издохла...

— Ну, нет! — рассмеялась Софья. — Жива еще я.

— Ты-то, — презрительно ответил ей брат, — жива? Не смеши, царевна! Ты думаешь я тебе дам в Краков убежать и новое лихолетье устроить? Нет, перестань!.. Недаром Бог меня вместе с братом Иваном царем поставил. Что, Софьюшка, побледнела?.. Ты думала, что мне неведомы твои замыслы? Ан, я все знаю. Не все такие слуги у тебя, как Шакловитый. Он без стога пытку выдержал, а есть и такие, у которых дыба языки развязывает. Знаю я, все знаю... Царской дочери я на лобное место не пошлю, ведь одна в нас кровь, ну а в монастырь ты у меня отправишься, а ведь это — то же, что могила.

— Изверг, враг, — закричала молчавшая дотоле царевна Марфа, — плюну я сейчас тебе в бесстыжие белмы твои! Сестру мучаешь, так и меня не щади: одна у нас кровь и отцова, и материна, царская, а ты — нарышкинец.

— Что, Марфуша, — окинул ее огненным взглядом брат, — или и ты в монастырь захотела?

— Ну что ж, сади, коли так! — прямо-таки завизжала неукротимая царевна. — По крайней мере я тебя, антихрист, пред престолом Господним проклинать буду.

Петр только засмеялся в ответ на эти окрики, но этот его смех не был уверен: он не ожидал, что сестра Марфа так ретиво примет сторону побежденной Софьи.

— У, змея! — крикнул он и быстро вышел, сильно хлопнув дверью.

Марфа, рыдая, бросилась на шею сестре.

— В монастырь нас запрячут, — заголосила она, — вот каков конец уготовил нам Господь!

Софья была спокойна, и даже ее лицо как будто просветлело.

— Не конец это еще, Марфуша, — произнесла она, — ой не конец, а разве начало мести моей. Жизнь нам оставлена, жизнь. Но, братец любезный, не знаешь ты меня. Выдал тебе подлый Иуда, что мною задумано; не удастся мне к польскому королю уйти, так я тебе и здесь, в монастыре, то же самое устрою... А ты, Марфуша, не плачь: и в монастыре люди живут.

XXXII

ПОСЛЕ КРОВАВОЙ ВСПЫШКИ

Быстро успокоилась Москва после всех этих событий. Вихрь налетел неожиданный, и быстро пропала его сила. Москва, а за нею и вся Россия жаждали покоя, и весь московский народ был уверен, что только законный царь-венценосец, помазанник Божий, может дать ей это спокойствие. Казней больше не было, хотя впереди еще был на очереди один из главных смутьянов, ближайший пособник Шакловитого, старец Сильвестр Морозов. Стрешнев еще не принимался за него, приберегая его, может быть, на будущее или, может быть, царь Петр не захотел запугивать кровавыми зрелищами поддерживавший его в этой борьбе народ. И вся Москва ликовала.

Еще более, чем московские люди, ликовали немцы Кукуй-слободы. Ведь на самом деле это была их победа; не будь их, кто знает, что было бы. Не займи Гордон в Москве караулов своими алебардами и мушкетерами, быть может, не так много стрельцов и народа перешло бы на сторону Петра. Но главная победа кукуевских иноземцев была в том, что московский царь оказался прикованным к ним. Если прежде он появлялся здесь украдкой, исподтишка, то теперь он бывал в Кукуевской слободе уже совершенно открыто и, более не скрываясь, носил полюбившееся ему немецкое платье.

Петр тоже ликовал. Под влиянием немецких учителей он уже порешил завести и в своем народе их обычаи, и дорога к этому была открыта для него. Сама неукротимая Софья как будто толкнула его на тот путь, которым он с этой поры шел до конца своей жизни.

Молодому царю все нравилось среди иноземцев — и их свобода в обращении, и те немудрые, но все-таки по сравнению с образованием Москвы обширные знания, которые они привезли на Русь, собравшись сюда, в Кукуй-слободу, с разных уголков, захолустьев Европы, где для них не хватало ни места, ни хлеба, и где по многим из них плакала веревка палача.

Но более всего молодому царю Петру были любы немецкие женщины. Все его сердце заполонила разбитная мешаночка Анна Монс; ему были любы и ее непринужденность, и ее смелый разговор, пожалуй, даже более любы, чем ее золотистые косы, румяные щеки и голубые глаза.

В этом году Москва против обыкновения не пышно праздновала Новый год¹. До того ли ей было? Как было праздновать его, когда смутные дни и кровавые розыски выпали как раз на самое новолетие. Но зато веселым праздником был в этом году Покров Пресвятой Богородицы. В этот день молодой царь-победитель торжественно въезжал в умиротворенную Москву, въезжал вместе со своею матерью, женою и всеми теми, кто остался верен ему в дни тяжелого испытания.

¹ В то время новый год считался с 1 сентября.

Он ехал в Москву из села Алексеевского, и на протяжении всей дороги, по обе ее стороны, лежали, положив головы на плахи, недавно еще буйные, своевольные стрельцы и встречали теперь царя громкими мольбами о помиловании. Но Петр Алексеевич даже не глядел на них; он ласково улыбался своим потешным, а когда подъехал к кремлевским воротам, не менее ласково смотрел на приветствовавший его народ.

На крыльцо Большого дворца навстречу брату-победителю вышел старший царь, и братья крепко на глазах всех обнялись. Царь Иван даже прослезился и в порыве умиления даже не обратил внимания на то, что народ кругом громко кричал приветствия только одному царю Петру Алексеевичу.

А в келье Новодевичьего монастыря изнывала в тоске, палимая гневом, царевна Софья, не хотевшая даже самой себе признаться, что ее роль навсегда кончена.

XXXIII

В СТАРОМ ПО-НОВОМУ

Недолго ликовала убаюканная золотыми надеждами Москва, ее недавние восторги быстро сменялись смущением. Стрелой мчалось время, и каждый день нес все новые и новые перемены.

Эти перемены были необычайны, их никто не ожидал, к ним никто не был подготовлен. Москвичам казалось, что если будет покончено со стрелецкой смутой, то сейчас же жизнь войдет в прежнее русло и потечет согласно столь дорогой каждому московскому сердцу дедовщине. Ведь и в том немногом новом, что пытались провести в жизнь царевна Софья и ее друг и оберегатель князь Василий Голицын, было так много для москвичей непонятного, так много отступлений от дедовщины, что в недовольстве этими новшествами до известной степени таилась и главная причина падения правительницы. Конечно, больших государственных дел масса не знала, да они и непонятны ей были: для нее главное составляли мелочи. В глаза ей кидались всевозможные ничтожные внешние изменения быта вроде подстригания в бритье бороды, курения табака, смены дедовского длиннополого платья на кургузое немецкое. Это было для нее гораздо более существенно, чем все остальное.

Особенно кидалось в глаза народным массам бритье бороды. Еще при Алексее Михайловиче, когда началось и стало быстро развиваться стремление к западным обычаям, знаменитый протопоп Аввакум чуть не проклял молодого боярина Шереметева, увидав его в «блудоносном образе», то есть с бритой бородой. Когда в 1681 году, по настояниям своей любимой супруги-польки, царь Федор Алексеевич издал указ всему синклиту и всем дворянам и приказным людям носить короткие кафтаны вместо прежних длинных охабней и однорядок, причем в охабне или однорядке никто не смел являться не только во дворец, но и в Кремль, — едва не возник

государственный переворот. В то же время против бладобрития загрохотали громы даже с высоты патриаршего престола. «Еллинский блуднический гнусный обычай, — громил патриарх в своих посланиях бреющих бороды и носящих короткое платье, — древле многаши возбраняемый, во днех царя Алексея Михайловича совершенно искорененный, паки ныне юно неистовии начаша образ от Бога мужу дарованный губити». Патриарх довел свои строгости до того, что отлучал от церкви не только бривших бороды, но и тех, кто имел общение с бладобрями. В народ было вкоренено убеждение, что бритье бороды и изменение платья — великий грех, а уж о том, как относились к курильщикам, и говорить нечего было. Их в народе уподобляли прямо-таки самому дьяволу, основываясь на том, что только у одних курильщиков с дыханием вылетают клубы «смрада жупельного и огонь вельзевуловой геенны».

И что же? Царевна Софья была в монастыре, буйные стрельцы были успокоены, два юных царя, «защитники православия и деовщины», правили Русью, и все чаще и чаще стали виднеться на московских площадях скобленные рыла, «еллинские блуднические», все короче и короче с каждым днем становились охабни, однорядки и даже боярские кафтаны. На московских улицах то и дело появлялись люди, у которых «табачище проклятое» исходило из уст клубами дыма, но ни один подьячий не хватал их «за приставы», а напротив того, все эти «богомерзкие» новшества даже как будто еще поощрялись. Отдельных драк в Москве, ножевых схваток было без числа: защитники «древлего благочестия» не могли относиться спокойно к немецким новшествам, и если власть не искореняла их, то принимались за это дело сами.

И вдруг как-то сами собою понеслись тучами новые, взволновавшие всю старую Москву, вести и слухи. Потайно передавали друг другу на ухо, передавали и ужасались; ведь сам-то юный царь Петр свет Алексеевич всю деовщину возненавидел. По целым дням шеголял он в проклятом кургузом немецком платье; бороды он себе еще не тронул — по младости лет мала и шелковиста она у него была, — а волосы на голове уже стричь начал. Когда он чуть не ребенком, попускаемый старшей сестрой Софьей, позволял себе всякие излишества, безобразно озорничал, то это все казалось в порядке вещей: «помазанник Божий, сердце царева в руке Божией!» Когда же он, уже молодым человеком, пристрастился к «табачному зелью» и находил излишним ради угоды толпе изменять новообразовавшиеся привычки, так это всем в глаза кинулось, все в Москве зашушукались и стали говорить, что «наступают времена последние, близко антихристово пришествие».

Знал ли Петр об этих толках? Да, конечно, знал, не мог не знать; ведь у него было достаточно прислужливых людей, доносивших ему всякие мерзости. Но молодой царь был совершенно равнодушен к тому, что говорят про него. Как он ни был молод, но чуть ли не с первых моментов пробуждения сознания привык презирать все то, что говорили про него. И его учитель Зотов, и дядька Борис

Голицын постарались, чтобы привить его душе такое пренебрежительное отношение к общественному мнению; они постоянно внедряли в его понимание, что он выше всех, и никто не осмелится слово пикнуть про него. Очень скоро пренебрежение перешло в презрение. Ведь понимал юный царь, что его могучая сестра, хотя и тихо, делала для государства и народа в сущности именно то самое, к чему и он уже начинал стремиться. Он видел, что в этом стремлении стать на один уровень с европейскими соседями таится добро для России, и был убежден, что и сам он в этих стремлениях встретит себе противодействие со стороны всего народа. Для того чтобы это противодействие не погубило его замыслов, он должен был один победить весь народ. Его сестра Софья погибла только потому, что слишком считалась с народом. Но ее положение было другое; в ее руках власть была лишь временная, а в его же — постоянная. И Петр решил победить. Но ведь побеждают только того, кого презирают. Все разговоры об уважении к врагу — одно только фарисейство; чем сильнее к нему ненависть и презрение, тем вернее победа.

Петр в достаточной мере видел, что такое представляют собою люди и великие, и малые, и знатные, и подлые. Еще ребенком, вместе со своим батюшкой, Тишайшим царем, он забавлялся купанием высших бояр придворных в прудах Коломенского и Преображенского. При Тишайшем сам собой установился обычай, по которому в день 1 августа, когда совершают крестные ходы на воду для освящения ее, всех запоздавших на духовное торжество придворных кидали с особого помоста в освященные воды пруда. Тишайший царь очень любил эту забаву; он часами просиживал на берегу пруда, окруженный Морозовым, Милославским, а потом, под конец своего царствования, Нарышкиными, поджидая, что вот-вот подъедет запоздавший боярин; а такого, едва только он вылезал из возка, придворная молодежь, не считаясь с его положением, хватала и с размаха швыряла в воду. Потешно было видеть, как барахтался в пруду во всей своей пышной придворной одежде, в горлатной шапке какой-нибудь старый боярин, еще накануне только в государственной думе грозивший во всеуслышание соседним королям и их народам. Со смеха помирал Тишайший, даже и не думая, что чаще всего таким путем его любимцы сводили свои мелкие счеты с почему-либо не понравившимися им боярами, подвергая их унижению. Чуть только подросши, Петр Алексеевич постоянно бывал на этих потехах и видел, как униженный, поруганный, иногда один из первых вельмож государства, весь мокрый униженно благодарил царя за то, что он улыбался его поруганию, и тут же пользовался удобным случаем выклянчить себе какую-нибудь милость.

Да и это ли одно видал в своем детстве Петр Алексеевич? Ведь он был свидетелем отчаянной боярской грызни, отвратительных потасовок из-за места; ведь он видел, как все эти люди скверно пресмыкались, чтобы пресмыканием заслужить себе ничтожнейшее преимущество. И еще, и еще многое видел он в ранней юности, а потому мог ли он не научиться презирать всех этих вельмож по платью и холопов по душе?

Видел он и народные гили; знал он, что грубая, невежественная толпа кидается всюду, куда только ни толкнет ее вышедший из ее среды невежда.

И, зная все это, презирая и знатных, и «подлых» в своем государстве, Петр Алексеевич уже в те свои молодые годы знал, что он победит, и что на Руси будет так, как он хочет один, а не как многомиллионный народ. Он даже и не слушал, когда ему передавали всякие московские толки; мало того, он сейчас же забывал о том, что слышал.

А злые московские языки звонили вовсю. На площади, базары и улицы уже выносилась на обсуждение толпы интимная жизнь царя. Говорили, что с каждым днем все горше и горше плачет молодая царица Евдокия Федоровна (рожденная Лопухина). У нее родился сыночек. Молодая царица была женщиной дебелий, «сырой», а потому нелегко дались ей первые роды. Мучилась она, рождая царевича Алексея Петровича, и ее первенец вышел болезненным, чахлым существом, не в отца — гиганта и богатыря; узкоплечий, чуть ли не с птичьей грудью, длинной головой, смахивавшей на утюг, поставленный острым концом кверху, он казался заморышем. Плача, родила его юная царица. В Москве говорили что ее царь-супруг, ее лапушка, при первой же вести о родовых муках жены умчался в Немецкую слободу, созвал там своих «немчинов непотребных, блудно-немецкой девки» Анки Монсовой такое пирование, что ночь в день обратил, так что из Монсова дома утром царевых собутыльников развозили в колымагах в мертвецки пьяном виде. Говорили, что не в честном браке живет царь, а «в блюде поганом», что околдовала его «девка Монсова» и околдовала так, что ради нее он забыл свою царицу и на своего наследника-первенца редко даже взглядывал.

Петр знал эти слухи, но беспечно махнул на них рукой.

XXXIV

НОВШЕСТВА ЮНОГО ЦАРЯ

Собственно говоря, царем не по имени, а по полноте царской власти Петр стал лишь на другой день после того, как на Красной площади в Москве испустил свой последний дух несчастный Шакловитый. И с этого же дня он начал решительные действия.

Однако он начал их не сразу. Ведь он понимал, что ему в ту пору шел восемнадцатый год и что эта его юность будет ему первой помехой на намеченном пути. В такую пору у людей, хотя бы они и были коронованными царями, ветер еще в голове, потехи да забавы на уме. Но Петр и в восемнадцать лет по своему умственному развитию и по знанию жизни был уже зрелым человеком. Забавы да потехи прискучили ему еще тогда, когда он был подростком. Все было переиспытано им, все прискучило ему. И юный царь под видом потехи начал серьезнейшее дело. Для того чтобы побеждать, нужна

сила, и вот эту-то силу, не возбуждая ни в ком подозрений, стал накапливать Петр Алексеевич. Преданным ему человеком был князь Борис Алексеевич Голицын, потом его дядька. Во все время смуты, пока царь выжидал конца событий в Троице-Сергиевой лавре, все государственные дела ведал этот Голицын, и ведал хорошо, настолько хорошо, что без особых затруднений смута была не только подавлена, но даже вконец были сломлены ее главнейшие оплоты.

На другой день, после того как Петр убежал в Троице-Сергиеву лавру, к Калужским воротам Москвы подъезжал гетман обеих сторон Днепра, Иван Степанович Мазепа. Царевна Софья и князь-оберегатель Голицын, будучи уверены, что все начавшееся кончится в их пользу, с пышностью встретили вождя малороссийских казацких орд. У Калужских ворот была приготовлена придворная карета, в которой обыкновенно въезжали в Москву великие и полномочные послы иностранных государей. Это ли был не почет для наезжего за милостями гетмана?

А во дворце, во время приема, на хвалебную речь Мазепы отвечал по-латыни сам оберегатель и восхвалял гостя.

Но Мазепа был умница и дипломат западной школы. Тотчас же после приема он узнал, что творится в Москве, взвесил все возможности и умчался в Троице-Сергиеву лавру.

Там его встретили холодно; ни приемов, ни заискиваний не было; даже к царю его не допустили. Мазепа был сбит с толка. В Москве перед ним заискивали, а в Троице-Сергиевой лавре им пренебрегали. А ведь он был сила: он опирался на копья и сабли множества малороссийских и украинских полков, он втайне дружил с крымскими ханами и всегда в случае надобности мог рассчитывать на их поддержку. Запорожская Сечь дружила с ним, а между тем отношение к нему в лавре было пренебрежительное. Что это могло значить? Да только то, что царь Петр и в беде был настолько могуществен, что ни перед кем не заискивал, ни у кого из своих подданных не искал поддержки.

В последующие дни Мазепа укрепился в этом своем мнении. Ведь он видел стекавшиеся к монастырю народные толпы, он понял, что народ оставил правительницу и оберегателя, и гетман стал заискивать перед царем Петром в лице князя Бориса Голицына. Тот же сумел использовать это обстоятельство, и Малороссия, еще только недавно укрепленная его мудрым родственником за Россией, быстро оказалась прикованной к ней крепкими цепями. Но, несмотря на это, гетмана все еще не допускали до Петра.

Уже такой ход в шахматной игре, где ставкой является целое государство, ясно показывает, что вряд ли по своим государственным способностям князь Борис Алексеевич Голицын был особенно далек от князя Василия Васильевича Голицына, мудрого оберегателя. Но, как и всегда бывает в придворных сферах, едва только стало видно, что новый человек занял первенствующее положение, окружающие его, те самые, из среды которых он выдвинулся, запылали к нему злобой, порожденной завистью. Что было за дело

разным умственным пигалицам того времени — бесчисленным Нарышкиным, Долгоруким и прочей компании — до того, что Борис Голицын творил пользу для целого государства? Им была нужна власть, эта власть ускользнула из их рук, так нужно было во что бы то ни стало вырвать ее у новоявленного соперника. Начались скверные интриги. Нарышкины натравили на Бориса Голицына свою родственницу, мать царя, царицу Наталью. Об этом постарался брат царицы, Лев Кириллович, и очень скоро добился своего.

Когда стало формироваться правительство, то ему, человеку в высшей степени ограниченному, малообразованному, было поручено, хотя и без титула оберегателя, важнейшее из министерств того времени — посольский приказ¹. Близкому родственнику молодой царицы, боярину Петру Абрамовичу Лопухину, был отдан приказ Большого дворца и дворцовый судный²; стрелецкий приказ был поручен князю Ивану Борисовичу Троекурову; разрядок³ — боярину Тихону Никитичу Стрешневу, а князь Борис Алексеевич Голицын, выдержавший самый яростный натиск смуты и подавивший ее даже без кровопролития, не опиравшийся ни на какую военную силу, которой у него не было, сумевший создать представление о могуществе Петра, когда он был бессилен, получил в управление ничтожный приказ Казанского дворца. Но верный слуга отечества оказался верен себе: он и в унижении не изменил государю, за которого так стоял.

Владычество Нарышкиных сказалось и в духовном управлении государством. Разгромив с высоты своего патриаршего престола в марте 1690 года иностранцев, настояв в празднование дня рождения наследника престола на том, чтобы иноземцы не были допущены к царскому столу, патриарх Иоаким умер, завещая царю не допускать православных христиан дружить с «еретиками-иноземцами, латинами, лютерами и кальвинами и безбожными татарами». В качестве его преемника сторонники Петра выдвинули высокообразованного псковского митрополита Маркелла, сочувствовавшего вводимым в жизнь новшествам, а нарышкинцы и лопухинцы, доказывая, что Маркелл будет благоприятствовать иноверцам, даже не постеснявшись уличать его в ереси, выставили ничтожного Адриана, митрополита казанского. Петр был на стороне Маркелла, но противная партия взяла верх, и патриархом стал Адриан.

При таких обстоятельствах начиналось фактическое царствование юного царя. Все то, что последовало в течение дальнейшего десятилетия, огромному большинству людей не только русских, но и зарубежных, людей мыслящих, привыкших разбираться в государственных делах, казалось сплошной несурaziцей, безобразным

¹ Приказами называли министерства и главные управления того времени. Посольский приказ — министерство иностранных дел.

² Министерство финансов и министерство двора. Стрелецкий приказ — военное министерство.

³ Судебное ведомство.

времяпровождением молодого царя; в то время никто не видел его конечной цели, к которой он стремился; никто не был настолько проницателен, чтобы предусмотреть то, что в конце концов вышло из всей несусразицы этого десятилетия.

XXXV

КУКУЕВСКИЕ НЕМЧИКИ

Монсов домик в Кукуй-слободе после августовских и сентябрьских московских событий смотрел, как всегда (даже и в будни), по-праздничному. Его входное крыльцо было разукрашено, в окнах мелькали люди; в течение дня, а часто и ночи, были слышны громкий говор, смех, веселое пение. И немудрено было все это: молодой московский царь был частым посетителем этого домика.

Иоганн Монс ликовал. Никогда еще во все время, пока он торговал в Кукуй-слободе, не давала столько барыша его виноторговля. Расход вина был огромный и все повышался и повышался. Чуть ли не все придворные считали своей неременной обязанностью быть клиентами этого кукуевского виноторговца. Деньги так и лились волной в карманы шустрого «немчина», и он уже подумывал о том, как бы расширить ему свое предприятие, и ради этого решил предпринять поездку на родину, чтобы закупить на тамошних виноградниках новые транспорты вин. Теперь для него это было вполне возможно. Было на кого оставить и дом, и дело: его любимица, вторая дочь Анхен, вышла вся в него, и Иоганн знал, что она настолько практична, что ни при каких обстоятельствах не упустит своего из рук.

Кроме Анны, у Монса была еще старшая дочь, Модеста, переделанная на русский лад в Матрену. Но эта дочь была уже отрезанный ломоть: она была замужем, и ее новая фамилия была Балк. У Монса был еще сын, младший из детей, шустрый и многообещающий ребенок, Виллим. Но из всех своих детей Иоганн Монс, конечно, выше других ставил Анну. Ведь благодаря только ей, благодаря ее красоте, привлекательной для не выдавшего ничего лучшего молодого московского царя, создалось не только после благополучия — богатство Иоганна Монса, но и были завоеваны общее почтение и уважение всего того зарубежного сброда, который населял Кукуй-слободу. Анну Монс называли новой Юдифью.

Все к ней относились с любезной предупредительностью, сам хмурый и важный Патрик Гордон в разговорах устаивал ее имени «милрой дочери своего сердца», а о других-то и говорить нечего. Анна Монс раньше была первой красавицей Немецкой слободы, а теперь стала первой женщиной в ней. Но она по-прежнему держалась весьма просто, была со всеми ласкова, со старшими почтительна и в отношении кукуевцев не злоупотребляла своим положением. Она просто брала от жизни то, что та давала ей.

Вскоре после сентябрьских событий Немецкая слобода лишилась одной из своих наиболее уважаемых обитательниц: уехала за гра-

ницу со своими детьми Юлия Фогель. Вместе с ней тоже за рубеж уехали и сыновья боярина Каренина.

В то время русские или, лучше сказать, москвичи были уже хорошо известны всюду за границей. И при Михаиле Федоровиче, и при его сыне Тишайшем, и при Федоре Алексеевиче, и при правительнице Софье по Европе то и дело разъезжали русские посольства. Русские того времени далеко не были дикарями, как это обычно думают о допетровской Руси; нет, в России процесс развития шел так же, как и всюду. Низы были грубы и невежественны, но зачатки совести и правды жили тут во многих сердцах. Средние слои были развратны, наглы и не имели прочных нравственных устоев, но и тут еще кое-что сохранилось, и здесь было достаточно порядочных людей, совестливых, честных, преданных прогрессу и любивших родную землю. Верхи все были сплошь развращены до мозга костей, продажны, но зато по своему умственному развитию несколько не уступали верхам соседних стран. Здесь были и выдающиеся государственные деятели, и великолепные дипломаты, и чуткие политики, и талантливые стратеги, и замечательные по тому времени юристы. Правда, не было гениев искусства, ничего не было слышно о придворных поэтах, комедиантах, но все это было в самом народе, в его других — более низких — слоях.

Культурное развитие России того времени, не отставая, шло самобытно; правда, стояли за дедовщину, но это несколько не мешало, когда это нужно было для государства, оставлять эту дедовщину в стороне и делать так, как было выгодно для России. Благодаря же охране дедовщины, власть того времени была властью, а не призраком ее, и народная толпа без насилия сверху держалась в достаточном повиновении. Вспышки и бунты бывали только тогда, когда какой-либо временщик, чувствуя себя калифом лишь на час, налагал на народ излишние тяготы.

При таких обстоятельствах переход Москвы к зарубежным соседям не представлялся слишком резким, и, уезжая, молодые Каренины были уверены, что и в чужеземных странах они сумеют прекрасно устроиться. Во всяком случае их отъезд прошел для Кукуй-слободы почти незаметным. Разве только всплакнула Елена Фадеевна, расставаясь с Михаилом Родионовичем, да и то, с глаз долой — из сердца вон. К тому же и события летели с такой быстротой, что некогда было ни над чем особенно долго задумываться.

XXXVI

ПРЕЛЕСТНИЦА КУКУЯ

Что касается Анны Монс, то она, только мельком слыхавшая о молодых Карениных, и вовсе не думала о них. Она и о своем отце не думала, когда тот отправился из Кукуй-слободы на свою далекую родину. За отъездом отца старшинство в семье, само собою, разумеется, перешло к Анне, и эта юная мешчанка решила использовать его.

Любила ли она хоть в то время молодого московского царя? Кто знает женское сердце? Анна была нежна с Петром Алексеевичем, покорлива ему, конечно, на свой, немецкий лад, всегда весела, когда царь был весел, и серьезна, когда он заговаривал о чем-нибудь серьезном. Она пока не задавалась никакими высокими целями и даже не думала о том, что со временем может стать русской царицей; мысли об этом вряд ли приходили в голову Анны Монс. Впрочем, ее мысли были и высокого полета. Она была дочерью торговца, и везде и всегда для нее на первом плане были только деньги и только выгода.

Пожалуй что, дальше этого ее соображения не шли.

Последующие обстоятельства с точностью показали, что если в ту пору у Анны Монс и было какое-нибудь чувство к Петру, то последнее было лишь мимолетно, все равно как ветер: задул — и летит дальше. Ничего прочного, связующего два существа в нечто целое, в данном случае не было.

Елена Фадемрехт по-прежнему оставалась любимейшей подружкой Анны Монс. Как-то однажды последняя спешно прислала за ней из своего дома и, когда та пришла, заговорила с ней:

— Милая Лена, мне нужен твой совет.

— О чем, Анхен? — спросила молодая девушка.

— Есть дело, и мне нужен не только твой совет, но и помощь.

— Говори же, говори скорей!

Анна потупилась.

— Ты знаешь, Лена, — сказала она, — молодой московский царь весьма милостив ко мне.

— И ты, конечно, не в обиде на это?

— О да! — с улыбкой взглянула на подругу Анна. — Мне грех было бы обижаться. Знаешь, Лена, на меня совсем неожиданно опрокинулся рог изобилия.

— Счастливица ты, — сказала Елена.

— Счастливица я или нет, об этом будем говорить потом, когда состаримся, а теперь... теперь, Лена... Ведь ты не осуждаешь меня?

— Полно, полно!.. — успокоила ее подруга. — Зачем ты так говоришь? Могу ли осуждать тебя я, когда и меня заставляли принести ту жертву, которую принесла ты? Ведь я знаю, — склоняясь к уху подруги, прошептала молодая девушка, — ты не любишь его, совсем не любишь. Разве можно такой красавице любить чудовище? Анхен, ты плачешь?

Действительно несколько слезинок скатилось на щеки из голубых глаз первой красавицы Немецкой слободы.

— Лена, прошу тебя, не терзай моего сердца! — произнесла Анна. — Не будем говорить об этом, пока не будем. Что будет дальше — увидим. Да, о чем я начала? Молодой царь очень милостив ко мне.

— Вот вы уже и рассердились, фрейлейн! — с притворной обидой в голосе перебила ее Елена. — А сердиться вы на меня не имеете права! Вы не должны забывать, что не кто иной, как я, ваша покорнейшая слуга, была в вашей любви посаженной матуш-

кой... так, кажется, называется это у московитов? Стало быть, вы — моя дочка, а дочь не имеет права сердиться на мать.

Анна улыбнулась сквозь слезы.

— И смотрите же, милая кайзерин¹, никогда не смейте забывать это! — лукаво погрозила пальчиком Елена. — Если ваше чудище отправит меня на пытку в застенки, то вы уж постарайтесь о том, чтобы там были молоденькие и хорошенькие палачи. Но, впрочем, к делу! Московский царь милостив к тебе; что же из этого? В чем заключается его милость?

— Скажу тебе по секрету, — деловито ответила Анна, — царь обещал построить для меня дворец.

— Вот как? Где же?

— Здесь, в нашей слободе.

— Отчего же не в Москве? Во всяком случае было бы больше удобств.

— Москва еще не уйдет, Лена! Я так думаю, что царь будет строить здесь дворец не столько для меня, сколько для себя.

— Неужели? Почему так?

— Да, видишь ли, он не любит Москвы, и это заметно. Он стремится сюда, ему нравится быть среди нас, но достойного его помещения нет нигде. Он уже помышляет о том, чтобы устраивать здесь пиры, приемы для тех иностранцев, которых он не может почему-либо принимать у себя, в кремлевских дворцах. Ведь ты же знаешь, что патриарх настоял на том, чтобы даже наши дорогие соседи, такие, как Гордон, как Лефорт, не садились на парадных обедах за царский стол.

XXXVII

БРОШЕННЫЙ ВЫЗОВ

Анна смотрела на подругу, ожидая ее ответа.

— Знаю, знаю, — быстро ответила Елена. — Ах, как тогда гневался господин Гордон! Он говорил, что за все его заслуги ему нанесена кровная обида...

— И вот тебе последствия этого. Государь заметил, что господин Гордон обижен, а вместе с ним обижены и все мы. Так вот он, чтобы загладить невольную нанесенную обиду, хочет иметь свой дворец в нашей слободе, в котором он мог бы не слушать, что говорят ему попы. Теперь, Лена, я хотела бы сделать так, чтобы царь укрепился в этом своем желании, и предполагаю устроить такой вечер, на котором он мог бы видеть всех нас, своих друзей. Мало того, я хочу пригласить московских бояр, которые преданы и верны царю.

— Пойдут ли? — усомнилась Елена.

— О, — с величайшим, презрением в голосе произнесла Анна, — эти холопы пойдут всюду, куда царь прикажет им идти;

¹ Государыня, императрица.

разве они осмелятся противоречить. Да нет, у московского царя палок на всех хватит!

— Ну что ж, если ты уверена так, зови и бояр!

— Скажу тебе все также по секрету, — продолжала Анна Монс, — что о созыве такого сборища меня настойчиво просил господин Гордон. Он имеет какой-то план. Из его намеков можно понять, что многое для нас и для нашей политики зависит от этого вечера. Хочешь, я тебе скажу одно? Только ты молчи...

— Будь уверена в моей скромности!

— Я знаю это. Наш поэт, однофамилец господина Патрика Гордона, Александр Гордон, на этом вечере будет шутом.

— Как шутом?

— Да, шутом. Он оденет шутовской костюм и в нем выступит перед царем. Ты знаешь, дорогая, каковы эти господа у нас на родине. И вот, если мы хотим показать русским, как живут за рубежом, то помимо родных нам умников мы должны показать им и наших дураков...

— Ой, Анхен, — воскликнула Елена, — я вижу, что тут затевается что-то такое, чего вовсе не постигает мой слабый ум.

— Серьезное дело затевается, Лена, и ты должна помочь мне быть хозяйкой. Я попрошу еще Елизавету Лефорт, так что нас будет три. Но ведь ты сама понимаешь, что такие дела так вот сразу не делаются; нужно все до мельчайших подробностей обдумать, нужно предусмотреть все случайности; право, это — не простая веселая пирушка, а генеральное сражение, которое мы даем — понимаешь, Лена? — мы... уже однажды разбитой нами Москве.

— Из-за чего же будет это сражение? — тихо спросила Елена. — Что будет призом для победителей?

— Московский царь, а с ним и все Московское государство! — так же тихо ответила Анхен.

Елена ничего не ответила. Она поникла своей хорошенькой головкой и задумалась.

А между тем Анна, находившаяся вся под влиянием нервного возбуждения, продолжала говорить быстро, вдохновенно, и Елене казалось, что ее подруга пророчествует:

— Да, и не столько московский царь, сколько Московское государство! Люди рождаются и умирают, но после них, на смену им, приходят другие. И тот, кто умен, должен думать не о сегодняшнем дне, а о том, что будет завтра и послезавтра, кто будет после него. Россия велика и обильна. Ее богатства неистощимы, ее силы непобедимы. Так нужно, чтобы все это стало нашим, перешло к нашим детям, внукам и правнукам. Ради этого я пожертвовала собой, и этому делу я буду служить, пока могу. Я знаю, что успех ждет все наши начинания... Пройдут года, десятки лет, века — и во главе России, распоряжаясь ее судьбами, ее силами, ее богатствами, будут стоять наши потомки или потомки новых пришельцев из наших или соседних с нами стран. И они будут владычествовать над всем этим народом, а потомки теперешних вельмож Московской земли

будут пресмыкающимися перед ними холопами. Ради того чтобы услужить своим повелителям, они будут палачами своего народа, сами того не сознавая. Вот что будет последствием того, что мы выйдем победителями из предстоящего нам сражения.

Елена молчала. Она уже не раз слыхала точно такие же речи от своего приемного отца-пастора. Анна не сказала ничего нового для нее; она почти дословно повторяла то, что говорили лучшие умы Кукуевской слободы, и Елену более всего занимал вопрос, как устроить все так, чтобы предполагаемое «сражение» действительно было выиграно.

Поговорив еще немного, подруги расстались, условившись встретиться на следующий день, причем Анна взяла на себя обязанность пригласить на совещание и Елизавету Лефорт.

Как только Елена ушла, Анна сейчас же накинула на себя плащ и отправилась в дом Патрика Гордона.

Этот сумрачный и безусловно умный человек действительно был вдохновителем всего того, что совершалось. Он не только был искусен в военном деле, но и обладал выдающимися дипломатическими способностями. Он вел интригу так искусно, что все как будто выходило само собой, и верным его пособником в этом деле был его друг и свойственник по жене Франц Лефорт.

Гордон принял Анну Монс как дорогую гостью. Он прекрасно знал, какую силу представляют собою фаворитки властителей, что можно делать через них, а потому не только не был строг к первой красавице Немецкой слободы, но даже везде и всюду громко превозносил ее «подвиг», величая ее новой Юдифью, а это более чем что-либо льстило мещанскому самолюбию дочери винооторговца.

XXXVIII

МОСКВА В КУКЕ

Царь Петр Алексеевич немало был смущен, когда Анна Монс предъявила ему даже не просьбу, а требование заставить ближних ему бояр прийти на устраиваемое ей пиршество. Сперва это даже улыбалось ему. Молодому царю казалось, что таким путем может произойти сближение между московской знатью и иноземцами, а это было как раз то, чего он так добивался. Но потом он припомнил ту страшную неприязнь, которую под влиянием угроз с патриаршего престола питали все вообще русские люди к иноземцам; раздражать же московскую знать пока вовсе не входило в планы Петра. Однако он был молод, всякая борьба была для него привлекательна, и он обещал Анне, что бояре будут на ее торжестве.

Не покладая рук, дни и ночи готовились три женщины к знаменательному вечеру. К участию в торжестве была привлечена чуть ли не вся слободская молодежь; аккуратные женщины слободы сбились с ног, помогая устроительницам праздника в их приготовлениях. И вот знаменательный день настал.

Предусмотрителен был шотландец Гордон. Он учел преклонение русских перед церковными обрядами и постами, а потому день был выбран такой, что назначенным на него пиром не могло быть оскорблено религиозное чувство даже самого преданного к внешней обрядности русского.

Раньше всех в Немецкую слободу прибыли караулы от потешных солдат. Подобраны были рослые, видные молодцы-красавцы; все они были молоды, жаждали всяческой новизны и ожидали от предстоявшего вечера массу новых впечатлений.

Вместе с ними прибыли в закрытой колываге дворцовые «дураки и дурки»; это царь Петр, по просьбе Анны, прислал их для потехи собравшихся. Тут были противного вида карлики, безобразные уроды; прежде всего они потребовали, чтобы их накормили досыта, доотвала, а когда их требование было удовлетворено, они не только наелись, но и напились пьяными, и сейчас же завалились в клетушки спать.

Несколько за полдень, ближе к сумеркам, наступавшим рано, к дому Монса стали подъезжать разнообразные — и богатые, и победнее — возки, колываги, кареты. Каждый из этих экипажей, вместе с лошадьми, мог бы один сам по себе сойти за целую процессию. По зимнему времени ездили гуськом, и несколько лошадей растягивались на порядочную длину. Впереди экипажей ехали холопы, расчищавшие дорогу, да с боков гарцевали вершники, то и дело взглядывавшие на своего господина, не будет ли от него какого-нибудь приказа.

Снаружи Монсов дом был на диво разукрашен: крыльцо было задрапировано яркого цвета материей, а ступени устланы сукнами. Внутри все так и горело множеством огней. Восковых свеч не жалели, и их было так много, что свет был ослепительно ярким.

По случаю торжества были открыты парадные комнаты; они были разубраны гирляндами из цветов; те слобожане, у которых были оранжереи, опустошили их ради этого случая. Простенки и стены были завешены цветным сукном и гобеленами с изображением пастушеских сцен. В одном из зал стояли совсем накрытые обеденные столы; они были сплошь заставлены серебряной посудой. В соседней, примыкавшей к залу комнате ожидал только знака удачно составленный оркестр роговой музыки, а рядом, в другой комнате, толпились юноши и молоденькие девушки, составлявшие хор, который должен был исполнить, по приезду царя на пир, приветственную кантату в честь его и затем петь во время обеда. Вся эта молодежь была одета в красивые немецкие костюмы и в общем целом составляла чрезвычайно удачно скомбинированную картину, пестревшую разными цветами одежд и свежестью молодых лиц. Нужно ли говорить, что благодаря многочисленным репетициям каждый здесь знал свое место, каждый твердо помнил, что он должен был делать.

Тут же, среди этой молодой и веселой толпы, бродил, перекидываясь шутками то с одним, то с другим, высокий, красивый молодой человек в пестром костюме германского придворного шута.

Красивый костюм прекрасно облегал его стройную фигуру. «Шут» держался свободно, острил, смеялся, и никаких признаков особенного смущения не было слышно в его голосе. Это был поэт и историк Немецкой слободы Александр Гордон, записки которого ярче других рисуют картину того времени.

В приемном зале, прежде чем стали приезжать московские гости, собрались в качестве хозяев все наиболее выдающиеся личности Кукуя. Среди них были все те, кто участвовал на совещании у Патрика Гордона перед августовскими событиями предшествующего года. Эти люди были одеты каждый сообразно своему положению, но все чрезвычайно чисто и отнюдь не роскошно. Этого потребовал Гордон на предварительном совещании о вечере.

Прибывавшие московские гости спесивым кивком головы отвечали на поклоны радушных хозяев. Тут были почти все «ближние», то есть придворные, бояре. Они не были так скромны, как кукуевцы, и затмевали их великолепием своих одежд. На хозяйку дома они почти не обращали своего внимания. Анна Монс так и вспыхивала, замечая на себе презрительные взгляды этих надменных стариков; даже веселая хохотушка Елена робко поглядывала на этих гостей, державшихся совершенно особо и едва-едва отвечавших, если кто-либо из слобожан обращался к ним с вопросом на довольно чистом русском языке. Некоторые же, желая подчеркнуть свою неприязнь к иноземцам, даже открыто отплевывались на натертый воском пол, когда спрашивавший отходил.

Одним из последних прибыл гость, который по своей внешности был мало похож и на слобожан, и на московских придворных. Он вошел, высоко неся голову и придерживая одной рукой саблю у левого бедра. На нем был великолепный, с красивым шитьем на груди, кафтан, его пышные шаровары были заправлены в сафьяновой кожи высокие сапоги со шпорами, в правой руке он нес красивую шапку с высоким пером, прикрепленным к ней бриллиантом. Это был малороссийский гетман Иван Степанович Мазепа.

Войдя, он окинул своим быстрым, живым взором зал, сейчас же нашел хозяйку дома и красивыми, легкими шагами подошел к ней, после чего склонился перед ней на одно колено, салютуя ей своей шпагой.

После всего того пренебрежения, которое было перенесено от бояр, такое приветствие Мазепы сразу произвело на Анну Монс наилучшее впечатление. Она с улыбкой протянула гетману свою маленькую ручку, и Мазепа, принимая ее, как, быть может, в свое время принимал он руку польской королевы, слегка прикоснулся к ней губами.

Это произвело огромное впечатление на придворную знать.

— Смотри-ка, — толкнул один боярин другого, — женке блудной последнюю царскую почесть воздает.

— Привычны они к такому у себя на Украине. В Польше с бабами еще не то бывает!

Громкие звуки рогов возвестили, что, наконец, прибыл и царь.

XXXIX ВЕНЦЕНОСНЫЙ ГОСТЬ

Мазепа, сказав несколько приветственных слов, отошел от Анны, спешившей навстречу Петру. Он с недоумением осмотрелся вокруг, взглянул на бояр, затем на слобожан, не зная, на которую сторону ему встать, и остался стоять там, где остановился, не призывая ни к тем, ни к другим.

А между тем из внутренних комнат уже быстро выбежал и занял заранее намеченные места молодой хор. Рога мелодично звучали, несмотря на всю грубость издаваемых ими звуков.

Вошел Петр. Он был в военно-немецком платье, без парика, в треуголке и в небрежно накинутом на плечи плаще. Он вошел и, остановившись, стал оглядываться вокруг. Очевидно, его первое впечатление от той картины, которую он увидел, было прекрасно. Ближе всех его взор заметил милое ему лицо Анны; рядом с ней стояла, сияя, Елена, а за ней — строгая, серьезная и величественная Елизавета Лефорт, которую Петр тоже знал. Сейчас же за этими тремя женщинами раскинулся дивный цветник молодых лиц в пестревших всеми цветами костюмах. Еще далее, с одной стороны, были видны ненавистные царю, но великолепные боярские одеяния, а по другую сторону — простые, но производившие впечатление, в силу контраста, слобожане. Посреди тех и других в одиночестве стоял в эффектной позе великолепный Мазепа, а еще дальше, непринужденно прислонясь к стене, стоял человек в красивом, но сшитом из разноцветных кусочков дорогой материи костюме. Яркий свет из стенных канделябров ослепительно заливал все это.

Петр осмотрел открывшуюся перед ним прекрасную картину, и в его зоре засветилось удовольствие, а губы сложились в довольную улыбку. Каким контрастом было это пестрое, ласкающее глаза зрелище по сравнению с теми, которые постоянно бывали перед ним в залах Большого дворца!

— Государь, — звучно и отчетливо заговорила по-немецки Анна Монс. — Мы счастливы в эти мгновения, и счастливыми сделали нас вы. Позвольте же мне, скромной женщине, как хозяйке этого дома приветствовать вас от лица всех тех, кого вы видите перед собой.

С такими словами Анна склонилась перед царем в глубоком реверансе, согласном со всеми правилами этикета, установленного при дворах государя ее родины.

Вместе с этим Анна несколько отодвинулась в сторону и пропустила вперед, прямо к царю, хорошенькую девочку-подростка, державшую в руках огромный букет живых цветов.

Петр так и впился в нее своим острым взглядом. Это была сиротка Мария, дочь генерала Гамильтона, одного из поселенцев Кукуя; вся раскрасневшись от смущения, она пролепетала приветствие и протянула царю букет.

Петр, весь так и просиявший, поднял на руки милого подростка и звонко поцеловал его в обе щеки. Окончательно сконфуженная девочка поспешила скрыться в толпе подруг¹.

После нее выступили с короткими приветствиями бойкая Елена и серьезная, сдержанная Елизавета.

Петр не успел даже ответить, как певцы начали приветственную кантату. Молодые, звонкие, хорошо подобранные голоса звучали даже в сравнительно низком зале очень стройно, мелодии лились, лаская слух. Петр, заслышав это пение, сперва несколько удивился, но затем пришел в восторг. Он сказал несколько слов, и вдруг его московские вельможи увидали то, что им, пожалуй, и во сне не могло бы присниться: великий царь московский, их земное божество, вдруг склонился, приник с поцелуем к руке «девки-немчинки». Точно рой пчел загудел в той стороне, где стояли москвичи, но сейчас же все смолкло — горящий гневом взор царя обратился в ту сторону, откуда послышалось было гудение.

Уже это неприятно поразило Петра. Он хорошо знал своих бояр и придворных, но был уверен, что они сдержатся, а вышло не то. Он наслаждался пением хора, и боярское гудение внесло расстройство; хор начал сбиваться, и гнев так вспыхнул в душе царя-победителя, что многим пришлось бы плохо, если бы могучим порывом воли Петр не сдержал себя. Он тряхнул головой, поцеловал руки Елене и Елизавете и затем, даже не дослушав кантаты, подал свою руку Анне.

— Спасибо вам, фрейлейн, — громко по-русски сказал он, вероятно, желая, чтобы его слова были услышаны и среди его вельмож. — Вы устроили нам встречу, которая сердечно тронула нас. Я вижу, вы — радушная и добрая хозяйка, и счастлив тот, кто бывает вашим гостем.

С этими словами он еще раз поцеловал руку Анны.

XL

МОСКВИЧИ И ЕВРОПЕЙЦЫ

Теперь москвичи молчали. Они ограничились только тем, что бросали полные ярости взоры на кукуевских слобожан, а те в свою очередь отвечали им на это приветливыми улыбками.

— Вашу руку, фрейлейн, — быстро сказал Петр Анне. — Хотя мы здесь, у вас, как в зарубежном государстве, но все-таки мы —

¹ Гамильтоны, в русском искажении Гамильтовы, прибыли в Россию при царе Иване Васильевиче Грозном между 1533 и 1583 гг. Родоначальником этой фамилии был датчанин Фернард, правивший Нормандией в 912 г. При царях Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче Гамильтоны были аристократической фамилией Москвы. Евдокия Григорьевна Гамильтон была замужем за ближним боярином, знаменитым Артамоном Сергеевичем Матвеевым. Потомки этой фамилии образовали впоследствии дворянские роды: Гамильтонов, Гаментовых, Хомутовых. Отца Марии звали Виллимом (Вильямом), и она по Евдокии Григорьевне была близкой родственницей Матвеевых.

русские, а по русскому обычаю гость с дороги голодным оставаться не должен.

— О государь, — воскликнула Анна, — вы снова делаете меня счастливой. Да! У меня приготовлена весьма скромная трапеза, и, я не сомневаюсь, вы не откажете сделать мне великую честь, сев за стол.

— Конечно, конечно! Ведите же меня! Не хотите ли вы мне представить кого-нибудь, так не нужно этих церемоний. Я вижу здесь всех моих друзей, — взглянул он с приветливой улыбкой в сторону иноземцев, — а своих верных слуг я и без представления всех знаю.

Он пошел, ведя под руку Анну Монс.

Невольно в глаза ему бросился стоявший в одиночестве Мазепа.

— А, гетман, — воскликнул царь, — ты здесь? Вот не ожидал видеть тебя!

— Верный слуга своего государя является везде, где надеется увидеть тень его, — ответил Мазепа, — а я вижу вас, ваше величество, и счастье мое беспредельно.

Мазепа склонился перед Петром на одно колено, и это произвело на последнего тоже наилучшее впечатление. В душе Петр считал Мазепу сторонником своей сестры и не особенно доверял его заверениям своих верноподданнических чувств. Это особенно ярко выразилось в том, что, несмотря на все просьбы Голицына, а затем и Льва Нарышкина, Петр не хотел назначить аудиенцию малороссийскому гетману. Он не мог забыть, что Мазепа, прибыв в Москву, явился прежде всего на прием к Софье и говорил похвальную речь князю Василию Голицыну. Однако теперь смирение малороссийского гетмана и его щеголеватая, эффектная внешность, более подходившая к внешности его друзей-иноземцев, чем к внешности «верных слуг», бояр, несколько расположили Петра к этому человеку.

— Ну-ну, добро, коли так! — произнес он. — Мы рады всем, кто верно служит нам, а промеж служб наших: ты — мне, а я — моему государству, будем компанствовать. Садись поближе ко мне, промеж Петром Ивановичем¹ и Францем Яковлевичем². Может, за кубком и словом каким перемолвимся. Там, я знаю, у тебя, на Украине, все равно что в котле на огне кипит.

Сделав милостивый жест Мазепе, царь пошел далее и тут увидел перед собой Александра Гордона, стоявшего как раз на его пути в своем шутовском наряде.

— Это что такое? — с новым изумлением воскликнул он. — Опять какой-нибудь новый сюрприз мне?

— Государь, — звучным голосом ответил Гордон, — Господнее солнце одинаково ласково смотрит с горней тверди и на вельмож, и на смердов, и на богачей, и на нищих, и на умных, и на дураков; позволь же и мне, в качестве последнего, воспользоваться ласкою его луча.

¹ Патрик Гордон.

² Лефорт.

- Что? Что ты говоришь? Кто ты такой?
- Я — тот, кто говорит и государям правду.
- Неужели? А разве государям лгут?
- Почти всегда.

Без лжи у трона быть нельзя,
Царям лгут все — враги, друзья,
Не лжет лишь тот, кто все молчит,
Но шут им правду говорит! —

ответил стихотворным экспромтом Гордон.

— Вот как? — смеясь, воскликнул Петр. — Бояре, слышите? Это про вас тут речь идет.

— Великий государь, — выступил один из старейших бояр, — отец мой и деды правдою и честью всегда служили роду твоему. Дед мой — царство ему небесное и вечный покой! — твоего деда, Михаила Федоровича Романова, на великом соборе на царство выбирал, так пожалуй ты меня, слугу твоего верного, позволь мне тебе слово молвить!

— Что такое? — нахмурился Петр.

В это время Гордон, быстро перехватив мандолину, запел, сопровождая каждое слово песни гримасами и ужимками:

Только царь развеселился,
Глядь — боярин рассердился...
И он, гневом весь горя,
Взоры мечет на царя.
Ах вы, бедные цари,
Вешай нос или умри!
Ходи эдак, а не так,
От бояр свисти в кулак!

Лицо выступившего старика-боярина все запылало. Это был один из видных столпов посольского приказа. Он понимал по-немецки, а последнюю свою песенку Гордон, с очевидным намерением выставить москвичей в смешном виде перед царем, пропел по-русски.

— Голова моя, государь, в твоей воле, — задыхаясь, произнес старик. — Руби ее, если она тебе надобна, а сейчас дозволь мне отъехать из этого дома: негоже мне, цареву слуге, быть здесь в столь срамном месте; негоже и слушать такие речи. Молю тебя, государь великий!

Лицо Петра потемнело; видимо, собиралась буря.

— Ваше величество, — выступил вдруг Патрик Гордон, — я не понимаю, на что мог разгневаться боярин. Ведь только что перед ним говорил дурак, а на речи дурака разве возможно гневаться, разве они стоят того? Нет, боярин, — обратился он непосредственно к старику, — не нарушай нашего веселья, не уезжай! Нам будет без тебя так скучно...

— Дозволь, государь, отъехать, — глухо, но с прежней твердостью сказал старик, — помни службу мою, не держи!..

— Отъезжай, — тихо проговорил Петр, — но помни...

Боярин, перебивая его, воскликнул:

— Спасибо тебе на милости такой. Пожаловал ты нынче слугу своего превыше заслуги, а ежели голова тебе моя нужна — твоя она. Повели, сам прикажу, как топор точить...

— Отъезжай, — уже гневно выкрикнул Петр, — от греха отъезжай! Никого вас не держу здесь. Кто мне супротивник, все вон идите! — И, не обращая внимания на поклоны смелого старика, Петр пошел далее.

ХЛ

БОК О БОК

Это уже была вспышка. Чувство самосохранения заговорило в вельможах, и, кроме смельчака-боярина, никто не решался покинуть дом Анны Монс.

Но Петр еще сдерживался. Слишком хороши были первые впечатления, и воспоминания о них разгоняли собиравшиеся в душе царя грозовые тучи. Прекрасно сервированные, совсем не по-московски, столы были уже выдвинуты. Анна, извинившись перед своим высоким гостем хлопотами по хозяйству, оставила его. Около Петра была Елена.

— Прошу гостей садиться за стол, — по-русски проговорила она. — Сейчас, после духовной, мы будем иметь и телесную пищу. Занимайте свои места, дорогие гости, и не откажитесь отведать наших скромных яств, а прежде всего кубки с вином, стоящие перед вами. Вино сперва возбуждает аппетит, а потом веселит сердце. Не теряйте же времени!

Петр, подавая пример, сел за стол первый. Кругом него разместились, с одной стороны, слобожане, а с другой — первые бояре его двора.

Столбы были маленькие и были расставлены по обширному покою. Еще не все расселись, как вдруг раздалось громкое восклицание:

— Государь, бесчестье!

Петр бросил огневой взгляд в ту сторону, откуда послышался голос. Кто-то из бояр, видимо, сильно разгневанный, бормоча что-то, сильно жестикулировал, указывая на своего соседа с левой стороны.

— Что там еще? — спросил Петр.

— Бесчестье, государь! — воскликнул разгневанный боярин. — Негоже мне ниже сидеть, — указал он на соседа, — мой дед уже окольничим был, когда его батька в Москву приехал и на крыльце стоял. Посуди сам, могу ли я такое поругание терпеть?

— Молчать! — раздался громовый голос молодого царя. — Молчать, негодник-смутитель!.. Брат мой, блаженной памяти царь Федор Алексеевич, места уничтожил и разрядные книги сжег, а вы опять за старое беретесь? Дурак!

— Я здесь, государь, — раздался из-за царского кресла голос Гордона.

Петр оглянулся и увидел его.

— Не ты — дурак, а он, — указал он взором на раскрасневшегося и дрожавшего от злости боярина.

— Клевещешь, государь, на меня клевещешь! — возразил «шут». — Я, правда, — дурак, а это — твой боярин. Ты посмотри, борода-то у тебя какая! Ведь ни у одного козла на Москве такой нет. Вот у меня тоже бороды нет, так я и дурак.

— Вы слышите? — почти закричал царь. — Пришли в гости и в чужом дому беспорядки чините? Ты чего еще? — вскинулся он на продолжавшего стоять боярина, который заявил о бесчестии.

— А то, государь, — ответил тот, — пусть твой брат, а наш царь, в Бозе почивающий, и спалил огнем разряд, а бесчестие я терпеть ни от кого не могу. Не на то мои предки тебе верой и правдой служили... Отъехать дозволю!

Лицо Петра побагровело,

— И ты? — уже закричал он, подымаясь за столом во весь свой богатырский рост. — Отъезжай, коли хочешь! Князь Ромодановский...

На вызов царя поднялся пожилой, сумрачного вида боярин.

— Возьми его к себе в застенок, — крикнул Петр, — образумь его там и научи повиноваться моей царской воле!

— Государь, — раздался около Петра нежный голос Анны, — да будьте же вы милостивы! Не омрачайте нашего скромного праздника своим гневом, помилуйте его!

— В застенок, в застенок! — не слушая Анны, выкрикивал Петр.

— Ну полно, царь, да перестаньте же вы, я вас прошу... Помилуйте его! Нельзя же из-за того, что человек не хочет сидеть на том месте, которое пришлось ему, наказывать его.

— Не за то, — уже несколько мягче и тише произнес Петр. — Что мне он, что мне все они? Бунтовщики! Правду царю в глаза сказать не смеют, а стороною ковы строят. Нет, выведу я их гордыню эту! — ударил Петр кулаком по столу так, что ходуном заходили серебряная посуда и тяжелые кубки. — Я — царь, мной Бог руководит. Пусть помнят они это!.. Пошел вон, с глаз моих, негодник! — закричал он боярину. — Алексашка!

Откуда-то, словно из-под земли, вдруг вынырнул перед царем совсем молоденький потешный. Он смотрел наглыми глазами на царя, нисколько не робея перед его взором, в ожидании, что тот ему прикажет.

Петр налил в ковш до краев вина и залпом выпил его.

— Ты кто? — заговорил он, вперяя в потешного свой взор. — Меньшой сын конюха? Ты на базаре пирогами торговал?

— Было дело, государь, — весело ответил потешный, — кабы не был я меньшим сыном у отца, так и ты меня Меншиковым не прозвал бы; а что пирогами я торговал, так худо в этом нет. Не крал я, а родителям пропитывать себя помогал. А и хороши же были у меня пироги, ваше величество, — подовые, с пыла с жара, грош за пару... Теперь вот не торгую, другим делом служу России.

— Служи, за Богом молитва, за царем служба никогда не пропадают. Ложь, клевету, спесь глупую — все изгоню я из моего государства. Кто бы ни был, хоть самый подлый из подлых, а служит мне — и будет возвеличен. Мне верных слуг, а не холопов нужно. Так вот, ты видишь там, среди моих бояр, освободилось место?..

— Вижу, государь.

— Так там налево сидит внук тех, кто моего деда на царство выбирал, направо же — правнук Шуйского слуги. В семибоярской думе его прадед сидел. Иди же ты, меньшей сын конюха, пирожник с базара, не погнушайся соседством, слуга мой верный, сядь меж ними!.. А если мне еще кто пикнет про бесчестье, — голос Петра так и зазвенел, — то и ката мне не нужно, сам я негоднику голову снесу, и даже здешняя хозяйка пощады не вымолит.

Меншиков низко поклонился и пошел на указанное ему место.

Так хорошо начавшийся праздник грозил закончиться плохо. Буря разрасталась, все присмирели; даже иноземцы и те молчали. Петр ковш за ковшом пил вино; его лицо разгоралось, он метал вокруг себя гром и молнии, как бы выискивая, на ком ему еще сорвать гнев. Нужно было так или иначе отвлечь его внимание. И вдруг с бубенцами, гудками, сопелками выскочили откуда-то придворные шуты: карлы и карлицы. Они разом наполнили небольшое пространство, оставленное перед столом царя, и начали свои забавы и потехи.

— Ого! — опять услышал Петр за своим креслом голос молодого Гордона. — Соперники мои явились, пойти поближе посмотреть. Быть может, и рассмеюсь, если кто-нибудь меня под мышками пощекочет.

Петра так и передернуло, когда он услышал это полное злой иронии восклицание. Он понял его и невольно стал с предубеждением смотреть на выходки придворных увеселителей, которыми еще он так недавно забавлялся от всей души. Немецкий шут стоял в эффектной позе, скрестив руки на груди, несколько в стороне. Он был красив, и теперь по сравнению с ним царю невольно кинулось в глаза жалкое убожество и, пожалуй, отвратительное безобразие его придворных шутов. Среди них были очень непривлекательные калеки и уроды, их выходки были порою непристойны, а порою и омерзительны.

Пока происходила сцена с боярином, слуги уже разнесли обеденные блюда, и вот в то самое время, когда сидевшие за столами были заняты утолением голода, придворные увеселители вздумали изображать человека, подвергшегося тошноте. Петр взглянул в ту сторону, где сидели Патрик Гордон, Лефорт, Вейде и другие слобожане, и видел, с какой брезгливостью отставили они от себя тарелки и приказывали убрать их. Царю стало и противно, и стыдно.

«Даже и в забавах-то наших мы не таковы; как все люди!» — промелькнула у него мысль.

И вдруг, окинув взором обедающих, он заметил, что за столами, занятыми москвичами, никто, кроме Меншикова, даже не прикасался к поданным блюдам. Царь весь вспыхнул. Он понял, что здесь играет роль вовсе не брезгливость. Московские гости не хоте-

ли ничего есть в «немчинском» доме, куда они были приглашены им, царем. Им был противен даже хлеб, изготовленный руками «блудообразных немчин», и это — о молодой царь был уж слишком чуток ко всяким, даже к мелочным намекам на оскорбление и умаление его — был протест. Значит, те, кто стояли близко к нему, осмеливались послушаться его? И вновь бешеный гнев закипел в душе Петра, а мозг, уже отуманенный вином, пылал, как в огне.

— Вон! — не своим голосом закричал он, указывая на придворных шутов. — Гоните их всех со двора метлами!

Разгоряченный мозг подсказывал уже и без того разгневанному царю, что своей непристойной выходкой его шуты как бы хотели подтвердить протест его слушников-бояр.

А вместе с его криком, подливая масла в огонь, усиливая резкость контраста, раздался громкий хохот немецкого шута. Едва придворные шуты, перепуганные чуть не до смерти, убежали из зала, он появился перед царским столом, низко, но с соблюдением достоинства, поклонился Петру, быстро перебросил из-за плеча мандолину и, взяв на ней несколько вступительных аккордов, запел по-немецки:

Пей янтарное вино,
В нем лишь радости таятся.
Пей ты так, чтоб чаши дно
Не могло тебе казаться.

Чаша будет пусть полна,
Выпивай ее до дна,
Ты скорее через край
Вновь свой кубок наливай.

Ведь кто пьет, душа того
Нараспашку постоянно...
Пейте все изо всего,
Пусть кругом все будет пьяно.

Пусть шумит на целый мир
Наш веселый, пьяный пир.
И средь нас, как было встарь,
Веселится русский царь.

Пусть не будет грозен он,
Много бури в жизни нашей;
Лик его коль омрачен,
Ублажим его мы чашей.

Мы живем без изгород,
Длинных нет у нас бород,
Не царят меж нами здесь
Чванство глупое и спесь.

Наша жизнь тиха, проста;
Мы трудиться лишь беремся;
Сев обедать, за места
Никогда не раздеремся.

— Верно, — раздался голос Петра, — сам это знаю. Живете без мест и чинов. Эй, пейте, все пейте за дурака, который всех вас умней!

XLII

ГРОЗНАЯ ВСПЫШКА

Эти последние слова опять-таки были обращены к столам, занятым москвичами, но это царское приглашение здесь было запоздалым. Москвичи совершенно справедливо рассудили, что если яства приготовлены «немчинскими» руками и потому есть их противно, то заморские-то вина покупаются всюду в Москве, да вот у этого же самого Монса, а потому и брезговать ими нечего. Приняв это в соображение, они усердно подналегли на вина, забывая, что пьют на тощий желудок, и, конечно, очень скоро вино возымело свое действие.

Царь только что хотел сказать Гордону, чтобы он продолжал свою песню, как опять неожиданный шум среди москвичей привлек его внимание. Тут уже было нечто более серьезное, чем счеты за место. Выходила просто-напросто драка. Молодой князь Григорий Долгорукий, припомнив, что у его отца были счеты с царским дядькой, князем Голицыным, зная, что князь Борис в большой немилости у Нарышкиных, вздумал подвести итог счетам. Он сказал обидные слова Голицыну, а тот ответил. Слово за слово, втихомолку, под звуки песни шута, завязалась ссора, и Долгорукий, не долго думая, забыв в ярости, где он, ударил старика Голицына. Тот крикнул «караул!» и тоже ответил обидчику. Тогда на него кинулся друг, приятель и родственник Долгорукого, князь Долгорукий Яков¹. У князя Бориса среди присутствовавших были тоже друзья. Они кинулись защищать его.

Страсти разгорелись очень быстро... В одно мгновение были опрокинуты столы, и началась невообразимая свалка. Дрались ожесточенно: так и летели вверх шапки, обрывки одежд; кулаки то подымались, то опускались; послышался истерический вопль какой-то из присутствовавших на пиру немецких женщин, нечаянно подвернувшейся под русский богатырский кулак. Петр с обнаженной шпагой кинулся к дерущимся. Он шпагой действовал, как палкой, и колот всех, не разбирая, куда придутся его удары.

— Ага, — выкрикивал он, — стрельцы окаянные! Вот я же вас².

Должно быть его вмешательство отрезвило осwirепевших москвичей, свалка разом затихла.

Слобожане сейчас же сплошной стеною окружили царя. Он стоял среди них весь бледный, весь дрожа, его лицо было багрово-темно, губы страшно искривлены судорогами, он задыхался. Гордон и Лефорт едва успели подхватить его, иначе Петр упал бы. С ним начался один из тех припадков, которыми он страдал еще с детства.

¹ В «Истории Государства Российского» С. М. Соловьев говорит, что избиение князьями Долгорукими кн. Голицына было в Большом дворце.

² Такие припадки бешенства с течением времени у Петра все учащались. Во время одного из них он едва не зарубил воеводу Шеина, ранил своего учителя Зотова и перерезал пальцы боярину Ромодановскому.

При таких обстоятельствах даже и москвичи поняли, что так им не должно было держать себя. Смущенные, перепуганные, предчувствуя, что если не сегодня, так завтра им придется рассчитываться за все с самим царем (они уже по немногим дням его самостоятельного царствования знали, что с ним шутки плохи), они поспешили покинуть Монсов дом. Даже никаких разговоров между ними не было, каждый спешил только поскорее унести ноги из Немецкой слободы. Лишь некоторые из москвичей, особенно преданные Петру — такие, как Ромодановские, Шереметев, Бутурлин, Апраксин и еще немногие, — остались около бывшего в припадке Петра. Но и среди ушедших тоже были такие, на которых все происшедшее произвело сильное впечатление.

В тот же день вечером в палатах боярина Алексея Прокофьевича Соковнина собрался кружок его друзей. Мрачные, угрюмые сидели они на лавках в столовом покое. Беседа шла как раз о царе.

— Какой он нам государь! — с горечью воскликнул Соковнин, свойственник Петру по жене. — Всех нас он позорит. Недаром же везде говорят, что он — антихрист, и на нем уже видели печать антихристову.

— Еще живы стрельцы, что его со смертью беседующим видели, — высказался один из гостей.

— Это хорошо, — вдруг отозвался пожилой, седоусый гость с нерусским лицом, но в кафтане стрелецкого головы.

Это был Циклер, обрусевший иноземец, добившийся после крымских походов¹ того, что ему было поручено командование целым стрелецким полком, тот самый Циклер, который, будучи яростным приверженцем царевны Софьи, одним из первых явился после бегства Петра из Преображенского в Троице-Сергиеву лавру на поклон к нему. Циклер был чрезвычайно самолюбивый человек. Его самонение было огромно... Хотя он и пришел в лавру только на разведку, но, когда увидел, что дело Софьи и Голицына проиграно, сообразил, что нельзя упускать удобный случай. Он мечтал, что его появление будет оценено царем как выражение преданности и, конечно, не останется без соответствующей награды. Но Циклер ошибся — Петр разгадал его. Вследствие этого Циклер решительно ничего не добился из того, чего ожидал, и остался по-прежнему стрелецким головой, то есть полковником, и, мало того, царь постоянно выказывал ему пренебрежительную холодность. Так, Петр, бывая в стрелецких слободах, нередко заходил в хоромы не только голов, но и пятисотенников, хоромы же Циклера он всегда обегал и даже делал вид, что не замечает этого головы на смотрах. Страшная обида грызла сердце самолюбца, он жаждал уже не только своего личного возвышения, но и мести за нанесенное ему оскорбление. Теперь, очутившись у Соковнина и узнав, зачем звал этот боярин к себе друзей, он вообразил, что наступает желанное время, и, конечно, готов был на все, что только шло против Петра.

¹ 1876 г.

— Да, хорошо, что уцелели те стрельцы, — заявил он. — Знаю я их: Кочет да Телепень. В них мы всегда достоверных свидетелей иметь можем.

— Так береги же их, голова, — пылко воскликнул Соковнин, — какая пора — не время, а нам они пригодиться могут. Не царь нам нарышкинец. Рушит он дедовскую старину, а ей одной только и крепка наша Русь. Если его на царстве оставить, все он иноземцам раздаст, и останемся мы в своем домишке не хозяевами. Это ли нам желательно? Нет, нет! Лучше пусть один погибнет, чем весь народ чужеземцам под власть будет отдан.

— А кто же ему преемником станет, — раздался робкий голос.

— Как кто? А царевич Алексей?

— Так он еще младенец.

— Пусть и младенец. И царь Иван Васильевич Грозный младенцем был, да и сами цари Иван и Петр тоже в детском возрасте на царство венчаны. Точно некому у нас до совершенных лет царевича Алексея делами править?

— Есть у нас самодержица, великая царевна Софья Алексеевна, — пылко воскликнул Циклер. — Она в государевых делах премного искусилась, ей и править, пока царевич Алексей Божией милостью в совершенные годы и разум не войдет.

— Ей, кому ж, как не ей! — послышался единодушный возглас присутствующих.

Все эти крики и суждения были совсем не по сердцу хозяину. Соковнин тоже видел удобный случай добраться до власти и, замышляя свергнуть царя Петра, думал, что, если на царстве будет младенец, ему удастся выдвинуться в первые люди государства.

— Кому там править, о том речь потом, — сказал он, тщательно скрывая бушевавшие его чувства. — Сперва главное дело повершить нужно, а не повершив его, и начинать ничего не стоит. Скажите, люб ли вам царь Петр Алексеевич, или нет?

— Нет, нет, — заговорили кругом, — нелюб! Не надо нам его, не хотим!.. Никого из Нарышкиных не хотим... Враги они земли нашей... иноземцев вперед нас пускают!

— Ну так вот, на сем и порешим, а порешив, потихоньку и за дело примемся. Авось дарует Господь Бог нам удачу, спасем мы родную землю, не выдадим ее врагам вековечным.

XLIII

НЕЛЮБИМАЯ ЖЕНА

Так начинался знаменитый в истории царствования Великого Петра заговор Соковнина—Циклера.

А в палатах Большого московского дворца всю ночь изнывали в тяжелой тревоге за царя Петра два женских сердца; материнское и женино. Во всю ночь не сомкнули глаз обе царицы. Мать беспоко-

илась за невозвращавшегося сына, жену Петра — Евдокию — кроме того, беспокоила и ревность.

— Ой, мамонька царица, — плакала у груди Натальи Кирилловны Евдокия Федоровна, — да чем же я худа ему, лапушке моему? Уж я ли не покорлива ему во всем? Ведь иной раз такое ему на ум придет, что и подумать срамно, и за душу испугаешься, а смиряешься.

— Нужно смиряться, Дунюшка, — наставительно промолвила престарелая царица, — такое уж наше дело женское. Только покорливостью да угождением жена около себя мужа удержать может. Мужеский пол — что ветер, у него под каждым кустом семья. Так вот и нужно нашей сестре тем или другим мужа при себе держать, смотря по тому, какой нрав у него: одного строгостью, а другого и покорливостью; ведь и покоряясь, не о себе женщина должна заботиться, а о том, кто из ее чрева вышел. Ну, уйдет муж, дитя без отца останется... Сама посуди, хорошо ли это?

— Того ради, мамонька, и покоряюсь, а то как иной раз пораздумаешься, так вот душа во святую обитель и запросится. А хорошо там, маменька!.. Нет тебе там никакого огорчения, покойная душа твоя... молишься Господу и житейской смуты не ведаешь.

— Брось, глупая, перестань! Не допускай таких мыслей! — строго остановила невестку Наталья Кирилловна. — Ты с меня пример бери. Я вот за покойником моим, царем Алексеем Михайловичем, была, так тоже — ох-ахти мне, грешной! — всяческое видала, и такое всяческое, что теперь вспоминать тошно... А вот не ушла же я в монастырь и до сих пор уходить не хочу. А все потому, что такая горькая участь на мою долю выпала. Ведь я не только — жена мужу и мать детям была, но и царица также. Тяжел этот крест! Поглядишь, последний смерд живет, и тяжело-то ему, и голодно-то, а любовь красит все. А мы, царицы, всякие свои чувства скрывать должны. Знаю я, о чем у тебя сердце болит, Дунюшка! Донесли тебе, будто у тебя на Кукуй-слободе злая разлучница, змея подколодная завелась, вот и болит твое сердце.

— Ой, мамонька-царица, — даже взвизгнула Евдокия Федоровна, — то ли ты говоришь?

— То, милая, то! Только ты крепись: что Бог соединил, то не человекам разлучить. Может, такая дурь на Петрушу и нашла, и горько тебе; так ты горечь-то всю на сердце затаи, вида не покажи. Вот придет он, полуночник, так встреть его с веселым лицом да лаской.

— А если он, Петрушенька-то, придет да на меня и не взглянет?

— Взглянет, милая, непременно взглянет! И если ты с лаской его встретишь да там у него худое что было, так совестно ему тебя будет, и постарается он свой грех перед тобою сторичею загладить; а ежели ты его упреками да бранью осыплешь, так на дыбы он встанет и всякие поводы из рук вырвет... Знай это, доченька, Богом данная, по опыту своему говорю, а я худа тебе не посоветую.

И так вся-то ночь до рассвета прошла в таких разговорах между свекровью и невесткой.

В полдень возвратился из Кукуй-слободы царь Петр Алексеевич. Нехорош был его вид. Перенесенный припадок оставил следы на его лице: все оно было изжелта-зеленое, глаза кроваво-красные, губы судорожно кривились, а голова тряслась в это утро сильнее, чем когда-либо. Молодая царица хотела последовать доброму совету богоданной матери, да не сдержалась. Увидела она царственного супруга, и болезненно сжалось ее сердце, слезы сами собой покатились из ее глаз, и слова она не сказала.

Разгневался царственный супруг. Только взглянул на нее, повернулся, дверью хлопнул и ушел.

XLIV

СЕСТРА-УТЕШИТЕЛЬНИЦА

Только и видела Петра в этот день молодая супруга.

А Петр ушел недалеко. Тут же, во дворце, жила его любимая родная сестра Наталья Алексеевна. Некрасива она была, и даже молодость не красила ее, но чисто мужской ум был в ее маленькой головке. Брата-царя она любила более всего на свете, и не было у царя Петра Алексеевича друга вернее, чем эта его сестра. Он всегда знал, что у нее найдутся для него и слово ласковое, и совет спокойный, дружеский, нелицемерный. В минуты горя, в мгновения радости не к матери, не к жене шел царь Петр, а к этой сестре, и всегда уходил от нее довольный, просветленный, вдохновленный на новую борьбу. Так и теперь, после бурно проведенной ночи, оттолкнутой слезами жены, он пришел к сестре.

Долго-долго изливал перед сестрой свою душу юный царь. Все-то он ей рассказал: как он собрался повеселиться и как хотел, чтобы этим весельем были объединены и московские люди, и иноземцы. Рассказал он, какую ему встречу устроили хозяева пира, и как его в стыд вогнали его же ближние бояре.

— Кровь даже вся кипела, когда взглядывал я на немчинов, — рассказывал царь. — Ни слова они не говорили, а только друг с другом переглядывались, и для меня это горше всякой обиды было. Видел я, что смеются бояре над нами, а как драку учинили, так уж я тут и сам себя позабыл.

Царевна Наталья слушала брата, не перебивая. Она хорошо знала его характер, знала и то, что, кроме нее, не с кем ему поделиться своими сокровенными мыслями. Впрочем, недаром некрасивая царевна Наталья Алексеевна была одной из умнейших женщин. Ей досталась вся отцовская библиотека да была пополнена братниной; всяческой великой мудрости набралась из книг царевна и обо всем судила совсем не по-женски.

Вот и теперь она ни одним словом не обмолвилась брату о том, что ей уже известно все происшедшее в Немецкой слободе. Ведь про владык земных в их народе всякие слухи да вести быстро расходились. Вот уж доподлинно ничего там нет тайного, чтобы

сию же минуту не сделалось явным. До царевны Натальи эти слухи скорее всех дошли, и, прежде чем брат начал перед ней свое покаяние, у нее уже был обдуман ответ ему.

— Нехорошо вышло, Петруша, что и говорить, — сказала она, — только и тебе гневаться не след.

— Как же не гневаться? — так и вспыхнул Петр. — Разве не осрамили они меня, окаянные? У-у-у-у! Так бы вот, если было бы возможно, одним разом снес все их глупые головы!..

— А что же из этого вышло бы? — с улыбкой взглянула на брата царевна Наталья. — Потерял бы ты верных слуг...

— Других нашел бы. Немало их!..

— Нашел бы, Петруша, что про это говорить, а только пока ты их искал бы, кто же тебе служил бы? Кто твое государево дело правил бы?

— Как кто? — вскрикнул Петр. — Приказал бы — и все сделали.

— Нет, милый братец, государево дело нелегкое. Всякий спляшет, да не так, как скоморох. Вот прослышала я, что ты своего потешного Алексашку Меншикова отличаешь. Не скрою, полюбопытствовала я, видела его и с ним говорила: огонь-парень, проживет десятка два лет — большой из него умница выйдет, а теперь-то, раньше, он ни на что не годен: и молод — ветер в голове, и опыта нет. Ведь опыт-то только с годами к человеку приходит. Пошлешь ты Алексашку с врагами биться — впереди всех он на них кинется, а велишь посольство справить — большой тебе от того убыток будет. Эх Петруша, Петруша, не избидел тебя Господь разумом, как братца Иванушку, обо всяком ты деле рассудить можешь, так вот и подумай: что может быть, если ты вот теперь к немчинам прилепишься, а своих московских слуг прочь отгонишь? Уйдут они, по всем уголкам земли разбегутся, по всему народу свое неудовольствие разнесут и будут народ, как ржа железо, точить. Всему, что ты ни задумал бы сделать, они противодействовать будут, а ты против них всех один будешь. Понимаешь? Один против всего народа! И сгинешь ты!.. Тебе в глаза будут говорить, что ты — помазанник Божий, а за глаза кричать, что ты — антихрист. Посуди сам, ведь твои немчины тебе — не помощники тут. Захочет народ, так и их, и тебя, как ветер пылинки с дороги, сметет...

— Так что же делать-то, что делать мне, — уже не гневно, а тоскливо спросил Петр, сообразивший, что сестра говорит правду.

— А ты сократи себя до поры до времени. Не любят твои бояре немчинов; так ты неводи их вместе. Ты сперва новых себе слуг приготовь да силу свою укрепи. Вот ты с потешными занимаешься. Пусть твоих потешных не два, а двадцать полков будет; тогда тебе ни бояре, ни народ страшны не будут: что ты захочешь, то со всеми ими и сделаешь. Все они будут в твоей воле и, как увидят силу твою, пикнуть против тебя никто не посмеет, сами к твоим любезным немчинам побегут, а уже кого ты позовешь, так тот этим счастлив, как в раю, будет. Вот тебе мой сказ и совет. Вот там болтают, что у тебя на Кукуе любя завелась; так ты от жены-то не отворачивайся...

— Да что же мне делать-то, если противна она мне?

— Стерпи, не вводи соблазна в народ! А будешь ты силен, ну, тогда и делай, что тебе Бог на душу положит.

Организовав потешное сухопутное войско, Петр принялся устраивать и потешный флот. Для этого он перебрался за сто двадцать верст от Москвы, на Переславское озеро, поселился сам около него, и там закипела работа. Скоро были готовы два фрегата и три яхты. Петр был так восхищен этим, что, по его приказанию, был совершен крестный ход на озеро.

Но вскоре Переславское озеро стало казаться Петру уже слишком малым. Его тянуло к себе море, и в июле 1693 года он был уже в Архангельске, на берегу Белого моря. Царю так понравилось здесь, что он долго не покидал своих северных владений, и только кончина матери заставила его несколько забыть мечты о море.

Когда скончалась старая царица, Петр был уже в Москве. Там, после его приезда с Севера, пошел дым коромыслом. По случаю возвращения царя сжигались фейерверки, устраивались шутовские процессии, пиры следовали за пирами, но в свою любимую Кукуй-слободу Петр заглядывал редко. Даже после кончины матери, когда, казалось, он был уже ничем не связан, поведение Петра было довольно скромно и особого чрезмерного пристрастия к иностранцам он не выказывал. Даже с женою он был ласков. Однако, как только наступила весна 1694 года, Петр опять умчался на Север.

Такое поведение молодого царя заставило притихнуть его недругов. Алексей Соковнин, Федор Пушкин и Иван Циклер, лелеявшие мысль о низвержении с престола молодого царя, не смели ни громко говорить, ни чересчур ретиво действовать. Одно время как будто было похоже на то, что их замыслы близки к осуществлению. В 1692 году царь прихворнул, и довольно-таки сильно. Болезнь развивалась быстро, и царский лейб-медик Блументрост не находил против нее никаких средств. Он даже до того отчаялся в выздоровлении царя, что приготовился к выезду за границу со всем своим семейством. Да и не он один. Лефорт и Гордон, а с ними и другие, тоже держали наготове лошадей и повозки, чтобы бежать подальше от Москвы при первом известии о смерти царя.

В это же время потакавшие Петру в его новшествах бояре сильно приуныли. Они видели, что стрельцы день ото дня становились все более и более дерзкими, и уже были уверены, что всем им несдобровать, как только умрет царь.

Но Петр выздоровел. Могучая, богатырская натура преодолела неведомый недуг, он быстро оправился и еще с большей поспешностью принялся за свое дело.

Пока Петр был на дальнем Севере, Гордон и Лефорт заканчивали организацию потешных войск. Были выстроены крепостцы и, когда государь вернулся, вновь были произведены маневры по прежнему плану. Князь Ромодановский, «победитель», тогда же получил титул кесаря, или государича, и, таким образом, стал как бы вторым лицом после Петра.

Однако потешные бои уже наскучили государю. Он хотел на деле показать всему народу разницу между новыми и старыми войсками, да и самому ему хотелось увенчать себя лаврами героя. И вот ради этого были предприняты азовские походы. К Азову пошли две армии: одной — стотысячной — начальствовал боярин Борис Петрович Шереметев, а другою, в двадцать две тысячи, — боярин Шеин и Патрик Гордон. Под Азов пошли и старые стрелецкие, и новые потешные полки.

Тяжело пришлось русскому воинству под Азовом. Выходило всегда так, что на труднейшие осадные работы назначались стрельцы, их же выставляли в самые опасные места во время штурмов, и эти полки таяли, а новые войска оставались в целости. 19 июля 1696 года Азов сдался.

XLV ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

В начале того же года скончался наконец старший царь Иван Алексеевич. Петр в это время был на побывке в Москве. Похоронив брата, он вернулся под Азов и был при его сдаче. Осенью старая Москва впервые еще видела триумф победителей. Петр уже переставал стесняться и не задумывался явно показывать свое пристрастие к иностранцам. На Каменном мосту были устроены триумфальные ворота наподобие древних римских: две пирамиды, перевитые зелеными ветвями; статуи Марса и Геркулеса, с поверженными у их ног турками и татарами; изображения Нептуна и других мифологических божеств, перемешанные с картинами, представлявшими различные сцены славного похода и подвиги прежних царей русских; множество надписей в стихах и в прозе; золото, парча и шелковые ткани; пушки, ядра, знамена — все, что только можно было придумать, было употреблено на украшение этих ворот. Торжественный въезд победителей происходил 30 сентября при бесчисленном стечении ликующего народа. Все улицы, ведущие к Кремлю, пестрели всевозможными украшениями. Бесперывный колокольный звон по всей Москве, ружейная и пушечная пальба, звуки труб, литавр, барабанов потрясали воздух.

Главными лицами этого торжества были Лефорт, адмирал юного русского флота, и Шеин, главнокомандующий войсками сухопутными. Первый ехал на золотой колеснице, сделанной наподобие морской раковины и украшенной изображениями тритонов и других морских чудовищ. За ним следовали вице-адмирал Лима и контр-адмирал Лозер, каждый со своею свитою. Шеин, в черном бархатном кафтане, унизанном жемчугом и драгоценными камнями, с большим белым пером на шапке и с обнаженною саблею в руке, ехал верхом, окруженный драбантами. Далее солдаты влекли по земле турецкие знамена, а за ними шел пленный татарский мурза. Главный же виновник торжествуемой победы, государь, столь великолепно чествовавший подвиги своих полководцев, шел перед Пре-

ображенским полком в простом офицерском мундире. Шествие заключал отряд генерала Гордона.

Между тем как триумфаторы въезжали на Каменный мост и гений, появившийся над воротами, при помощи огромной трубы громогласно приветствовал каждого из них стихами, в которых воспевались их воинские подвиги, — процессия, совершенно противоположная первой, въезжала в Москву через нижние Воскресенские ворота. Под виселицею, устроенною на огромной телеге, стоял изменник Янсен¹ с петлею на шее, на высоких подмостках, окруженный палачами и орудиями казни. Через несколько дней после этого празднества злодей был казнен, а верные сыны отечества, все, от последнего воина до полководцев, были осыпаны милостями и наградами царя, чрезвычайно довольного счастливым походом.

XLVI

НЕУКРОТИМАЯ ЦАРЕВНА

Итак, хитро задуманный план был чрезвычайно ловко приведен в исполнение. Совершенно незаметно была ослаблена самая мощная сила поборников дедовской старины: сильно поредели стрелецкие полки, и хотя были пополнены, но молодежью, а последняя вся была на стороне Петра и его новшеств. В то же самое время народу было показано, что стрельцы — ненадежны, что они не умеют ни врагов побеждать, ни родную землю защищать. Теперь в распоряжении Петра была могущественная сила — преданное ему новое войско: на внутренних водах появился его флот; оставалось только довершить задуманное — разом уничтожить остатки сил противников, вывести раз навсегда стрельцов, благо было теперь кем заменить их.

Но Петру не хотелось принимать на себя это новое дело, которое могло кончиться и неудачею и во всяком случае должно было быть кровавым. Для таких дел у него было немало преданных ему бояр, хотя бы тот же князь-кесарь Федор Ромодановский. Уж кто-кто, а он-то никогда не считал, сколько голов порублено, и не мерил, сколько крови пролито. В случае же неудачи на него и вину свалить было можно.

Очень может быть, что именно такие соображения и подсказывали Петру необходимость поездки за границу.

Уже давно тянуло его туда. Он знал, что то, что он видел в Кукуй-слободе и что так нравилось там ему, за границей будет уже в большем размере и там-то никто не будет указывать царю, как ему жить и как себя вести.

Заграничной поездки царь Петр нисколько не пугался — немало у него там было порассеяно своих людей. Еще с 1694 года в разные зарубежные страны были отправлены молодые люди учить-

¹ Инженер Янсен, или Янгден, голландец по происхождению, один из жителей Кукуя, во время осады перешел на сторону турок.

ся заморским премудростям, и, куда бы за рубежом ни явился царь, везде он мог встретить своих подданных.

Было и другое обстоятельство, особенно сильно вызывавшее желание совершить долгую заграничную поездку. Царь был теперь один, у него были совсем развязаны руки: мать — в могиле, брат — тоже.

И вот около этого времени будущий преобразователь России почти перестал стесняться. Теперь он уже не тайком бывал в Кукуй-слободе, а открыто ездил туда; дневал и ночевал в Монсовом доме, пиры да попойки шли ежедневно. А в Москве, во дворце, дни и ночи проливала слезы совсем забытая царица Евдокия.

Нельзя сказать, чтобы царь Петр лишал ее своего внимания. Евдокия Федоровна была в ту пору вторично беременна, и это еще более усиливало ее горе. Все реже и реже видала она своего царственного супруга, если же он и появлялся, то совсем не надолго: появится и скроется, будто торопливо собираясь куда-нибудь. Повсюду по Москве шли толки об обиде молодой царицы, уже поговаривали, что задумал царь постричь ее в монастырь, и всегда как на злую разлучницу указывали на «немчинскую девку» Анну Монс. А в Новодевичьем монастыре, в сердце заключенной там Софьи все эти достигавшие до нее слухи будили радужные надежды.

Нельзя сказать, чтобы царь Петр был особенно строг: не так уж худо жилось бывшей самодержице. Правда, она не могла никуда выезжать, но зато ее келья была в несколько палат, отделанных со всей доступной тогда роскошью. К Софье допускали всех, кто приходил к ней; из боярской среды посетителей не было, но зато в Новодевичьем монастыре в изобилии бывали стрелецкие жены, ежедневно приходившие бить челом опальной царевне, памятуя ее прежнее добро и нисколько не боясь царевых палачей.

Неукротимая царевна Марфа, пользовавшаяся полной свободой, хотя и жившая с сестрой, бывала всюду, где только можно было бывать царевне, и из каждой поездки приносила все более и более радостные вести. Она рассказывала, что бояре недовольны царем, что в их умах зреет желание отделаться от него, а о том, что стрельцы не пойдут против бояр и помогут им, знала сама Софья.

XLVII

ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ

Пожалуй, так было и на самом деле. Притаившийся Соковнин стал действовать все смелее и смелее. Он всюду сеял недовольство царем, и стрельцы будоражили. Повсюду передавались якобы сказанные перед смертью царем Иваном Алексеевичем слова: «Брат мой живет не по церкви, ездит в Немецкую слободу и знается с немцами». И, слыша эти слова, повсюду, во всех кружках, на площадях и базарах говорили: «Не честь делает себе государь, а бесчестье». Самые интимные подробности пребывания Петра у «не-

мчинов» стали служить темой для толков не только в избах простолудинов, но и в колодничьих палатах:

— Какой он государь? — говорил о царе Петре колодник Ванька Борлют в застенке Преображенского приказа одному из своих товарищей. — Какой он государь? Бусурман он: в среду и пятницу есть мясо и лягушек... царицу свою сослал в ссылку и живет с иноземкою Анной Монсовой...

Наконец заговорило и духовенство. Бывший прежде келарем в Троице-Сергиевой лавре монах Авраамий подал царю памятную записку, в которой прямо говорил, что Петр своим блудодейством соблазняет народ. «В народе тужат многие и болезнуют о том, на кого было надеялись, думая, что великий государь возмужает и сочетается законным браком, и тогда, оставя молодых лет дела, все исправит на лучшее; но, возмужав и жениясь, он уклонился к потехе и, оставя лучшее, начал творить всем печальное и плачевное».

Итак, против Петра волновались и верхи, и средние слои, и стрельцы. Пока за царя оставался только один простой народ, который памятовал, что царь — помазанник Божий и его сердцем Бог управляет.

Как же не воспользоваться было этими обстоятельствами Алексею Соковнину? Ведь другого такого случая, когда всеобщее раздражение будет столь же велико, скоро не дождешься. Соковнин подсчитал своих сторонников и ему показалось, что есть полное основание ожидать успеха. Но Соковнин во всем этом деле вел свою линию. Царевна Софья не только не была уведомлена ни одним словом о его замыслах и о вообще назревшем и готовом разразиться заговоре, но даже ничего не знала о готовившемся событии. Заговорщики же решили идти напролом. В ночь Сретения 1697 года с московских церквей должен был раздастся набат; конечно, перепуганные жители всполошатся, переполох распространится и на Кремль, Петр выбежит узнавать, в чем дело, и в это время заговорщики должны убить его.

Весь этот хитро составленный и точно рассчитанный план царевубийства принадлежал ненавидевшему Петра Циклеру. Он также постарался о том, чтобы были подготовлены стрельцы, и в случае, если бы новые войска выступили на защиту царя, стрельцы должны были вступить с ними в отчаянный рукопашный бой.

День Сретения уже клонился к вечеру, когда в палатах боярина Соковнина собрались главы заговора. Они сидели в столовом покое; кубки с заморскими винами так и опоражнивались. Говорили уже, не стесняясь; казалось, что неудачи в задуманном деле быть не может. Вдруг под окнами раздался скрип полозьев, сильно хлопнула дверь, слышались тяжелые шаги.

— Кого-то еще Бог дает? — недоумевающе промолвил Соковнин, оглядывая своих друзей. — Как будто все налицо! Разве с вестями кто?

Заговорщики собрались у Соковнина с тем, чтобы ожидать первых звуков набата. По этому сигналу одним надлежало рассеяться по городу, другим — бежать в Кремль.

И вот в тот момент, когда Соковнин договорил свои последние слова, распахнулась дверь столового покоя, и тут со многих уст сорвались восклицания испуга, а на всех лицах отразились и тревога, и ужас. На пороге распахнувшейся двери стоял тот, кого они менее всего ожидали, — сам царь Петр Алексеевич.

XLVIII ЗАТУШЕННЫЙ ПОЖАР

Он был в Преображенском, у Лефорта, когда туда из Москвы при-
мчались двое стрельцов: пятисотенный Ларион Елизаров, тот самый, который уведомил царя Петра о готовившемся покушении Шакловитого, и пятидесятник Григорий Силин. Они сообщили обо всем, причем сказали и то, что как раз перед полночью раздастся набат, который должен быть роковым для него, московского государя.

Яростен был гнев Петра. Еще бы! Ведь Соковнин по жене, был его родственником. Когда же Петром овладевал гнев, то он почти терял способность соображать обстоятельства. Наскоро приказав преображенскому капитану Лопухину явиться в соковнинские палаты с ротой солдат ровно за час до полуночи, сам Петр сейчас же умчался в Москву. Он боялся, что и среди гостей Лефорта могут быть близкие Соковнину лица, которые предупредят его о том, что заговор открыт, и из этого соображения никому не сказал ни слова о том, к кому и зачем он едет. Часов у царя не было, и он явился к заговорщикам прежде, чем прибыл туда назначенный им военный отряд. Не дожидаясь Лопухина, Петр смело вошел к заговорщикам и громовым голосом заговорил:

— Здравствуйте! Ехал я домой, вижу сквозь ставни огонь, думаю — дай проведею боярина Алексея Прокофьевича.

Соковнин уже успел оправиться от испуга и смущения и, низко кланяясь, довольно спокойно ответил:

— Здрав будь, государь великий, на многие лета! Осчастливил ты нас.

Петр окинул взглядом всех собравшихся. Тут, кроме смиренно склонившегося перед ним хозяина, окольничего Алексея Прокофьевича Соковнина, он увидел его зятя, боярина Матвея Пушкина, казака Лукьянова, присланного с Дона казаками, стрелецких голов Филиппова и Рожина, а среди них — уже давно опротивевшего ему Ивана Циклера. Все это были люди, ненавидевшие его как «нарышкинца» и готовые на все, даже на преступление, лишь бы только помешать ему в задуманном им деле.

Да они и не одни были. Петр разглядел мрачные физиономии еще некоторых стрелецких пятисотенников, имен которых он не знал, но во враждебности которых нисколько не сомневался. И тут только понял, в какую опасность попал. Он был один против всех, и все эти люди, пока еще с плохо скрываемым страхом смотревшие на него, задумали убить его, поймав на улице во время переполоха,

а теперь он сам, даже без оружия, явился к ним и не мог уйти потому, что для Петра не было сомнения: если бы он только сделал шаг к двери, то заговорщики поняли бы, что все их замыслы открыты, и, уже спасая свои головы, не задумались бы уложить царя на месте. Оставалось только идти напролом и не показывать вида, что весь замысел обнаружен. Петр сообразил, что одно лишь хладнокровие может спасти его.

— Рад и я, — стараясь придать своему грубому голосу оттенок ласковости, ответил он Соковнину и сел за стол, придвинув к себе кубок с вином. — Да и как же мне не радоваться там, где мне рады? Ой как мало друзей у меня! Все-то на меня волками смотрят, моего государева дела не понимая. О чем у вас беседа-то шла?

— О твоих победах, государь, беседовали, — вкрадчиво ответил Циклер, — вспоминали, как ты из-под Азова на Москву вернулся. Вот-то было торжество — такого у нас и не видавали. Когда твой родитель из-под Смоленска возвращался, так то ли было?!

Лицо Петра несколько прояснилось. К своей славе героя он был весьма чувствителен, да и тема для него казалась занятной, и он охотно принялся рассказывать об осаде Азова.

Его слушали, затаив дыхание, но не из почтительности, а в ожидании, когда наконец ударит набат. Только один Иван Циклер не слушал царского рассказа. В эти мгновения он опять ушел в свои мечты, осуществление которых уже ясно видел. Этому честолюбивому стрелецкому половнику грезилось, что въявь исполнилось все то, чем распалял его на цареубийство Соковнин. А ему Соковнин говорил немало. Он не раз намекал Циклеру, что если бы все дело кончилось успехом, так — кто знает? — ведь и царевич Алексей Петрович неведомо сколько прожить может: болезненный он, щуплый заморыш. Господь Бог по душу посылает, не разбирая, чья душа: смерда ли, или царская. Тогда же как знать? Вот Борис Годунов при таком же царе боярином был, а потом и на царство сел. А чем он лучше Ивана Циклера? И не слушал стрелецкий полковник царского рассказа; далеко-далеко были его мечты.

Вдруг к его уху наклонился сосед и шепотом проговорил:

— Чего же набата-то не слышно? Или еще не пора?

— Пора, давно пора! — загредел в ответ спрашивавшему царский голос.

Чуток был слух у царя Петра. Он налету уловил последнее слово и понял, о чем шла речь. Дальше уже сдерживаться было бесполезно. Чувство самосохранения подсказало Петру, что неожиданным нападением можно еще смутить заговорщиков и отсрочить роковое мгновение.

Петр сорвался с места и с поднятыми кулаками кинулся на вскочивших было гостей Соковнина. Раздались тяжелые, глухие удары. Соковнин, взметнув руками, тяжело, рухнул на пол, оглушенный царским ударом, а следом за ним повалился и Циклер. Сунулся было Матвей Пушкин, но удар по переносице мгновенно опрокинул его.

— Негодники! Тати ночные! — хрипел царь. — Набата ждали, так вот вам мой набат! — И он бил своими могучими кулаками направо и налево.

Впечатление получилось ошеломляющее. Группа заговорщиков сбилась в одном углу, не осмеливаясь выйти оттуда. Двое стрельцов бросились на колени и с мольбою протягивали к царю руки, а он, понимая, что опасность еще не устранена, все еще размахивал кулаками, поражая каждым ударом кого-нибудь из этих растерявшихся, обезумевших от неожиданности людей.

XLIX ПОСЛЕ РАСПРАВЫ

За дверьми послышался тяжелый топот и бряцание оружия. Это подоспел Лопухин с ротою своих гвардейцев.

— Ты что же это, такой-сякой, — заревел Петр, кидаясь к капитану, — или заодно с этими негодниками? Предать царя им захотел? Так вот же тебе! — И звонкая пощечина раздалась по всему покою.

— За что, государь? — воскликнул Лопухин, хватаясь за щеку.

— А там разберем. Бери их, негодников, вяжи!..

Забывая об оскорблении, Лопухин кинулся исполнять царское приказание. Все, кто был в покое, мгновенно были связаны и, беспомощные, жалкие, с разбитыми, окровавленными лицами, стояли теперь, поникнув головами, перед грозным царем.

— Ты что задумал? — накинулся Петр на Соковнина. — Чем я перед тобой повинен?

Боярин поднял страшное от кровоподтеков лицо и, шепелявя, ответил:

— Немчинам ты предался. Твои холопы царицу по щекам бьют, а тебе хотя бы что. Не царь ты нам, а антихрист!

Петр отвернулся; его рука было поднялась, чтобы нанести удар, но, должно быть, голос совести удержал его. Он отвел свой взор от Соковнина и грозно взглянул на стоявшего рядом с ним связанного Циклера.

Тот словно ожидал этого взгляда и, должно быть, прочел во взоре государя тот же безмолвный вопрос.

— А и я тебя повиню! — закричал он. — Не царь ты нам, и сие я скажу в глаза тебе. Не московская у меня в жилах кровь течет, а та, зарубежная, что твоему сердцу теперь так стала мила. Не холопом я к тебе пришел на твою службу... А что ты надо мной задумал сделать?

— Что? — хмуро спросил царь. — Ну, говори, если смеешь?

— Над честью ты моей задумал посмеяться. Слушайте, православные, слушайте вы, воины христолюбивые! Сведаль он, — указал Циклер на царя, — что жена у меня и дочь хороши, так и задумал учинить над ними блудное дело. Мало ему стало кукуевских немчинок-девок... Так в то число я, Циклер Иван, как про его замыслы узнал, порешил, что мне с ним делать... В пять бы ножей изрезать его, и то мало...

И опять, должно быть, совесть заговорила в душе царя. Стерпел он и эти слова. Надо полагать, что Циклер, как и Соковнин, в смертном отчаянии правду говорил.

— Взять их всех! — распорядился царь. — Пусть в Преображенском приказе пыткой от них правды доведаются, а теперь я на них и глядеть не хочу.

Солдаты окружили захваченных заговорщиков.

— Марш! — скомандовал Лопухин, а сам смело подошел к царю и дерзко спросил: — За что же это ты меня, государь, обесчестил?

Петр только посмотрел на него.

— Тебя? Ах да, я тебя ударил. За что же?.. Да, да... Ты опоздал, не в тот час, в который я повелел, пришел сюда, и я один был против всех. А тут меня убить хотели.

— Великий государь, прости меня на слове! — ответил Лопухин. — Ни на волос не опоздился я, пришел, как надлежало по твоему указу, и даже немного ранее... Послушай!..

Петр насторожился. С ближайшей колокольни доносились мерные удары — било одиннадцать часов.

— Вот час, в который указал ты быть мне, — промолвил Лопухин.

— Да, да, — воскликнул Петр. — Теперь я помню все. Прости меня, пожалуйста! — И с этими словами он обнял капитана.

Царское посещение нагнало такого страха на соковнинские палаты и на всех живших в них, что никто даже не вышел, когда уводили хозяина и его гостей.

А вскоре по всей Москве так и зарокотали, будя спавших, звуки набата. Всполошилась почти вся Москва. На улицы выбегали люди, взглядывали на небо, но зарева нигде не было видно. Вдруг набат оборвался, как-то сразу прекратился. Возбужденные москвичи в недоумении разошлись по своим домам и только на следующее утро узнали, что значила эта полуночная тревога. Одни из них в ужас пришли, и не столько от вестей о соковнинском замысле, сколько от того, что не было удачи ему. Знали в Москве, что рекою польется на Красной площади кровь и что казни будут без числа.

А царь, только благодаря своей смелости и находчивости избежавший смертельной опасности, провел эту ночь в Кукуй-слободе. Только он, неожиданно прибыв туда, не знал, что в гнездышке, которое он устроил для своей любезной Анхен, была другая птица, куда помельче его, орла: так, плохенький коршун-стервятник, да и то не русский, а привозный, зарубежный.

L

РАСПРАВА И С ЖИВЫМИ, И С МЕРТВЫМИ

Хорошо знали умнейшие головы Немецкой слободы ту линию, которую они вели. Создав для порабощения Москвы новую Юдифь Немецкой слободы, они сумели невидимыми, но неразрывными цепями укрепить ее за собой, сделать ее послушным своим орудием.

Анна Монс, эта разбитная мещанка, ласкала московского великого государя, а ее сердце и все помыслы принадлежали другому. Веселый балагур, неутомимый в изобретении всяческих пакостных забав, Франц Лефорт в ту пору владел этим сердцем. Но не ради любви добивался он победы: нужно было держать Анну в руках — и Лефорт держал ее так крепко, что она ни разу не вышла у него из повиновения, исполняла все, что он приказывал ей, и влияла на влюбленного в нее государя в том направлении, в каком угодно было Лефорту.

Тот же метил далеко: он задумал такую вещь, какая даже при быстроте и неожиданности совершавшихся тогда событий казалась прямо-таки невозможной. Этот швейцарский авантюрист стремился — ни много ни мало — к тому, чтобы дочь кукуевского виноторговца стала коронованной русской царицей. Для этого он и восстанавливал Петра против его супруги, постоянно стараясь выставить ее в глазах царя в смешном виде.

И тут самой могучей действующей силой было опять-таки все то же проклятое стремление к высшей власти над всей страной, над всем русским народом. Став московской царицей, Анна Монс в случае смерти Петра явилась бы регентшей до совершеннолетия его сына, и кто же тогда, как не ее любовник, был бы первым лицом в государстве?

Но только с одним Патриком Гордоном, главным вдохновителем и руководителем всей интриги, говорил о задуманном Лефорт, Анне же он никогда ни одним словом не выдавал сокровенных помыслов, и та была уверена, что, любя Лефорта и лаская царя, она действует во благо своих соотечественников.

Само собой разумеется, что Петр Алексеевич ничего не знал об этом и даже не подозревал. Он наслаждался любовью и был уверен, что любим взаимно. Никогда даже и в голову ему не приходило, что у него могут быть соперники.

Да и некогда было думать. По соковнинскому делу шел спешный розыск. На очной ставке в застенке Циклер заперся и говорил, что если он и бывал у Алешки Соковнина, то для покупки лошадей для полков. Когда же его стали пытать, он не выдержал пытки и подробно рассказал обо всем задуманном, выдав всех своих сообщников.

Соковнин был бит плетьюми и повинился. После него повинились и все остальные. Царевна Софья на этот раз осталась в стороне, но зато при вторичном допросе Циклера раскопали неизвестную дотоле вину скончавшегося за двенадцать лет перед тем боярина Ивана Михайловича Милославского, отца первой жены Тишайшего царя, а стало быть — деда неукротимой царевны Софьи. Еще тогда этот ближайший родственник правительницы был главным зачинщиком первого стрелецкого бунта, и государь, узнав об открывшейся новой вине, решил покарать за нее преступника даже после смерти.

В Москве, на Красной площади, был возведен высокий каменный столб, а в него были вделаны пять железных рожнов. В тот день, когда это сооружение было закончено, в Преображенском вывели на плаху Соковнина, Циклера, Пушкина, стрельцов Филиппова и Ро-

жина и казака Лукьянова. И вот, когда они все уже стояли у плах, из-за околицы села показалась невиданная, небывалая процессия: несколько больших свиней, похрюкивая, тащили, по две в ряд, тяжелые сани, а на этих санях стоял ветхий, почти истлевший, покрытый грязной рогожей гроб. Его подвесили к месту казни и установили у самых плах. Когда сняли крышку, то страшное зловоние так и пахнуло вокруг. В гробу лежала сероватая, уже потерявшая всякую человеческую форму масса, среди которой были видны огромные белые черви. Тут же кое-где уцелели обрывки богатой боярской одежды. Это был гроб с тем, что осталось от некогда славного московского боярина Ивана Милославского, тестя царя Алексея Михайловича.

Замелькал в воздухе топор палача, одна за другой покатались головы Соковнина и других заговорщиков, а их кровь, хлынувшая волной из перерубленных шей, лилась прямо в гроб с останками знаменитого боярина. Царь стоял и смотрел на это, и его лицо даже не вздрагивало, как обыкновенно, а только губы кривила злая улыбка.

«Добро тебе, сестрица, милая Софьюшка, вывернулась ты, обелилась, а все-таки это — твоих рук дело. Так вот на ж тебе, угощайся!..»

Отрубленные головы заговорщиков были воткнуты на рожны в столбе, возведенном на Красной площади Москвы, и оставались там, пока не сгнили.

LI

ЗА РУБЕЖ

Царь вскоре и думать позабыл обо всем, что произошло. У него вовсе не было на то времени: он заканчивал последние приготовления к своей заграничной поездке.

Само собой, что после всего происшедшего стрельцов невозможно было оставить в Москве сплоченными, особенно на то время, когда царь московский впервые еще во все века существования Московского государства собирался выехать за русские пределы. И вот стрелецкие полки были разосланы на дальние границы: в Азов, Белгород и другие места. Большая часть их выступила на Литовскую границу, со стороны Великих Лук, куда по случаю волнений, возникших в Польше, были отправлены ополчения новгородского и псковского дворянства для поддержания курфюрста саксонского Августа, искавшего польской короны. Свыше 77 тысяч войск отправлено было на войну против турок, до 35 тысяч послано в Царицын для рытья канала между Доном и Волгою. Казалось, Петр на время своего отсутствия задавал работу всему государству, и для этого разослал людей в определенные места, чтобы удобнее было иметь надзор за массами недовольных.

Всякий, кто мог бы быть опасным, возбуждал подозрение Петра и его правительства — даже отставные стольники, стряпчие и пре-

старелые военные, — не оставался без внимания. Одним из них было приказано поочередно жить в Москве на виду у правительства, другим же — в их деревнях, как бы в ссылке. Для охраны Москвы назначались только гвардейские полки: Семеновский и Преображенский, в преданности которых не могло быть никакого сомнения.

Главный надзор за внутренним управлением государства был поручен ближнему стольнику, князю Федору Юрьевичу Ромодановскому, знаменитому Петрову «князю-кесарю, государичу». При этом назначении весьма большую роль сыграло соображение, что Ромодановский бойким умом не отличался, а жесток был до зверства. Как бы в помощь Ромодановскому, был составлен государев совет из четырех знатнейших бояр: Льва Кирилловича Нарышкина (дяди царя), князя Петра Ивановича Прозоровского, Тихона Никитича Стрешнева и дядьки царя, князя Бориса Голицына. Перед отъездом Петр строго-настрого приказал своим боярам, чтобы как можно скорее покончено было с нелюбимой женою и чтобы возвратясь он нашел ее уже в монастыре.

В первых числах марта 1697 года все приготовления к отъезду за границу были кончены. Было составлено великое царское посольство, которое ради изъяснения дружбы и приязни российского государя должно было посетить главнейшие дворы Европы. Главою посольства стал любимейший друг Петра, Франц Яковлевич Лефорт. Вторым послом был боярин Федор Алексеевич Головин, настолько возлюбивший иноземщину, что без всякого приказа, почти одновременно с царем, снял бороду и щеголял лихо закрученными усами. Впрочем, Головин недаром пользовался репутацией одного из искуснейших политиков того времени. Третьим послом был дьяк Прокофий Иванович Возницын, уже не раз бывавший за рубежом и посетивший в качестве посла Персию, Турцию, Польшу, Венецию. Сам Петр, желая оставить за собой полнейшую свободу действий, скрыл себя под скромным именем десятника Петра Михайлова. Кроме дворян посольства, чиновников посольской канцелярии, свита состояла из семидесяти отборных гвардейцев с офицерами, нескольких шутов, гайдуков и карликов.

Вместе с посольством отправилось тридцать пять молодых дворян, которых предполагалось оставить за границей для приобретения познаний в науках.

Все посольство состояло из 270 человек. Оно выехало из Москвы 9 марта, а Петр, отслушав молебен в Успенском соборе, присоединился к отъезжающим на другой день, в селе Никольском. Отсюда посольство направилось через Новгород и Псков, и 25 марта, в день Благовещения, уже перевалило за шведский лифляндский рубеж.

Исполнилась заветная мечта молодого царя, но его первые впечатления были неблагоприятны. В Риге его чуть не арестовали за то, что он вздумал срисовывать городские укрепления, и Петр поспешил уехать отсюда, назвав Ригу проклятым местом. Отсюда Петр перебрался в Пруссию, несколько зажился здесь из-за польских дел, и только когда Август Саксонский, избранный поляками

на королевский престол исключительно по грозному настоянию русского царя, не желавшего видеть польским королем «петухового» (французского) кавалера (французского принца Конти), вступил с саксонским войском в Варшаву, — русское посольство отправилось далее на Запад. К нему навстречу уже спешили две образованнейших женщины тогдашней Германии — курфюрстина Ганноверская София и ее дочь, курфюрстина Бранденбургская София Шарлотта. Свидание Петра с курфюрстинами произошло в герцогстве Целле, в местечке Коппенбрюге.

В раннем детстве Петр обещал быть замечательным красавцем. Будучи еще одиннадцатилетним ребенком, он поражал своей необыкновенной красотой и живостью. Современники, в особенности выдавшие его в ту пору иностранцы, в один голос говорят, что лицом он был в материнскую родню и в особенности был похож на дядю, Федора Кирилловича Нарышкина, убитого во время первого стрелецкого бунта. Красота и живость остались, но неумеренность во всем — и в трудах, и в забавах, в особенности же в разрушающих здоровье забавах, которыми Петр пользовался даже с отроческих лет, — потрясли его крепкую натуру и оставили следы на его прекрасном лице. Его голова тряслась, лицо то и дело подергивалось конвульсиями, плечи нередко ходуном ходили, а его быстрый и пронзительный взгляд производил неприятное впечатление на людей непривычных¹.

Однако курфюрстины, явившиеся посмотреть на Петра как на диковинку, высланную к ним «нецивилизованною восточною Европою», в своих записках свидетельствуют о том, что московская «диковинка» произвела на них впечатление необычное. Они увидели перед собой необыкновенного человека, поразившего их своими блестящими способностями и в то же время своими недостатками показавшего, из какого общества вышел он и какое воспитание получил.

«Царь высок ростом, — записала курфюрстина София Ганноверская, — у него прекрасные черты лица, он обладает большою живостью ума, но при всех достоинствах, которыми его наградила природа, желательно было бы, чтобы в нем было поменьше грубости. Это — государь очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он — полный представитель своей страны. Если бы он получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинства и необыкновенный ум».

Петр заметно дичился. Коппенбрюге был уже не Кукуй-слобода, и в нем он был не владыка жизни и смерти людской, а так себе,

¹ Новгородский архиепископ Феодосий Яновский рассказывает, что когда он представлялся обоим царям, Ивану и Петру, то к руке первого он подошел без всякого страха, «а как пришел до руки царя Петра Алексеевича, тогда таков на меня страх напал, что мало не упал, и колена затряслись и от того времени рассуждал, что мне от той руки и смерть будет» Один саардамский плотник указывал на трясение головы Петра как на примету, по которой можно было узнать в русском плотнике царя

простой десятник Петр Михайлов. Когда он был приглашен к курфюрстинам, то не хотел идти и долго отговаривался. Наконец он пошел, но с условием, чтобы при приеме не было никого из посторонних. Войдя, он первое время держал себя, как самый застенчивый ребенок. На все вопросы и любезности он отвечал: «не могу говорить», «не могу знать», и при этом закрывал лицо рукой. Однако, когда его пригласили ужинать, то за столом вся его застенчивость пропала. Он позволил войти придворным кавалерам, пил сам из больших стаканов и чуть не насильно поил из таких же стаканов чопорных придворных, не обходя своим вниманием и дам, нередко взвизгивавших в то время, когда он был близко от них. После ужина Петр так разошелся, что пустился даже танцевать.

Однако курфюрстины представляли его себе гораздо хуже.

«Я представляла его гримасы хуже, — записала в своих мемуарах София Шарлотта, — чем они на самом деле, и удержаться от некоторых из них не в его власти. Видно также, что его не выучили есть опрятно, но мне понравились его естественность и непринужденность».

Петр же в своих письмах, отзываясь с удовольствием о «коппенбрюгенских веселостях», написал, что у тамошних дам кость хрупкая, у некоторых из них, когда он танцевал с ними, как будто ребра ломались. Конечно, государь говорил о неведомых ему дотоле корсетах.

Чем дальше ехал Петр Михайлов по западу Европы, тем все более и более непринужденным становился он. В Саардаме он надавал пощечин какому-то Марцену, за что последний получил прозвище рыцаря. В Лейдене, когда он был в анатомическом театре Бургава, то, заметив отвращение своих русских спутников к трупам, заставлял их зубами рвать мертвечину, но зато и сам, будучи в Утрехте на лекции профессора Рюйша, до того увлекся этой лекцией, что расцеловал в восторге препарированный им труп ребенка.

Побывал он и в Англии, и везде оставил по себе память, и замечательно, что не столько своими эксцентрическими выходками, сколько своей любознательностью и стремлением к работе. Не было той отрасли науки, техники, ремесла, торговли, в которые он не заглядывал бы, стараясь приобрести наиболее обширные познания. Именно с этого времени в нем пробудился реформатор, не особенно умный, совсем не дальновидный, но настойчивый настолько, чтоб заставить следовать за собою народные массы.

III

МИЛОСЛАВСКОЕ СЕМЯ

В Москве в отсутствие царя далеко не все ладно было. Уж очень удобный случай для ревнителей дедовщины выдавался к тому, чтобы разом уничтожить все ненавистное новое и вернуться

к возлюбленному старому. Между разосланными из Москвы стрельцами постоянно тлели искры бунта, да и у московских людей они начали разгораться. Ведь среди москвичей стрельцы имели друзей, которые, конечно, не могли не возмущаться тем, что их близких послали куда-то за тридевять земель, ради чего — неизвестно, на убой и трату. А тут по какой-то причине боярский совет нашел нужным передвинуть войска: стрельцы из-под Азова были вызваны на литовскую границу, а на их место назначены оставшиеся в Москве и под Москвой стрелецкие полки. Между тем из полков на литовской границе началось массовое дезертирство. Оттуда беглецы шли, чтобы хоть глазком поглядеть на дорогую Москву, и, являясь туда, сразу же узнавали нехорошие, темные вести.

— Пресветлейшую царицу нашу бояре-безбожники с белого света сживают, — вслух кричали на одной площади, — по щекам ее нещадно бьют, в монастырь идти заставляя.

— Царевича антихристовы бояре изводят, — кричали на другой. — Боярин Стрешнев Тишка задушить его хочет.

— Веру православную запоганили, — гремели на третьей. — Морды брить всем будут... Царь едет и проклятых лютеров с собой везет.

— Само имя стрельцов с корнем вывести хочет, — сообщали бегунам повсюду, — желая, чтобы его препоганные потешные на Руси войском были.

Понятно, какое впечатление производили все эти разговоры на бегунов. Нелепые порой слухи росли, роились, а среди них, как лейтмотив, всегда звенело:

— Одна у нас печальница и заступница — пресветлая царевна, самодержица Софья Алексеевна. Идти бы к ней, вывести ее из монастыря, да челом ударить, дабы защитила она нас!

Некоторые из бегунов остались в Москве, другие возвращались к своим полкам и приносили туда все эти смутные вести. Брожение становилось все сильнее и сильнее. Бояре из совета, должно быть, растерялись; по крайней мере в этот период они не предпринимали никаких решительных шагов.

Царевна Софья Алексеевна тоже не бездействовала. Годы, проведенные в монастыре, не укротили ее; по-прежнему мощен был ее дух, и все более и более яростно кипела в ее сердце злорада брата-царя. К ней заходили и калики перехожие, и певцы-слепцы, и жены стрелецкие с плачем и слезами о своих бедах. Софья знала все, что делается в Москве, и быстро сообразила, что настал удобнейший момент для борьбы с братом.

Царевна Марфа по-прежнему горой стояла за сестру и была ее вернейшею пособницей во всем. Она была ее языком в Москве; Софья не имела возможности говорить, — говорила за нее сестра.

И вот во всех стрелецких полках стали читать новую грамоту: в Москву звала Софья стрельцов, и не одних только их, но и

казаков. Этим она деньги даже давала, только бы они шли да занимали столицу.

Царевнина грамота подействовала. Да, впрочем, она и не могла не подействовать: ведь стрельцы тоже сознавали, что они, как войско, уже осуждены на уничтожение, а следовательно, должны были бороться, иначе их гибель была неизбежна.

Едва настал июнь 1699 года, как по Москве пронеслись ужаснувшие многих вести: стрельцы в составе четырех полков шли от Великих Лук. Царских войск в столице было совсем мало; боярский совет растерялся и не знал, что делать. Положение действительно было критическое. Стрельцы надвигались, все увеличиваясь в количестве, а Москва, недовольная царем, была готова стать на их сторону. Из Москвы нельзя было вывести регулярные войска, так как военная сила была единственной, которая только и сдерживала озлобленных москвичей. В то же самое время правительственным войскам нельзя было защищаться в московских укреплениях: ведь в этом случае нужно было подпустить стрельцов почти к самой Москве, и не было сомнения, что вся столица поднимется против царя за Софью, как только увидит привычные, любимые полки. Стрельцы же уже вели сношения с Москвой.

«Не бойтесь! — передавали они через своих верных людей в столицу. — Мы идем к Москве милости просить о своих нуждах, а не драться и не биться».

Москва вся так и кипела, так и бурлила, а мятежники подходили все ближе и ближе. Бояре решились на риск и послали против них роты стольников, стряпчих, жильцов и дворян московских. За ними с частью гвардейцев пошел Гордон; ополченскими же войсками назначен был командовать боярин Шеин. Шли они с возможной скоростью и едва успели занять Воскресенский монастырь, в сорока шести верстах от Москвы, как к реке Истре стал подходить стрелецкий авангард.

Гордон укрепился в монастыре 17 июня. Шеин, бывший несколько впереди, завел переговоры со стрельцами, которых отделяла от царских войск одна только речка Истра.

По полномочию боярского совета, Шеин через посланных уговаривал стрельцов возвратиться в Великие Луки, обещал выдать им жалованье и удовлетворить все их требования.

— Не воротимся! — кричали в ответ стрельцы, — Москва уже близко... Мы пришли повидаться с нашими женами и детьми.

— Смотрите, путь на Москву закрыт для вас, — предупреждал посланцы Шеина.

— Мы откроем его! — слышались крики. — Ваших пушек мы не боимся — и не такие видали!

С барабанным боем, с распущенными знаменами, имея впереди священника с крестом, переправлялись стрельцы через Истру. Шеин, щадя их, приказал дать залп из пушек вверх. Ядра перелетели через головы наступавших, но это нисколько не образумило их.

— Чудо, чудо! — кричали в рядах стрельцов. — Сам Господь поборает за нас! Пушки поганцев не берут православных...

Но следующий залп, пущенный уже в гущу людей, произвел свое действие. Первые шеренги были сметены, а «которые не валились от ядер, то сами падали на землю и не смели шевельнуться», — рассказывает историк. И в это мгновение на перепуганных, обезумевших от страха стрельцов кинулась царская конница. Сколько тут poleglo — неизвестно. Толпами загоняли несчастных в Воскресенский монастырь, и скоро их там было свыше четырех тысяч.

LIII

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦАРЯ

Опять дело стрельцов было проиграно, и на этот раз уже безвозвратно...

Тотчас же начались пытки и казни. И тут-то князь-кесарь Ромодановский показал себя.

На первых же порах погибло несколько сот стрельцов.

Москва замолкла в ужасе: ничего подобного не видано еще было даже в страшные времена Грозного царя, а впереди готовилось горшее. Быстро возвращался царь Петр Алексеевич в родимую Москву и не прежним уже он был. Раньше он не совсем дочиста сносил бороду и не постоянно ходил в немецком платье; теперь же и сам он, и все те, кто были с ним, были уже «во блудоносном, гнусном образе», то есть без бород и в немецком платье.

Царь Петр Алексеевич возвращался через Польшу и застрял там у своего друга-приятеля, Августа Саксонского. Дым коромыслом шел в эти дни в польском королевском дворце: насили-насилу вырвался русский царь. Ехал он спешно, и в его свите было новое близкое ему лицо — польско-саксонский резидент Кенигсек. Это был молодой человек, красивый, изящный, вкрадчивый. Царь Петр оказывал ему большое внимание, но сильно косился на него любимец царя, Алексашка Меншиков.

20 августа 1699 года по Москве разнеслась весть, что поздно вечером накануне вернулся наконец из-за рубежа царь и проехал не в дворец свой, не к своей супруге кроткой, ласковой, на сына не пожелал взглянуть, а прямо с дороги отправился он в Кукуй-слободу, к «немчинской девке Анне Монсовой», и бражничал там всю ночь до утра.

Москва была оскорблена. Но ни одна живая душа и пикнуть не посмела: у государича расправа была короткая, а у государя — и того короче. Но пока еще царь ничем не выказывал своего лютого гнева. Известно было только, что из Кукуй-слободы он перебрался в Преображенское и там занимался с сопровождавшими его иностранными послами. Многие из них отъехали назад с большими и богатыми подарками, граф же Кенигсек остался в Москве. Сведали

также московские люди, что, едва прибыв, царь сейчас же себе на просмотр стрелецкий розыск потребовал и читал его по ночам.

Тихо-тихо было в Москве в эти дни. И вот прошел слух, что зовет к себе царь бояр в Преображенское. И поняли тогда, что начинаются расправы за все прегрешения.

Кто поумнее да подальновиднее был, поспешили снять бороды, вырядились в немецкие короткополые камзолы, и, конечно, такими Петр остался очень доволен. Но недогадливых было больше; многие с бородами явились, в блестящих охабнях. Вышел царь Петр: одним ласковое слово сказал, со всеми поговорил, да только видели все, что мрачен он, а его лицо то и дело кривит улыбка, — нехорошая улыбка. Многим было ведомо, что вслед за такими улыбками много крови проливалось.

Между прочим, вышло так, что один малоразумный боярин в такие-то мгновения вдруг заспорил с Францом Лефортом и укорил его тем, что он «блудный образ имеет, сняв божеское украшение мужеское — бороду».

— А у тебя больно длинная борода, — нагло ответил ему разозленный авантюрист, — смотри, не привязная ли она! — И, недолго думая, он нанес старику оскорбление, которое испокон веков на Руси считалось поносным: дернул его за бороду.

Не мог стерпеть это боярин, закричал «бесчестье» и сейчас же царю на дерзкого пожаловался.

Царь слушал, и его лицо все темнело и темнело.

— Немчин, говоришь ты, тебя избидел? — закричал он. — Так что же я-то, царь ваш, помазанник Божий, тоже, по-твоему, — немчин, ежели бороду снес? Так вот вам; ежели по бороде народ считаете, так все вы у меня немчинами будете.

Он захлопал в ладоши. Из соседнего покоя выскочила целая орава шутов, заранее приготовивших ножницы.

— Окорнать всем им бороды, да и полы кафтанов тоже! — раздался голос царя.

И тут случилось то, что и во сне не снилось. С гиканьем, визгом кидались шуты на стариков, ключьями вырезывали им бороды, обрезывали полы их кафтанов и платья. Стон, плач, проклятья слышались в покое, только двое — боярин Тихон Стрешнев и князь Михайло Черкасский — остались с бородами, остальные все лишились «божеского мужеского украшения».

Но и этим не кончилось. Царь всем приказал оставаться на пиру, оскорбленные бояре должны были, скрепя сердце, веселиться вместе с царем и «погаными немчинами», хотя у каждого из них на душе кошки скребли.

Смелый и рискованный вызов был брошен в лицо целому народу. Но ничего, народ стерпел. Поговорили, поговорили, но это явное глумление над стоявшими на самом верху государства людьми не вызвало даже вспышки в народе. Вспомнил, должно быть, народ московский, что эти люди испокон веков его заклятыми врагами были, всякими тяготами его давили, войны без нужды устраивали,

правду от царского престола отгоняли. Вспомнил все это народ и не вступился за них, как и впредь никогда не заступится за тех, кто стеною стоит между ним и царским престолом.

LIV

ПОСЛЕДНЯЯ БЕСЕДА

Убедившись, что народ по-прежнему остается на его стороне, Петр, еще не трогая стрельцов, принялся за свою неукротимую сестру Софью Алексеевну. Тут он сам производил следствие. В один из сентябрьских дней царь пожаловал в Новодевичий монастырь. Из розыска ему было уже известно, что не одной только рассылкой грамот к мятежникам провинилась перед ним неукротимая сестра; ему было ведомо, что ее московские сторонники в то время, когда в Москву шли мятежные стрельцы, подкопались через землю под келью царевны, вскрыли пол и чуть было не вывели ее из монастыря, да только бдительность гвардейского караула, в особенности его начальника, князя Трубецкого, помешала этой отчаянной попытке окончиться успехом.

Софья даже не встала, когда в ее келье появился брат. В эти последние десять лет она иногда видала его, но теперь, когда Петр вошел, она уже знала, что для нее все было кончено. До этого мгновения в течение десяти лет она все еще жила сладкой надеждой, что, быть может, ей удастся гордой орлицей вылететь из-за монастырских стен, утолить жажду мести; но вот все рушилось, страшный брат одолел.

— Пришел я, сестрица, побеседовать на последях с тобой, — присаживаясь против сестры и понижывая ее своим огненным взглядом, заговорил Петр.

— О чем говорить-то нам? — ответила Софья. — Все, что можно было, то другие за нас сказали, а глумиться тебе надо мною нечего. Ничего ты этим не возьмешь...

— Да не для глумления я и пришел к тебе, — заметно сдерживаясь, ответил Петр, — а так... Не могу же я забыть, что хотя я нарышкинец, а ты — Милославского семя, и одна у нас кровь течет. — Голос царя повышался. — Знаешь, поди, ты, что на Москве-реке и на Истре было, да и сверх того тебе, как у кормила правления стоявшей, ведомо, что и впредь вот в эти дни будет...

— Полно! Не гневи своего сердца! — зло усмехнулась Софья. — Как будто и немного в нас одной крови... отцовская-то, ну так что ж? Может быть, и эта кровь поразжижена в тебе, братец, — кинула она ядовитый намек на придворные сплетни¹.

¹ По Москве был пущен слух, что царь Алексей Михайлович пригрозил заточить свою вторую супругу Наталью Кирилловну в монастырь, если она разрешится от бремени девочкой, и что Наталья Кирилловна, родив девочку и боясь угрозы царя, добыла в Немецкой слободе новорожденного мальчика, так что вышло, будто у царицы родилась двойня.

— Молчи! — хрипло крикнул Петр и так ударил кулаком по столу, что раскололась его доска. — Будто ты не видишь, что мы с тобою во всем одинаковы — и нрав у нас один и тот же, и воля. Мы все крутить беремся и скручиваем. Так что ж тут говорить-то? Если бы твой верх был, ты-то пощадила бы меня? Пожалела бы меня, а? Ну-ка, скажи мне правду!

— Ни за что! Никогда! — так и вспыхнула вся Софья. — Правду ты сейчас сказал, одинаковы мы... Два медведя, Петр, в одной берлоге не уживаются. На самую малую минуточку удалось бы мне верх взять, так не было бы тебя в живых. Вот тебе моя правда, ты хотел ее.

— Спасибо! — глухо ответил Петр. — Так значит, ты ненавидишь меня?

Софья ответила не сразу.

— Нет! — после некоторого молчания произнесла она. — Не раз я, сидя вот здесь, в тиши, сама себя о том спрашивала, и не было ненависти к тебе в моем сердце. Да и как ей быть-то? Ведь помню я, как ты родился. Я тогда еще девкой была, и, как теперь помню, батюшка наш, хвастаясь, тебя принес и мне на руки дал. Еще тогда огненное чудовище с хвостом по небу ходило и людей пугало; помню, говорили тогда: «К великим бедам это знамение небесное, антихрист народился». Вот так оно и вышло. Злое ты дело делаешь для своей земли, Петр, ох какое злое, поверь моему слову! От народа ты отшатнулся, к иноземцам ударился, их обычаи заводишь... Да ведь ты один, а народ твоих новшеств не хочет, да и не надо их... Ты вон за рубежом был, попригляделся, поди; ведь народ-то там такой же, как и наш московский — ой не хуже тебя я знаю! — тот же зверь лютый, что и здесь у нас. Да только та разница, что зарубежные народы свой путь проходили века, а ты хочешь весь свой народ вровень с ними в малые годы поставить. Ведь невозможно это... Вон оберегатель, уж то ли не умница был, то ли он не перевидал на своем веку! И в немецком платье он любил щеголять, не брезговал им, и табачным зельем дымил, а от дедовской старинки не отказывался. Говаривал он: «Хорошо за рубежом, да и у нас не худо». Вровень мы с зарубежными идем, а ежели все переломать да перековеркать, а потом так поломанное и бросить, — не будет из этого толка. Что ж ты думаешь? Я над таким делом, вот какое ты вершить теперь хочешь, не раздумывала, что ли? И так, и эдак прикидывала, да видели мы с оберегателем, что ежели Русь на зарубежный лад повернуть, так она в хвосте всех соседей пойдет, и каждый из них, кто захочет, над нею измываться будет. Ломка народ погубит, и мощь в ней ослабит. А ты задумал, что, ежели боярина или смерда в немчинское платье перерядить да бороду ему снести, так он и совсем по-зарубежному умным будет. Нет, не дождешься этого! Ты и сам-то вот немецкий кафтан одел, а душой-то весь прежний остался. Ты только кулаком действовать умеешь и сам только одного кулака боишься. Разумное слово тебя не проберет: смысла у тебя не хватит, чтоб понять его. И много ты наделаешь

беды. Пока еще ты живешь, все кое-как у тебя ладиться будет, а умрешь — прахом пойдет твое дело. Иноземцы засилье возьмут, и будет у них твой народ рабами. Вот тебе мой сказ!

— Сестра! — воскликнул Петр. — Помиримся! Забудем!.. В великом почете я тебя около себя поставлю, вознесу тебя так, как тебе и во сне никогда не снилось, Ваську Голицына тебе верну, пользуйся им на старости лет. Помиримся!

— Ого, какие ты песни, братец, запел! Так вот что я тебе скажу, царь-государь московский: как только выйду я за эти стены, хоть ты сам меня выведи, так сейчас же весь народ на тебя подниму. Знаешь ведь, вся Москва меня любит. Увидят меня — все за мной пойдут, а ты и ночи после этого не переживешь.

— Змея! — быстро меняясь в порыве, выкрикнул Петр, хватаясь за рукоять сабли. — И ты смеешь говорить мне это?

— А что же? — злобно ответила Софья. — Не одни немецкие шуты правду говорят русским царям. Чем еще сманивать выдумал! «Возвеличу», говорит! Что ж ты меня в постельницы, что ли, меня, царскую дочь и свою старшую сестру, к своей немчинской девке поставишь, когда на ней от живой супруги женишься и ее русской царицей сделаешь?..

Софья оборвалась на полуслове. С хриплым воплем вырвал Петр из ножен саблю и кинулся было к ней. Софья стояла, не дрогнув, со скрещенными на груди могучими руками. Она была ростом выше, чем брат, полнее фигурой, и даже великан Петр в сравнении с ней казался меньше.

Сабля уже взвилась в воздухе; еще мгновение — и Софья упала бы пораженная, быть может, насмерть, но тут какое-то существо кинулось к ногам Петра и охватило их, громко крича:

— Государь! Не забудь, она — твоя сестра. Бога вспомни!

Это одна из монахинь, приставленных к царевне-заточнице, не будучи в состоянии вынести убийство любимой царевны, не помня себя, кинулась на защиту ее перед остервенившимся братом.

Этот вопль заставил Петра опомниться, сабля выпала из его рук, и он опрометью бросился вон из сестриной кельи. На крыльце его ждал Лефортов.

— Что с вами, государь? — тревожно спросил он, видя перекошенное лицо своего царя и друга.

Петр в порыве бросился к нему на шею, плакал, обнимая его, и, прерывая свои слова рыданиями, произнес:

— Что это за женщина!.. Как она умна, и как жаль, что у нее такое злое сердце!

Это было последнее свидание Петра с сестрою.

Вскоре Софья была насильно пострижена в монашество с именем Сусанны, а затем ее заставили принять схиму. Вместе с Софьей пострижена была в монашество и другая неукротимая сестра царя, Марфа. Имя ей было дано Маргарита, но напоследок Петр все-таки не удержался от того, чтобы приготовить сестре такой сюрприз, который вряд ли ожидали от него.

Вслед за этой последней беседой над Москвою разразилась страшная, небывалая буря.

Ни боярам, ни патриарху не удалось заставить царицу Евдокию дать согласие на посестрие, то есть на пострижение в монастырь. Петр сам обделал это дело, побеседовав с женой.

Что и говорить, «не под пару» своему супругу была царица Евдокия Федоровна. Тихая, скромная, застенчивая, она, вероятно, казалась ему неумною и, конечно, уж не могла доставить ему таких «веселостей», как разбитная немецкая мещанка Анна Монс. А пресыщенному донельзя человеку «телесные утех» только тогда и хороши, когда они новы и необычны, а стало быть, и неизведанны... Евдокии же Федоровне положение законной жены и венчанной царицы препятствовало пуститься «во все тяжкие», и само собой разумеется, что нечем было ей привлечь своего кипевшего всяческими страстями супруга под супружескую кровлю, нечем было и удержать его около себя...

Когда же Евдокия Федоровна узнала, что она обречена своим супругом на «посестрие», то тут уже сказала в ней не только оскорбленная женщина, но и мать, уstraшенная за жизнь своего детища...

Не обычно кроткою, покорною, а пылающею гневом застал Петр свою супругу, когда явился для решительного объяснения.

Царица, как и всегда, была со своим сыном — второй ее ребенок умер в младенчестве, — перед нею лежал раскрытый псалтырь, и по нему она читала вслух мальчику.

— Пришел я, Авдотья, — с некоторым усилием выговорил Петр, — одно дело повершить... Так при нашем разговоре Алексею быть не надлежит... Вышли-ка его к мамкам да нянькам...

Этот приступ дался ему тяжело. Накануне с сумерек была великая попойка, и без того больная голова болела еще сильнее. Да, направляясь в «Большие терема» к жене, для храбрости, чтобы «язык развязать», Петр тоже выпил, но теперь и хмель не брал его: как-никак, а в этом деле он не чувствовал себя правым, и слова туго шли с его заплетавшегося языка. А тут еще горевшие ярим гневом глаза жены подсказывали ему, что объяснение будет не из легких...

— Знаю я, с каким ты делом пожаловал ко мне, Петр Алексеевич, — выговорила наконец, едва сдержав свое волнение, Евдокия Федоровна, — ведомы мне твои помыслы и ведомо все, что надумал ты... Пусть же и сын мой свое ведает, не хочу отсылать Алешеньку...

— Ой, Авдотья, — так и загорелся Петр, — отошли лучше добром... Не спорь со мною, не таких, как ты, видывал и в свое ярмо вводил... Отошли сына...

— Не отошлю! — упрямо воскликнула царица.

Петр подошел к ней и схватил ребенка за плечо. Перепуганный царевич закричал, заплакал и вцепился в одежду матери, но в следующее мгновение он был уже в руках отца.

— У-у, змееныш, — проскрипел зубами тот, — эй, кто там есть, мамки, няньки!

На зычный оклик вбежали несколько бледных, как полотно, боярынь. Евдокия Федоровна бросилась было к сыну, но так и отлетела в угол, отшвырнутая могучей рукой мужа.

— Возьмите царевича, — приказывал тот, — отвести в покои сестры моей, царевны Натальи Алексеевны, и, пока я не позову, близко сюда не подходить...

Царский наказ еще не был закончен, а боярыни уже исчезли, унося с собой плакавшего и кричавшего царевича. Супруги остались одни.

— Напрасно противиться задумала, Авдотья, — заговорил первым Петр Алексеевич, — счастлив еще твой Бог, что не гневен я еще, а то бы...

Он не dokonчил, но сверкавшие глаза и без слов выразили его мысль...

Царица поднялась с пола. Теперь она не плакала; лицо словно вдруг застыло.

— Сказала ты, что ведомо тебе, зачем я сюда пришел, — начал Петр, зорко следя за женой, — ежели так, и лишние слова мне тратить не нужно... Да, Дуня, не судил нам, видно, Господь Бог счастья... Уж не кривой ли поп нас с тобой венчал? Разные мы с тобой, и ты ко мне подрядиться не можешь... Думать не хочу, что не желаешь; вижу — желаешь, да не можешь... Так вот, чем нам кошкой с собакой в одном мешке жить, лучше разойтись нам...

— Тебе в Кукуй-слободу, а мне в монастырь! — неистово выкрикнула Евдокия Федоровна.

— А что же, ежели и так? Я вон буян, шумник, прелюбодей, — так мне и место в Кукуй-слободу, а ты тихая, кроткая, смиренная, кому же мои грехи отмаливать в монастыре, как не тебе? Я нагрешу, а ты отмолишь... За тем тебя я и в монастырь посылаю...

— Грех-то разве ты помнишь?

— А то нет, что ли? Эх, Дуня! Вот и теперь-то ты меня не понимаешь... Да ты подумай только, каков я? Ведь мать меня от какого-то небесного огня зародила...

— То-то и говорят! — усмехнулась царица.

Эти слова по отношению к Петру, да еще сказанные ему прямо в глаза, были уже оскорблением; они затронули самое чувствительное место в его душе. Петр знал, какие слухи ходили относительно его появления на свет Божий; еще недавно услышал он такой же попрек от сестры Софьи, теперь услышать его и от нелюбимой жены...

— Молчать! — заревел он, весь трясаясь от бешенства. — В застенки пошлю, батогами забью, а голову на Красной площади на рожне выставлю...

— Посмей-ка! — злобно усмехаясь, ответила эта маленькая женщина, превратившаяся под влиянием гнева в тигрицу. — Пальцем только посмей меня тронуть, так тебя народ в клочья разорвет... Того не забудь, что царица я, венчанная царица... И любят меня, а тебя все ненавидят, все тебя антихристом считают... Ежели из-за твоей заведомо блудной сестры гиль да смута не переводятся, так из-за меня, царицы, и конец твоему царствованию придет... Не потерпят православные... Всех их тебе не казнить, найдется кому и с тобой управиться...

Такого отпора Петр никоим образом не ожидал от обычно кроткой супруги. Он, как ни был гневен, а сразу понял, что в ее словах — правда, и сообразил, что для него, для задуманного им дела, нельзя доводить до крайности народное возбуждение. Теперь он уже ненавидел эту смелую женщину и в то же время уже боялся ее.

— Не будем, Дуня, препираться, — сдерживаясь и почти ласково сказал он, — кто из нас не прав, то Бог рассудит... Он Один — Судья меж нами... Не ты первая с престола царского в монастырь идешь... Вспомни царицу Соломону.

— Так та бесплодна была, — возразила Евдокия Федоровна, — а я тебе двух сыновей народила...

— Один остался...

— А второго кто, пока еще он не родился, замучил?

Петр сделал вид, что не слышит этого вопроса-намеха...

— У царя Ивана Васильевича и детные жены в монастырь уходили, — словно вскользь заметил он, — а его царство от того не рушилось... И ты пойдешь, — вдруг снова раздражаясь, закричал он, — даю тебе последний срок до завтрашнего утра, а то... а то, Дуняша, ведь и ты бездетной стать можешь... Подумай над этим моим словом...

Евдокия Федоровна страшно вскрикнула. Как ни закалилась она в эти годы душевных испытаний и бурь, но тут уже не выдержала и лишилась сознания.

Петр задумчиво посмотрел на нее, потом махнул рукой и вышел из царицына покоя.

— На завтра, чем свет, — приказал он встретившейся на дороге боярыне, — приготовить надобно колымагу: царица на богомолье в Суздаль отъедет... Сейчас она мне о том сказывала, как я ей ни перечил...

Сказав это, Петр умчался в Кукуй-слободу.

Все вышло так, как желал царь Петр Алексеевич.

Девятилетний сын Алексей был отнят у бедной женщины и передан на воспитание родной сестре царя, Наталье Алексеевне, а несчастная Евдокия Федоровна была увезена в Суздаль, где и пострижена в монашество, с именем Елены, в Покровском женском монастыре. Все было устроено, и теперь оставалось только залить кровью Москву, навсегда отучить ее даже думать о сопротивлении царю.

КРОВАВАЯ ЗАРЯ

30 сентября из села Преображенского в Москву выехал страшный поезд. Ехали одна за другой больше ста телег, и в каждой телеге сидели по два осужденных стрельца, с обрезанными у рубях воротами, с подстриженными сзади волосами. У каждого из них в руках было по зажженной свечке. Сзади, неистово голоса, бежали их жены и дети. У Покровских ворот страшную процессию ожидал сам Петр. На этот раз он был не в немецком платье, а в старом московском.

В его присутствии были прочтены стрельцам их вины.

«В расспросе с пыток все сказали, что было прийти к Москве, и на Москве, учиня бунт, бояр побить и Немецкую слободу разорить, и немцев побить, и чернь возмутить, всеми четыре полка ведали и умышляли. И за то ваше воровство указал великий государь казнить смертью».

До 22 октября с перерывами продолжались казни. Стрельцов казнили у всех ворот города, вокруг Земляного города, на стенах по Белому городу, на Красной площади, в стрелецких слободах и у съезжих изб. У Новодевичьего монастыря, как раз под окнами кельи царевны Софьи, повешено было 230 стрельцов, и три передних из них, качавшиеся на виселице у самых окон, держали в руках копии с челобитной, в которой они просили царевну принять над ними правление. Целые пять месяцев оставались эти трупы перед окнами царевны, и она должна была глядеть, как воронье расклевывало тела преданных ей людей. В Преображенском казни были обращены в забаву. Иногда, когда шумный пир достигал своего разгара, приказывали вывести из тюрем десяток-другой стрельцов, чтобы «поразмязть над ними руки». Пьяные собутыльники царя рубили стрелецкие головы. Но рекорд палачества остался за Алексашкой Меншиковым. Он на опыте доказал, что может, не выпуская из рук топора, одну за другою срубить двадцать пять голов.

Но нелегко доставалось это кровопролитие царю Петру. Его нервы не выдерживали этого ужаса. По свидетельству одного из близких к нему людей, Петра дергали тогда по ночам такие конвульсии во всем теле, что он клал с собой в постель одного из денщиков и, только держась за его плечи, мог заснуть. Судорожное подергивание головы, носа и лицевых мускулов усилилось еще более с этого месяца страшных казней.

Однако народ был утрашен. Искры пожара были в конец залиты стрелецкой кровью.

Предпоследний год XVII столетия кончился для московского царя несчастливо. Один за другим умерли его друг Лефорты, потом преданный ему боярин Шеин, победитель мятежных стрельцов, и, наконец, Патрик Гордон. Но Анна Монс оставалась. Петр уже не скрывал ни от кого, что хочет жениться на ней, но смерть Лефорты лишила Анну ее лучшего советчика, и вскоре она доказала, что

сама по себе она не в состоянии идти таким путем, каким вел ее тайный любовник.

Анна Монс добилаь всего. Несомненно, что московский царь любил ее. Именно такая, как она, женщина и была нужна ему. Статная, видная, ловкая, с крепкими мышцами, высокогрудая, со страстными огненными глазами, находчивая, вечно веселая, не только по характеру, но и в физическом отношении превосходившая царицу Евдокию, Анна Монс была идеалом женщины для Петра, и если бы Лефорт не умер, так, может быть, Анна и была бы русской царицей; но, оставшись без руководителя, она показала себя только жадной мещанкой и похотливой немкой. Петр осыпал ее подарками, дарил ей целые поместья и назначал ей сборы, которые должны бы были быть государственными; так, он издал указ, по которому все, за исключением простолудинов, должны были брить бороду; тот же, кто хотел сохранить ее, должен был платить особую пошлину, и весь сбор этой пошлыны был назначен в качестве ренты все той же Анне Монс. Но она не довольствовалась этим; она бралась за деньги выпрашивать у царя явно несправедливые постановления. Кто хотел добиться чего-нибудь от Петра, должен был идти к Анне Монс на поклоны и нести ей приношения. Около же царя был другой, не менее ее алчный, сластолюбец-выскачка, Алексашка Меншиков, превратившийся уже в Александра Даниловича. Этот пока еще только практиковался в лихоимстве, но Анна брала, нисколько не стесняясь.

В конце 1699 года царь должен был выехать под Азов. Нежнейшие письма писала ему из Немецкой слободы его Анхен, и чаще всего эти письма диктовал ей очень скоро заменивший Лефорта саксонско-польский резидент князь Кенигсек. Любовница царя до безумия влюбилась в него; он же, так же, как и Лефорт, видел в ней только орудие воздействия на Петра и, попадая в свой интимный круг, зло высмеивал и свою кукуевскую возлюбленную, и венценосного рогоносца.

Петр ничего не знал об этом. Для него наступала пора завести в России те новшества, которые так по сердцу пришлось ему во время зарубежного путешествия. К этому времени он уже стал мощным царем-преобразователем. Он видел, что все уже было подготовлено к тому, чтобы повернуть всю Россию на зарубежный лад, и вовсе не думал о своих личных делах. Впереди ему предстояла тяжелая и рискованная борьба с коронованным викингом, шведским королем Карлом XII. Петр спал и видел возможность бросить опостылевшую ему Москву и пробиться на берега открытого моря.

НА ЗАКАТЕ ЛЮБВИ

I ПОЛЕТ СОБЫТИЙ

История совершается так, как ее направляет судьба. Человек бессилён изменить по своему ее ход. Судьбы истории непреклонны, непоборимы; беда, если кто-либо делает попытку сбить с пути движение прогресса, направить его по иному или даже ускорить его. Не бывает добра от этого. Всякая ломка есть разрушение. Вместе с обветшавшим погибает и то, что было и хорошо, и прочно.

Византизм, занесенный на Русь в XVI столетии, принес ей много зла, но не погубил ее, даже не надломил ее мощи. Наверху, у «кормилы правления», остались «свои». Зверски кровожадны, развратны и проч., и проч. были правители тогдашней Руси, травленной, как молью, византизмом, но они были в полном и духовном, и кровном единении с народом. Они не были чужды ему и жалели, и берегли его! Они смотрели на народ, как на меньших братьев, поставивших их во главе себя, и ни на что не решались без народа. «Венчанный гнев на престоле» — Иван Грозный правил страной вместе с народом, и народ, понимая его, любил его. Стоило какому-то проходимцу назваться его сыном, как полетел с престола умница Борис Годунов со всей своей семьей, и народ весь пошел за самозванцем. А самозванцем был тоже талантливейший человек, первый, объявивший Россию не царством, а империей, заботившийся о просвещении народных масс; но стоило старухе, одичавшей в монастырской келье, сказать перед народом, что самозванец — не сын Грозного, и от него даже праха не осталось. После него каждый, кто называл себя сыном Грозного или даже его внуком, мог рассчитывать на полнейший успех среди народа. История определенно говорит об этом.

Но внутренние смуты не подорвали государства. Россия того времени отбилась от всех врагов. Последовало избрание на царство Романовых, покорно-выходцев из-за рубежа, но ставших к тому времени русскими и по крови, и по духу. Народ следовал за ними.

Преобразованиям Петра, которых народ в своей массе не понимал, если и было оказываемо, то только пассивное сопротивление. Стрельцы, казаки, раскольники — все это были отдельные, единичные вспышки частичного недовольства. Ничто не могло бы удасться преобразователю Петру, если бы народная гуща не была уверена, что «сердце русского царя — в руках Божиих» и что русский царь творит то, чего Бог хочет.

Петр, эта выдающаяся личность мировой истории, прекрасно подготовил почву для своих реформ. Но он был смертен и, разрушив старое, мог в двадцать восемь лет своей последующей жизни только возвести весьма непрочный фундамент для нового. Своими реформами он только слегка коснулся поверхностной народной толщи. Работая сам, он не вкоренял реформы, а заботился лишь о внешности; ни на что другое у него не хватало времени, — жизнь так коротка! И вышло, что перелицованная им Россия «от ворон отстала и к павам не пристала».

А между тем для Москвы и всей России начиналась новая жизнь, и именно по такому образцу, какой создан в мозгу их молодого государя.

Наступало время великих, но только по внешности, преобразований. Начиная их, царь Петр Алексеевич заботился только о настоящем. О будущем не было никакой думы. Молодая династия была еще недостаточно прочна на престоле. Маленький наследник Петра, хилый, болезненный Алексей, был ненадежен. Царь Петр, приступая к преобразованиям, оставался один.

Смерть таких люден, как Шеин, Патрик Гордон и в особенности бывший в полном расцвете сил Лефорт (он умер на 45-м году жизни), была ударом для царя-преобразователя. Ведь это были такие люди, на которых он мог полагаться, и их не стало как раз в то время, когда наступала пора задуманных преобразований. В Кукуй-слободе тоже не было более таких, которым мог довериться государь. Сама судьба снисходительно указывала ему, что помощника в предполагаемом деле нужно искать только среди русских.

И вот на смену кукуевским слобожанам явились Шереметев, Апраксин, Репнин, Долгорукие, Салтыковы, но их было еще мало. Нужно было создавать людей, и Петр, не найдя их в верхах народа, не задумался взять их с низов. Сам собой выдвинулся Александр Данилович Меншиков, в то время поручик Преображенского полка. Оставляя в стороне его жадность, корыстолюбие, жестокость, — это, пожалуй, был самый выдающийся из сотрудников преобразователя в ту пору его жизни. Как и все выскочки, он, попав на высоту, не чувствовал себя там прочно и постоянно страшился, как бы кто-либо не столкнул его опять в грязь. Страшась, что этот момент наступит не сегодня-завтра, Меншиков спешил обеспечить себя на случай несчастья, мздоимствовал направо и налево, и можно сказать, что в России еще не было такого «рвача», каким был он.

— К Алексашке Меншикову, — говорил, между прочим, московский гость Романов одному из своих знакомых, — государева милость такова, что никому такой нет.

— Што ж, — ответил знакомый, — молитва о том Алексашки к Богу, что государь к нему милостив.

— Тут Бога и не было; черт его с ним снес, что вольно ему, что черту в своем озере возиться, желает, что хочет...¹

¹ Историческая фраза. «Судные дела Преображенского приказа».

В Анне Ивановне Монс Меншиков, конечно, видел не только соперницу, но и страшного врага себе. Ведь он знал, что Петр намерен жениться на ней, и, конечно, как бы он высоко ни поднялся при государе, не подданному было бороться с царицей, хотя бы уже по одному тому, что «ночная кукушка всегда дневную перекукует».

И Меншиков скоро сообразил, как ему бороться с этой всемогущей в то время женщиной.

II

ДРУГ ДРУГУ РАВНЫЕ

Хитер был Алексашка и знал, что клин клином нужно вышибать. Только некогда было ему заниматься этой интригой. Возвратившись из-под Азова, царь никому не давал передышки в работе, и даже о пирах ничего не было слышно. Да и до того ли было Петру? Он завершил подготовительную работу и теперь спешил выдерживать экзамен. А в Москве в эту пору было очень не спокойно. Развелись и дневные, и ночные грабежи. На улицах шел грабёж с насилием, грабили даже монахи. Однажды сам царь подвергся грабительскому нападению смиренных иноков, а о других представителях населения и говорить нечего.

И вот в такой то момент Петр задумал новую войну. Датский король Вольдемар, польский король Август (Саксонский) втянули его в коалицию против Швеции. Явился шведский перебежчик Паткуль, который лстивыми и вкрадчивыми речами успел так завлечь царя, что он подписал союзный договор и принял на себя обязательство выставить против шведов достаточное войско. Между тем Швеция в то время была ближайшей соседкой России. Шведские владения начинались за Псковом. Все побережье Рижского залива, а вместе с тем и вся Нева от Ладожского озера до устья были шведскими. Здесь, при истоке Невы, стояла сильнейшая по тому времени шведская крепость Нотеборг, а выход в устье заграждала другая, стоявшая в устье реки Охты, крепость, Ниеншанц. Издревле вся эта местность вплоть до реки Сестры к северу принадлежала русским и была уступлена Швеции лишь при первом Романове по Андрусовскому договору. Более всего на Неву и ее устье зарился московский царь Петр. В том плане, который создавался у него, это место было важнейшим, так как обеспечивало выход к морю. Паткуль в особенности сильно напирал на это и главным образом возможностью завоевания этих мест и соблазнил Петра выступить против шведского короля Карла XII, которого Петр не на шутку побаивался.

«Коронованный викинг», как называли Карла XII, был человек такого же калибра, как и московский царь, только посдержаннее и не столь грубый. Будучи молодым, он не рубил сам голов провинившимся подданным, но упражнялся в том же на баранах. Дели-

катный в личных сношениях с кем бы то ни было, он во время катания по Стокгольму нередко приказывал своей свите штурмовать дома мирных граждан, а бывали случаи, что штурмом брались и кирки, и даже соборы. Несомненно, что у Карла XII были способности стратега; но главное, что способствовало его постоянной воинской удаче, это — его смелость. Карл, не задумываясь, с малыми силами мог напасть на сильнейшего врага, его армия была закалена в боях.

Русских Карл ни во что не считал, не считал даже за какую бы то ни было военную силу, и когда была объявлена война, то прежде всего кинулся на датчан, захватил врасплох Копенгаген, заставил Вольдемара Датского подписать мир, а после этого двинулся на Августа Саксонского и в каждой битве разбивал его польские войска.

Между тем в России среди других почти не замеченной прошла реформа, сравнительно мелкая, но вместе с тем приблизившая ее к народам Запада. Перед 1 января 1700 года через герольдов, ездивших по Москве, было объявлено народу, что отныне год будет считаться не с 1 сентября, а с 1 января, и новогодние празднества было приказано справлять не менее как семь дней.

Русские были всегда не прочь от праздника, по какому поводу он ни устраивался бы. Так было и теперь. Семь дней с 1 января жгли по Москве смоленные бочки, на площадях пускали фейерверки, постоянно трещала ружейная стрельба, царевы кабаки торговали на славу, тем более что в некоторых из них раздавалось даровое угощение, и реформа была принята народом без малейшего протеста.

Собственно, с этого и начал Петр дело преобразования России. Поближе к осени он выехал в Новгород, где уже была собрана вся наличная армия. Против Карла выступали новые полки: шли и семеновцы, и преображенцы, шли и полки, за которыми еще оставалось прежнее наименование. В половине ноября 1700 года русская армия была уже под Нарвой. Взятие этой крепости Петр считал важнейшим делом. Он надеялся, что она отдаст под его власть весь край, и, стало быть, поднимаясь вверх по Неве, он поставит сильнейший Нотеборг между двух огней, выдвинув против него свои полки и со стороны Ладоги. Но здесь военное счастье обмануло русского царя. Вскоре после прибытия под Нарву было получено известие, что сюда же форсированным маршем идет значительный шведский отряд под предводительством самого короля.

Имя Карла было так грозно, его дружины были так закалены в бою, что даже Петр усомнился в успехе, и ночью на 18 ноября, когда шведский король был недалеко, покинул свою армию, оставив в ней главнокомандующим австрийского принца де Кроа, жалкого стратега и притом еще ни слова не говорившего по-русски. Результаты этого вскоре оказались налицо. Русская армия не только была разбита наголову, но и разгромлена. Спаслась бегством только конница Шереметева. Карл захватил огромное количество пленных и, конечно, ликовал победу. Были отчеканены медали, на одной сто-

роне которых был представлен Карл-победитель, а на другой — бегущий в смешном виде русский царь.

Шведский король, не задерживаясь, двинулся по пятам русской разбитой армии, но тогдашние русские воины сохранили еще в себе стойкость отцов и дедов. Они успели собраться и сплотиться и не подпустили короля-победителя даже к Пскову¹.

Карл так пренебрежительно относился к русским, что и не подумал терять на них время. Неподпущенный к Пскову, он ушел в Польшу и там начал гоняться за войсками Августа, разбивая их при каждой встрече. А на то, что делал Петр и что творилось после его ухода в Прибалтийском крае, он даже и смотреть не хотел. Однако тут-то и проявилось ничем не поколебимое упорство русского царя. Нарвский погром только разжег в нем желание победы над могучим противником. Петр приказал одному из своих любимцев, боярину Борису Шереметеву, начать в Эстляндском крае «малую войну», а сам немедленно же принялся собирать новую армию и деньги на ведение военных операций. Ему опять приходилось жить в ненавистной ему Москве, где каждый уголок напоминал или о его кровавых жертвах, или о потертых им друзьях. Но этого требовало дело, и Петр терпеливо покорялся необходимости.

Собрать новую армию ему удалось легко. Кликнули клич по государству, и явилось столько охотников послужить в царских войсках, что с излишком хватило бы на укомплектование разгромленных полков. Но у Петра решительно не было денег на обмундирование, на вооружение их, на необходимые военные припасы. Тогда он решился на крайнюю меру. На военное дело была отобрана казна многих монастырей, с многих колоколен были сняты колокола и перелиты в пушки; обучение новобранцев происходило непрерывно, и, словно по щучьему велению, у московского царя выросла новая, готовая для битв и побед армия.

В Эстляндском же крае, а отчасти и в смежном Лифляндском, творились ужасы. По всей стране были рассыпаны небольшие русские отряды. Они вытапывали хлеб на полях, вырубали и выжигали леса, не щадя жителей, разоряли дотла селения и даже нападали на хорошо укрепленные города. Весь край был предназначен к оголению. «Малой войной» русские обращали его в пустыню, и если бы в ту пору Карл двинулся на них, то на огромных пространствах он не нашел бы ни жилищ для своих солдат, ни провианта для них — все уничтожалось.

Эта «малая война» непрерывно тянулась около двух лет.

Наконец и русские стали одерживать желанные их царю победы. 18 июля 1708 года Шереметев в первый раз разбил наголову при Гуммельсгофе довольно сильный шведский отряд под командой самого шведского главнокомандующего генерала Шлиппенбаха.

¹ Начало борьбы Петра Великого и Карла XII рассказано подробно в романе «Два богатыря», изд. А. А. Каспари.

Почти вся шведская пехота легла на месте, сам Шлиппенбах с весьма немногими всадниками пробился сквозь атаковавших русских и спасся бегством.

Эта первая победа окрылила и царя, и Шереметева, и все войска. От Гуммельсгофа Шереметев решил произвести поиск на городок Мариенбург, хорошо укрепленный, с порядочным гарнизоном и в изобилии снабженный провиантом.

III

МАРИЕНБУРГСКАЯ НЕВЕСТА

Жители Мариенбурга не ожидали, что так скоро надвинется на них гроза. Они твердо надеялись на свои стены и храбрость защитников и презрительно говорили, что русские могут разорять только эстские и латышские села и деревни, но на город напасть не посмеют; отучил их-де от этого король Карл. И вот беспечные мариенбуржцы решительно ни в чем не изменили своей обычной жизни. В городе все шло, как изо дня в день прежде: лавки были открыты, таверны и кабаки были полны веселившимся людом. Правда, под защиту городских стен стекались жители разоренных деревень, но и их было не так много, чтобы особенно бояться русского нашествия.

Вдруг по всему городку пронеслась весть: Вольмар взят, разрушен и сожжен русскими, что камня на камне там не оставлено; а Вольмар был ближний городок, такой же веселый, такой же чистенький, как и Мариенбург¹.

Лишь тогда зашевелились беспечные мариенбуржцы. Закрыты были городские ворота, подняты подъемные мосты; по ночам ни одного огонька не было видно в домах, и только, как тени, бродили по городским стенам часовые.

Тревожные минуты переживали мариенбуржцы, и, как всегда, утешение перед надвигавшеюся бедой они прежде всего искали у своего пастора. Добрый, душевный старик был этот мариенбургский пастор Эрнст Глюк. Немудреные проповеди говорил он в кирке своей пастве, но зато, кто бы ни приходил к нему, всякий мог рассчитывать, что услышит доброе слово, дружеский совет.

Пастор был вдов. Его хозяйством заведовала старушка-сестра, и вместе с нею, под ее неусыпным наблюдением, жила приемная дочь пастора Марта².

¹ В нынешнем Прибалтийском крае.

² По сказанию Гельбага, Марта была дочь литовского крестьянина Самуила (Скавринского?) и родилась 16 апреля 1686 г. Кроме нее, у Самуила были еще две дочери: Христина и Анна. Вся эта семья была католического вероисповедания. По смерти отца вся семья переехала в Рижский округ, в деревню Ленневейден, на реке Румбе, и Марта, очень красивая девушка, лишь только подросла, ввиду крайней бедности семьи была отдана «в услужение» к пастору Дооту в Роопском округе, того же прихода; но так как от нее требовали «слишком много», то она ушла в Мариенбург Венсенского округа к пастору Глюку.

В злополучные для Прибалтийского края годы Марта была уже взрослой девицей. Она была высока ростом, полна, румяна, и считалась одной из красавиц Мариенбурга. Как и все женщины и девушки, выросшие под шведским влиянием, она была не особенно застенчива, свободна на язык, любила посмеяться, пошутить, потанцевать и не особенно задумывалась над тем, что будет с нею. Да и чего ей было особенно думать о своем будущем? Пастор был к ней добр; хотя он и не был богат, но сбережения у него были, и Марта питала полную уверенность, что пастор Глюк не оставит ее не обеспеченною. И еще было обстоятельство, которое позволяло ей вовсе не думать о своем будущем. Ведь оно для нее было совершенно ясно: Марта была помолвленная невеста. Ее женихом был один из мариенбуржцев по имени и фамилии Иоганн Рабе. Это был молодой, красивый, веселый парень; он мечтал о том, когда, наконец, Марта станет его женою; оба они с нетерпением ждали этого счастливого дня. Марта первой молодой любовью любила своего жениха, Рабе пылко любил невесту. Но вот пронеслись тревожные слухи о том, что русские готовятся напасть на Мариенбург.

Душа Рабе в особенности полна была тревогой.

— Марта, Марта, — однажды с тоской произнес он, — что только может быть с нами?

— А что же, дорогой мой, — спокойно спросила его девушка, — что может быть?

— Русские идут сюда. Ты же знаешь, что я состою в милиции.

— Знаю, Иоганн, но все-таки не понимаю, чего ты боишься. Ты думаешь, что русские возьмут Мариенбург?

— Все может быть, Марта.

— И боишься их?

— Да, нет же, Марта, нет! — уже с досадой воскликнул Рабе. — Не подумала ли ты, что мне страшно умереть? О если так, то ты ошиблась. Не за себя страшусь я... Не за себя, а за тебя мне страшно.

— Но что же? Что такое? — уже встревожилась девушка.

— Эх, ты — совсем дитя. Неужели ты не понимаешь, что должно произойти, если русские ворвутся в город к нам?..

— Что же? Разве они — не люди?

— Русские-то? Да когда они воюют, так они хуже лесных волков; ведь последние только насыщаются, а русские неистовствуют, все разрушают, все грабят... Если Мариенбург будет взят, Марта, то я буду убит: живым я им не дамся в руки, да они мне и не оставят жизни. Но тебя они пощадят: ты ведь — женщина, и женщина красивая.

Лицо девушки покрылось ярким румянцем; она наконец уразумела, что ей хотел сказать жених.

— О милый, — пылко воскликнула она, — будь спокоен! Я буду твоею или ничьею. Ты сказал: я — женщина, но ведь и мы, женщины, умеем умирать...

— Спасибо, Марта! — восторженно воскликнул Рабе. — Ты делаешь меня героем... Так слушай же! Что ты скажешь, если мы пойдем к преподобному пастору Глюку и попросим его, ввиду надвигающейся грозы, соединить нас на жизнь и смерть?

Марта опять покраснела и промолвила:

— Делай, милый, как ты найдешь лучше, я же на все согласна.

Однако ни на другой, ни на третий день Рабе не явился в дом пастора. Он боялся, что Глюк неодобрительно отнесется к его предложению и не отдаст ему Марту при столь грозных обстоятельствах. Но девушке, очевидно, по сердцу пришла мысль ее возлюбленного. Она сама заговорила об этом со своим приемным отцом и, вопреки всяким ожиданиям Глюк снисходительно отнесся к ее словам.

— Кто знает, милое дитя, что может быть в военное время? Ведь сегодня побеждают одни, завтра одолевают другие... В Священном писании сказано, что волос не упадет с головы человека без воли Божией, однако кто же может знать волю Господа? И я — смертен, и меня могут убить в своем ожесточении враги... Не плачь, не плачь! — заметил он слезы на глазах своей питомицы. — Помни, я — слуга алтаря и свято верую, что будет так, как угодно Господу. Я говорю ведь не о том, что это будет непременно, а о том, что может быть. Так вот! Что ты будешь без меня? Одинокая, бесприютная сирота, без родных, без друзей. Если же ты будешь женою Рабе, то в случае несчастья, оставшись его вдовою, всегда найдешь приют у его родственников. Да, я согласен ускорить вашу свадьбу; пусть приходит Рабе, и я благословлю вас пред алтарем, как мужа и жену.

Но Рабе пришел или, лучше сказать, прибежал только тогда, когда разнеслась весть о взятии русскими Вольмара и об их походе на Мариенбург. Ему, как милиционеру, было известно многое, что городские власти постарались скрыть от горожан. Ужасы рассказывали вольмарские беглецы. Русские, разоряя несчастный город, не знали пощады: была резня, кровь лилась, и пламя пожара скрыло в себе все следы неистовств. Рассказывая, Рабе в волнении многое преувеличивал, и впечатление, произведенное его рассказом на слушателей, было потрясающее.

В тот же день пастор Глюк благословил свою воспитанницу и капрала-милиционера. Марта и Рабе стали мужем и женою, а через два дня на третий ближайшие окрестности Мариенбурга были заняты русскими отрядами. Начальствовал над ними победитель при Гуммельсгофе, боярин Шереметев.

Со стен осужденного на гибель городка видели, как он с многочисленной свитой объехал вокруг него, осматривая его укрепления и назначая места для предстоявшего штурма. Городку даже не предлагали сдаться на милость победителей. Зачем? Он был осужден на разорение; только ради этого и подошли к нему русские дружины. Они не могли пощадить город: ведь он мог бы явиться потом надежным оплотом для шведских войск, каким была еще и

доселе находившаяся в тылу русских Нарва. Сама необходимость заставляла их разрушить все здесь до основания, и Шереметев не замедлил начать свое ужасное дело.

Никогда ни прежде, ни потом, поднявшись из развалин, не испытывал несчастный Мариенбург того, что в эти дни. Со всех сторон летели к нему тучи ядер. Пушки вокруг гремели, не смолкая, стены, не рассчитанные на сопротивление такому упорному врагу, быстро обсыпались и разрушались. В городе то там, то тут вспыхивали пожары; треск и шум горевших зданий, рев пушек, отчаянные вопли женщин, — все это сливалось в один хаос звуков. И вдруг совсем близко от стен городка раздалось громовое «ура!», вырвавшееся сразу из нескольких сот здоровых русских глоток. То шли на штурм шереметевские дружины.

— Последние времена наступают! — воскликнул пастор Глюк, стоя перед дверьми кирки. — Нет, попускает Господь, он карает нас за грехи; чувствую, не будет нашему городу спасения.

Он ушел в церковь и в жаркой молитве склонился пред алтарем. Марта осталась стоять у входных дверей.

IV

ОВДОВЕВШАЯ НОВОБРАЧНАЯ

Русские между тем подошли к городскому рву, быстро закидали его фашинником, перебрались под выстрелами осажденных на другую его сторону и по штурмовым лестницам поднялись на стены. Оттуда, сверху, прямо на их головы осажденные бросали лавины камней, лили горячую смолу, кипятки, но все было напрасно. Часть штурмующих уже прорвалась через бреши за стены. Бой закипел на узких улицах обреченного на гибель городка. Начался ад: пылали улицы, разъяренные солдаты бросались в дома, шел зверски-жестокий грабеж: не столько грабили, сколько уничтожали; улицы покрылись кровью...

— Марта! Марта! — вдруг услышала молодая женщина голос мужа.

Она вскрикнула. Зарево было так ярко, что ей удалось рассмотреть Рабе, бежавшего к дому пастора. Он был в крови; его одежда была изорвана, он шатался и его голос, в то время как то и дело выкрикивал дорогое имя, прерывался.

— Я здесь, здесь! — вне себя от ужаса закричала Марта и очутилась около мужа в тот момент, когда он, задыхаясь от быстрого бега и обессилив от потери крови, упал на крыльцо дома Глюка.

— Скорей, милый, скорей, еще одно усилие! — дрожа, говорила молодая женщина. — Двери нашего дома прочны. Мы спасемся! Но она не успела втащить раненого.

На противоположном конце площади показалось несколько русских солдат.

— Ой, — крикнул один, — здесь еще, кажись, никто же бывал.
— Видно, что так, — ответил товарищ. — Поживимся.
— Вот их кирка, — выкрикнул третий. — Пойдем, там, поди, набилось их, что клопов.

Солдаты, разгоряченные боем, вбежали в церковь и увидели коленопреклоненного пред алтарем пастора Глюка.

— Смотри, их поп, — вполголоса сказал один из русских.

— Вижу. Пришибем-ка его, молодцы!

— Оставь, не трожь! Хотя и не нашей веры поп, а все же Богу молится.

Эти слова подействовали. Как ни разгорячены были и штурмом, и бойней солдаты, святость места заставила их пощадить священника. Они тихо вышли из кирки, и тут опять ими овладела прежняя ярость.

— Смотри! — указал их старший на дом пастора Глюка. — Вот куда поганый немчин, за которым мы гнались, укрылся. Идем туда!

Они очутились у крыльца.

— Вот кровь, — раздался голоса, — тут он свалился.

— Я видел, как баба за двери его втащила, — крикнул кто-то.

— Коли так, ломай, ребята, прикладами! — И удары тяжелых прикладов градом посыпались на дверь пасторского дома.

Марта тем временем уже успела перевязать раны мужа. Они были не серьезны, но крови потерял он много. Страшные картины, которые проходили перед его глазами, вконец измочили его нервы. Рабе плакал, как дитя.

— Ах, Марта, Марта, — воскликнул он, — что за ужас! Всюду смерть, кровь, пламя... Гибнут ни в чем не повинные... Ужас, ужас!..

— Но я верю, что мы спасемся, — попробовала успокоить его жена. — Бог не даст нам погибнуть... Мы так молоды, мы так любим друг друга, что судьба отнесет от нас весь этот ужас.

— Слышишь? — вскрикнул Рабе, хватая ружье и спешно заряжая его. — Это русские идут сюда.

В дверь застучали приклады.

— Они! — закричала Марта. — Русские!

— Не бойся! — ответил на ее крик муж. — Я защищу тебя... А нет, так я своими руками тебя убью, но ты им не достанешься...

Дверь поддалась могучим ударам и соскочила с петель.

— Вот, вот они, — вбегая, закричали солдаты, — вот немчин-супротивник, вот и баба...

Щелкнул ружейный выстрел. Это выстрелил Рабе. Он не промахнулся: один из солдат рухнул на землю. Тотчас же другие разразились яростным ревом.

— Коли его, бей прикладами! — заорал сержант. — Пусть знает русское могущество!..

— Негодяи! — воскликнул Рабе, но, конечно, солдаты не поняли его. — Впятером на одного...

Он бросил ружье, и в его руках очутились пистолеты.

Марта, не помня себя от ужаса, упала к его ногам, цепляясь за его платье.

— Один вот им, — крикнул несчастный, стреляя в толпу, — другой тебе! — направил он пистолет на жену, но ближайший солдат ловко выбил оружие из рук Рабе, а другой вонзил ему в грудь штык.

— Марта, я умираю! — раздался пронзительный крик несчастного, смешавшийся с воплем его жены.

В тот же момент еще несколько штыков вонзилось в трепещущее тело; кровь текла из бесчисленных ран, тело подергивалось предсмертными судорогами, страшные хрипы вырывались вместе с kloкотившей кровью из горла, а штыки все опускались и опускались, тяжелые приклады, окованные медью, уже мозжили голову трупа.

— И немчинку пришибить! — орали разъяренные неожиданным сопротивлением победители. — Вот ей сейчас...

— Оставь, не трожь бабы! — крикнул сержант. — Не видишь, что ли, красotka... пригодится еще...¹

V

СОЛДАТСКАЯ ДОБЫЧА

Это были последние слова, которые слышала в тот вечер, вернее, уже ночь, несчастная в то время Марта Рабе. Страшная сцена убийства мужа так поразила ее, что она лишилась чувств.

Только с рассветом Марта пришла в себя. Голова болела, все тело ломило, она едва-едва могла пошевелить рукой.

— Эх голубка, — раздался над нею чей-то ласковый мужской голос (Марта Рабе несколько понимала по-русски), — ишь, как тебя наши ребята умаяли!.. Да ничего, ваше дело женское, то ли еще бывает!

Марта сделала попытку поднять голову. Это ей удалось не сразу. Голова была налита все равно как свинцом. Однако кое-как приподнявшись, она увидела около себя сержанта, остановившего накануне разъяренных солдат. Он так и пожирал ее глазами. Марта взглянула на себя и увидела, что она была почти обнажена, — все ее платье было изодрано в клочья.

— Убейте меня, — простонала она, — убейте, ради Бога!

— Зачем убивать? — рассудительно ответил сержант. — Таких, как ты, красotок не убивают... Может быть, через тебя я свое счастье найду... Вот на, выпей! — протянул он бедной женщине оловянный стакан, налитый до краев водкой. — Выпей, говорю, легче будет...

¹ По Гельбагу, при взятии Мариенбурга Иоганн Рабе вовсе не был убит, а только ранен; впоследствии он пробрался в Россию и даже ухитрился забраться на царский двор, руководимый желанием встретиться со своей женой, но был схвачен, узнан, бит плетью и с рваными ноздрями сослан в Сибирь.

Марта до того никогда не пила водки, да еще простой русской, «полугару», но теперь ей было все равно. Если бы ей поднесли стакан с отравой, то она выпила бы яд: только бы перестало ломить тело, болеть голова, только бы на миг забыть пережитый ужас. Она не взяла, а схватила стакан и залпом опорожнила его.

— Молодец-баба! — выкрикнул сержант. — Желаете еще? Налью!

Огонь, а не кровь, побежал по телу Марты, сердце вдруг забилося, в голове зашумело, но боль уменьшилась.

— Налей! — ответила она.

— Изволь! Только больше не дам... Дело большое впереди...

Марта выпила еще и почувствовала себя легко, совсем легко.

С тех пор во всю свою долгую жизнь оставалась она верна этому так быстро исцелившему ее средству. Оно, этот страшный яд, стало ей дороже всего, и много лет спустя Марта Рабе, впоследствии носившая совсем другое имя, умерла не от какой-нибудь болезни, а от перепоя...

Но губительный яд, несколько облегчив измученную женщину, тут же и доконал ее. Непоборимая дремота смежила очи бедняжки, и она заснула тут же крепким, тяжелым сном.

Марта проснулась, разбуженная все тем же солдатом, который, видимо, взял ее под свою охрану.

— Ну-ка, сердешная, — будил он ее, — вставай, пойти нам нужно... Вот я тебе одежонку собрал; много у вас тут люди жили...

Он так и сказал: «жили», и от этого слова мороз пробежал по коже Марты: она поняла, что для Мариенбурга, как и для Вольмара, все было кончено.

VI

НА РАЗВАЛИНАХ

Сержант показал ей на груды всякого платья, наваленного прямо на пол, и деликатно отошел в сторону. Марта сообразила, что нельзя слушаться, и стала перебирать одежду. Слезы так и капали при этом из ее глаз. Она узнавала платья знакомых ей мариенбургских женщин... Только когда она совсем уже была одета, сержант возвратился к ней.

— Ишь ты, какая ладная! — с наивным восхищением восклицал он. — Этакой красоте да пропадать... Разве это возможно? Ну, как тебя — я там не знаю, а будешь ты меня благодарить... Очутись в счастье — не забудь, смотри! Вспомни, кто тебе его устроил... Идем же!

— Куда? — почти бессознательно спросила Марта. — Куда ты ведешь меня?

— А это увидим там; теперь-то я еще и сам не знаю куда, — был суровый ответ.

Он вскинул ружье на плечо и заставил Марту идти впереди себя. Так они вышли из дома, каким-то чудом уцелевшего от пожара, и первое, что бросилось в глаза бедной женщине, был отвратительный труп старухи. Ее голова была разможена так, что узнать лицо было невозможно. Марта брезгливо обошла труп, даже и не подумав, что перед нею была ее воспитательница, сестра Эрнста Глюка...

Она шла теперь, провожаемая сержантом, и не узнавала города. Там, где еще недавно высились опрятные, чистенькие домики с острыми черепичными кровлями, теперь или чернели их едва уцелевшие от огня остовы, или лежали бесформенные груды развалин.

Словно вихрь прошел над Мариенбургом и разом смял его. Развалины были всюду. Среди них догорало пламя, грудami валялись трупы мужчин и женщин, около которых запеклись лужи сгустившейся уже крови... Но Марта теперь смотрела на все это равнодушно. После того, что пережила она сама, уже ничто не ужасало ее. Хмель после скверной водки, все еще бродивший в ее голове, приводил ее в состояние полной апатии. Ей в эти мгновения все было безразлично... Хуже того, что уже было, быть не могло.

Сержант вывел ее из развалин; перед ними на поле белели палатки, и Марта сообразила, что он ведет ее в лагерь русских. Ее что-то так и резнуло по сердцу, но опять апатия преодолела все, и она не сказала своему спутнику ни слова. Он же шел, не обращая на нее внимания и зорко вглядываясь вперед.

В лагере заметно было движение, доносились крики. Потом выделилась большая группа всадников и рысью помчалась к разоренному городку.

Сержант остановил свою пленницу и, грубо схватив ее за плечо, сказал, глядя на нее злыми глазами:

— Слушай, ты, немчинка! Никак сейчас поедет великий государев боярин... Во всем потакай ему, чего бы он ни пожелал, а ежели перечить будешь, так дух твой поганый из тебя вышибу...

А всадники быстро надвигались на них. Теперь Марта рассмотрела впереди далеко еще не старого человека, с бритой бородой и маленькими усиками. Он молодецкато держался на коне, но в то же время казался весьма смешным в своем старомосковском одеянии и в высокой горлатной шапке. Его спутники также были кто в немецком военном платье, кто в прежних русских костюмах.

Едва кавалькада поравнялась с сержантом и его спутницей, как первый, молодецкато выскочив вперед, отдал честь, согласно новому воинскому артикулу, и потом закричал:

— Государь-боярин, прикажи мне слово молвить!

Ехавший впереди боярин задержал и остановил коня, с любопытством взглядывая на стоявшую перед ним пару.

Это был сам главнокомандующий действовавшими в крае войсками, боярин Борис Петрович Шереметев. Он ехал собственными глазами посмотреть, как обработали его воины Мариенбург, и

докончить там разрушение, если что-нибудь важное случайно уцелело.

— Ну, говори, — милостиво сказал он, любуясь Мартой, — что тебе от меня надобно?

— Дозволь челом тебе бить, государь-боярин, — смело заговорил сержант. — Поработали мы вот здесь до пота лица во славу его царского величества и на защиту веры православной, а при дележе досталась мне в добычу вот эта самая немецкая баба... А куда мне ее? Сам, поди, знаешь, какое наше солдатское житье-бытье... Сегодня — здесь, а завтра — там, сегодня — жив, а завтра — мертв...

— Чего же ты от меня-то хочешь? — нетерпеливо перебил сержанта боярин. — Говори скорее!..

— Позволь тебе челом бить этой немчинской бабой... Ежели не возьмешь ее к себе, одно остается: пришибить. А жаль все же, как ни на есть, а Божья живая тварь, хотя и немчинка.

Шереметев несколько раз оглядел пленницу. Суровый он был человек, но человеческое ему не было чуждо. Вспомнил он оставленную в Москве семью, жену, на свидание с которой он просился у Петра, да не пустил его царь «прежде окончания дела», и жаль ему стало этой красивой женщины, а может быть, и какие-либо иные мысли у него явились.

— Ну, ин быть по-твоему! — ласково сказал он сержанту. — Пожалую я тебя, возьму ее, пока сам я здесь, для услуг... Потом же пусть она на все четыре стороны идет, куда глаза глядят... Сведи ее ко мне на кухню, пусть там пока побудет, и сам останься, пока не вернусь я... С Богом, господа кавалеры! — крикнул он свите и, еще раз взглянув на мариенбургскую пленницу, погнал вперед коня.

Марта не сказала ни слова, но понимала, что в ее жизни совершается новая важная перемена. По крайней мере теперь она освобождалась от мучителей-солдат, и это уже радовало ее, хотя она понимала, что ее положение на кухне у боярина разве немногим будет лучше. Сержант же между тем так и ликовал. Он чуть не плясал, идя за Мартой через поле, и стал по-прежнему деликатен и ласков с ней.

— Смотри же, — сказал он ей, — ежели мне что от тебя понадобится, так не забудь за меня боярину словца закинуть...

Марта ничего не ответила. Да и что могла ответить она, когда совершенно не знала, какова будет ее дальнейшая участь?

Боярин Борис Петрович хотя и «онемечился», и снес себе бороду, и привык к едкому голландскому кнастеру, все же сохранил много замашек отцовской и дедовской старины. В далекий поход он шел, волоча для одного себя порядочный обоз, и главное место в этом обозе было отведено его боярской кухне. Любил боярин покушать. Много ездило за ним по разоренной стране поваров, стряпок и всякой челяди, нашлось среди нее место и новой службе — мариенбургская пленница Марта Рабе недурно устроилась, по крайней мере на эти первые дни своего несчастья.

VII

СТАРЫЙ ЗНАКОМЕЦ

Сержант, доставивший ее на боярскую кухню, остался ожидать возвращения боярина с осмотра мариенбургских развалин. Он оказался веселым, разбитным парнем, но его постоянно бегавшие глаза, не останавливавшиеся подолгу ни на чем, выдавали, что на совести у него не совсем чисто. Будто прикрывая свои мысли, он болтал без удержу, смешил кухонную челядь и очень скоро стал среди нее своим человеком.

— Как зовут-то тебя? — спросили его.

— Вот тоже нашел у кого спрашивать! — ответил сержант. — Я-то почему знаю?

— Как? Своего имени не знаешь?

— А то что же? Откуда мне это известно может быть, ежели я и отца с матерью не помню? Надо полагать, я при дороге под кустом родился.

— Крестил же тебя поп-то?

— И это мне неизвестно; ежели крестил, так он мне про то не рассказывал.

Все эти ответы вызывали оглушительный смех у невзыскательных слушателей.

— Чудной парень! — говорили они. — Так ведь как же нибудь тебя зовут?

— Зовут, зовут! Кочетовым сыном прозвали. Промеж своих в полку так за Кочета и иду. Вот мое имя. Ежели угодно, им и величайте, а другого у меня и в завете нет.

Действительно, это был тот самый Кочет, который за десять лет перед тем подсматривал через окно вместе со своим закадычным другом Телепнем за юным царем Петром, когда тот занимался у пастора Кукуй-слободы анатомией, изучая по скелету строение человека. Потом он мучился на дыбе, выдержал немалую пытку и вдруг, оправившись после нее, сумел устроиться так, что очутился в рядах новых войск. Кочет был еще молод, пытка не оставила на нем следов; служил он усердно и довольно скоро успел добраться до чина сержанта. Нельзя сказать, чтобы товарищи по полку любили Кочета, но он держал себя так, что они повиновались ему во всем, и среди них он пользовался полной авторитетностью. Кочет сам напросился в отряд боярина Шереметева и, действительно, во время военных действий сумел отличиться так, что был не раз замечен даже самим главнокомандующим.

— Чего ты стараешься? — спрашивали Кочета. — Ведь этакий ты пострел, везде-то поспел!

— А как же иначе? — обыкновенно отвечал тот на такие вопросы. — Счастье — что птица, так вот я хочу его за хвост поймать! — И он упорно продолжал свой путь к какой-то определенной, давно им намеченной и одному ему известной цели.

Человек уж так устроен, что если его охватит какая-нибудь навязчивая, настойчивая мысль, то он так и живет всю свою жизнь под ее властью, стремясь только к тому, чтобы выполнить свое страстное, порою совершенно не возможное желание.

Под властью такой мысли жил уже много лет и Кочет.

Когда-то, еще во времена возмущения Шакловитого, он был взят в розыскной приказ по обвинению в хулении высочайшей царской особы.

Незадолго перед этим Кочет, молодой стрелец одного из московских стрелецких полков, вместе с другим стрельцом, по прозвищу Телепень, взялись выследить, что делают на Немецкой слободе боярские сыновья Каренины, Михаил да Павел. Пробравшись в Немецкую слободу, они случайно натолкнулись на дом местного пастора, у которого в то время был гостем, явившись потайно, сам юный московский царь Петр Алексеевич. Заглянув в окна пасторского дома, стрельцы увидели царя, изучавшего по костяку строение человеческого тела, и подняли крик, из-за которого чуть было не была разгромлена Кукуй-слобода. После, во время стрелецких волнений, молодые стрельцы под клятвой уверяли, что видели оборотня в виде царя, который «учил смерть» идти на Москву...

Телепень благополучно скрылся, Кочет попался.

В приказе с ним проделали все, что полагалось в таких случаях: постегали кнутом, подвесили на дыбу, пошпарили пылающими вениками, а потом и бросили, — «глупый, дескать, парень, возиться с ним нечего»...

Очутившись на свободе, Кочет запылал дикой ненавистью к ни в чем не повинному царю Петру и страшной клятвой пообещал сам себе быть ему врагом во всю свою жизнь...

Но Кочет, хотя и давал такую вполне опрометчивую клятву, все-таки был настолько умен, чтобы сообразить, что такое ничтожество, как он, не может причинить решительно никакого зла великому государю, и поэтому начал стараться создать себе такое положение, при котором он мог бы очутиться по возможной близости от Петра. Он поступил добровольно в его новые войска, служил более чем ревностно, выделялся своей исполнительностью и храбростью, и вот, наконец, ему показалось, что он близок к осуществлению своих мечтаний: красивая пленница давала ему уверенность в том, что главнокомандующий, боярин Шереметев, близкий к царю Петру человек, обратит на него свое внимание...

И он как будто не ошибался...

VIII

НОВЫЙ ВЛАСТЕЛИН

Боярин Шереметев запомнил о встрече на дороге и, как только возвратился в стан, сейчас же потребовал к себе Кочета и его пленницу.

Долго и внимательно рассматривал он последнюю, рассматривал так, что взоры Марты то и дело потуплялись от стыда, а щеки заливал яркий румянец. Видно, в конце концов Борис Петрович остался очень доволен этим осмотром.

— Ну, добро, добро! — несколько раз повторил он. — Счастье твое, красавица, быть может, пришло тебе. Ты — вашего попа дочь, говоришь?

— Воспитанница.

— Ну, какая там воспитанница! Ваши попы, не польские ксендзы, попадьа-то у них под боком, а ведь этот Глюк-то твой вдовый.

— Да, вдов он.

— То-то! Я его изловить приказал. Да ты не бойся, чего запугалась-то? Ежели он уцелел, так мы ему худа не сделаем. Только ты всем говори — слышишь? — всем, кто бы ни спросил тебя, — что ты — поповская дочь... Жаль, что твой батька не архиереем был, это еще гораздо лучше было бы. Ну, да ты говори всем, что твоя мать знатного рода, дескать, у нее в числе дедушек и прадедушек шведские короли были. Понимаешь? Пусть там какой-нибудь шведский Густав или Эрик твоим прадедом будет. Ври и не красней, ежели себе добра хочешь!

Боярин так расчувствовался, что даже не заметил, как жадно вслушивается Кочет в каждое его слово.

— Ну, иди, иди! — махнул он рукой пленнице. — Помни, что я тебе сейчас сказывал, я же о тебе большое попечение буду иметь. А так как ты у солдатушек-озорников моих побывала, то, как все обдумаю, для возвращения чести поставлю тебя под знамена, чтобы никто тебя после корить не смел... Теперь же иди, отдохни, тоже досталось ведь.

Марта, поклонившись, вышла.

— А тебя, — обратился боярин к Кочету, — я пожалуй... Твоя служба не пропадет.

— Благодарствую тебе, боярин, — поклонился в пояс Кочет, — взыскиваешь ты меня, безродного...

— погоди благодарить-то, скажи прежде, чего бы тебе хотелось, а я там посмекаю, можно ли устроить сие для тебя или нет.

Кочет переминался с ноги на ногу, очевидно, не решаясь, высказаться.

— Ну, чего же ты? Не держи меня! — выкрикнул Борис Петрович.

— Да вот, боярин-государь, сплю я и в сне вижу, чтобы в гвардии мне служить. Кабы ты словечко замолвил обо мне перед царем!

— Ишь ты, какой! — усмехнулся Шереметев. — Служил в стрельцах-сорванцах, а теперь в первое царское войско захотел? Про тебя ли такая честь?

— Да уж там как ты надумает, боярин, — нагло глядя на Шереметева, ответил бывший стрелец. — Приказал ты мне, чтобы я сказал тебе, чего мне хочется, так я свое желание и высказал.

Шереметев засмеялся.

— Ишь ты, ловкач! — проговорил он. — Поймал-таки меня на слове!.. Ну, быть по-твоему! Подумаю я о тебе, посмеаю, нельзя ли что и сделать, а теперь пойдй на кухню да покормись там.

Он милостиво махнул ему рукой, и Кочет, довольный, чувствовавший удачу, с поклонами вышел из шатра боярина.

А в кухонных палатках уже шел дым коромыслом. Каким-то путем пришла и разнеслась повсюду весть о том, как встретил новую пленницу всемогущий боярин и как милостиво говорил с ней.

Марту, при возвращении ее от Бориса Петровича, встретили особенно. У нее уже были и друзья, и враги, и благожелатели, и завистники, и хулители, и льстецы. Вымуштрованная и понимавшая каждый оттенок голоса своего господина, дворня чувствовала, что за милостивыми словами боярина кроется нечто другое, что, может быть, не сегодня-завтра красивая пленница будет сильнее всех при Шереметеве, и загодя старались на всякий случай снизить ее благоволение. Когда в кухонные шатры пришел Кочет, там шел дым коромыслом. Марта, порядком проголодавшаяся во весь этот день, с тупой покорностью отдалась судьбе. Она не вспоминала о пережитом ужасе, а может быть, и вспоминала, да старалась подавить в себе всякое воспоминание. Перед нею стояли блюда с вкусными яствами, кубки со всевозможными напитками, и Кочет, едва взглянув на ее раскрасневшееся лицо, на подернутые какой-то пеленой глаза, сразу сообразил, что Марта сделала большую честь последним.

А боярин Борис Петрович Шереметев еще долго-долго расхаживал большими шагами по своему шатру. Видимо, думы всецело овладели им, роились вокруг него. Он в эти мгновения старался заглянуть в будущее и устроить его так, как было нужно, по его мнению.

«Да, — иногда шептал он, — так-то так, а только без этого мерзавца Алексашки ничего тут не поделаешь. Счастье еще, что он Монсову Анку терпеть не может, на сем его и изловим. Вот приедет он, так посмотрим, что и как...»

Даже улегшись в свою походную постель, долго еще не засыпал боярин: слишком уж много было у него всяких дум.

IX ВЫСОКИЙ ГОСТЬ

Русские войска не уходили от разоренного Мариенбурга.

Собственно говоря, в Лифляндии все их дело было окончено. После поражения при Гуммельсгофе отряды Шлиппенбаха даже не осмеливались показываться в поле. Страна вся была опустошена до самого Пернова, Риги и Ревеля. «Не осталось целого ничего, все разорено и сожжено», — доносил Шереметев Петру, который сам

ему приказывал «как возможно землю разорить, дабы неприятелю пристанища не было и сикурс своим городам подать было не возможно». — «И в болотах ничего не осталось», — отвечал на это Шереметев.

Делать в Лифляндии было больше нечего, и Шереметев только и ожидал царского повеления как можно скорее покинуть разоренный край, в котором и самим победителям угрожали теперь бедствия холода. С таким повелением в лифляндский отряд был послан Александр Данилович Меншиков.

Он прибыл в шереметевский лагерь под Мариенбургом, и был встречен родовым боярином как дорогой и любезный друг.

Вначале о деле говорили мало, да и нечего было особенно говорить. Царь повелевал Шереметеву отойти к Пскову и высказывал ему свое благоволение.

— Ну, — обрадовался было Борис Петрович, — как только приведу в Псков полки, сейчас у царя на Москву отпрошусь.

Меншиков даже расхохотался.

— Чего это ты? — удивился Борис Петрович.

— Так, друг! — был ответ. — Напрасно ты себя такой надеждой тешишь.

— А что? Зазимуем под Псковом?

— Отложи попечение! Наслышан я, что в другое место лететь придется.

— Да ну? Куда?

— О том не осведомлен. Одно тебе скажу потайно: зимовать не под Псковом будем.

Шереметев так и затуманился.

— Ах ты, беда! — сказал он. — Притомился я тут за военным делом, сплю и вижу, как бы на родимой Москве побывать!.. Но ежели царю нужна моя служба, так что поделать? Дело допреж всего, а отдыхи и радости потом.

На этом пока разговор кончился. Боярин повез гостя сперва к развалинам Мариенбурга, а потом устроил парад войскам.

Во время парада с толпой возвращенных шведских пленников была подведена под полковые знамена и Марта Рабе.

Меншиков или боялся Шереметева, или искал его помощи, но только с ним он был на редкость ласков и почтительно вторил ему.

После смотра Шереметев хотел было шумным пиром отпраздновать приезд важного гостя, но Меншиков, намекнув, что времени остается у них мало, а им нужно с глаза на глаз поговорить о деле первой важности, предложил покормиться запросто, как военным людям полагается, и во время трапезы обменяться мыслями с радушным хозяином.

— Только ты так устрой, боярин Борис Петрович, — сказал он, — чтобы нашего с тобой разговора ни единая живая душа не слышала.

— Или и в самом деле важное что-либо? — спросил Шереметев.

— Да уж на это, как ты, боярин, взглянешь. Важное или неважное — сам суди, а при разговоре нашем и сам того не заметишь, как лишним словом обмолвишься. Что же такое лишнее слово — ты лучше меня знаешь. Немало людей из-за таких слов у князя-кесаря в лапах побывало.

Шереметев понял, что такой пройдоха, как Меншиков, недаром предпринимает подобные предосторожности и, стало быть, то дело, о котором он хотел говорить с ним — чрезвычайно тайное и представляет собою большую государственную важность.

— Ин быть по-твоему, Данилыч, — ответил он, — устрою я, как ты желаешь. Ни лишний глаз нас видеть не будет, ни лишнее ухо нашей речи не услышит. Есть у меня тут девка пленная, в Мариенбурге взята. По-нашему она ни слова не понимает, все равно что немая. Так вот я и скажу ей, чтобы она за столом прислуживала и все нам подавала. Других в шатре никого не будет. Снаружи караулы поставлю, так никто близко не подойдет. Только мы сперва потрапезуем, чем Бог послал, а потом, как за чарки примемся, так и разговор поведется.

На том и порешили.

Трапеза была обильная, но и гость, и хозяин ели лениво. Видимо, далеко были их мысли. Шереметев подробно рассказывал о своих походах, восхвалял мудрость государя, и после погрома под Нарвой не уstraшившегося Карла. Меншиков ограничивался только поддакиванием и с нетерпением ждал, когда можно будет начать столь желанный ему разговор.

Х

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

Когда обед был покончен, Шереметев вышел отдать распоряжение. Из кухонных шатров была прислана Марта Рабе. По приказанию боярина, она была роскошно одета, красиво причесана; румян ей не нужно было — и без того ее щеки пылали. Боярин внимательно оглядел ее и тихим шепотом отдал ей приказание:

— Будешь нам служить, не моги слушать, что мы говорим, а ежели гость от тебя что потребует, так исполняй все беспрекословно. Да на тот случай, ежели он тебя спросит, кто ты и какого рода, так ответствуй, как я тебе приказывал. Ослушаться осмелишься, — будет тебе беда.

После этого он вернулся к Меншикову.

— Ну, теперь все сам усмотрел Данилыч, — сказал он, — сейчас нам такое вино подадут, какого, пожалуй, и за рубежом мы не пивали. Здесь, в городишке, нагнали. Как прикатали бочки, да взглянул я на них, так сердце и взыграло: столь долго бочки в погребе стояли, что поверху мхом поросли.

— Н-да, — рассеянно сказал Меншиков, — надо полагать, хорошее будет вино.

В это время вошла в шатер Марта Рабе, вся раскрасневшаяся от смущения. Она несла поднос с кубками и чарами и с низким поклоном поставила его на походный стол перед собеседниками.

— Что, Данилыч, каков кус-то? — легонько толкнул хозяин гостя в бок. — Взгляни-ка! Ты в бабах толк-то знаешь больше меня. По-моему, картина писаная.

Меншиков быстро вскинул взор на Марту, слегка вздрогнул и уставился на нее своим наглым взглядом, видимо, восхищенный и пораженный.

— Что? Хороша? — усмехнулся Шереметев, заметивший, какое впечатление произвела на гостя его пленница.

— Откуда она у тебя, боярин? — воскликнул Александр Данилыч.

— Да я ж говорил тебе, здешняя. При разорении в полон взяли... Слышь, Данилыч, королевского рода.

— Будто?

— Кто их там знает? Говорят! Пасторова дочь. Как брали, так проклятые озорники солдатушки малость потрепала ее... Ну, да это ничего! Не погано море, ежели из него собаки лакают, а такой красоты на любой век хватит. Да к тому же я ее для возвращения чести под знамена подвел... Сегодня была, ты-то, кажись, не заметил... Ну, уходи ты! — крикнул он по-немецки Марте. — Не смей без зова появляться!

Марта вышла, поклонившись и гостю, и хозяину.

— Ну, Данилыч, рассказывай, что у тебя такое. С нетерпением жду.

Меншиков встрепенулся.

— Ах да, — сказал он, — поразвлек ты меня, Петрович, и все мысли, которые собрались у меня, разлетелись... Истину тебе говорю.

— Что, — со смехом заметил ему хозяин, — или уж тебе моя немчинка так по сердцу пришла?

— Не то, Петрович, не то. Сам, поди, знаешь, видал я такого добра немало; чем другим, а этим меня не удивишь.

— Так что же тогда?

— Да то, что все мои мысли, которые я доселе имел, на новый лад перевернулись. Вот ежели теперь закрыть глаза, так то, что надумано, совсем иначе представляется.

— Разве? — спросил Шереметев. — Так ты мне, друг сердечный, и поведай без утайки, что ты допреж всего думал и что теперь. Таиться тебе от меня нечего; знаешь, поди, люблю я тебя, как брата, и не мне тебе зла желать.

Борис Петрович говорил это, а его взоры так и пронизывали гостя, как будто старались проникнуть в самые сокровенные его помыслы.

— Ин будь по-твоему, боярин! — сказал Александр Данилович и даже слегка стукнул кулаком по столу. — Верю я тебе и душу открою. Если потом вздумаешь предать меня, так Господь покарает

тебя, как Иуду. А, все равно!.. Вот что я хотел сказать тебе: государь-то неладное задумал...

— Что еще такое ему в голову пришло? Опять новшество?

— Да еще какое! Если до этого новшества Петра Алексеевича допустить, так ему, пожалуй, и на престоле не усидеть.

— Да что ты, Алексаша! — воскликнул Борис Петрович. — Пугаешь ты меня! Уж не разума ли лишился государь?

— А вот ты послушай да сам посуди. — Меншиков совсем склонился к хозяину и заговорил так тихо-тихо, что Борис Петрович едва улавливал его шепот. — Задумал государь на Монсовой Анке жениться, и ежели женится, так не потайно, а вьяве, и станет она над нами царицей. Вот что он задумал.

— Не ново это; не раз уже болтали такое-то, да все одна болтовня была.

— И мне ведомо, что болтали, — возразил Меншиков, — да только прежде болтали зря, а теперь государь сам про это дело говорит и твердо на нем стоит. Сам, поди, знаешь: на чем упрется государь, с того его не сдвинешь. Вишь, ты, наследник у него ненадежный, так для продолжения рода жениться он хочет; а от этого действия великие беды могут последовать для народа, а более всего для нас — для тебя, Петрович, для Репнина князя, для Долгоруких, Апраксина, а про себя, нового человека, я не говорю. Такое может выйти дело, что все наше государство погибнет. Вот что выйдет!

— Если смута, — раздумчиво произнес Шереметев, — так действительно большая будет. Только что же смута-то? Не впервой ведь нам нашу землю кровью заливать! Справлялись со смутьянами — и впредь справимся. Святая православная церковь за нас будет. Прежде, пожалуй, против такого действия патриарх заговорил бы, а теперь, кто голос подымет? Степка Яворский, местоблюститель патриаршего престола? Так он из тех, которые на лисьем наречии говорят. Прикажи ему государь завтра весь наш народ в турецкую веру перевести — он и переведет. А потом кто? Феофашка новгородский? Так тот больше бражничает да о себе заботится... Тоже лиса большая. А из ближних бояр немногие пойдут и правдивое слово скажут...

— Вот я то и говорю, — перебил его Меншиков, — если тут напрямки идти, сразу все погубить можно. А Монсова Анка — поди, сам знаешь — с Францком Лефортом еще раньше царя путалась. Сама она глупа, только и умеет, что вымогать, и Францка ее на вожжах вел...

— Так ведь он умер.

— В том-то и дело, что ему на смену другой явился: граф Кенигсек из Польши. Он эту Анку так взнуздал, как и Францку не удавалось. Что он только захочет, то она и творит, а по ее и государь делает. Отчего, Петрович, ты думаешь, у нас такая дружба с Августом Польским повелась? Это — Анки Монсовой дело, она Петра Алексеевича в польскую дружбу втравила, а ее на это оный

Кенигсек науськал. Она с его голоса в дудочку играет, а наш государь под эту дудочку и пляшет. Так вот ты и посуди обо всем! Уж теперь мы не знаем, как беду изжить, а если Монсова царицей будет, тогда-то что? Ведь оный Кенигсек царствовать над нами будет и, конечно, прежде всего нас, верных слуг, подберет.

XI ПЕРЕКРЕЩЕНКА

Шереметев хорошо знал все, что делается около царя Петра. То, что говорил ему Меншиков, вовсе не было новостью для него, и он сам не раз задумывался над тем, что может выйти, если Анна Монс будет женой царя и у нее пойдут дети, которых она так старательно избегала во все эти годы. Но, зная это, Борис Петрович, несмотря на свою близость к государю, чувствовал себя совершенно бессильным. Что он мог поделать? Перечить Петру он не смел: ведь и не такие, как его, головы летели за попытки перечить государю. Но этого еще не так боялся Шереметев. Он был русский человек и любил родину; знал он, что таких, как он, немного остается, а если и эти последние будут выведены, то от выскочек, вроде сидевшего пред ним Меншикова, трудно ожидать добра для русского народа. Поэтому рисковать собою Шереметев не хотел.

В новшествах государя Борис Петрович не видел ничего серьезного и опасного для России. Бритье бород, переодевание в иное платье, курение проклятого зелья — табака, — все это, по его мнению, было пустяками; но в то же время он в переустройстве государственного быта видел много полезного. Так, под Нарвой он убедился, что новые войска по своей стойкости нисколько не уступали шведским войскам; переустройство приказов также было полезной мерой для России; заведение флота было благотельной мерой, точно так же, как и стремление к морю, через которое можно было свободно вести внешнюю торговлю. Но он не мог помириться, чтобы место чистой, непорочной русской царицы Евдокии на престоле заняла немецкая баба, обманывавшая государя, может быть, и не с одним только Лефортом; поэтому он был рад, когда Меншиков, близко стоявший к государю (Шереметев знал, что Меншиков в эту пору был к Петру ближе, чем кто-либо другой, так же близок, как Басманов-сын был близок к Ивану Грозному), заговорил об уничтожении влияния Анны Монс на царя. Конечно, он прекрасно знал, что, выступая с этим, Меншиков и не думал о благе России, что он просто только стремился уничтожить опасного ему врага. Но ведь и это было хорошо: в конце концов фаворит стремился к той же цели, к какой направлял свои помыслы и сын Шереметева, настоящий патриот.

Но все-таки нужно было заставить Меншикова высказаться более определенно.

— Выпьем-ка, друг сердечный! — перебил разговор боярин. — Эх, хорошо вино!.. Только надо кубки переменить.

Он захлопал в ладоши. Вошла Марта, и Борис Петрович приказал ей подать вина снова.

— Как зовут-то ее? — спросил Меншиков, кивая головой на молодую женщину.

— Марфушкой, — ответил Борис Петрович. — По-ихнему — Марта, по-нашему, значит, — Марфа.

— Нехорошее имя, боярин! — воскликнул Александр Данилович.

— А почему так?

— Да ты бы ее еще Софьей назвал. Знаешь, поди, кого Марфой-то зовут? Государь, как услышит это имя, чернеет весь... Солоно ему и эта сестрица пришлась!..

— А ведь правда! — согласился Шереметев. — Да и голова же у тебя, Алексаша!.. Быть по-твоему! Попало ей, как ее в плен брали, так пусть она, в память святой Екатерины великомученицы, Катькой называется.

— Ну, вот это — дело! — одобрил Меншиков. — Государь свою тетку, царевну Екатерину Михайловну, всегда жаловал. Катька, так Катька. Немчинскую девку и без попа перекрестить можно.

Марта принесла новые кубки. Фаворит не спускал с нее взора, и наблюдавший Шереметев видел, что во взглядах Меншикова горела не животная страсть, а что-то другое. И он понял, что неожиданный союзник не только стремится к той же цели, как и он, но и путь к ней выбирает тот самый, который надумал боярин в бессонную ночь после первой ночи с мариенбургской пленницей. Исполнилось все точь-в-точь, как наметил он, и душа Бориса Петровича ликovala.

Между тем Меншиков воскликнул:

— А и в самом деле хороша! Не принято чужое добро в глаза хозяину хвалить, да правды как же не сказать? Так вот, Петрович, излил я перед тобой душу мою; суди меня, как знаешь...

— Не до конца ты душу-то излил! — возразил Шереметев. — Не все сказал. Ты вот открылся бы мне, какое же средство придумано тобой, чтобы отвратить нашего государя от кукуевской прелестницы?

— Да какое же? Думал я сперва о простом, но самом верном средстве... Мало ли что бывает!.. Ну, предположим так: Анка возьмет с кого-нибудь гостинец, а дела не сделает. Так ведь если человек от неудачи в гнев придет, то все равно, что безумным делается, и в гневе так может избидеть, что вместо «Исайя ликуй», — с нехорошей улыбкой сказал Александр Данилович, — «вечную память» попам петь придется.

— Ну, это ты, Алексаша, оставь! С глаз таким средством уберешь, а из сердца не вытравишь...

— Так ведь я тебе, Петрович, и сказал, что мои старые мысли были, а теперь у меня новые явились. Надумал я, как Монсову Анку из царева сердца вытравить, и я не я буду, если своего не добьюсь; только мне твоя помощь нужна...

— Ну-ка, ну-ка, скажи!
— А помочь обещаешься?
— В таком-то деле? И спрашивать тебе не надобно, сердечный друг! Прикажи только — весь я твой.
— Ну, так вот! Уступи ты мне эту девку, Катьку!
— Какую? Что кубки приносила?
— Ее, ее самое. Не для себя прошу, а для дела, Петрович.
Шереметев возликовал. Он видел, что Меншиков готов сделать как раз именно то, чего добивался он. Однако он не подал вида, что догадывается о замыслах временщика.
— Больно девка-то хороша! — сказал он. — Да и у меня она еще недавно...

— Для дела, Петрович, для дела. Увидишь сам, что будет! — И, сказав это, Меншиков вопросительно поглядел на задумавшегося боярина.

Несколько времени они молчали. Шереметев, по привычке, от которой он не мог отстать, почесывал затылок и потом вдруг воскликнул:

— Ну, ин быть по-твоему, Данилыч! Ежели для дела, так не жалко мне. Бери Катьку из полы в полу и действуй, как надумал.

— Боярин! — вскочил и протянул к нему объятия Меншиков. — Ты своим соглашением спасаешь Россию, нас спасаешь...

— Ну, полно, полно! — добродушно возразил ему Шереметев. — Если так спасать, то не велика заслуга. Бери Катьку, Данилыч, бери! Слаб у меня ум; совсем я не смеаю того, что ты задумал, а чувствую, что выйдет хорошее дело. Когда она надобна тебе?

— Приказано мне государем, — ответил Меншиков, — возвращаться, нимало не медля, так завтра утром я выеду во Псков. Ее же, Катьки, я с собой не возьму, а ты, день спустя, пошли ее мне вслед, да караул приставь, чтоб не сбежала...

— Спокоен будь, Данилыч! Исполню все, как ты желаешь. Доставлю Марфушку... Тыфу, тыфу!.. Катьку то есть. Так ты заночуешь? Добро! Я пошлю Катерину тебе постель сделать. А теперь довольно разговоров. Выпьем за твой успех! Делу время, а потехе час.

Все было приготовлено у радушного хозяина, чтобы повеселить гостя. Уже поздно ночью разошлись хозяин и гость, и вплоть до рассвета ключом кипел около них веселый, шумный праздник.

ХII

НА ПУТИ К СЧАСТЬЮ

С трудом припоминала Марта Рабе о том, что случилось в последующие дни. Хорошо ей жилось на боярской кухне среди ухаживавшей за нею челяди. До сей поры строго держала ее в руках сестра пастора Глюка; она была сурова, как вообще суровы

все старухи, да притом еще была проникнута до мозга костей святошеством и ханжеством. Пасторский дом казался ей чем-то особенным, чем-то таким, где все, от мала до велика, должны были находиться постоянно в особенном елейном виде, говорить не иначе как возводя взоры к небу и пересыпая речь всевозможными текстами из Писания. Смех, веселость, даже самая невинная шутка строжайше преследовались и изгонялись. Не принимались во внимание ни молодость, ни темперамент.

Марта под надзором старухи жила строже, чем в монастыре. Замужество манило ее потому, что в замужестве она видела освобождение от всяческих строгостей, и вдруг она очутилась на полнейшей свободе, на такой свободе, какая ей и во сне не снилась. Жизнь вокруг нее кипела, ключом была — ведь это была жизнь военного лагеря, где каждый был куда более свободен, чем в обычных бытовых условиях. Елось вкусно и сытно, пилось вдоволь, и вина были такие сладкие, вкусные, что и самое опьянение после них предрасположенной к алкоголизму женщине казалось райским блаженством.

Меншиков действительно уехал под утро дня, следовавшего за его беседой с Шереметевым. При прощании боярин и фаворит расцеловались. Борис Петрович, правда, после этого губы отер и долго-долго плевался, но Алексашке слаще меду казались эти поцелуи родовитого боярина. Как ни недоверчив он был, как ни подозрителен, а все-таки он уверовал в искренность боярина и даже не заметил того, что сам-то он явился в его руках послушным орудием. Под вечер этого дня Борис Петрович приказал позвать к себе сержанта Кочета.

— Ну-ка, Кочет, — сказал он, когда тот явился на его зов, — просил ты меня, чтобы я тебя пожаловал... Случай подходящий выходит, и сам я не прочь от сего.

— Постарайся, боярин! — шустро ответил Кочет. — Век не забуду твоей милости, верным слугой буду.

— Спасибо на том! Только на многое ты не надейся.

— Да мне бы, боярин, зацепочку малую, а там я и сам сумел бы.

— Вот и будет у тебя зацепка, да, пожалуй, и не малая, а великая. Только сам старайся!

— Рад стараться, боярин. Глазом моргни — все сделаю.

Должно быть, Кочет нравился Шереметеву, а может быть, ему и нужен был верный человек, шустрый, разбитной. Кочет же таким и казался. Милостиво глядел на него боярин и столь же милостиво объяснил, что ему требуется от стрельца.

— Поедешь ты в Псков-город, — сказал он, — и должен ты туда отвезти Марфушку, вон ту самую, которой ты мне поклонился. И так отвези ее, чтобы непременно она была доставлена. Береги ее больше зеницы своего ока. Сможешь?

— Еще бы не смочь, батюшка-боярин? Предоставлю, куда прикажешь, хоть в самое Москву.

— В Москву не надобно; в Москву, — загадочно усмехнулся Шереметев, — другой найдется ее отвезти. Ты только во Псков доставь. Возьми караул... Таких товарищей подбери, на которых ты надеяться бы мог, а в Пскове сдашь бабу при моем письме самому Александру Даниловичу Меншикову.

— Боярин милостивый, — воскликнул Кочет, — а ведь и на самом деле зацепку ты мне даешь немалую!

Шереметев опять ухмыльнулся.

— Говорил я тебе, — сказал он, — только уж ты сам свое счастье за хвост лови. Сумеешь поймать — в гору пойдешь, не сумеешь — себя виновать. А в письме-то я про тебя нарочито помянул.

Кочет так расчувствовался, что даже бросился к ногам боярина.

Ему было приказано явиться с выбранными им товарищами не позже как на следующее утро. Кочет ушел в лагерь радостный. Но на его губах змеилась такая улыбка что, если бы только увидел ее Борис Петрович, он, наверное, призадумался бы, стоит ли ему ходатайствовать за этого человека.

На другой день по дороге от русского лагеря и Мариенбурга к русской границе уже двинулся небольшой поезд. Впереди шли солдаты в походной форме, сзади них тряслась колымага, а в ней крепко спала мариенбургская красотка. Рядом с колымагой шли двое солдат; один из них был Кочет. За колымагой двигалось несколько подвод, нагруженных провиантом; тут же ехали солдаты, которые должны были сменять пеших конвоиров. Путь совершался беспрепятственно. Кочет был весьма предупредителен к Марте, шутил с ней, и они частенько выпивали, так что Марта почти не замечала пути.

Как-то им пришлось заночевать в поле. Разожгли костры, ночь была сырая (стоял конец августа), а солдаты были рады погреться около веселого пламени. Тут впервые Марта заметила какого-то нового человека. Это был высокий, мускулистый парень с глуповатым лицом. Приглядываясь к нему, она заметила, что этот парень был хорошо знаком с ее другом и покровителем. Кочет разговаривал с ним так, как будто знал его давным-давно.

Марта спала целый день и теперь к ночи не могла заснуть. Она видела, как разбрелись к подводам солдаты и у костра остались только Кочет да парень в крестьянской одежде. Ночь была тихая, лунная. Марта потихоньку выбралась из колымаги: ей хотелось движения, хотелось ходить, но она боялась, что Кочет не пустит ее из возка. Выбравшись потихоньку, она сперва прошла по полю, потом, обойдя круг, очутилась в леску, на опушке которого был разложен костер.

Тут девушке вдруг сделалось страшно, ее невольно потянуло к людям. Недолго думая, Марта Рабе пошла туда, где сидел Кочет со своим знакомцем, но, подойдя совсем близко, она вдруг остановилась, движимая каким-то тайным чувством. Кочет и его собеседник, уверенные, что их никто не слышит, говорили вполголоса, нисколько не стесняясь.

— Да, Телепень, да, — произнес сержант, — наступает и наше времечко расквитаться с злым врагом и послужить еще раз матушке-царевне.

— Что ж, и послужим! — ответил Телепень. — Я к тому не прочь.

— Знаю это, друг, потому-то и говорю я с тобой. Не испугался ты труда, пришел навстречу ко мне, так я и впредь на тебя надеюсь.

— Надейся! Не прогадаешь! А только, что делать надо, скажи?

— Да ничего пока. Я так устроился, что за великие свои заслуги в гвардию попаду, — иронически засмеялся Кочет. — Совсем близко буду от нарышкинского антихриста. И вот тогда, как только случай выдастся, себя не пожалею, а в затылок ему пулю всажу. Ой, не забыл я ни дыбы, ни плетей, ни паленых веников. Мал я человек, да велика моя злоба... Из застенка до гвардии я добрался, и во все-то эти годы только об одном и думал, как бы мне с врагом расплатиться. Чего мне себя-то жалеть? Один я? Так все равно.

— А мне что делать? — спросил Телепень.

— Будь всегда ко мне поближе, и ты понадобишься, а пока делай, что делал. Трещи всюду, как стрекоза, что, дескать, не царь у нас, а антихристово порождение.

XIII

ТАЙНЫЕ ВРАГИ

Марта плохо понимала, что говорили эти люди, но, услышав последние слова, не на шутку испугалась. Как только помянули царя, то она, несмотря на свой слабый, малоразвитый ум, сообразила, что если двое собеседников узнают, что она их подслушала, то ей придется плохо. Она потихоньку, крадучись, отошла прочь, пробралась в возок и там постаралась забыть то, что ей удалось услышать.

А если бы она только осталась, то услышала бы и другое...

К Телепню и Кочету присоединился еще один человек, по виду простец, но с гордым, выразительным лицом.

Этот третий был боярский сын, Михаил Родионович Каренин, личный враг Петра, ненавидевший его так, как только может ненавидеть человек человека.

Когда то, в дни ранней юности, в те дни, когда царь Петр потайно наезжал в Немецкую слободу, не для того чтобы искать «утех» у ее Юдифи, а повинувшись своей любознательности и стремясь приобрести знания, часто бывал в этой же слободе и Михаил Родионович со своим младшим братом Павлом.

Обоих этих юношей влекло сюда нежное чувство. Оба они были с детства сиротами, и воспитала их взятая для того отцом кроткая и разумная немчинка фрау Фогель, не устоявшая, однако, против домогательств боярина и ставшая матерью его «засорных детей».

Когда боярин Родион Каренин перебрался на Москву, где действовали суровые законы царя Алексея Михайловича о таких детях, фрау Фогель, испугавшись за их участь, поспешила укрыться в Немецкой слободе.

Михаил и Павел любили свою воспитательницу, которую они считали своей второй матерью и которую сумели-таки разыскать. Но тут-то с Михаилом, юношей огромной впечатлительности, и приключилась беда...

В Немецкой слободе он увидел девушку, которую полюбил со всем пылом первой юношеской любви.

Это была воспитанница местного пастора, Елена Фадемрехт. Она как будто ответила на чувства молодого Каренина, но до решительного объяснения между ними не дошло. А тем временем в Немецкую слободу зачастил молодой царь Петр, и Михаил Каренин заподозрил в нем соперника себе.

Этого было вполне достаточно, чтобы он страстно возненавидел царя.

Напрасны были уверения Елены, что не она, а Анна Монс привлекает Петра, Михаил не верил ничему... Случилось же так, что Павел Каренин обратил на себя царское внимание, и Петр Алексеевич, узнав от него, что его брат косвенно причастен к делу Шакловитого, хотя и простил Михаила, но, воспользовавшись тем, что фрау Фогель стремилась за границу, где чувствовала в полной безопасности своих детей, отправил с нею, как бы для «совершенства в науках», и обоих братьев Карениных, дав их отцу почетное поручение на отдаленнейшую границу государства.

За рубежом Павел Каренин умер, а мучавшийся ревностью Михаил, не в силах преодолеть себя, тайно вернулся на родину. Он пробрался в Москву и узнал здесь, что Петр выдал замуж его возлюбленную Елену, которая вскоре после свадьбы умерла... Отчаянию молодого человека не было предела... Ненависть против Петра, которого он считал виновником всей своей беды, вспыхнула с такой силой, что желание отомстить ненавистному человеку овладело Михаилом Карениным, и с течением лет обращалось в манию... На его беду, судьба столкнула его с Кочетом и Телепнем, и эти трое людей составили между собою как бы союз, чтобы отомстить тому, кого они считали своим заклятым врагом...

Теперь все эти трое людей, впрочем, всегда бывавшие близко друг от друга, сошлись, буруеваемые самыми мрачными помыслами.

— Вот, говоришь ты, — высказывал Телепень, — толковать везде, что царь у нас — не царь, а антихристово порождение... Только кой прок от того? В этих-то местах, на рубеже, никто такому разговору не поверит... Здесь народ всякие виды выдывал и что ему антихрист... Вот другое дело пойти на Волгу, на Дон: там только слух об антихристе пусти, все так за то и уцепятся...

— Верно он говорит, — мрачно сказал Михайло Каренин, — здесь с таким делом только пропадешь напрасно...

— Тогда вот что, — воскликнул Кочет, — пусть Телепень на Волгу идет... Там благочестивых старцев — видимо-невидимо, в пещерах живут, и великое около них народное стечение бывает... Да и народ тамошний, что порох... Только искорку пустить, так и вспыхнет!

— Что же, — согласился Телепень, весьма довольный тем, что его мысль признана сообщниками удачной, — такое дело совсем по мне.

— А мы здесь останемся, — отозвался Каренин, — видится мне, что ежели с терпением ждать, так будет для нас удача...

— А все я! — похвастал Кочет.

— Да, такое это дело, — согласился Михайло, — только, друг ты мой любезный, — усмехнулся он, — без ума такого дела вокруг пальца не обернешь...

— Мой ум да твой, вот и два ума! — сказал Кочет. — Ну-ка, посоветуй, Михайло Родионович, что мне теперь в первую голову делать?

— А ты что думал?

— А думал я, как привезу немчинку к Меншику, так проситься, чтобы меня в гвардию взяли.

— Ну, возьмут, а дальше что?

— Такое время теперь пришло быстрое: ежели в гвардию, так до большого чина весьма скоро дослужиться можно, и стану я тогда к царю-то совсем в приближении...

— И чем выше ты станешь, тем скорее голову себе свернешь... Не всем так, как Алексашке Меншику, удача везет... Да и он, Меншик-то, постарается всякому ногу подставить, кто вровень с ним взбираться будет...

— Что же делать-то тогда? — даже растерялся Кочет, сразу понявший, что Михаил Родионович говорит правду. — Научи, боярин...

— А вот что. Ты так устрой, чтобы тебе Меншиком вертеть во все стороны можно... За большим не гонись: ведь все мы клятву дали для одной только мести жить... Живота своего не жалеем, так о достатках ли нам заботиться... Увидишь ты Меншика, так не в гвардию просись, а к нему в денщики... Возьмет он тебя, служи ему верой и правдой... Ежели меня под топор отправить понадобится, не задумываясь, отправляй... Только пусть он уверится, что предан ты ему всею душою. Поверит он тебе, станет потайные свои дела тебе поручать, и возьмешь ты тогда такую силу, что все по задуманному тобой исполняться будет. И станут тогда на Руси все великие дела вершить антихристово порождение да ты, ада исчадь...

— Ой, сумею ли я? — задумчиво произнес Кочет. — Пропаду я, ежели ты мною править не будешь...

— За мною дело не станет, — мрачно усмехнулся Каренин, — ты лишь уговора нашего не забывай... А Телепень пусть на Волгу к казакам идет. На Волге-то еще Стеньки Разина дух живет...

Ежели там народ взбудоражить, так оттуда пламя-то на Дон, на Буг, на Кубань, на Терек перекинется, и такой пожар разгорится, что почище московских стрелецких будет...

Он замолчал.

Кочет смотрел на него и давал сам себе в душе зарок следовать всему, что будет указано этим мрачным человеком.

На рассвете маленький обоз тронулся дальше. Псков был недалеко; русская граница была уже перейдена, и теперь все чаще и чаще попадались навстречу люди русского склада. Марта с любопытством разглядывала все то, что видела, и наконец действительно позабыла слышанный ею разговор

XIV

ПО СТУПЕНЯМ К ВЫСИ

Красив был Псков того времени, вотчина господина великого Новгорода. Из-за белых стен кремля, целые века отстаивавших русскую землю и от дикой Литвы, и от меченосцев, а в Смутное время и от шведов, высились золотые кресты множества церквей, а вокруг города раскинулись богатейшие предместья, в которых постоянно бывали склады всяких заморских товаров.

В это время Псков кишел военными людьми. Новое, большое дело затевал царь Петр Алексеевич и собрал сюда всю свою ратную силу, уже вполне оправившуюся от нарвского погрома.

Кочет, расспросив встречных, прямо с пути явился к тому дому, где, как ему указали, жил Александр Данилович Меншиков.

Время было походное; даже царь и тот ютился кое-как, чуть не в лачуге. Однако его любимейший фаворит занимал довольно поместительный дом в кремле.

В это время, под влиянием всего пережитого, переиспытанного, в царе, недавно еще безмерно своенравном, бешено гневливом, склонном к внешнему великолепию и только в силу упрямства кидавшемся на все грубое, начал свершаться новый душевный переворот. Петр как будто умышленно выставлял себя в самом простом виде, своих же ближайших, напротив того, заставлял жить пышно, роскошно, и, конечно, такой контраст всегда был в его пользу, подчеркивая, что он трудится, тогда как те, кто обязан был бы работать, только пьянствуют и бездельничают.

Потом, с годами, все это вошло уже в привычку. Петр Алексеевич не был богатым царем, личное его состояние было не велико, а денег государства он на себя не тратил, памятуя, как он сам в былые дни относился к мотовству старших сестер, то и дело требовавших из приказов денег на свои личные затеи и прихоти. Этим путем у него развилась бережливость, быстро перешедшая в скупость.

Мелкие людишки, окружавшие в ту нору царя, знали эту слабость Петра Алексеевича и пользовались ей без малейшей застенчивости.

Дом Меншикова и в Пскове, где пребывание царя было чисто случайным, был обставлен с такой роскошью, какая, пожалуй, и для царя не была бы малою.

Возок с пленницей остановился у крыльца, и, должно быть, Меншиков, бывший дома, сразу сообразил, что это такое. По крайней мере сейчас же выбежали люди и стали спрашивать у Кочета, кто он и с чем явился к их господину.

Кочет был весьма сметлив. Он тотчас же сообразил, что для него весьма важно попасть на глаза к самому фавориту, а потому ответил:

— Привез я гостинец и письмо от боярина Шереметева и отдам их только в руки самому господину вашему.

Сколько с ним ни бились, он уперся и стоял на своем.

— Боярин Борис Петрович приказал, — говорил он, — я его послушаться не смею.

Тогда его отвели к Александру Даниловичу.

Тот сперва распалился на смелого солдата, но, когда первый пыл прошел, сообразил, что иначе Кочет поступить не мог, и принял письмо.

По мере того как фаворит читал послание боярина, его лицо все прояснялось и прояснялось. Должно быть, так, как хотелось ему, писал Борис Петрович, — без всякого сучка и задоринки.

— Ты привез от боярина пленницу? — спросил он, взглядывая на Кочета. — А по дороге ни с кем не допускал ее разговаривать?

— Никак нет! — ответил Кочет. — Марфушка...

— Какая там Марфушка? — закричал на него Меншиков. — Никакой я Марфушки не знаю. Екатерина ее зовут.

— Так точно, Екатерина, — поправился Кочет. — Она ни с кем, кроме меня, ни словечка не пикнула.

— Ну, ин быть так, поверю я тебе. Молодец, если хорошо боярскую службу справил. Вот пишет мне боярин, что ты, Кочет — парень дельный, так можно судить — ухарь; а такие нам надобны. Просит за тебя боярин Борис Петрович. Сделаю я по его за твою службу; если хочешь, так я тебя к себе денщиком возьму?

Это было более того, чего мог ожидать Кочет. Он даже покраснел от радости и сразу не нашелся, что ответить.

— Ну, ну, вижу, что хочешь, — милостиво сказал Меншиков, — иди, погуляй по Пскову, а к вечеру назад возвращайся, да Катерину-то в дом пошли. Я уже тут о ней позабочусь.

Веселый, радостный ушел от всемогущего фаворита бывший стрелец. Злобная была у него натура, он жил только для мести; он до последнего мгновения не мог забыть застенки и решил всего себя отдать своей мести. С этим он и добивался близости к царю Петру. Для него Петр по-прежнему был не великий царь-государь, а злой нарышкинец, царевнин враг, антихрист. И темные, мрачные мысли все больше и больше овладевали этим человеком, которого ненасытная злоба и яростная жажда мести делали и хитрым, и настойчивым, и энергичным.

Марта Рабе, или теперь уже Екатерина (ее фамилией Александр Данилович не интересовался), осталась в доме всесильного фаворита к жила в нем уже не как простая служанка: хотя Меншиков относился к ней и не с особенным почтением, однако обращался с ней далеко не как с рабой, обязанной беспрекословно повиноваться всякой его воле, всяким капризам. Освобождаясь от пребывания у царя, от нередких попок, он спешил к Екатерине, затворялся с нею в отдаленном покое и вел долгие-долгие разговоры. Последние были по большей части деловые.

Меншиков прекрасно владел немецким языком. Пытавшиеся подслушать слуги не понимали его слов, но по тону голоса заключали, что Александр Данилович, перед которым нередко, как в лихорадке, дрожали с перепугу знаменитые бояре, недавно еще бывшие самой крепкой опорой престола, унижался до жалобных просьб перед мариенбургской пленницей.

XV

ПОИСК НА ОРЕШЕК

А дни между тем шли. К 10 сентября в Пскове собралась вся шереметевская армия. Государь налетел в Псков из Новгорода, умчался обратно туда, и вскоре уже после этого разнеслась весть, что не сегодня-завтра начнется новый поход на Ладугу. Тут уже всякому стало понятно, что царь затеял «великий поиск» на шведскую крепость Нотебург, преграждавшую выход из Ладоги в Неву.

В невозможную осеннюю распутицу, как две живые реки, показались своими живыми волнами петровские армии из Новгорода и Пскова, направляясь к древнему новгородскому Орешку. Путь не был очень длинен, но хуже всего была распутица. Главнокомандующим этих армий был назначен боярин Борис Петрович Шереметев. В то же время на Ладожское озеро был послан генерал-адмирал Апраксин, брат царицы Марфы, вдовы царя Федора. В начале пути переходы были не слишком тяжелы: как-никак, а в пограничном крае были сносные дороги; но вскоре перед армиями сплошными стенами встали приволховские лесные трущобы. Тут дорог не было, приходилось продирааться сквозь лесные чащи, осиливать топи, болота, и, чем дальше шли полки, тем тяжелее и тяжелее становился их путь. Мозглая осень этого года явилась надежным союзником шведов, но закаленные в «малой войне» солдаты превозмогли все и в конце сентября они уже были на левом берегу Невы, в виду грозной крепости.

Там не ожидали их появления. Но, хотя шведы и были застигнуты врасплох, тем не менее Нотебург оказался настолько укрепленным, что нечего было и думать об успехе внезапного нападения на него. Нотебург стоял на острове; от правого берега он был отделен широким невским рукавом, с севера у него было Ладожское озеро, так что попасть к крепости можно было, только перебравшись через воду.

Подошедшие войска стали на левом берегу Невы. Хотя Шереметев и считался самостоятельным, но до прибытия царя не решился начать какие бы то ни было действия и ограничился тем, что занял высоты правого берега, переправив туда часть войск по Неве ниже крепости.

В мозглый, скверный день 1 октября русские полки приветствовали громкими «ура!» прибывшего к ним государя. Он был не один: в его свите было много поляков и саксонцев, перед которыми он хотел похвастаться взятием одной из сильнейших крепостей того времени. Увлечение Петра его «другом» Августом еще не прошло, и эту свою дружбу он особенно подчеркивал тем, что всюду брал с собой его посланцев.

В свите царя был и польско-саксонский резидент Кенигсек.

К нему особенно благоволил во все это время московский царь. Ни одного раза в его мозгу не мелькнуло мысли, что перед ним его счастливый соперник в любви, не раз уже сменявший его на роскошной кровати с золочеными занавесами. О, еще сильно было человеческое в Петре! Несмотря ни на что, все еще не испарилась его наивная вера в людей. Он крепко любил Анну Монс, и ему даже в голову не приходила мысль, что так горячо любимая им женщина, обласканная им, одаренная им с величайшей щедростью, поднятая из совершенного ничтожества, женщина, для которой он решался на все, на что никогда не осмелился бы даже такой мощный его предшественник, как Иван Грозный (Петр все больше и больше утверждался в мысли обвенчаться с Анной), осмелилась бы нагло и дерзко обманывать его с каким-то иноземным проходимцем. В эту пору Петр писал в Немецкую слободу Анне Монс нежнейшие письма, в которых так и сквозила жаждущая ласки, любящая душа.

В сопровождении своей свиты, придворной знати и столь излюбленных иностранцев Петр чуть не каждый день ездил по невиским берегам, осматривая осадные сооружения.

— Как ни крепок сей Орешек, — говорил он, — а все-таки с помощью Божией мы разгрызем его.

А осень становилась все мозглее, дни все туманнее, с Ладоги веяло сыростью. Шереметев докладывал царю, что, если простоять еще здесь, так войско может напрасно истребиться от болезней. Действительно, смертность среди солдат развивалась. Царь и сам понимал, что медлить под Нотеборгом невозможно, и, наконец, на 11 октября был назначен решительный штурм сильно укрепленной, почти неприступной крепости.

В величайшем волнении проводил царь все эти дни; он даже не замечал, что «дитя его сердца» — Алексашка Меншиков редко показывался ему на глаза, а если и показывался, то лицо у него было какое-то встревоженное, как будто он был занят делом, за успех которого страшился более, чем за свою жизнь.

Меншиков действительно был занят. Его денщик Кочет стал совсем близким к нему человеком, и они все чаще и чаще, предвзительно удалив других слуг, совещались о каком-то деле.

— Смотри, Кочет, все сделай, как мы говорим. Большая тебе награда будет! — сказал однажды Меншиков.

— Не изволь беспокоиться, милостивец! — ответил бывший стрелец. — Мне ли в таком деле не послужить тебе? Ты только устрой так, чтобы враг-то мой со мной вместе был, а об остальном и не думай.

Очевидно, что-то затевалось, и главным действующим лицом здесь являлся Кочет.

XVI

ПОД ГРОХОТ ПУШЕК

Утром 11 октября подполковник князь Михайло Голицын с храбрейшими из двух полков гвардии переправился на остров и подступил к крепости. К несчастью, штурмовые лестницы оказались на полторы сажени короче, и русский отряд, находясь под самыми стенами, поражаемый сверху картечью, гранатами и камнями, подвергся очевидной опасности совершенного истребления. Петр уже дал приказание отступить, но та же гибель предстояла и при отступлении.

— Скажи государю, — ответил храбрый Голицын посланному, — что теперь я принадлежу не ему, а Богу.

Он приказал оттолкнуть лодки от берега и броситься на крепостную стену. Изумленные столь отчаянным мужеством русских, осажденные положили оружие.

И в это страшное утро царь, наблюдавший за ходом штурма, не замечал около себя Меншикова. Тот же был недалеко. В эту ночь он напросился в гости к графу Кенигсеку.

— Быть может, моя последняя ночь, — сказал он, — хочу весело провести ее.

Ночь была проведена более чем весело. Позднее осеннее утро застало участников устроенной Меншиковым попойки даже еще не ложившимися спать. Русские выдержали; Александр Данилович даже и совсем трезв был, но заметно волновался. Зато непривычный хмель свалил с ног Кенигсека. Его голова была как свинцом налита, веки смыкались, язык переставал повиноваться.

Около самого утра в шатер, где была попойка, вбежал Кочет.

— Великий государь требует к себе вот его, — заговорил он, обращаясь к Меншикову, и указал на графа Кенигсека. — На своей батарее государь пребывает и повелеть изволил, чтобы до начала пушечного боя вся его свита около него собралась.

— Ахти! — воскликнул Александр Данилович. — А мы-то даже и не вздремнули. Граф, а граф! Слышишь? Государь тебя требует.

— К черту!.. — проговорил спросонок пьяный Кенигсек. — На что я там понадобился? Что мне делать? Никакой у меня охоты нет на вашу бойню смотреть.

— Да пойми же, граф, нельзя! Разгневается государь...

— А мне какое дело? Мой государь — Август, а вашего царя я и знать не хочу...

— Полно, перестань!.. За такие словеса, знаешь, что у нас бывает?

— Так вы кто? Рабы! А я — свободный человек. Вас батогами бьют, и стоит. Чего вы сами-то стоите, если ваш царь у свободного человека его любовными остатками пользуется? Правду я говорю или нет?

— Тс-с... ни слова! — закрыл ему ладонью рот Меншиков. — Я ничего не слышал, граф, что ты спяна болтал. Поезжай скорей на батарею. Государя нельзя заставлять ждать.

Должно быть, и Кенигсек почувствовал, что сказал слишком много, но пьяное упорство не позволяло ему сдаться без ломания.

— Куда я еще поеду? — замычал он. — Я и дороги не знаю...

— Поезжай, мой денщик тебя проводит, — сказал Меншиков.

— Разве только, что он, — сдался Кенигсек. — Ну, если так, ведите меня... Черт с вами, поеду. На лошадь только посадите, а там я удержусь.

Глаза Александра Даниловича так и блеснули. Он быстро взглянул на Кочета, и тот ответил ему таким же быстрым и острым взглядом.

— Вот так-то лучше! — нервно смеясь, заговорил Меншиков. — Ты, граф, поезжай на государеву батарею, а я в другие места поспешу. У меня тоже в такое утро хлопот полон рот.

Вместе с Кочетом он вывел графа и усадил его в седло.

— Дай еще на дорогу выпить! — воскликнул тот и залпом осушил поднесенную ему сейчас же чарку. — Ну, теперь едем.

Через мгновение они скрылись в сумраке только что наступавшего утра.

Меншиков немного постоял, смотря им вслед; его так и трясла лихорадка. Потом он лихо вскочил на лошадь и один помчался по хорошо знакомой ему дороге к царской батарее.

Артиллерийская подготовка штурма уже началась. Русские пушки так и ревели на обоих берегах, посылая в осажденную крепость тучи ядер. Царская батарея находилась на холме, возвышавшемся у самого берега небольшой речонки, переправляться через которую, однако, нужно было по лавам. Речонка была глубокая и быстрая, с крутыми берегами. Меншиков во весь опор промчался по колеблющимся плотам и взнесся на холм.

Царь зверем посмотрел на него и крикнул:

— Где ты шлялся, негодник? Я тебя ищу, ишу, а все нет нигде?!

— Прости, государь, — смело ответил Александр Данилович, — о твоём же царском деле я заботился. По всему берегу я проехал, везде все осмотрел. Сам же ты говоришь, что свой глаз-алмаз, а в этом-то деле без верного досмотра и обойтись нельзя.

— То-то! — уже более милостиво проговорил Петр Алексеевич. — Ах этот Шлиппенбах! Какой комендант он, если такую крепость сдаст!..

— А не сдаст он ее, государь, — воскликнул Александр Данилович, — так мы и сами для тебя возьмем!

Пушки на мгновение смолкли, от берега отчаливали баржи с голицынскими штурмовыми колоннами. Настала томительная, удручающая тишина.

— Помогите, кто в Бога верует! — раздался из-под холма с речонки громкий вопль.

Царь нахмурился.

— Что еще там такое? — проговорил он. — Никак кто-то тонет. Поди, Алексахка, догляди; может быть, от Петровича с донесением гонец был послан.

— Сейчас, государь! — крикнул Меншиков и умчался к царской батарее.

Пушки опять заревели. Начался невообразимый хаос. Штурмовые колонны уже были близки к островку; теперь заговорили и пушки Нотеборга; в сумраке осеннего утра стены крепости то и дело опоясывались огневой лентой выстрелов.

Царь Петр забыл об услышанном им вопле, забыл обо всем; он весь ушел в созерцание открывавшейся перед ним ужасной картины начавшегося штурма. Дальше некогда было помнить государю ни о чем. Весь исход начавшейся борьбы с северным «коронованным викингом» висел на волоске, все зависело от того, будет взят Нотеборг или нет. Обреченные на явную гибель голицынские полки совершали чудеса храбрости; противиться им не было возможности и глубокий вздох облегчения вырвался из груди Петра, когда он увидел взвившийся над неприступной крепостью белый флаг.

— Тебе Бога хвалим! — в порыве восторга запел он, обнажая голую.

Теперь он уже не боялся за будущее. Никто не мог преградить выход из русской Ладogi в шведскую Неву, шведское могущество в крае было вконец надломлено, древняя русская твердыня была возвращена России.

XVII

ПОМРАЧЕННАЯ РАДОСТЬ

Все изменялось, начиная с этого мгновения. Петр расплачивался за Нарву, и победа осияла его войска славой. Из его глаз катились невольные слезы, а кругом него из десятков тысяч глоток, заглушая последние пушечные выстрелы, рвалось могучее, стихийное русское «ура!».

— Великой, первостатейной важности дело свершилось, Петрович, — улыбаясь, сказал государь Шереметеву, — можно сказать теперь, что древний наш Орешек стал для нас ключом к свободному морю. Так пусть же он в напоминание и назидание потомству о сем останется таковым. Отныне да будет имя сей твердыне Шлис-сельбург.

Новое «ура!» покрыло последние слова царя-победителя. Видно было, как распахнулись крепостные ворота и из них на прибрежные отмели островка повалила толпа всякого народа. От пристани отвалили лодки: это сам комендант сдавшейся крепости вез царю ее ключи.

Петр милостиво принял побежденных, удостоил их, как храбрых, воинской почетной встречи, а затем пригласил Шлиппенбаха и высших его офицеров в свой шатер на пиршество, которым он отпраздновал победу.

Впрочем, это было не обычное шумное петровское пиршество — слишком уж утомлен был царь. Меншиков отсутствовал, а ведь он был душою и главным вдохновителем всех царевых пиршеств и попоек.

Только уже к концу пира заметил Петр своего фаворита. Ему показалось, что Александр Данилович прячется за чужие спины, стараясь не появиться перед его глазами.

Этого одного было достаточно, чтобы возбудить и любопытство, и подозрение царя.

— Эй, Алексаша, милое дитя моего сердца! — воскликнул государь. — Что я тебя не вижу? Где ты там укрываешься? Подойди сюда!

Повинуясь царскому приказу, Меншиков выдвинулся вперед, и Петр, подозрительно взглянувший на него, сразу заметил, что случилось что-то особенное: его любимец потуплял взоры, отворачивался в сторону и как будто не решался заговорить.

— Что еще там у тебя такое? Что приключилось, рассказывай! — крикнул царь.

— Прости, государь, — тихо ответил Меншиков, и Петр ясно расслышал, что его голос дрожал.

— Да в чем прощать-то? Сказывай, в чем ты провинился? Опять какого-нибудь купца обобрал и жалобы на себя боишься?

— Нет, государь, не то. Беда приключилась, несчастье...

— Ну, в столь радостный день? Что стряслось?

Меншиков совсем близко подошел к царю и вполголоса проговорил:

— Граф Кенигсек утонул. Это, государь, ты его вопли слышал, когда на батарее был.

Петр так и вздрогнул.

— Что? — закричал он. — Друга моего, короля Августа, верный слуга погиб? Да как же это случиться могло? ·

— Доподлинно не ведаю, государь, — так же тихо ответил Александр Данилович, — сам знаешь, я при тебе на батарее был. А когда я расспрос учинил, то рассказывали мне, что граф-то спешил к твоему царскому величеству на батарею и пустил лошадь вскачь через лавы. Вот тут разное говорят: одни — что лавы разведены были, а граф в утренней темноте того и не заметил, другие — что поскользнулась лошадь и вместе с графом с лав в речку свалилась, граф же будто в стремених запутался.

Царь опустил свою большую голову на руки. Видимо, это известие не только опечалило, но и страшно поразило его.

— В столь радостный для меня день, — тихо проговорил он, — и такая беда приключилась! Уж не знамение ли это для меня? Как подумаю, так поверить не могу. Граф Кенигсек утонул... Его я лишился!.. Да знаешь ли ты, негодник, — вдруг сверкнул царь глазами на Меншикова, — за такого, каким граф для меня был, я двоих таких, как ты, отдал бы.

— Твоя на то воля, государь, — дерзко взмахнул головой Александр Данилович. — Да вот только хорошие-то твои друзья иноземные что-то не держатся при тебе: одни сами уходят, других Бог отнимает от тебя, — а мы, русские негодники, с тобой постоянно, и каждый-то из нас, негодников, как князь Михайло Голицын, свой живот за твое государево дело ежечасно готов положить. Да, великий государь, знать, поэтому мы и выходим для тебя негодниками.

Дерзость всегда действовала на Петра. Смелые слова Меншикова охладили его вспышку; он почувствовал в них горькую правду и сразу же укротился.

— Ну полно, Алексашка, полно! — довольно кротко сказал он. — Не гневись да не гонись за каждым словом. Ведь мы свои здесь; побранимся и все такие же будем. А ты вот сейчас же и на рожон лезешь. Нет того, чтобы помилосердствовать и не раздражать государя...

— Да я, государь, и не для раздражения сказал, — ответил Меншиков, поднимая на Петра взор. — Не впервой мне от тебя за мою службу обиды терпеть. К тому речь веду: покойный-то граф...

— Вытащили его? — перебил его Петр.

— Не в реке же, государь, тело было оставлять, водой бы в Неву унесло, а там в сегодняшней день для рыбьего и рачьего прокормления и без того немало русских негодников плавают.

— Алексашка, перестань! — загремел государь. — Не натягивай струны, лопнуть может.

— Да я к тому сказал, — с еще большей дерзостью ответил Меншиков, — что если такая мертвечина иноземная, которая ласки не помнит, на добро плюет, да рыбам на снесь попадет, так все они, рыбы-то, передохнут...

Петр опять почувствовал, что если Меншиков, которого он знал за большого приятеля погибшего Кенигсека, говорит так, то неспроста. Царь знал своего фаворита, всю его душу вызнал и понимал, что если Меншиков хулит кого-нибудь, хотя и покойного, так разведет про него что-нибудь такое, что ему язык развязывало.

— Говори, Алексашка, что ты сказать мне хотел. Да в обиняках не путайся! Нечего мне тут твои предерзости выслушивать. Довольно, больше не желаю... Дело говори!

— Да ты меня сам, государь, постоянно перебиваешь, а если бы не то, так я давно осмелился бы напомнить тебе, что граф Кенигсек своим лицом королевскую особу представлял, всякие у него тайные бумаги в шатре могут быть, письма от короля Августа и прочее...

Вот я, как его из воды вынули, так осмелился и по карманам пошарить и в потайном кармане камзола у груди большой пакет нашел...

— Развертывал? — грозно посмотрев на него, спросил царь.

— Смелости не хватило. Да и то сказать: какое мне дело? Вы, помазанники Божии, сами между собой считаетесь, а я-то что?.. Мне ваших тайн не знать. Взял я пакет и в шатер Кенигсека отнес, там и тело положено. А к шатру я караул приставил, чтобы никто не смел близко подходить. Как повелишь быть? Забрать мне бумаги или, быть может, сам их возьмешь?

Петр на мгновение задумался.

«Кто их там знает, какие у покойника бумаги были? — промелькнули у него в голове одна за другой мысли. — Может быть, брат Август такое ему писал, что никому, кроме нас двоих, и ведать не надлежит. Доверь-ка я Алексахке, так он, лиса, все тайны выкрадет, а потом, кому выгодно, продаст. Лучше уж сам я потружусь; недалеко шатер Кенигсека; проеду и его праху поклонюсь».

XVIII

УДАР В САМОЕ СЕРДЦЕ

Во время этого разговора все в шатре притихли. Борис Петрович Шереметев, сидевший поблизости от царя, не спускал взора с Меншикова. Он так и впивался в него своим взглядом, как будто стараясь прочесть все его сокровенные мысли. Боярин чувствовал, что в печальном происшествии этого дня есть какая-то связь с тем разговором, который Меншиков и он вели во время наезда первого под Мариенбург.

«Ой Алексахка, — думал он, — ой лиса, ой конюхово отродье!.. Как он дело-то ведет!.. И что только он задумал? Ведь и впрямь выходит, что этот граф-то не без его помощи преставился».

Громкий возглас царя прервал думы боярина.

— Ин быть так! — проговорил Петр. — Поеду я сам и заберу бумаги. А вы тут, — встал он со своего места, — пируйте, пока я не вернусь. Я недолго... Жаль графа, жаль, а все-таки живые мы, так о живом и думать будем. Ну Данилыч, води меня к шатру!

У царской палатки всегда стояли готовые кони, и, минуто спустя, царь, в сопровождении Меншикова и двух-трех гвардейских офицеров, уже мчался по лагерю, направляясь в ту сторону, где стоял шатер погибшего графа.

— Признайся, Алексахка: заглядывал ты в графские бумаги? — спросил царь.

— Видит Бог, государь, нет, — искренним тоном ответил Меншиков, — взглянешь, так сам увидишь. На пакете все печати целы...

— Да он, может быть, размок?

— Самую малость. Ежели бы трогал я, так бумага разлезлась бы, а вот взглянешь ты, государь, и увидишь, что она цела.

— То-то! Ой Алексаша, если обманываешь ты меня — берегись. Все спускаю, а обмана не помилюю.

— Да зачем мне обманывать тебя, государь? Ведь я — не иноземец, — ответил с ядовитой усмешкою Александр Данилович.

И Петр опять почувствовал, что не без основания говорит это Меншиков и что его ядовитая усмешка по этому печальному случаю имеет смысл.

У шатра Кенигсека со всех сторон стояли часовые.

— Ты меня здесь жди, я один пойду! — спешиваясь, сказал царь Меншикову.

Он бросил поводья и пошел в шатер; Меншиков же с прежней ядовитой усмешкой смотрел ему вслед.

Войдя, Петр остановился и огляделся. На походном ложе лежало тело утонувшего графа, небрежно брошенное, не прибранное и ничем не прикрытое. Царь подошел и опустился перед покойным на одно колено, творя поминальную молитву и крестясь. Потом он встал, провел рукой по своим увлажнившимся глазам и тихо, с чувством проговорил:

— Да, это был друг искренний. Немного таких у меня. Покойся до Страшного Суда, незабвенный! Ты мною не будешь забыт.

Он отошел от тела и огляделся. Было еще довольно светло, и государь сразу заметил на столе большой пакет. Он догадался, что это был тот самый пакет, о котором говорил ему Александр Данилович, и, подойдя к столу, взял его в руки.

«Отправляю, не вскрывая, брату Августу, — подумал он, — зачем мне проникать в чужие тайны?»

Он слегка тряхнул пакетом. Тряпичная бумага, сперва смокшая в воде, а потом несколько замерзшая на осеннем холоде, лопнула от этого движения, и перед Петром, как бы сама собою, вскрылась внутренность пакета. Он увидел его содержимое, и вдруг все его лицо потемнело, голова уже не затряслась, а закачалась, губы искривила страшная конвульсия. Петр с лихорадочной поспешностью стал вскрывать оболочку пакета и хриплые, безумные выкрики то и дело срывались с его уст.

Первым из-под надорванной оболочки выпал его собственный портрет, подаренный им когда-то, в мгновения нежности, первой красавице Кукуя; потом появились его царские письма к Анне, Анны к Кенигсеку, и последние — царь убедился в этом, бегло просмотрев некоторые из них — не оставляли даже и сомнения в том, что он, всемогущий повелитель огромного народа, полный распорядитель жизни и смерти сотен тысяч людей, он, постоянно твердивший, что правда для него краше солнца, был нагло обманываем распутной немецкой бабой!..

Стон, рев рвались из груди этого пораженного в самое сердце человека. Он был оскорблен и как владыка, и как любовник; он, могучий и властный, стал жалкой игрушкой в женских руках. Ведь

он ради кукуевской прелестницы прогнал жену, лишил своего единственного сына матери, он хотел это бесчестное, наглое немецкое отродье, столь очаровавшее его, поставить наравне с собою, на ту высоту, куда вознесла его всемогущая судьба.

И кому он был предпочтен? Какому-то польско-саксонскому негоднику без рода, без племени, которого он же сам вытащил из скверной придворной грязи! И вот он, эта гадкая саксонская тварь, был его счастливым соперником.

В человеке-царе забушевал зверь, страшный, неукротимый зверь. Петр, сжимая кулаки, бросился было к трупу Кенигсека, но в самое последнее мгновение, должно быть, великая тайна смерти, запечатлевшаяся на застывшем лице мертвеца, остановила его. Петр схватился руками за голову, кинулся к столу, а затем, скомкав все бумаги, запихал их по своим карманам и выбежал из шатра.

Меншиков, только взглянув на царя, понял, что произошло. Вмиг на его лице отразилось ликование. Ведь теперь для него не было сомнения, что его план удался в мельчайших подробностях и что такая могучая соперница, как «ночная кукушка» Анна Монс, была повержена в прах.

XIX ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦАРЯ

Петр, ни слова не говоря, вскочил на лошадь и так прищпорил ее, уже привычную к этому, что она испугалась и рванулась вперед. Царь помчался, как вихрь; Меншиков и немногочисленные провожатые не поспевали за ним.

Были сумерки холодного, мозглого дня, с Ладоги дул пронизывающий, сырой ветер. Камзол царя распахнулся, треуголка давно слетела прочь, но он не замечал этого; ледяные шквалы казались ему бодрящими поцелуями. Он рад был буре: ведь в его душе ревела такая же буря, разом смешавшая все то, чему он еще недавно поклонялся, что он нежно любил.

Кто знает, где были в эти мгновения думы Петра? Может быть, ему вспомнилось все прошлое, вспомнилась кроткая, загнанная жена, которая никогда не изменила бы ему; вспоминалась могучая сестра, в роковой для него миг кинувшая ему правдивые укоры; вспоминались иноземцы, для которых на их родине и места, и дела не хватало и которые им, царем, было поставлены во главе своего кроткого, многотерпеливого народа. Теперь они сразу отплатили за все: они показали царю, что они такое и на что они способны, и клокотавшая в его душе буря разом обратилась против них.

А эта распутная баба из Немецкой слободы? Да кто она такая? Имеет ли право даже гневаться на нее великий царь? Ведь она — несчастная тля!.. Светлому ли солнцу туманиться из-за всякой мерзкой твари? Да нет, никогда! Гордость мужская не должна допу-

скать до того, чтобы кто-нибудь сказал, что русский царь был нагло обманут скверной немецкой бабой... Не бывать этому! Сегодня — она, а завтра — другая... Сотни таких и в своей земле, и за рубежом у него перебивали, так что же печалиться о ней? Вон их из памяти царской, вон из сердца, как будто никогда и не было их на белом свете.

Быстрым движением Петр на всем скаку повернул своего коня.

Этот поворот был так неожидан, что следовавший за государем Меншиков на всем скаку налетел на него и тут же вылетел из седла.

— Прости, государь, — завопил он с земли, — никогда больше не буду.

Впечатления быстро менялись в душе Петра. Чем страшнее был порыв, тем скорее он проходил, и всякая мелочь вызывала если не смех, так улыбку. Вот и теперь фигура Меншикова, разодетого в богатейшее придворное платье и барахтавшегося на грязной земле, показалась царю смешной.

— Вставай, шут поганый! — крикнул он.

— И рад бы, государь, — ответил Меншиков, — да не могу. Какая-то косточка хрястнула.

Петр, недолго думая, соскочил с лошади и мощным движением приподнял своего фаворита.

— Ой государь, не могу. Не то ногу вывихнул, — голосил тот, — не то спину поломал.

— Нежен больно! — сумрачно проговорил царь. — Вот я тебя к князю-кесарю в приказ на дыбе полечиться пошлю, живо выздоровеешь.

— Что ж, пошли. Быть может, мое место при тебе для графа Кейзерлинга понадобилось? Очищай, очищай от нас места для иноземцев!

Тон фаворита был нагл и дерзок. Царь опять понял, что неспроста эта выходка Меншикова.

— Садись, что ли, на лошадь, Алексашка! — сурово проговорил он. — Поедем потихоньку. Мне с тебя опрос снять нужно.

Должно быть, Меншиков упал совершенно счастливо и вся его проделка имела целью насмешить царя и тем вызвать его на разговор. По крайней мере теперь, убедившись, что бешеная скачка по невшскому берегу в достаточной мере охладила и образумила царя, а потому ему не грозит более никакой опасности, Меншиков вдруг выздоровел и легко, без всякой помощи, вскочил на лошадь.

— Поедем рядом, — сказал ему государь, — я тебя спрашивать буду, а те, — метнул он головой в сторону провожавших, — пусть подальше отъедут.

Александр Данилович махнул рукой. По этому знаку сопровождавшие им всадники отстали на значительное расстояние.

Несколько времени царь и фаворит ехали молча. Теперь ладожский ветер дул им уже в спину. Меншиков ежился — его словно ледяные иглы насквозь пронизывали. Петр же давно не замечал

непогоды. Он пыхтел, кряхтел, сопел, очевидно не зная, с чего ему начать свои расспросы, и, наконец, обратился к Александру Даниловичу:

— Алексашка!

— Что повелишь, государь?

— А то повелю! Ты вспомни: ведь я тебя из грязи вытащил. Чем ты был бы без меня? На бочке при конюшне ездил бы, а не то на базаре пирогами с тухлой начинкой торговал бы...

— Так, государь, — перебил его Александр Данилович. — Всем я тебе обязан. А пироги, коими я торговал, порочить не изволь: свежие они были, никогда родительница в них тухлятины не клала. А если я торговал на базаре, так нет в том для меня позора. Семеро нас у родителя было, значит, с ним да с матерью девять ртов, да дедка с бабкой; я меньшим был, и с малых лет в честном труде родителям помогал. А разве можно корить этим человека, хотя бы и царю? Твоя воля надо мной теперь! Залетел я вон на какую высь, так и скрывать от тебя не буду, что и с правого, и с виноватого шкуру деру, хуже душегуба на большой дороге граблю... Так за это мне от всех почет и уважение, а за честный труд покор да попрек. Эх, царь-государь Петр Алексеевич! Мудр ты, наш Соломон российский, да язык-то у тебя не всегда на привязи. Повели меня казнить за правду!

— Да что ты, Алексашка! Какой белены объелся? Не попрекаю я тебя, а напоминаю тебе и хочу тебе я, твой царь и повелитель, челом ударить, хочу получить награду малую за все, что я сделал тебе. Скажи ты мне правду, знал ты, какие бумаги при Кенигсеке были?

— Знал, государь, — прозвенел голос Меншикова.

— А-а-а! — вырвался хриплый рев из груди Петра.

— Да ты погоди. Если спрашиваешь у меня правду, так я тебе всю ее выложу, благо время такое подошло, а после делай со мной, что тебе угодно. Не сегодня я об этих бумагах узнал. Обо всем том, что в письмах писано, давно мне было ведомо. Да разве мне одному? Вся Москва взапуски говорит. Царь с кровати, а немчин на тепленькое место.

Новый стон-рев вырвался у Петра.

— Так чего же вы молчали? Чего ты молчал? — закричал царь так, что эхо переливами разнесло его крик.

— Э, государь, — возразил фаворит, — да подумал ли ты, о чем меня спрашиваешь? Кто до тебя приступить смеет? Ведь у всех одна голова на плечах, а твоему князю-кесарю все равно, в чьей крови купаться. Тоже золотце!.. Ну уж, коли на то пошло, государь, так слушай же. Кенигсек утоп...

— А ты ему не помог в этом?

— Да уж там помог — не помог, этого никто не знает, кроме Бога. А ты Писание вспомни: «Волос с головы не упадет без воли Господней», и на этом остановись, да не перебивай меня, если правду у меня спрашиваешь. Так вот, говорю я, графчонок этот

Августов утоп, а немчинка твоя, как проводила его из Москвы, так с посланником Кейзерлингом спуталась.

— Быть того не может!

— Чего там не может, государь? Поди-ка, достань посланника. Твой же собинный друг, король прусский Фридрих, за него тебе такую тютю пропишет, что ты и света не взвидишь. Что же, царь-государь? Вот один своим рылом кверху лежит, поди-ка с другим потягайся. Кто из вас кого из кровати выгонит?

Какие-то хриплые, надрывистые звуки, такие, каких Меншиков еще никогда и не слыхивал во все долгие годы, проведенные с царем, вдруг вырвались из могучей груди венчанного исполина. Петр тронул лошадь и опять, как после посещения шатра Кенигсека, помчался вперед.

«Забрало, — пробормотал фаворит, — конец Анке!»

Он тоже прищпорил лошадь.

Царь мчался прямо к своей палатке. Бешеный сверкающий ворвался он в нее; участники пира еще не разошлись. Все вскочили, увидав возвратившегося государя.

— Эй, вина несите! — громовым голосом крикнул Петр. — Дураков и дурак сюда! Бейте в литавры, из пушек палите!.. Громче, громче!.. Радуйся, Москва, твой царь к тебе возвращается!

XX

ВИНО И ЖЕНЩИНЫ

Великое начало было сделано взятием Нотеборга, переименованного царем в Шлиссельбург, то есть в «ключ-город»; велика была и радость Петра.

Но это была радость внешняя — радость царя, возвратившего древнее свое достояние, радость полководца, одержавшего решительную победу; что же делалось в душе Петра-человека, уязвленного совершенно неожиданно в самое сердце, об этом, пожалуй, знал только он один.

Утонувшего Кенигсека повелено было похоронить просто; бумаги же, оставшиеся после него, разбирал сам царь, и каждая-то бумажонка была острой стрелой, так и впивавшейся в его израненное сердце.

Дипломатического содержания бумаг в конверте, найденном при утоплении, не было. Несчастный Кенигсек держал при себе только письма Анны Монс, и теперь все эти письма были в руках Петра; он читал их, и каждая строка заставляла его то вздрагивать от бешенства, то стонать от переживаемой муки душевной, от терзаний оскорбленного самолюбия мужчины.

«Значит, все знают позор мой! — неслись в мозгу Петра огневые мысли. — Вся ненавистная мне Москва радуется... Что делать? Как поругание такое прикрыть?.. К Федьке Ромодановскому, что ли, эту тварь послать и в кипятке заживо сварить?»

Но это были только мимолетные вспышки ярости. Петр понимал, что как бы ужасно ни было его отмищение обманувшей его любовнице, все-таки даже самые страшные ее муки не заставят забыть тех блаженных, счастливых минут, которые он в самую бурную пору своей жизни переживал в ее объятиях. Оскорбленному любовнику хотелось чего-то особенного. Если бы в Преображенский приказ, к купавшемуся там «в кровях» князю-кесарю, можно было послать душу кукуевской прелестницы?! О, тогда не было бы той муки, которой не было бы придумано для нее; но в руках была не душа, а тело, ничтожное, смертное тело.

Как ни был могуч этот человек, как ни презрительно смотрел он на всех, кто окружал его, но одиночество в такие мгновения было нестерпимо... Гордость не допускала Петра опуститься до душевных излияний перед кем бы то ни было, а душа жаждала этих излияний. Пирь, попойки, всякие «веселости» не тушили сжигающего сердце огня, не успокаивали кипевшей в душе бури. И не было человека, с которым слово можно было бы сказать, — такое слово, которое разом облегчило бы страшный душевный гнет.

Нестерпимо мучавшийся царь не замечал, как внимательно наблюдал за ним его «герценскинд» — Александр Данилович Меншиков. А тот положительно глаз не спускал с него, но не торопился, все еще выжидал.

«До настоящего каления дошел, — думал фаворит, иногда пристально глядя на царя, словно гипнотизируя его, — подождем, немножко еще подождем. Игра верная, проигрыша не будет».

Александр Данилович был куда счастливее своего повелителя.

Совсем еще мало был при нем Кочет, но Меншиков уже чувствовал, что этот человек становится ему все более и более необходимым. Кочет словно умел угадывать сокровенные мысли своего господина, и по временам Александр Данилович даже боялся его... Нередко он видел, как даже без слов, с одного намека исполняется то, что им было задумано и о чем он даже самому себе вслух не обмолвился.

Кочету было поручено оберегать Марту Рабе, привезенную в шлиссельбургский лагерь потайно, и Меншиков лучшего охранителя и найти бы не мог. Кочет так относился к молодой женщине, что даже ревнивец не мог бы заподозрить в нем любовные поползновения.

Меншиков пробовал сам следить за Кочетом, подсматривал за ним, когда он бывал у мариенбургской красавицы, подслушивал их разговоры и все более и более убеждался, что Кочет незаменим для него.

Марта, уже привыкшая к своему новому имени Екатерина, совсем расцвела в это время. Ураган, промчавшийся с такой стремительностью и захвативший было ее, не оставил на ней и следа. Ведь ей в ту пору шел всего только девятнадцатый год... Она была совсем не по возрасту высока и крупна, но все в ней было пропорционально и красиво. Даже крупные черты лица соответствовали

всей ее фигуре, а бархатные глаза делали ее прямо-таки красавицей... Часто Меншиков подолгу смотрел на нее, и тогда на его выразительном лице появлялась довольная улыбка.

— Недужится мне что-то, — возвратившись с одной вечерней попойки сказал раз Меншиков Кочету, — боюсь, что слягу... Да и то, пожалуй, полежу завтра...

Он говорил все это неуверенно, словно ожидая со стороны Кочета совета.

Тот слегка улыбнулся.

— Ты чему? — нахмурился Александр Данилович.

— Хорошие мысли, милостивец, на ум пришли! — ответил Кочет.

— Какие еще там?

— Да такие, что, значит, нужно всем нам к царскому посещению готовиться.

Меншиков даже подпрыгнул на скамье от изумления.

— Ты... ты почему знаешь? — воскликнул он. — Колдун ты, что ли?

— Какой уж там колдун, — возразил Кочет, — и колдуном быть не надобно, чтобы смекнуть, что ежели такой человек, как ты, милостивец мой, да занедужит, так великий государь болящего навестить не преминет!

— Ой Кочет, — погрозил ему пальцем Александр Данилович, — сметлив ты не в меру!

— А разве худо? Вот теперь тебе и думать не надо, как такого гостя встречать... У меня из шведских погребов такое вино припасено на сей случай, что царя угостить им не стыдно будет... Катеринушка кубок-то подавать будет?

Меншиков даже и не ответил, он только рукой махнул, чтобы Кочет уходил поскорее. Александр Данилович и сам был умен. Он теперь ясно видел, что Кочет проник во все его сокровенные помыслы.

«Ну и пусть его! — решил он. — Ежели вздумает предать меня, так живо справлюсь, а ежели нет, так такого слугу верного мне и надобно... На зиму в этих местах мне придется остановиться, так пригляжусь к нему и все увижу, каков он человек».

На этом Меншиков и порешил.

На другое утро он сказался больным и послал с вестовым нарочное о том извещение государю.

В ту пору Меншиков жил уже совсем по-зимнему. Он был назначен губернатором всего отвоеванного у шведов края, и ему действительно приходилось оставаться здесь на зиму, дабы приготовить все к весеннему походу к невскому устью. Поэтому Меншиков переселился в один зимний дом в городском крепостном поселении на правом берегу Невы и сумел устроиться так, что нашел не только комфорт и уют, но до известной степени и роскошь.

Сказавшись больным, он, конечно, остался в постели. Государь немедленно прислал к нему своего доктора Блументроста, а потом

оправдался и тайный расчет Меншикова: царь Петр Алексеевич и сам явился навестить своего больного фаворита.

— Что, Алексашка, — заговорил царь, входя к больному, — никак тебя здешние ветры сокрушили...

— Ой государь, — заметался на постели Меншиков, — прости, помилуй... Сейчас поднимусь я... Людишки окаянные и не сказали, что такой гость жалует...

— Лежи, тебе говорят, лежи, — прикрикнул на него Петр, — а я вот тут на кровать присяду к тебе... Поговорить надобно; я ведь уезжать собрался, и за меня ты здесь остаешься.

Между ними начался деловой разговор.

Александр Данилович видел, что государь находится в необычно угнетенном настроении духа.

— Прости, всемилостивейший батюшка мой! — вдруг прервал он деловую беседу. — Совсем, видно, не годен я стал от болезни: гость такой в дому, а я и угощения не ставлю...

И он захлопал в ладоши; сейчас же в спальном покое появился Кочет.

— Пусть вина сюда подадут, — приказал больной хозяин, — того, знаешь? Из шведских погребов...

— Шлиппенбаха обобрал! — усмехнулся Петр.

— А чего, батюшка, его жалеть-то? — в тон ему ответил Меншиков и оборвался...

Кочет распахнул дверь, и в спальный покой вошла, неся поднос с кубками и чарками, Екатерина.

Повторилась та же сцена, как в лагере под Мариенбургом, с тою только разницей, что на месте Меншикова был сам грозный царь Петр Алексеевич.

— Это кто же такая у тебя? — проговорил он, вперяя внезапно загоревшийся огнем взор в лицо красавицы.

— Сиротка одна, всемилостивейший, — ответил Меншиков, внимательно наблюдая за царем, — говорят, благородного шведского рода... Вот хочу тебя за нее просить?

— В чем дело? — все еще не спуская глаз с Екатерины, спросил Петр.

— Хочу ее к сестре Дарье отправить, а ты из сих мест отъезжаешь, так не доставишь ли ты ее вместе со своей царской челядью на Москву?.. Одну-то, признаться сказать, боюсь ее с подлыми людишками отпустить...

Петр не ответил. Любуясь Екатериной, он принял из ее рук чару.

— Хорошо вино, — произнес он, — а хозяйшка у тебя, пес Алексашка, и того лучше...

— Да не хозяйка, не хозяйка она моя! — воскликнул Меншиков. — Просто, батюшка, видя ее сиротство, приютил... Катерина, — обратился он по-немецки к молодой женщине, — знаешь ли, кто это? Это — наш великий царь, наш отец!

Краска залила лицо Екатерины.

— Я счастлива видеть государя, — ответила она на том же языке, — эта минута останется навсегда незабвенной в моей памяти...

— Пусть она уходит! — сказал, перебивая ее, Петр.

Меншиков даже побледнел, услышав эти слова. Ему показалось, что молодая женщина не понравилась его гостю...

А в душе Петра вдруг забушевала буря...

Вот-вот, наконец, попытка для души изменившей возлюбленной... Взять эту первую встречную и поставить на то место, где доселе царила Анна... Да, да! Плети, батоги, горящие веники, клещи, клинья под ногти — все это пустое в сравнении с муками ревности, со скорбью о том, что потеряно... Он сам пережил все это, так пусть же и изменница негодная переживет те же муки...

— Вели, Алексаша, шахматы принести, — проговорил Петр, — сыграю я с тобой, дабы не скучно было тебе, больному, а о сиротке Катеринушке ты больше заботы не имей: я сам о ней позабочусь...

В душе Александра Даниловича так и запели победный гимн тысячи незримых радостных голосов: сомнений не было — задуманное удалось...

XXI

НОВАЯ ЗВЕЗДА

Первая красавица Немецкой слободы, значительно уже раздобревшая и поблекшая, узнала о своей опале только тогда, когда государь Петр Алексеевич возвратился в Москву. Московский народ словно почувствовал что-то новое в своем государе, и его встретили уже не с прежней неприязнью. В Москве произвело большое впечатление и то обстоятельство, что, возвратившись, Петр не поехал, как это было всегда, прямо с дороги в любимую дотолу им Немецкую слободу, а, поклонившись московским святыням, отправился в свое любимое Преображенское. Говорили, что вместе с ним прибыла с Невы новая «немчинка» — и молодая, и собой пригожая, и до московских людей приветливая и ласковая. Московские любители всяких придворных новостей тайно шушукались о том, что эту свою новую метрессу государь увидел у Меншикова, за какой-то домашней работой. Понравилась она ему, его царскому величеству, и выиграл он ее в кости у своего любимого холопа.

Впрочем, о Катерине Васильевой (так царь приказал именовать Марту Рабе) говорили в Москве без всякой злобы. Она держалась просто, была приветлива и доступна без всякой гордости. Кто к ней за советом ли приходил, или с просьбой о ходатайстве, или с какой-нибудь другой нуждой, ко всем она относилась ласково: горюющих утешала, тревожащихся успокаивала и при всем том не мздоимствовала, как Анна Монс, а делала, что могла, Бога ради. Все это создавало если не любовь, то по крайней мере некоторую

приянь к новой подруге царя и желание, чтобы она надолго, если не навсегда, заменила царю униженную соперницу.

Анна, узнав, что государь не желает видеть ее, попробовала было бороться, но, должно быть, с годами недавняя вострушка-немчинка совсем отупела; вздумала она возвратить себе любовь государя разными приворотными зельями и, конечно, на том сейчас же попалась. Царь вместо того чтобы вернуть ей свою любовь, приказал возбудить против нее судебное дело да, кстати, велел прихватить под суд и ее сестру, Матрену Балк, с мужем и пощадил только младшего брата Виллима, тогда уже красивого бойкого юношу, славившегося среди своих земляков выдающимся поэтическим дарованием.

Да и вообще заметно было, что царь охладел к иностранцам. Он не разрывал с ними своих связей, но отношения уже были не прежние. Все ближе и ближе стали выдвигаться к нему коренные русаки, из иностранцев оставались лишь те, которых долгие годы знал Петр и которым верил. Впрочем, самого себя и весь свой двор царь по-прежнему держал не по старомосковскому, а на иноземный лад. К своей Кетхен он относился с замечательной сердечностью. Очевидно, улегся юный пыл, страсти, обуревавшие могучую натуру, уже поуспокоились, да и организм, надорванный еще в детском возрасте, стал ветшать и требовать отдыха после бесчисленных, почти непрерывно сменявших одна другую бурь. В жизни Петра наступила та пора, когда всякий человек, кто бы он ни был, заботится о семейном очаге, о домашнем уюте. Нужна уже не жгучая, пепеляющая страсть, а добрая, кроткая, покоящая чувства любовь. И после всех бурь молодости Петр в мариенбургской пленнице нашел то, что ему нужно было. Ему так по сердцу приходились тишина и уют семейного очага, что даже прежние гомерические попойки стали сравнительно редкими.

Заметив, что Екатерина Алексеевна (Марта Рабе уже приняла православие с этим именем и отчеством) скучает без женского общества, Петр решил создать для нее такой женский кружок, в котором она могла бы первенствовать. Ближайшею подругою Екатерины Алексеевны явилась замужняя сестра Меншикова, Дарья; не брезговала бывать у нее с дочерьми и царица Прасковья (вдова Иоанна V), да и любимая сестра государя, царевна Наталья Алексеевна, нередко оставляла и свою библиотеку, и своего питомца царевича Алексея, чтобы провести часок-другой с не особенно умной, но всегда веселой подругой державного брата. Женщинам нравилось и то, что Екатерина Алексеевна была не прочь и от чарочки вина, и не только они, но и сам царь Петр находил в своей новой подруге отличного собеседника.

Создавая женское общество для своей подруги, Петр вспомнил об одной сиротке, которая врезалась в его память наилучшим впечатлением, когда-то произведенным ею на него. Он припомнил маленькую Машеньку Гамильтон (Гамильтову, как ее называли на Москве), поднесшую ему букет на том веселом вначале пиру, ко-

торым он предполагал отпраздновать свое сближение с впервые любимой им женщиной. Но, сколько он ни искал Машеньки, ее уже не было в Немецкой слободе, и никто не знал, куда она девалась.

Судебное дело, возбужденное против Анны Монс и ее сестры, было быстро доведено до конца. Страшное по тому времени преступление, колдовство, было доказано. Но Петр не стал мстить так страшно оскорбившей его женщине; единственным наказанием для нее было то, что ей повелено было сидеть дома, никуда не отлучаясь, и только под конвоем ходить в кирку.

XXII

В ТРУДАХ БЕЗ ОТДЫХА

Быстро промелькнула зима и, едва только стал таять снег, царь уже умчался на Неву, чтобы докончить начатое им великое дело.

Завоеванный русскими Нотеборг преграждал путь из Ладоги в Неву, а ближе к ее устью стояла другая сильная шведская крепость Ниеншанц, которую русские, населявшие этот край, называли попросту Канцами.

Крепость была разрушена, и из ее камней впоследствии были возведены многие постройки в городе, основанном царем на Березовом острове (нынешней Петербургской стороне в Петербурге).

Наконец свершилось то, о чем так мечтал Петр Алексеевич: у него было, куда уйти от опротивевшей ему Москвы, явилось новое убежище для него, было к чему приложить творческую силу. За Петербург пришлось выдержать упорную борьбу со шведами. Не раз шведские отряды добирались чуть не до самых стен новооснованной крепости. В той местности, которая ныне называется Каменным островом, происходили жесточайшие битвы за Петербург, и каждый раз шведы были с успехом отражаемы.

Только в 1705 году двадцатитрехлетняя Екатерина Васильева была перевезена в Петербург и поселилась в маленьком домике государя вместе со своей приставницей Анисьей Кирилловной Толстой.

Не до любовных утех было в то время Петру. Его могучий противник Карл наконец заметил русских, и России угрожало шведское вторжение.

От победы над шведами зависело все. Все то, что составляло старую Русь, как бы насторожилось и ожидало исхода. Если бы Петр был разбит Карлом, разом погибло бы все его дело, а в противном случае — он хорошо знал — победителей не судят.

Одной тревогой стало у Петра Алексеевича на душе меньше: в 1706 году умерла царевна Софья, и самый бурный элемент — стрельцы — потерял тот центр, около которого постоянно сосредоточивались все их мятежные замыслы. Эти годы Петр проводил в разъездах и, не видя часто своей подруги, влюблялся в нее все

более и более. Он находился в постоянной переписке с нею, все его письма этого времени, даже незначительные цидулки, начинались словами: «Матка, здравствуй. Мудер, Катеринушка, друг мой». «Катеринушка» действительно словно любовным корнем обвела Петра; даже в разгар своей ожесточенной борьбы с Карлом он помнил о ней и заботился о ее участи. Так, он назначил ей с дочерью Анной выдать три тысячи рублей, что при развившейся в то время скупости в Петре составляло огромную сумму. Что же влекло этого болезненно впечатлительного человека, необыкновенно падкого до всяких перемен, к этой женщине? Ведь она не только была лишена всякого образования, но даже была безграмотна. Черты ее лица были неправильны; она вовсе не была красавицей, но в полных щеках, во вздернутом носе, в темных или горящих огнем глазах, в ее алых губах, в круглом подбородке, в роскошном бюсте было столько жгучей страсти, столько неведомого изящества, что впечатлительный царь с каждым днем все более и более предавался своему «сердешенькому другу». С нею, Катеринушкой, являлось к нему веселье; она, кстати, и ловко умела распотешить частенько сумрачного друга, умела сделать перед ним вид, что его горе — и ее горе, что она радуется всякой его радости; словом, Екатерина была действительно или, лучше сказать, умела казаться лучшим и преданнейшим другом. Но в эти годы, как ни любил ее царь, а все-таки, наученный горьким опытом, он и не думал о свадьбе с ней. У них родились дети — дочери, но «сердешенький друг Катеринушка» все еще не была венчана с их отцом.

XXIII

ТАЙНЫЕ ДУМЫ ФАВОРИТА

Меншиков сумел сохранить огромное влияние на Екатерину Алексеевну, но и он не особенно торопился передвигать шашки так, чтобы вывести цареву возлюбленную в русские царицы. Александр Данилович находил, что для этого еще не настало время, что у царя Петра бывали такие мгновения, когда он вспоминал свою первую пылкую любовь. А Анна Ивановна Монс была жива, и во что бы то ни стало Меншикову нужно было окончательно загасить любовь к ней в сердце своего властелина.

Анна постоянно старалась напоминать о себе своему бывшему возлюбленному. Тут сказала вся ее мещанская натура: та, которая могла стать русской царицей, унижалась до жалкого выклянчивания ничтожных подачек, а когда убедилась, что выпрашивание не действует, вздумала возбудить в царе ревнивое чувство. Однажды Меншиков поднес государю ходатайство прусского посланника Кейзерлинга за Анну Монс. Нахмурился государь, потемнело его лицо, вспомнились ему те обманы, какие приходилось ему пережить, но он опять сдержался и, ни слова не сказав своему неизменному фавориту, не положил на ходатайстве никакой резолюции.

— Кстати, ваше величество, — сказал, зорко следивший за ним, Александр Данилович, — уже давно не было никаких веселостей и скука всех одолевает. Думаю я устроить малый вечерок...

— Что ж, доброе дело! — ответил государь. — Все работа да работа! И я устал.

— Больше всех нас устает ты, государь, — воскликнул Александр Данилович. — Так склонись ты на мою просьбу, не откажи прийти на мое веселье.

— Ладно, погляжу там, — последовал ответ.

— Да, вот еще: думаю я иностранных послов позвать, так, может, ты позволишь намекнуть им, что не их дело в твои, царевы дела мешаться и беспокоить тебя своими просьбами за всяких дрянных людишек?

— Что ж, не худо то будет, — согласился Петр, — только остороженько сделать надо.

— Будь спокоен, государь, — ответил Александр Данилович, — так все устроим, что сам комар носа не подточит...

— Делай, как знаешь, — махнул рукой государь.

Меншиков поспешил уйти.

Велико было ликование этого хитрого, пронырливого царедворца. Он опять очутился в своей любимой сфере — в сфере хитро-сплетенных, тончайших придворных интриг, в вихре которых он часто-часто рисковал своею собственною головою.

Но в это время Александр Данилович был уже другой, совсем другой. Пока он был молод и ничтожен, он изоощрял свои недюжинные умственные способности только над тем, чтобы устроить себя, вознести себя повыше, обеспечить себе будущее; он не останавливался ради этого ни перед чем. Поняв всю сложную натуру своего друга-царя, верно уразумев основы его характера, Александр Данилович то потакал грубейшим, низменным инстинктам Петра, то начинал громить его, да громить с такою дерзостью, на какую никто около царя не осмелился бы. И в конце концов он добился своего: поднялся так высоко, как еще никто не подымался в России. У него теперь было все: и несметные богатства, и почести, и беспредельная власть — все, все... И вот в ту пору Александр Данилович привык к работе, которую он вместе с царем искренне считал не разрушительной, а созидательной. Он втянулся в эту работу, как игрок втягивается в карточную игру. Часто Меншиков рисковал, но, когда то было нужно, ставил на кон свою голову, причем не задумывался снимать и чужие головы, если выигрывал игру.

Теперь он затевал игру более чем рискованную. Он прекрасно знал, что нет-нет да и вспомнит его повелитель о кукуевской престолнице, и видел, как затуманивались в эти мгновения его сверкавшие глаза. Ничто — ни любовь друга-Катеринушки, ни упоение расцветшею славою, ни победы над дружинами грозного соперника, ни быстрый рост «его души Парадиза», как называл Петр основанный Петербург, — ничто-ничто не изглаживало из души памяти о первых днях первой радостной любви. Меншиков знал это и боялся.

Ведь царь был так впечатлителен, так легко поддавался порывам, что близкие к нему, утром не знали, что будет в полдень.

Но было еще и другое обстоятельство, заставлявшее пронирыливого фаворита ночью просыпаться в холодном поту...

С года на год, а — кто знает? — может быть, со дня на день могла выдвинуться и преградить ему путь еще одна женщина. Уже многие годы она была только тенью, теперь же она становилась кошмаром, и Александр Данилович дрожал всякий раз, как вспоминал о ней.

Эта женщина-тень, если бы только захотела судьба, в одно мгновение могла бы стать выше всех в русском народе. Без малейшего усилия она смяла бы, стерла бы с лица земли всех Аннушек, Катеринушек; первым пал бы с высоты в бездны небытия все тот же Александр Данилович Меншиков, которому она обязана была тем, что из роскошной красавицы стала только черною тенью.

Но вместе с ее возвеличением, с ее возвращением из небытия к бытию разом рухнуло бы все дело преобразования... Все, что ни совершил могучий царь, — все погибло бы... Погибла бы и народившаяся военная мощь, погибли бы и зачатки наук, погиб бы и новосозданный красавец-город, росший не по дням, а по часам — все-все погибло бы...

Эта женщина-тень, этот страшно мучительный для Меншикова кошмар была заточенная в монастырь царица Евдокия Федоровна.

Ее сын подрастал. Не по дням, а по часам вытягивался болезненный, но пережитыми несчастьями развитый не по летам мальчик. Недаром же воспитывала его образованнейшая в России женщина того времени, его тетка, девушка-вековушка царица Наталья Алексеевна.

Она не была враждебно настроена против брата, но быстрота, с которой он стремился вперед, грубо ломая на пути все, что ему попадалось, пугала и ее. Она вся отдалась делу воспитания наследника-царевича, просвещала его книжной премудростью, но не могла вытравить из его сердца, из его души память о несчастной заточеннице-матери.

Царевич Алексей, столь же впечатлительный, как и отец, считал ее страстотерпцей, великомученицей. Он, не зная матери, страстно любил тетку, но боязнь перед отцом заставляла его скрывать все чувства, притворяться, лгать, и из всего этого создавалась быстровозраставшая неприязнь против родителя, которая с течением времени начала обращаться в ненависть.

Александр Данилович, стоявший ближе, чем царь, к жизни народа, знал, что у царевича Алексея Петровича повсюду была масса если не приверженцев, то людей, с величайшей надеждой ждавших, когда он подрастет. В то время как его могучий преобразователь отец был почти один и опирался только на грубую силу, слабый, тщедушный сын был с народом и опирался на его любовь. Народ терпеливо ждал того времени, когда возмужает наследник, а тогда... тогда... Что стрельцы! Если горсть пьяных буянов могла потрясать устои государ-

ства, то воля всего народа мигом сокрушила бы хрупкое, основанное на непрочном фундаменте, здание Петровских реформ.

Все это соображал фаворит, стараясь заглянуть за завесу грядущего.

Он знал, что лава уже кипит в новом вулкане. По глуши русской земли ездили и бродили разные Христа ради юродивые и пророчествовали о скором пришествии светлого царевича на смену духу тьмы, порождению антихристову. Во многих церквах на ектеньях поминали наравне с царем «благочестивейшую и великую государыню Евдокию Федоровну». Духовные особы, и немало чина — соборные наставники и архиереи, — в том направлении «учиняли многие воровства». Из Москвы на поклон ездили к бывшей царице разного звания особы. Нужно было тушить пожар, пока было не поздно, а царь, как на грех, все чаще и чаще призывал к себе сына, ласков с ним становился, да и письма из Покровского суздальского монастыря от инокини Елены (таково было ныне имя царицы Евдокии) почитывал без гнева и со вниманием...

Но нужно было сперва управиться с тем, что казалось более легким, то есть с «кукуевской прелестницей», и Меншиков решил разом покончить с нею; с этой целью он и устраивал веселый званый вечер, на который пригласил и государя.

XXIV ПРУССКИЙ ПОСЛАННИК

Граф Георг Иоганн фон Кейзерлинг, прусский посланник, был для «Монши» (так тогда называли кукуевскую прелестницу) покровитель очень надежный. Он для царя Петра был недосягаем, а потому и руки у него были развязаны. Был же он человек недалекий и притом упрямый. Если начинал что-либо, хотя бы любая глупость взбрела ему на ум, с упорством, достойным лучшей участи, доводил раз начатое до конца. Был он и на язык неосторожен.

Когда Кейзерлинг начал хлопотать о Монше, то прежде всего стал грозить, что всю «эту историю» он напечатает в немецких газетах. Конечно, это было доведено до сведения Петра. Царь страшно вспылил, но вынужден был затаить гнев. А Кейзерлинг чуть не издевался, рассказывая, как будут читать в Европе про любовные похождения московского царя и как зло будут смеяться над незадачливым любовником «кукуевской прелестницы».

Нужно было показать зазнавшемуся немцу подобавшее ему место.

Александр Данилович щегольнул своим званым вечером. Богатейше, по-праздничному, был разубран его дом. Тысячи восковых свечей горели и в залах, и в примыкавших к ним комнатах. Не смолкая, гремела хоровая музыка, веселя собравшихся знатных гостей. А тут были все близкие к Петру придворные — все «новые люди» для России и Европы; явился весь тогдашний дипломатический корпус, с чопорным английским послом Чарльзом Видвортом

во главе. Все блистали великолепием одежд, бриллиантами их украшений. Присутствовали и дамы, но их приехало немного: было известно, что вечер закончится «попойкой», на которой уважающим себя женщинам не могло быть места. Царь запоздал и, когда гости собрались, его еще не было. Меншиков был необыкновенно приветлив с Кейзерлингом, не отходил от него ни на шаг, и тупой немец по всей вероятности воображал, что всемогущий фаворит заискивает перед ним. Однако он чувствовал себя, как на иголках...

Меншиков был так любезен и даже мил, что Кейзерлингу показалось, будто наступило самое удобное время, чтобы частным образом разрешить такой близкий ему вопрос, как снятие опалы с «девицы Анны Монс». Недолго думая, нисколько не разбирая, будет ли уместен подобный разговор, он заговорил:

— Не будет ли сей день великого веселья вместе с тем и днем милости?

— О чем ты говорить изволишь, любезный граф? — представился удивленным и не понимающим вопроса Александр Данилович.

— Да все о том же, дорогой князь (Меншиков в то время уже имел этот титул)... Или ты не понимаешь нашего разговора? Нельзя ли будет склонить его царское величество принять на службу только что прибывшего из-за границы Виллима Монса и простить его несчастную сестру...

— Несчастную, говоришь ты, граф? — лукаво посмотрел на него Меншиков.

— Да, да, я говорю так! — с пылом воскликнул граф Георг. — Разве не несчастна эта ни в чем не повинная страдальца, силою вынужденная вести такую жизнь, какую ведет она теперь?.. Это постоянное пребывание в доме, этот непрестанный досмотр за нею князя Ромодановского... И за что? Кто мстит бедной женщине?

Прусский граф так и шел в расставленные ему фаворитом сети.

— Оставь, граф! — меняя тон, с величайшим пренебрежением в голосе воскликнул ижорский князь. — Все ее беды от ее развратничанья!

— Что? — так и побагровел весь Кейзерлинг.

Меншиков повторил свой ответ в еще более грубых выражениях, называя вещи и понятия их собственными именами.

Разговор стал принимать бурный характер. На грубость фаворита Кейзерлинг ответил грубостями, Меншиков не уступал; ссора разгоралась.

— Что тут такое? — раздался громкий, властный оклик, заставивший всех вздрогнуть.

Никем не замеченный вошел царь. Он постоял на пороге несколько мгновений, слушая перебранку, и наконец, найдя нужным вмешаться, быстро подошел к спорившим.

Испуганные, они быстро отскочили друг от друга.

— Ну, из-за чего у вас начинается драка? — спросил пока не гневно государь. — Петухи вы, право!.. Только еще сошлись — и уже ссориться начинаете...

— Не извольте гневаться, ваше царское величество, — щелкая от злости зубами, заговорил прусский граф, — начал ваш князь Меншиков поносными словами позорить мою персону...

— Из-за чего, Алексашка? — исподлобья взглянул на любимца царь Петр.

— Да помилуй, великий государь, — воскликнул Меншиков, — восхваляет граф Моншу, она-де — страдальца...

— Да что ему до сей развратницы?

— Государь, — пылко воскликнул Кейзерлинг, — девица Монс — женщина... Долг чести каждого благородного человека — вступить за угнетаемую женщину. Я просил князя исходатайствовать у вашего царского величества разрешение ей на бракосочетание со мной, а он начал позорить ее...

Лицо Петра потемнело, глаза засверкали, но он все еще сдерживался.

— Воспитывал я оную Моншу для себя самого, — проговорил он, — с искренним желанием жениться на ней, но так как она тобою, граф, прельщена и развращена, то я ни о ней самой, ни о ее родственниках ничего ни слышать, ни знать не хочу...

— А я скажу, — вдруг даже привзвизгнул Александр Данилович, подступая к самому графу и зачем-то подбочениваясь, — что девка Монша — действительно публичная баба, и я сам с нею развратничал столько же, сколько и ты, граф!

Это было уже слишком! Но у Кейзерлинга еще оставались крупички благоразумия. Он сдержался и ответил:

— Будь мы в другом месте, князь, я доказал бы тебе, что ты поступаешь не как честный человек, а как...

Какое слово употребил здесь для сравнения разгневанный посол, об этом не сказано даже в его собственноручных письмах к прусскому королю Фридриху, но, должно быть, было сказано что-либо обидное, потому что Меншиков кинулся на Кейзерлинга, желая бросить его на пол подножкой.

— В этом искусстве, князь, ты упражнялся, — ловко увернувшись от подножки, кинул ему Кейзерлинг, — когда разносил по улицам лепешки на постном масле и когда после того был конюхом...

Кругом были представители всей тогдашней Европы. Они молчали, не зная, что сказать, как успокоить ссорившихся. Остервенившийся же после полученного оскорбления Меншиков надвигался на своего оскорбителя, что-то крича ему и размахивая руками.

Вспыльчивый Кейзерлинг выхватил шпагу. Он был искусен в фехтовании и несомненно ранил бы, если бы не убил Меншикова, но в это время к тому поспешил с обнаженной шпагой в руке сам государь.

Его появление вызвало испуганные крики. Ведь как-никак, а граф Георг был представителем значительного в то время государства, и это оскорбление, а может быть, и убийство, поставило бы Россию лицом к лицу с могущественной Пруссией. Толпа дипломатов, глазевшая на скандал, разом отхлынула.

Польские дипломаты отодвинулись далеко в сторону первыми и начали делать вид, что ничего не замечают, или по крайней мере принимают все происходящее за шутку.

Их положение среди других дипломатов было самое щекотливое. Как раз в то время на освободившийся польский престол должен был быть избран новый король, и кандидатом большинства являлся Станислав Лещинский. Россия, ближайшая и наиболее сильная из соседей Польши, могла повлиять на выборы, а политика России зависела исключительно от усмотрения ее царя. Поэтому послы-магнаты предпочли лучше сделать вид, что не замечают ничего особенного...

А это «особенное» уже было налицо.

Раздраженный царь сам со шпагой в руке выступил против прусского графа и к нему присоединился Александр Данилович. Кейзерлинг фехтовал мастерски, даже несмотря на то, что гнев ослеплял его.

— Как это хорошо, как это по-рыцарски, — презрительно говорил он, парируя удары и делая выпады сам, — двое на одного!

XXV

ПОСЛЕДНЯЯ ВСПЫШКА

Скандал был полный. Ни царь, ни Меншиков не были опытны в искусстве владеть шпагой. Они делали грубые промахи, открывая себя для выпадов противника. Но как ни был ослеплен Кейзерлинг гневом, он понимал, какие могут быть последствия, если он хотя бы только ранит московского царя, и потому ограничивался лишь тем, что отбивал его удары, отбивал легко, как бы шутя.

Положение Петра было уже не опасным, а прямо-таки смешным. Молодые дипломаты с трудом удерживались от улыбок.

Это понял «тайный фискал», Петр Павлович Шафиров, человек еврейского происхождения, вытянутый царем из ничтожества, как и Меншиков, на высоту. Нужно было как-нибудь поправить дело.

Положение Петра было бы еще более смешным, если бы он сам прервал этот неожиданный поединок. Это дало бы повод к ядовитейшим толкам и сплетням. Стали бы говорить, что прусский посол «отделал» на поединке московского царя, затеявшего с ним ссору из-за жалкой потаскушки... Тогдашняя пресса Пруссии, Англии, Франции была зла, и подобный исход легкомысленно начатой ссоры был бы унижением для России.

Шафиров сообразил все это и вдруг, когда шпага валилась из рук утомленного и запыхавшегося Петра, бросился с громким криком между дерущимися.

— Великий государь, — закричал он, — пощади сего неразумного!.. Тебе ли, царю могущественному, беспокоить свои руки обо всякого иноземного холопа?

Хорошо, что Кейзерлинг не понимал по-русски, а то, наверное, он пощекотал бы острием своей шпаги кожу е в р е я - п р и д в о р - н о г о. Но ему не до того было в эти мгновения...

Едва была прервана схватка, на него налетели меншиковские слуги, шпага была вырвана из его рук, самого его подхватили и потащили к дверям, пока еще только легонько подталкивая под спину. Но, как только он был выведен из зала, холопы ижорского князя перестали с ним стесняться. Кейзерлинг был спущен с лестницы — правда, невысокой, — внизу он попал в руки гвардейцев, а те тоже не замедлили показать знатному пруссаку, как в России провожают гостей. Посол Фридриха Великого буквально был вышвырнут за двери, и здесь должен был простоять довольно долго: не предвидя подобного исхода, он уступил свой экипаж одному из друзей...

Стоя на холоду, Кейзерлинг невольно стал припоминать подробности происшедшего... Потасовка между ним и ижорским князем оказалась форменной. Меншиков порядочно поколотил его; у посла болела грудь, ломало левую сторону лица, да и в спине чувствовалась сильная боль; но зато Кейзерлингу было чем утешить себя: он припомнил, что успел дать не одну затрещину Александру Даниловичу и перед схваткой, и когда тот (это Кейзерлинг теперь понял хорошо) собственноручно вытаскивал его из зала...

Но было и другое, чем утешал себя побитый посол. Немецкий сентиментализм подсказывал ему, что он — герой, рыцарь без страха и упрека: ведь он пострадал за даму своего сердца...

Так стоял побитый граф Георг Кейзерлинг, размышляя о всем происшедшем и даже гордясь собою...

А царь Петр, образумленный Шафировым, видимо, сожалел о происшедшем.

— Вечно ты затеваешь то, чего и сам не понимаешь, — с неудовольствием сказал он Александру Даниловичу, — а я изволь отвечать за твои глупости... Советую тебе примириться с графом...

Государь был и в самом деле недоволен. Слишком уже казусное дело выходило тут.

Кто мог знать, как оно разыграется, но всегда в таких случаях самое лучшее перед дурной игрой делать веселое лицо. Так и поступил государь, и, как будто ничего и не было, закипел веселый пир. Веселым казался царь Петр Алексеевич, заходила круговая чарка, табачный дым облаками застилал залы; не садясь за стол, бегал от гостя к гостю радушный хозяин князь Александр Данилович; так и сыпались направо и налево его веселые шутки-прибаутки, а на душе у него кошки скребли. Ведь царь будто вскользь заметил своему любимцу:

— Хорош презент приуготовил ты мне ко дню моего тезоименитства¹, нечего сказать! Вон погляди на них! — указал царь гла-

¹ Это скандальное происшествие с Кейзерлингом разыгралось 28 июня, накануне дня св. апостолов Петра и Павла, тезоименитства Петра.

зами в сторону иностранцев. — Смеются в своих душах, подлые, и мысленно рапорты своим владыкам сочиняют.

— А пусть их себе, государь! — весело тряхнул головой Александр Данилович. — Сочинять-то все можно, можно и послать, а вот дойдут ли?

Царь зорко посмотрел на него и промолвил:

— Ой Алексашка, задумал ты что-то непотребное...

— И ничего, государь, не задумал, — последовал быстрый ответ, — так, к слову сказал, чтобы успокоить тебя...

Но рисковавший своей головой фаворит и сам понимал, что он затеял дело, которое вряд ли могло кончиться добром. Ведь тяжкое оскорбление иноземного посла было налицо, и еще никому не известно было, как отнесется к этому прусский король. Но Меншиков понесся вперед, положительно очертя голову. По дорогам к границе понеслись курьеры на «подставных», с тем, чтобы опередить посланцев представителей английского, французского, польского дворов и других, бывших на злополучном «званом вечере», дипломатов, и каким бы то ни было способом их донесения своим государям разведать или по крайней мере возможно дольше задерживать этих посланцев в пути. Сам же Меншиков с утра начал делать все, чтобы примириться с Кейзерлингом, и даже сам царь Петр усердно помогал ему в этом. Сначала спесивый граф ломался; он плохой был дипломат и был уверен, что его король примет, как личное, оскорбление, нанесенное ему, Кейзерлингу.

Так, вероятно, и было бы, но Меншикову везло.

В Польше разгорелась борьба за трон. Боролись два претендента — Август Саксонский и Станислав Лещинский. Прусский король Фридрих держал сторону последнего и заискивал перед царем Петром. При таких обстоятельствах он и не подумал принимать слишком близко к сердцу оскорбление его посла. Граф Кейзерлинг получил от него порядочную нахлобучку, и должен был даже извиниться перед оскорбившими его людьми. Чего не делает политика? Вскоре он был отозван, но рыцарски сдержал свое слово: он женился на Анне Монс. Однако судьба уже отвернулась от кукуевской прелестницы; ей жилось очень скверно и недолго пришлось быть «настоящей графиней»: Кейзерлинг умер, и его графиня осталась в России.

Однако и сам энергичный и предприимчивый фаворит Меншиков не выиграл ничего особенного из этой ссоры с прусским послом, ссоры, которая могла повлечь за собою разрыв России с Пруссией. Правда, он еще более отдалил от царя его бывшую возлюбленную, но графиня Анна Ивановна Кейзерлинг все-таки осталась в России и все в той же Немецкой слободе. Ее жизнь в семье покойного мужа оказалась нестерпимой; там над нею издевались даже слуги, и она предпочла вернуться в прежнюю, привычную ей обстановку.

Теперь Анна Ивановна уже и не думала возвращать себе любовь царя Петра. Она видела, что он все более и более привязывался сердцем к Екатерине Рабе-Скавронской.

Да и царю Петру в ту пору было вовсе не до любовных дел и утех.

Наступал страшный, роковой момент. Коронованный северный викинг, Карл XII, наконец удостоил Россию и русских своего внимания и счел Петра и его дружину настолько достойными себя, чтобы прийти к ним и разбить их наголову. Наступил 1708 год. Карл XII со своими закаленными в боях дружинами вторгся в пределы России, и Петру приходилось покинуть Петербург и достойным образом встретить своего долгожданного гостя.

Но, отъезжая на роковую борьбу с шведским завоевателем, царь, кроме наказа Апраксину беречь Петербург, обмолвился еще одним словом, которое всех слышавших его повергло в недоумение, задав им такую загадку, которую они пока не в силах были разгадать.

«Берегите же н у м о ю», — наказывал государь уже при самом выезде из Петербурга.

Жену! Про кого же говорил царь? Ведь всему народу было известно, что царица была заточена в Суздальском монастыре. Неужели же он надумал возратить России законную царицу, а сыну-наследнику — любимую мать.

Но не про инокиню Елену (Евдокию) говорил государь. Один только обер-комендант Петербурга Брюс в то время мог бы сказать, что была та, кого царь приказал беречь.

Еще в суровый, холодный ноябрьский день 1708 года по нарвскому тракту, мимо Сенной площади переведенческих слобод, во весь опор по направлению к измайловским слободам промчалась лихая тройка. В санях сидели двое — мужчина и женщина; это был царь Петр Алексеевич и «друг его сердешенькой Катеринушка». Сзади на другой тройке мчался, едва поспевая за царем, петербургский обер-комендант Брюс. Царская тройка остановилась около маленькой полковой церкви во имя святой Троицы, государь и его спутница вошли туда, был призван священник, и недавняя еще мариенбургская пленница вышла из храма русской царицей.

Пока Петр находил нужным держать в тайне этот вот свой брак. Быть может, он в ту пору считал его еще исключительно своим личным делом, быть может, не был уверен в исходе своей борьбы с Карлом и боялся раздражать народ, но только при этой скромнейшей свадьбе никого, кроме Брюса, не было, и ее тайна была сохранена. В то время у государя были уже дочери Екатерина, Анна и Елизавета и, отъезжая на Украину, он обеспечил свое новое семейство имевшимися в его распоряжении четырьмя тысячами рублей — суммою, огромною по тому времени.

Тяжелая борьба выпала на этот год. Либекер пробрался в верховья Невы и пытался переправиться у Пелловских порогов, близ нынешнего села Ивановского, на левый берег, чтобы разорить «строительные конторы» на Тосне. Но адмирал Синявин, скрывшийся в устье Тосны, встретил на невском просторе врага так, что шведская флотилия была рассеяна. Либекер попробовал напасть на

Петербург со стороны залива, но был разбит наголову у Копорья. Таким образом, борьба за Петербург была покончена, тем более что в это время прогремел гром Полтавской победы. Судьба уже начала благоволить Петру. Победа при Головчине была последней победой Карла XII над русскими, победа русских у деревни Лесной стала матерью «Полтавской виктории». Звезда Карла XII померкла и потускнела после Полтавы и закатилась на берегу Буга, откуда он бежал разбитый, уничтоженный и преследуемый теми самыми нарвскими беглецами, которых он так презирал с первой своей боевой встречи с ними.

В степях Украины, как говорил Петр, «фаэтонов конец воспри-яла» шведская — так еще недавно непобедимая — армия.

Вместе со шведами в России были надолго побеждены и все те, кто был против Петровских преобразований.

XXVI

СОБИРАЮЩИЕСЯ ТУЧИ

Между тем после счастливого года надвигалась грозовая туча.

По самым ничтожнейшим причинам Турция объявила войну России. Эти причины действительно были ничтожны: поводом к войне явилось то, что русские, преследуя разбитых шведов, перешли за границу Молдавии и нарушили нейтралитет.

Должно быть, нехорошо было на душе у царя Петра в эти месяцы. Он ясно видел, что предстоявшей турецкой войной он всецело обязан французскому королю Людовику XIV, который желал во что бы то ни стало лишить Петра и Россию преобладающего влияния в «северном союзе», направленном против Швеции. Карл, находившийся в Турции, не мог бы повлиять на султана так, чтобы тот решился на военные действия, когда Россия не давала повода к ним. Все это было известно царю Петру, но он тщательно скрывал от всех свое беспокойство.

В этом году, между прочим, случилось происшествие, принятое за дурное предзнаменование и нагнавшее страх на многих в Петербурге: Нева стала, лед совершенно окреп, и вдруг в ночь с 10 на 11 декабря без всякой причины, даже без ветра, река вскрылась, и льда не осталось и следов.

Все приняли это за дурное предзнаменование.

Вскрывшаяся Нева стала опять 28 декабря, но впечатление неожиданного, несвоевременного ледохода не изгладилось. Новый 1711 год, первый, встреченный царем на берегах Невы, прошел при общем унынии и смутном беспокойстве за ближайшее будущее.

Иллюминационные площадки в Новый год горели, казалось, более тускло, чем когда-либо. Транспаранты, зажженные на площадях, словно отражали в себе своими надписями тревожное состояние духа царя. В предчувствии близких бед Петр с трогательной покорностью отдавал себя и свою судьбу в руки Провидения, и это

особенно было заметно в сочиненных им надписях на транспарантах в новогоднюю иллюминацию. На одном из них, на темном поле светилась звезда с надписью под нею: «Господи, покажи нам пути Твоя!» На другом транспаранте был изображен столб со скрещенными мечом и ключом и надписью: «Идеже правда, тамо и помощь Божия».

Еще более уныния нагнали на петербуржцев отъезд царской семьи в Москву и предшествовавшая ему кончина молодого супруга принцессы Анны.

Вот она, Нева-то! — толковали всюду. — Недаром средь зимы вскрылась.

— Если бы на этом и кончилось! — говорили наиболее суеверные. — А еще впереди что будет!..

— На войне-то?

— А хотя бы и на войне... Турки — не шведы; кто одолеет — одному Богу известно...

Москва угрюмо и мрачно встретила нелюбимого царя... Больше десяти лет прошло с тех пор как она была залита стрелецкой кровью, и здесь все еще не были забыты ужасы массовых казней... Даже гром полтавской победы не заглушил плача и стога стрелецких вдов и сирот, а тут вдруг забили во всю мощь колокола кремлевских соборов, призывая народ молиться о даровании свыше новых побед в борьбе с неверными.

— Ужо будут те победы, — втихомолку толковали москвичи. — Покажет те турецкий султан неверных-то!..

— Сам царь обнемчился, — шушукались в других кружках, — и все, кто с ним, тоже... Поганцами стали, только храмы Божии сквернят... Дымочадцы табачные...

— Только бы царевич скорее сил набирался да к престолу был годеи! — высказывали третьи. — Он весь в блаженной памяти деда, даром на рожон прать не будет и своего народа иноземцам на пагубу не отдаст...

Царевич Алексей Петрович был в это время в Берлине и заканчивал свое образование.

Напрасно говорили про него, будто он был «приверженцем старины». Нет! У него был быстрый ум, он легко схватывал и усваивал себе всякие «книжные премудрости», по своему времени был прекрасен образован, но в то же время у него был ум русский, душа русская, нисколько не озлобленная на народ. Он прекрасно понимал необходимость «новшеств», но в то же время был врагом всякой насильственной ломки бытового строя. Это был сознательный «постепеновец», как его дед Алексей, дядя, царь Федор, и тетка, царевна Софья. Он ясно понимал, что новшества только тогда и принесут пользу народу, когда народ будет достаточно подготовлен к принятию их, и ясно видел вред от того, что всяческие преобразования, по своему существу полезнейшие, только насаждались, но не упрочивались и не внедрялись. Для царевича Алексея не было скрытым то, что всеми реформами его отца пользовалась только

незначительная кучка иноземцев да их прихвостней вроде Меншикова, желавших только всеми правдами и неправдами грабить народ, и, прекрасно зная все это, царевич-наследник скорбел и с нетерпением ждал, когда умрет его отец, чтобы повести Россию тем же путем преобразований, но более прочным, более желанным и полезным народу.

Царевича, как уже известно, воспитывала его тетка, царевна Наталья Алексеевна, его учителями были знаменитый педагог того времени Никифор Вяземский, князь Долгорукий и иностранец барон Гюйзен. Кроме того, большое влияние на него имела другая тетка, царевна Марья Алексеевна, единственная уцелевшая дочь царя Алексея от Милославской, сумевшая так ловко повести себя, что даже Петр оставил ее в покое и как будто благоволил к ней. В то же время около царевича Алексея все чаще и чаще стал появляться, сближаясь незаметно с ним и приобретая на него сильное влияние, один из видных сотрудников царя Петра, Афанасий Иванович Кикин, президент адмиралтейств-коллегии, человек высокого ума и образования, сторонник полезных государственных реформ, но противник ненужной спешности в проведении их.

Однако еще не наступило время для царевича; он таил свои думы и ждал — ждал с нетерпением, зная, что весь народ с восторгом встретит его, как царя...

Народные симпатии к царевичу Алексею, в противовес его отцу-царю, разрастались, захватывая массы, и центром всего народившегося движения опять-таки была Москва, где на все лады повторяли слова Алексея Петровича:

«Из-за гнилого болота да православный народ губить?.. А Москва на что? Чем она хуже стала? Вот буду я, так у меня мой народ здоров будет...» на питерское болото и глядеть не стану...

Однако на звуки кремлевских колоколов все-таки шли в собор.

XXVII

«МАТКА КАТЕРИНУШКА»

Царь, как бы мучимый предчувствиями, спешил все устроить на случай несчастья. Был учрежден правительствующий сенат, который должен был править вместо царя всеми государственными делами; Меншиков был оставлен губернатором всего Приневского края. Вместе с объявлением о том и другом Москве была оповещена такая новость, которая, как громом, поразила всех.

В день 1 марта была объявлена русскою царицей благочестивейшая супруга царя, государыня Екатерина Алексеевна... В Москве и раньше слыхали про нее, да только и не думал никто, чтобы она стала царицей... И про кукуевскую «прелестницу-немку» то же самое говорили, да «в жалости» кончала она свои дни, а тут какое дело обозначилось!.. И сразу так, словно снег на голову пал... Но и подумать о новой вести времени не было: прямо с напутственного

молебствия царь умчался со своею «хозяйкою» из Москвы... Так и остались москвичи, рты разинув от неожиданности да затылки почесывая.

Военное счастье как будто отвернулось от полтавского победителя. В Москве он перемогался, но в пути тяжкая болезнь заставила его лечь в постель. В Луцке Петр чувствовал себя так плохо, что «не чаял живота себе». Но богатырская натура превозмогла недуг. Он оправился настолько, что смог продолжать свой путь дальше.

Царь стал все чаще и чаще недомогать. Ему шел только пятый десяток в начале, но излишества детства, порочная юность, страсти в молодости и непомерная работа в начале зрелых лет надорвали его. Царь все чаще и чаще начал прихварывать. Даже незначительные по количеству выпитого «попойки» вредно отзывались на нем. Его тянуло к мирной семейной жизни, в круг родимых детей, а тут усталый, измученный он должен был переносить все труды походной жизни, постоянно волноваться за исход даже ничтожных стычек. Впереди же его ждало тяжелое горе, такой удар самолюбия, какой не приходилось испытывать со дней нарвского погрома.

На Пруте благодаря измене молдавского господаря Кантемира русская армия попала в ловушку, откуда ей не было выхода. С царем Петром было всего 37 тысяч пехоты и конницы, и эту армию окружили свыше двухсот тысяч турок и татар. Русским оставалось или погибнуть, или сдаться; царь Петр на Пруте был уже как бы в турецком плену...

У урочища Новое Станелище в течение целого дня была битва. Турки нигде не прорвали русской линии, но и русские не могли пробиться сквозь их толщу; к утру следующего дня вокруг попавшей в ловушку армии выросли вражеские ретрашменты, и четырехста пушечных жерл глядели на обреченную гибели армию.

Невыразимо страшные мгновения испытывал царь. В его палатке собрались все его генералы. Грозно смотрел на иностранцев царь. Ведь генерал Ренне настоял на том, чтобы идти на Прут, и увлек своими речами русских, и царь считал, что своим позором он обязан иностранцам. Теперь повсюду только и раздавались голоса о сдаче; царя убеждали, что сопротивление невозможно, что в случае боя гибель всей армии неизбежна. А сдача была неслыханным позором! Царь в плену!.. Как встрепенется ненавистная Москва! Что начнут делать все эти только придавленные смутой? Царь в плену! Да ведь это — гибель всего, что уже сделано. Все должно было погибнуть — все начинания, все дела... Возвращение на Русь из плена было невозможно, и у Петра был уже заготовлен указ сенату, которым он предписывал ему дать себе преемника... И вот в такие-то страшные мгновения тоски в палатку вошла «свет-Катеринушка». Она явилась без зова к своему «хозяину», и Петр понял, что царица чувствовала, какая страшная тоска грызет его сердце, чувствовала и явилась утешить его...

Но чем?

Одни говорили о гибели, другие — о позоре, который хуже гибели; царица же заговорила совсем о другом, о быть может, и невыгодном, но все-таки честном мире... Это было предложение, которого никто не делал ранее, и царь ухватился за него, как утопающий за соломинку.

— Погибнуть всегда успеем, — сказала царица, — хитрости в том нет, а попытка — не шутка, спрос не беда! Не захочет визирь мириться — ну, тогда пусть исполнится воля Божья.

Голос любимой женщины ободрил павшего духом царя; он уверовал тут, что еще не закатывается его звезда, что бережет его судьба для иных будущих великих дел...

Медлить было некогда.

ХХVIII

БРИЛЛИАНТЫ ЦАРИЦЫ

Прошло немного времени, и к великому визирю был отправлен унтер-офицер Шепелев. Он, в сопровождении сына фельдмаршала Шереметева — Михаила, вез визирю шкатулку с бриллиантами царицы. Екатерина отдала все, что у нее было с собою, лишь бы задобрить алчного турка. Петр видел, как собирала его супруга свои драгоценности, и все сильнее и сильнее разгоралась в его сердце любовь к этой женщине. Ведь он видел, что она жертвует всем, не жалея ничего для его спасения, и чувство любви согрело сурового царя, размягчило его душу, заставило верить в добро, которого он так мало видел среди людей. Кругом был слышен грохот турецких пушек, их ядра всюду разносили смерть, но Петр в эти мгновения верил, что попытка удастся, что добро и любовь спасут его от позора. Он не ошибся. Вдруг турецкие батареи смолкли, визирь пригласил к себе русских уполномоченных для переговоров...

В турецкий лагерь были посланы барон Петр Павлович Шафиров и сын фельдмаршала Михаил Шереметев. Царь уполномочил их уступить туркам Азов, Таганрог, все завоеванные области по Днепру и Бугу; мало того, он соглашался отдать шведам, союзникам турок, все отнятое у них, кроме Приневского края, взамен которого он соглашался уступить Псков. Но, к его великому удивлению, требования турок были более снисходительны, чем можно было ожидать...

Шведский король Карл XII, бежавший после Полтавы в Турцию, донельзя надоед великому визирю.

— Я желал бы, чтобы черт взял его, — сказал визирь Шафирову, — потому что вижу теперь, что он — только именем король, а ума в нем ничего нет, и как самый скот он... Буду стараться отпустить его куда-нибудь поскорее...

Шафиров по происхождению был хитрый, вкрадчивый еврей. При таких обстоятельствах он сумел так привлечь на сторону русских визиря, что западня, прихлопнувшая было русского царя, рас-

крылась перед ним. Говорят, что тут была принесена еще новая жертва царицей, и Петр Алексеевич после этого стал еще более любить «сердешненькую Катеринушку».

Царь был выпущен.

Напрасно Карл сломя голову прискакавший из Бендер, и ласково, и с бранью, и с угрозами уговаривал великого визиря изменить свое решение и уничтожить русских, — визирь остался непреклонен; предварительные мирные переговоры были закончены, и величайшее военное несчастье завершилось уже не так страшно.

Пережитое потрясение не прошло бесследно для государя, уже прибывшего к армии почти больным. Военные дела призывали его под Штральзунд, но он уже не мог отправиться туда. Нужно было лечиться, и Петр отправился на Карлсбадские воды; Екатерина проводила его до границы и осталась в Торне.

Несколько отдохнув, царь должен был отправиться на театр военных действий, потом опять прибыл в Карлсбад, а после вернулся к войскам; иначе было нельзя — заканчивалась его великая борьба со шведами. Редко видал он своего «сердешненького друга», и зато горячей любовью дышали его письма к супруге.

Екатерина Алексеевна умела поддерживать в своем царственном супруге такую любовь. Она никогда не корила его мимолетными изменами, но в то же время не упускала случая показать ему, что все-таки она «ревнует» его. Так в письмах за границу она выражала догадку, что ее «старик»-бабушка позабыл, дескать, ее, у него, дескать, новые «портомой» теперь завелись, так ее ли, старую, утешаясь с ними, вспоминать?»

Это был хитро придуманный расчет. Петр старел, был порядочно изношен и у него уже не было надежды на бескорыстную женскую любовь, а тут была налицо ревность, как бы служившая доказательством того, что его любят, любят бескорыстно..

Он утешал свою «матку четверную», что она может быть «спокойна», что «иных государств портомой», когда есть своя, не привлекают его...

Это была своего рода идиллия...

А между тем судьба готовила ему в будущем, уж не столь далеко, тяжелейшие уколы самолюбия. Она как будто создавала для него призраки счастья, только для того, чтобы еще сильнее, еще болезненнее разбить его сердце.

Душевной теплотой дышат письма Петра к Екатерине. Суровый деспот, человек с железным характером, спокойно смотревший на всяческие истязания в застенках, Петр в своих отношениях к Екатерине был положительно не узнаваем. Так, он посылал «матке» матерью по желтой земле да кольцо, а маленькой (дочери) — полосатую с пожеланием носить на здоровье, либо покупал для нее «часы новой моды, для пыли внутри стекла» да печатку, да «четверной лапушке» втроем¹ с извинением, что более за скоростью

¹ Т. е. беременной, с двумя уже родившимися детьми.

достать не мог, ибо в Дрездене только один день был; в другой день часы и печатки заменялись «устерсами» (устрицами), которые отправлялись в том числе, «сколько мог сыскать». Посылалась иногда и бутылочка венгерского с убедительнейшею просьбою: «Для Бога не печалиться, мне тем наведешь мнение, а мы про ваше здоровье пили».

Любовь выражалась не в одних только посылках «устерсов» да венгерского; она высказывалась в постоянных заботах государя о любимой женщине; забывая первенца-сына и его воспитание, решительно изгладив из своей памяти злополучные образы своей первой супруги, а также и первой метрессы, Петр как зеницу ока оберегал «сердешненького друга». Вот что он пишет Екатерине в Торн: «Поезжай с батальоны, только для Бога бережно поезжай и от батальонов ни на сто сажень не отъезжай, ибо неприятелей округ зело много и непрестанно выходят из леса великим путем, а вам тех лесов миновать нельзя». Из этого и других писем ясно видно, что в личной жизни Петра I не было ничего иного, кроме любви к «Катеринушке».

XXIX

КОНЕЦ ПРЕЛЕСТНИЦЫ КУКУЯ

До далекого Петербурга дошла весть, которая при других обстоятельствах не возбудила бы особенного внимания, но тут заставила встрепетнуться Александра Даниловича Меншикова. Из Суздаля пришли вести, что заточенная царица сбросила с себя одежды инокини, оделась в прежние царские одеяния — и весь край с восторгом чувствует ее, как русскую царицу.

«Эх, — подумал Александр Данилович, — нельзя выпускать такую птичку! Кто там знает, что там быть может? Сын-то ее уже подрос... Женится он, свои чады у него пойдут, и, конечно, тогда нам всем, новым людям, конец придет. Алексей-то никого не оставит!»

И думы, одна другой мрачнее, так и ползли в мозгу фаворита. Он чувствовал, что шатко его положение, что каждая ничтожная случайность может свалить его в бездны и что тут уже никто не заступится за него. Но думать — мало, нужно было еще и действовать. Разматывая клубок своей мысли, Александр Данилович мало-помалу дошел до того, что у него создался стройный план действий, и этот план захватывал не одну только несчастную царицу Евдокию, но в результате его должно было быть полнейшее торжество временщика.

Обдумав все, Меншиков призвал к себе Кочета, и долго-долго они вели между собою таинственный разговор. Александр Данилович уверовал в этого человека еще после того, как он помог ему под Шлиссельбургом избавиться от опасного соперника — Кенигсека; судьба этих двух людей оказывалась тесно связанной в одно

целое. За одной услугой последовали и другие. Кочет исполнял все с усердием, ни от чего не отказываясь, и Меншиков из всех своих холопов верил ему более чем кому-либо другому.

После таинственного разговора с временщиком Кочет живо собрался и уехал из Петербурга. Он держал путь в Москву, ехал скромненько, хотя на почтовых ямах предъявлял подорожные, из которых явствовало, что едет он по казенной надобности. Прибыв в Москву, Кочет ни к кому не заявился, а остановился на таком почтовом дворе, где мало знали его, отдохнул и принялся выполнять данное ему поручение. Он бывал в кружалах, угощался и сам угощал, и не упускал случая, чтобы поговорить на темы, больше всего интересовавшие его. А темой этих разговоров постоянно было житье-бытье Анки Монсовой да вскользь еще Кочет ухитрялся прихватывать инокиню Елену, о которой в Москве тоже немало было слухов.

— Живет Монсова на Немецкой слободе, — рассказывали Кочету. — Что ей делается? Пока при государе была, столько нарвала, что до смерти не прожить.

— Неужто так много? — представлялся удивленным меншиковский холоп.

— Немало! — отвечали ему. — Грабила она, грабила, а на прожитие не свое тратила. А потом, как замуж вышла-то, и от мужа досталась ей толика немалая.

— Что же она теперь-то делает?

— Что делает? Живет в свое удовольствие. Вон замуж собирается выходить.

— Да ну? — уже искренне изумился Кочет, дотоле ничего не слыхавший об этом. — За кого?

— Да есть тут пленный швед из-под Полтавы, так вот за него. Только он — парень обстоятельный, своего не упустит. Анка Монсова с нас, крещеных, шкуры драла, а теперь полтавский швед у нее животишки отбирает... И что только творится у нее на дворе! Все рвут: Балкша, Матрена, сестра ее, полоняник полтавский, братан младший, — а она всех добрей к шведу. Да что тут! Баба на возрасте, в соку, ну, и понравится сатана пуще ясного сокола.

Кочет не пропустил мимо ушей этих разговоров. Он постарался навести все справки, и, действительно, слухи подтвердились. Анной Монс были забыты и московский царь, и бедняга Кейзерлинг. Сердце печальной вдовы снова было занято шведским капитаном фон Миллером, который в эту пору безвыездно проживал в Немецкой слободе. Она и на самом деле решила выйти за него замуж; и это, пожалуй, было для нее выгоднее всего. Миллер оказывался человеком практичным и не брезговал ничем: брал за свою любовь с невесты и камзолами, и кувшинцами, и блюдами, с которыми бороду бреют, и другими разными вещами. Если бы около Анны Ивановны не было ее сестры Модесты-Матрены, так, вероятно, швед растащил бы все. В доме графини Кейзерлинг, бывшей Анны Монс, был ад. Жених тащил все, что можно было утащить, сестра и брат

Виллим всеми силами восставали против этого. Когда-то разбитная, Матрена Ивановна Балк поблекла, располнела и подурнела; из прежнего у нее сохранилась только ее ничем ненасытная алчность.

Виллим Иванович был в то время молодым и очень красивым человеком. Он, благодаря ходатайству одного из царских любимцев — Боура, когда-то сильно покровительствовавшего его сестре, был принят на царскую службу в русские войска, и теперь хотя и был в большом отдалении, но мечтал попасть ко двору и создать там себе карьеру, хотя бы... хотя бы в память сестры. Отнюдь нельзя сказать, что он был жаден, нет, это была взбалмошная, поэтическая натура, способная на всякие увлечения и достаточно легкомысленная.

Виллим Монс то и дело схватывался с возлюбленным сестры, Миллером; последний казался ему смешным, и дразнить его, доводя, как говорится, до белого каления, Монсу казалось очень забавным.

Так день за днем проходило время в доме графини Кейзерлинг.

Кочет, узнав обо всем этом, послал Меншикову подробное письмо, и довольно скоро получил ответ. Как-то так случилось, что через несколько дней после этого Анна Ивановна Монс, графиня Кейзерлинг, умерла, не оставив после себя никаких прямых наследников. Тут же, около ее еще не остывшего трупа, произошла отвратительная сцена. Ее брат Виллим чуть не разодрался из-за какой-то ветоши с ее женихом, его сестра — Матрена Ивановна Балк — также приняла его сторону, и лишь вмешательство присланных для охраны имущества приставов развело ссорившихся. Так совершенно сошла со сцены женщина, которая сыграла виднейшую роль в истории России и была одной из тех сил, которые толкнули Петра на путь далеко не продуманных преобразований...

Казалось, что судьба семейства Монс была покончена навсегда, но рок-мститель избрал Виллима Монса исполнителем своих грозных предначертаний, и на его долю — в недалеком будущем блестящего камергера петровского двора — выпало отравить страшным ядом последние дни царя Петра и как бы воочию показать ему, что не для таких, как он, великих людей существует счастье в любви.

XXX

ОТВЕРЖЕННАЯ ЖЕНА

Кочет, как только убедился, что все кончено в Немецкой слободе и что не встанет больше со смертного ложа та, которую так любил в дни молодости царь Петр и постоянно боялся Меншиков, сейчас же, никому неведомый, скрылся из Москвы. Он держал путь к древнему Суздалью.

Еще только въезжая в пределы этого края, он уже понял, что здесь судьба созидает центр крупнейших событий.

Как молодое, только что заторенное пиво, бродил весь этот край. Каждый проживавший в нем громко говорил о «благочестивой

государыне, царице Евдокии Федоровне», говорил с радостью, с величайшим упованием на будущее; говорили о наследнике престола, как будто это уже был царствующий государь.

«Хоть бы скорее желанненький наш вертался из зарубежных земель, — слышал Кочет откровенные разговоры, — да за великое государево дело принимался!.. А то жить нельзя стало от всех этих новшеств».

Те, кто видел Кочета — а появился он в этих местах в одежде простого человека, — радовались ему. Он был новым лицом да наезжим с невского болота; одни спешили разузнать у него новости, другие сами были рады рассказать ему все происходящее.

— Уж так-то тяжела жизнь, — толковали ему в суздальских кружалах, куда он не преминул заявиться, — так-то тяжела стала, будто и в самом деле последние времена наступают!.. То и дело народ для войны набирают, а какая от того польза государству — никому неведомо.

— Какая там польза! Ходит нынешний царь по зарубежным государствам да чужие дела устраивает, а о своем народе у него и думы нет.

— Что у него и за дума о своем народе, ежели весь он иноземцем сделался?!

Кочет пробовал было указывать, что не так страшны иноземцы, как думают о них в этой глуши, что царь Петр сумел поставить их на надлежащее место, но никто и слушать его не хотел. Здесь весь край все еще был под впечатлением прежних ужасов и казней; о царе Петре говорили как об антихристе, и не было про него ни одного хорошего слова.

— Вот только бы скорей царевич вернулся, уж тогда-то мы поживем!

— Да что же он сделает-то? — допытывался Кочет.

— Как что? Святую попорченную веру установит, иноземцев прогонит, царицу-мать во дворце посадит, и пойдет все, как при Тишайшем.

Таковы были наивные надежды народа.

А инокия Елена, она же заточенная царица Евдокия Федоровна, которой в это время шел уже четвертый десяток, почувствовала необходимость взять наконец от жизни свое, вырвать у ней то, что было отнято у нее долгими годами монастырского заточения. Слишком тяжел был гнет, но, как ни был он тяжел, он не мог навсегда задавить то, что свойственно каждому человеку, а тем более женщине — жажду жизни, страстное желание жить.

Прочь полетели монастырские одеяния, забыт был кlobук. Заточенная царица блистала в роскошных царских одеждах. Все в монастыре склонялись перед нею: игуменья, сестры, священники доселе видели в ней ни в чем не повинную мученицу, страдальцу, а тут увидели возвращавшуюся на свой престол государыню. Тысячи народа собирались в монастырь на поклон царице. Суздальские власти были за нее. Местный архиерей Досифей отдал приказ, чтоб на ек-

теньях Евдокия Федоровна поминалась наравне со своим супругом и чтобы в храмах Божиих никогда не раздавалось имя «богопротивной немчинки Катерины». И все это сотворило то, что подрос и возмужал сын заточенной царицы, наследник престола царевич Алексей.

Мать не видала его с тех пор, как силой разлучили их, то есть с того времени, когда бедняжке-царевичу шел девятый год, но тем сильнее были чувства царицы Евдокии к сыну. И сюда, в эту глушь, приходили радостные для материнского сердца вести. Несмотря на многолетнюю разлуку, несмотря на нашептывания и науськивания злых врагов, царевич любил свою родимую, да так любил, что души в ней не чаял. Не удалось злым разлучникам задавить в нем эту любовь к матери. Как они ни спаивали его с детства, к каким художествам не приучали, а все-таки он остался любящим сыном. Изредка от него приходили в монастырь потайные грамотки, и, читая их, заточенная царица чувствовала великую любовь к себе своего детища. Она делилась своими мыслями и надеждами с любимыми сестрами, показывала им сыновние грамотки, а те, само собой, разносили эти вести по добрым людям, и таким путем в народе разрасталась и крепла молва, что, как только на престол воссядет молодой царь, все пойдет по-иному — по-отеческому.

А тут еще случай создал нечто такое, что вдруг прорвало в царице Евдокии глубокую плотину, сдерживавшую и чувство обиды, и желания, и подавленную монастырскими стенами страсть. Это случилось еще до появления в Суздале Кочета.

XXXI

МАЙОР ГЛЕБОВ

В суздальский край прибыл из Петербурга для закупки лошадей в царскую кавалерию майор Степан Глебов. Он был лихой служака, товарищи звали его забубенной головушкой, в полтавском бою он так рубился со шведами, что даже царю стало известно о его подвигах. Как и все вояки, он был человек прямой, бескорыстный и притом еще увлекающийся. Должно быть, сама судьба нанесла его на Суздаль, где томилась в заточении царица Евдокия. Он слышал жалостные толки о ее житье-бытье и сам быстро проникся жалостью к этой несчастной, а следствием этого было стремление увидеть ее. Нетрудно было это: стоило только пойти в монастырь к церковной службе; царица всегда бывала на богослужении, и, может быть, благодаря этому, монастырский храм был постоянно переполнен богомольцами.

«Эх, была не была, пойду! — как-то после попойки мелькнула мысль у лихого служаки. — Хоть глазком поглядеть, какие настоящие царицы бывают. А то наши питерские все не то!»

Как ни был храбр Глебов на поле битвы, как ни самоотверженно шел он против врагов царя Петра, все-таки старинка из него не вывелась, он в простоте душевной никак не мог примириться с

мыслью, что законная жена — не жена, ибо твердо памятовал слова Писания: «Что Бог соединил, того человекам не разъединить». Полный такими мыслями, он отправился в монастырский храм на богослужение. Как-то странно затрепетало его сердце, когда он вошел под старинные монастырские своды. Он увидел такое множество народа, что церковь не вмещала всех богомольцев: они стояли и на паперти, и на церковном дворе. Однако Глебову — может быть, благодаря военной форме — удалось пробраться в первые ряды; он взглянул на клирос — и его сердце уже не затрепетало, а прямо-таки забилося.

Скромный армейский майор увидел там среднего роста, не первой молодости, но все еще красивую женщину, стоявшую с гордо поднятым лицом и смотревшую поверх голов с каким-то, как показалось Глебову, особенным величием. Монашеское одеяние и клобук оттеняли белизну лица и яркий румянец, заливавший щеки.

Это была царица-разводка Евдокия Федоровна, та самая страдалница, взглянуть на которую, соболезнуя ее бедам, стекался народ и которую множество людей считало даже и в несчастье своей законной властительницей.

Глебов стоял окаменелый, словно вдруг его зачаровала какая-то невидимая сила; он не спускал взора с заточенной царицы; мысли вихрем проносились в его голове, но что это были за мысли — это он понять не мог: это были какие-то отрывки мыслей... Глебов сравнивал эту женщину и с Анной Монс, которую не раз видал в Немецкой слободе, и с новой царицей Екатериной Алексеевной, и обе они казались ему жалкими, бледными, ничтожными в сравнении с величественной русской красотой царицы Евдокии, находившейся в полном расцвете. Глебов смотрел и не мог оторвать от нее свой взор.

Вдруг словно что-то кольнуло его, и он вздрогнул. Должно быть, его пристальный взгляд, действуя гипнотически на Евдокию Федоровну, заставил ее повернуться в сторону майора. Ее взгляд, взгляд карих с паволокой очей, скользнул по Глебову, и она сейчас же отвернулась; такие пристальные взоры были привычны ей. Но зато Глебов не привык, чтобы на него глядели царицы; он чувствовал, что в его груди не хватает воздуха, голова кружится, что если он останется у клироса и еще раз взглянет на него царица Евдокия, то он, отчаянный рубака, десятки раз выдавший перед собою смерть, потеряет сознание и тут же без чувств упадет вблизи нее.

Грубо расталкивая богомольцев, он, как безумный, кинулся к выходу. Шум, происшедший при этом, снова привлек на него внимание царицы. Она обернулась и шепотом спросила у ближайшей инокини:

— Кто это?

Ей сказали.

Чутким сердцем эта давно не знавшая любви женщина поняла, какое впечатление произвела она на совершенно нового среди толпы человека. Ничего не сказала Евдокия Федоровна, но запомнился ей Глебов. И вдруг его овладело страстное желание, чтобы этот

человек очутился около нее и она могла бы расспросить его о том, что делается там, далеко-далеко, где, разнося жизнь и смерть, милость и кару, орлом носится ее царственный супруг.

А Глебов, выскочив из храма, бегом выбежал за монастырские ворота. Там его ждал вестовой с лошадей. Не помня себя, майор вскочил в седло и умчался в город на тот постоянный двор, где он имел пристанище.

Там он устроил гомерическую попойку; у него на руках были казенные деньги, и он ребром поставил их. Он созвал всех, с кем только познакомился, и его кутеж был морем разливанным, а не солдатской пирушкой.

Однако сам Глебов пил, но не хмелел. Мысли, как пчелы роившиеся в его мозгу, начали в конце концов принимать все более и более стройный образ.

«А что если счастья попытать? — думал этот скромный солдат. — Что, если вырвать благочестивейшую царицу отселе и на народ ее повести. Ведь любят ее все, за царицу считают, а не за заточницу. Большие тысячи за ней пойдут, если только она клич кликнет, головы не пожалеют. Да и можно ли жалеть себя за такую красоту? За одну улыбку, за взор милостивый, за слово ласковое я первый всю кровь отдал бы. Пусть хоть по капле вытачивали бы — не жалко; страшнейшие муки принял бы я и, среди них умирая, славил бы ее, несравненную».

Но отвлекшиеся в сторону мысли снова возвращались, и Глебову думалось, что через царицу-заточницу он может и свое великое счастье составить. Только бы не упустить случая, благо он сам в руки дается!

«Сынок-то ее благочестивейший, — размышлял он, — не сегодня-завтра царем будет, так нешто не отблагодарит он того, кто его мать благодетельствовал? Вот царь Петр то и дело припадает, всякие недуги одолевают его, и не два века ему жить осталось; а преставится он — по-иному все будет. В силе и могуществе будет царица законная. Эх, Степа! Счастье — что птица. Лови его за хвост, если оно само тебе в руки дается!»

XXXII

НЕСЧАСТНЫЙ ЦАРЕВИЧ

Так всю ночь до рассвета продумал майор, но не мог прийти ни к какому решению. Страшно было: как-никак, а, заступаясь за царицу-заточницу, приходилось против грозного царя идти, а у того на супротивников расправа была короткая. Скончался от старости князь Ромодановский, в крови купавшийся, да не осиротел без него Преображенский приказ в Москве: новоявленный граф Галушкин место князя-кесаря там занял, а в Питере в застенках такой зверь, Андрей Иванович Ушаков, объявился, что перед ним не только Ромодановский, да, пожалуй, и сам Малюта Скуратов

мог бы оказаться малым ребенком. И бедняга-майор колебался. Да видно, никогда не миновать человеку того, что на роду написано.

Был уже белый день, в монастыре к ранней обедне отблаговестили. Вдруг на постоялый двор прибежала беличка-монастырка.

— Тут у вас, что ли, наезжий из Питера воин пристал? — спросила она у хозяйни.

— Тут, тут. А тебе, сестричка, надобен он?

— Слово к нему имею, с тем и послана.

— От кого?

— Да уж там от кого бы то ни было, — уклонилась монастырка от прямого ответа. — Ты, почтенный, чем расспрашивать, вызвал бы его лучше, да сам ушел на малое время, потому что говорить я с ним должна потайно.

Глебов слышал этот разговор и поспешил сам выбежать на него. Увидел он — плутовски глядит на него монастырка, бесы в молодых глазах так и скачут. Смутился майор, а беличка, заметив это, сама первая с ним заговорила.

Словно ответом на ночные думы были ее слова.

— Пожаловал бы ты, милостивец, — сказала беличка, — после обеден в монастырек наш. Хочет тебя там видеть некая персона. Видишь ты, заметила она тебя вчера в церкви и смекнула, что ты здесь, в Суздале, наезжий. Ну, известно дело, хочется ей знать, как вы там с царем живете, здоров ли царевич молодой. Так подумала она, персона-то, что ты ей обо всем этом рассказать можешь, и пожелала побеседовать с тобою. Не погордись нашим житьем-бытьем монастырским, пожалуй к нам, только как будто ненароком, будто ты святым мощам поклониться желашь, а о том, что я призвала тебя, и во сне не обмолвливайся.

Как в забытье, слушал майор Глебов эти речи. Понял он, про какую персону говорит беличка, но сообразить не мог, что с ним такое: явь ли, или пьяный сон после попойки видит.

Однако он пошел — в этот день пошел, на следующий, и скоро стал в скромной обители постоянным гостем.

Монастырские стены ненарушимо хранят все тайны. Что было там, в душной келье, разве одно Всевидящее Око видело да ночи темные, когда они заглядывали в окна; люди же пока молчали; но только в то самое время и сбросила с себя иноческие одежды заточенная царица и стала жить, как Бог велел жить людям, памятуя, что ведь жизнь коротка, а на ее долю и так пришлось много тяжелых испытаний.

Около этой поры и появился в Суздале Кочет. Он не был никому известен, а действовал в достаточной мере пронырливо и осторожно, и для него не было никаких сокровенных тайн. Без особенного труда распознал он всю подноготную, а раз ему было все известно, так и князь Александр Меншиков оказался осведомленным обо всем, что творилось в Суздале.

Почва для его интриг создавалась превосходная. Между царем и его уже женатым сыном начались большие нелады. Собственно го-

вора, царевич Алексей ни в чем особенно не противодействовал отцу, но возмущал его своею пассивностью. К тому времени царь Петр остался почти один: Ромодановский умер, Шереметев так состарился, что ни на какие государевы дела более не годился, старик Репнин оказался в опале, а на новых, выведенных им из ничтожества людей царь Петр не особенно полагался. Даже к Александру Даниловичу Меншикову он относился все холоднее и холоднее. Из старинных родовитых бояр оставались Долгорукие и Голицыны, но Долгорукие были Юриковичи, Голицыны — Гедиминовичи, а Петр был всего только внуком первого царя из Романовых, рода не особенно древнего. Династия не так уже прочна была на престоле, и понятно, что Петр хотел, чтобы его сын, единственный сын, был таким же, как он. Он старался приучать своего наследника к своим делам государевым, но из этого ничего не выходило. Царевич Алексей Петрович почти насильно был женат на принцессе Софии Шарлотте Брауншвейгской. Да и она без любви вышла замуж за него. А тут еще, как на грех, вместе с нею приехала в Россию ее любимая подруга, принцесса Юлиана Луиза Ост-Фридландская. Это была сварливая старая дева, проводившая с молоденькой царевной почти все время и постоянно восстанавливавшая ее против нелюбимого мужа. В семье несчастного царевича постоянно были нелады, ссоры, и, чем дальше шло время, тем неприязненнее относился он к своей молодой супруге.

— Женой мне чертовку навязали, — жаловался он камердинеру, особенно когда возвращался хмельным с какой-нибудь попойки. — Как не приду к ней, все сердится и не хочет со мной говорить. Эх, когда будет мне время без батюшки, так шепну я архиереям, архиереи — священникам, а те — прихожанам, и тогда-то мое время настанет! Все поверну я по-иному, не дам народа в обиду!

Все чаще и чаще говорил во хмелю такие речи Алексей Петрович и наконец придумал болезнь, чтобы поехать за границу в Карлсбад и там хотя немного отдохнуть от семейных передраг... А тут как раз в его отсутствие его супруге предстояло разрешиться от бремени. Царь Петр в это время тоже находился в отсутствии и пожелал, чтобы в такой важный момент, как рождение первого ребенка у наследника престола, около родильницы непременно были знатные особы из русских. Тут им не каприз руководил. Он по собственному опыту знал, что выдумывается неприязненными людьми насчет рождения царских детей. Ведь его самого называли подменным сыном немца Лефорта, и на этом приверженцы Софьи, во время стрелецкого «батьки» Хованского, раздули первый стрелецкий бунт. А тут выходило хуже: должна была родить немка, а супруг отсутствовал, сам он, царь, и его царица Екатерина Алексеевна быть при родах тоже не могли, кругом же было столько недругов, что досужие люди что угодно могли распутить. Царь в почтительных выражениях уведомил сноху, что назначает состоять при ней жену канцлера, графиню Головкину, генеральшу Брюс и князь-игуменью Ржевскую. Не зная этих соображений свекра, Со-

фия Шарлотта страшно разобиделась на него; это его распоряжение она приняла как оскорбление, как нарушение брачного договора. Но Петр оставался непреклонен. Наследница престола родила девочку, названную в честь тетки Натальей. Более всех была довольна этим царица Екатерина Алексеевна. В ласковейших выражениях приветствовала она молодую мать, а Петр, тоже ласково поздравляя сноху с рождением дочери, все-таки высказал, что «так как на этот раз она манкировала родить принца, то он надеется в следующий раз быть счастливее».

Принцесса как будто пожелала угодить свекру и в следующем году действительно произвела ему на свет внука, названного по деду Петром. Роды были вполне благополучны, но София Шарлотта была сама хрупким, нежным созданием, а ее на четвертый день после родов заставили встать, чтобы принимать поздравления. Принцесса переутомилась, простудилась и спустя очень немного времени уже была при смерти. Незадолго до ее кончины произошло сближение с мужем. Уехала принцесса Юлиана, попривыкшая к русским порядкам София Шарлотта перестала «сердитовать» на супруга, он тоже сообразил, что не всегда был прав перед ней, и когда она умирала, то Алексей Петрович был неотлучно при ней, дни и ночи не отходил от страдалицы-жены и трижды падал без чувств у ее ложа. Принцесса умерла, благословляя мужа, и ее последние слова были, что только теперь она узнала, какой он «добрый человек».

Петр, пораженный этим горем, тоже был около умирающей, но Екатерины не было. Царица как раз была в это время на сносях и безвыходно сидела в своем летнем дворце. Вскоре после похорон несчастной принцессы у нее родился сын, которому также по отцу дали имя Петр. Это был уже третий сын Петра и Екатерины. Первые двое — Александр и Павел — умерли во младенчестве, новорожденный же казался здоровым и жизнеспособным. Не таково было то время, чтобы считаться с порядком престолонаследия. С одной стороны, перед царицей Екатериной Алексеевной являлся пасынок, с другой стороны, перед ней был ее собственный сын, царь же Петр уже сжился с мыслью, что наследовать ему должен Алексей.

И вдруг, откуда ни возьмись, по новосозданному Петербургу, а отсюда и по всей Руси, понеслись слухи, что быть царевичу Алексею пострижену, что неспособен он государством править, а теперь у царя и сын родился, и неспособного можно устранить от престола. Конечно, эти слухи скоро дошли до царевича, а тут, как бы в подтверждение, и царь-отец гневное письмо прислал. Тучи скопнулись над головой царевича, а тут еще и его старый учитель Никифор Вяземский и Александр Кикин, люди, которым Алексей Петрович верил более, чем самому себе, взапуски советовали ему отказаться от наследства отца, то есть от престола.

— Тебе покой будет, если ты от всего отстанешь, — заявил Кикин. — Я ведаю, что тебе, за слабостью своею, не снести всех тягот государственных, а в монастыре люди живут: ведь иноческий кlobук к голове не гвоздями прибит, всегда сбросить можно.

— Волен Бог да корона¹, — подтвердил слова Кикина Вяземский.

Царевич сдался на эти уговоры и в ответ на отцовское письмо послал к Петру просьбу о позволении уйти в монастырь.

XXXIII В СВОЕЙ КРОВИ

Не ожидал этого грозный царь от своего наследника. Вряд ли он когда-либо и думал о лишении сына престола, а тут рушились все его надежды: сын и в самом деле не помощником ему оказывался. Страшная буря царского гнева разразилась во дворце. Петр всегда был неводержан в гневе, а тут наговорил того, что вполне подтверждало все бродившие в народе слухи. Все было передано смущенному царевичу, и он уже испытывал страх за свою жизнь. А тут и близкие к царю люди еще более страха нагнали.

«Я тебя у отца с плахи снял, — хвастался навещавший царевича князь Василий Долгорукий, — только до которого времени — не знаю».

А Петр так разгневался на просьбу сына, что с ним случился болезненный припадок, один из сильнейших во все время его жизни. Сдерживая себя и перемогаясь, он пошел на именинный пир к старику генерал-адмиралу Апраксину, выпил там чересчур много и после этого слег, да так слег, что министры, сенаторы ночи проводили в царских покоях, ожидая кончины государя. 2 декабря 1715 года царь был так плох, что его приобщали Святых Тайн. Но еще не все свое дело совершил он для России, — он оправился.

Пока же он хворал, его угнетенному и перепуганному сыну говорили:

— Твой отец вовсе не болен тяжко; он исповедывался и причащался нарочно, являя людям, что он гораздо болен; нет, все — притворство... А что причащается он — так у него закон на свою статью.

Поправившийся Петр письменно увещевал сына отказаться от своей мысли, но царевич Алексей настаивал. С перепуга он захворал. Отец пришел к нему, был с ним ласков, спрашивал, желает ли он уходить в монастырь, и получил в ответ, что царевич из-за слабости не желает быть на царстве. Но и тут Петр не решился покончить с этим делом. Он уезжал за границу и сказал сыну:

— Одумайся, не спеши а как решишь — напиши мне!

Царь уехал.

Можно себе представить, что было на душе у царевича. Страх за жизнь все более и более овладевал им, а те, кого он считал своими друзьями, уговаривали его спасти себя от отцовского гнева, указывали, что отец хочет известить его, дабы очистить путь к пре-

¹ Т. е. воля имеющего корону.

столу своему новорожденному сыну. При таких обстоятельствах слабохарактерный царевич Алексей не выдержал. А тут еще пришло грозное повеление от Петра явиться к нему в Данию. Это как бы предугаживало царевичу то, что он должен был сделать, и он решил бежать. В начале октября 1716 года Алексей Петрович уже был на пути к границе. Под Либавой он встретил тетку, царевну Марью Алексеевну, всегда к нему расположенную, и заявил ей:

— Еду к батюшке!

— Доброе дело, что отца помнишь! — ответила царевна. — Куда тебе от отца уйти? Везде найдут. А вот забыл ты мать, не пишешь ей ничего...

— Я писать опасуюсь, — было ответом.

— А что? — возразила царевна. — Хотя бы тебе и пострадать, так и то ничего было бы: ведь за мать, не за кого иного.

Алексей Петрович заплакал.

— Жива ли матушка, или нет? — спросил он.

— Жива, — сказала ему в ответ Марья Алексеевна. — И ей самой, и иным было откровение, что отец твой возьмет ее к себе и дети будут. А произойдет все таким образом: отец твой будет болен, и во время болезни произойдет смятение; поедет он тогда в Троицкий монастырь на Сергиеву память, а тут мать твоя будет, и отец исцелится от болезни и возьмет ее к себе, и тем великое смятение утишится. Петербург же не устоит за нами (то есть при нас), быть ему пусту! Многие о сем говорят.

Разговор между племянником и теткой от родной матери перешел к мачехе.

— У нас, — сказала царевна, — осуждают твоего отца. Что он мясо ест в посты — это еще ничего; то पुще, что он твою мать покинул. У нас архиереи-дураки этого ни во что ставят и поминают царицу особливо. А только памятуй, что к тебе они расположены.

Алексей Петрович начал было хвалить свою мачеху Екатерину.

— Чего ты хвалишь-то? — укорила его царевна. — Ведь она — не родная тебе мать. Где ей тебе добра желать? У нее свой сын есть.

Разжигавшие действовали эти разговоры тетки на перепуганного царевича. К концу года он был уже в Вене, у императора австрийского, в надежде, что тот, будучи его свойственником по покойной жене, окажет ему помощь. Но ошибочны были эти надежды. В Вене боялись царя Петра, и царевич Алексей должен был перебраться в Неаполь. Здесь его заставили дать согласие вернуться в Россию, и 31 января 1718 года он уже был в Москве.

Страшные дни настали снова для видавшей уже всякие виды столицы. Преображенский приказ работал так, как не работал он с соковнинского заговора. В руках у Петра оказался донос и на его первую жену, и по этому делу произведен был кровавый розыск. Царица Евдокия собственноручно записала свое покаяние: «Я с ним, с Глебовым, блудно жила в то время, как он был у рекрутского набора». Под пыткой в приказе был и Степан Глебов, но не обмолвился ни на кого ни единым словом. Царевича судили, и

судьи признали его достойным смерти. Приговор был представлен на милосердие царя. Осужденный царевич был перевезен в Петербург, и 28 июня его не стало. Все те, кто держал его сторону, погибли или в застенках, или на плахе. Но страшнее всех была участь Глебова: он в Москве посажен был на кол. Современница этих ужасов, знатная иностранка, рассказывала, что во время страшных мучений к несчастному подошел огромного роста человек, весь закутанный в плащ, и начал издеваться над ним. Глебов собрал все свои силы и дважды плюнул ему в лицо.

XXXIV

ПРИ ДВОРЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Петров Парадиз разрастался с поразительной быстротой. Новому городу уже в первое десятилетие существования стало тесно на затопляемых сырых берегах правого невского берега, и он потянулся по Кононову — самому большому острову левого берега Невы — между Невой, Мьей и Фонтанной, в глубь материка. Лучшим украшением здесь был Летний сад, остаток шведского владычества в Приневском крае. Прежний его владелец, шведский майор Конау, усердно заботился об этом уголке, который был охотничьим парком при его мызе.

Царю Петру понравилось обилие росших здесь лип, и он избрал Летний сад местом своего постоянного жительства в новом городе. Старый, тесный домик на Березовом острове, у крепости, где жил сперва Петр, был им оставлен — сюда царь заходил, только когда принимал наезжих шкиперов; взамен же этого обиталища появился довольно большой, просторный каменный дом на берегу Фонтанной с видом из окон и на Неву. Здесь Петр жил и здесь помещался его «двор».

Никогда не было роскоши в личной жизни этого могучего человека. К последним годам жизни он, и прежде-то расчетливый, стал более чем скуповат и экономил на всем, лишь время от времени устраивая праздники, в которых то венчали шутов с шутихами, то организовывали шутовские процессии. Да и не за чем было роскошничать царю Петру. В последнее десятилетие своей жизни он порядочно огрубел и оставался верен только прежним вечерним попойкам да заведенным им ассамблеям, которые устраивались у него лишь изредка, большею же частью происходили у кого-либо из приближенных. Свою скупость Петр любил и выставять, и подчеркивать при каждом удобном случае.

«Я ведь — царь, — говаривал он, — государство обкрадывать мне не приходится, а потому и живу я на то, что у меня есть. Вот государские воры, так те роскошествуют».

Такие фразы все чаще и чаще срывались с царских уст, и в конце концов те, к кому они относились, так привыкли к ним, что даже перестали обращать на них внимание. А к этому времени, в

особенности после казни старшего сына, Петр порою становился страшен даже для близких людей. Он видел, что народ не одобряет его начинаний и следует им только из страха. А это развило в нем подозрительность, и он видел во всем злоумышление, часто даже там, где ничего на самом деле не было.

Тайная канцелярия — это страшное учреждение, явившееся тем же, чем был Преображенский приказ в Москве — делала свое ужасное дело. По всякому поводу — из-за неосторожного взгляда, из-за нетрезвых разглагольствований — хватали людей и тащили их в мрачные застенки, а там три царских инквизитора — Петр Андреевич Толстой, Андрей Иванович Ушаков и Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, страшная «кнутобойная тройца» — действовали, не зная усталости. Батоги, кнутобойство, дыба в застенках никогда не оставались без дела; заплечные мастера редко сидели без работы; на обычном месте казней — у Троицкого собора на Березовом острове — по целым месяцам стояли эшафоты.

Но так уж всегда бывает, что даже одаренные свыше люди редко видят то, что находится совсем близко от них, и, завершая своими резолюциями различные розыскные дела, царь Петр Алексеевич вовсе не видал того, что делается в его семье.

Крепко-крепко залегло в сердце царя воспоминание о когда-то пережитых им счастливых днях с прелестницей Кукуя, Анной Монс. Годы прошли, его сердцу был нанесен страшный удар, в нем был оскорблен мужчина, которому были предпочтены ничтожества, но, видно, и в таком сердце, какое было у Петра, жила память о прошлых днях. При петербургском дворе одной из заметных величин стал Виллим Иванович Монс, брат той Анхен, которую могучий Петр любил на заре своей жизни.

Этот Монс был богатоодаренной натурой. Красавец собой, изящный, щеголь не на русский, а на заграничный лад, прекрасный музыкант, талантливый поэт-импровизатор, Монс, пожалуй, являлся украшением царского двора и более чем выгодно для себя выделялся из среды грубых, чаще всего нетрезвых, царских «денщиков». Там, где появлялся Монс, вспыхивало веселье, раздавались смех, шутки и звуки мандолины, с которой почти не расставался Виллим Иванович. Сам он жил без всякой заботы, безалаберно, легкомысленно; богачом он никогда не был, а между тем у него частенько бывали большие по тому времени деньги. При нем почти неотступно находилась и его старшая сестра Матрена Ивановна Балк, которая как бы заведовала его холостым хозяйством, и в Петербурге считалась особой со средствами.

Кроме Виллима Ивановича, памятью счастливых дней юности являлась для царя Петра одна из «верхних девок»; то есть фрейлин его супруги. Куда как незатейлив был ближний двор этой русской царицы. При нем не было родовитых русских женщин и девушек; пожалуй, самую родовитую среди них была «князь-игуменья» Евдокия Чернышева, разбитная пожилая бой-баба, которую иногда одаривал своим мимолетным расположением «протодьякон всепья-

нейшего собора» царь Петр Алексеевич. Впрочем, эта «князь-игуменя» в дворцовом штате не состояла, а только была приезжей ко двору.

Наиболее видной из «девок сверху» была Мария Даниловна Гамильтон, та сиротка, которая своими детскими ручками поднесла царю Петру букет на празднике, устроенном тогда прелестницей Кукуя, Анной Монс. Мария уже стала роскошной, красивой женщиной, в красоте которой и во всей манере говорить проявлялось нерусское происхождение. Эти-то двое — Виллим Монс и Гамильтон — и были для царя Петра памятниками его юных, счастливых дней.

«Сильное и здоровое тело Петра Алексеевича, чтобы он там ни говорил о своей старости, — рассказывает историк, — любило, хотя и временные, но частые «отмены» (супружеской верности). Петр вскоре заметил красавицу Гамильтон и сделал для нее отмену, вероятно, усмотря в ней такие дарования, на которые не мог не воззреть с вождением».

XXXV

ПОСТОЯННО В СТРАХЕ

Понятно, что такое милостивое внимание привлекло к Марии Даниловне, как называли Гамильтон при царском дворе, всеобщее внимание. За ней стали ухаживать, ей стали льстить, примечая в то же время, что Екатерина Алексеевна не выказывает по отношению к своей фрейлине никаких признаков ревности. Впрочем, и до Гамильтон это бывало нередко, и такие случаи никого особенно не удивляли.

Но при Петре уже много лет был человек, который более ревниво, чем влюбленная женщина, следил за каждым увлечением царя. Это, конечно, был Александр Данилович Меншиков, все так же, как и прежде, страшившийся за свое положение.

Кочет был при нем неотступно и в эти годы стал доверенным лицом Меншикова и его правой рукой. Как-то князь ижорский призвал его к себе для тайной беседы. Кочет уже знал, что это означает: могущественному князю снова понадобилась верная служба его холопа, и в таком деле, какое никому иному поручить было нельзя.

— Что повелеть изволишь, светлейший? — спросил Кочет, являсь на зов господина.

Александр Данилович испытующе посмотрел на него, а затем воскликнул:

— Чего спрашиваешь-то? По пустякам звать тебя не стал бы.

— Ведомо это мне, ваша светлость, — льстиво ответил Кочет, — милуешь ты меня не в пример.

— Милую потому, что твою службу помню. Вот и теперь она мне сильно понадобилась...

— Приказать изволь; приказа не исполню, только ежели умру.

— Так вот что! Есть у царицы наверху девка Марья Гамильтова, для ее величества услуг приставленная... Видал, поди, ее?

— Как же, светлейший, приходилось. Через твою честь в Летний сад доступ имею, так и видывал эту Гамильтову.

— Так вот сдается мне, что блудно она жить начала, и хочу я до истины дознаться. Плохо дело, ежели такая нечисть при высочайшем дворе заведется.

Кочет нагло ухмыльнулся.

— Ты чего? — так и вспылil Александр Данилович.

— Прости, милостивец! Вспомнилось мне, что немало всякой там этакой-то нечисти. На Москве по этой части было дело худое, а в Питере куда всякого худа больше...

— Как ты смеешь? — в раздражении затопал на него ногами Александр Данилович.

— Вестимо, не моего ума дело, — быстро поправился стрелец. — Рад послужить тебе, приказывай только! Видывал я эту Гамильтову! Частенько она с Монсовым по саду гуляет...

— Как? Разве она с ним путается?

— Ну нет, — опять ухмыльнулся Кочет, — у Гамильтовой с Монсом никакой любви нет. Да что тебе, ваша светлость, говорить-то? Поди, сам ты знаешь, кто из них по какому зверю охотится.

В этих наглых словах скрывался такой намек, что даже сам Александр Данилович смутился.

— Ну-ну, что я знаю, то при мне и остается, а ты вот разузнай-ка все подробно. Машка Гамильтова чего-то хворает, сидит в своих комнатах запершись и даже на ассамблеи не показывается; это неспроста...

— Ладно, узнаю, — согласился Кочет, — раз тебе тогда с польским графом послужил и теперь послужу, а за наградой ты не постоишь...

— Не бойся, доволен будешь! — сказал Меншиков и махнул Кочету рукой, приказывая ему этим удалиться.

Оставшись один, Александр Данилович на мгновение дал волю своим чувствам. Каким могуществом он ни пользовался, но в то же время он постоянно чувствовал себя одиноким и должен был опасаться положительно всего.

«Да, да, — тихо проговорил он, рассуждая сам с собой, — вот так жизнь! У зайца на меже больше покоя, чем у меня. Один я, один, а следи за всем! Враги везде и всюду и все подкапываются, все стараются свалить, и чудо, что это еще не удастся им. Теперь с двух сторон на меня гроза надвигается... Большую силу забрал Монсов! Умеет немчина ждать, и ежели только теперь не свалить его, так потом от него не отделаешься — так вот на шею и сядет. Да хорошо, если только сядет! Ведь он не задумается и голову от шеи отделить... Ох, немчины-немчины! Не так уж много осталось, а только, где они заведутся, там нам, русским, плохо... Вот и Машка эта самая тоже своего добивается, и тоже от нее баламут может выйти. Только не дам я им укрепиться, потягаемся! Сперва Машку нужно убрать, а

потом и с Монсом легко справиться будет... Я не я буду, если и на этот раз по-моему не выйдет. Берегитесь, вы! Вздумали на моей дороге встать, так или вам несдобровать, или мне».

Итак, над головой Марии Даниловны Гамильтон собиралась гроза. Однако она, упоенная своей близостью к царю, вовсе не замечала тех облачков, из которых скоро составила грозовая туча.

XXXVI НА ПЕРВЫХ СЛЕДАХ

Кочет в годы, проведенные в близости к светлейшему князю Меншикову, научился интриговать, да так, что, пожалуй, и самому ловкому придворному в этом случае не угнаться было бы за ним. У Кочета было большое знакомство с челядью придворных, и все дворцовые сплетни были известны ему. Узнать то, что поручил ему Александр Данилович, было не особенно трудно. Как раз в это время в Петербурге шли потешные торжества по случаю спуска новых кораблей, и улицы нового города были оживлены с утра и за полночь. Народ допускали всюду, и Кочет затесался в Летний сад, пробираясь к тому дому, где жили придворные фрейлины. Он вспомнил, что одна из прислужниц Марьи Даниловны, Варвара Дмитриева, когда-то отнеслась к нему снисходительно, и теперь вздумал повидать ее.

Как говорится, на ловца и зверь бежит. Едва войдя в сад, Кочет столкнулся с Варварой, опрометью бежавшей к выходу из него.

— Варварушка, сударушка, — преградил он дорогу девушке, — куда в такую рань собралась да еще спешить.

Варвара на мгновение остановилась и сейчас же узнала Кочета.

— А, мощи явленные! — воскликнула она не то шутливо, не то сердито. — Пусти!.. Не до тебя мне!..

— Это как же не до меня? Что возгордилась так? Я здесь без дела брожу, хочешь, с тобой вместе пойду? Теперь на наших улицах всякого народа много. Далеко ли идешь?

— К лекарю за снадобьем.

Кочет уже шел рядом с Варварой и решил не отставать от нее, пока та не скажет ему чего-нибудь такого, что могло его навести на более ясные следы.

— За снадобьем? — стал выпрашивать он. — Не ты ли, лапушка, заболела? Этого как будто и совсем не заметно.

— Не во мне дело, — отозвалась Варвара, — сама наша хворает.

— Это кто? Уж не Марья ли Даниловна?

— Она, она! — было ответом. — Сколько времени никуда не выходит, даже вот есть ей ношу из придворной кухни... так она разнедужилась.

Так говорила Варвара, а между тем на ее лице играла веселая улыбка.

— Чем больна-то сама? — насторожился Кочет. — Кажись, она у вас крепкая.

— Все мы до поры — до времени крепки, — ответила Варвара. — Да отстань ты! Чего ты ко мне привязался? Уж не Богу ли вздумал за Марью молиться?

— Стой, Варварка! — раздался грубый мужской голос.

Увлечшись своим разговором, Варвара и Кочет не заметили, как они почти натолкнулись на высокого, красивого молодого офицера-гвардейца, в котором Кочет сейчас же узнал одного из царских денщиков, Ивана Михайлова Орлова.

— Куда? — спросил Орлов у Варвары. — Этак только за попом да к лекарю бегают, как ты бежишь!

Варвара, увидав Орлова и узнав его, заметно смутилась. Кочет, следивший за ее лицом, видел, как затряслись ее губы и побледнели щеки.

«Ого, — начал смекать он, — тут что-то да есть. Иначе чего ради Варваре Ивана Михайловича бояться? Хорошо, что я вздумал сегодня в Летний сад забраться!»

Он, скорчив смиренную физиономию, отошел несколько в сторону, но так, что каждое слово разговора между Варварой и Орловым доносилось до его слуха.

— Не держи меня ты, батюшка Иван Михайлович, — жалобно заговорила Варвара, — разнедужилась Марья Даниловна... меня к лекарю за снадобьем послала.

Какая-то тень легла на лицо молодого денщика,

— Что-то она больно часто хворает, — подозрительно сказал он, — и подолгу как! Чего это царица только смотрит? Жалованье платит да своих ближних девок содержит, а они только и знают, что хворать. Ну, что ж поделывать, держать я тебя не буду! Отбей за меня поклон Марье Даниловне, скажи, что соскучился я по ней, повидать хотелось бы.

После этого Орлов как-то странно улыбнулся и, перестав обращать внимание на Варвару, пошел к входу в сад.

— Ну, — с облегчением вздохнула та, — пронесло грозу!

— А что, — сейчас же очутился около нее Кочет, — испугалась?

— Отстань, — махнула рукой Варвара, — и так из-за вас обоих опозднилась! — И она пустилась было вперед.

Однако в это же время Кочет схватил ее за руку и воскликнул.

— Слушай, Варвара! Кто о ком, а я по тебе соскучился. Как бы нам с тобой о разных делах поговорить?

— О каких еще там?

— Мало ли там о каких? Найдется! Как справишь ты свое дело, приходи-ка ты к почтовому двору; там гулянье будет, я сластей тебе куплю. Придешь?

— Кто знает? Может, и приду.

— Зачем кому знать? Ты сама скажи!.. Не пожалеешь, если придешь. Есть у меня тут для тебя новость одна.

— Ладно, ладно, — согласилась Варвара, — приду. Сейчас только не держи.

— Да уж иди, Бог с тобой! Вижу, что торопишься.

Они разошлись.

Кочет долго еще смотрел вслед своей собеседнице и покачивал головой. Для него было ясно, что Варвара Дмитриева знает о своей госпоже какую-то тайну, которая имеет какое-то отношение к поручению, возложенному на него его господином.

«Эким ведь словом стрекоза обмолвилась, — сказал он сам себе, — “все мы до поры до времени крепки”! “Мы” — то ведь про баб сказано, а уж кому-кому не известно, какой болезнью чаще всего бабы да девки болеют... Нет ли и тут чего-нибудь такого? Ведь про Марью-то Даниловну уже давно слух идет, что она двух ребят, не доносив, сбросила. Кто там знает? Может, и третий завелся. Ишь ведь, царский денщикок зверем смотрел, как о здоровье спрашивал».

Сам того не зная, Кочет был очень близок к истине.

XXXVII

МУКИ РЕВНИВЦА

Недолго продолжалось царское увлечение красивой фрейлиной. Много таких увлечений было у царя Петра. Кроме Анны Монс, его современники отмечают его долговременную привязанность к Матрене Балк, Авдотье Чернышевой, Анне Крамер, княгине Кантемир. Но все эти связи не имели серьезного значения: удовлетворенная страсть не обращалась в привычку, и только одна любовь к Екатерине Алексеевне, всеми средствами поддерживаемая Меншиковым, стала такою. Когда Марья Даниловна Гамильтон заметила, что царь Петр стал охладевать к ней, она с чисто женским лукавством вздумала снова разжечь чувство в царе, возбудив в его сердце ревность, и обратила внимание на денщика Петра I, Ивана Михайловича Орлова.

Это была игра с огнем, но Марья Даниловна и чувствовала, и знала, что ее молодость быстро уходит, красота исчезает, а, стало быть, нужно во что бы то ни стало пользоваться последним временем и, рискуя головой, создать себе более прочное положение.

Иван Михайлович Орлов был одним из самых молодых денщиков царя Петра. Он был взят ко двору из дворянских недорослей, очень недолго побыл за границей и еще не совсем освободился от своей деревенской наивности. Поэтому такой опытной придворной красавице, как Марья Даниловна, совсем не трудно было вскружить ему голову. Однако она не рассчитала только того, что такие молодые люди, как Орлов, как бы ни были охвачены страстью, все-таки поддаются только мимолетному впечатлению и прочного чувства у них нет и в помине. Когда Орлов услышал, что его возлюбленная больна, то целый рой подозрений охватил его, прежде чем явилось сострадание к любимой женщине. Он знал, что такое эти придворные болезни (настолько этот молодой человек был уже опытен), и прежде всего заподозрил измену.

«Ой, — думал он, — неладно что-то! Из чего-то Марья вывертывается, и я не я буду, если не дознаюсь всего».

В нем сразу вспыхнуло бешенство самца, заподозрившего, что его обманывают.

По молодости своих лет Орлов был непосредствен и легко поддавался всяческим внешним впечатлениям. Бешенство всецело охватило его, и он прежде всего стал раздумывать, как бы ему во что бы то ни стало немедленно увидаться с Гамильтон.

Если человек что-нибудь серьезно желает, то он скоро находит возможным исполнить желаемое. Орлов вспомнил, что у него в кармане лежит крошечная записка-приглашение на ассамблею, и решил воспользоваться ею, для того чтобы проникнуть в покои любимой женщины. Оказалось, что для этого ему вовсе не нужно было особых ухищрений. Его совершенно свободно допустили на ту половину, которую занимали фрейлины государыни, и только здесь он встретил первое препятствие своим намерениям. Приняла его не Марья Даниловна, а Анна Крамер — ее казначейша. Эта Крамер была пленная рижанка, попала как-то случайно крепостной к Матрене Ивановне Балк, а та в свою очередь подарила ее Марье Даниловне в то время, когда звезда этой последней высоко поднялась на придворном горизонте.

Крамер была хитрая женщина; внимание государя, хотя и совершенно случайное и вполне мимолетное, заставило ее возомнить о себе очень много, и она занималась придворными интригами гораздо более, чем ее госпожа. Увидав Орлова, она сперва вскрикнула, как бы от испуга, но потом сделала вид, что оправилась от своего смущения.

— Мне бы Марью Даниловну повидать, — довольно неуверенно сказал Иван Михайлович, — хотя бы всего только на одну малую минуту!

— Вот редкий гость! — воскликнула рижанка, не обращая внимания на просьбу гостя. — Вас совсем не видно у нас.

— Да я все царевыми делами занят, — буркнул Орлов. — Так как же, Аннушка? Допустишь ты меня до Марьи Даниловны?

— Ой-ой, не смею. Совсем больна голубушка моя, такая ее немочь одолела, что никого она видеть не может. Лежит в постели слабешенькой, хоть за попом посылай.

— Уж будто и за попом? — усмехнулся Иван Михайлович. — Что-то не слышно, чтобы она так-то больна была?

Вдруг он насторожился и вздрогнул всем телом. До его чуткого слуха донесся звук, который он менее всего мог услышать здесь. Ему показалось, что он слышит слабый плач младенца. Лицо молодого человека побледнело, на мгновение он пришел в ужас.

— Что же это такое? — растерянно пролепетал он.

— А что? — воскликнула Крамер, бледнея сама.

— Младенец пищит.

Анна Крамер принужденно рассмеялась.

— Полно тебе, господин денщик! — воскликнула она, но ее голос заметно дрожал. — Младенец? Откуда ему тут взяться? Кош-

ка там окотилась, так, может, ты прослышал, как котята пищат... А то младенец!.. Не след бы тебе такой поклеп на всех нас взводить. Вот возьму да расскажу фрейлинам, так они на тебя великому государю нажалуются, будешь тогда слышать то, чего нет!

Теперь настал черед испугаться и Орлову. Он знал, что если такая жалоба будет принесена на него, то царь не замедлит приказать произвести расследование в Тайной канцелярии, и тогда ему не миновать беспощадного розыска.

— Не знаю, Аннушка, — пробормотал он, — может быть, и показалось мне... Кто там ведает? Своих детей-то у меня еще не было, так немудрено, если и ослышался.

— Вот то-то и дело! — уже раздраженно напустилась на него Анна Крамер. — Все-то вы так; чуть что — сейчас поклеп вам возвести ничего не стоит, а потом и в кусты — дескать, знать ничего не знаю и ведать не ведаю. Эх вы, мужская братия! Уходите, господин денщик, от греха скорей; кажись, ты не шумный¹ пребываешь и понятия не потерял.

Смущенному Орлову не оставалось ничего более делать, как уйти, даже и не увидав своей возлюбленной.

«Эх, — думал он, выходя из домика фрейлины Гамильтон, — совсем не чистое тут дело. Ишь ты, как Анна засуматошилась! Но пусть пройдет малое время — и я все досконально разузнаю; а теперь у меня другое, цареве дело есть».

Он нащупал у себя в кармане сложенный вчетверо лист бумаги, крупно исписанный затейливым тогдашним почерком.

Государевы денщики того времени поступали ко двору из дворян большею частью незнатного происхождения. На их обязанности, между прочим, лежало не только дежурство при царе, но и разведка по царскому поручению о различных поступках должностных лиц; кроме того, им нередко приходилось исполнять даже обязанности палачей, в особенности в тех случаях, когда казнь не была публичною.

Иван Михайлович как раз в описываемое время исполнял одно из таких царских поручений и в его руках был следственный донос о тайном сходбище, что по тому времени считалось весьма тяжким преступлением. Он должен был передать этот донос самому царю, но случилось так, что государя он в этот день не видел, и следственное дело осталось у него в кармане.

XXXVIII СТРАШНОЕ ДЕЛО

А в спальне царицыной камер-фрейлины Марии Даниловны Гамильтон разыгрывалась в это время страшная сцена. Слух не обманул Ивана Михайловича: он действительно слышал крик новорожденного младенца. Этот ребенок был рожден в эти мгновения

¹ Пьяный

камер-фрейлиной Марьей Даниловной, стойко, без стонов перенесшей родовые муки и с ужасом услышавшей первый крик новорожденного. Она слышала также доносившийся из передних комнат густой бас Ивана Михайловича Орлова, и в ее душе вдруг вспыхнул такой ужас, что вряд ли она и сама понимала, что она такое делала. Это был животный ужас, не допускающий никаких рассуждений, а охватывающий все существо человека, заставляющий его поступать, как в бреду, даже не думая о последствиях, как бы ужасны они ни были.

Когда не на шутку встревоженная Анна Крамер, кое-как выпроводив Орлова, вбежала в спальню Гамильтон, то в ужасе увидела, что мать держит в руках младенца, зажимая ему рукою ноздри и рот. Около Марьи Даниловны была уже ее третья прислужница, Екатерина Семенова.

— Марья Даниловна! — в ужасе воскликнула Анна. — Что ты делаешь?

Она кинулась к фрейлине, стараясь поймать ее руки. Но было уже поздно: новорожденный был без дыхания.

— Марья Даниловна, Марья Даниловна! — всхлипывали в страшном испуге обе служанки Гамильтон.

— Молчите, — хрипло вырвалось из уст несчастной матери. — Так нужно было; что сделано, того не воротишь. — Она положила мертвого младенца на кресло. Ее лицо было бледно и покрыто потом, волосы растрепались, взор дико блуждал. — Возьми, Катерина, — сказала она Семеновой, — отнеси куда-нибудь и брось!

— Марья Даниловна, да разве осмелюсь я? — залепетала та. — Ведь что мне за это может быть!..

— А! — хрипло вырвалось из груди несчастной женщины. — Я вас, как нищих, всем взыскала, а вы мне в такой час послужить не можете?..

Но тут силы оставили ее. Пережитое было так ужасно и физически, и духовно, что несчастная без чувств упала на кровать.

— Ахти, горе какое, — запричитала Семенова, — что же делать-то нам теперь?!

Анна Крамер более владела собой и более отдавала себе отчет в последствиях.

— Вот что, Катерина, — торжественно сказала она, — Марья Даниловна всегда была добра к нам, так неужто мы ее теперь бросим и из страшной беды не вызволим?

— Да что же делать-то, что делать-то? — допрашивала обезумевшая от страха женщина.

— Прежде всего нужно убрать младенца, — покосилась Анна на маленький трупик.

— А застенок-то?

— Брось о нем думать! Если дознаются, то все равно виски¹ и кнута нам не миновать. Ведь знали мы, что Марья Даниловна в

¹ Дыбы

положении, знали и не донесли о том, куда нужно, так вот и рассуди сама, что нам за это быть должно. А тут, быть может, и пронесет грозу.

Катерина молчала. Она соображала, что Анна, может быть, и права.

А Крамер продолжала:

— Возьми-ка ты кулечек, в коем с кухни сухую провизию носим, да положи в него мертвенького и вынеси его в свое жилье (Семенова, как замужняя, жила отдельно), а оттуда уже сама знаешь, куда бросить: и Фонтанная, и Нева не за горами.

— А Варвара-то? — вспомнила Катерина.

— А что она? Разве она здесь была, разве она видела что-либо? Нет, нет! Ну, так ей ничего и неизвестно. Делай, как я говорю, а я около Марьи Даниловны похожу; нельзя же ее без помощи оставить... Несчастливая страдальца! — тихо прошептала она, подойдя к Гамильтон, все еще находившейся без сознания, и чуть слышно прикоснулась губами ко лбу Марьи Даниловны.

Та слегка застонала. Анна в некотором испуге отпрянула от нее, опасаясь, что этот стон будет услышан за стенами, и оглянулась. Семеновой уже в покое не было, не было также и трупика несчастного младенца.

— Аннушка, Аннушка, — услышала Крамер болезненный шепот Марьи Даниловны. — Поди ко мне! Не бросайте вы меня!.. Ох тяжело мне, тяжело... Ведь своими руками, своими!.. Что мне будет на том свете?

Анна Крамер была лютеранка и к «тому свету» относилась сравнительно равнодушно.

— Что там-то будет — этого мы не знаем, — тихо проговорила она, — теперь нам об этом свете заботиться нужно. Ни я, ни Катерина не выдадим тебя, а Варвара ничего не знает.

— Спасибо, спасибо вам! — тихо пролепетала несчастная. — Ничего бы не было, если бы Ваня не пришел... с испуга я себя не помнила.

— Так что же, Марья Даниловна, — совсем к ее уху склонилась Анна Крамер, — да разве денщик Орлов выдал бы тебя? Ведь это — его дитя-то было...

— Нет, нет, не Ваня отец, — раздался тихий шепот, и Анна скорее угадала, чем услышала то имя, которое произнесла Марья Даниловна Гамильтон.

Напряжение истощило последние силы несчастной женщины, она снова лишилась сознания.

Анна смотрела на нее, и слезы струились по ее щекам.

— Бедные мы все, несчастные, — шептала она, — только мы, Марья Даниловна, всех-то несчастнее!

На другой день с утра на «царицыном верху», то есть в помещении фрейлин, а отсюда с быстротою молнии и по всей придворной челяди, пронеслась весть о том, что в Летнем саду у фонтана нашли мертвого подкидыша.

Такие случаи были нередки. Растрелены были нравы в допетровской Руси. Несчастные матери бросали прижитых вне брака детей в таком количестве, что заботы о них должно было принять на себя духовенство. Еще патриарх Иов — может быть, по настоянию царевны-правительницы Софьи — устроил нечто подобное воспитательным домам. Царь Петр относился довольно снисходительно к такого рода преступлениям, но в конце концов был вынужден принять против них суровейшие меры. Тут более всего страдали не виновные родители, а ни в чем не повинные дети. Эти несчастные, если выживали, навсегда, на всю жизнь лишались всех гражданских прав; мало того, их, ни в чем не повинных, законно не считали честными людьми. Но вместе с тем для этих «засорных людей» царь Петр после смерти своей любимой сестры Натальи основал большой госпиталь, в котором старухи должны были принимать младенцев, отнюдь не спрашивая имени матери...

Своей суровостью законодатель предполагал заставить людей бороться животные страсти, так как исходил из соображений, что человеку дети и их будущая участь должны быть дороже всего. По убеждению законодателя, люди, зная что должно постигнуть их детей, должны были бы воздерживаться от страстей и не жить «блудно». Но, исходя из такого убеждения, законодатель совершенно упустил из вида, что человек — животное вообще приспособляющееся ко всяким условиям его быта. Стремление к «непотребному житию» и «засорному деторождению» не было подавлено суровым законом; но грешные матери, зная, что ждет их детей в будущей их жизни, предпочитали не оставлять их живыми и убивали чаще всего тотчас же после появления на свет. Таким образом, преступление Марии Гамильтон вовсе не было исключительным, хотя и существовал закон, по которому виновные в детоубийстве подлежали смертной казни.

Вероятно, находка трупа в царском Летнем саду так и прошла бы незамеченной; но, видимо, судьба заранее предопределила несчастной Гамильтон ее участь.

XXXIX АССАМБЛЕЯ

На другой день, перед сумерками, к почтовому двору у Невской пристани стали съезжаться и сходиться разного звания особы «без чинов» на царскую ассамблею.

Царь охотно устраивал такие праздники — собственно говоря, даже не праздники, а просто вечеринки, обыкновенно заканчивавшиеся гомерическими попойками. Личной жизни у Петра было немного, и на таких ассамблеях он несколько позабывал и придворных дураков, и доносчиков, и палачей.

Почтовый двор был его особенно излюбленным местом, так как помещение здесь было довольно просторное. Собственно говоря, это вовсе не была почтовая станция, а маленький царский дворец, хотя

бы уже потому, что государь любил бывать и отдыхать здесь. Почтовый двор был поставлен приблизительно на месте нынешнего Мраморного дворца; около него были обширные бассейны. В одну сторону от него раскидывалась начинавшая застраиваться Луговая, ныне Милльонная, улица, доходившая до дома Апраксина, на месте которого ныне находится Зимний дворец, а с другой стороны раскидывался Царицын луг и за ним царский Летний сад. Из окон почтового двора открывался чудный вид на острова правого берега; влево был виден Лосиный остров с Васильевской батареей, на стрелке прямо лежал Березовый остров (ныне Петербургская сторона) с нынешней игрушечной, но в то время могущественной крепостью; вправо видны были еще не застроенные берега Невки, с кавалерийским лагерем на том месте, где ныне находится военно-клинический госпиталь. Все это было покрыто густой зеленью; из-за нее почти не было видно небольших одноэтажных домиков, но зато на ее фоне рельефно выделялись золоченые главы Троицкого собора.

Царь Петр, выбрав минуту отдыха, любил сидеть в прохладных комнатах почтового двора, покуривая крепкий кнастер, и любоваться открывавшимся из окон видом. Отсюда он видел большую пристань, от которой была переправа на противоположный берег, здесь же скоплялись и все приезжие, иногда даже и не подозревавшие, что сам царь смотрит на них из окон. В этом-то доме, предпочтительно перед Летним дворцом, и была устроена царская ассамблея.

Государь, занятый какими-то неотложными делами (он в ту пору только что вернулся из Ливавы), запоздал и прибыл одним из последних. Как всегда было принято, собравшиеся приветствовали его так же, как приветствовали бы самого заурядного гостя.

Остановившись на мгновение у порога, царь окинул орлиным взором открывавшуюся перед ним картину веселья и, видимо, остался доволен. Все вокруг него было именно так, как он желал. В невысоких комнатах носились облака едкого табачного дыма и чувствовался запах хмеля; несколько музыкантов играли на рогах что-то, считавшееся в то время веселым; несколько пар придворных щеголей и щеголих неуклюже кружились в модном тогда танце, издали доносились возбужденные голоса. Во внутренних комнатах собрались игроки в кости, в шахматы и нередко в случае проигрыша, не стесняясь, выражали очень крепкими словами свое неудовольствие. Оставшись доволен, царь быстро прошел через приемный зал; но, когда он вступил в следующую комнату, то как будто легкая тень на мгновение омрачила его лицо. Он увидел свою супругу, «сердешненького друга» Екатерину Алексеевну, игравшую в шахматы с Виллимом Монсом.

Екатерина Алексеевна сейчас же заметила супруга.

— Иди-ка ты сюда, батюшка, — воскликнула она, подзывая к себе Петра, — помоги ты мне, а то вот обыгрывает меня злодей наш придворный, — кивнула она на Монса.

Петр скользнул взглядом по красивому камергеру, потом взглянул на шахматную доску и, порывисто взяв одну из фигур, сделал ход.

— Ну вот, государь, — весело воскликнул Монс, — ты меня совсем погубить хочешь.

— А что же, жалеть я, что ли, буду вашего брата? — грубо возразил ему государь. — В деле не жалею, а в игре и подавно.

В тоне его голоса было что-то грозное.

Екатерина Алексеевна с тревогой взглянула на него, но лицо царя не предвещало близкой бури, и она успокоилась.

— Ну, ходи, что ли! — заговорил Петр. — За Катеринушку я доиграю.

— Ой государь, — опять воскликнул Виллим Иванович, — мне ли с тобой тягаться?

— Знаю, знаю, что ты — бабий кавалер, — довольно весело засмеялся его венценосный партнер. — А правду ли говорят, — быстро переставляя фигуры, обратился он к супруге, — что у нас, в Летнем, опять младенчика убитого нашли?

— Нашли, батюшка, нашли, — отозвалась Екатерина Алексеевна. — Так блудливы стали девки, что и ума не приложу, как их от этого отводить.

— А не дознано, чей младенец? — опять спросил Петр.

— Где ж, государь, так скоро дознаешь? — раздался около царя голос Александра Даниловича Меншикова. — Те, кто на такое дело идут, следов не оставляют.

XL

КОВАРНАЯ ПРОСЬБА

Петр слегка нахмурился.

— Все-таки сие есть преступление закона, — сказал он, — и виновный должен понести заслуженное наказание. Ты, Данилыч, побудь тут, мне тебе надобно слово молвить; вот доиграю, так пойдем в сторонку и поговорим. — Мастерским ходом он dokonчил партию и поднялся со скамейки, говоря супруге и Монсу: — Ну, ежели хотите, играйте еще, а я вот тут с Данилычем поговорю.

Царь положил руку на плечо Меншикова и не повел, а почти потащил его в один из соседних покоев, где было совсем мало народа.

— Ты мне сказать чего не имеешь ли? — обратился он к Александру Даниловичу, тяжело опускаясь на скамейку. — Знаю я, что просто-запросто ты ко мне сунуться не осмелился бы.

— Нет, государь, что же я беспокоить тебя буду докладами здесь, когда ты веселиться пожаловал? Небось тебе ими и твоя кнутобойная троица достаточно надоела... Так вот, пустячок маленький есть у меня, до меня касающийся; да и это — не дело, а просьбишка к тебе, и не как к царю, а как к частной персоне.

— Что еще такое? — спросил Петр, раскуривая трубку.

— Да вот что: попристрасти ты малость своего денщика Ваньку Орлова, как отец, пристрасти! Пьянствует он да над чужими людьми озорует в пьяном виде.

— Уж не тебя ли, Алексашка, он поколотил? — улыбнулся царь.

— Ну, меня-то поколотить руки коротки, — смело ответил Меншиков, — даже и твои старые денщики не скоро дотянутся, а о молодых и говорить нечего. Нет, просто так, жалею парня. Обопьется он еще или в шумном виде взболтнет несурязицу какую, а теперь ведь такой народ пошел, что по всякому пустяку «слово и дело» кричит.

— Знаю я твою жалость! — отозвался Петр. — Как будто сытому волку баранов-то жалеть не приходится. В чем дело-то у вас?

— Вот ты всегда, государь, так! Ведь я не худое говорю и не со злом к тебе пришел! А что вышло? Так, тоже пустое! Есть у меня доверенный приживальщик: холоп — не холоп, а человек верный по службе...

— Знаю его, видал. С ним, что ли, Ванька набуянил?

— Его, государь, Орлов побил. Сошлись они в остерии¹. Ванюшка шумен был и надерзил... Только не к тому речь веду, чтобы наказывать парня... Бог с ним! А только ежели ты ему хороший отеческий совет дашь, так это ему впрок пойдет.

Во все время, пока Меншиков говорил, царь смотрел на него испытующим взглядом, как будто старался проникнуть в его сокровенные мысли. Однако лицо фаворита было совсем спокойно и его взгляд нисколько не отражал никакой задней думы, так что царь на этот раз поверил его искренности.

— Ну ладно, поговорю с Ванькой. Кстати, — хватился он за карман, — тут его один донос лежит. Ежели по ходу дела что замечу, так и дубинкой не замедлю наградить, а теперь вот какое у меня до тебя, Алексашка, дело.

— Слушаю, государь, приказывай!

— Суть не в приказе, а в том, чтобы правду знать. Знаешь ведь, поди, какое это отродье — все Монсовы?..

— Еще бы мне не знать! — усмехнулся Александр Данилович. — Недаром же я около тебя с дней младости нахожусь.

— Ну, так вот что: дошло до моего ведома, что и Вилька Монсов, и сестра его Балкша больно немилосердно дерут, — так лихоимствуют, что я боюсь, как бы мне жалобы не пришлось разбирать.

— Ну что ж тут такого? — равнодушно проговорил Меншиков. — Все мы — люди, все — человеки, все последнюю шкуру готовы содрать, если случай подвернется. Ты только один у нас не лихоимствуешь, да и потому, что лихоимствовать тебе нечего: у своего добра стоишь... А из нас этим делом все грешны.

— Знаю, — проговорил царь. — Вот как только ты приходишь ко мне да заводишь речь, я сейчас и думаю: «А сколько же Алексашка за это дело содрал?» У Монса же так выходит: драть он дерет, а просить меня ни о чем не просит. Народ же к нему так валом и валит, и все с большими гостинцами; и к Балкше тоже. Так за что же им дают? Ведь даром кланяться не будут. Вот я и хочу узнать, что за причина, что для своих приносителей Монсов делает... Чего это ты глазами забле-

¹ Трактир.

стел? — вдруг подозрительно уставился Петр на Меншикова, заметив, что в глазах последнего заблестели какие-то огоньки.

— Не знаю, — спокойно отозвался Александр Данилович, — может быть, слеза прошибла... Только ты меня, батюшка, от такого дела уволь.

— Это отчего?

— Да оттого, что, если я возьмусь за него, все подумают — а ты первым будешь из всех-то, — что я Монсову завидую, а посему и топлю его. Вот и выйдет неладное, ты опять разгневись, и мне же беда будет. Повели об этом кому-нибудь другому, а своего сердца царского лучше всего не беспокой. Поверь, батюшка, если за Монсовым что-либо неладное водится, так придет пора — и все само раскроется; теперь же дело это заводить не стоит, только себя напрасно растревожишь. Пойдем-ка лучше, батюшка, да посмотрим, как твои красавицы-фрейлины пляшут; ведь кой-то вечер ты себе для веселости избрал, а сам дела придумываешь.

ХЛІ

ТЯЖЕЛОЕ ИСПЫТАНИЕ

Петр ни слова не сказал в ответ своему фавориту и, поднявшись с места, пошел вслед за ним к дверям зала, где были танцы.

Меншиков, окинув рысьим взглядом зал с порога, на мгновение остановил взор на сидевшей у стены Марье Даниловне Гамильтон и, приподымаясь на цыпочках, чтобы быть поближе к уху царя, тихо спросил:

— Что же это Машенька Гамильтова сидит и не танцует?

Царь тоже взглянул на фрейлину. Та была чрезвычайно бледна и, видимо, сидела через силу.

— Сказывали мне, что больна она, — ответил он Меншикову.

— А жаль! — проговорил тот. — Ведь она у нас — почитай, лучшая танцовка. Ох уж это бабье!.. Всякие-то у них болести водятся. Не узнали еще, чей ребеночек у фонтана подобран?

Петр сверкнул глазами. Какое-то страшное подозрение вдруг запало в его душу, и, повинувшись внезапному порыву, он крепко сжал плечо своего бессменного фаворита.

— Ты в самом деле, Алексашка, сожалеешь, что Машенька не танцует? — тихо сказал он ему на ухо.

— Еще бы, государь, — ответил тот, — ведь сказываю, что лучшей танцовкой она почитается.

— Так вот вижу я, что кавалера у нее не находится; так поди, потанцуй с ней.

— Я, государь? — воскликнул Александр Данилович.

— Да, ты! А то кто же? — ответил ему Петр, и его голос прозвучал так глухо, что Меншиков не осмелился послушаться этого приказанья, а тотчас же, расталкивая попадавших к нему навстречу, отправился через зал к сидевшей в уголке фрейлине.

Марья Даниловна сидела в углу и действительно перемогалась. Ее лицо было бледно, без кровинки, глаза впали, нос заострился.

— Машенька, — церемонно кланяясь ей, но тем не менее с некоторым чувством в голосе, сказал Меншиков, — что ты такая? Ведь в гроб кладут краше!

— Ой Александр Данилович, — ответила фрейлина, — не может же что-то мне, не первый день уже я в недуге.

— То-то я и вижу. А все-таки пойдем-ка, потанцуем.

Марья Даниловна вскинула на него изумленный взор.

— Говорю, не может же мне, — чуть слышно ответила она.

— Нелзя, Машенька, — так же тихо возразил ей фаворит. — Превозмоги себя, пойдем!.. Ведь это не я выдумал... о н приказывает.

— Кто? — испугалась фрейлина.

— Царь! Он меня к тебе послал. Пойдем... Как-нибудь... нелзя отказаться... хуже может выйти. Ты прямо против него сидишь; взгляни на него, наверное, на нас смотрит.

Гамильтон подняла голову и взглянула перед собой. Петр стоял в дверях и в упор смотрел на нее. Она поняла, что на этот раз Меншиков говорит полную правду и что царь в самом деле желает, чтобы она танцевала, а потому, преодолевая себя, встала и, подавая Александру Даниловичу руку, тихо шепнула:

— Пойдем, но не губи ты меня, Александр Данилович! Никогда я тебе зла не желала.

— Полно, полно, успокойся! — ответил тот. — Какое там зло? Мне самому тебя жаль.

Они вступили в круг танцующих.

Раздались далеко не стройные звуки музыки, начались танцы. Марья Даниловна действительно прекрасно владела собою и на этом вечере, последнем в своей жизни, танцевала лучше, чем кто-либо из ее подруг.

— Вот, ваше царское величество, — произнес Меншиков, подводя свою даму к Петру, — навеселились мы вдоволь, так навеселились, что просто до упаду!

— Видел-видел, — ответил Петр. — Ты, Марья, отличилась! Не напрасно про тебя говорят, что ты у нас — первая танцорка; плывешь, как пава. Хвалю и благодарю.

Он слегка кивнул фрейлине, давая этим знать, что дальше разговаривать с нею не желает, отвернулся в сторону. Меншиков церемонно, по-придворному, поклонился ему и повел свою даму к ее месту, говоря:

— Молодец, Марьюшка, молодец! Выдержала себя... Бедная ты, голубушка, жаль мне тебя! Только ты не виновать меня, не по своей воле тебя я мучил... Но что это, что с тобой?

Он увидел, что Марья Даниловна приостановилась на середине танцевального зала и схватилась рукой за грудь, как будто чувствуя недостаток воздуха. Ее лицо совсем побледнело и стало мелочным, веки вдруг тяжело сомкнулись и, внезапно лишившись чувств, она упала бы, если бы Меншиков не успел подхватить ее.

Произошло вполне понятное смятение; всякое «веселье» разом оборвалось, танцующие толпились около бесчувственной фрейлины. И вдруг, заглушая говор, раздался громкий смех, походивший не на смех человека, а на какие-то отчаянные истерические выкрики. Это смеялся Петр, глядя на бесчувственную фрейлину своего двора...

— Вот так печальный случай для нашего веселья! — воскликнул он. — И впрямь Марья больна. Катеринушка, матка, ты бы свою девку домой отправила. Где здоровые веселиться собрались, там больным не место. Пусть отлеживается... Ведь бабье живуче! Ничего ей не сделается... А чтобы нашей фрейлине поправиться скорее, так мы за ее здоровье выпьем. Эй, кто там есть, холопы! Ладьте кубки и чаши! Объявляю вечернее всепьянейшее действо.

Все уже было приготовлено для попойки во внутренних покоях почтового двора. Через несколько минут Петр, подымая огромную по вместимости чашу, громко возгласил:

— Веселие Руси — пить, нельзя без того быть. Это так еще наш незабвенный предок говорил, и не нам, потомкам, против его завета идти! — И царь приставил кубок к губам.

В это же самое время выступивший Монс, желая избавиться от лишней чары, ударил по струнам мандолины и звучно запел:

Пей, пей чару до конца,
Пусть ни капельки винца
Не останется.
Пили предки наши встарь,
И теперь пьет русский царь,
Пьет и не туманится.
Пей же с ним и весь народ
Без устанки круглый год,
Будут пусть все шумными,
И пусть громко в шумстве том
Похваляются царем,
От вина став умными.
Пусть все помнят на Руси,
Что, кому ни подноси,
Всякий выпьет хмельного
И, весельем возгоря,
Будет славить вновь царя.

Впрочем, на этот раз вечерняя попойка как-то не особенно клеилась. Царь, явившийся на ассамблею веселым, вдруг закручинился. Он пил и не хмелел, и его громкие оклики то и дело раздавались, покрывая голоса. Для всех, кто более или менее близко знал Петра, ясно было, что он не в духе, но никто не мог определить, какая причина так разбередила его.

Царица Екатерина, предвидя возможность грозы, а с нею и великого «шумства», то есть пьянства, под первым удобным предлогом уехала во дворец, а царь еще оставался. Но затем и он ушел, однако слишком рано для подобного рода вечеринок.

Возвратившись в свой летний дом, Петр отправился не на половину супруги, а в свою комнату, и первый, кто попался ему на глаза, был его денщик Иван Михайлович Орлов.

XLII

НАЛЕТЕВШАЯ БУРЯ

Орлов был на дежурстве при царе в эту ночь. Он не ждал так рано своего господина и распорядился своим временем тоже по-своему. Дежурные и другие свободные денщики устроили для себя пирушку, и появление царя прервало ее. Товарищи Орлова разбежались, успев, однако, сообщить ему, где они намерены закончить свое веселье. Петр, возвратившись, при первом же взгляде заметил, что Орлов хмелен, но не сказал ни слова. Он махнул ему рукой и начал с его помощью раздеваться. Окончив раздевание, государь отпустил денщика, но в постель не лег, а достал из кармана своего камзола поданное Орловым донесение и, сев к столу, довольно внимательно прочел его.

Донесение не показалось ему важным. Орлов сообщал о каком-то сборище «заговорщиков», а так как таких донесении в руках Петра была масса, то он оставил резолюцию на него до утра и, сложив бумагу вчетверо, опустил на прежнее место в карман камзола. Карман между тем от ветхости подкладки подпоролся, и бумага упала ниже его между сукном и подкладкой; однако Петр не заметил этого. Он аккуратно развесил камзол на спинку стула у кровати, лег и скоро захрапел, заснув богатырским сном.

Услыхав храпение государя, Орлов, находившийся в соседнем дежурном покое, не преминул воспользоваться этим. Как ни грозен и ни взыскателен был государь, а его денщики были народ довольно распушенный, и Петр нередко должен был принимать крутые меры, чтобы предупредить их исчезновение с дежурства. Не говоря уже о том, что он не раз порядочно-таки охаживал виновных дубинкой, он даже завел в дежурных покоях шкафы, в которых на ночь запирали дежурных денщиков. Но и это не помогало: денщики ухитрялись исчезать из-под замка.

Иван Орлов был не хуже и не лучше других, притом же он был молод, а стало быть, и способен на всякие проделки. Едва услышав, что царь захрапел, и зная по опыту, что он не проснется до следующего утра, Орлов преспокойно ускользнул из дежурного покоя и отправился к покинувшим его товарищам. Там он и прогулял с ними до утра.

Между тем государь проснулся несколько раньше обыкновенного. Очевидно, он находился во власти какой-то идеи; выпитое вино совсем не подействовало на него. Его голова была свежа, соображение работало, и первой его мыслью было прочесть еще раз поданный Орловым донос. Он протянул руку к стулу у кровати и сунул ее в карман камзола. Доноса там не оказалось.

«Кто-то здесь был, — промелькнула в голове у государя мысль, — донесение выкрадено».

По всем покоям государевой половины пронесся зычный, гневный окрик царя. Разом, несмотря на раннюю пору, переполюшился весь Летний дворец.

— Денщика Ваньку ко мне! — кричал Петр. — Он раздевал меня. Увы, Орлова нигде не оказывалось.

Государь гневался все более и более. Он приказал немедленно разыскать гуляку-денщика, и тут ему вспомнились жалобы Меншикова, о которых он совсем было позабыл.

«Пристрастить, пристрастить негодника надо, — все более и более входя в гнев, думал царь. — От рук отбивается народ, даже царские покои ни во что не ставят. Последние времена пришли, ежели так!»

Орлова, конечно, разыскивали довольно скоро. Он был сильно нетрезв, и когда ему рассказали, что царь в страшном гневе, то, конечно, пришел в ужас. Но причину царского гнева сообщить ему никто не мог: ведь о затерявшейся бумаге знал только государь. Поэтому, пока Орлов вместе с провожатыми добирался до дворца, шли всякие догадки о причинах царского гнева. Между прочим, Ивану Михайловичу рассказали о том, что произошло накануне на ассамблее, и как царь заставил Марью Даниловну ни с того ни с сего танцевать с Меншиковым.

«О Господи, — промелькнула ужасная мысль в нетрезвом мозгу царского денщика, хорошо знавшего о внимании, которое оказал в свое время красавице-фрейлине грозный государь. — Видно, все узнал его величество, узнал и оскорбился, что я по его стопам пойти осмелился. Быть мне, как Степке Глебову, на колу! Ой да что же мне делать-то? Как мне свою голову злосчастную спасти?»

Орлов трясся, как в лихорадке. Перед ним была страшная опасность, и не находилось выхода. Разные мысли рождались в его мозгу, но ни одна из них не казалась ему удачной. Вдруг словно что-то осенило его.

«Государь правду любит, — пронеслось в его мозгу, — а если так, то нужно мне припасть к его стопам и во всем содеянном повиниться. Что ему Марья? Он уже больше не любит ее... Марья для него — все равно что истоптанный лапоть. Припаду к августейшим стопам и, не дожидаясь опроса, сам во всем повинюсь».

Когда он предстал перед грозным царем, то сразу же понял, что буря разыгралась вовсю. Петра так всего и дергало, его глаза сверкали, на искривленных конвульсиями губах была видна пена.

— Негодник, такой-сякой! — закричал на дрожащего денщика государь. — Как ты только осмелиться мог помыслить на такое дело? Что я для вас здесь не царь, не помазанник Божий? Ты, сквернавец, молокосос, со мной себя наравне поставить осмелился?

Выкрикивая все это, Петр имел в виду якобы похищенный у него из кармана донос; перетрусивший же до последней степени Орлов понимал все эти царские выкрики по-своему.

— Батюшка, царь все милостивейший! — кинулся он к ногам Петра. — Солнце одно на Божьем свете, и ты у нас один отец на земле. Смилосердуйся, не вели казнить!.. Люблю я Марьюшку.

— Что? — так и отступил в изумлении государь. — Любишь Марьюшку? Какую?

— Гамильтову, Марью Даниловну. И она ко мне ласкова всегда была. Думали мы оба, что позабыл ты о ней.

Он лепетал свои фразы, стараясь в то же время схватить царя за ноги, и не видел, какая страшная мука отразилась в эти мгновения на лице Петра, совершенно сменив недавно яростный гнев. Петр из этого совершенно неожиданного признания ясно понял, что Орлов не крал своего доноса и даже не имеет ни малейшего понятия о случившемся. Нет, другое ударило тут по сердцу могучего человека. Он снова почувствовал то же самое, что пережил когда-то, просматривая бумаги утонувшего Кенигсека. Но тогда Петр еще был молод, в его жилах ключом кипела кровь, больше чувствовались уколы самолюбия, а теперь годы воздействовали на гиганта, и уже не гнев, а невыносимая скорбь овладела им. Слегка оттолкнув Орлова, он подошел к своей кровати, взял камзол, еще раз опустил руку в карман и тут только убедился, что бумага цела и находится за подкладкою. Это успокоило его. Он оставил камзол и взглянул на все еще стоявшего на коленях Орлова.

— Давно ли ты любишь ее? — спросил он, сдерживая гнев.

Орлов почувствовал новые нотки в голосе царя и понял, что Петр уже не так гневен, как при его появлении. Однако, не соображая того, что происходит, он подумал, что царь даже доволен его любовной связью с фрейлиной, а стало быть, и говорить ему нужно именно в этом направлении.

«Быть может, его величество желает честно разделиться с Марьей, — мелькали у Ивана Михайловича мысли, — и благословит нас на супружество. Надо непременно уверить его в том, что у нас любовь не пустяшная, а истинная».

— Ну что же, спрашиваю я, — возвысил Петр голос, — давно ли любовь промеж вас?

— Ваше царское величество, — завопил денщик, — не будь на нас гневен, помилосердуй! Третий год уже любимся.

— Что? — проговорил тот. — Третий год?

— Так точно, ваше величество. Как отцу говорю.

Он осмелился поднять голову и взглянуть на государя.

Теперь лицо Петра было почти темное. Страшная обида всколыхнулась в его сердце; в нем заговорило самолюбие обманутого мужчины. Однако он сдерживался. Новые мысли зароились в его голове.

— Так, — воскликнул он, — так! Что же, и беременна она была?

Опять проклятое соображение о том, что непременно нужно уверить государя в долгой любовной связи между ним и фрейлиной, заставило Ивана Орлова ответить на этот вопрос утвердительно.

— Стало быть, она и рожала?

— Все мертвых, царь-батюшка, мертвых!

— А! — вырвался стон из груди Петра. — Алексашка, Алексашка, — застонал он, — вот куда твои переговоры вели! — вспомнил он о намеках Меншикова. — Демон ты мой злой! Злодей

вековечный! Раздавил бы я тебя, скверную гадину, если бы тебя кем-либо заменить смог. — И вдруг, словно повинувшись одной какой-то мысли, Петр так застучал кулаком по столу, что разом вбежали явившиеся на дневальство денщики и дежурившие вблизи царской опочивальни прислужники. — Взять его, взять, негодника, — указывал царь на Орлова, — запереть в крепость и держать, пока я о нем не повелю!

— Государь, помилосердуй! — завопил было Орлов.

Но его вопль тотчас же прервался: его схватили и выволокли из опочивальни.

Вне себя от страшного гнева бегал из угла в угол Петр, и гнев так и клекотал в его душе.

— Эй, кто там, — снова крикнул он. — Привесть сюда с царицына верха девку Машку Гамильтову!.. Нет, не нужно!.. Видеть мерзкую не желаю... не желаю. Нарядить уголовный суд над нею... взять ее за приставы! Сам я на суде свидетельствовать стану. Невинно пролитая кровь младенческая вопиет о мщении!.. Не оставляю я убийства неповинного существа не наказанным.

Голос царя, перешедший уже в сплошной вопль, то и дело срывался. Лицо стало совсем черное, пена клубилась у рта. В бессилии он опустился на скамью, душевная мука надорвала богатырские силы, хриплые звуки, только издали походившие на истерический хохот, рвались из его груди.

Разом было потревожено все население дворца. Прибежала разбуженная царица. Она было кинулась к супругу, но тот отшвырнул ее прочь, дико выкрикивая:

— Не подходи, не скверни! И ты такая же, как и все!..

Тут он не выдержал, сознание оставило его.

XLIII

ВО ИМЯ «СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Гамильтон была взята не сразу. Когда прошел гнев и вернулась способность соображать, Петр ощутил жалость к несчастной женщине, которая была к нему близка, и решил было ограничиться домашним судом. Он уже отдал приказание двум дворцовым гренадерам выдрать батогами Марью Даниловну Гамильтон, и на этом, вероятно, покончилось бы все это дело; но вдруг все разом перевернулось — вмешался опять Александр Данилович Меншиков.

Царский приказ еще не был исполнен, когда он явился прямо к Петру, делая вид будто решительно ничего не знает о происшедшем в злополучное утро. Даже не взглянул на своего бессменного фаворита Петр Алексеевич. Сразу же сообразил он, что неспроста явился к нему этот спутник всей его жизни. Но Меншиков прекрасно изучил царя и знал, что наглость лучше всего действует на него.

— Прибыл к вашему величеству со срочным докладом, — заговорил он, — благоволите выслушать меня неотложно...

— Что еще там у тебя, Алексашка? — взглянул на него налитыми кровью глазами Петр. — Опять ты душу мою бередить пришел?

— Ничего, государь, не поделаешь! — твердо ответил Меншиков. — По своей обязанности ближнего к вам человека не осмеливаюсь я замалчивать перед вами правду, так как ведомо мне, что вы, всемилостивейший государь, горой всегда стоите за нее.

— Говори же, говори скорей! — закричал Петр. — Каждое твое мерзкое слово, ядовитое, как жало змеи, впивается мне в сердце. Что у тебя еще такое?

— Неладные слухи, государь, по городу пошли. Боюсь, что много людей из-за них придется вам же нещадно наказывать. Тот задушенный младенец, которого нашли у фонтана, был обернут в дворцовое утиральное полотенце с вашей царской короной...

— Ну, знаю. Что ж из того? — холодно ответил царь.

Но Меншиков не смутился.

— А то, государь, — продолжал он свой доклад, — слух прошел такой: будто сей несчастный младенец, своей родимой матерью убитый, — не простой, а высочайшей во всем нашем государстве крови.

Страшный женский крик донесся из внутренних покоев. Петр сейчас же узнал голос своей супруги и, забывая о Меншикове, кинулся туда, откуда доносился шум. В покоях царицы он увидел сцену, которая в другое время — вероятнее всего — только насмешила бы его, а именно: его «друг сердешненькой — матка Катери-нушка», охватив своей мощной дланью несчастную Гамильтон за волосы, другой рукой осыпала ее градом пощечин.

— Говори, негодница, с кем ты путалась? — кричала рассвирепевшая царица, даже не заметившая появления супруга. — От кого у тебя щенок был, которого ты задушила? Не отстану, пока не скажешь.

Петр, должно быть, почувствовал себя не совсем ловко. Он знал, чем в яростном гневе становилась его супруга, эта женщина-атлет¹. Но, конечно, не это смутило его. Он ожидал, что скажет Мария Гамильтон, несчастная женщина, не осмелившаяся даже спрятать лицо от града тяжелых ударов. Но она, эта жертва многих бурных страстей, увидела, кто смотрит на нее с порога царицыной комнаты, и вдруг словно просияла вся.

— Орлова я любила, — внятно и отчетливо проговорила она, глядя на смущенного царя, — им повинна я...

— Им? Врешь! — не унималась царица. — Жилы из тебя, подлой, вымотаю, а всю правду узнаю. Я тебе покажу, как на чужих мужей глаза пялить! Ишь ты какая!.. Орлов Ванька? Врешь... Куда поболее того себе кус захватила...

¹ Царица Екатерина Алексеевна одной рукой поднимала за конец фельдмаршальский жезл выше головы и держала его на вытянутой руке, что удавалось далеко не всем даже очень сильным мужчинам

— Катерина, оставь! — очутился около нее супруг. — Оставь, я тебе говорю! — повелительно закричал он, схватывая супругу за плечо. — Суд я учинил над преступной матерью и никто, кроме судей, даже сам я, допрашивать ее не смеет.

Появление супруга было неожиданностью для Екатерины Алексеевны. Она отпустила несчастную фрейлину и, горько зарывав, приникла к Петру.

— Батюшка, Петр Алексеевич! — заголосила она — Ведь подумай только — она наш честный дом опаскудила. Мало того, что с твоими денщиками шашни она вела, так еще всем рассказывала, будто я воск от угрей ем. Сам-то ты, поди, знаешь, нешто я такая уж прыщавая, чтобы воск есть? А потом мало того, эта девка обокрала меня, червонцы и вещи крада... разве это — не обида? А ты еще за нее заступаться вздумал!

— Молчи, Катерина, — последовал ответ. — Судьи до всего дознаются, и все ее вины по доказательстве с нее будут взысканы. Возьмите же ее! — подтвердил царь свой утренний приказ. — И чтобы о розыске ею правды¹ мне немедленно докладываемо было.

Тотчас же к Марье Даниловне бросились придворные слуги, а за дверьми покоя уже побрякивали кованными прикладами гренадеры. Однако виновная фрейлина жестом руки отстранила от себя челядь и сама пошла к выходу. На пороге она остановилась и умоляюще взглянула на государя. Тот же, увидав этот взгляд на себе, потупился и отвернулся.

XLIV

НЕУДАЧНОЕ ПОКУШЕНИЕ

Невская столица в этот год много веселилась. Но, несмотря на эти веселости, несмотря на всю внешнюю беззаботность столичной жизни, Тайная канцелярия и ее застенки работали не переставая. Дважды водили на кровавый розыск несчастную фрейлину Гамильтон, подвешивали ее на дыбу, шпарили горячими вениками, били кнутами, доискиваясь, кто был отцом ее последнего ребенка. Но она упорно молчала, и никакие муки не в состоянии были вырвать у нее то признание, которого усердно добивались ее мучители. 27 ноября 1718 года состоялся приговор: казнить девку Марью Гамонтову² смертью, но за отсутствием государя в Петербурге исполнение приговора было отложено.

Шли дни, а Мария Гамильтон все еще оставалась жива, и это наконец не на шутку начало беспокоить Меншикова. Знал он о совершенно новом обстоятельстве, до некоторой степени обращавшем все его планы в ничто: вдруг ни с того ни с сего у несчастной

¹ Т. е. пыткой добиться показаний. Во всех указах в этом случае говорится: «искать правды через пытку».

² Так на русский лад была переделана шотландская фамилия Гамильтон.

фрейлины очутился могучий заступник — царица Екатерина Алексеевна.

«С чего это она? — старался проникнуть в глубь соображений царицы бессменный фаворит. — Ведь какое она зло на Машку держала, а тут вдруг — на-ко-ся — жалость почуяла и, меня не спросив, действует! Что такое может это значить? И что, если теперь ночная кукушка дневную перекуковывает».

Меншиков ревниво берег свое влияние на царицу, но вместе с тем в последнее время ему все чаще и чаще приходилось сталкиваться с другим влиянием, с другой волей, и временщик невольно чувствовал опасность для себя. Он знал, что могучий с виду царь был уже недолговечен. Единственный, кто мог бы быть ему вполне законным наследником, был уничтожен. После Петра оставался его малолетковнук¹, и, конечно, вся власть должна была перейти к царице Екатерине Алексеевне, как ни призрачны были ее права на это. Вот именно такое положение в будущем и предусматривал Александр Данилович, страшась за всякое умаление своего влияния на царицу.

«Посмотрим, — злобно думал он, вспоминая красавца камергера Виллима Монса, — потягаемся... Я-то — матерый волк, не давать же мне дорогу всякому щенку. Вон как его Катерина жалует... Умрет Петр, так Монсов на его место при ней в открытую станет... Мне тогда в Березове только и будет место».

Вскоре его злобное чувство было еще более подогрето: он узнал, что Екатерина Алексеевна хлопочет о своей несчастной фрейлине, уговариваемая к этому именно сострадательным Монсом. И вот, едва узнав это, Меншиков решил уже приступить к решительным мерам.

Однажды вечером у государя в Летнем дворце собрались на совет его министры. В это время, пользуясь темнотою и невниманием денщиков, в переднюю прокрался какой-то незнакомец, за пазухой у которого виднелась киса, сшитая из разных лоскутков. Она была вроде тех, в каких секретари и писцы того времени приносили к рассмотрению или подписи своим начальникам различные дела. Никто из денщиков и слуг, бывших в то время во дворце, не обратил внимания на незнакомца; вероятно, они приняли его за подъячего или писца из какой-нибудь коллегии, явившегося к государю с делами; незнакомец тем более не обращал на себя внимания служителей, что стоял совершенно равнодушно и спокойно и в течение нескольких часов с кисой под мышкой терпеливо ждал выхода государя.

Наконец совет кончился. Царь Петр I по обыкновению пошел проводить своих министров в прихожую. В это мгновение незнакомец обернулся к стене и незаметно вынул что-то из кисы и завернул в нее вынутое... Между тем государь повернулся и пошел было уже назад к себе в комнаты. Тогда незнакомец так смело и решительно последовал за ним, что окружающие могли подумать, будто сам государь

¹ Петр Алексеевич, впоследствии император Петр II.

приказал ему идти за собой. Однако так как подобного приказания никто не слышал, то один из служителей побежал за незнакомцем и в дверях передней загородил ему дорогу. Когда же последний стал напирать, служитель толкнул его и спросил: «Кто ты такой и что тебе надобно?» Тот, не отвечая, продолжал проталкиваться вслед за государем. Петр услышал шум и обернувшись спросил:

— Что там?

Должно быть, могучий голос и грозный вид Петра испугали злодея: у него вырвалась из-за пазухи киса, а из-под нее выскочил «превеликой нож». Преступник пал на колени и признался в своем умысле.

Государь сам схватил его и спросил:

— Что ты хотел ножом делать?

— Тебя зарезать, — ответил преступник.

— За что? — продолжал спрашивать Петр с совершенно спокойным видом. — Разве я чем-либо обидел тебя?

— Нет, — ответил злодей, оказавшийся раскольником, — мне ты никакого зла не сделал, но сделал нашей братии и нашей вере...

— Хорошо, — решил Петр, — рассмотрим это.

Государь велел взять преступника под караул и ничего с ним не делать, пока он сам завтра обстоятельно не расспросит его.

О том, что случилось далее с этим злоумышленником, на грозного царя нет никаких сведений ни в рассказах современников, ни в делах Тайной канцелярии. Но на другой день после этого случая Александр Данилович явился к государю и долго беседовал с ним о каких-то тайных делах. Грозный царь сильно гневался и кричал на своего бессменного фаворита, но тот ушел от него необыкновенно веселый и без всяких признаков какой бы то ни было опалы. В тот же вечер его любимец Кочет с выданным светлейшим князем паспортом провожал за заставу какого-то человека.

— Ну, прощай, друг, — сказал он, расставаясь с отъезжавшим у Глазова кабака на реке Лиге, где была почтовая станция и проверялись паспорта отъезжавших. — Все я для тебя сделал... Иди же с миром к своим старцам и, ежели когда услышишь обо мне, не поминай лихом.

А на следующее утро царь Петр утвердил смертный приговор несчастной фрейлине Гамильтон.

XLV

КРОВАВЫЙ КОНЕЦ ЛЮБВИ ЦАРЯ

В туманный мартовский день 1719 года на Троицкую площадь близ крепости толпами сходились всякого звания люди. Они собирались довольно равнодушно и особенного интереса не проявляли: казни в то время в Петербурге совершались чуть ли не ежедневно. На возведенном посреди площади эшафоте, на столбах еще висели полусгнившие головы нескольких заговорщиков по делу царевича

Алексея, казненных за три месяца до этого. В собиравшейся публике пробуждало некоторый интерес к казни лишь то обстоятельство, что у эшафота должен был быть сам великий государь Петр Алексеевич. Впрочем, и это не было новинкой для петербургской публики — государь часто бывал при казнях.

А неподалеку, через площадь, в каземате крепости, словно невеста к венцу, собиралась на эшафот несчастная фрейлина Марья Даниловна Гамильтон. К ней вообще после пыток относились снисходительно и незадолго до казни ей возвратили даже некоторые ее платья. Теперь, в последнее утро своей жизни, Марья Даниловна еще задолго до рассвета тщательно причесала и убрала свои роскошные волосы.

Странно! Ни страха, ни смущения не было заметно на ее хотя и поблекшем, но все-таки красивом лице.

— Чего ты? — удивлялся непонятной для него веселости выдававший всякие виды часовой. — Ишь ты, как убираешься! Многие отсюда на Троицкую площадь отправлялись, так больше все плакали и сокрушались, а ты вона — поешь!

— Ты — грубый, дерзкий солдат, — ответила ему Марья Даниловна, — и ничего не понимаешь. Сегодня день моего освобождения...

— Ну да, — грубо возразил солдат, — как же! Освободят!..

Бедная женщина только засмеялась ему в ответ.

— Слушай и запомни, что я скажу тебе, — быстро заговорила она, — тот, который все может, вот здесь, в этих стенах, сказал мне, что рука палача не коснется меня.

Солдат был смущен. Он понимал, про кого говорит осужденная, и боялся даже сказать что-либо. Ведь он знал, что великий государь бывал в каземате этой пленницы, тайно разговаривал с ней, а ее веселость уверяла его в том, что эта несчастная, измученная пытками и кнутабойством женщина будет в последний момент помилована.

Марья Даниловна нарядилась для казни в белое шелковое платье, украсила еще лентами этот свой наряд и весело пошла за конвоем из каземата. Свежий весенний воздух так и пахнул ей в лицо, когда она очутилась на крепостном дворе. Душно было в каземате, и вот наконец перед нею снова были Божье небо, родная земля! Еще немного — и все будет кончено, все, что было до этого, останется страшным сном, а впереди — жизнь, счастье!.. Ведь он, великий, всемогущий, еще любит ее, еще помнит о ней!

Так думала эта бедная женщина, переходя площадь к роковому эшафоту.

Вот и эшафот. За ним, сверкая позолоченными главами в лучах весеннего солнца, виднелся храм Всевидящего Бога, Бога любви и всепрощения — Троицкий собор. На помосте люди, но палача не видно... Вот стоят секретари Тайной канцелярии, вон Екатерина Семенова, вынесшая убитого ребенка, тут же кругом группа придворных. Вдруг, радость и счастье переполнили душу шедшей на смерть женщины: она увидела царя Петра. Да, да, еще несколько

минут — и вся эта комедия будет кончена; если не свобода, то жизнь будет сохранена.

Сама, без посторонней помощи, избежала Марья Даниловна по ступенькам эшафота и тут только заметила, что вместо обычного палача у плахи стоит обер-кнутмейстер, то есть чиновник Тайной канцелярии. Это еще более ободрило ее, еще более усилило в ней уверенность, что после прочтения приговора она будет помилована.

Не в силах сдержать охватившего ее радостного чувства, она взглянула на государя и улыбнулась. Петр заметил эту улыбку. Его лицо вовсе не было ни гневно, ни грозно; он непринужденно-весело разговаривал с окружающими.

— Девка Марья Гамильтон да баба Катерина, — воскликнул секретарь Триполянский, начиная чтение смертного приговора, — Петр Алексеевич, всяя Великия и Малыя, и Белья России самодержец, указав за твои, Марья, вины, что ты жила блудно и была от того брюхата трижды, и двух ребенков лекарством из себя вытравила, а третьего родила и удавила, и отбросила, в чем ты во всем с розысков повинилась: за такое твое душегубство — казнить смертью. А тебе, бабе Катерине, что ты о последнем ее ребенке, как она, Марья, родила и удавила, видела и, по ее прошению, одного ребенка с мужем своим мертвого отбросила, а о том не доносила, в чем учинилась ты с нею сообщница же, — вместо смертной казни, учинить наказание: бить кнутом и сослать на прядильный двор на десять лет.

Марья Даниловна равнодушно выслушала чтение приговора; ее думы были далеко, и она вострепнулась только тогда, когда увидала совсем близко около себя Петра, с нежностью во взоре наклонившегося к ней.

— Ну, прощай, Марьюшка, — громко и внятно проговорил государь, — видно, так Бог тебе судил и Его на то святая воля. Без нарушения божественных и государственных законов не могу я спасти тебя от смерти... Итак, прими казнь. Верь, что Всемилостивый Бог простит тебе в грехах твоих; помолись только Ему с раскаянием и верою.

Он обнял и поцеловал осужденную.

Словно какая-то сила метнула несчастную на колени.

— Великий государь, прости, помилуй! — завопила она.

Петр склонился к уху обер-кнутмейстера и что-то шепнул ему.

— Всемилостивейшее прощение, — так и произнесся шепот среди толпившихся на эшафоте людей, — счастливица, помилована!

— Государь! — вопила Марья. — Ты знаешь все. Ведь я тебя...

Она не договорила. Сверкнул топор, и разом отрубленная голова несчастной покатилась по эшафоту. Царь сдержал свое слово. К тому телу, которое он обнимал, целовал, любил, не прикоснулась рука палача: обер-кнутмейстер нанес столь ловкий удар, что сразу снес голову, даже не положенную на плаху.

Все смолкло, все молчали, а царь Петр, спокойно наклонившись, поднял голову несчастной красавицы и поцеловал ее в откры-

тые губы, а потом, повернув ее так, что видно было то место, по которому прошел топор, громко, ровно, без малейшего признака волнения, произнес так, что слышали все:

— Вот сия жила есть сонная артерия, а в сем месте соединение позвонков спинного мозга.

Затем он еще раз поцеловал мертвую голову, опустил ее на землю, перекрестился и уехал с места казни.

Только тут выступил настоящий заправский кат и стал жестоко сечь кнутом бабу Катерину.

Так завершилась кровавым концом последняя любовь могучего царя.

Но своему сопернику в этой любви, Ивану Орлову, государь и не подумал мстить. Спустя некоторое время, Орлов был приведен на одну из ассамблей.

— Ежели ты и виновен, — сказал ему государь, — то как нет точных тому доказательств, то да судит тебя Бог, а я жалую тебя поручиком гвардии.

Радостный денщик упал перед царем на колени.

С этих пор он начал делать свою блестящую карьеру.

XLVI

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

Любовь Марьи Даниловны Гамильтон была последней в жизни могучего человека, направлявшего жизнь целых народов по своему желанию, и в то же время клонившего голову пред тем маленьким крылатым божком, которому древние эллины дали имя Купидон. Сильна была власть последнего в этом случае: он творил с могучим человеком удивительные вещи, заводил его в такие дебри страданий, откуда выходом чаще всего была только одна смерть.

Да, в этой жизни, в жизни могучего человека, любовь действительно была сплошным страданием.

На самом расцвете жизни, в труднейшие мгновения ожесточенной борьбы и за жизнь, и за трон, впервые загорелась в пылком московском царе-юноше звезда любви. Его воображение впервые поразила красивая женщина, красивая по внешности, ничтожная духовно. Это была первая красавица московской Кукуевской слободы Анна Ивановна Монс, шустрая, разбитная мешанка, являвшаяся орудием в руках всевозможных интриганов, стремившихся завладеть московским царем, для того чтобы упрочить свое владычество над целым народом.

В конце этой жизни для Петра засияла другая звезда. Это была также необыкновенно красивая, духовно более совершенная, но преступная и уже искусившаяся в любви Марья Даниловна Гамильтон; она попробовала было занять такое же место, какое занимала в жизни царя Анна Монс, но это уже не удалось ей, ее расчеты не оправдались — и она кончила свою жизнь на эшафоте.

Среди этих двух женщин в жизни Петра слишком определенное место заняла третья женщина — Марта Скавронская, простая крестьянка, вдова солдата-милиционера Рабе, мариебургская пленница, ставшая затем женой могучего царя и русской императрицей Екатериной Алексеевной. Она выиграла более всех своих соперниц, может быть, потому, что ни к чему не стремилась и была вполне довольна создавшимся для нее положением.

Но никогда Екатерина не была для Петра тем, чем были и Анна, и Мария. Вокруг нее была атмосфера не любви, а привычки, и только. Она была нужна царю Петру только в силу того, что умела создавать ему известный комфорт, но никогда не была любимой им женщиной. Вот поэтому-то самому она и достигла того, чего не могли достигнуть две другие, игравшие в жизни Петра столь заметную роль женщины. И она не только достигла всего, но сумела сохранить за собой положение и даже сохранила себе жизнь, тогда как Мария Гамильтон, в сущности говоря, ничем не виноватая пред Петром, умерла под топором. Страшная смерть Марии Гамильтон как будто упрочила положение Екатерины Алексеевны. Теперь она осталась одна; около Петра Первого других женщин не было или они уже не привлекали внимания все более и более старевшего и переставшего искать любовных утех царя.

Сохраняя могучую внешность, Петр в начале шестого десятка своей жизни был уже дряхлым стариком, для его же супруги только еще наступал жизненный расцвет.

А тут на долю царя выпал новый труд: персидский поход. Царь полубольным отправился в прикаспийские и казикумыкские степи; трудности пути, смена климата — все это заметно влияло на него, а когда он возвратился домой, то для него уже не было прежней радости. Царь почувствовал, что разрушается его семейный очаг. Единственное, чем он дорожил в своей многострадальной жизни — а именно его семейный очаг, — разрушалось. Доказательств к тому у царя Петра не было, но он чувствовал, что ему готовился удар, хотя он и не мог его ожидать.

Однажды, когда государь отдыхал в одной из комнат почтового двора, к крыльцу последнего подкатила подвода, из которой вышел порядочно пожилой приезжий в немецком — но не в военном, а в гражданском платье. За ним из подводы вышла женщина, довольно стройная, довольно молодая и красивая собою. Заслышав стук колес, Петр выглянул в окно, и на его лице отразилось не то удивление, не то любопытство.

— Черты сих лиц как будто знакомы мне, — сказал он в раздумье, обращаясь к дежурившему при нем в то время денщику Павлу Ивановичу Ягужинскому. — Вот только не могу припомнить, где я видывал эту персону.

— Прикажешь, государь, узнать, кто такие? — весело спросил его Ягужинский и направился к двери.

— Постой! — остановил его Петр. — Узнать-то не хитро, а не того мне хочется. Неужели же я так ослабел памятью, что припом-

нить не могу своего знакома? Нет, я уж не так стар, чтобы забывать! — Петр на мгновение закрыл глаза и взялся рукою за лоб. — Ай, вспомнил-вспомнил, — воскликнул он, — зови его сюда! Только не смей рассказывать, что я, государь, требую его. Скажи просто: знакомый-де здесь на постоялом и видется с тобою желает.

Ягужинский быстро вышел за двери.

— Ведь сколько лет пронеслось! — тихо проговорил государь, медленно прохаживаясь по обширному покою. — Дни юности снова восстали предо мною. Из тех, кто был со мною тогда, уже не многие остались; да и кто остался? — старики, развалины, а этого я почти три десятка лет не видал. И вот он снова предо мною, мой противник ярый, мною смиренный, обласканный, прирученный волчонок. О нем я не слыхал, что было с ним — не знаю, и вот неожиданно встречаю его! Он в мой Парадиз приехал. Интересно, каков-то он? По-прежнему ли он злобится на меня, или до конца смирился?

Дверь осторожно отворилась. Через нее в сопровождении Ягужинского в покой вошел приезжий. Он остановился у порога и пристально смотрел на государя. Тот, при его появлении находившийся у окна, повернулся, взглянул на него, но не грозно, а скорее ласково, и, слегка улыбаясь, сказал:

— Ну здравствуй, сват Михайло! Давно мы не видались! Привел Бог встретиться... Что же ты молчишь? Не узнаешь?

— Царь! — воскликнул тот. — Петр Алексеевич!

— Да, это — я. Едва ты подкатил к крыльцу, я угадал знакома. Ты — Михайло Родионов, сын Каренин. Видишь, помню я, а лет прошло много... Ну что же ты? По-прежнему гневишься, воображая, что любушку я отбил у тебя?

— Государь! — дрожащим голосом воскликнул приезжий. — Зачем ты вспоминаешь прошлые ошибки? Из глуши непроходимой стремился я в твой Питер, чтобы поклониться тебе. Позволь же мне челом тебе ударить!

Каренин склонился было, кланяясь государю земным поклоном, но Петр быстро удержал его.

— Оставь, Михайло! Не нужно мне этих поклонов здесь. Я здесь не царь; я — Петр Михайлов; так ты и запомни и говори со мной без лишних церемоний.

Он отошел и присел к столу, взяв в руки трубку.

Ягужинский сейчас же высек огня и поспешил подать раскурить.

— Ну, Михайло, расскажи недлинно, как ты живешь? Что твой брат Павел? Когда я был в Париже, так он встречал меня. Не захотел он тогда со мной на Русь вернуться, а после я о нем как будто и не слышал...

— Государь! Умер Павел.

— Умер? Царство ему небесное! — притуманился Петр. — Какая же болезнь свела его в могилу?

— Не от болезни преставился он, государь. Когда уехал ты, один придворный щеголь над тобою вздумал посмеяться...

— Ага! Ну, и что же?

— А то, что брат, завет московский помня и не стерпев обиды государю своему, приколотил его, всего искровенил, а тот, по своему обычаю, его на поединок вызвал и шпагой заколол.

На лице царя Петра появился оттенок грусти.

— Да, жаль его, — сказал он, — он был верный слуга и друг. Немного у меня таких! Остались у него дети?

— Нет, никого, государь; он одинокий был.

— А ты?

Облако смущения появилось на лице Михаила Каренина.

— Ну, вижу, вижу, что ты не бобылем жизнь скоротал, — усмехнулся государь. — С тобою там, я видел, женская персона. Жена или дочь?

— Не знаю, как тебе сказать, государь. Приемная она мне сестра как будто и, помнится, ты малость знаешь ее...

— Да разве? Кто же она такая?

— Припомни, государь, в немецкой слободе немчинку Фогель, что мне с братом за мать была.

— Фогель? — нахмурился Петр. — Ее, что ли, дочь?

— Она, она! Большие ей испытания послала судьба. Привез я ее из-за рубежа сюда, туда же она ненароком попала. Вишь ты, государь, хотелось ей на родине отца побывать, вот за одним из своих посольств она и увязалась да бедствовала там; я пожалел сиротку, и, как возвращался на Русь, с собой ее привез. В глушь я завез ее, и жила она при мне с женой. Теперь я вдовцом остался. Зазорно стало мне жить с нею в одном доме, и вот надумал я тебе ее представить.

Государь засмеялся.

— Ох, Михайло! Стары то мы с тобой стали, но все же седина у нас в бороду, а бес в ребро... Ох, греховодник ты эдакий!

— Думай, государь, как хочешь, — засмеялся и Каренин, — а только склонись на мою просьбу.

— Ладно, посмотрю, что там. Сам-то я тут из далекого похода вернулся. Вишь ты, дербентские кумыки заворошились, а их земля издревле достоянием русского престола была, так туда было нужно. Ах, дело-дело! Везде-то и всюду самому быть надобно; людей вокруг многое множество, а положиться не на кого...

— Ау, государь, таково уже дело хозяйское! Свой глаз везде и всюду алмаз.

— Верно! Чужой — стеклышко... Да в том-то и беда, что годы-то уже не малые становятся; тут бы на отдых пора, а вон тащись за тридевять земель, в тридешатое государство. Так приходи, Михайло, ко мне в летний дом и свою девицу приведи с собой. Я и теперь на нее поглядел бы, старину вспоминая, да вот, — кивнул он на окно, — мою ладью к пристани подали, ехать нужно по делам в крепость. Иди, отдохнешь с пути! Только смотри: русский царь вместе с солнцем встает; чем раньше явитесь, тем больше времени останется для беседы.

На другое утро Михаил Каренин и та, которую он называл своей «приемной дочерью», входили за ограду Летнего сада. Хорош был Летний сад: разбитый по проекту знаменитого архитектора Леблона, он считался лучшим из садов европейских столиц. Да так и должно было быть. Липы — главное его украшение — росли здесь еще до прихода русских к устью Невы, и в это время эта липовая роща была уже вполне благоустроенным местом. Царю Петру оставалось только подправить да подчистить то, что было запущено во время борьбы со шведами за Петербург, и уже только поддерживать в полном порядке благоустройство сада.

Стража у входа в сад, очевидно, была предупреждена о появлении новых людей, и Каренина с его спутницей пропустили беспрепятственно.

Мария Фогель к этому времени из ребенка превратилась в красивую, пышную женщину. В ней было именно то, что всегда нравилось Петру: высокий рост, пышная грудь, смелый взгляд, румяные щеки. Все в ней было привлекательно; это была уже женщина вполне опытная, вполне искусившаяся в любви и умевшая сулить взглядами рай на земле.

— Государь в беседке на Фонтанной, — предупредил дежуривший у ворот начальник стражи. — Идите все прямо, потом свернете по аллее направо и выйдете к самой беседке.

Каренину не повезло в это утро. Когда он и Мария дошли до царской беседки на берегу Фонтанной, то увидели, как царский катер в этот момент отвалил от небольшой пристани. Они опоздали. Как раз в этот день на Косом канале был назначен смотр новых галер, и царь спешил туда. Однако, увидев своих гостей с лодки, он приветливо махнул им рукой, и этого было вполне достаточно, чтобы оставшиеся на берегу обратили внимание на Каренина и Марию.

«Узнай, кто такие и откуда, — шепнул своему верному Кочету Александр Данилович Меншиков, спешивший к своему катеру, чтобы отправиться на смотр вместе с царем, — а потом все подробно доложишь мне».

Кочету было достаточно взгляда, чтобы узнать в приезде старике когда-то молодого боярина Каренина, из-за которого он в дни своей юности попал в застенки. Воспоминания разом ожили в его сердце, и он, недолго думая, подошел к приезжему.

— Боярину Михаилу Родионовичу поклон! — склонился он в самом деле перед Карениным. — Поди ведь, не узнал знакомого?

— Нет, не признаю что-то, — ответит тот, пристально вглядываясь в Кочета, — и совсем не припомню, где мы видались.

— Было дело, боярин, давно было! У тебя, боярин, тогда не только седины не было, даже и усов-то с бородой не заводилось.

— Ой-ой-ой, какое время вспомнил, молодец, как величать, не знаю! — засмеялся Каренин.

— Давнее, боярин, давнее. Кукуй-слободу припомнил! Не забыл, поди, как там царь Петр со смертью разговаривал, а ты нас, стрельцов, сбивал антихристу-оборотню кузькину мать показывать...

— Ой, — воскликнул Каренин, — да не Кочет ли ты?

— Он самый и есть. Только Кочет-то стрельцом был, а я при светлейшем князе Александре Даниловиче Меншикове в ближних людях состою. Припоминаешь уговор старинный?

— Так, так!.. Вот уже не чаял встретиться!.. А знаешь что? Ежели ты — Кочет, так Телепня помнишь?

— Еще бы такого друга сердечного не помнить?

— Так вот я тебе и скажу, и порадую, может быть: оный Телепень со мною к вам в Питер прибыл и все тебя, своего друга, вспоминает. Ну, да об этом речь потом... Скажи — человек я здесь новый, — как мне быть? Царь-то приказал явиться, да видно я опоздал; что и делать теперь, не знаю.

— Царь приказал! — раздумчиво проговорил Кочет, — Да вот, видишь, нет его. Теперь ежели и вернется он со смотра, так не ближе как за полдень. Все галеры, кои спущены, на Неву пойдут, а как царь этим делом займется, так скоро его и не жди. Вот как выходит! Сидеть тебе здесь в саду придется, пока царь не вернется. А то, может быть, вот что я тебе устрою. Хочешь за ним вдогонку идти? Видишь, лодки одна за другой отчаливают? Так я, пожалуй, на какую-нибудь из них тебя пристрою...

— А как же вот она-то? — указал Каренин на свою спутницу.

— А твоя дама пусть уж здесь подождет, пусть погуляет. Сад здешний больно хорош, тени много. Вернешься ты с Невы, вот и встретитесь. Тут всяких кавалеров много, скучать она не будет.

Каренину такое предложение пришлось по сердцу, и он изъявил свое согласие. Его спутница тоже была не прочь остаться в саду, где она видела столько придворной знати.

Лодок у царской пристани было порядочно. Кочета все знали, и он в самом деле без труда устроил Каренина на одно из отплывавших суденышек. Мария Фогель осталась одна. Но это одиночество нисколько не пугало ее; напротив того — она держала себя без малейшего смущения и смело отвечала на довольно-таки откровенные взгляды такими же ответными взглядами.

XLVIII ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА

Однако Марии Фогель недолго пришлось побыть в одиночестве. Виллиму Монсу сразу бросилась в глаза красавица и он смело подошел к ней.

— Я вижу, что вы, прекрасная госпожа, еще недавно прибыли сюда, и от души радуюсь этому. Скажите откровенно, не могу ли

я быть чем-либо полезен вам? Я по себе знаю, новоприезжему тяжело быть в незнакомом городе.

Почтительно склонившись, он ожидал ответа.

— Господин Монс, — ответила по-немецки Мария Фогель, ласково улыбаясь, — вы много одолжили меня, сделав мне честь своим разговором.

— Как? — изумленно воскликнул Виллим Иванович. — Вы знаете мое имя?

— О да. Конечно, лета весьма значительно изменили вас, но дни детства никогда не изглаживаются из памяти. И разве можно позабыть того, с кем за невинными детскими играми проведены многие часы в далекую пору.

Монс был не на шутку смущен.

— Ради Бога, прекрасная госпожа, — воскликнул он, — дайте мне еще несколько указаний, чтобы я мог припомнить те дни, о которых вы сказали.

Он с поклоном предложил Марии свою руку. Та приняла ее, и они пошли по тенистой аллее.

— Охотно готова помочь вашей памяти, — заговорила Фогель. — Кукуй-слобода под Москвой, ваша милая сестра Анхен; вы — самый бойкий, веселый мальчик Вилли, и около вас почти всегда ваша маленькая подруга Марихен Фогель.

— Как? — воскликнул Монс. — Вы — та самая Марихен, милая сиротка? О небо, какая встреча! Что я вижу? Сон наяву? Скажите же, умоляю вас: вы — Мария Фогель?

— Да, да, это я. Судьба послала мне многие испытания, но нашелся добрый человек, который не оставил меня в дни невзгод, и вот я теперь явилась сюда в надежде, что, быть может, царь Петр припомнит далекие дни своей юности и в память их окажет мне свое покровительство.

Разговаривая так, они вышли почти к самой Неве.

— Я все еще не могу прийти в себя, — воскликнул Виллим Иванович. — Такой день, такая встреча! Нет, как хотите, это — сон. Прошло столько лет, и мы, друзья детства, опять вместе. Жаль, что нет со мной моей мандолины, я чувствую присутствие Аполлона и готов воспеть этот блаженный миг.

— Я рада, — тихо ответила Мария, — что на первых порах встречаю друга, и надеюсь, что наше знакомство не ограничится только одной встречей... Но что там такое кричат на реке? Вы слышите?

— Ах, пусть их там! Эти русские не могут обойтись без крика, — ответил Монс, но тем не менее взглянул по тому направлению, откуда слышались крики. — Э, да там действительно что-то случилось. Кажется, опрокинулась какая-то лодка...

Между тем с Невы, гонимая могучими ударами весел, неслась одна из галер; на ее корме стоял сам царь. Он быстро причалил к своей пристани и большими шагами направился к своему летнему

дому. Вид у него был расстроенный, ноздри раздувались, лоб нахмурен. Как раз на полпути его встретила царица, привлеченная доносившимися с реки криками.

— Дурное предзнаменование, Катеринушка, — проговорил государь, — не суверен я, но все-таки думается, что нам грозят какие-то напасти.

— Что? Что случилось?

— Да вот какое дело вышло. Позвал к себе я гостя. Да вот во время галерного маневра опрокинулся челнок с сим наезжим, и он очутился в воде.

— Вытащили? — торопливо спросила царица, зная, что подобные несчастные происшествия во время парадов всегда производили весьма удручающее впечатление на ее супруга.

— Вытащили, — ответил царь.

— И жив?

— Жив-то жив, да плох. Года сказались. Вот пообедаем, пойду проведать...

Однако только к вечеру удалось государю навестить Михаила Каренина.

Пострадавшего устроили в домике одного из дворцовых служителей, в отдельном покойчике. Он был весьма слаб, но сознание не оставляло его. Когда государь, сильно сгибаясь в три погибели — покой был слишком низок для такого рослого человека, как он, — вошел к Каренину, тот улыбнулся. Эта улыбка несказанно удивила царя Петра. В ней было что-то особенное.

— Спасибо, Петр Алексеевич, что пришел проведать меня, — слабо, чуть слышно проговорил старик. — Вот посылает Господь по мою душу...

— Полно! — сказал Петр. — Поживем еще, не за тем же ты в мой Парадиз приехал, чтобы помирать?

— Ох не за тем, угадал ты царь! Не за тем я к тебе мчался, только знал я, что смерти-то мне здесь все равно не избегнуть, и живому мне из твоего логовища не уйти.

— Да ну? — удивленно спросил царь. — Или что-либо худое на меня помыслил?

Каренин ответил не сразу. Прошло несколько мгновений, пока он сказал:

— Выглянь-ка за дверцу, государь, не подслушивает ли кто, а потом присядь ко мне поближе да поговорим. Хочу я тебе сказку одну рассказать.

Иронический тон голоса и какое-то особенное выражение на лице старика подсказывали царю Петру, что его ожидает необыкновенное признание. В нем было затронуто любопытство, да вместе с тем он понял, что Каренин говорит неспроста.

— Ну вот я и сел около тебя, — сказал он. — Говори, а я слушать буду.

— Слушай-ка, — тихо заговорил Каренин. — Помнишь, у твоих отцов-царей и у дедов обычай был: ежели кто кого обидит, так

выдавать обидчика обиженному головой для бесчестья. Так вот я тебе скажу. Мал я человек, а Бог-то за меня заступился и тебя, царя, ныне мне головою выдает...

Царь вскинул на него выразительный взгляд.

— А что же я тебе сделал? — спросил он. — Какую такую обиду я тебе причинил?

— Аленушку помнишь?

— Это еще какую? — наморщил лоб царь.

— Твоей Анки Монсовой любимую подругу. Помнишь, еще у немчинского попа жила, а к тому попу ты вхож был?

— Ну, помню. Что ж из того?

— А ты ее не отнял у меня? Ты меня за рубеж не отослал? Ты ее за немилого мужа не отдал... в могилу не свел? Так вот Бог-то за меня и посчитался с тобою. Велик ты и могуществен, нет предела твоей власти... Ты сечешь головы людские, и земные короли перед тобою дрожат, а вот нет для тебя на земле счастья радостного. Каждому простолюдину, каждому смерду послано от Господа Бога счастье, и радуется он в семье своей, а ты, царь великий, владыка сверх меры могущественный, где у тебя счастье-то твое? Вот ты уж и к гробу близок, а как только ты кого-либо полюбишь да душу свою каменную захочешь кому-нибудь отдать, так вместо того не радость, а горе для тебя выходит... В Анке Монсовой ты души не чаял, а что ж, разве она не посмеялась над тобою, над твоей любовью царской не издевалась с хахалями разными? Вот ты Марью Гамильтон полюбил; а к чему любовь привела? Разве твое сердце на части не разрывалось, когда ты ее на плаху отправил? Ты вот жену себе завел. А какая она жена? Ведь и она над тобой посмеялась, первого встречного майоришку в дружки себе взяла. Вот какая твоя участь!..

— Молчи, молчи! — закричал царь.

Его глаза сверкали, грудь вздымалась, кулак уже поднялся, чтобы ударить несчастного. Каренин только засмеялся, ни малейшего испуга не было заметно на его лице.

— Не пугай, — произнес он, — теперь ты, царь, не страшен для меня; ведь уже сочтены мои минуты... я умру, прежде чем ты меня в застенки отправить успеешь, но, прежде чем умереть, скажу я тебе последнее свое слово, и будет то мое слово тебе таким ударом в твое сердце, какого еще и не бывало... Эх ты, великий! Провидец! А под своим носом не замечаешь, что Вилька Монсов творит. Ведь он в России царствует, а не ты, антихристово порождение; ты у него на послугах. А еще думаешь: «Я-де Карла Шведского победил!» Всякий глупый немец, как хочет, тобой вертит, и ты выплясываешь под любую немецкую дудку, а своим слугам головы рубишь... Эх ты, великий!..

Громкий рев, вырвавшийся из груди Петра, заглушил едва слышный лепет Каренина. Лицо царя почернело, из-под искривившихся губ закрубилась пена, и он, весь сведенный судорогой, упал без чувств на пол.

Сбежались люди. Каренин лежал без движения, а на грязном полу бился в страшном припадке один из могущественнейших людей того времени.

XLIX ОТМЩЕНИЕ

Прошло несколько дней, и весь знатный Петербург был поражен совершенно неожиданною вестью.

Один из инквизиторов петровской кнутабойной троицы, Андрей Иванович Ушаков, самый свирепый и самый изобретательный из присяжных истязателей Тайной канцелярии, арестовал любимца петербургских красавиц, постоянного щеголя и придворного стихотворца Виллима Ивановича Монса.

Это было 5 ноября 1724 года. Что именно случилось, какие вины оказались за Монсом, об этом пока еще не знали, но вскоре после этого заговорили, что и государыня царица Екатерина Алексеевна вдруг стала очень немощна и перестала выходить из своих комнат. Говорили о каком-то доносе, поданном прямо в руки государю, но о том, чтобы учинен был розыск над Виллимом Монсовым, то есть пытка, ничего не было слышно. Потом вдруг стали хватать по Монсову делу разных людей: взяли его сестру, генеральшу Матрену Ивановну Балк, ее сына, придворного щеголя Петра; заодно был схвачен и любимый царский шут Балакирев, но в чем было дело, какие обвинения были возведены на задержанных, об этом никто ничего не знал.

13 ноября 1724 года по улицам и площадям молодого Петербурга с полудня ходил странный кортеж. Взвод солдат сопровождал несколько барабанщиков, которые барабанным боем вызывали из домов жителей, и когда толпа собиралась, то вперед выходил сенатский чиновник и прочитывал объявление, что камергер Виллим Монс и его сестра Матрена Балк брали взятки, и за то арестованы; если же кто-нибудь из обывателей знает что-либо по этому поводу, то обязан под страхом тяжелого наказания за сокрытие непременно заявить о себе.

Такие же объявления к вечеру оказались развешенными почти по всем улицам Петербурга, и из этих объявлений стало известно, что на 14 ноября в Зимнем дворце назначен вышний суд для вершения Монсова дела.

Итак, все было сведено только к взяточничеству, иных обвинений красавцу-камергеру не было предъявлено; но всем было известно, что при допросах неизменно присутствовал сам государь. 5 ноября вышним судом был вынесен приговор, которым Монс был приговорен к смертной казни, а его сестра Балк — к битью плетью и ссылке в Тобольск. Казнь была назначена на утро 16 ноября.

Долго-долго читал сенатский секретарь приговор. Монс слушал его равнодушно, и когда чтение было окончено, то с любезной

улыбкой поблагодарил читавшего. Потом он принял напутствие от пастора, вынул из кармана камзола золотые часы с портретом Екатерины, поцеловал этот портрет и, передавая пастору, просил принять их в подарок на память. После этого он одним движением скинул камзол, расстегнул ворот рубашки и сам лег на плаху.

Палач был мастер своего дела: сверкнул топор — и голова Монса покатилась по помосту эшафота. Через несколько минут эта голова мертвыми глазами смотрела на народ с высокого шеста, на который она была воткнута. Кровь сочилась из-под нее и засыхала на шесте.

А в этот же день по бурным валам Финского залива, по направлению к Дубкам (близ нынешнего Сестрорецка), неслась против ветра большая галера, и на ее корме, отдавая всего себя налетающим шквалам, стоял огромного роста человек с искаженным от тяжелого душевного страдания лицом. Это был царь Петр Алексеевич. Буря клочкотала в его истерзанной душе. Он ясно видел, что все величайшее дело, которое он совершил почти один, теперь пропадало, все рушилось. Он знал, что народ, не понимавший его дела, зовет его антихристом или кикиморой. Он видел теперь, что и дело то, которому он отдавал всего себя, все свои помыслы, от которого он ждал только добра для целого своего народа, для всего своего государства, обращалось во зло, и ему невольно вспомнились слова такой же, как и он, могучей женщины — его сестры Софьи, предсказавшей ему, что из его скороспелых новшеств не выйдет ничего путного и что свой народ он поставит ими не во главе, а в хвосте другим народов. Петр видел, что и в личной жизни его преследовали одни только болезненные удары. Его сотрудники, которым он верил, которых он любил, шли против него — ведь следственный розыск о кикинском заговоре в пользу его сына, царевича Алексея, был выучен им чуть не наизусть, а там в первых рядах заговорщиков красовались такие имена, как Апраксин, Шереметев. И кто же оказывался в выигрыше? Только проходимцы вроде Меншикова, вытасченного им из грязи, государевы воры, грабившие государство. И вот при одной мысли о том, что великое царство, огромный народ покидается им, царем, на руки этих хищников, страшный, ни с чем не сравнимый ужас охватывал душу этого могучего человека.

Он уже чувствовал, что его смертный час не за горами. Внутренний огонь жег его, и в то же время невыносимый холод охватывал его сердце. Да, смерть поджидала могучего царя: ведь он только на три месяца с днями пережил Виллима Монса, каждое напоминание о котором, как ножом, резало его гордое сердце.

СОДЕРЖАНИЕ

Царица-полячка	3
Оберегатель	155
Трон и любовь	243
На закате любви	375

А. И. Лавинцев
ЦАРИЦА-ПОЛЯЧКА
ОБЕРЕГАТЕЛЬ
ТРОН И ЛЮБОВЬ
НА ЗАКАТЕ ЛЮБВИ

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
И. Сайко

Технический редактор
Г. Шитоева

Корректор
Л. Чуланова

ЛР № 030129 от 23.10.96 г.

Подписано в печать 28.10.97.

Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Уч.-изд. л. 37,34. Цена 27 200 р.

(С 01.01.98 г. цена 27 р. 20 к.).

Цена для членов клуба 24 700 р.

(С 01.01.98 г. цена для членов клуба 24 р. 70 к.).

Издательский центр «ТЕРРА».

113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

Оригинал-макет подготовлен ТОО «Макет».

141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.

ТАЙНЫ

Действие исторических романов А. Лавинцева, вошедших в книгу, охватывает период с 1675 по 1724 год. В «Царице-полячке» рассказывается о любви царевича Федора Алексеевича к красавице Ганночке Грушецкой. Смутное время правления царевны Софьи и ее фаворита Василия Голицына описано в романе «Оберегатель». «Трон и любовь» и «На закате любви» посвящены любви Петра I к Анне Монс, а затем к Марте Рабе, ставшей Екатериной I.

ИСТОРИИ

ISBN 5-300-01464-8



9 785300 014643